М. Ю. Лермонтов



Полное собрание сочинений

4



К 200-летию со дня рождения
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

собрание сочинений в четырех томах

Санкт-Петербург
2014

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПРОЗА
ПИСЬМА
1827–1841



Издательство
Пушкинского Дома

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1
Л 49



Издание подготовлено и опубликовано при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда:
Грант № 12-34-10206, целевой конкурс
«Творческое наследие М. Ю. Лермонтова и современность»

Ответственный редактор тома:
Н. Г. Охотин

Рецезент: М. Н. Виролайнен

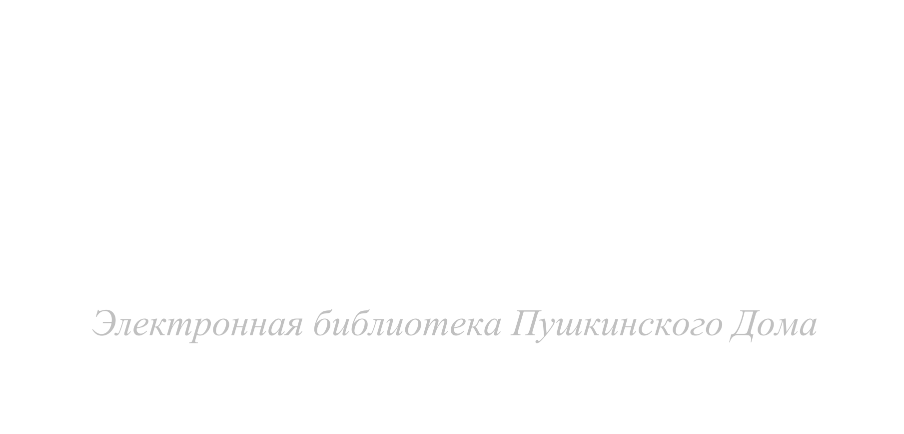
Л 49 **М. Ю. Лермонтов.** Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Проза. Письма / Отв. ред. тома Н. Г. Охотин. — СПб.: Издательство Пушкинского Дома, 2014. — 672 с.

ISBN 978-5-87781-057-0 (Т. 4)
ISBN 978-5-87781-049-5

Новое собрание сочинений М. Ю. Лермонтова, подготовленное к 200-летию со дня рождения поэта, включает в себя весь корпус его художественных произведений и писем. Тексты Лермонтова заново сверены с источниками и снабжены подробными комментариями. В четвертый том научного издания входят все прозаические произведения Лермонтова. В приложениях помещены планы ненаписанных произведений, прозаические переводы, автобиографические заметки, а также переписка поэта.

На фронтисписе:
М. Ю. Лермонтов в сюртуке Тенгинского пехотного полка. 1841.
Худ. К. А. Горбунов. Бумага, акварель, золото. ИРЛИ РАН

П Р О З А



489. <ВАДИМ>

Часть I-я

ГЛАВА I

День угасал; лиловые облака, протягиваясь по западу, едва пропускали красные лучи, которые отражались на черепицах башен и ярких главах монастыря. Звонили к вечерни; монахи и служки ходили взад и вперед по каменным плитам, ведущим от кельи архимандрита в храм; длинные, черные мантии с шорохом обметали пыль вслед за ними; и они толкали богомольцев с таким важным видом, как будто бы это была их главная должность. Под дымной пеленою ладана трепещущий огонь свечей казался тусклым и красным; богомольцы теснились вокруг сырых столбов, и глухой, торжественный шорох толпы, повторяемый сводами, показывал, что служба еще не началась.

У ворот монастырских была другая картина. Несколько нищих и увечных ожидали милости богомольцев; они спорили, бранились, делили медные деньги, которые звенели в больших посконных мешках; это были люди, отвергнутые природой и обществом (только в этом случае общество согласно бывает с природой); это были люди, погибшие от недостатка или излишества надежд, олицетворенные упреки Провидению; создания, лишенные права требовать сожаления, потому что они не имели ни одной добродетели, и не имеющие ни одной добродетели, потому что никогда не встречали сожаления.

Их одежды были изображения их душ: черные, изорванные. Лучи заката останавливались на головах, плечах и согнутых костистых коленах; углубления в лицах казались чернее обыкновенного; у каждого на челе было написано вечными буквами *нищета!* — хотя бы малейший знак, малейший остаток гордости отделился в глазах или в улыбке!

В толпе нищих был один — он не вмешивался в разговор их и неподвижно смотрел на расписанные святые врата; он был горбат и кривоног; но

члены его казались крепкими и привыкшими к трудам этого позорного состояния; лицо его было длинно, смугло; прямой нос, курчавые волосы; широкий лоб его был желт как лоб ученого, мрачен как облако, покрывающее солнце в день бури; синяя жила пересекала его неправильные морщины; губы, тонкие, бледные, были растягиваемы и сжимаемы каким-то судорожным движением, и в глазах блистала целая будущность; его товарищи не знали, кто он таков; но сила души обнаруживается везде: они боялись его голоса и взгляда; они уважали в нем какой-то величайший порок, а не безграничное несчастие, демона — но не человека: — он был безобразен, отвратителен, но не это пугало их; в его глазах было столько огня и ума, столько неземного, что они, не смея верить их выражению, уважали в незнакомце чудесного обманщика. Ему казалось не больше 28 лет; на лице его постоянно отражалась насмешка, горькая, бесконечная; волшебный круг, заключавший вселенную; его душа еще не жила по-настоящему, но собирала все свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться в вечность; — нищий стоял сложа руки и рассматривал дьявола, изображенного поблекшими красками на св. вратах, и внутренно сожалел об нем; он думал: если б я был черт, то не мучил бы людей, а презирал бы их; стоят ли они, чтоб их соблазнял изгнанник рая, соперник Бога!.. другое дело человек; чтоб кончить презрением, он должен начать с ненависти!

И глаза его блистали под беспокойными бровями, и худые щеки покрывались красными пятнами: всё было согласно в чертах нищего: одна страсть владела его сердцем, или, лучше, он владел одною только страстью, — но зато совершенно!

«Христа ради, барин, — погорелым, калекам, слепому... Христа ради копеечку!» — раздался крик его товарищей; он вздрогнул, обернулся — и в этот миг решилась его участь. — Что же увидал он? русского дворянина, Бориса Петровича Палицына. Не больше.

[ГЛАВА II]

Представьте себе мужчину лет 50, высокого, еще здорового, но с седыми волосами и потухшим взором, одетого в синее полукафтанье с анненским крестом в петлице; ноги его, запрятанные в огромные сапоги, производили неприятный звук, ступая на пыльные камни; он шел с важностью размахивая руками и наморщивал высокий лоб всякий раз, как докучливые нищие обступали его; — двое слуг следовали за ним с подобострастием. — Палицын положил серебряный рубль в кружку монастырскую и, оттолкнув нищих, воскликнул: «Прочь, вы! — лентяи. — Экие молодцы — а просят Христа

ради; что вы не работаете? дай Бог, чтоб пришло время, когда этих бродяг без стыда будут морить с голоду. — Вот вам рубль на всю братию. — Только чур не перекусайтесь за него».

Между тем горбатый нищий молча приблизился и устремил яркие черные глаза на великодушного господина; этот взор был остановившаяся молния, и человек, подверженный его таинственному влиянию, должен был содрогнуться и не мог отвечать ему тем же, как будто свинцовая печать тяготела на его веках; если магнетизм существует, то взгляд нищего был сильнейший магнетизм.

Когда старый господин удалился от толпы, он поспешил догнать его.

Палицын обернулся.

— Что тебе надобно?

— Очень мало! — я хочу работы...

С язвительной усмешкой посмотрел старик на нищего, на его горб и безобразные ноги... но бедняк нимало не смутился и остался хладнокровен, как Сократ, когда жена вылила кувшин воды на его голову, но это не было хладнокровие мудреца — нищий был скорее похож на дуэлиста, который уверен в меткости руки своей.

— Если ты, барин, думаешь, что я не могу перенесть труда, то я тебя успокою на этот счет. — Он поднял большой камень и начал им играть как мячиком; Палицын изумился.

— Хочешь ли быть моим слугою?

Нищий в одну минуту принял вид смирения и с жаром поцеловал руку своего нового покровителя... из вольного он согласился быть рабом — ужели даром? — и какая странная мысль принять имя раба за 2 месяца до Пугачева.

— Клянусь головою отца моего, что исполню свою обязанность! — воскликнул нищий, — и адская радость вспыхнула на бледном лице.

— Твое имя?

— Вадим!

— Прелестное имя для такого урода!

Слуги подхватили шутку барина и захохотали; нищий взглянул на них с презрением, и неуместная веселость утихла; подлые души завидуют всему, даже обидам, которые показывают некоторое внимание со стороны их начальника.

— Следуй за мной!.. — сказал Палицын, и все оставили монастырь. Часто Вадим оборачивался! на полусветлом небосклоне рисовались зубчатые стены, башни и церковь, плоскими черными городами, без всяких оттенок; но в этом зрелище было что<-то> величественное, заставляющее душу погружаться в себя и думать о вечности, и думать о величии земном и небесном,

и тогда рождаются мысли мрачные и чудесные, как одинокий монастырь, неподвижный памятник слабости некоторых людей, которые не понимали, что где скрывается добродетель, там может скрываться и преступление.

ГЛАВА III

Поздно, поздно вечером приехал Борис Петрович домой; собаки встретили его громким лаем, и только по светящимся окнам можно было узнать строение; ветер шумя качал ветелки, насаженные вокруг господского двора, и когда топот конский раздался, то слуги вышли с фонарями навстречу, улыбаясь и внутренно проклиная барина, для которого они покинули свои теплые постели, а может быть, что-нибудь получше. Палицын взошел в дом; — в зале было темно; оконницы дрожали от ветра и сильного дождя; в гостиной стояла свеча; эта комната была совершенно отделана во вкусе 18-го века: разноцветные обои, три круглые стола; перед каждым небольшое канапе; глухая стена, находящаяся между двумя высокими печьми, на которых стояли безобразные статуйки, была вся измалевана; на ней изображался завядшими красками торжественный въезд Петра I в Москву после Полтавы: эту картину можно бы назвать рисованной программой.

Перед ореховым гладким столом сидела толстая женщина, зевая по сторонам, добрая женщина!.. жиреть, зевать, бранить служанок, приказчика, старосту, мужа, когда он в духе... какая завидная жизнь! и всё это продолжается сорок лет, и продолжится еще столько же... и будут оплакивать ее кончину... и будут помнить ее, и хвалить ее ангельский нрав, и жалеть... чудо что за жизнь! особливо как сравнишь с нею наши бури, поглощающие целые годы, и что еще ужаснее — обрывающие чувства человека, как листы с дерева, одно за другим.

На скамейке, у ног <Натальи> Сергевны (так я назову жену Палицына), сидела молодая девушка, ее воспитанница. — Это был ангел, изгнанный из рая за то, что слишком сожалел о человечестве. — Сальная свеча, горящая на столе, озаряла ее невинный открытый лоб и одну щеку, на которой, пристально вглядываясь, можно было бы различить мелкий золотой пушок; остальная часть лица ее была покрыта густой тенью; и только когда она поднимала большие глаза свои, то иногда две искры света отделялись в темноте; это лицо было одно из тех, какие мы видим во сне редко, а наяву почти никогда. — Ее грудь тихо колебалась, порой она нагибала голову, всматриваясь в свою работу, и длинные космы волос вырывались из-за ушей и падали на глаза; тогда выходила на свет белая рука с продолговатыми пальцами; одна такая рука могла бы быть целою картиной!

Борис Петрович взошел; обе встали.

— Я привез нового холопа, — сказал он. — Клад! — нищий, который захотел работать! — он не должен быть слишком боек — это видно по лицу — но зато будет послушен!.. — вот ты увидишь сама — эй! — Вадимка! — живо!

Взошел безобразный нищий. Госпожа осмотрела его без внимания, как краденый товар... «Какой урод!» — воскликнула она. Но Вадим не слыхал — его душа была в глазах.

Долго супруг разговаривал с супругой о жатве, льне и хозяйственных делах; и вовсе забыли о нищем; он целый битый час простоял в дверях; куда смотрел он? что думал? — он открыл новую струну в душе своей и новую цель своему существованию. Целый час он простоял; никто не заметил; <Наталья> Сергевна ушла в свою комнату, и тогда Палицын подошел к ее воспитаннице.

— Как тебе нравится мой новый холоп?

— Урод! — отвечала Ольга, и вдруг ей послышалось что-то похожее на скрежет зубов. — Охота привозить таких пугал, — продолжала она, — нам бедным пленным птичкам и без них худо!..

— Оттого худо, что ты не хочешь согласиться, — возразил Борис Петрович и намеревался ее обнять.

Ольга покраснела и оттолкнула его руку; это движение было слишком благородно для женщины обыкновенной.

— Плутовка! если бы ты знала, как ты прекрасна: разве у стариков нет сердца, разве нет в нем уголка, где кровь кипит и клокочет? — а было бы тебе хорошо! — если бы — выслушай... у меня есть золотые серьги с крупным жемчугом, персидские платки, у меня есть деньги, деньги, деньги...

— У вас нет стыда! — отвечала Ольга; Палицын посмотрел на нее — и вспыхнул; — но, услыхав шорох в другой комнате, погрозившись ушел.

— Боже!.. — это восклицание невольно вырвалось из ее груди; это была молитва и упрек.

Безобразный нищий все еще стоял в дверях, сложа руки, нем и недвижим — на его ресницах блеснула слеза: может быть, первая слеза — и слеза отчаяния!.. Такие слезы истощают душу, отнимают несколько лет жизни, могут потопить в одну минуту миллион сладких надежд! они для одного человека — что был Наполеон для вселенной: в десять лет он подвинул нас целым веком вперед.

— Знаешь ли ты своих родителей, Ольга? — сказал Вадим.

— Странный вопрос! — отвечала она.

— Знаешь ли ты их, — повторил он таким голосом, который заставил ее содрогнуться; она посмотрела ему пристально в глаза, как будто припоминая нечто давно, давно прошедшее.

— Я сирота; — мой отец меня оставил, когда я была ребенком, — и отправился Бог знает куда — верно очень далеко, потому что он не возвращался — чело Вадима омрачилось, и горькая язвительная улыбка придала чертам его, слабо озаренным догорающей свечой, что-то демонское.

— Хочешь ли знать куда?

— Хочу!.. — и влажные глаза ее ярко заблистали.

— Подумай, — я для тебя человек чужой — может быть, я шучу, насмехаюсь!.. подумай: есть тайны, на дне которых яд, тайны, которые неразрывно связывают две участи; есть люди, заражающие своим дыханием счастье других; все, что их любит и ненавидит, обречено погибели... берегись того и другого — узнав мою тайну, ты отдашь судьбу свою в руки опасного человека: он не сумеет лелеять цветок этот: он изомнет его...

— Хочу знать непременно... — воскликнула неопытная девушка.

Она посмотрела вокруг — нищего уже не было в комнате.

ГЛАВА IV

Прошло двое суток — Вадим еще не объявлял своей тайны... Ужели он только хотел подстрекнуть женское любопытство? если так, то он вполне достиг своей цели. Под разными предлогами, пренебрегая гнев госпожи своей, Ольга отлучалась от скучной работы и старалась встретить где-нибудь в отдаленной пустой комнате Вадима; и странно! она почти всегда находила его там, где думала найти, — и тогда просьбы, ласки, все хитрости были употребляемы, чтобы выманить желанную тайну, — однако он был непреклонен; умел отвести разговор на другой предмет, занимал ее разными рассказами — но тайны не было; она дивилась его уму, его бурному нраву, начинала проникать в его сумрачную душу и заметила, что этот человек рожден не для рабства: — и это заставило ее иметь к нему доверенность; немудрено; — власть разлучает гордые души, а неволя соединяет их.

Однажды она взяла его за руку.

— Не правда ли я очень безобразен! — воскликнул Вадим. Она пустила его руку. — Да, — продолжал он. — Я это знаю сам. — Небо не хотело, чтоб меня кто-нибудь любил на свете, потому что оно создало меня для ненависти; — завтра ты всё узнаешь: — на что мне беречь тебя? — О, если б... не укоряй за долгое молчанье. — Быть может, настанет время и ты подумаешь: зачем этот человек не родился немым, слепым и глухим — если он мог родиться кривобоким и горбатым?..

Поведение Вадима с прочими слугами было непонятно, потому что его цели никто не знал; я объясню его, сколько можно, следующим разговором;

на крыльце дома сидело двое слуг, один старый, другой лет двадцати; вот слова их:

— Заметь, Федька, что кто из грязи вышел, тот лезет в золото! — как этот Вадимка загордился — эдакой урод — мне никогда никакого уважения не делает — когда сам приказчик меня всегда отличает — да и к барину как умеет он подольститься: словно щенок! — Экой век стал нехристианской.

— Не скажу, дядя Ипат!.. он всегда со мной ласков — парень лихой; с ним держи ухо востро: тотчас на удочку подцепит — вот, например, вчера...

— Что вчера?

— Я тебе расскажу эту штуку, дядя... слушай... вчера барин разгневался на Олешку Шушерина и приказал ему влепить 25 палок; повели Олешку на конюшню — сам приказчик и стал его бить; 25 раз ударил да и говорит: это за барина — а вот за меня — и занес руку. Вадим всё это время стоял поодаль, в углу: брови его сходились и расходились. — В один миг он подскочил к приказчику и сшиб его на землю одним ударом. На губах его клубилась пена от бешенства, он хотел что-то вымолвить — и не мог.

— Жаль! — возразил старик, — не доживет этот человек до седых волос. — Он жалел от души, как мог, как обыкновенно жалеют старики о юношах, умирающих преждевременно, во цвете жизни, которых смерть забирает вместо их, как буря чаще ломает тонкие высокие дерева и щадит пни столетние.

Зачем Вадим старался приобрести любовь и доверенность молодых слуг? — на это отвечаю: происшествия, мною описанные, случились за 2 месяца до бунта пугачевского.

Умы предчувствовали переворот и волновались: каждая старинная и новая жестокость господина была записана его рабами в книгу мщения, и только кровь могла смыть эти постыдные летописи. Люди, когда страдают, обыкновенно покорны; но если раз им удалось сбросить ношу свою, то ягненок превращается в тигра: притесненный делается притеснителем и платит сторицею — и тогда горе побежденным!..

Русский народ, этот сторукий исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего повелителя, чем слабость его; он желает быть наказываем, но справедливо, он согласен служить — но хочет гордиться своим рабством, хочет поднимать голову, чтоб смотреть на своего господина, и простит в нем скорее излишество пороков, чем недостаток добродетелей! В 18 столетии дворянство, потеряв уже прежнюю неограниченную власть свою и способы ее поддерживать, — не умело переменить поведения: вот одна из тайных причин, породивших пугачевский год!

[ГЛАВА V]

Но обратимся к нашему рассказу.

Дом Бориса Петровича стоял на берегу Суры, на высокой горе, кончающейся к реке обрывом глинистого цвета; кругом двора и вдоль по берегу построены избы, дымные, черные, наклоненные, вытягивающиеся в две линии по краям дороги, как нищие, кланяющиеся прохожим; по ту сторону реки видны в отдалении березовые рощи и еще далее лесистые холмы с чернеющимися елями, налево низкий берег, усыпанный кустарником, тянется гладкою покатостью — и далеко, далеко синеют холмы, как волны. Вечернее солнце порою играло на тесовой крыше и в стеклах золотыми переливами, раскрашенные резные ставни, колеблемые ветром, стучали и скрып<ели>, качаясь на ржавых петлях. Вокруг старинного дома обходит деревянная резной работы голодарейка, служащая вместо балкона; здесь, сидя за работой, Ольга часто забывала свое шитье и наблюдала синие странствующие воды и барки с белыми парусами и разноцветными флюгерями. Там люди вольны, счастливы! каждый день видят новый берег — и новые надежды! — Песни крестьян, идущих с сенокоса, отдаленный колокольчик часто развлекали ее внимание — кто едет, купец? барин? почта? — но на что ей!.. не всё ли равно... и все-таки не худо бы узнать.

Какая занимательная, полная жизнь, не правда ли?

Теперь она попала из одной крайности в другую: теперь, завернувшись в черную бархатную шубейку, обшитую заячьим мехом, она трепеща отворяет дверь на голодарейку. — Чего тебе бояться, неопытная девушка: Борис Петрович уехал в город, его жена в монастырь, слушать поучения монахов и новости и<з> уст богомолок, не менее ею уважаемых.

Кто идет ей навстречу. — Это Вадим. — Она вздрогнула; — она побледнела, потому что настала роковая минута.

— Что с тобою, — сказал он.

— Ничего...

— А! понимаю! — он закусил губы: — ты меня испугалась...

— Зачем мне бояться тебя, — отвечала гордо Ольга.

— Тем лучше! — продолжал он... — это уже много значит — так я тебе не страшен! не отвратителен... о мой Создатель! вот великое блаженство! право, мне кажется это первое... — он остановился...

— Послушай, что если душа моя хуже моей наружности? но разве я виноват... я ничего не просил у людей, кроме хлеба — они прибавили к нему презрение и насмешки... я имел небо, землю и себя, я был богат всеми чувствами... видел солнце и был доволен... но постепенно всё исчезло: одна мысль, одно открытие, одна капля яда — берегись этой мысли, Ольга.

— Для чего мы здесь, — спросила она с нетерпением.

— Я здесь для того, чтобы тебя видеть.

— А я совсем не для того...

— Опять, опять! — воскликнул Вадим. — Послушай, если хочешь чего-нибудь добиться от меня, то не намекай о моем безобразии: я завистлив, я зол, я всё, что ты хочешь... но пощади меня. — Он закрыл лицо обеими руками. — Ей стало жалко: этот человек, одаренный величайшим самолюбием, просил у нее, слабой девушки, у нее, еще более, чем он, беззащитной, сожаления — или нет... меньше... он просил, чтоб она его не оскорбляла.

Такие речи иногда трогают женское сердце.

Она прервала неприятное молчание:

— Ты говорил, Вадим, что знаешь, где мой отец?..

Он задумался:

— Обещай никогда не укорять меня за то, что я тебе открыл свою тайну.

— Никогда.

— Слушай же: твой отец был дворянин — богат — счастлив — и, подобно многим, кончил жизнь на соломе... ты вздрогнула... но это еще ничего!..

— О, если это ничего — то не продолжай.

— Нет слушай: у него был добрый сосед, его друг и приятель, занимавший первое место за столом его, товарищ на охоте, ласкавший детей его, — сосед искренний, простосердечный, который всегда стоял с ним рядом в церкви, снабжал его деньгами в случае нужды, ручался за него своею головою — что ж... разве этого не довольно для погибели человека? — погоди... не бледней... дай руку: огонь, текущий в моих жилах, перельется в тебя... слушай далее: однажды на охоте собака отца твоего обскакала собаку его друга; он посмеялся над ним: с этой минуты началась непримиримая вражда — 5 лет спустя твой отец уж не смеялся. — Горе тому, кто наказал смех этот слезами! Друг твоего отца открыл старинную тяжбу о землях и выиграл ее и отнял у него всё имение; я видал отца твоего перед кончиной; его седая голова, неподвижная, сухая, подобная белому камню, остановила на мне пронзительный взор, где горела последняя искра жизни и ненависти... и мне она осталась в наследство; а его проклятие живо, живо и каждый год пускает новые отрасли, и каждый год всё более окружает своею тенью семейство злодея... я не знаю, каким образом всё это сделалось... но кто, ты думаешь, кто этот нежный друг? — как, небо!.. в продолжение 17-ти лет ни один язык не шепнул ей: этот хлеб куплен ценою крови — твоей — его крови! и без меня, существа бедного, у которого вместо души есть одно только ненасытимое чувство мщения, без уродливого нищего, это невинное сердце билось бы для него одною благодарностью.

— Вадим, что сказал ты.

— Благодарность! — продолжал он с горьким смехом. — Благодарность! Слово, изобретенное для того, чтоб обманывать честных людей!.. слово, превращенное в чувство! — о, премудрость небесная!.. как легко тебе из ничего сделать святейшее чувство!.. нет, лучше издохнуть с голода и жажды в какой-нибудь пустыне, чем быть орудием безумца и лизать руку, кидающую мне остатки пира… — о, благодарность!..

И он ходил взад и вперед скорыми шагами, сжав крестом руки, — и, казалось, забыл, что не сказал имени коварного злодея… и, казалось, не замечал в лице несчастной девушки страх неизвестности и ожидания… он был весь погребен сам в себе, в могиле, откуда также никто не выходит… в живой могиле, где также есть червь, грызущий вечно и вечно ненасытный.

Безобразные черты Вадима чудесно оживились, гений блистал на челе его, — и глаза, если б остановились в эту минуту на человеке, то произвели бы действие глаз василиска: но они были обращены вверх!..

— Я отгадала! — воскликнула молодая девушка, подойдя с твердостию к Вадиму… — я поняла тебя!.. это Борис Петрович…

Она в самом деле отгадала: великие души имеют особенное преимущество понимать друг друга; они читают в сердце подобных себе, как в книге, им давно знакомой; у них есть приметы, им одним известные и темные для толпы; одно слово в устах их иногда целая повесть, целая страсть со всеми ее оттенками.

Палицын был тот самый ложный друг, погубивший отца юной Ольги — и взявший к себе дочь, ребенка 3 лет, чтобы принудить к молчанию некоторых дворян, осуждавших его поступок; он воспитал ее как рабу, а хвалился своею благотворительностию; десять лет тому назад он играл ее кудрями, забавлялся ее ребячествами и теперь в мыслях готовил ее для постыдных удовольствий. Это было также мщение в своем роде… кто бы подумал!.. столько страданий за то, что одна собака обогнала другую… как ничтожны люди! как верить общему мнению! — Палицын слыл честнейшим человеком во всем околотке — и точно! он погубил только одно семейство.

Я сказал, что великие души понимают друг друга, потому-то Вадим смотрел на нее без удивления, но с тайным восторгом.

Она схватила его за руку и повлекла в комнату, где хрустальная лампада горела перед образами и луч ее сливался с лучом заходящего солнца на золотых окладах, усыпанных жемчугом и каменьями; — перед иконой Богоматери упала Ольга на колени, спина и плечи ее отделяемы были бледнеющим светом зари от темных стен, а красноватый блеск дрожащей лампады озарял ее лицо, вдохновенное, прекрасное, слишком прекрасное для чувств, которые бунтовали в груди ее; Вадим не сводил глаз с этого неземного существа, как будто был счастлив.

Ольга сорвала с шеи богатое ожерелье и бросила его на землю.

— Так уничтожаю последний остаток признательности... Боже! Боже! я невиновна... Ты, Ты сам дал мне вольную душу, а он хотел сделать меня рабой, своей рабой!.. невозможно! невозможно женщине любить за такое благодеяние... терпеть, страдать я согласна... но не требуй более; Боже! если б Ты теперь мне приказал почитать его своим благодетелем я и Тебя перестала бы любить!.. моя жизнь, моя судьба принадлежат Тебе, Создатель, и кому Ты хочешь — но сердце в моей власти!..

Слезы покатились из глаз ее, она склонила голову, рука ее дрожала в руке Вадима...

— Я твой брат! — воскликнул он вне себя.

Она обернулась, встала... как будто не поняла... как будто ужаснулась... Руки ее опустились, как руки умершей, и сомкнутые уста удерживали дыхание.

— Я твой брат! — повторил он дрожащим, страшным голосом.

Она молчала.

Вадим взглянул на нее в последний раз, схватил себя за голову и вышел; и выходя остановился у двери... и в продолжение одной минуты он думал раздробить свою голову об косяк... но эта безумная мысль скоро пролетела... он вышел.

— Брат! — сказала Ольга, смотря ему вослед. — Брат! И без сил она упала на стул.

ГЛАВА VI

Борис Петрович был чрезвычайно доволен своим горбачем (так в доме называли Вадима). Горбач везде почти следовал за ним, на охоту, в поле, на пашню, — исполнял его малейшие желания, предугадывал их. Одним словом, делал всё, чем мог приобрести доверенность, — и если ему удавалось, то неизъяснимая радость процветала на этом суровом лице, которое выражало все чувства, все, — кроме одного, любимого сокровища, хранимого на черный день. Если Борис Петрович хотел наказать кого-нибудь из слуг, то Вадим намекал ему всегда, что есть наказания, которые жесточе, и что вина гораздо больше, нежели Палицын воображал; — а когда недосказанный совет его был исполнен, то хитрый советник старался возбудить неудовольствие дворни, взглядом, движеньями помогал им осуждать господина; но никогда ничего не говорил такого, что бы могло быть пересказано ко вреду его — к неудовольствию рабов или помещика. Он был враждебный Гений этого дома...

Однажды, не знаю зачем, Палицын велел его позвать; искали горбача — не нашли. Так это и осталось.

День был жаркий, серебряные облака тяжелели ежечасно; и синие, покрытые туманом, уже показывались на дальнем небосклоне; на берегу реки была развалившаяся баня, врытая в гору и обсаженная высокими кустами кудрявой рябины; около нее валялись груды кирпичей, между коими вырастала высокая трава и желтые цветы на длинных стебельках. Тут сидел Вадим; один, облокотяся на свои колена и поддерживая голову обеими руками; он размышлял; тени рябиновых листьев рисовались на лице его непостоянными арабесками и придавали ему вид таинственный; золотой луч солнца, скользнув мимо соломенной крыши, упадал на его коленку, и Вадим, казалось, любовался воздушной пляской пылинок, которые кружились и подымались к солнцу.

Вчера он открылся Ольге; — наконец он нашел ее, он встретился с сестрой, которую оставил в колыбели; наконец... о! чудна природа; далеко ли от брата до сестры? — а какое различие!.. эти ангельские черты, эта демонская наружность... Впрочем разве ангел и демон произошли не от одного начала?..

Однако Вадим заметил в ней семейственную гордость, сходство с его душой, которое обещало ему много... обещало со временем и любовь ее... эта надежда была для него нечто новое; он хотел ею завладеть, он боялся расстаться с нею на одно мгновение... — и вот зачем он удалился в уединенное место, где плеск волны не мог развлечь думы его; он не знал, что есть цветы, которые чем более за ними ухаживают, тем менее отвечают стараниям садовника; он не знал, что, слишком привязавшись к мечте, мы теряем существенность; а в его существенности было одно мщение.

Постепенно мысли его становились туманнее; и он полусонный лег на траву — и нечаянно взор его упал на лиловый колокольчик, над которым вились две бабочки, одна серая с черными крапинками, другая испещренная всеми красками радуги; как будто воздушный цветок или рубин с изумрудными крыльями, отделанный в золото и оживленный какою-нибудь волшебницей; оба мотылька старались сесть на лиловый колокольчик и мешали друг другу, и когда один был близко, то ветер относил его прочь; наконец разноцветный мотылек остался победителем; уселся и спрятался в лепестках; напрасно другой кружился над ним... он был принужден удалиться. У Вадима был прутик в руке; он ударил по цвету и убил счастливое насекомое... и с каким-то восторгом наблюдал его последний трепет!..

И Бог знает отчего в эту минуту он вспомнил свою молодость, и отца, и дом родной, и высокие качели, и пруд, обсаженный ветлами... всё, всё... и отец его представился его воображению, таков, каким он возвратился из Москвы, потеряв свое дело... и принужденный продать всё, что у него оста-

лось, дабы заплатить стряпчим и суду. — И потом он видел его лежащего на жесткой постели в доме бедного соседа... казалось, слышал его тяжелое дыхание и слова: отомсти, сын мой, извергу... чтоб никто из его семьи не порадовался краденым куском... и вспомнил Вадим его похороны: необитый гроб, поставленный на телеге, качался при каждом толчке; он с образом шел вперед... дьячок и священник сзади; они пели дрожащим голосом... и прохожие снимали шляпы... вот стали опускать в могилу, канат заскрыпел, пыль взвилась...

Кровь кинулась Вадиму в голову, он шепотом повторил роковую клятву и обдумывал исполнение; он готов был ждать... он готов был всё выносить... но сестра! если... о! тогда и она поможет ему... и без трепета он принял эту мысль; он решился завлечь ее в свои замыслы, сделать ее орудием... решился погубить невинное сердце, которое больше чувствовало, нежели понимало... странно! он любил ее; — или не почитал ли он ненависть добродетелью?..

Вдруг над ним раздался свист арапника, и он почувствовал сильную боль во всей руке своей; — как тигр вскочил Вадим... перед ним стоял Борис Петрович и осыпал его ругательствами.

Кланяясь, слушал он и с покорным видом последовал за Палицыным в дом, где слуги встретили его с насмешливыми улыбками, которые говорили: пришел и твой черед.

С этих пор Вадим ни разу не забывал своей должности.

[ГЛАВА VII]

По́д вечер приехали гости к Палицыну; Наталья Сергевна разрядилась в фижмы и парчевое платье, распудрилась и разрумянилась; стол в гостиной уставили вареньями, ягодами сушеными и свежими; Генадий Василич Горинкин, богатый сосед, сидел на почетном месте, и хозяйка поминутно подносила ему тарелки с сластями; он брал из каждой понемножку и важно обтирал себе губы; он был высокого росту, белокур и вообще довольно ловок для деревенского жителя того века; и это потому, быть может, что он служил в лейб-кампанцах; 25 лет вышед в отставку, он женился и нажил себе двух дочерей и одного сына; — Борис Петрович занимал его разговорами о хозяйстве, о Москве и проч., бранил новое, хвалил старое, как все старики, ибо вообще если человек сам стал хуже, то всё ему хуже кажется; — поздно вечером, истощив разговор, они не знали, что начать; зевали в руку, вертелись на местах, смотрели по сторонам; но заботливый хозяин тотчас нашелся:

— Малой! Египетского, — закричал он, в восторге от своей мысли; — принесли две фляги и две большие серебряные кружки; — начали пить,

потом спорить, хохотать и целоваться; — щеки их разгорелись, и воображение, охлажденное годами, закипело.

— Потешить ли тебя, сосед любезный! — воскликнул Палицын.

— А что?

— Да уж то, что твоей милости и в голову не придет; любишь ли ты пляску?.. а у меня есть девочка — чудо… а как пляшет!.. жжет, а не пляшет!.. я не монах, и ты не монах, Васильич…

— Избави Христос…

— И точно так!..

— Ну что же?

— Да уж то!.. мать моя, женушка, Наталья Сергевна, — вели Оленьке принарядиться в шелковый святошный сарафан да выйти поплясать; а других пришли петь, да песельников-то нам побольше, знаешь, чтоб лихо… — он захохотал, сам верно не зная чему; и начал потирать руки, заране наслаждаясь успехом своей выдумки; — этот человек, обыкновенно довольно угрюмый, теперь был совершенный ребенок.

Наталья Сергевна приказала сбираться песельникам, а сама вышла искать Ольгу.

Где была Ольга?..

В темном углу своей комнаты она лежала на сундуке, положив под голову свернутую шубу; она не спала; она еще не опомнилась от вчерашнего вечера; укоряла себя за то, что слишком неласково обошлась с своим братом… но Вадим так ужаснул ее в тот миг! — Она думала целый день идти к нему, сказать, что она точно достойна быть его сестрой и не обвиняет за излишнюю ненависть, что оправдывает его поступок и удивляется чудесной смелости его.

Со свечой в руке взошла Наталья Сергевна в маленькую комнату, где лежала Ольга; стены озарились, увешанные платьями и шубами, и тень от толстой госпожи упала на столик, покрытый пестрым платком; в этой комнате протекала половина жизни молодой девушки, прекрасной, пылкой… здесь ей снились часто молодые мужчины, стройные, ласковые, снились большие города с каменными домами и златоглавыми церквами; — здесь, когда зимой шумела метелица и снег белыми клоками упадал на тусклое окно и собирался перед ним в высокий сугроб, она любила смотреть, завернутая в теплую шубейку, на белые степи, серое небо и ветлы, обвешанные инеем и колеблемые взад и вперед; и тайные, неизъяснимые желания, какие бывают у девушки в семнадцать лет, волновали кровь ее; и досада заставляла плакать, вырывала иголку из рук.

— Вставай, Ольга! — закричала Наталья Сергевна, сердито толкнув ее.

Ольга вскочила и зажмурилась, встретив свечу прямо перед глазами.

— Что спала, ленивая...

— У меня голова болит!

— Вздор! девчонка молодая... и смеет голова болеть! просто лень, уж так бы и говорила... а то еще лжет... отвечай: спала, лентяйка?

— Я никогда не лгу.

— Как! еще смеет отвечать, когда я говорю! спорить! ах грубиянка; да не я ли тебя выкормила и воспитала, да не я ли тебя от нищего отца-негодяя взяла на свои руки... неблагодарная! — нет! этот народ никогда не чувствует благодеяний! как волка ни корми, а всё в лес глядит... да не смей строить рож, когда я браню тебя!.. стой прямо и не морщись — ты забываешь, кто я?

Ольга хотела что-то сказать, но удержалась; презрение изобразилось на лице ее; мрачный пламень, пробужденный в глазах, потерялся в опущенных ресницах; она стояла, опустив руки, с колеблющейся грудью и обнаженными плечами, и неподвижно внимала обидным изречениям, которые рассердили, испугали бы другую.

— Поди надень шелковый сарафан и выходи плясать... чтоб голова не болела... слышишь... скорей же!.. да не больно финти перед Борисом Петровичем!.. а не то я тебе дам знать!.. ведь вы все ради заманить барскую милость... берегись...

Ольга молчала — но вся вспыхнула... и если б Наталья Сергевна не удалилась, то она не вытерпела бы далее; слезы хотели брызнуть из глаз ее, но женщина иногда умеет остановить слезы... — Как! ее подозревают, упрекают? — и в чем! — о! где ее брат! пускай придет он и выслушает ее клятву помогать ему во всем, что дышит местию и разрушением; пускай посвятит он ее в это грозное таинство, — она готова!..

Теперь она будет уметь отвечать Вадиму, теперь глаза ее вынесут его испытывающие взгляды, теперь горькая улыбка не уничтожит ее твердости; — эта улыбка имела в себе что-то неземное; она вырывала из души каждое благочестивое помышление, каждое желание, где таилась искра добра, искра любви к человечеству; встретив ее, невозможно было устоять в своем намеренье, какое бы оно ни было; в ней было больше зла, чем люди понимать способны.

Ольгу ждут в гостиной, Борис Петрович сердится; его гость поминутно наливает себе в кружку и затягивает плясовую песню... наконец она взошла: в малиновом сарафане, с богатой повязкой; ее темная коса упадала между плечми до половины спины; круглота, белизна ее шеи были удивительны; а маленькая ножка, показываясь по временам, обещала тайные совершенства, которых ищут молодые люди, глядя на женщину как на орудие своих удовольствий; впрочем, маленькая ножка имеет еще другое значение, ко-

торое я бы открыл вам, если б не боялся слишком удалиться от своего рассказа.

Она взошла... и встретила пьяные глаза, дерзко разбирающие ее прелести; но она не смутилась; не покраснела; — тусклая бледность ее лица изобличала совершенное отсутствие беспокойства, совершенную преданность судьбе; — в этот миг она жила половиною своей жизни; она походила на испорченный орган, который не играет ни начало, ни конец прекрасной песни.

Хор затянул плясовую. — Начинай же, Оленька! — закричал Палицын, — не стыдись!.. она вздрогнула; ей пришло на мысль, что она будет плясать перед убийцею отца своего; — эта мысль, как молния, ворвалась в ее душу и озарила там следы минувшего; и все обиды, все несправедливости, унижения рабства, одним словом, жизнь ее встала перед ней, как остов из гроба своего; и она почувствовала его упрек...

Если б можно было изобразить страдание этого нежного существа, то трудно было бы поверить, что она не лишилась рассудка!.. потому что ее ресницы были сухи, и сжатые дрожащие губы не пропустили ни одного вздоха. — «Что же! красотка моя, начинай!.. небось — ты так хороша сегодня!..» — кричали оба помещика; что за лестное поощрение! не правда ли.

Ольга окинула взором всю комнату, надеясь уловить хотя одно сожаление... неуместная надежда; — подлая покорность, глупая улыбка встретили ее со всех сторон — рабы не сожалели об ней, — они завидовали! — пускай завидуют, подумала Ольга; это будет им наказание.

Она начала плясать.

Движения Ольги были плавны, небрежны; даже можно было заметить в них некоторую принужденность, ей несвойственную, но скоро она забылась; и тогда душевная буря вылилась наружу; как поэт, в минуту вдохновенного страданья бросая божественные стихи на бумагу, не чувствует, не помнит их, так и она не знала, что делала, не заботилась о приличии своих движений, и потому-то они обворожили всех зрителей; это было не искусство — но страсть.

И вдруг она остановилась, опомнилась, опустила пылающие глаза, голова ее кружилась; все предметы прыгали перед нею, громкие напевы слились для нее в один звук, нестройный, но решительный, в один звук воспоминания...

Она посмотрела вокруг, ужаснулась... махнула рукой и выбежала.

Борис Петрович встал и, качаясь на ногах, последовал за нею; раскаленные щеки его обнаруживали преступное желание, и с дрожащих губ срывались несвязные слова, но слишком ясные для окружающих.

Дверь в комнату Ольги была затворена; он дернул, и крючок расскочился; она стояла на коленах, закрыв лицо руками и положив голову на

кровать; она не слыхала, как он взошел, потому что произнесла следующие слова: «отец мой! не вини меня...»

— Теперь ты не вывернешься! — воскликнул захохотавши Борис Петрович; — я человек добрый — и ты человек добрый; следовательно...

Она вскочила и, устремив на него мутный взор, казалось, не понимала этих слов; — он взял ее за руку; она хотела вырваться — не могла; сев на постель, он притянул ее <к> себе и начал целовать в шею и грудь; у нее не было сил защищаться; отвернув лицо, она предавалась его буйным ласкам, и еще несколько минут — она бы погибла.

Но вдруг раздался шум, и вбежала хозяйка; между достойными супругами начался крик, спор... однако Наталье Сергевне благодаря винным парам удалось вывести мужа; долго еще слышен был хриплый бас его и пронзительный дишкант Натальи Сергевны; наконец всё утихло — и Ольга тогда только уверилась, что все ее оставили.

Она слышала, как стучало ее испуганное сердце и чувствовала странную боль в шее; бедная девушка! немного повыше круглого плеча ее виднелось красное пятно, оставленное губами пьяного старика... Сколько прелестей было измято его могильными руками! сколько ненависти родилось от его поцелуев!.. встал месяц; скользя вдоль стены, его луч пробрался в тесную комнату, и крестообразные рамы окна отделились на бледном полу... и этот луч упал на лицо Ольги — но ничего не прибавил к ее бледности, и красное пятно не могло утонуть в его сиянье... в это время на стенных часах в приемной пробило одиннадцать.

ГЛАВА VIII

Где скрывался Вадим весь этот вечер? — на темном чердаке, простертый на соломе, лицом кверху, сложив руки, он уносился мыслию в вечность, — ему снилось наяву давно желанное блаженство: свобода; он был дух, отчужденный от всего живущего, дух всемогущий, не желающий, не сожалеющий ни об чем, завладевший прошедшим и будущим, которое представлялось ему пестрой картиной, где он находил много смешного и ничего жалкого. — Его душа расширялась, хотела бы вырваться, обнять всю природу и потом сокрушить ее, — если это было желание безумца, то по крайней мере великого безумца; — что такое величайшее добро и зло? — два конца незримой цепи, которые сходятся, удаляясь друг от друга.

Чудные звуки разрушили мечтания Вадима: то были отрывистые звуки плясовой песни, смешанные с порывами северного ветра; Вадим привстал; луна ударяла прямо в слуховое окно, и свет ее, захватывая несколько измятых соломинок, упадал на противную стену, так что Вадим легко мог

рассмотреть на ней все скважины, каждый клочок моха, высунувшийся между брусьями; — долго он не сводил глаз с этой стены, долго внимал звукам отдаленной песни — ...наконец они умолкли, облако набежало на полный месяц... Вадим упал на постель свою, и безотчетное страдание овладело им; он ломал руки, вздыхал, скрежетал зубами... неизвестный огонь бежал по его жилам, череп готов был треснуть... о! давно ли ему было довольно одной ненависти!..

Маленькая дверь скрыпнула и отворилась; ему послышался легкий шум шагов.

— Брат! — сказал кто-то очень тихо.

Вадим затрепетал. — Между тем облако пробежало, и луна озарила одно плечо и половину лица Ольги; она стояла близ него на коленах.

— Всё понимаю, — воскликнул он, прочитавши в ее взоре ужасное беспокойство.

— Точно? — отвечала Ольга изменившимся голосом; — точно? — я пришла тебя обрадовать, друг мой!..

Друг мой! впервые существо земное так называло Вадима; он не мог разом обнять всё это блаженство; как безумный схватил он себя за голову, чтобы увериться в том, что это не обман сновидения; улыбка остановилась на устах его — и душа его, обогащенная целым чувством, сделалась подобна временщику, который, получив миллион и не умея употребить его, прячет в железный сундук и стережет свое сокровище до конца жизни.

Эти два слова так сильно врезались в его душу, что несколько дней спустя, когда он говорил с самим собою, то не мог удержаться, чтоб не сказать: друг мой...

Если мне скажут, что нельзя любить сестру так пылко, вот мой ответ: любовь — везде любовь, то есть самозабвение, сумасшествие, назовите как вам угодно; — и человек, который ненавидит всё и любит единое существо в мире, кто бы оно ни было, мать, сестра или дочь, его любовь сильней всех ваших произвольных страстей. Его любовь сама по себе в крови чужда всякого тщеславия... но если к ней примешается воображение, то горе несчастному! — по какой-то чудной противуположности, самое святое чувство ведет тогда к величайшим злодействам; это чувство наконец делается так велико, что сердце человека уместить в себе его не может и должно погибнуть, разорваться или одним ударом сокрушить кумир свой; но часто самолюбие берет перевес, и божество падает перед смертным.

— Брат! слушай, — продолжала Ольга, я всё обдумала и решилась сделать первый шаг на пути, по которому ни тебе, ни мне не возвратиться. Всё равно... они все ведут к смерти; — но я не позволю низкому, бездушному человеку почитать меня за свою игрушку... ты или я сама должна это сде-

лать; — сегодня я перенесла обиду, за которую хочу, должна отомстить... брат! не отвергай моей клятвы... если ты ее отвергнешь, то берегись... я сказала, что не перенесу этого... ты будешь добр для меня; ты примешь мою ненависть, как дитя мое; станешь лелеять его, пока оно вырастет и созреет и смоет мой позор страданьями и кровью... да, позор... он, убийца, обнимал, целовал меня... хотел... не правда ли, ты готовишь ему ужасную казнь?..

Вадим дико захохотал и, стараясь умолкнуть, укусил нижнюю губу свою так крепко, что кровь потекла; он похож был в это мгновенье на вампира, глядящего на издыхающую жертву.

— Клянусь этим Богом, который создал нас несчастными, клянусь Его святыми таинствами, Его крестом спасительным, — во всем, во всем тебе повиноваться — я знаю, Вадим, твой удар не будет слаб и неверен, если я сделаюсь орудием руки твоей! — о! ты великий человек!

— Да — теперь, потому что ты меня любишь!..

Она ничего не отвечала.

— Успокойся, опомнись, — сказал Вадим... — ты меня еще не знаешь, но я тебе открою мои мысли, разверну всё мое существование, и ты его поймешь. Перед тобой я могу обнажить странную душу мою: ты не слабый челнок, неспособный переплыть это море; волны и бури его тебя не испугают; ты рождена посреди этой стихии; ты не утонешь в ее бесконечности!.. Помню, как после смерти отца я покидал тебя, ребенка в колыбели, тебя, не знавшую ни добра, ни зла, ни заботы, — а в моей груди уже бродила страсть пагубная, неусыпная; — ты протянула ко мне свои ручонки, улыбалась... будто просила о защите... а я не имел своего куска хлеба.

Меня взяли в монастырь — из сострадания — кормили, потому что я был не собака, и нельзя было меня утопить; в стенах обители я провел мои лучшие годы; в душных стенах, оглушаемый звоном колоколов, пеньем людей, одетых в черное платье и потому думающих быть ближе к небесам, притесняемый за то, что я обижен природой... что я безобразен. Они заставляли меня благодарить Бога за мое безобразие, будто бы он хотел этим средством удалить меня от шумного мира, от грехов... Молиться!.. у меня в сердце были одни проклятия! — часто вечером, когда розовые лучи заходящего солнца играли на главах церкви и медных колоколах, я выходил из святых врат, и с холма, где стояла развалившаяся часовня, любовался на тюрьму свою; — она издали была прекрасна. — Облака призывали мое воображение к себе на воздушные крылья, но насмешливый голос шептал мне: ты способен обнять своею мыслию всё сотворенное; ты мог бы силою души разрушить естественный порядок и восстановить новый, для того-то я тебя не выпущу отсюда; довольно тебе знать, что ты можешь это сделать!..

Никто в монастыре не искал моей дружбы, моего сообщества; я был один, всегда один; когда я плакал — смеялись; потому что люди не могут сожалеть о том, что хуже или лучше их; — все монахи, которых я знал, были обыкновенные, полудобрые существа, глупые от рожденья или от старости, неспособные ни к чему, кроме соблюдения постов... Я желал возненавидеть человечество — и поневоле стал презирать его; душа ссыхалась; ей нужна была свобода, степь, открытое небо... ужасно сидеть в белой клетке из кирпичей и судить о зиме и весне по узкой тропинке, ведущей из келий в церковь; не видать ясное солнце иначе, как сквозь длинное решетчатое окно, и не сметь говорить о том, чего нет в такой-то книге...

Можно прийти в отчаянье!

Однажды, Ольга, я заметил безногого нищего, который, не вмешиваясь в споры товарищей, сидел на земле у святых ворот и только постукивал камнем о камень, и когда вылетала искра, то чудная радость покрывала незначащее его лицо. — Я подошел к нему и сказал: «ты очень благоразумен, любезный, тем, что не мешаешься в их ссору».

— Я без ног, — отвечал он с недовольным видом; — это меня поразило: я ошибся! — однако продолжал свои вопросы: — что был ты прежде, купец или крестьянин?

— Нищий! — отвечал он; — рожден нищим и умру нищим; только разница в том, что я рожден с ногами, а умру безногий!

— Отчего же?

— Отчего! — тут он призадумался; потом продолжал равнодушно: — я был проводником одного слепого; нас было много; — когда слепой умер, то я стал лишним. Мне переломали руки и ноги, чтоб я не даром кормился и был полезен; теперь меня возят в тележке — и дают деньги.

— Знал ли ты своих родителей? — спросил я поспешно.

— Как же!

— А кто были они?

— Нищие! — тут он улыбнулся; не знаю, что было в его улыбке, насмешка над судьбой или надо мною, потому что я слушал его с видом полной доверенности.

«Итак, есть состояние, в котором безобразие не порок», — подумал я. На другой день бежал из монастыря и сделался нищим.

Вадим остановился.

— Понимаю тебя! — воскликнула Ольга и пожала ему руку.

— Я это знал!.. разве ты не сестра мне? — возразил Вадим.

— Послушай, верно само небо хочет, чтобы мы отомстили за бедного отца; как оно согласило все обстоятельства, как оно привело тебя к цели...

— Небо или ад... а может быть, и не они; твердое намерение человека повелевает природе и случаю; — хотя с тех пор как я сделался нищим, какой-то бешеный демон поселился в меня, но он не имел влияния на поступки мои; он только терзал меня; воскрешая умершие надежды, жажду любви, — он странствовал со мною рядом по берегу мрачной пропасти, показывая мне целый рай в отдалении; но чтоб достигнуть рая, надобно было перешагнуть через бездну. Я не решился; кому завещать свое мщение? кому его уступить?

Долго я бродил без крова и пристанища, преданный зимним метелям, как южная птица, отставшая от подруг своих, долго жить — было целью моей жизни.

Но судьба мне послала человека, который случайно открыл мне, что ты воспитываешься у Палицына, что он богат, доволен, счастлив — это меня взорвало!.. я не хотел, чтоб он был счастлив — и не будет отныне; в этот дом я принес с собою моего демона; его дыхание чума для счастливцев, чума... сестра, ты мне простишь... о! я преступник... вижу, и тобой завладел этот злой дух, и в тебе поселилась эта болезнь, которая портит жизнь и поддерживает ее. Ты, земной ангел, без меня не потеряла бы свою беспечность... теперь всё кончено... от моего прикосновения увяли твои надежды... махни рукой твоему спокойствию... цветы не растут посреди бунтующего моря, где есть демон, там нет Бога...

— Как! — воскликнула Ольга, — неужели ты раскаиваешься!.. правда, я женщина — но разве всякая женщина променяет печали и беспокойства на блистательный позор... блистательный! — о! быть любовницей старика, злодея моего семейства... ты желал этого, Вадим, не правда ли?

— Нет — я тогда убил бы тебя...

— А теперь, кто мешает?

— Теперь? теперь... — он опустил глаза в землю и замолк; глубокое страданье было видно в следующих словах: — теперь, убить тебя! — теперь, когда у меня есть слезы, когда я могу плакать на твоих коленах... плакать! о! это величайшее наслажденье для того, чей смех мучительнее всякой пытки!.. нет, я еще не так дурен, как ты полагаешь; — человек, для которого видеть тебя есть блаженство, не может быть совершенным злодеем.

— Меня убить значит сделаться моим благодетелем, — отвечала Ольга, улыбаясь после нескольких минут глубокого молчания.

— А кто скажет: он хорошо поступил, когда мое имя сделается на земле проклятием?

— Я удивляюсь тебе, друг мой!..

— Не хочу! люби меня.

Она закрыла лицо обеими руками.

ГЛАВА IX

Кто из вас бывал на берегах светлой <Суры>? — кто из вас смотрелся в ее волны, бедные воспоминаньями, богатые природным, собственным блеском! — читатель! не они ли были свидетелями твоего счастия или кровавой гибели твоих прадедов!.. но нет!.. волна, окропленная слезами твоего восторга или их кровью, теперь далеко в море, странствует без цели и надежды или в минуту гнева расшиблась об утес гранитный! — Она потеряла доро́гой следы страстей человеческих, она смеется над переменами столетий, протекающих над нею безвредно, как женщина над пустыми вздохами глупых любовников; — она не боится ни ада, ни рая, вольна жить и умереть, когда ей угодно; — сделавшись могилой какого-нибудь несчастного сердца, она не теряет своей прелести, живого, беспокойного своего нрава; и в ее погребальном ропоте больше утешений, нежели жалости. Если можно завидовать чему-нибудь, то это синим, холодным волнам, подвластным одному закону природы, который для нас не годится с тех пор, как мы выдумали свои законы.

Вадим стоял под густою липой, и упоительный запах разливался вокруг его головы, и чувства, окаменевшие от сильного напряжения души, растаяли постепенно, — и отвергнутый людьми, был готов кинуться в объятия природы; она одна могла бы утолить его пламенную жажду и, дав ему другую душу или новую наружность, поправить свою жестокую ошибку. Вадим с непонятным спокойствием рассматривал речные травы и густой хмель, который яркими, зелеными кудрями висел с глинистого берега. Вдали одетые туманом курганы, может быть могилы татарских наездников, подымались, выходили из полосатой пашни; еловые, березовые рощи казались опрокинутыми в воде; и мрачный цвет первых приятно отделялся желтоватой зеленью и белыми корнями последних; летнее солнце с улыбкой золотило эту простую картину.

В шуме родной реки есть что-то схожее с колыбельной песнью, с рассказами старой няни; Вадим это чувствовал, и память его невольно переселилась в прошедшее, как в дом, который некогда был нашим, и где теперь мы должны пировать под именем гостя; на дне этого удовольствия шевелится неизъяснимая грусть, как ядовитый крокодил в глубине чистого, прозрачного американского колодца.

Вдруг раздался в отдалении звон дорожного колокольчика, приносимый ветром... Вадим вздрогнул, не зная сам тому причины; — он обернулся в ту сторону, где деревянный мост показывался между кустов и где дорога желтея терялась за холмами; — там серая пыль клубилась вслед за простою кибиткой... «Не к нам ли? — подумал Вадим; — но этого не может быть!

кому?» — ...его тревожил колокольчик, и непонятное предчувствие как свинец упало на его душу. — Он побрел вдоль по реке и старался рассеяться... но не мог: проклятый колокольчик его преследовал...

Что делалось в барском доме? Там также слышали колокольчик, но этот милый звук не произвел никакого неприятного влияния; Наталья Сергевна подбежала к окну, а Борис Петрович, который не говорил с женой со вчерашнего вечера, кинулся к другому. — Они ждали сына в отпуск — верно это он!..

В тот век почты были очень дурны, или, лучше сказать, они не существовали совсем; родные посылали ходока к детям, посвященным царской службе... но часто они не возвращались, пользуясь свободой; — таким образом однажды мать сосватала невесту для сына, давно убитого на войне. Долго ждала красавица своего суженого; наконец вышла замуж за другого; на первую ночь свадьбы явился призрак первого жениха и лег с новобрачными в постель; «она моя», говорил он — и слова его были ветер, гуляющий в пустом черепе; он прижал невесту к груди своей — где на месте сердца у него была кровавая рана; призвали попа со крестом и святой водою; и выгнали опоздавшего гостя; и, выходя, он заплакал, но вместо слез песок посыпался из открытых глаз его. Ровно через сорок дней невеста умерла чахоткою, а супруга ее нигде не могли сыскать.

Таково предание народное; обратимся к повести нашей. Борис Петрович и жена его три года не получали известия от своего Юриньки!.. месяц тому назад он с богомольцем, которого встретил на дороге, прислал письмо, извещая о скором прибытии... это он!..

Колокольчик звенел всё громче и громче... вот близко, топот, крик ямщика, шум колес... кибитка въехала в ворота... вся дворня столпилась... это он... в военном мундире... выскочил, — и кинулся на шею матери... отец стоял поодаль и плакал... это был их единственный сын!

Впрочем такие вещи не описываются...

Вечером Вадим возвратился в дом... увидал кибитку, поймал некоторые отрывистые речи... И догадался; — с досадой смотрел он на веселую толпу и думал о будущем, рассчитывал дни, сквозь зубы бормотал какие-то упреки... и потом, обратившись к дому... сказал: так точно! слух этот не лжив... через несколько недель здесь будет кровь, и больше; почему они не заплотят за долголетнее веселье одним днем страдания, когда другие, после бесчисленных мук, не получают ни одной минуты счастья!.. для чего *они* любимцы неба, а не я! — о Создатель, если б ты меня любил — как сына, — нет, — как приемыша... половина моей благодарности перевесила бы все их молитвы... — но Ты меня проклял в час рождения... и я прокляну Твое владычество в час моей кончины...

Неподвижен стоял Вадим возле рогожной кибитки; толпа пестрела кругом; старухи, дети, всё теснилось, кричало, смеялось.

— Куда какой красавчик молодой наш барин, — воскликнул кто-то... — Вадим покраснел... и с этой минуты имя Юрия Палицына стало ему ненавистным...

Что делать! он не мог вырваться из демонской своей стихии.

ГЛАВА X

Смерклось; подали свеч; поставили на стол разные закуски и медный самовар; Борис Петрович был в восхищении, жена его не знала, как угостить милого приезжего; дверь в гостиную, до половины растворенная, пропускала яркую полосу света в соседнюю комнату, где по стенам чернели высокие шкафы, наполненные домашней посудой; в этой комнате, у дверей, на цыпочках стояла Ольга и смотрела на Юрия, и больше нежели пустое любопытство понудило ее к этому... Юрий был так хорош!.. — именно таковые лица нравятся женщинам: что-то доброе и вместе буйное, пылкость без упрямства, веселость без насмешки; — он не был напудрен по обычаю того века; длинные русые волосы вились вокруг шеи; и голубые глаза не отражали свет, но, казалось, изливали его на всё, что им встречалось.

Он говорил о столице, о великой Екатерине, которую народ называл матушкой и которая каждому гвардейскому солдату дозволяла целовать свою руку... он говорил об ней, и щеки его горели; и голос его возвышался невольно. — Потом он рассказывал о городских весельствах, о красавицах, разряженных в дымные кружева и волнистые, бархатные платья...

Ольга слушала, и что-то похожее на зависть встревожило ее, «если б обо мне так говорили, если б и на мне блистали кружева и дорогие камни... о, я была бы счастливей!..» — всякой 18-тилетней девушке на ее месте эти мысли пришли бы в голову. Наряды необходимы счастью женщины, как цветы весне.

И Ольга боялась, чтоб он не обернулся к дверям и не заметил ее любопытства; маленькая гордость дышала в этом опасении...

Однако ж как уйти?.. Юрий говорит так приятно. — В звуках его голоса так ясно выражались благородные чувства, — что если б даже невозможно было разобрать слов его — то — ей казалось... она поняла бы смысл разговора!..

Нельзя сомневаться, что есть люди, имеющие этот дар, но им воспользоваться может только существо избранное, существо, которого душа создана по образцу их души, которого судьба должна зависеть от их судьбы...

и тогда эти два созданья, уже знакомые прежде рождения своего, читают свою участь в голосе друг друга; в глазах, в улыбке... и не могут обмануться... и горе им, если они не вполне доверятся этому святому таинственному влечению... оно существует, должно существовать вопреки всем умствованиям людей ничтожных, иначе душа брошена в наше тело для того только, чтоб оно питалось и двигалось — что такое были бы все цели, все труды человечества без любви? И разве нет иногда этого всемогущего сочувствия между народом и царем? Возьмите Наполеона и его войско! — долго ли они прожили друг без друга?

О, как Ольга была прекрасна в эту первую минуту самопознания, сколько жизни, невинной, обещающей жизни, было в стесненном дыханье этой полной груди, где билось сердце, обещанное мукам и созданное для райского блаженства...

Надобно было камню упасть в гладкий источник.

Она обернулась...

Полоса яркого света, прокрадываясь в эту комнату, упадала на губы, скривленные ужасной, оскорбительной улыбкой, — всё кругом покрывала темнота, но этого было ей довольно, чтобы тотчас узнать брата... на синих его губах сосредоточилась вся жизнь Вадима, и как нарочно они одни были освещены...

Он приблизился: от него веяло холодом.

— Поздравляю, Ольга...

— С чем?

— Не правда ли... как хорош собою молодой твой господин!..

— И твой! — обидевшись, возразила Ольга...

— Нимало... я добровольно стал слугою... я не обязан им сохранением жизни, воспитанием... но ты!.. о, посмотри на него, что за ловкость, что за румянец...

Она вздохнула...

— И эта прекрасная голова упадет под рукою казни... — продолжал шепотом Вадим... — эти мягкие, шелковые кудри, напитанные кровью, разовьются... ты помнишь клятву... не слишком ли ты поторопилась... о мой отец! мой отец!.. скоро настанет минута, когда беспокойный дух твой, плавая над их телами, благословит детей твоих, — скоро, скоро...

— Скоро!..

— Я вижу твое восхищение! — холодно возразил ей брат; — скоро! мы довольно ждали... но зато не напрасно!.. Бог потрясает целый народ для нашего мщения; я тебе расскажу... слушай и благодари: на Дону родился дерзкий безумец, который выдает себя за государя... народ, радуясь тому, что их государь носит бороду, говорит как мужик, обратился к нему... дво-

ряне гибнут, надобно же игрушку для народа… без этого и праздник не праздник!.. вино без крови для них стало слабо. Ты дрожишь от радости, Ольга…

Она молча поникла головою и удалилась. У нее в сердце уж не было мщения; — теперь, теперь вполне постигла она весь ужас обещанья своего; хотела молиться... ни одна молитва не предстала ей ангелом-утешителем: каждая сделалась укоризною, звуком напрасного раскаянья… «какой красавец сын моего злодея», — думала Ольга; и эта простая мысль всю ночь являлась ей с разных сторон, под разными видами: она не могла прогнать других, только покрыла их полусветлой пеленою, — но пропасть, одетая утренним туманом, хотя не так черна, зато кажется вдвое обширнее бедному путнику.

Между тем Вадим остался у дверей гостиной, устремляя тусклый взор на семейственную картину, оживленную радостью свидания… и в его душе была радость, но это был огонь пожара возле тихого луча месяца.

Долго стоял он тут и любовался красотою молодого Палицына — и так забылся, что не слыхал, как Борис Петрович в первый раз закричал: «эй, малой… Вадимка!» — опомнясь, он взошел; — с сожалением посмотрел на него Юрий, но Вадим не смел поднять на него глаз, боясь, чтобы в них не изобразились слишком явно его чувства…

— Как тебе нравится мой горбач!.. — сказал Борис Петрович, — преуморительный…

— Каждый человек, батюшка, — отвечал Юрий, — имеет недостатки… он не виноват, что изувечен природой!..

— Если ты будешь хорошо мне служить, — продолжал он, обратясь к мрачному Вадиму, — то будь уверен в моей милости!.. теперь ступай…

— Пошел вон, — воскликнул отец, потому что Вадим не трогался с места: он был смущен добротою юноши, благосклонным выражением лица его; — и зависть возвратилась в его душу только тогда, как он подошел к дверям, но возвратилась, усиленная мгновенным отсутствием.

Перешагнув через порог, он заметил на стене свою безобразную тень; мучительное чувство… как бешеный он выбежал из дома и пустился в поле; поутру явился он на дворе, таща за собою огромного волка… блуждая по лесам, он убил этого зверя длинным ножом, который неотлучно хранился у него за пазухой… вся дворня окружила Вадима, даже господа вышли подивиться его отважности… Наконец и он насладился минутой торжества! — «Ты будешь моим стремянным!» — сказал Борис Петрович.

ГЛАВА XI

Борис Петрович отправился в отъезжее поле с новым своим стремянным и большою свитою, состоящей из собак и слуг низшего разряда; даже в старости Палицын любил охоту страстно и спешил, когда только мог, углубляться в непроходимые леса, жилища медведей, которые были его главными врагами.

Что делать Юрию? — в деревне, в глуши? — следовать ли за отцом! — нет, он не находит удовольствия в войне с животными; — он остался дома, бродит по комнатам, ищет рассеянья, обрывает клочки раскрашенных обоев; чудные занятия для души и тела; — но что-то мелькнуло за углом… женское платье; — он идет в ту сторону и вступает в небольшую комнату, освещенную полуденным солнцем; ее воздух имел в себе что-то особенное, роскошное; он, казалось, был оживлен присутствием юной, пламенной девушки.

Кто часто бывал в комнате женщины, им любимой, тот верно поймет меня… он испытал влияние этого очарованного воздуха, который породнился с божеством его, который каждую ночь принимает в себя дыхание свежей девственной груди — этот уголок, украшенный одной постелью, не променял бы он за весь рай Магомета…

— А, это ты, Ольга! — сказал засмеявшись молодой Палицын. — Вообрази, я думал, что гонюсь за тенью, — и как обманут!..

— Вас огорчает эта ошибка? — о, если так, я могу вас утешить, стану с вами говорить как тень, то есть очень мало… и потом…

— Ради Бога — не мало, любезная Ольга! — я готов тебя слушать целый день; не можешь вообразить, какая тоска завладела мной; брожу везде… не с кем слова молвить… матушка хозяйничает, — …ради неба, говори, говори мне… брани меня… только не избегай!..

— Как скоро вы забыли московских красавиц; думайте об них, это вас займет.

— Думать об них — и говорить с тобою? Ольга, это нейдет вместе!..

— А что я могу сказать вам, степная, простая девушка? — что я видела, что слышала? — я не хочу быть вашим лекарством от скуки; всякое лекарство, со всей своей пользой, очень неприятно.

— Ты не в духе сегодня, — воскликнул Юрий, взяв ее за руку и принудив сесть. — Ты сердишься на меня или на матушку… если тебя кто-нибудь обидел, скажи мне; клянусь честию, этому человеку худо будет…

— Не надо мне вашей защиты, вашего мщения… оставьте мою руку!.. вы хотите забавляться? привозите других, более покорных, чем я, более способных настроивать свое сердце и лицо по вашему приказу… мне грустно, скучно… — да сверх того я не раба ваша… и так…

— Ольга, послушай, если хочешь упрекать… о! прости мне; разве мое поведение обнаружило такие мысли? разве я поступал с Ольгой как с рабой? — ты бедна, сирота, — но умна, прекрасна; — в моих словах нет лести; они идут прямо от души; чуждые лукавства, мои мысли открыты перед тобою; — ты себе же повредишь, если захочешь убегать моего разговора, моего присутствия; тогда-то я тебя не оставлю в покое; — сжалься… я здесь один среди получеловеков, и вдруг в пустыне явился мне ангел, и хочет, чтоб я к нему не приближался, не смотрел на него, не внимал ему? — Боже мой! — в минуту огненной жажды видеть перед собою благотворную влагу, которая, приближаясь к губам, засыхает.

— Прекрасны ваши слова, Юрий Борисович, я не спорю, всё это очень ново для меня… со всем тем я прошу вас оставить девушку, несчастную с самой колыбели и потому нимало не расположенную забавлять вас… поверьте слову: гибель вокруг меня…

— Сто раз готов я погибнуть у ног твоих!..

— Вы меня не поняли… я кажусь вам странною теперь, — быть может… но…

— Ты мила по-своему…

— Что за похвалы!.. — с насмешливым видом воскликнула Ольга.

— Не сердись!.. — возразил Юрий; и улыбаясь он склонился к ней; потом взял в руки ее длинную темную косу, упадавшую на левое плечо, и прижал ее к губам своим; холод пробежал по его членам, как от прикосновения могучего талисмана; он взглянул, на нее пристально, и на этот раз удивительная решимость блистала в его взоре; она не смутилась — но испугалась.

— Перестаньте, — сказала Ольга с важностью, — мне надо быть одной.

Напрасно он старался угадать в глазах ее намеренье кокетки — помучить; ему не удалось!..

— Ты довольна будешь мною! — сказал он, медленно выходя из комнаты.

Такие разговоры, занимательные только для них, повторялись довольно часто, и содержание и заключение почти всегда было одно и то же; и если б они читали эти разговоры в каком-нибудь романе 19-го века, то заснули бы от скуки, но в блаженном 18 и в год, описываемый мною, каждая жизнь была роман; теперь жизнь молодых людей более мысль, чем действие; героев нет, а наблюдателей чересчур много, и они похожи на сладострастного старика, который, вспоминая прежние шалости и присутствуя на буйных пирах, хочет пробудить погаснувшие силы. Этот галванизм кидает величайший стыд на человечество; — оно приблизилось к кончине своей; пускай… но зачем прикрывать седины детскими гремушками? — зачем привскакивать на смертном одре, чтобы упасть и скончаться <на> полу?

Но возвратимся к нашей повести и поторопимся окончить главу.

Ольга старанием утаить свою любовь еще больше ее обнаруживала; Юрий был опытен, часто любил, чаще был любим и, выучен привычкой, читал в ее глазах больше, чем она осмеливалась читать в собственной душе. — Она думала об *нем* и боялась думать о любви своей; ужас обнимал ее сердце, когда она осмеливалась вопрошать его, потому что прошедшее и будущее тогда являлись встревоженному воображению Ольги; таков был ужас Макбета, когда, готовый сесть на королевский престол, при шумных звуках пира, он увидал на нем окровавленную тень Банкуо... но этот ужас не уменьшил его честолюбия, которое превратилось в болезненный бред; то же самое случилось с любовью Ольги.

Юрий не мог любить так нежно, как она; он всё перечувствовал, и прелесть новизны не украшала его страсти; но в книге судьбы его было написано, что волшебная цепь скует до гроба его существование с участью этой женщины.

Когда он не был с нею вместе, то скука и спокойствие не оставляли его; — но приближаясь к ней, он вступал в очарованный круг, где не узнавал себя, и благословлял свой плен, и верил, что никогда не любил сильней теперешнего, что до сих пор не понимал определения красоты; — пожалейте об нем.

ГЛАВА XII

Таинственные ответы Ольги, иногда ее притворная холодность всё более и более воспламеняли Юрия; он приписывал такое поведение то гордости, то лукавству; но чаще, по недоверчивости, свойственной всем почти любовникам, сомневался в ее любви... однажды после долгой душевной борьбы он решился вытребовать у нее полного признанья... или получить совершенный отказ!

— Какое ребячество! — скажете вы; но в том-то и прелесть любви; она превращает нас в детей, дарит золотые сны как игрушки; и разбивать эти игрушки в минуту досады доставляет немало удовольствия; особливо когда мы надеемся получить другие.

С мрачным лицом он взошел в комнату Ольги; молча сел возле нее и взял ее за руку. Она не противилась; не отвела глаз от шитья своего, не покраснела... не вздрогнула; она всё обдумала, всё... и не нашла спасения; она безропотно предалась своей участи, задернула будущее черным покрывалом и решилась любить... потому что не могла решиться на другое.

— Ольга! — сказал Юрий неверным голосом; — я люблю тебя.

— Знаю, — отвечала она.

— Знаю, знаю! — только-то! и я больше от тебя не услышу!

— Чего же вам больше!.. я слушаю, молчу...

— О, разумеется, этого слишком много! — я недостоин даже приблизиться к тебе... я бы должен был любоваться тобою, как солнцем и звездами; ты прекрасна! кто спорит, но разве это дает право не иметь сердца?

— Я у Бога ни того, ни другого не просила... если мое обращение вам не нравится, то оставьте меня; мы дурно сделали, что узнали друг друга; но всё на свете может поправиться...

— Как легко, сделав человека несчастным, сказать ему: будь счастлив! — всё на свете может поправиться!.. Ольга, слушай, в последний раз говорю тебе; я люблю больше, чем ты можешь вообразить; это огонь... огонь... о, пойми меня... у меня нет слов... я люблю тебя! если ты не понимаешь этого, то всё остальное напрасно... отвечай: чего ты от меня требуешь? каких жертв?..

— Забыть меня! — воскликнула Ольга с удивительною твердостию.

— Нет! никогда... я совершу невозможное, чтоб обладать тобою, — но забыть... нет власти...

Он замолчал; ходил взад и вперед по комнате, потом остановился у окна, закрыл лицо руками. Так прошло несколько минут. Наконец он обернулся и сказал:

— Я ошибался, признаюсь в том откровенно — я ошибался... ах! это была минута, но райская минута, это был сон — но сон божественный; теперь, теперь всё прошло... уничтожаю навеки все ложные надежды, уничтожаю одним дуновением все картины воображения моего; — прочь от меня вера в любовь и счастье; Ольга, прощай. Ты меня обманывала — обман всегда обман; не всё ли равно, глаза или язык? чего желала ты? не знаю... может быть... о, возьми мое презрение себе в наследство... я умер для тебя.

И он сделал шаг, чтоб выйти, кидая на нее взор, свинцовый, отчаянный взор, один из тех, перед которыми, кажется, стены должны бы были рушиться; горькое негодованье дышало в последних словах Юрия; она не могла вынести долее, вскочила и рыдая упала к е<го> ногам. В восторге поднял он ее, прижал к груди своей и долго не мог выговорить двух слов; против его сердца билось другое, нежное, молодое, любящее со всем усердием первой любви. Они сели, смотрели в глаза друг другу, не плакали, не улыбались, не говорили, — это был хаос всех чувств земных и небесных, вихорь, упоение неопределенное, какое не всякий испытал и никто изъяснить не может. Неконченные речи в беспорядке отрывались от их трепещущих губ, и каждое слово стоило поэмы... — само по себе незначащее, но одушевленное звуком голоса, невольным телодвижением — каждое слово было целое блаженство!

— Я любим, любим, любим, — говорил Юрий… — я буду повторять это слово так громко, так часто, что ангелы услышат — и позавидуют…

— Пускай же ангелы — только не люди!..

— Отчего же, мой ангел!..

— Тогда, может быть, они тебя отнимут у бедной Ольги…

— Ты прекрасна! — что за пустой страх?.. ты моя — моя…

— Не раба! надеюсь!

— Больше, сокровище!

— О мой милый… целуй, целуй меня… я не хочу быть сокровищем скупого… — пускай мне угрожают адские муки… надобно же заплатить судьбе… я счастлива! — не правда ли?

— Ты счастлива! — позволь мне обнять тебя — крепче, крепче…

— Почему же нет! отдав тебе душу, могу ли отказать в чем-нибудь.

— Эти волосы… прочь их! — вот так… чтоб твой поцелуй и мой слились в один…

— Боже, Боже… теперь умереть… о! зачем не теперь?

ГЛАВА XIII

— Друг мой, Ольга, есть Бог на небесах, — есть на земле счастье…

— Дай Бог тебе счастье, если ты веришь им обоим! — отвечала она, и рука ее играла густыми кудрями беспечного юноши; их лодка скользила неприметно вдоль по реке, оставляя белый змеистый след за собою между темными волнами; весла, будто крылья черной птицы, махали по обеим сторонам их лодки; они оба сидели рядом, и по веслу было в руке каждого; студеная влага с легким шумом всплескивала, порою озаряясь фосфорическим блеском; и потом уступала, оставляя быстрые круги, которые постепенно исчезали в темноте; — на западе была еще красная черта, граница дня и ночи; зарница, как алмаз, отделялась на синем своде, и свежая роса уж падала на опустелый берег <Суры>; — мирные плаватели, посреди усыпленной природы, не думая о будущем, шутили меж собою; иногда Юрий каким-нибудь движением заставлял колебаться лодку, чтоб рассердить, испугать свою подругу; но она умела отомстить за это невинное коварство; неприметно гребла в противную сторону, так что все его усилия делались тщетны, и челнок останавливался, вертелся… смех, ласки, детские опасения, всё так отзывалось чистотой души, что если б демон захотел искушать их, то не выбрал бы эту минуту; — Ольга не считала свою любовь преступлением; она знала, хотя всячески старалась усыпить эту мысль, знала, что близок ужасный, кровавый день… и… небо должно было заплатить ей за будущее —

в настоящем; она имела сильную душу, которая не заботилась о неизбежном, и по крайней мере хотела жить — пока жизнь светла; как она благодарила судьбу за то, что брат ее был далеко; один взор этого непонятного, грозного существа оледенил бы всё ее блаженство; — где взял он эту власть?..

— Будет ли конец нашей любви! — сказал Юрий, перестав грести и положив к ней на плечо голову; — нет, нет!.. — она продолжится в вечность, она переживет нашу земную жизнь, и если б наши души не были бессмертны, то она сделала бы их бессмертными; — клянусь тебе, ты одна заменишь мне все другие воспоминанья — дай руку... эта милая рука; — она так бела, что светит в темноте... смотри, береги же мой перстень, Ольга! — ты не слушаешь? не веришь моим клятвам?

Вместо ответа она запела вполголоса следующую песню:

Воет ветер,
Светит месяц:
Девушка плачет —
Милый в чужбину скачет;
Ни дева, ни ветер
Не замолкнут:
Месяц погаснет,
Милый изменит!

— Прочь эту песню, — воскликнул Юрий, — кто тебя ее выучил?

— Никто, сама.

— Не верю. — Разве ты во мне сомневаешься!..

— Нет; — однако ты слишком обещаешь — мы скоро расстанемся... а там — ...там...

— О, если только это пугает тебя, то знай... я скоро не поеду... я пробуду здесь еще три месяца...

— Три месяца! Боже! — она содрогнулась; — ее сердце облилось холодом.

— А потом, — сказал Юрий, стараясь ее утешить и не понимая значения этого: Боже! — потом съезжу в полк, возьму отставку, и возвращусь опять к тебе... тогда ты будешь моею, вопреки всем ничтожным предрассудкам. — Если даже мой отец захочет разлучить нас, если... о — нет! — он дал мне жизнь, а ты меня даришь миллионом жизней в каждой улыбке...

— Три месяца, три месяца, — и несколько дней, — повторяла не слушая Ольга... ее ум остановился на этой пагубно неизменной мысли.

Они причалили к берегу... уж было очень темно; деревенская церковь с своей странной колокольней рисовалась на полусветлом небосклоне за-

пада подобно тени великана; и попеременно озаряемые окна дома одни были видны сквозь редкий ветельник.

Они шли под руку; молча, — вдоль по узкой тропинке и, поровнявшись с разрушенной баней, вдруг услышали грубые голоса; — «посмотрим, что такое», — шепнул Юрий. Она машинально остановилась.

— Да скоро ли? — спросил первый голос.

— На днях; уж в округе начинается кутерьма. Да будет ли у вас готово, — сказал другой.

— Всё будет — уж это наше дело... одни только не смеем; и до вашего прихода будем молчать... воля твоя.

— Ну пожалуй.

— Да правда ли, что будут соль и хлеб давать даром...

— Не ведаю — только будет больно хорошо... а вино будет даром, из барских погребов... — тут несколько слов Юрий не расслушал.

— Да Вадим был у нас, — сказал первый голос...

При этом имени Ольга с необыкновенной силой увлекла за собою Палицына.

— Куда ты? — сказал он с удивлением: — что с тобою?..

— Скорей! скорей! — больше она не могла выговорить.

— Это должны быть воры! — подумал Юрий и перестал дивиться ее испугу.

Пришедши домой, Ольга удалилась немедленно в свою комнату и заперлась.

Наталья Сергевна встретила сына и с улыбкой намекнула о его ночной прогулке; что за радость этой доброй женщине; теперь муж ее верно не решится погрешить против сына и жены в одно время; — «впрочем, — думала она, — молодым людям простительно шалить; а как седому старику таким вещам придти в голову, — знает Царь небесный!..»

— Мы поедем завтра в монастырь, Юрьюшка, — сказала она вошедшему сыну; — Борис Петрович еще долго пропорскает... куда я рада, что ты не в него!..

И точно: предпочитая своей Наталье Сергевне медведей и собак, почтенный помещик не слишком льстил ее самолюбию, хотя у женщин 18 столетия оно не было так взыскательно, как у наших столичных красавиц.

Но век иной, иные нравы!

ГЛАВА XIV

В 8 верстах от деревни Палицына, у глубокого оврага, размытого дождями, окруженная лесом, была деревушка, бедная и мирная; построенная на холме, она господствовала, так сказать, над окрестностями; ее серый дым был виден издалека, и солнце утра золотило ее соломенные крыши, прежде нежели верхи многих лип и дубов. Здесь отдыхал в полдень Борис Петрович с толпою собак, лошадей и слуг; — травля была неудачная, две лисы ушли от борзых и один волк отбился; в тороках у стремянного висело только два зайца... и три гончие собаки еще не возвращались из лесу на звук рогов и протяжный крик ловчего, который, лишив себя обеда из усердия, трусил по островам с тщетными надеждами, — Борис Петрович с горя побил двух охотников, выпил полграфина водки и лег спать в избе; — на дворе всё было живо и беспокойно; собаки, разделенные по сворам, лакали в длинных корытах, — лошади валялись на соломе, а бедные всадники поминутно находились принужденными оставлять котел с кашей, чтоб нагайками подымать их. День был ясен и свеж; северный ветер гнал отрывистые тучки по голубым сводам неба, и вершины лесов шумели, подобно водопаду, качаясь взад и вперед.

Между тем слуги, расположась под навесом, шепотом сообщали друг другу разные известия о самозванце, о близких бунтах, о казни многих дворян — и тайно или явно почти каждый радовался... Это были люди, привыкшие жить в поле, гоняться за зверьми и неспособные к мирным чувствам, к сожалению и большой приверженности; вино, буйство, охота — их единственные занятия — не могли внушить им много набожных мыслей; и если между ними и был один верный, честный слуга, то из осторожности молчал или удалялся. Однажды дошли как-то эти слухи до Бориса Петровича: «вздор, — сказал он, — как это может быть?..» Такая беспечность погубила многих наших прадедов; они не могли вообразить, что народ осмелится требовать их крови: так они привыкли к русскому послушанию и верности!

— Ты помнишь, недавно, когда барин тебя посылал на три дни в город, — здесь нам рассказывали, что какой-то удалец, которого казаки величают Красной шапкой, всё ставит вверх дном, что он кум сатане и сват дьяволу, ха-ха-ха! — что будто сам батюшка хотел с ним посоветаться! Видно хват, — так говорил Вадиму старый ловчий по прозванию Атуев, закручивая длинные рыжие усы.

— Я его знаю, — отвечал Вадим с улыбкой, — и вы его скоро увидите! В этих словах было столько уверенности, столько убедительной твердости, что поневоле старый ловчий вздрогнул. «Ты черт или Гуммель», — сказал

Фильд, когда в первый раз услыхал этого славного артиста; Атуев не сказал, но подумал почти то же самое.

— Когда! — воскликнули многие; и между тем глаза их недоверчиво устремлены были на горбача, который, с минуту помолчав, встал, оседлал свою лошадь, надел рог — и выехал со двора.

Удивленная толпа смотрела ему вслед, и по частому топоту они догадались, что Вадим пустился вскачь.

Куда? зачем? — если б рассказывать все их мнения, то мне был бы нужен талант Вальтер-Скотта и терпение его читателей.

Густым лесом ехал Вадим; направо и налево расстилались кусты ореховые и кленовые, меж ними возвышались иногда высокие полусухие дубы, с змеистыми сучьями, странные, темные — и в отдалении синели холмы, усыпанные сверху донизу лесом, пересекаемые оврагами, где покрытые мохом болота обманчивой, яркой зеленью манили неосторожного путника. Вадим ехал скоро, и глубокая, единственная дума, подобно коршуну Прометея, пробуждала и терзала его сердце; вдруг звучная, вольная песня привлекла его внимание; он остановился; прислушался... песня была дика и годилась для шума листьев и ветра пустыни; вот она:

Моя мать родная —
Кручинушка злая;
Мой отец родной
Назывался судьбой.
Мои братья хоть люди
Не хотят к этой груди
Прижаться,
Им стыдно со мною,
С бедным сиротою,
Обняться.
Но мне Богом дана
Молодая жена,
Вольность-волюшка,
Воля милая,
Несравненная,
Неизменная;
С ней нашлись другие у меня
Мать, отец и семья;
А моя мать — степь широкая,
А мой отец — небо далекое,
А братья мои в лесах

Березы да сосны;
Скачу ли я на коне,
Степь отвечает мне,
Брожу ли поздней порой,
Небо светит луной;
Мои братья в жаркий день,
Призывая под тень,
Машут издали руками,
Кивают мне головами,
А вольность мне гнездо свила,
Как мир необъятное!

Так пел казак, шагом выезжая на гору по узкой дороге, беззаботно бросив повода и сложа руки. Конь привычный не требовал понуждения; и молодой казак на свободе предавался мечтам своим. Его голос был чист и полон, его сердце казалось таким же.

Не песня, но вид казака сильно подействовал на Вадима; он ударил себя в лоб рукой, как обыкновенно делают, когда является неожиданная мысль.

— Стой, — сказал он, устремив мрачный взор на подъехавшего казака; не знаю, что больше подействовало на последнего, голос или взор? но казак остановился и хотел ухватиться за саблю.

— Не нужно! — продолжал Вадим: — поезжай скажи Белбородке, что послезавтра я его жду к себе в гости; — нынешнюю весну Палицын поставил на дворе новые качели… к двум веревкам не долго прибавить третью… итак послезавтра… скажи, что Красная шапка ему кланяется. — Ступай.

При имени Красной шапки казак почтительно съехал с дороги и дал место Вадиму, который гордо и вместе ласково кивнул головой, ударил нагайкой лошадь… и ускакал.

Надобно иметь слишком великую или слишком ничтожную, мелкую душу, чтоб так играть жизнью и смертию!.. одним словом Вадим убил семейство! и что же он такое? — вчера нищий, сегодня раб, а завтра бунтовщик, незаметный в пьяной, окровавленной толпе! — Не сам ли он создал свое могущество? какая слава, если б он избрал другое поприще, если б то, что сделал для своей личной мести, если б это терпение, геройское терпение, эту скорость мысли, эту решительность обратил в пользу какого-нибудь народа, угнетенного чуждым завоевателем… какая слава! если б, например, он родился в Греции, когда турки угнетали потомков Леонида… а теперь?.. имея в виду одну цель — смерть трех человек, из коих один только виновен, теперь он со всем своим гением должен потонуть в пучине неизвестности…

ужели он родился только для их казни!.. разобрав эти мысли, он так мал сделался в собственных глазах, что готов был бы в один миг уничтожить плоды многих лет; и презрение к самому себе, горькое презрение обвилось как змея вокруг его сердца и вокруг вселенной, потому что для Вадима всё заключалось в его сердце!

Теряясь в таких мыслях, он сбился с дороги и (был ли то случай) неприметно подъехал к тому самому монастырю, где в первый раз, прикрытый нищенским рубищем, пламенный обожатель собственной страсти, он предложил свои услуги Борису Петровичу... о, тот вечер неизгладимо остался в его памяти, со всеми своими красками земными и небесными, как пестрый мотылек, утонувший в янтаре. И теперь опять он здесь, теперь, когда, видя близкий конец своего ужасного предприятия, он едва может перенесть тягость одной насмешки самолюбия. Спрашиваю: случай ли привел его сюда!..

Звонили ко всенощной, и протяжный дрожащий вой колокола раздавался в окрестности; солнце было низко, и одна половина стены ярко озарялась розовым блеском заката; народ из соседних деревень, в нарядных одеждах, толпился у святых врат, и Вадим издали узнал длинные дроги Палицына, покрытые узорчатым ковром. Кто же здесь? верно Наталья Сергевна; он привязал свою лошадь к толстой березе и пошел в монастырь; — сердце его билось болезненным ожиданием, но скоро перестало — один любопытный взгляд толпы, одно насмешливое слово! и человек делается снова демон!..

Тихо Вадим приближался к церкви; сквозь длинные окна сияли многочисленные свечи и на тусклых стеклах мелькали колеблющиеся тени богомольцев; но во дворе монастырском всё было тихо; в тени, окруженные высокою полынью и рябиновыми кустами, белели памятники усопших с надписями и крестами; свежая роса упадала на них, и вечерние мошки жужжали кругом; у колодца стоял павлин, распуша радужный хвост, неподвижен, как новый памятник; не знаю, с какою целью, но эта птица находится почти во всех монастырях!

По обеим сторонам крыльца церковного сидели нищие, прежние его товарищи... они его не узнали или не смели узнать... но Вадим почувствовал неизъяснимое сострадание к этим существам, которые подобно червям ползают у ног богатства, которые, без родных и отечества, кажется, созданы только для того, чтобы упражнять в чувствительности проходящих!.. но люди ко всему привыкают, и если подумаешь, то ужаснешься; как знать? может быть чувства святейшие одна привычка, и если б зло было так же редко, как добро, а последнее — наоборот, то наши преступления считались бы величайшими подвигами добродетели человеческой!

Вадим, сказал я, почувствовал сострадание к нищим и остановился, чтобы дать им что-нибудь; вынув несколько грошей, он каждому бросал по одному; они благодарили нараспев, давно затверженными словами и даже не подняв глаз, чтобы рассмотреть подателя милостыни... это равнодушие напомнило Вадиму, где он и с кем; он хотел идти далее; но костистая рука вдруг остановила его за плечо; — «постой, постой, кормилец!» — пропищал хриплый женский голос сзади его, и рука нищенки всё крепче сжимала свою добычу; он обернулся — и отвратительное зрелище представилось его глазам: старушка, низенькая, сухая, с большим брюхом, так сказать, повисла на нем: ее засученные рукава обнажали две руки, похожие на грабли, и полусиний сарафан, составленный из тысячи гадких лохмотьев, висел криво и косо на этом подвижном скелете; выражение ее лица поражало ум какой-то неизъяснимой низостью, какой-то гнилостью, свойственной мертвецам, долго стоявшим на воздухе; вздернутый нос, огромный рот, из которого вырывался голос резкий и странный, еще ничего не значили в сравнении с глазами нищенки! вообразите два серые кружка, прыгающие в узких щелях, обведенных красными каймами; ни ресниц, ни бровей!.. и при всем этом взгляд, тяготеющий на поверхности души, производящий во всех чувствах болезненное сжимание!.. Вадим не был суевер, но волосы у него встали дыбом. Он в один миг прочел в ее чертах целую повесть разврата и преступлений, — но не встретил ничего похожего на раскаянье; не мудрено, если он отгадал правду: есть существа, которые на высшей степени несчастия так умеют обрубить обточить свою бедственную душу, что она теряет все способности, кроме первой и последней: жить!

— Ты позабыл меня, дорогой, позабыл — дай копеечку, — не для Бога, для черта... дай копеечку... али позабыл меня! не гордись, что ты холоп барской... чай, недавно валялся вместе...

Вадим вырвался из ее рук.

— Проклят! проклят, проклят! — кричала в бешенстве старуха: — чтобы тебе сгнить живому, чтобы черви твой язык подточили, чтоб вороны глаза проклевали, — чтоб тебе ходить, спотыкаться, пить, захлебнуться... — горбатый, урод, холоп... проклят, проклят!..

И снова она уцепилась за полу Вадима; он обернулся и с досады так сильно толкнул ее в грудь, что она упала навзничь на каменное крыльцо; голова ее стукнула, как что-то пустое, и ноги протянулись; она ни слова не сказала больше, по крайней мере Вадим не слыхал, потому что он поспешно взошел в церковь, где толпа слушала с благоговением всенощную. Эти самые люди готовились проливать кровь завтра, нынче! и они, крестясь и кланяясь в землю, поталкивали друг друга, если замечали возле себя дворянина, и готовы были растерзать его на месте; — но еще не смели; еще ни один казак не привозил кровавых приказаний в окружные деревни.

Вадим продрался сквозь толпу до самого клироса и, став на амвон, окинул взором всю церковь. Прямой, высокий, вызолоченный иконостас был уставлен образами в 5 рядов, а огромные паникадила, висящие среди церкви, бросали сквозь дым ладана таинственные лучи на блестящую резьбу и усыпанные жемчугом оклады; задняя часть храма была в глубокой темноте; одна лампада, как запоздалая звезда, не могла рассеять вокруг тяготеющие тени; у стены едва можно было различить бледное лицо старого схимника, лицо, которое вы приняли бы за восковое, если б голова порою не наклонялась и не шевелились губы; черная мантия и клобук увеличивали его бледность, и руки, сложенные на груди крестом, подобились тем двум костям, которые обыкновенно рисуются под адамовой головой.

Поближе, между столбами, и против царских дверей пестрела толпа. Перед Вадимом было волнующееся море голов, и он с возвышения свободно мог рассматривать каждую; тут мелькали уродливые лица, как странные китайские тени, которые поражали слиянием скотского с человеческим, уродливые черты, которых отвратительность определить невозможно было, но при взгляде на них рождались горькие мысли; тут являлись старые головы, исчерченные морщинами, красные, хранящие столько смешанных следов страстей унизительных и благородных, что сообразить их было бы трудней, чем исчислить; и между ними кое-где сиял молодой взор и показывались щеки, полные, раскрашенные здоровьем, как цветы между серыми камнями.

Имея эту картину пред глазами, вы без труда могли бы разобрать каждую часть ее; но целое произвело бы на вас впечатление смутное, неизъяснимое; и после, вспоминая, вы не сумели бы ясно представить себе ни одного из тех образов, которые поразили ваше воображение, подали вам какую-нибудь новую мысль и, оставив ее, сами потонули в тумане.

Вадим для рассеянья старался угадывать внутреннее состояние каждого богомольца по его наружности, но ему не удалось; он потерял принятый порядок, и скоро всё слилось перед его глазами в пестрое собранье лохмотьев, в кучу носов, глаз, бород; и озаренные общим светом, они, казалось, принадлежали одному, живому, вечно движущемуся существу; — одним словом, это была — толпа: нечто смешное и вместе жалкое!

Бродящий взгляд Вадима искал где-нибудь остановиться, но картина была слишком разнообразна, и к тому же все мысли его, сосредоточенные на один предмет, не отражали впечатлений внешних; одно мучительно-сладкое чувство ненависти, достигнув высшей своей степени, загородило весь мир, и душа поневоле смотрела сквозь этот черный занавес.

Направо, между царскими и боковыми дверьми, был нерукотворенный образ Спасителя удивительной величины; позолоченный оклад, искусно выделанный, сиял как жар, и множество свечей, расставленных на висящем

паникадиле, кидали красноватые лучи на возвышающиеся части мелкой резьбы или на круглые складки одежды; перед самым образом стояла железная кружка, — это была милость у ног Спасителя, — и над ней внизу образа было написано крупными, выпуклыми буквами: *приидите ко мне вси труждающиеся и аз успокою вы!*

Многие приближались к образу и, приложившись после земляного поклона, кидали в кружку медные деньги, которые, упадая, отдавали глухой звук.

Раз госпожа и крестьянка с грудным младенцем на руках подошли вместе; но первая с надменным видом оттолкнула последнюю и ушибенный ребенок громко закричал; — «не мудрено, что завтра, — подумал Вадим, — эта богатая женщина будет издыхать на виселице, тогда как бедная, хлопая в ладоши, станет указывать на нее детям своим»; — и отвернувшись он хотел идти прочь.

Но третья женщина приблизилась к святой иконе, — и — он знал эту женщину!..

Ее кровь — была его кровь, ее жизнь — была ему в тысячу раз дороже собственной жизни, но ее счастье — не было его счастьем; потому что она любила другого, прекрасного юношу; а он, безобразный, хромой, горбатый, не умел заслужить даже братской нежности; он, который любил ее одну в целом Божьем мире, ее одну, — который за первое непритворное искреннее: люблю — с восторгом бросил бы к ее ногам всё, что имел, свое сокровище, свой кумир — свою ненависть!.. Теперь было поздно.

Он знал, твердо был уверен, что ее сердце отдано… и навеки… Итак, она для него погибла… и со всем тем, чем более страдал, тем меньше мог расстаться с своей любовью… потому что эта любовь была последняя божественная часть его души и, угасив ее, он не мог бы остаться человеком.

Не заметив брата, Ольга тихо стала перед образом, бледна и прекрасна; она была одета в черную бархатную шубейку, как в тот роковой вечер, когда Вадим ей открыл свою тайну; большие глаза ее были устремлены на лик Спасителя, это была ее единственная молитва, и если б Бог был человек, то подобные глаза никогда не молились бы напрасно.

Перекрестясь, она приложилась; яркая риза на минуту потускнела от девственного дыханья.

И когда Ольга вторично подняла взор, то в нем заметна была перемена, довольно странная; удивительный блеск заменил прежнюю томность; это были слезы… одна из них не удержалась на густой реснице, блеснула как алмаз и упала.

Конечно, новая надежда вытеснила из ее сердца эти слезы, и Ольга обернулась, чтоб удалиться… и перед ней стоял Вадим; его огненный взгляд

в одну минуту высушил слезы, каждая жила ее сердца вздрогнула, дыханье остановилось.

Горе, горе ему! она пришла сюда с верою в душе, — а возвратилась с отчаяньем; (всё это время дьячок читал козлиным голосом послание апостола Павла, и кругом, ничего не заметив, толпа зевала в немом бездействии... что такое две страсти в целом мире равнодушия?).

С горькой, горькой улыбкой Вадим вторично прочел под образом Спасителя известный стих: *приидите ко мне вси труждающиеся и аз успокою вы!* что делать! — он верил в Бога — но также и в дьявола!

И выходя из храма, он еще раз взглянул на сестру; возле нее стоял Юрий, небрежно, чертя на песке разные узоры своей шпагой; и она, прислонясь к стене, не сводила с него очей, исполненных неизъяснимой муки... можно было подумать, что через минуту ей суждено с ним расстаться навсегда.

Но разве несколько дней не короче минуты, когда смерть зовет и любовь потеряла надежду.

— Итак, она точно его любит! — шептал Вадим, неподвижно остановясь в дверях. Одна его рука была за пазухой, а ногти его по какому-то судорожному движению так глубоко врезались в тело, что когда он вынул руку, то пальцы были в крови... он как безумный посмотрел на них, молча стряхнул кровавые капли на землю и вышел.

На крыльце шумела куча нищих и богомольцев; они составляли кружок, и посреди их на холодных каменных плитах лежала протянувшись мертвая старуха.

— Какой-то проходящий толкнул ее... мы думали, что он шутит... она упала, да и окачурилась... черт ее знал! вольно ж было не закричать! — так говорил один нищий; другие повторяли его слова с шумом, оправдываясь в том, что не подали ей помощь, и плачевным голосом защищали свою невинность.

Вадим слышал... но не вспомнил, что *он* толкнул старуху.

— Итак, она его любит! — бормотал он сквозь зубы, садясь на нетерпеливого коня; — итак, она его любит!

Вадим имел несчастную душу, над которой иногда единая мысль могла приобрести неограниченную власть. Он должен бы был родиться всемогущим или вовсе не родиться.

ГЛАВА XV

Между тем перед вратами монастырскими собиралась буйная толпа народа; кое-где показывались казацкие шапки, блистали копья и ружья; часто от

общего ропота отделялись грозные речи, дышащие мятежом и убийством, — часто раздавались отрывистые песни и пьяный хохот, которые не предвещали ничего доброго, потому что веселость толпы в такую минуту — поцелуй Июды! — Что-то ужасное созревало под этой веселостию, подстрекаемой своеволием, возбужденной новыми пришельцами, уже привыкшими к кровавым зрелищам и грабежу свободному...

И всё это происходило в виду церкви, где еще блистали свечи и раздавалось молитвенное пение.

Скоро и в церкви пробежал зловещий шепот; понемногу мужики стали из нее выбираться, одни от нетерпения, другие из любопытства, а иные — так, потому что сосед сказал: пойдем, потому что... как не посмотреть, что там делается?

Народ, столпившийся перед монастырем, был из ближней деревни, лежащей под горой; беспрестанно приходили новые помощники, беспрестанно частные возгласы сливались более и более в один общий гул, в один продолжительный, величественный рев, подобный беспрерывному грому в душную летнюю ночь... картина была ужасная, отвратительная... но взор хладнокровного наблюдателя мог бы ею насытиться вполне; тут он понял бы, что такое народ: камень, висящий на полугоре, который может быть сдвинут усилием ребенка, но несмотря на то сокрушает всё, что ни встретит в своем безотчетном стремлении... тут он увидал бы, как мелкие самолюбивые страсти получают вес и силу оттого, что становятся общими; как народ, невежественный и не чувствующий себя, хочет увериться в истине своей минутной, поддельной власти, угрожая всему, что прежде он уважал или чего боялся, подобно ребенку, который говорит неблагопристойности, желая доказать этим, что он взрослый мужчина!

Вокруг яркого огня, разведенного прямо против ворот монастырских, больше всех кричали и коверкались нищие. Их радость была исступление; озаренные трепетным, багровым отблеском огня, они составляли первый план картины; за ними всё было мрачнее и неопределительнее, люди двигались, как резкие, грубые тени; казалось, неизвестный живописец назначил этим нищим, этим отвратительным лохмотьям приличное место; казалось, он выставил их на свет как главную мысль, главную черту характера своей картины...

Они были душа этого огромного тела — потому что нищета душа порока и преступлений; теперь настал час их торжества; теперь они могли в свою очередь насмеяться над богатством, теперь они превратили свои лохмотья в царские одежды и кровью смывали с них пятна грязи; это был пурпур в своем роде; чем менее они надеялись повелевать, тем ужаснее было их царствование; надобно же вознаградить целую жизнь страданий хотя

одной минутой торжества; нанести хотя один удар тому, чье каждое слово было — обида, один — но смертельный.

Когда служба в монастыре отошла и приезжие богомольцы, толкаясь, кучею повалили на крыльцо, то шум на время замолк, и потом вдруг пробежал зловещий ропот по толпе мятежной, как ропот листьев, пробужденных внезапным вихрем. И неизвестная рука, неизвестный голос подал знак, не условный, но понятный всем, но для всех повелительный; это был бедный ребенок одиннадцати лет не более, который, заграждая путь какой-то толстой барыне, получил от нее удар в затылок и, громко заплакав, упал на землю... этого было довольно: толпа зашевелилась, зажужжала, двинулась — как будто она до сих пор ожидала только эту причину, этот незначащий предлог, чтобы наложить руки на свои жертвы, чтоб совершенно обнаружить свою ненависть! Народ, еще неопытный в таких волнениях, похож на актера, который, являясь впервые на сцену, так смущен новостию своего положения, что забывает начало роли, как бы твердо ее ни знал он; надобно непременно, чтоб суфлер, этот услужливый Протей, подсказал ему первое слово, — и тогда можно надеяться, что он не запнется на дороге.

Между тем Юрий и Ольга, которые вышли из монастыря несколько прежде Натальи Сергевны, не захотев ее дожидаться у экипажа и желая воспользоваться душистой прохладой вечера, шли рука об руку по пыльной дороге; чувствуя теплоту девственного тела так близко от своего сердца, внимая шороху платья, Юрий невольно забылся, он обвил круглый стан Ольги одной рукою и другой отодвинул большой бумажный платок, покрывавший ее голову и плечи, напечатлел жаркий поцелуй на ее круглой шее; она запылала, крепче прижалась к нему и ускорила шаги, не говоря ни слова... в это время они находились на перекрестке двух дорог, возле большой засохшей от старости ветлы, коей черные сучья резко рисовались на полусветлом небосклоне, еще хранящем последний отблеск запада.

Вдруг Ольга остановилась; странные звуки, подобные крикам отчаяния и воплю бешенства, поразили слух ее: они постепенно возрастали.

— Что-то ужасное происходит у монастыря, — воскликнула Ольга; — моя душа предчувствует... о Юрий! Юрий!.. если б ты знал, мы гибнем... ты заметил ли зловещий шепот народа при выходе из церкви и заметил ли эти дикие лица нищих, которые радовались и веселились... — о, это дурной знак: святые плачут, когда демоны смеются.

Юрий, мрачный, в нерешимости, бежать ли ему на помощь к матери, или остаться здесь, стоял, вперив глаза на монастырь, коего нижние части были ярко освещены огнями; вдруг глаза его сверкнули; он кинулся к дереву; в одну минуту вскарабкался до половины и вскоре с помощью толстых сучьев взобрался почти на самый верх.

— Что видишь ты<?> — спросила трепетная Ольга.

Он не отвечал; была минута, в которую он так сильно вздрогнул, что Ольга вскрикнула, думая, что он сорвется; но рука Юрия как бы машинально впилась в бесчувственное дерево; наконец он слез, молча сел на траву близ дороги и закрыл лицо руками; «что видел ты, — говорила девушка, — отчего твои руки так холодны; и лицо так влажно...»

— Это роса, — отвечал Юрий, отирая хладный пот с чела и вставая с земли.

— Всё кончено... напрасно — я бессилен против этой толпы. Она погибла — о Провидение, — что мне делать, что мне делать, отвечай мне, Творец всемогущий! — воскликнул он, ломая руки и скрежеща зубами.

Ночь делалась темнее и темнее; и Ольга, ухватясь за своего друга, с ужасом кидала взоры на дальний монастырь, внимая гулу и воплям, разносимым по полю возрастающим ветром; вдруг шум колес и топот лошадиный послышались по дороге; они постепенно приближались, и вскоре подъехал к нашим странникам мужик в пустой телеге; он ехал рысью, правил стоя и пел какую-то нескладную песню. Поровнявшись с Юрием, он приостановил свою буланую лошадь. — «Что, боярин, — сказал он насмешливо, поглаживая рыжую бороду; — аль там не пирогами кормят; что ты больно поторопился домой-то... да еще пешечком, сем-ка довезу!..»

Юрий, не отвечая ни слова, схватил лошадь под уздцы; «что ты, что ты, боярин! — закричал грубо мужик, — уж не впрямь ли хочешь со мною съездить!.. эк всполошился!» — продолжал он, ударив лошадь кнутом и присвиснув; добрый конь рванулся... но Юрий, коего силы удвоило отчаяние, так крепко вцепился в узду, что лошадь принуждена была кинуться в сторону; между тем колесо телеги сильно ударилось о камень, и она едва не опрокинулась; мужик, потерявший равновесие, упал, но не выпустил вожжи; он уж занес ногу, чтоб опять вскочить в телегу, когда неожиданный удар по голове поверг его на землю и сильная рука вырвала вожжи... «Разбой!» — заревел мужик, опомнившись и стараясь приподняться; но Юрий уже успел схватить Ольгу, посадить ее в телегу, повернуть лошадь и ударить ее изо всей мочи; она кинулась со всех ног; мужик еще раз успел хриплым голосом закричать: «разбой!» Колесо переехало ему через грудь, и он замолк, вероятно навеки.

Ужасна была эта ночь, — толпа шумела почти до рассвета и кровавые потешные огни встретили первый луч восходящего светила; множество нищих, обезображенных кровью, вином и грязью, валялось на поляне, иные из них уж собирались кучками и расходились; во многих местах опаленная трава и черный пепел показывали место угасшего костра; на некоторых деревьях висели трупы... два или три, не более... Один из них по всем при-

метам был некогда женщиной, но, обезображенный, он едва походил на бренные остатки человека; — и даже ближайшие родственники не могли бы в нем узнать добрую <Наталью> Сергевну.

ГЛАВА XVI

Я попрошу своего или своих любезных читателей перенестись воображением в ту малую лесную деревеньку, где Борис Петрович со своей охотой основал главную свою квартиру, находя ее центром своих операционных пунктов; накануне травля была удачная; поздно наш старый охотник возвратился на ночлег, досадуя на то, что его стремянный, Вадим, уехав Бог знает зачем, не возвратился. В избе, где он ночевал, была одна хозяйка, вдова, солдатка лет 30, довольно белая, здоровая, большая, русая, черноглазая, полногрудая, опрятная — и потому вы легко отгадаете, что старый наш прелюбодей, несмотря на серебристую оттенку волос своих и на рождающиеся признаки будущей подагры, не смотрел на нее философическим взглядом, а старался всячески выиграть ее благосклонность, что и удалось ему довольно скоро и без больших убытков и хлопот. Уж давно лучина была погашена; уж петух, хлопая крыльями, сбирался в первый раз пропеть свою сиповатую арию, уж кони, сытые по горло, изредка только жевали остатки хрупкого овса, и в избе на полатях, рядом с полногрудой хозяйкою, Борис Петрович храпел непомилованно. Вероятно, утомленный трудами дня и (вероятнее) упоенный сладкой водочкой и поцелуями полногрудой хозяйки и успокоенный чистой и непорочной совестью, он еще долго бы продолжал храпеть и переворачиваться со стороны на сторону, если б вдруг среди глубокой тишины сильная, неведомая рука не ударила три раза в ворота так, что они затрещали. Собаки жалобно залаяли, и хозяйка, вздрогнув, проснулась, перекрестилась и, протирая кулаками опухшие глаза и разбирая растрепанные волосы, молвила: «Господи, Боже мой! — да кто это там!.. наше место свято!.. да что это как стучат». Она слезла и подошла к окну; отворила его: ночной ветер пахнул ей на открытую потную грудь, и она, с досадой высунув голову на улицу, повторила свои вопросы; в самом деле, буланая лошадь в хомуте и шлее стояла у ворот и возле нее человек, незнакомый ей, но с виду не старый и не крестьянин.

— Отопри проворнее!.. — закричал он громовым голосом.

— Экой скорой! — пробормотала солдатка, захлопнув окно; — подождешь, не замерзнешь!.. Не спится видно тебе, так бродишь по лесу, как леший проклятый... — Она надела шубу, вышла, разбудила работника, и тот наконец отпер скрыпучую калитку, браня приезжего; но сей последний, едва

лишь ворвался на двор и узнал от работника, что Борис Петрович тут, как опрометью бросился в избу.

— Батюшка! — сказал Юрий, которого вы, вероятно, узнали, приметно изменившимся голосом и в потемках ощупывая предметы, — проснитесь! где вы!.. проснитесь!.. дело идет о жизни и смерти!.. послушай, — продолжал он шепотом, обратясь к полусонной хозяйке и внезапно схватив ее за горло: — где мой отец? что вы с ним сделали?..

— Помилуй, барин, что ты, рехнулся што ли... я закричу... да пусти, пусти меня, окаянный... да разве не слышишь, как он на полатях-то храпит... — И задыхаясь она старалась вырваться из рук Юрия...

— Что за шум! кто там развозился! Петрушка, Терешка, Фотька!.. ей вы... — закричал Борис Петрович, пробужденный шумом и холодным ветром, который рвался в полурастворенные двери, свистя и завывая, подобно лютому зверю.

— Батюшка! — говорил Юрий, пустив обрадованную женщину, — сойдите скорее... жизнь и смерть, говорю я вам!.. сойдите, ради неба или ада...

— Да что ты за человек, — бормотал Борис Петрович, сползая с печи...

— Я! ваш сын... Юрий...

— Юрий... что это значит... объясни... зачем ты здесь... и в это время!..

Он в испуге схватил сына за руки и смотрел ему в глаза, стараясь убедиться, что это он, что это не лукавый призрак.

— Батюшка! мы погибли!.. народ бунтует! да! и у нас... я видел, когда проскакал, на улице села и вокруг церкви толпились кучи народа... и некоторые восклицания, долетевшие до меня, показывают, что они ждут если не самого Пугачева, то казаков его... спасайтесь!..

— А <Наталья> Сергевна!.. а вещи мои...

— Матушка... не говорите об ней...

— Она...

— Спасайтесь! — сказал мрачно Юрий, крепко обняв отца своего; горячая слеза брызнула из глаз юноши и упала как искра на щеку старика и обожгла ее...

— О!.. — завопил он. — Кто б мог подумать! поверить?.. кто ожидал, что эта туча доберется и до нас грешных! о Господи! Господи!.. — куда мне деваться!.. все против нас... Бог и люди... и кто мог отгадать, что этот Пугачев будет губить кого же? — русское дворянство! — простой казак!.. Боже мой! святые отцы!

— Нет ли у вас с собою кого-нибудь, на чью верность вы можете надеяться! — сказал быстро Юрий.

— Нет! нет! никого нет!..

— Фотька Атуев?..

— Я его сегодня прибил до полусмерти, каналью!

— Терешка!..

— Он давно желал бы мне нож в бок за жену свою... разбойники, антихристы!.. о спаси меня! сын мой...

— Мы погибли! — молвил Юрий, сложив руки и подняв глаза к небу. — Один Бог может сохранить нас!.. молитесь Ему, если можете...

Борис Петрович упал на колена; и слезы рекой полились из глаз его; малодушный старик! он ожидал, что целый хор ангелов спустится к нему на луче месяца и унесет его на серебряных крыльях за тридевять земель.

Но не ангел, а бедная солдатка с состраданием подошла к нему и молвила: *я спасу тебя*.

В важные эпохи жизни, иногда, в самом обыкновенном человеке разгорается искра геройства, неизвестно доселе тлевшая в груди его, и тогда он свершает дела, о коих до сего ему не случалось и грезить, которым даже после он сам едва верует. Есть простая пословица: *Москва сгорела от копеешной свечки!*

Между тем хозяйка молча подала знак рукою, чтоб они оба за нею следовали, и вышла; на цыпочках они миновали темные сени, где спал стремянный Палицына, и осторожно спустились на двор по четырем скрыпучим и скользким ступеням; на дворе всё было тихо; собаки на сворах лежали под навесом, и изредка лишь фыркали сытые кони или охотник произносил во сне бессвязные слова, поворачиваясь на соломе под теплым полушубком. Когда они миновали анбар и подошли к задним воротам, соединявшим двор с обширным огородом, усеянным капустой, коноплями, редькой и подсолнечниками и оканчивающимся тесным гумном, где только две клади как будки, стоя по углам, казалось, сторожили высокий и пустой овин, возвышающийся посередине, то раздался чей-то голос, вероятно, одного из пробудившихся псарей: «*кто там?*» — спросил он. — «Разве не видишь, что хозяева», — отвечала солдатка; заметив, что псарь приближался к ней переваливаясь, как бы стараясь поддержать свою голову в равновесии с прочими частями тела, она указала своим спутникам большой куст репейника, за который они тотчас кинулись, и хладнокровно остановилась у ворот.

— А разве красавицам пристало гулять по ночам? — сказал, почесывая бока, пьяный псарь и тяжелой своей лапой с громким смехом ударил ее по плечу!..

— И батюшка! что я за красавица! с нашей работки-то не больно разжиреешь!..

— Уж не ломайся, знаем мы!.. Экая гладкая! у барина видно губа не дура... эк ты прижила себе старого черта!.. да небось! не сдобровать ему,

высчитаем мы ему наши слезки... дай срок! батюшка Пугачев ему рыло-то обтешет... пусть себе не верит... а ты, моя молодка... за это поцелуй меня.

Он хотел обнять ее, но она увернулась и наш проворный рыцарь спьяну наткнулся на оглоблю телеги... спотыкнулся, упал, проворчал несколько ругательств, и заснул он или нет, не знаю, по крайней мере не поднялся на ноги и остался в сладком самозабвении.

Легко вообразить, с каким нетерпением отец и сын ожидали конца этой неприятной сцены... наконец они вышли в огород и удвоили шаги. Сильно бились сердца их, стесненные непонятным предчувствием, они шли, удерживая дыхание, скользя по росистой траве, продираясь между коноплей и вязких гряд, зацепляя поминутно ногами или за кирпич или за хворост; вороньи пугалы казались им людьми, и каждый раз, когда полевая крыса кидалась из-под ног их, они вздрагивали. Борис Петрович хватался за рукоятку охотничьего ножа, а Юрий за шпагу... но, к счастию, все их страхи были напрасны, и они благополучно приблизились к темному овину; хозяйка вошла туда, за нею Борис Петрович и Юрий; она подвела их к одному темному углу, где находилось два сусека, один из них с хлебом, а другой до половины наваленный соломой.

— Полезай сюда, барин, — сказала солдатка, указывая на второй, — да заройся хорошенько с головой в солому, и кто бы ни приходил, что бы тут ни делали... не вылезай без меня; а я, коли жива буду, тебя не выдам; что б ни было, а этого греха не возьму на свою душу!..

Когда Борис Петрович влез, то Юрий, вместо того, чтобы следовать его примеру, взглянул на небо и сказал твердым голосом: «прощайте, батюшка, будьте живы... ваше благословение! может быть, мы больше не увидимся». Он повернулся и быстро пустился назад по той же дороге; взойдя на двор, он, не будучи никем замечен, отвязал лучшую лошадь, вскочил на нее и пустился снова через огород, проскакал гумно, махнул рукою удивленной хозяйке, которая еще стояла у дверей овина, и, перескочив через ветхий, обвалившийся забор, скрылся в поле как молния; несколько минут можно было различить мерный топот скачущего коня... он постепенно становился тише и тише, и наконец совершенно слился с шепотом листьев дубравы.

«Куда этот верченый пустился! — подумала удивленная хозяйка, — видно голова крепка на плечах, а то кто бы ему велел таскаться — ну, не дай Бог, наткнется на казаков и поминай как звали буйнова молодца — ох! ох! ох! больно меня раздумье берет!.. спрятала-то я старого, спрятала, а как станут меня бить да мучить... ну, уж коли на то пошла, так берегись, баба!.. не давши слова держись, а давши крепись... только бы он сам не оплошал!»

ГЛАВА XVII

В эту же ночь, богатую событиями, Вадим, выехав из монастыря, пустился блуждать по лесу, но конь, устав продираться сквозь колючий кустарник, сам вывез его на дорогу в село Палицына.

Задумавшись ехал мрачный горбач, сложа руки на груди и повеся голову; его охотничья плеть моталась на передней луке казацкого седла, и добрый степной конь его, горячий, щекотливый от природы, понемногу стал прибавлять ходу, сбился на рысь, потом, чувствуя, что повода висят покойно на его мохнатой шее, зафыркал, прыгнул и ударился скакать… Вадим опомнился, схватил поводья и так сильно осадил коня, что тот сразу присел на хвост, замотал головою, сделал еще два скачка вбок и остановился: теплый пар поднялся от хребта его, и пена, стекая по стальным удилам, клоками падала на землю.

«Куда торопишься? чему обрадовался, лихой товарищ? — сказал Вадим… но тебя ждет покой и теплое стойло: ты не любишь, ты не понимаешь ненависти: ты не получил от благих небес этой чудной способности: находить блаженство в самых диких страданиях… о если б я мог вырвать из души своей эту страсть, вырвать с корнем, вот так! — и он наклонясь вырвал из земли высокий стебель полыни; — но нет! — продолжал он… одной капли яда довольно, чтоб отравить чашу, полную чистейшей влаги, и надо ее выплеснуть всю, чтобы вылить яд…» Он продолжал свой путь, но не шагом: неведомая сила влечет его: неутомимый конь летит, рассекает упорный воздух; волосы Вадима развеваются, два раза шапка чуть-чуть не слетела с головы; он придерживает ее рукою… и только изредка поталкивает ногами скакуна своего; вот уж и село… церковь… кругом огни… мужики толпятся на улице в праздничных кафтанах… кричат, поют песни… то вдруг замолкнут, то вдруг сильней и громче пробежит говор по пьяной толпе… Вадим привязывает коня к забору и неприметно вмешивается в толпу… Эти огни, эти песни — всё дышало тогда какой-то насильственной веселостью, принимало вид языческого празднества, и даже в песнях часто повторяемые имена дидо и ладо могли бы ввести в это заблуждение неопытного чужестранца.

— Ну! Вадимка! — сказал один толстый мужик с редкой бородою и огромной лысиной… — как слышно! скоро ли наш батюшка-то пожалует.

— Завтра — в обед, — отвечал Вадим, стараясь отделаться.

— Ой ли? — подхватил другой, — так стало быть не нонче, а завтра… — так… так!.. а что, как слышно?.. чай много с ним рати военной… чай, казаков-то видимо-невидимо… а что, у него серебряный кафтан-то?

— Ах ты дурак, дурак, забубённая башка... — сказал третий, покачивая головой, — эко диво серебряный... чай не только кафтан, да и сапоги-то золотые...

— Да кто ему подносить станет хлеб с солью? — чай всё старики...

— Вестимо... Послушай, брат Вадим, — продолжал четвертый, огромный детина, черномазый, с налитыми кровью глазами — где наш барин-то!.. не удрал бы он... а жаль бы было упустить... уж я бы его попотчевал... он и в могилу бы у меня с оскоминою лег...

«Нет, нет! — подумал Вадим, удаляясь от них, — это моя жертва... никто не наложит руки на него, кроме меня. Никто не услышит последнего его вопля, никто не напечатлеет в своей памяти последнего его взгляда, последнего судорожного движения, — кроме меня... Он мой — я купил его у небес и ада: я заплатил за него кровавыми слезами; ужасными днями, в течение коих мысленно я пожирал все возможные чувства, чтоб под конец у меня в груди не осталось ни одного, кроме злобы и мщения... о! я не таков, чтобы равнодушно выпустить из рук свою добычу и уступить ее вам... подлые рабы!..»

Он быстрыми шагами спустился в овраг, где протекал небольшой гремучий ручей, который, прыгая через камни и пробираясь между сухими вербами, с журчанием терялся в густых камышах и безмолвно сливался с <Сурою>. Тут всё было тихо и пусто; на противной стороне возвышался позади небольшого сада господский дом с многочисленными службами... он был темен... ни в одном окне не мелькала свечка, как будто все его жители отправились в дальную дорогу... Вадим перебрался по доскам через ручей и подошел к ветхой бане, находящейся на полугоре и окруженной густыми рябиновыми кустами... ему показалось, что он заметил слабый свет сквозь замок двери; он остановился и на цыпочках подкрался к окну, плотно закрытому ставнем...

В бане слышались невнятные голоса, и Вадим, припав под окном в густую траву, начал прилежно вслушиваться: его сердце, закаленное противу всех земных несчастий, в эту минуту сильно забилось, как орел в железной клетке при виде кровавой пищи... Вадим удивился, как удивился бы другой, если б среди зимней ночи ударил гром... он крепко прижал руку к груди своей и прошептал: «спи, безумное! спи... твоя пора прошла или еще не настала! — но к чему теперь! — разве есть близко тебя существо, которое ты ненавидишь?... говори?..» — и он, задержав дыхание, снова приложил ухо к окну — и услышал:

1 голос. Прощай, мой друг... навсегда...

2 голос. Мне тебя покинуть? Нет, если б на этом пороге было написано судьбою: *смерть*, — то я перескочил бы... обнял тебя... и умер...

1 голос. Но я в безопасности!.. я существо ничтожное; я останусь незамечена среди общего волнения...

2 голос. Нет, невозможно... долг зовет меня к отцу... я спасу его и вернусь... мир без тебя? что такое!.. храм без божества... Зачем мне бежать от опасности... разве Провидение не настигнет меня везде, если я должен погибнуть!

1 голос. Жестокий! так ты не хочешь... послушай! ради Бога... беги...

2 голос. Нет!.. прощай... через несколько часов я снова буду с тобою.

Голоса замолкли, и слышно было, как дверь бани скрыпнула отворяясь и как опять захлопнулась, и Вадим видел, как кто-то, подобно призраку, мелькнул в овраге, потом на горе, перескочил через плетень, перерезывающий овраг, и скрылся в ночном тумане...

Вадим встал, подошел к двери и твердою рукою толкнул ее; защелка внутри сорвалась, и роковая дверь со скрыпом распахнулась... кто-то вскрикнул... и всё замолкло снова... Вадим взошел, торжественно запер за собою дверь и остановился... на полу стоял фонарь... и возле него сидела, приклонив бледную голову к дубовой скамье... Ольга!..

Убийственная мысль как молния озарила ум бедного горбача; он отгадал в одно мгновение, кто был этот второй голос, о ком так нежно заботилась сестра его, как будто в нем одном были все надежды, вся любовь ее сердца...

Неподвижно сидела Ольга, на лице ее была печать безмолвного отчаяния, и глаза изливали какой-то однообразный, холодный луч, и сжатые губки казались растянуты постоянной улыбкой, но в этой улыбке дышал упрек Провидению... Фонарь стоял у ног ее, и догорающий пламень огарка сквозь зеленые стеклы слабо озарял нижние части лица бедной девушки; ее грудь была прикрыта черной душегрейкой, которая по временам приподымалась, и длинная полуразвитая коса упадала на правое плечо ее.

Вадим стоял перед ней, как Мефистофель перед погибшею Маргаритой, с язвительным выражением очей, как раскаяние перед душою грешника; сложа руки, он ожидал, чтоб она к нему обернулась, но она осталась в прежнем положении, хотя молвила прерывающимся голосом:

— Чего ты от меня еще хочешь...

— Еще? — а что же я прежде от тебя требовал? каких жертв?.. говори, Ольга? — разве я силою заставил тебя произнести клятву... ты помнишь!.. разве я виноват, что роковая минута настала прежде, чем находишь это удобным?..

— О... ты хищный зверь, а не человек!..

— Ольга... твой отец был мой отец!

— Не верю, не могу верить... чтобы он, в жилище святых, желал погибели этого семейства, желал сделать нас преступными... нет! ты не брат мой!.. прочь — я ненавижу... презираю тебя...

— Ненавидишь: так... а презирать не можешь...

— Презираю...

— Ты боишься меня... — он дико засмеялся и подошел ближе.

— Вадим... ради отца нашего... удались... от тебя веет смертным холодом...

— Нет, Ольга... я останусь здесь целую ночь...

— Боже! — прошептала вздрогнув несчастная девушка, сердце сжалось... и смутное подозрение пробудилось в нем; она встала; ноги ее подгибались... она хотела сделать шаг и упала на колени...

— Послушай! — сказал Вадим, приподняв сестру; посадив ее на лавку, он взял ее влажную руку и, стараясь смягчить голос, продолжал: — послушай! было время, когда я думал твоей любовью освятить мою душу... были минуты, когда, глядя на тебя, на твои небесные очи, я хотел разом разрушить свой ужасный замысел, когда я надеялся забыть на груди твоей всё прошедшее как волшебную сказку... Но ты не захотела, ты обманула меня — тебя пленил прекрасный юноша... и безобразный горбач остался один... один... как черная тучка, забытая на ясном небе, на которую ни люди, ни солнце не хотят и взглянуть... да, ты этого не можешь понять... ты прекрасна, ты ангел, тебя не любить — невозможно... я это знаю... о, да посмотри на меня; неужели для меня нет ни одного взгляда, ни одной улыбки... всё ему! всё ему!.. да знаешь ли, что он должен быть доволен и десятою долею твоей нежности, что он не отдаст, как я, за одно твое слово всю свою будущность... о, да это невозможно тебе постигнуть... если б я знал, что на моем сердце написано, как я тебя люблю, то я вырвал бы его сию минуту из груди и бросил бы к тебе на колена... о, одно слово, Ольга, чтоб я не проклял тебя... умирая...

— Проклинай! — ответствовала она холодно...

Вадим, неподвижный, подобный одному из тех безобразных кумиров, кои доныне иногда в степи заволжской на холме поражают нас удивлением, стоял перед ней, ломая себе руки, и глаза его, полузакрытые густыми бровями, выражали непобедимое страдание... всё было тихо, лишь ветер, по временам пробегая по крыше бани, взрывал гнилую солому и гудел в пустой трубе... Вадим продолжал:

— Еще несколько слов, Ольга... и я тебя оставлю. Это мое последнее усилие... если ты теперь не сжалишься, то знай — между нами нет более никаких связей родства... — я освобождаю тебя от всех клятв, мне не нужно женской помощи; я безумец был, когда хотел поверить слабой девушке бич небесного правосудия... но довольно! довольно. Послушай: если б бедная собака, иссохшая, полуживая от голода и жажды, с визгом приползла к ногам твоим, и у тебя бы был кусок хлеба, один кусок хлеба... отвечай, что бы ты сделала?..

— Сердце не кусок хлеба, оно не в моей власти…

— А! не в твоей власти!.. А! но разве я это у тебя спрашивал?..

— Ты хотел ответа… я отвечала.

— В тебе нет жалости!

— А в тебе есть жалость?

— Так ты его очень, очень любишь?

— Больше всего на свете…

— А!.. — больше всего на свете… Но это напрасно!..

— Да, я его люблю — люблю — и никакая власть не разлучит нас.

— Ошибаешься! — воскликнул с горьким хохотом горбач… — он непременно должен умереть… и очень скоро!

— Я умру вместе с ним…

— О нет! ты не умрешь… не надейся!..

— Я надеюсь на Бога… Он возьмет нас вместе к себе или спасет его, несмотря на всю твою злобу…

— Не говори мне про Бога!.. Он меня не знает; Он не захочет у меня вырвать обреченную жертву — Ему всё равно… и не думаешь ли ты смягчить Его слезами и просьбами?.. Ха, ха, ха!.. Ольга, Ольга — прощай — я иду от тебя… но помни последние слова мои: они стоят всех пророчеств… я говорю тебе: он погибнет, ты к мертвому праху прилепила сердце твое… его имя вычеркнуто уже этой рукою из списка живущих… да! — продолжал он после минутного молчания, и если хочешь, я в доказательство принесу тебе его голову…

Он отвернулся, хотел, по-видимому, что-то прибавить, — но голос замер на посиневших губах его, он закрыл лицо руками и выбежал… быть может, желая утаить смущение или невольные слезы, или стремясь с сильнейшим порывом бешенства исполнить немедленно свое ужасное обещание.

Ольга осталась одна почти без чувств, в забытьи. Она едва видела, как брат ее скрылся, едва слышала удар захлопнувшейся двери…

ГЛАВА XVIII

До сих пор в густых лесах Нижегородской, Симбирской, Пензенской и Саратовской губернии, некогда непроходимых кроме для медведей, волков и самых бесстрашных их гонителей, любопытный может видеть пещеры, подземные ходы, изрытые нашими предками, кои в них искали некогда убежище от набегов татар, крымцев и впоследствии от киргизов и башкир, угрожавших мирным деревням даже в царствование им. Елизаветы Петровны; последний набег был в 1769 году, но тогда, встретив уже войска около

сих мест, башкиры принуждены были удалиться, не дойдя несколько верст до Саратова и не причинив значительного вреда. Случалось даже, что целые деревни были уведены в плен и рассеяны; во времена, нами описываемые, эти пещеры не были еще, как теперь, завалены сухими листьями и хворостом и одна из них находилась не в большом расстоянии от деревни Палицына. Народ дал ей прозвание Чертова логовища, и суеверные предания населили ее страшными кикиморами и рогатыми лешими.

Чтобы из села Палицына кратчайшим путем достигнуть этой уединенной пещеры, должно бы было переплыть реку и версты две идти болотистой долиной, усеянной кочками, ветловыми кустами и покрытой высоким камышом; только некоторые из окрестных жителей умели по разным приметам пробираться чрез это опасное место, где коварная зелень мхов обманывает неопытного путника и высокий тростник скрывает ямы и тину; болото оканчивается холмом, через который прежде вела тропинка и, спустясь с него, поворачивала по косогору в густой и мрачный лес; на опушке столетние липы как стражи, казалось, простирали огромные ветви, чтоб заслонить дорогу; казалось, на узорах их сморщенной коры был написан адскими буквами этот известный стих Данта: *Lasciate ogni speranza voi ch'entrate!* Тут тропинка снова постепенно ползла на отлогую длинную гору, извиваясь между дерев как змея, исчезая по временам под сухими хрупкими листьями и хворостом. Наконец лес начинал редеть, сквозь забор темных дерев начинало проглядывать голубое небо, и вдруг открывалась круглая луговина, обведенная лесом как волшебным очерком, блистающая светлою зеленью и пестрыми высокими цветами, как островок среди угрюмого моря, — на ней во время осени всегда являлся высокий стог сена, воздвигнутый трудолюбием какого-нибудь бедного мужика; грозно-молчаливо смотрели на нее друг из-за друга ели и березы, будто завидуя ее свежести, будто намереваясь толпой подвинуться вперед и злобно растоптать ее бархатную мураву. — От сей луговины еще 3 версты до *Чертова логовища*, но тропинки уже нет нигде... и должно идти всё на восток, стараясь как можно менее отклоняться от сего направления. Лес не так высок, но колючие кусты, хмель и другие растения переплетают неразрывною сеткою корни дерев, так что за 3 сажени нельзя почти различить стоящего человека; иногда встречаются глубокие ямы, гнезда бурею вырванных дерев, коих гнилые колоды, обросшие зеленью и плющом, с своими обнаженными сучьями, как крепостные рогатки, преграждают путь; под ними, выкопав себе широкое логовище, лежит зимой косматый медведь и сосет неистощимую лапу; дремучие ели как черный полог наклоняются над ним и убаюкивают его своим непонятным шепотом. Пройдя таким образом немного более двух верст, слышится что-то похожее на шум падающих вод, хотя человек, не привыкший к степной

жизни, воспитанный на булеварах, не различил бы этот дальний ропот от говора листьев; — тогда, кинув глаза в ту сторону, откуда ветер принес сии новые звуки, можно заметить крутой и глубокий овраг; его берег обсажен наклонившимися березами, коих белые нагие корни, обмытые дождями весенними, висят над бездной длинными хвостами; глинистый скат оврага покрыт камнями и обвалившимися глыбами земли, увлекшими за собою различные кусты, которые беспечно принялись на новой почве; на дне оврага, если подойти к самому краю и наклониться, придерживаясь за надёжные дерева, можно различить небольшой родник, но чрезвычайно быстро катящийся, покрывающийся по временам пеною, которая белее пуха лебяжьего останавливается клубами у берегов, держится несколько минут и вновь увлечена стремлением исчезает в камнях и рассыпается об них радужными брызгами. На самом краю сего оврага снова начинается едва приметная дорожка, будто выходящая из земли; она ведет между кустов вдоль по берегу рытвины и наконец, сделав еще несколько извилин, исчезает в глубокой яме, как уж в своей норе; но тут открывается маленькая поляна, уставленная несколькими высокими дубами; посередине возвышаются три кургана, образующие правильный треугольник; покрытые дерном и сухими листьями, они похожи с первого взгляда на могилы каких-нибудь древних татарских князей или наездников, но, взойдя в середину между них, мнение наблюдателя переменяется при виде отверстий, ведущих под каждый курган, который служит как бы сводом для темной подземной галереи; отверстия так малы, что едва на коленах может вползти человек, но когда сделаешь так несколько шагов, то пещера начинает расширяться всё более и более, и наконец три человека могут идти рядом без труда, не задевая почти локтем до стены; все три хода ведут, по-видимому, в разные стороны, сначала довольно круто спускаясь вниз, потом по горизонтальной линии, но галерея, обращенная к оврагу, имеет особенное устройство: несколько сажен она идет отлогим скатом, потом вдруг поворачивает направо, и горе любопытному, который неосторожно пустится по этому новому направлению; она оканчивается обрывом или, лучше сказать, поворачивает вертикально вниз: должно надеяться на твердость ног своих, чтоб спрыгнуть туда; как ни говори, две сажени не шутка; но тут оканчиваются все искусственные препятствия; она идет назад, параллельно верхней своей части, и в одной с нею вертикальной плоскости, потом склоняется налево и впадает в широкую круглую залу, куда также примыкают две другие; эта зала устлана камнями, имеет в стенах своих четыре впадины в виде нишей (niches); посередине один четвероугольный столб поддерживает глиняный свод ее, довольно искусно образованный; возле столба заметна яма, быть может служившая некогда вместо печи несчастным изгнанникам, которых судьба заставляла

скрываться в сих подземных переходах; среди глубокого безмолвия этой залы слышно иногда журчание воды: то светлый, холодный, но маленький ключ, который, выходя из отверстия, сделанного, вероятно, с намерением, в стене, пробирается вдоль по ней и наконец, скрываясь в другом отверстии, обложенном камнями, исчезает; немолчный ропот беспокойных струй оживляет это мрачное жилище ночи, как песни узника оживляют безмолвие темницы; все эти признаки доказывают, что наши предки могли бы и намеревались выдержать здесь продолжительную осаду. Впрочем камни и земля — всё поросло мохом, при свете фонаря можно различить в стене норы земляных крыс и других скромных зверков, любителей мрака и неизвестности; инде свод начал обсыпаться, и от прежней правильности и симметрии почти не осталось никаких следов.

Борис Петрович знал это место, ибо раза два из любопытства, будучи на охоте, он подъезжал к нему, хотя ни разу не осмелился проникнуть в внутренность мрачных переходов: когда он опомнился от страха, то Чертово логовище, несмотря на это адское прозвание, представилось его мысли как единственное безопасное убежище... ибо остаться здесь, в старом овине, так близко от спящих палачей своих, было бы безрассудно... но как туда пробраться?

Я должен вам признаться, милые слушатели, что Борис Петрович — боялся смерти!.. чувство, равно свойственное человеку и собаке, вообще всем животным... но дело в том, что смерть Борису Петровичу казалась ужаснее, чем она кажется другим животным, ибо в эти минуты тревожная душа его, обнимая всё минувшее, была подобна преступнику, осужденному испанской инквизицией упасть в колючие объятия мадоны долорозы (madona dolorosa), этого искаженного, богохульного, страшного изображения святейшей святыни... О! я вам отвечаю, что Борис Петрович больше испугался, чем неопытный должник, который в первый раз, обшаривая пустые карманы, слышит за дверьми шаги и кашель чахоточного кредитора; Бог знает, что прочел Палицын на замаранных листках своей совести, Бог знает, какие образы теснились в его воспоминаниях — слово *смерть*, одно это слово, так ужаснуло его, что от одной этой кровавой мысли он раза три едва не обеспамятел, но его спасло именно отдаление всякой помощи: упав в обморок, он также боялся умереть. Смерть! смерть со всех сторон являлась мутным его очам, то грозная, высокая с распростертыми руками, как виселица, то неожиданная, внезапная, как измена, как удар грома небесного... она была снаружи, внутри его, везде, везде... она дробилась вдруг на тысячу разных видов, она насмешливо прыгала по влажным его членам, подымала его седые волосы, стучала его зубами друг об друга... наконец Борис Петрович хотел прогнать эту нестерпимую мысль... и чем же? молитвой!..

но напрасно!.. уста его шептали затверженные слова, но на каждое из них у души один был отзыв, один ответ: смерть!.. Он старался придумать способ к бегству, средство, какое бы оно ни было… самое отчаянное казалось ему лучшим; так прошел час, прошел другой… эти два удара молотка времени сильно отозвались в его сердце; каждый свист неугомонного ветра заставлял его вздрогнуть, малейший шорох в соломе, произведенный торопливостию большой крысы или другого столь же мирного животного, казался ему топотом злодеев… он страдал, жестоко страдал! и то сказать: каждому свой черед; счастие — женщина: коли полюбит вдруг сначала, так разлюбит под конец; Борис Петрович также иногда вспоминал о своей толстой подруге… и волос его вставал дыбом: он понял молчание сына при ее имени, он объяснил себе его трепет… в его памяти пробегали картины прежнего счастья, не омраченного раскаянием и страхом, они пролетали, как легкое дуновение, как листы, сорванные вихрем с березы, мелькая мимо нас, обманывают взор золотым и багряным блеском и упадают… очарованы их волшебными красками, увлечены невероятною мечтой, мы поднимаем их, рассматриваем… и не находим ни красок, ни блеска: это простые, гнилые, мертвые листы!..

Между тем дело подходило к рассвету, и Палицын более и более утверждался в своем намерении: спрятаться в мрачную пещеру, описанную нами; но кто ему будет носить пищу?.. где друзья? слуги? где рабы, низкие, послушные мановению руки, движению бровей? — никого! решительно никого!.. он плакал от бешенства!.. К тому же: кто его туда проводит? как выйдет он из этого душного овина, покуда его охотники не удалились?.. и не будет ли уже поздно, когда они удалятся…

На рассвете ему послышался лай, топот конский, крик, брань и по временам призывный звон рогов; это продолжалось с полчаса; наконец всё умолкло; — прошло еще полчаса; вдруг он слышит над собою женский голос: «барин! — барин!.. вставай… да отвечай же? — не спишь ли ты?..»

Вы можете вообразить, что он не спал, но молчание его происходило оттого, что сначала он не узнал этот голос, а потом хотя узнал, но оледенелый язык его не повиновался; он тихо приподнялся на ноги, как воскресший Лазарь из гроба, — и вылез из сусека.

— Это ты, хозяйка! — пролепетал он невнятно…

— Я, я! — да не бось… они все уехали; поискали тебя немножко, да и махнули рукой: туда-ста ему и дорога… говорят…

— Хозяйка! — прервал Палицын, — уж светает; послушай: я придумал, куда мне спрятаться… ты знаешь… отсюда недалеко есть место… говорят, недоброе… да это всё равно; ты знаешь Чертово логовище!..

Хозяйка в ужасе три раза перекрестилась и посмотрела пристально на Палицына.

— Ох! кормилец!.. беда! сатанинское это гнездо...

— Нет другого! — возразил он в отчаянии...

— Оно бы есть! да больно близко твоей деревни... и то правда, барин, ты хорошо придумал... что начала, то кончу; уж мне грех тебя оставить; вот тебе мужицкое платье: скинь-ка свой балахон... — а я тебе дам сына в проводники... он малый глупенек, да зато не болтлив, и уж против материнского слова не пойдет...

Покуда Борис Петрович переодевался в смурый кафтан и обвязывал запачканные онучи вокруг ног своих солдатка подошла к дверям овина, махнула рукой, явился малый лет 17-и глупой наружности, с рыжими волосами, но складом и ростом богатырь... он шел за матерью, которая шептала ему что-то на ухо; почесывая затылок и кивая головой, он зевал беспощадно и только по временам отвечал: «хорошо, мачка». Когда они приближились к Палицыну, то он уже был готов: — «с Богом!» — прошептала им вслед хозяйка... они вышли в поле чрез задние ворота; Борис Петрович боялся говорить, Петруха не умел и не любил; это случайное сходство было очень кстати.

Оставим их на узкой лесной тропинке, пробирающихся к грозному Чертову логовищу, обоих дрожащих как лист: один опасаясь погони, другой боясь духов и привидений... оставим их и посмотрим, куда девался Юрий, покинув своего чадолюбивого родителя.

ГЛАВА XIX

Юрий, выскакав на дорогу, ведущую в село Палицыно, приостановил усталую лошадь и поехал рысью; тысячу предприятий и еще более опасений теснилось в уме его; но спасти Ольгу или по крайней мере погибнуть возле нее было первым чувством, господствующею мыслию его; любовь, сначала очень обыкновенная, даже не заслуживавшая имя страсти, от нечаянного стечения обстоятельств возросла в его груди до необычайности: как в тени огромного дуба прячутся все окружающие его скромные кустарники, так все другие чувства склонялись перед этой новой властью, исчезали в его потоке.

По гладкой, но узкой дороге ехал Юрий, его шпага, ударяясь об бока лошади, неприметно возбуждала ее благородное рвение... По обеим сторонам дороги начинали желтеть молодые нивы; как молодой народ, они волновались от легчайшего дуновения ветра; далее за ними тянулися налево холмы, покрытые кудрявым кустарником, а направо возвышался густой, старый, непроницаемый лес: казалось, мрак черными своими очами выглядывал из-под каждой ветви; казалось, возле каждого дерева стоял рога-

тый, кривоногий леший… всё молчало кругом; иногда долетал до путника нашего жалобный вой волков, иногда отвратительный крик филина, этого ночного сторожа, этого члена лесной полиции, который, засев в свою будку, гнилое дупло, окликает прохожих лучше всякого часового… — Но вдруг Юрий услышал другие звуки; это был конский топот, который неимоверно быстро приближался; Юрий хотел было своротить с дороги, следуя какому-то инстинкту… но гордость превозмогла; он остановился, вынул из кармана небольшой пистолет, взятый им из дому на всякий случай, осмотрел кремень, взвел курок и приготовился к храброму отпору; скоро он заметил за собою, но еще очень далеко, белеющую пыль, и наконец показался всадник, который мчался к нему во все лопатки.

Подскакав на расстояние 50 шагов, незнакомец начал удерживать ретивого коня.

— Стой! — закричал Юрий, — не приближайся!.. или я размозжу тебе голову. — Кто ты таков?

— Или ты не узнал меня, барин, — отвечал хриплый голос. — Неужели ты хочешь убить верного своего раба?

— Как, это ты, Федосей? — воскликнул удивленный юноша, приближаясь к нему и стараясь различить его черты; но зачем ты здесь? — продолжал он строго… — мне не нужно спутников… я знаю свою дорогу… разве я звал тебя?.. говори…

— Эх, барин! барин!.. ты грешишь! я видел, как ты приезжал… и тотчас сел на лошадь и поскакал за тобой следом, чтоб совесть меня после не укоряла… я всё знаю, батюшка! времена тяжкие… да уж Федосей тебя не оставит; где ты, там и я сложу свою головушку; Бог велел мне служить тебе, барин; Он меня спросит на том свете: служил ли ты верой и правдой господам своим… а кабы я тебя оставил, что бы мне пришлось отвечать… Много нынче злодеев, дурной стал народ, да я не из них, Юрий Борисович… прикажи только, отец родной, и в воду и в огонь кинусь для тебя… уж таково дело холопское; ты меня поил и кормил до сей поры, теперь пришла моя очередь… сгибну, а господ не выдам.

Юрий был растроган; он ударил его по плечу и сказал:

— Если ты говоришь правду, Федосей, то Бог наградит тебя и семью твою… но ты знаешь, что я теперь не имею этой власти…

— Да куда ты едешь, барин… один-одинехонек…

— Федосей, я исполнил долг свой, известил отца об опасности, помог ему скрыться… и еду… — Юрий призадумался и наконец отворотясь молвил отрывисто: — я хочу видеться с Ольгой…

«Вот что! — подумал Федосей, поглаживая усы. — Время думать об девках, когда петля на шее!» — эй барин! — молвил он, осмелившись; —

брось ее!.. что теперь за свиданья… опасно показаться в селе… пожалуй, на грех мастера нет… ох! кабы ты знал, что болтает народ.

— Я хочу ее видеть… возьму ее с собой… и только тогда буду заботиться об опасности… я хочу, я должен ее видеть…

— Плохо! — пробормотал Федосей.

Молча они ехали рядом несколько времени, ни тот, ни другой не умея или не желая возобновить разговора… В такие часы, когда решается судьба наша, мы не тратим лишних слов, потому что дорожим каждым мгновением, потому что все земные страсти кипят в уме и одного взгляда довольно, чтоб заставить понять себя…

— Барин, — воскликнул вдруг Федосей… — посмотри-ка… кажись, наши гумна виднеются… так… так… Остановись-ка, барин… послушай, мне пришло на мысль вот что: ты мне скажи только, где найти Ольгу — я пойду и приведу ее… а ты подожди меня здесь у забора с лошадьми… — сделай милость, барин… не кидайся ты в петлю добровольно — береженого Бог бережет… а ведь ей нечего бояться, она не дворянка…

Это предложение поразило Юрия: он почувствовал некоторый стыд: «как! — думал он, — и я для нее побоюсь пожертвовать этой глупой жизнью…», но скоро, с помощию некоторых услужливых софизмов, он успокоил свою гордость, победил стыд неуместный — и, увы! — согласился, слез с коня и махнул рукою Федосею на прощанье.

Я желал бы представить Юрия истинным героем, но что же мне делать, если он был таков же, как вы и я… против правды слов нет; я уж прежде сказал, что только в глазах Ольги он почерпал неистовый пламень, бурные желания, гордую волю, — что вне этого волшебного круга он был человек, как и другой, — просто добрый, умный юноша. Что делать?

Когда Федосей исчез за плетнем, окружавшим гумно, то Юрий привязал к сухой ветле усталых коней и прилег на сырую землю; напрасно он думал, что хладный ветер и влажность высокой травы, проникнув в его жилы, охладит кровь, успокоит волнующуюся грудь… все призраки, все невероятности, порождаемые сомнением ожидания, кружились вокруг него в несвязной пляске и невольно завлекали воображение всё далее и далее, как иногда блудящий огонек, обманчивый фонарь какого-нибудь зловредного гения, заводит путника к самому краю пропасти…

Юрий, чтоб оторвать свою мысль от грозных картин будущего, обратил ее на прошедшее — так врачи в отчаянных случаях употребляют отчаянные средства — но всегда ли они удаются?

И перед ним начал развиваться длинный свиток воспоминаний, и он в изумлении подумал: ужели их так много? отчего только теперь они все вдруг, как на праздник, являются ко мне?.. и он начал перебирать их одно по одно-

му, как девушка иногда гадая перебирает листки цветка, и в каждом он находил или упрек или сожаление, и он мог по особенному преимуществу, дающемуся почти всем в минуты сильного беспокойства и страдания, исчислить все чувства, разбросанные, растерянные им на дороге жизни: но увы! эти чувства не принесли плода; одни, как семена притчи, были поклеваны хищными птицами, другие потоптаны странниками, иные упали на камень и сгнили от дождей бесполезно.

Он сначала мысленно видел себя еще ребенком, белокурым, кудрявым, резвым, шаловливым мальчиком, любимцем-баловнем родителей, грозой слуг и особенно служанок; он видел себя невинным воспитанником природы, играющим на коленях няни, трепещущим при слове: бука — он невольно улыбался, думая о том, как недавно прошли эти годы, и как невозвратно они погибли...

Но вот настал возраст первых страстей, первых желаний... его отдают воспитываться к старой и богатой бабке. Анютка, простая дворовая девочка, привлекла его внимание; о, сколько ласк, сколько слов, взглядов, вздохов, обещаний — какие детские надежды, какие детские опасения! Как смешны и страшны, как беспечны и как таинственны были эти первые свидания в темном коридоре, в темной беседке, обсаженной густолиственной рябиной, в березовой роще у грязного ручья, в соломенном шалаше полесовщика!.. о, как сладки были эти первые, сначала непорочные, чистые и под конец преступные поцелуи; как разгорались глаза Анюты, как трепетали ее едва образовавшиеся перси, когда горячая рука Юрия смело обхватывала неперетянутый стан ее, едва прикрытый посконным клетчатым платьем, когда уста его впивались в ее грудь, опаленную солнечным зноем.

Но ему говорят, что пора служить... он спрашивает зачем! ему грозно отвечают, что 15-ти лет его отец был сержантом гвардии; что ему уже 16-ть, итак... итак... заложили бричку, посадили с ним дядьку, дали 20 рублей на дорогу и большое письмо к какому-то правнучетному дядюшке... ударил бич, колокольчик зазвенел... прости воля, и рощи, и поля, прости счастие, прости Анюта!.. садясь в бричку, Юрий встретил ее глаза неподвижные, полные слезами; она из-за дверей долго на него смотрела... он не мог решиться подойти, поцеловать в последний раз ее бледные щечки, он как вихорь промчался мимо нее, вырвал свою руку из холодных рук Анюты, которая мечтала хоть на минуту остановить его... о! какой зверской холодности она приписала мой поступок, как смело она может теперь презирать меня! — думал он тогда... Но что же! он ее увидел 6 лет спустя... увы! она сделалась дюжей толстой бабою, он видел, как она колотила слюнявых ребят, мела избу, бранила пьяного мужа самыми отвратительными речами... очарование разлетелось как дым; настоящее отравило прелесть минувшего,

с этих пор он не мог вообразить Анюту, иначе как рядом с этой отвратительной женщиной, он должен был изгладить из своей памяти как умершую эту живую, черноглазую, чернобровую девочку… и принес эту жертву своему самолюбию, почти безо всякого сожаления.

Между тем заботы службы, новые лица, новые мысли победили в сердце Юрия первую любовь, изгладили в его сердце первое впечатление… слава! вот его кумир! — война, вот его наслаждение!.. поход! — в Турцию… о, как он упитает кровью неверных свою острую шпагу, как гордо он станет попирать разрубленные низверженные чалмы поклонников Корана!.. как счастлив он будет, когда сам Суворов ударит его по плечу и молвит: молодец! хват… лучше меня! помилуй Бог!.. о, Суворов верно ему скажет что-нибудь в этом роде, когда он первый взлетит, сквозь огонь и град пуль турецких, на окровавленный вал и, колеблясь, истекая кровью от глубокой, хотя бездельной раны, водрузит в чуждую землю первое знамя с двуглавым орлом! — о, какие поздравления, какие объятия после битвы…

Но войска перешли через границу русскую, пылают села неверных на берегу Дуная, который, подмывая берега свои, широкой зеленой волной катится через дикие поляны… О, как жадно вдыхал Юрий этот теплый ароматный воздух, как страстно он кидался в шумную стычку, с каким наслаждением погружал свою шпагу во внутренность безобразного турка, который, выворотив глаза, с судорожным движением кусал и грыз холодное железо!.. Но кто эта пленница, которую так бережливо скрывает он в шатре своем от взоров товарищей, любопытных и нескромных? кто она!.. О, это тайна! тайна, которую знает лишь он да Бог, если Богу есть какое-нибудь дело до сердца человеческого!..

Он нашел ее полуживую, под пылающими угольями разрушенной хижины; неизъяснимая жалость зашевелилась в глубине души его, и он поднял Зару, — и с этих пор она жила в его палатке, незрима и прекрасна как ангел; в ее чертах всё дышало небесной гармонией, ее движения говорили, ее глаза ослепляли волшебным блеском, ее беленькая ножка, исчерченная лиловыми жилками, была восхитительна, как фарфоровая игрушка, ее смугловатая твердая грудь воздымалась от малейшего вздоха… страсть блистала во всем: в слезах, в улыбке, в самой неподвижности — судя по ее наружности она не могла быть существом обыкновенным; она была или божество или демон, ее душа была или чиста и ясна как веселый луч солнца, отраженный слезою умиления, или черна как эти очи, как эти волосы, рассыпающиеся подобно водопаду по круглым бархатным плечам… так думал Юрий и предался прекрасной мусульманке, предался и телом и душою, не удостоив будущего ни единым вопросом.

Прошли две недели… и он еще не был утомлен сладострастием, не был пресыщен поцелуями… о друзья мои, это не шутка: две недели!..

Однажды… как живо теперь в его памяти представляется эта грозная ночь!.. Юрий спал на мягком ковре в своей палатке; походная лампада догорала в углу и по временам неверный блеск пробегал по полосатым стенам шатра, освещая серебряную отделку пистолетов и сабель, отбитых у врага и живописно развешанных над ложем юноши; Юрий спал… но вдруг, как ужаленный скорпионом, пробудился; на него были устремлены два черные глаза и светлый кинжал!.. ад и проклятие!.. еще вчера он ненасытно лобзал эти очи, еще вчера за эту маленькую ручку он бы отдал всё свое имущество!.. в одно мгновение вырвал он у Зары смертоносное орудие и кинул далеко от себя; но турчанка не испугалась, не смутилась… она тихо отошла, сложила руки, склонила голову на грудь, готовая принять заслуженную казнь, готовая слушать безмолвно все упреки, все обиды… о, в ней точно кипела южная кровь!..

— Неблагодарная, змея! — воскликнул Юрий, — говори, разве смертью плотят у вас за жизнь? разве на все мои ласки ты не знала другого ответа, как удар кинжала?.. Боже, Создатель! такая наружность и такая душа! о если все твои ангелы похожи на нее, то какая разница между адом и раем?.. нет! Зара, нет! это не может быть… отвечай смело: я обманулся, это сон! я болен, я безумец… говори: чего ты хочешь?

— Я хочу свободы! — отвечала Зара.

— Свободы!.. а! я тебе наскучил… ты вспомнила о своих минаретах, о своей хижине — но они сгорели… с той поры моя палатка сделалась твоей отчизной… но ты хочешь свободы… ступай, Зара… Божий мир велик. Найди себе дом, друзей… ты видишь: и без моей смерти можно получить свободу…

Молча Зара вышла; он долго следовал за нею взором и мечтою; луна озаряла ее длинное покрывало, которое как белый туман обвивалось вокруг ее гибкого стана; она как призрак неслышно скользила по траве… вот скрылась вдали за палаткой, вот мелькнула и снова скрылась… прощай, Зара! прощай, роза Гулистана! прощай навеки!

На другой день рано утром, бледный, с мутным взором, беспокойный, как хищный зверь, рыскал Юрий по лагерю… всё было спокойно, солнце только что начинало разгораться и проникать одежду… вдруг в одном шатре Юрий слышит ропот поцелуев, вздохи, стон любви, смех и снова поцелуи; он прислушивается — он видит щель в разорванном полотне, непреодолимая сила приковала его к этой щели… его взоры погружаются во внутренность подозрительного шатра… Боже правый! он узнает свою Зару в объятиях артиллерийского поручика!

Он не был мстителен; не злоба, но глубокая печаль проникла в его душу… он много, много плакал, хотел умереть — и не умер, решился забыть Зару… и, друзья мои! — забыл ее!..

Наконец кончилась война, знамена русские, пошумев над берегами Дуная, свернулись; возвратясь на родину, Юрий решился мстить изменой всем женщинам вместо одной — чрезвычайно покойная и умная выдумка!.. Не одна *30-летняя* вдова рыдала у ног его, не одна богатая барыня сыпала золотом, чтоб получить одну его улыбку... в столице, на пышных праздниках, Юрий с злобною радостью старался ссорить своих красавиц, и потом, когда он замечал, что одна из них начинала изнемогать под бременем насмешек, он подходил, склонялся к ней с этой небрежной ловкостью самодовольного юноши, говорил, улыбался... и все ее соперницы бледнели... о, как Юрий забавлялся сею тайной, но убивственной войною! но что ему осталось от всего этого? — воспоминания? — да, но какие? горькие, обманчивые, подобно плодам, растущим на берегах Мертвого моря, которые, блистая румяной корою, таят под нею пепел, сухой горячий пепел! и ныне сердце Юрия всякий раз при мысли об Ольге, как трескучий факел, окропленный водою, с усилием и болью разгоралось; неровно, порывисто оно билось в груди его, как ягненок под ножом жертвоприносителя. Он смутно чувствовал, что это его последняя страсть, узел, который судьба, не умея расплесть, перерубит подобно Александру.

ГЛАВА XX

Федосей, не быв никем замечен, пробрался через гумна и наконец спустился в знакомый нам овражек, перелез через плетень и приблизился к бане; но что же? в эту решительную минуту внезапный туман покрыл его мысли, казалось, незримая рука отталкивала его от низенькой двери, — и вместе с этим он не имел силы удалиться, как боязливая птица, очарованная магнетическим взором змеи! С минуту он оставался неподвижим, но вдруг опомнился, толкнул дверь — и взошел... Но переступая через порог, он оглянулся — и ему показалось, что черная тень мелькнула за рябиновым кустом; он не успел различить ее формы; но тайное предчувствие говорило ему, что или злой дух или злой человек. Когда Федосей, пройдя через сени, вступил в баню, то остановился пораженный смутным сожалением; его дикое и грубое сердце сжалось при виде таких прелестей и такого страдания: на полу сидела, или лучше сказать, лежала Ольга, преклонив голову на нижнюю ступень полка и поддерживая ее правою рукою; ее небесные очи, полузакрытые длинными шелковыми ресницами, были неподвижны, как очи мертвой, полны этой мрачной и таинственной поэзии, которую так нестройно, так обильно изливают взоры безумных; можно было тотчас заметить, что с давних пор ни одна алмазная слеза не прокатилась под этими атласными

веками, окруженными легкой коришневатой тенью: все ее слезы превратились в яд, который неумолимо грыз ее сердце; ржавчина грызет железо, а сердце 18-летней девушки так мягко, так нежно, так чисто, что каждое дыхание досады туманит его как стекло, каждое прикосновение судьбы оставляет на нем глубокие следы, как бедный пешеход оставляет свой след на золотистом дне ручья; ручей — это надежда; покуда она светла и жива, то в несколько мгновений следы изглажены; но если однажды надежда испарилась, вода утекла… то кому нужда до этих ничтожных следов, до этих незримых ран, покрытых одеждою приличий.

Холодна, равнодушна лежала Ольга на сыром полу и даже не пошевелилась, не приподняла взоров, когда взошел Федосей; фонарь с умирающей своей свечою стоял на лавке, и дрожащий луч, прорываясь сквозь грязные зеленые стекла, увеличивал бледность ее лица; бледные губы казались зеленоватыми; полураспущенная коса бросала зеленоватую тень на круглое, гладкое плечо, которое, освободясь из плена, призывало поцалуй; душегрейка, смятая под нею, не прикрывала более высокой, роскошной груди; два мягкие шара, белые и хладные как снег, почти совсем обнаженные, не волновались как прежде: взор мужчины беспрепятственно покоился на них, и ни малейшая краска не пробегала ни по шее, ни по ланитам: женщина, только потеряв надежду, может потерять стыд, это непонятное, врожденное чувство, это невольное сознание женщины в неприкосновенности, в святости своих тайных прелестей.

Спрятав ноги под длинное платье, лежала Ольга, и в недоумении перед нею стоял уполномоченный посланник Юрия; наконец он нетерпеливо дернул ее за рукав:

— Вставай, вставай — время дорого!..

— Ты опять здесь! — простонала она, не приподнимая головы.

— Какой черт! опять!.. да ты меня не узнала, што ли! вставай, время дорого!.. Юрий Борисыч ждет за гумнами… неравно без меня что с <ним> случится…

— <О>, не называй его! ты хочешь меня обмануть… это какая-нибудь адская западня… о Вадим: дай мне по крайней мере умереть в покое… тебе судьба за меня отплотит!

— Что ты, матушка, бредишь? помилуй! — какой тут Вадим? — я Федосей — чай, меня не забыла… да вставай.., барин остался один… а время опасное…

Как пробужденная от сна, вскочила Ольга, не веруя глазам своим; с минуту пристально вглядывалась в лицо седого ловчего и наконец воскликнула с внезапным восторгом: «так он меня не забыл? так он меня любит? любит! он хочет бежать со мною, далеко, далеко…» — и она прыгала и едва

не целовала шершавые руки охотника, — и смеялась и плакала... «нет, — продолжала она, немного успокоившись, — нет! Бог не потерпит, чтоб люди нас разлучили, нет, он мой, мой на земле и в могиле, везде мой, я купила его слезами кровавыми, мольбами, тоскою, — он создан для меня, — нет, он не мог забыть свои клятвы, свои ласки...»

— Я этого ничего не знаю, — прервал хладнокровно Федосей, — уж вы там с барином согласитесь, как хотите, купить или не купить, а я знаю только то, что нам пора... если уж не поздно!..

— Но, куда, как?

— Уж это мое дело!.. провал побери! разве не веришь?

— Федосей, если ты обманываешь!

— Оборони Боже! что я за бусурман; — да скорее! Юрий Борисович ждет нас за гумнами, на дороге, — чай, глазыньки проглядел!..

— Я готова.

Федосей, подав ей знак молчать, приблизился к двери, отворил ее до половины и высунул голову с намерением осмотреть, всё ли кругом пусто и тихо; довольный своим обзором, он покашляв проворчал что-то про себя и уж готовился совершенно расхлопнуть дверь, как вдруг он охнул, схватил рукой за шею, вытянулся и в судорогах упал на землю; что-то мокрое брызнуло на руки и на грудь Ольги. Она затряслась всем телом, хотела кричать — не могла... Перед нею Федосей плавал в крови своей, грыз землю и скреб ее ногтями; а над ним с топором в руке на самом пороге стоял некто еще ужаснее, чем умирающий: он стоял неподвижно, смотрел на Ольгу глазами коршуна и указывал пальцем на окровавленную землю: он торжествовал, как Геркулес, победивший змея: улыбка, ядовито-сладкая улыбка набегала на его красные губы: в ней дышала то гордость, то презрение, то сожаленье — да, сожаленье палача, который не из собственной воли, но по повелению высшей власти наносит смертный удар.

— Ты видишь! — сказал наконец Вадим с глухим смехом, — я сдержал свое обещание!.. Это он! не бойся взглянуть на искаженные черты некогда молодого светлого лица; это он! тот самый, чья голова покоилась на груди твоей, кто на губах твоих замирал в упоении, кто за один твой нежный взгляд оставил долг, отца и мать, — для кого и ты бы их покинула, если б имела... это он! бедный, глупый юноша! который так гордился своим дворянским происхождением, который с таким самодовольством носил свой зеленый раззолоченный мундир, который, окруженный лестию, сыпал деньги своим льстецам, не требуя даже благодарности, которому стоило только мигнуть, чтоб женщина кинулась в его объятия — да! что же он теперь!.. окровавленный прах! бездушный чурбан, не чувствующий даже обиды... и Вадим толкнул ногою охладевший труп и продолжал: — Как отвратителен теперь он

должен быть... но смотри, Ольга! я не хочу смягчать душу этим зрелищем: посмотри, как хороши его закатившиеся белые глаза... Творец небесный! и кто же всё это сделал? кто превратил прекрасное создание Бога в глыбу грязи?.. кто напитал эти кудри багряным напитком? кто разбрызгал по стене этот белый, чистый мозг... кто? — я, я! — ха, ха, ха! ха! презренный нищий, бессильный раб, безобразный горбач!.. да, да! — неужели это так удивительно?.. Я говорил тебе, Ольга: не люби его!.. ты не послушалась, ты, как обыкновенная женщина, прельстилась на золото, красоту и пышные обещания... ты мне не поверила: он обещал тебе счастие — мечту — а я обещал: месть и верную месть; ты выбрала первое; ты смела помыслить, что люди могут противиться судьбе; будто бы я уж так давно отвергнут Богом, что Он захочет мне отказать в первом, последнем, единственном удовольствии!.. Я твой брат, Ольга, брат! господин, повелитель, царь твой. Нас только двое на свете из всего семейства; мой путь должен быть твоим; напрасно ты мечтала разорвать слабой рукой то, что связала природа: где бушует моя ненависть, там не цвесть любви твоей... — Он на минуту замолк, его волосы стояли дыбом, глаза разгорались как уголья, и рука, простертая к Ольге, дрожала на воздухе; он поставил ногу на грудь мертвецу так крепко, что слышно было, как захрустели кости, и, приняв торжественный вид жреца, произнес: — Свершилось первое мое желание! он пал; вот он — убийца моих надежд, вот он, губитель моего первого блаженства; ненавижу тебя, и в могиле, и берегись, если мы когда-нибудь встретимся на том свете! а ты, Ольга — ты, ступай, куда хочешь; между нами все счеты кончены; я тебе заплатил — живи, умри — мне всё равно. Прощай, сестра — прощай и ты, бедный юноша!

И Вадим, пожав плечами, приподнял голову мертвеца за волосы, обернул ее к фонарю — взглянул на позеленевшее лицо — вздрогнул — взглянул еще ближе и пристальней — вдруг закричал, — и отскочил как бешеный; голова, выпущенная из рук, ударилась о землю, как камень; это было мгновение — но в сем мгновении заключалась целая ужасная драма. Вадим, обманутый в последней надежде, потерялся; он не мог держаться на ногах, бледный, страшный, он присел на скамью — и как вы думаете, что он делал? плакал!.. — да, плакал, как ребенок, горькими слезами!

Он сидел и рыдал, не обращая внимания ни на сестру, ни на мертвого: Бог один знает, что тогда происходило в груди горбача, потому что, закрыв лицо руками, он не произнес ни одного слова более... он, казалось, понял, что теперь боролся уже не с людьми, но с Провидением, и смутно предчувствовал, что если даже останется победителем, то слишком дорого купит победу: но непоколебимая железная воля составляла всё существо его, она не знала ни преград, ни остановок, стремясь к своей цели. Так неугомонная волна день и ночь без устали хлещет и лижет гранитный берег: то старает-

ся вспрыгнуть на него, то снизу подмыть и опрокинуть; долго она трудится напрасно, каждый раз отброшена в дальнее море... но ничто ее не может успокоить: и вот проходят годы, и подмытая скала срывается с берега и с гулом погружается в бездну, и радостные волны пляшут и шумят над ее могилой.

И в самом деле, что может противустоять твердой воле человека? — воля — заключает в себе всю душу; хотеть — значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться, — жить, одним словом; воля есть нравственная сила каждого существа, свободное стремление к созданию или разрушению чего-нибудь, отпечаток божества, творческая власть, которая из ничего созидает чудеса... о, если б волю можно было разложить на цифры и выразить в углах и градусах, как всемогущи и всезнающи были бы мы!..

Не знаю, сколько часов сидел в забытьи Вадим, но когда он поднял голову, то не нашел возле себя сестры; свежий ветер утра, прорываясь в дверь, шевелил платьем убитого, и по временам казалось, что он потрясал головой, так высоко взвевались рыжие волосы на челе его, увлажненном густой, полузапекшейся кровью. Вадим холодно взглянул на Федосея, покачал головой с сожалением, перешагнул через протянутые ноги и пошел скорыми шагами вдоль по оврагу. Восток белел приметно, и розовый блеск змеей обрисовывал нижние части большого серого облака, который, имея вид коршуна с растянутыми крылами, держащего змею в когтях своих, покрывал всю восточную часть небосклона; фантастически отделялись предметы на дальнем небосклоне, и высокие сосны и березы окрестных лесов чернели, как часовые на рубеже земли; природа была тиха и торжественна, и холмы начинали озаряться сквозь белый туман, как иногда озаряется лицо невесты сквозь брачное покрывало, всё было свято и чисто — а в груди Вадима какая буря!

ГЛАВА XXI

Было около 2-х часов пополудни; солнце медленно катилось по жарким небесам, и гибкие верхи дерев едва колебались, перешептываясь друг с другом; в густом лесу изредка попевали странствующие птицы, изредка вещая кукушка повторяла свой унылый напев, мерный, как бой часов в сырой готической зале. На мураве, под огромным дубом, окруженные часто сплетенным кустарником, сидели два человека: мужчина и женщина; их руки были исцарапаны колючими ветвями и платья изорваны в долгом странствии сквозь чащу; усталость и печаль изображались на их лицах, молодых, прекрасных.

Молодая женщина, скинув обувь, измокшую от росы, обтирала концом большого платка розовую, маленькую ножку, едва разрисованную лиловыми тонкими жилками, украшенную нежными прозрачными ноготками; она по временам поднимала голову, отряхнув волосы, ниспадающие на лицо, и улыбалась своему спутнику, который, облокотись на руку, кидал рассеянные взгляды, то на нее, то на небо, то в чащу леса; по временам он наморщивал брови, когда мрачная мысль прокрадывалась в уме его, по временам неожиданная влажность покрывала его голубые глаза, и если в это время они встречали радужную улыбку подруги, то быстро опускались, как будто бы пораженные ярким лучом солнца.

— Ты задумчив! — сказала она. — Но отчего? — опасность прошла; я с тобою... Ничто не противится нашей любви... Небо ясно, Бог милостив... зачем грустить, Юрий!.. это правда, мы скитаемся в лесу как дикие звери, но зато, как они, свободны. Пустыня будет нашим отечеством, Юрий, — а лесные птицы нашими наставниками: посмотри, как они счастливы в своих открытых, тесных гнездах...

— Да, — отвечал Юрий... — счастливы!.. и я возле тебя счастлив!.. но твои шутки иногда для меня мучительны!..

— Разве лучше, если я буду плакать!..

— Ольга, ты мой ангел утешитель!.. о, если б ты знала, какие грозные предчувствия теснятся в душе моей!.. и как было не отгадать, что это случится, когда самые ужасные слухи так нагло разливались в народе?.. Отчего они тогда казались нам невероятны?.. а теперь! — русские дворяне гибнут и скрываются в лесах от простого казака, подлого самозванца, и толпы кровожадных разбойников!.. все, которые доселе готовы были целовать наши подошвы, теперь поднялись на нас... о змеи! змеи! если б я знал, я бы раздавил вас... и вдруг, в одну ночь всё погибло... мать... отец... имущество, — родная кровля... всё отнято... здесь ждет голод, холод, жизнь нищего — а там виселица, пытки, позор... Боже! что мы сделали? — о, казни меня Сам, но зачем поручить орудье казни этой грязной, подлой толпе рабов?..

— Юрий, успокойся... видишь, я равнодушно смотрю на потерю всего, кроме твоей нежности... я видела кровь, видела ужасные вещи, слышала слова, которых бы ангелы испугались... но на груди твоей всё забыто: когда мы переплывали реку на коне и ты держал меня в своих объятиях так крепко, так страстно, я не позавидовала бы ни царице, ни райскому херувиму... я не чувствовала усталости, следуя за тобой сквозь колючий кустарник, перелезая поминутно через опрокинутые рогатые пни... это правда, у меня нет ни отца, ни матери... — При сих словах, произнесенных без умысла, она побледнела и замолкла, как будто сама испугалась их... Юрий обхватил ее мягкий стан, приклонил к себе и поцеловал ее в шею: девственные груди

облились румянцем и заволновались, стараясь вырваться из-под упрямой одежды... о, сколько сладострастия дышало в ее полураскрытых пурпуровых устах! он жадно прилепился к ним, лихорадочная дрожь пробежала по его телу, томный вздох вырвался из груди...

— Ты права! — говорил он, — чего мне желать теперь? — пускай придут убийцы... я был счастлив!.. чего же более для меня? — я видал смерть близко на ратном поле, и не боялся... и теперь не испугаюсь: я мужчина, я тверд душой и телом, и до конца не потеряю надежды спастись вместе с тобою... но если надобно умереть, я умру, не вздрогнув, не простонав... клянусь, никто под небесами не скажет, что твой друг склонил колена перед низкими палачами!..

В таких разговорах пролетел час: они встали и пошли на восток, углубляясь в лес более и более... вот подошли к оврагу, и Юрий заметил изломанные ветви и следы человека на сухих и гнилых листьях, коими усеяна была земля:

— Пойдем по этому следу, Ольга, — сказал он, подумав немного: — он приведет нас куда-нибудь; быть может, к месту спасения. Чего бояться! пойдем... умереть с голоду хуже, а если Бог сохранил нас доселе, то это значит, что Он хочет быть нашим спасителем и далее... перекрестись, и пойдем.

Несколько времени они шли, прилежно разбирая следы, местами засыпанные свежими листьями и забросанные сухим валежником; наконец, после долгих и утомительных разысканий, они выбрались на небольшую поляну, на которой между несколькими деревами возвышались три нам уже знакомые кургана...

— Что это значит, — воскликнул Юрий, заметив чернеющиеся выходы пещер.

— Постой, постой, Юрий... так точно... благодари Провидение — мы спасены...

— Но что такое? — я не понимаю тебя!

— Я слышала много рассказов про эти пещеры, Юрий. Под этими курганами таятся глубокие подземные ходы, куда только самые смелые охотники прокрадывались... но нам чего бояться!.. это место безопаснее самого крепкого терема.

— В самом деле, — отвечал Юрий, осматривая место, — если все эти рассказы справедливы, то мы спасены; остается только знать, не прячется ли в них дикий медведь... или другой негостеприимный пустынник.

Подойдя к одному из отверстий *Чертова логовища*, Юрию показалось, что слышит запах дыма, он всунул туда голову; точно! но что это значит? уж не занята ли их квартера? Он сообщил свое замечание Ольге: она ис-

пугалась; схватила его за руку и, как будто в этой пещере скрывалось грозное чудовище, с трепетом воскликнула: «пойдем — отсюда — пойдем... не медли ни минуты...».

— Идти... но куда же? — ты забыла, что у нас, кроме синего неба и темного леса, нет ни кровли, ни пристанища... и чего бояться... это явно, что в пещере есть жители... кто они таковы?.. что нам за дело... если они разбойники, то им нечего с нас взять, если изгнанники, подобно нам — то еще менее причин к боязни... К тому же в теперешние времена злодеи и убийцы не боятся смотреть на красное солнце, не стыдятся показывать свои лица в народе...

— Но я боюсь, Юрий, твои убеждения ничтожны, я боюсь, — и она, как пугливое дитя, уцепилась за его руку и, устремив на него умоляющий взгляд, то улыбалась, то готова была заплакать.

— Ты ребенок! стыдись...

— Я не знаю ни стыда, ничего... ради любви моей, не ходи в пещеру — пойдем далее... это западня... как там темно, как страшно...

— Послушай... если мы пойдем далее, то, не зная окрестностей, забредем Бог знает куда и попадемся в руки казаков: тогда я неизбежно погиб — разве ты хочешь моей смерти!..

— Юрий... и ты смеешь делать такие вопросы!..

— Итак, пусти меня... или лучше пойдем вместе в это подземелье, и пусть будет, что суждено!..

С сими словами, вынув шпагу, он на коленах вполз в одно из отверстий, держа перед собою смертоносное оружие, и, ощупью подвигаясь вперед, дошел до того места, где можно было идти прямо; сырой воздух могилы проник в его члены, отдаленный ропот начал поражать его слух, постепенно увеличиваясь; порою дым валил ему навстречу, и вскоре перед собою, хотя в отдалении, он различил слабый свет огня, который то вспыхивал, то замирал. Сердце его забилось ожиданием; он начал подвигаться тише, стараясь произвесть как можно менее шуму и готовясь к отчаянному сопротивлению в случае неожиданного нападения хозяев этого мрачного жилища; даже если бы то были существа бесплотные, духи зла и обмана!..

Когда Юрий взошел в круглую залу, неровно освещенную трескучим огоньком, разложенным у подошвы четвероугольного столба, то сначала он ничего не мог различить; пожирая несколько сухих смолистых ветвей, огонь ярко вспыхивал, бросая красные искры вокруг себя; и дым слоями расстилался по всему подземелью; Юрий остановился на минуту, чтоб хорошенько осмотреться, и когда глаза его привыкли немного к этой смрадной и туманной атмосфере, то он заметил в одной из впадин стены что-то похожее на лицо человека, который, прижавшись к земле, казалось, не обра-

щал на него внимания; Юрий решился подойти поближе и, приготовившись к защите, закричал громовым голосом:

— Кто здесь?.. вставай! что ты за человек?.. друг или недруг!.. отвечай сию минуту или будет худо!..

Неизвестный приподнялся, вздрогнул, потер глаза и, схватив огромную дубину, лежавшую у ног его, размахнулся, не отвечая ни слова; окруженный дымом, который, как известно, имеет свойство увеличивать предметы, и озаренный неровным светом огня, житель пещеры казался, вероятно, несравненно страшнее и огромнее, нежели был в самом деле.

Юрий, видя неравенство борьбы и не надеясь отразить удар дубины тонкой стальною шпагой, отскочил проворно назад. Дубина упала на огонь: красные уголья и дымные головешки с треском полетели во все стороны.

— Остановись, — сказал Юрий, — или я тебя пронжу насквозь.

Незнакомец, как будто пораженный его голосом, остановился, начал всматриваться и произнес довольно невнятно: «кто ты?»

В эту минуту яркий луч догорающего огня озарил лицо Юрия: незнакомец, не дождавшись ответа, кинулся к нему и заревел хриплым голосом: «сын мой, сын мой!..»

Они упали друг другу в объятия; они плакали от радости и от горя; и волчица прыгает и воет и мотает пушистым хвостом, когда найдет потерянного волченка; а Борис Петрович был человек, как вам это известно, то есть животное, которое ничем не хуже волка; по крайней мере так утверждают натуралисты и философы... а эти господа знают природу человека столь же твердо, как мы, грешные, наши утренние и вечерние молитвы; — сравнение чрезвычайно справедливое!..

Между тем отец и сын со слезами обнимали, целовали друг друга и не замечали, что недалеко от них стояло существо, им совершенно чуждое, существо забытое, но прекрасное, нежное, женщина с огненной душой, с душой чистой и светлой как алмаз; не замечали они, что каждая их ласка или слеза были для нее убийственней, чем яд и кинжал; она также плакала, — но одна, — одна — как плачет изгнанный херувим, взирая на блаженство своих братьев сквозь решетку райской двери.

Когда Борис Петрович рассказал сыну, каким образом с помощью бедной и гостеприимной солдатки он был отведен в это уединенное убежище, то прибавил:

— Я решился здесь оставаться, пока всё не утихнет, войска разобьют бунтовщиков в пух и в прах, это необходимо... но что можем мы сделать вдвоем, без оружия, без друзей... окруженные рабами, которые рады отдать всё, чтоб посмотреть, как труп их прежнего господина мотается на виселице... ад и проклятие! кто бы ожидал!..

— Помилуйте, батюшка! невозможно, что до вас не доходили слухи, разлитые так изобильно в нашем глупом народе!

— Слухи! слухи! а кто им верил? напасть Божия на нас грешных, да и только!.. Живи теперь, как красный зверь в зимней берлоге, и не смей носа высунуть... сиди, не пей, не ешь, пока чужой мальчишка, очень ненадежный, не принесет тебе куска хлеба... вот он сказал, что будет сегодня поутру, а всё нет, как нет!.. чай, солнце уж закатилось, Юрий?.. а, Юрий?

Юрий не слыхал, не слушал; он держал белую руку Ольги в руках своих, поцелуями осушал слезы, висящие на ее ресницах... но напрасно он старался ее успокоить, обнадежить: она отвернулась от него, не отвечала, не шевелилась; как восковая кукла, неподвижно прислонившись к стене, она старалась вдохнуть в себя ее холодную влажность; отчего это с нею сделалось?.. как объяснить сердце молодой девушки: миллион чувствований теснится, кипит в ее душе; и нередко лицо и глаза отражают их, как зеркало отражает буквы письма — наоборот!..

— Здравствуй, Оленька, — сказал Борис Петрович, подойдя к ним... — ты в пору зачванилась, не поклонилась мне, не поздоровалась... правда, я теперь, как ты сама, без крова, без имущества.

— Разве я тогда была с вами ласковее, — отвечала она отрывисто.

— А разве нет? — ох! много воды утекло с тех пор, как мы с тобой в последний раз поцеловались... ты переменилась, побледнела... а всё еще красавица, хоть куда!

Он слегка ударил ее по плечу и хотел взять за подбородок, но Юрий, покраснев, схватил его за руку... опомнясь в ту же минуту, он тихо отвел руку отца и, отойдя с ним немного в сторону, сказал глухим, но внятным голосом:

— Если хотите быть моим отцом, иметь во мне покорного сына, то вообразите себе, что эта девушка такая неприкосновенная святыня, на которой самое ваше дыхание оставит вечные пятна. Вы меня поняли... простите меня: моя кровь кипит при одной мысли — я не меряю слова на аршин приличий... вы согласились на мое предложение? в противном случае... всё, всё забыто! уважение имеет границы, а любовь — никаких!

ГЛАВА XXII

Что же делал Вадим? о, Вадим не любил праздности! С восходом солнца он отправился искать сестру, на барском дворе, в деревне, в саду — везде, где только мог предположить, что она проходила или спряталась, — неудача за неудачей!.. досадуя на себя, он задумчиво пошел по дороге, ведущей в лес мимо крестьянских гумен; поравнявшись с ними и случайно подняв глаза,

он видит буланую лошадь, в шлее и хомуте, привязанную к забору; он приближается... и замечает, что трава измята у подошвы забора! и вдруг взор его упал на что-то пестрое, похожее на кушак, повисший между цепких репейников... точно! это кушак!.. точно! он узнал, узнал! это цветной шелковый кушак его Ольги! Какой внезапный луч истины озарил ум печального горбача! она бежала: это ясно — но с кем? — с кем!.. разве нужно спрашивать... о, при одной мысли об нем, при одном имени Юрия, вся кровь Вадима превращается в желчь! «Нечего делать! — думал горбач, скрежеща зубами, — тебе удалось меня поддеть, ты из рук моих вырвал добычу, ты посмеялся над уродливым нищим, дерзкий безумец — но будет и на нашей улице... праздник!..» Он вскочил на лошадь и ударами принудил измученного коня скакать по дороге в селение... в его голове уже развились новые планы, новые замыслы гибели и разрушения.

На широкой и единственной улице деревни толпился народ в праздничных кафтанах, с буйными криками веселья и злобы, вокруг 30 казаков, которые, держа коней в поводу, гордо принимали подарки мужиков и тянули ковшами густую брагу, передавая друг другу ведро, в которое староста по временам подливал хмельного напитка. Девки и молодки в красных и синих кумачных сарафанах, по четыре и более, держа друг друга за руки, ходили взад и вперед по улице, ухмыляясь и запевая веселые песни; а молодые парни, следуя за ними, перешептывались и порою громко отпускали лихие шутки на счет дородности и румянца красавиц. Вино и брага приметно распоряжали их словами и мыслями; они приметно позволяли себе больше вольностей, чем обыкновенно, и женщины были приметно снисходительней; но оставим буйную молодежь и послушаем, об чем говорили воинственные пришельцы с седобородыми старшинами? — отгадать не трудно!.. они требовали выдачи господ; а крестьяне утверждали и клялись, что господа скрылись, бежали; увы! к несчастию, казаки были об них слишком хорошего мнения! они не хотели даже слышать этого, и урядник уже поднимал свою толстую плеть над головою старосты, и его товарищи уж произносили слово пытка; между тем некоторые из них отправились на барский двор и вскоре возвратились, таща приказчика на аркане. Урядник, по прозванию Орленко, мужчина в полном значении сего слова, высокий, крепкий сложением, усастый, с черною бородкой и румяными щеками, кинул презрительный взгляд на бледного приказчика, который, произнося несвязные слова и возгласы, стоял перед ним на коленях, с руками, связанными на спине; конец веревки был в руке одного маленького рябого казака, который, злобно улыбаясь, поминутно ее подергивал.

— Что это за птица, Грицко? — сказал урядник маленькому казаку, — что это за кликуша?.. отчего ревет как вол?.. уж не он ли здешний господин?..

— А бис его знает! — отвечал Грицко. — Говорит, шчо приказчик... ведь от этих москалей без плетки толку не добьешься... я его нашел под лавкой в кухне и насилу выкурил оттуда головешкой!..

Улыбка показалась на устах урядника, когда он заметил опаленные волосы и брови несчастного пленника, который, не спуская с него глаз и перестав кричать, казалось, старался на лице казака прочесть свой приговор.

— Так ты приказчик? — спросил Орленко, обратись к нему грозно.

Несчастный задрожал, хотел что-то вымолвить и заикнулся.

— Что ж ты молчишь, собачий сын! — я тебе этим кинжалом расцеплю зубы!..

— Виноват! я приказчик!..

— А! так ты виноват! — сказал Орленко, наморщив брови и желая над ним позабавиться, — в чем же ты виноват? сейчас признавайся... а не то, видишь! — он пальцем указал на свои пистолеты!..

— Батюшка!.. нет, я ни в чем не виноват! ваше ж благородие! помилуй!

— Ты у меня запираться!..

— Виноват! — опять заревел приказчик... — сжальтесь! Я от страху не знаю, что говорю... я приказчик... если б я знал, где господа, так я бы сам их выдал нашему батюшке!.. я бы сам полюбовался на их виселицу... я бы сам их сжег на костре, сам бы своими руками с них кожу содрал с живых!..

— Будто бы! — точно ли?..

— Да убей меня Бог! если я бы хоть один волосок за них отдал, злодеев!..

— Ну, а скажи-ка! отчего у тебя борода обрита?..

— Борода! — да так... а что, родимый?..

— Эй, ребята! — я замечаю, что это плут большой руки!..

— Ваше превосходительство! — сказал приказчик, привстав с большею уверенностью, — извольте спросить у всех мирян, любил ли я господ своих...

— Эй, вы! правду ли он говорит?..

Мужики переминались, почесывали затылок, кашляли.

— Видишь, молчат! — сказал насмешливо Орленко... — да я подозреваю... уж не сам ли ты Палицын!.. борода-то мне подозрительна!.. эй, мужички!.. как вы думаете! ха, ха, ха!

Увы, народ молчал.

Приказчик бросил отчаянный взгляд кругом — но, не встретив нигде сожаления, прикусил губу и, не зная, что делать, закричал: «ах вы нехристи, бусурманы... что вы молчите, разве я не приказчик, Матвей Соколов; разве в первый раз вы меня видите... что это вы морочите честных людей. Ах вы каналии — разве забыли, как я вас порол... или еще хочется?»

Лукавые мужики покашливали; наконец один из них, покачав головой, молвил: «пороть-то ты нас, брат, порол... грешно сказать, лучшего мы от

тебя ничего не видали… да теперь-то ты нас этим, любезный, не настращаешь!.. всему свое время, выше лба уши не растут… а теперь, не хочешь ли теперь на себе примерить!..»

— Что же! ты его признаешь за барина своего? — спросил Орленко…

— Барин-то он не совсем барин, — сказал мужик, — да яблоко от яблони не далеко падает; куды поп, туда и попова собака…

— Что ж я буду с ним делать?..

— А что хочешь, кормилец! нам всё равно!.. как присудишь!.. — заговорило несколько голосов.

Приказчик упал в ноги уряднику и заревел: «смилуйся, отец родной, золотой ты мой, серебряный, что я тебе сделал… неужто наш батюшка велит губить верных слуг своих».

— А на что ему таких трусов, таких баб, как ты! — вашей братьею только улицы мостить. — Эй, мужички, возьмите его себе… я вам его дарю на живот и на смерть! делайте из него, что хотите…

В одно мгновение мужики его окружили с шумом и проклятьями; слова смерть, виселица отделяли<сь> по временам от общего говора, как в бурю отделяются удары грома от шума листьев и визга пронзительных ветров; все глаза налились кровью, все кулаки сжались… все сердца забились одним желанием мести; сколько обид припомнил каждый! сколько способов придумал каждый заплатить за них сторицею…

Вдруг толпа раздалась, расхлынулась, как некогда море, тронутое жезлом Моисея… и человек уродливой наружности, небольшого роста, запыленный, весь в поту, с изорванными одеждами, явился перед казаками… Когда урядник его увидал, то снял шапку и поклонился, как старому знакомому, но Вадим, ибо это был он, не заметив его, обратился к мужикам и сказал: «отойдите подальше, мне надо поговорить о важном деле с этими молодцами»… мужики посмотрели друг на друга и, не заметив ни на чьем лице желания противиться этому неожиданному приказу и побежденные решительным видом страшного горбача, отодвинулись, разошлись и в нескольких шагах собрались снова в кучку.

Тогда Вадим обернулся к уряднику:

— Здравствуй, Орленко, — сказал он отрывисто… — зверя я соследил, а поймать ваше дело…

— Уж ты молодец, Красная шапка… знаем мы тебя… — с этими словами Орленко ударил его по плечу…

Едва приметная тень неудовольствия пробежала по лицу Вадима, но обиженная гордость повиновалась необходимости… как быть! этим ли еще одним он пожертвовал для своей грозной цели?..

— Если хотите, я вас наведу на след Палицына: пожива будет, за это отвечаю, — только с условием… и черт даром не трудится…

— Только укажи след, — сказал улыбаясь Орленко, — а уж за наградой дело не станет; сколько бы денег на нем ни нашли, — вот тебе крест, — десятую долю тебе!..

— Денег!.. нет, я не хочу денег…

— Чего ж ты хочешь… крови?..

— Да, крови! — с диким хохотом отвечал горбач.

— Что ж, и за этим дело не станет…

— О, я вас знаю! вы сами захотите потешиться его смертью… а что мне толку в этом! что я буду? стоять и смотреть!.. нет, отдайте мне его тело и душу, чтоб я мог в один час двадцать раз их разлучить и соединить снова; чтоб я насытился его мученьями, один, слышите ли, один, чтоб ничье сердце, ничьи глаза не разделяли со мною этого блаженства… о, я не дурак… я вам не игрушка… слышите ли…

Некоторые казаки были поражены его ужасными словами и мрачным выражением этого лица, на котором так недавно стали отражаться его чувства во всей полноте своей!.. другие, перемигиваясь, смеялись над странными его телодвижениями.

— Ах ты урод, — сказал урядник, — ну кто бы ожидал от тебя такую прыть! ха! ха! ха!

Вадим побледнел, бросил на казака тот взгляд, который был его главным оружием; топнул ногою, заскрежетал, отвернулся, чтоб не могли прочитать его бешенства в багровых ланитах. Все смотрели на него с изумлением.

— Коня! — закричал он вдруг, будто пробудившись от сна. — Дайте мне коня… я вас проведу, ребята, мы потешимся вместе… вам вся честь и слава, — мне же… — он вскочил на коня, предложенного ему одним из казаков, и, махнув рукою прочим, пустился рысью по дороге; мигом вся ватага повскакала на коней, раздался топот, пыль взвилась, и след простыл…

С отчаянием в груди смотрел связанный приказчик на удаляющуюся толпу казаков, умоляя взглядом неумолимых палачей своих; с дреколием теснились они около несчастной жертвы и холодно рассуждали о том, повесить его, или засечь, или уморить с голоду в холодном анбаре; последнее средство показалось самым удобным, и его с торжеством, хохотом и песнями отвели к пустому анбару, выстроенному на самом краю оврага, втолкнули в узкую дверь и заперли на замок. Потом народ рассыпался частью по избам, частью по улице; все сии происшествия заняли гораздо более времени, нежели нам нужно было, чтоб описать их, и уж солнце начинало при-

ближаться к западу, когда волнение в деревне утихло; девки и бабы собрались на завалинках и запели праздничные песни!.. вскоре стада с топотом, пылью и блеянием, возвращая<сь> с паствы, рассыпались по улице, и ребятишки с обычным криком стали гоняться за отсталыми овцами... и никто бы не отгадал, что час или два тому назад, на этом самом месте, произнесен смертный приговор целому дворянскому семейству!..

ГЛАВА XXIII

Вадим ехал перед казаками по дороге, ведущей в ту небольшую деревеньку, где накануне ночевал Борис Петрович. Он безмолвствовал; он мечтал о сестре, о родной кровле... он прощался с этими мечтами — навеки!

Казалось, его задумчивость как облако тяготела над веселыми казаками: они также молчали; иногда вырывалось шутливое замечание, за ним появлялись три-четыре улыбки — и только! вдруг один из казаков закричал: «стой, братцы! — кто это нам едет навстречу? слышите топот... видите пыль, там за изволоком!.. уж не наши ли это из села Красного?.. то-то, я думаю, была пожива, — не то, что мы, — чай, пальчики у них облизать, так сыт будешь... Э! да посмотрите... ведь точно видно они!.. ах разбойники, черти их душу возьми... Эк сколько телег за собой везут, целый обоз!..»

И точно, толпа, надвигающаяся к ним навстречу, более походила на караван, нежели на отряд вольных жителей Урала. Впереди ехало человек 50 казаков, предводительствуемых одним старым, седым наездником, на серой борзой лошади. За ними шло человек десять мужиков с связанными назад руками, с поникшими головами, без шапок, в одних рубашках; потом следовало несколько телег, нагруженных поклажею, вином, вещами, деньгами, и, наконец, две кибитки, покрытые рогожей, так что нельзя было, не приподняв оную, рассмотреть, что в них находилось; несколько верховых казаков окружало сии кибитки; когда Орленко с своими казаками приблизился к ним сажен на 50, то, велев спутникам остановиться и подождать, приударил коня нагайкой и подскакал к каравану. «Здравствуй! молодец, — сказал ему седой наездник с приветливой улыбкой, — откуда и куда путь держишь? — А мы из села Красного, разбивали панский двор... и везем этих собак к Белбородке!.. он им совьет пеньковое ожерелье, не будут в другой раз бунтовать...»

— Я отгадал, старый, что ты, верно, в Красном пировал... да, кажется, и теперь не с пустыми руками!..

— Да, нельзя пожаловаться на судьбу!.. бочки три вина везем к Белбородке!..

— К Белбородке!.. всё ему! а зачем!.. у него и без нас много! эх, молодцы, кабы вместо того, чем везти туда, мы его роспили за здравье родной земли!.. что бы вам моих казачков не попотчевать? у них горло засохло как Уральская степь... ведь мы с утра только по чарке браги выпили, а теперь едем искать Палицына, и Бог знает, когда с вами опять увидимся...

Старый обратился к своим и молвил: «эй! ребята! как вы думаете? ведь нам до вечера не добраться к месту!.. аль сделать привал... своих обделять не надо... мы попируем, отдохнем, а там, что будет, то будет: утро вечера мудренее!..»

— Стой, — раздалось по всему каравану.

Стой! — скрыпучие колесы замолкли, пыль улеглась; казаки Орленки смешались с своими земляками и, окружив телеги, с завистью слушали рассказы последних про богатые добычи и про упрямых господ села Красного, которые осмелились оружием защищать свою собственность; между тем некоторые отправились к роще, возле которой пробегал небольшой ручей, чтоб выбрать место, удобное для привала; вслед за ними скоро тронулись туда телеги и кибитки, и, наконец, остальные казаки, ведя в поводу лошадей своих...

Когда Вадим заметил, что его помощники вовсе не расположены следовать за ним без отдыха для отыскания неверной добычи, особенно имея перед глазами две миловидные бочки вина, то, подъехав к Орленке, он взял его за руку и молвил: «итак, сегодня нет надежды!»

— Да, брат... навряд, да признаюсь; мне самому надоело гоняться за этими крысами!.. сколько уж я их перевешал, право, и счет потерял; скорее сочту волосы в хвосте моего коня!..

Вадим круто повернул в сторону, отъехал прочь, слез, привязал коня к толстой березе и сел на землю; прислонясь к березе, сложа руки на груди, он смотрел на приготовления казаков, на их беззаботную веселость; вдруг его взор упал на одну из кибиток: рогожа была откинута, и он увидел... о, если б вы знали, что он увидал? Во-первых, из нее показалась седая, лысая, желтая, исчерченная морщинами, угрюмая голова старика, лет 60 или более; его взгляд был мрачен, но благороден, исполнен этой холодной гордости, которая иногда родится с нами, но чаще дается воспитанием, образуется от продолжительной привычки повелевать себе подобными. Одежда старика была изорвана и местами запятнана кровью — да, кровью... потому что он не хотел молча отдать наследие своих предков пошлым разбойникам, не хотел видеть бесчестие детей своих, не подняв меча за право собственности... но рок изменил!.. он уже перешагнул две ступени к гибели: сопротивление, плен, — теперь осталась третья — виселица!..

И Вадим пристально, с участием всматривался в эти черты, отлитые в какую-то особенную форму величия и благородства, исчерченные когтями

времени и страданий, старинных страданий, слившихся с его жизнью, как сливаются две однородные жидкости; но последние, самые жестокие удары судьбы не оставили никакого следа на челе старика; его большие серые глаза, осененные тяжелыми веками, медленно, строго пробегали картину, развернутую перед ними случайно; ни близость смерти, ни досада, ни ненависть, ничто не могло, казалось, отуманить этого спокойного, всепроникающего взгляда; но вот он обратил их в внутренность кибитки, — и что же, две крупные слезы засверкав невольно выбежали на седые ресницы и чуть-чуть не упали на поднявшуюся грудь его; Вадим стал всматриваться с большим вниманием.

Вот показалась из-за рогожи другая голова, женская, розовая, фантастическая головка, достойная кисти Рафаэля, с детской полусонной, полупечальной, полурадостной, невыразимой улыбкой на устах; она прилегла на плечо старика так беспечно и доверчиво, как ложится капля росы небесной на листок, иссушенный полднем, измятый грозою и стопами прохожего, и с первого взгляда можно было отгадать, что это отец и дочь, ибо в их взаимных ласках дышала одна печаль близкой разлуки, без малейших оттенок страсти, святая печаль, попечительное сожаление отца, опасения балованной, любимой дочери.

Тяжко было Вадиму смотреть на них, он вскочил и пошел к другой кибитке: она была совершенно раскрыта, и в ней были две девушки, две старшие дочери несчастного боярина. Первая сидела и поддерживала голову сестры, которая лежала у ней на коленах; их волосы были растрепаны, перси обнажены, одежды изорваны... толпа веселых казаков осыпала их обидными похвалами, обидными насмешками... они, однако, не смели подойти к старику: его строгий, пронзительный взор поражал их дикие сердца непонятным страхом.

Между тем казаки разложили у берега речки несколько ярких огней и расположились вокруг; прикатили первую бочку, — началась пирушка... Сначала веселый говор пробежал по толпе, смех, песни, шутки, рассказы, всё сливалось в одну нестройную, неполную музыку, но скоро шум начал возрастать, возрастать, как грозное крещендо оркестра; хор сделался согласнее, сильнее, выразительнее; о, какие песни, какие речи, какие взоры, лица, телодвижения, буйные, вольные! Какие разноцветные группы! яркое пламя костров, согласно с догорающим западом, озаряло картину пира, когда Вадим решился подойти к ним, замешаться в их веселие.

— За здравие пана Белбородки! — говорил один, выпивая разом полный ковшик. — Он первый выдумал этот золотой поход!..

— Черт его побери! — отвечал другой, покачиваясь; — славный малый!.. пьет как бочка, дерется как зверь... и умнее монаха!..

— Ребята!.. у кого из вас не замечен нынешний день на теле зарубкою, тот поди ко мне, я сослужу ему службу!..

— Ах ты хвастун, лях проклятый!.. ты во всё время сидел с винтовкой за анбаром... ха! ха! ха!..

— А ты, рыжий, где спрятался, признайся, когда старик-то заперся в светелке да начал отстреливаться...

— Я, а где бишь! да я тут же был с вами!.. да кто же, если не я, подстрелил того длинного молодца, что с топором высунулся из окна.

— Да это было прежде... ну, а если ты был тут, то скажи, что сделал старый боярин, когда наш Грицко удалый повалил его сына?..

— Что? ничего!..

— Так врешь! — он положил его поперек окна и, прислонив к нему ружье, выстрелил в десятского... вот повалил-то! как сноп! уж я целил, целил в его меньшую дочь... ведь разбойница! стоит за простенком себе да заряжает ружья... по крайней мере две другие лежали без памяти у себя на постелях...

— А много ваших легло?..

— Да человек десяток есть!.. зато уж мы, как ворвались в дом, всех покрошили, кроме господ... да этим суждено умереть не молодецкой смертью...

— Чего же вы ждете?.. осины есть... веревки есть...

— Да власти нет... старшина велит вести их к Белбородке!..

— Эх, кабы я был старшина!..

Тут ковш еще раз пропутешествовал по рукам и сухой вернулся к своему источнику!.. умы заклокотали сильнее, и лица разгорелись кровавым заревом.

— Кто вам мешает их убить! разве боитесь своих старшин? — сказал Вадим с коварной улыбкой.

Это была искра, брошенная на кучу пороха!.. «Кто мешает! — заревели пьяные казаки. — Кто смеет нам мешать!.. мы делаем, что хотим, мы не рабы, черт возьми!.. убить, да, убить! отомстим за наших братьев... пойдемте, ребята»... и толпа с воем ринулась к кибиткам; несчастный старик спал на груди своей дочери; он вскочил... высунулся... и всё понял!..

— Чего вы хотите! — сказал он твердым голосом...

— А! старый ворон! старый филин!.. мы тебя выучим воздушной пляске... пожалуй-ка сюда... да выходи же! — сказал один, подтверждая приказание ударом плетью...

Старик медленно вышел из кибитки, дочь выпрыгнула вслед за ним, уцепилась обеими руками за его платье, — «не бойся! — шепнул он ей, обняв одной рукою, — не бойся... если Бог не захочет, они ничего не могут нам сделать, если же»... он отвернулся... о, как изобразить выражение лица бедной девушки!.. сколько прелестей, сколько отчаяния!..

— Разнимите их! — закричал один кривой исполин, приготавливая петлю. — Что они лижутся!..

Их хотели растащить... но девушка в бешенстве укусила жестокую руку... «*перестань!* — сказал отец твердым голосом! — ты этим не поможешь, если мне суждено погибнуть от злодейских рук, без покаяния, как бусурману...»

— Не может быть! не может быть, батюшка... ты не умрешь!

— Отчего же, дочь! не может быть?.. и Христос умер!.. молись...

Она отрывисто качнула головой — и заплакала...

Боже! какие слезы!..

Несмотря на это, их растащили; но вдруг она вскрикнула и упала; отец кинулся к ней, с удивительной силой оттолкнул двух казаков — прижал руку к ее сердцу... она была мертва, бледна, холодна как сырая земля, на которой лежало ее молодое непорочное тело.

— Теперь пойдемте, — сказал старик; его глаза заблистали мрачным пламенем... он махнул рукою... ему надели на шею петлю, перекинули конец веревки через толстый сук и... раздался громкий хохот, потом вдруг молчание, молчание смерти!..

Но увы! еще не кончились его муки; пьяные безумцы прежде времени пустили конец веревки, который взвился кверху; мученик сорвался, ударился о-земь, — и нога его хрустнула... он застонал и повалился возле трупа своей дочери. «Убийцы! — прохрипел он... — вот вам мое проклятье! проклятье!..» — «Заткни ему горло!» — сказал Орленко, это было сожаленье...

Два ножа в минуту воткнулись в горло старика, и он умолк.

Когда казаки, захотев увериться в его кончине, стали приподнимать его за руки, то заметили, что в последних судорогах он крепко ухватил ногу своей дочери, впился в нее костяными пальцами, которые замерли на нежном теле... О, это было ужасно... они смеялись!..

Божественная, милая девушка! и ты погибла, погибла без возврата... один удар — и свежий цветок склонил голову!.. твое слабое сердце, как нить истлевшая — разорвалось... Ни одно рыдание, ни одно слово мира и любви не усладило отлета души твоей, резвой, чистой, как радужный мотылек, невинной, как первый вздох младенца... грозные лица окружали твое сырое смертное ложе, проклятие было твоим надгробным словом!.. какая будущность! какое прошедшее! и всё в один миг разлетелось; так иногда вечером облака дымные, багряные, лиловые гурьбой собираются на западе, свиваются в столпы огненные, сплетаются в фантастические хороводы, и замок с башнями и зубцами, чудный, как мечта поэта, растет на голубом пространстве... но дунул северный ветер... и разлетелись облака, и упадают росою на бесчувственную землю!.. Мир с тобою, дева красоты, да ангел твой хранитель споет над твоим прахом песнь мира, любви и прощанья...

А между тем Вадим стоял неподвижно, смотрел на нее и на старика так же равнодушно и любопытно, как бы мы смотрели на какой-нибудь физический опыт! он, чье неуместное слово было всему виною...

Погодите, это легко объяснить вам.

Во-первых, он хотел узнать, какое чувство волнует душу при виде такой казни, при виде самых ужасных мук человеческих — и нашел, что душу ничего не волнует.

Во-вторых, он хотел узнать, до какой степени может дойти непоколебимость человека... и нашел, что есть испытания, которых перенесть никто не в силах... это ему подало надежду увидать слезы, раскаяние Палицына — увидать его у ног своих, грызущего землю в бешенстве, целующего его руки от страха... надежда усладительная, нет никакого сомнения.

Уж было темно; огни догорали, толпа постепенно умолкала, и многие уж спали беззаботно...

Луна, всплывая на синее небо, осеребрила струи виющейся речки и туманную отдаленность; черные облака медленно проходили мимо нее, как ночной сторож ходит взад и вперед мимо пылающего маяка...

Вадим сидел на своем прежнем месте, под толстой березой, сложа руки и угрюмо глядя на небо. К нему подошел Орленко:

— Посмотри, как весело! отчего ты один сердит, задумчив, горбач? — сказал он, ударив его по плечу.

— Ты видишь это облако, которое как медвежья косматая шуба висит над месяцем?.. — отвечал Вадим, приподняв голову с презрительной усмешкой.

— Вижу!

— Ну а как ты думаешь, что таится в глубине его?..

— Что?.. по-моему, гром и молния — вишь как насупилось...

— И ты спрашиваешь, зачем я угрюм и молчалив?.. Орленко, не поняв горбача, пожал плечами и отошел прочь...

ГЛАВА XXIV

Теперь оставим пирующую и сонную ватагу казаков и перенесемся в знакомую нам деревеньку, в избу бедной солдатки; дело подходило к рассвету, луна спокойно озаряла соломенные кровли дворов, и всё казалось погруженным в глубокий мирный сон; только в избе солдатки светилась тусклая лучина и по временам раздавался резкий грубый голос солдатки, коему отвечал другой, черезвычайно жалобный и плаксивый — и это покажется черезвычайно обыкновенным, когда я скажу, что солдатка била своего сына!

Я бы с великим удовольствием пропустил эту неприятную, пошлую сцену, если б она не служила необходимым изъяснением всего следующего; а так как я предполагаю в своих читателях должную степень любопытства, то не почитаю за необходимость долее извиняться.

— Ах ты лентяй! чтоб тебе сдохнуть... собачий сын!.. — говорила мать, таская за волосы своего детища.

— Матушки, батюшки! помилуй!.. золотая, серебряная... не буду! — ревел длинный балбес, утирая глаза кулаками!.. — я вчера вишь понес им хлеба да квасу в кувшине... вот, слышь, мачка, я шел... шел... да меня леший и обошел... а я устал да и лег спать в кусты, мачка... вот когда я проснулся... мне больно есть захотелось... я всё и съел...

— Ах ты разбойник... экого болвана вырастила, запорю тебя до смерти... — и удары снова градом посыпались ему на голову. «Чай, он, мой голубчик, — продолжала солдатка, — там либо с голоду помер, либо вышел да попался в руки душегубам... а ты, нечесаная голова, и не подумал об этом!.. да знаешь ли, что за это тебя черти на том свете живого зажарят... вот родила я какого негодяя, на свою голову... уж кабы знала, не видать бы твоему отцу от меня ни к.....а!» — и снова тяжкие кулаки ее застучали о спину и зубы несчастного, который, прижавшись к печи, закрывал голову руками и только по временам испускал стоны почти нечеловеческие.

И за дело! бедные изгнанники по милости негодяя более суток оставались без пищи, и отчаяние уже начинало вкрадываться в их души!.. и в самом деле, как выйти, где искать помощи, когда по всем признакам последние покровители их покинули на произвол судьбы?

Между тем, пока солдатка била своего парня, кто-то перелез через частокол, ощупью пробрался через двор, заставленный дровнями и колодами, и взошел в темные сени неверными шагами; усталость говорила во всех его движениях; он прислонился к стене и тяжело вздохнул; потом тихо пошел к двери избы, приложил к ней ухо и, узнав голос солдатки, отворил дверь — и взошел; догорающая лучина слабо озарила его бледное исхудавшее лицо... не говоря ни слова, он в изнеможении присел на скамью и закрыл лицо руками...

Хозяйка вскрикнула при виде незваного гостя, но вскоре, вероятно узнав его и опасаясь свидетелей, поспешно притворила дверь и подошла к нему с видом простодушного участия.

— Что с тобою, мой кормилец!.. ах, Матерь Божия!.. да как ты зашел сюда... слава Богу! я думала, что тебя злодеи-то давным-давно извели!..

— Случайно я нашел батюшку в Чертовом логовище, — отвечал он слабым голосом... — ты его спасла! благодарю... я пришел за хлебом.

— Ах я проклятая! ах я безумная! — а вы там, чай, родимые, голодали, голодали... нет, я себе этого не прощу... а ты, болван неотесанный, — закричала она, обратясь к сыну, — всё это по твоей милости! собачий сын... и снова удары посыпались на бедняка.

— Дай мне чего-нибудь! — сказал Юрий...

Эти слова напомнили ей дело более важное! она вынула из печи хлеба, поставила перед ним горшок снятого молока, и он с жадностью кинулся на предлагаемую пищу... в эту минуту он забыл всё: долг, любовь, отца, Ольгу, всё, что не касалось до этого благодатного молока и хлеба. Если б в эту минуту закричали ему на ухо, что сам грозный Пугачев в 30 шагах, то несчастный еще подумал бы: оставить ли этот неоцененный ужин и спастись — или утолить голод и погибнуть!.. у него не было уже ни ума, ни сердца — он имел один только желудок!

Пока он ел и отдыхал, прошел час, драгоценный час; восток белел неприметно; и уже дальние края туманных облаков начинали одеваться в утреннюю свою парчевую одежду, когда Юрий, обремененный ношею съестных припасов, собирался выйти из гостеприимной хаты; вдруг раздался на улице конский топот, и кто-то проскакал мимо окон; Юрий побледнел, уронил мешок и значительно взглянул на остолбеневшую хозяйку... она подбежала к окну, всплеснула руками, и простодушное загорелое лицо ее изобразило ужас.

— Делать нечего! — сказал Юрий, призвав на помощь всю свою твердость... — не правда ли! я погиб. Говори скорее, потому что я не люблю неизвестности!..

Но хозяйка не отвечала; она приподняла половицу возле печи и указала на отверстие пальцем; Юрий понял сей выразительный знак и поспешно спустился в небольшой холодный погреб, уставленный домашней утварью!

— Что бы ты ни слыхал, что бы в избе ни творили со мной, барин, — не выходи отсюда прежде двух ден, Боже тебя сохрани, здесь есть молоко, квас и хлеб, на два дни станет! — и тяжелая доска, как гробовая крышка, хлопнула над его головою!..

Хозяйка, чтоб не возбудить подозрений, стала возиться у печи, как будто ни в чем не бывало.

Скоро дверь распахнулась с треском, и вошли казаки, предводительствуемые Вадимом.

— Здесь был Борис Петрович Палицын с охотниками, — спросил Вадим у солдатки, — где они?..

— На заре, чем свет, уехали, кормилец!

— Лжешь; охотники уехали — а он здесь!..

— И, помилуйте, отцы родные, да что мне его прятать! ведь он, чай, не мой барин...

— В том-то и сила, что не твой! — подхватил Орленко... и, ударив ее плетью, продолжал:

— Ну, живо поворачивайся, укажи, где он у тебя сидит... а не то...

— Делайте со мною, что угодно, — сказала хозяйка, повесив голову, — а я знать не знаю, вот вам Христос и святая Богородица!.. ищите, батюшки, а коли не найдете, не пеняйте на меня грешную.

Несколько казаков по знаку атамана отправились на двор за поисками и через ¼ часа возвратились, объявив, что ничего не нашли!..

Орленко недоверчиво посмотрел на Вадима, который, прислонясь к печи и приставив палец ко лбу, казался погружен в глубокое размышление; наконец, как будто пробудившись, он сказал почти про себя: «он здесь, непременно здесь!..»

— Отчего же ты в том уверен? — сказал Орленко.

— Отчего! Боже мой! отчего? — я вам говорю, что он здесь, я это чувствую... я отдаю вам свою голову, если его здесь нет!..

— Хорош подарок, — заметил кто-то сзади.

— Но какие доказательства! и как его найти? — спросил Орленко.

Грицко осмелился подать голос и советовал употребить пытку над хозяйкой.

При грозном слове пытка она приметно побледнела, но ни тени нерешимости или страха не показалось на лице ее, оживленном, быть может, новыми для нее, но не менее того благородными чувствами.

— Пытать так пытать, — подхватили казаки и обступили хозяйку; она неподвижно стояла перед ними, и только иногда губы ее шептали неслышно какую-то молитву. К каждой ее руке привязали толстую веревку и, перекинув концы их через брус, поддерживающий полати, стали понемногу их натягивать; пятки ее отделились от полу, и скоро она едва могла прикасаться до земли концами пальцев. Тогда палачи остановились и с улыбкой взглянули на ее надувшиеся на руках жилы и на покрасневшее от боли лицо.

— Что, разбойница, — сказал Орленко.... — теперь скажешь ли, где у тебя спрятан Палицын?

Глубокий вздох был ему ответом.

Он подтвердил свой вопрос ударом нагайки.

— Хоть зарежьте, не знаю, — отвечала несчастная женщина.

— Тащи выше! — было приказание Орленка, и в две минуты она поднялась от земли на аршин... глаза ее налились кровью, стиснув зубы, она старалась удерживать невольные крики... палачи опять остановились, и

Вадим сделал знак Орленке, который его тотчас понял. Солдатку разули; под ногами ее разложили кучку горячих угольев... от жару и боли в ногах ее начались судороги — и она громко застонала, моля о пощаде.

— Ага, так наконец разжала зубы, проклятая... небось, как начнем жарить, так не только язык, сами пятки заговорят... ну, отвечай же скорее, где он?

— Да, где он? — повторил горбач.

— Ох!.. ох! батюшки... голубчики... дайте дух перевести... опустите на землю...

— Нет, прежде скажи, а потом пустим...

— Воля ваша... не могу слова вымолвить... ох!.. ох, Господи... спаси... батюшки...

— Спустите ее, — сказал Орленко.

Когда ноги невинной жертвы коснулись до земли, когда грудь ее вздохнула свободно, то казак повторил прежние свои вопросы.

— Он убежал! — сказала она... — в ту же ночь... вон по той тропинке, что идет по оврагу... больше, вот вам Христос, я ничего не знаю.

В эту минуту два казака ввели в избу рыжего, замасленного болвана, ее сына. Она бросила ему взгляд, который всякий бы понял, кроме его.

— Кто ты таков? — спросил Орленко.

— Петруха,— отвечал парень.

— Да, дурачина, кто ты таков?

— А почем я знаю... говорят, что мачкин сын...

— Хорош! — сказал захохотав Орленко... — да где вы его нашли?..

— Зарылся в соломе по уши около анбара; мы идем, ан, глядь, две ноги торчат из соломы... вот мы его оттуда за ноги... уже тащили... тащили... словно лодку с отмели...

— Послушай, Орленко, — прервал Вадим, — мы от этого дурака можем больше узнать, чем от упрямой ведьмы, его матери!..

Казак кивнул головой в знак согласия.

— Только его надо вывести, иначе она нам помешает.

— И то правда, — выведи-ка его на двор, — сказал Орленко, — а эту чертовку мы запрем здесь...

Услышав это, хозяйка вспыхнула, глаза ее засверкали...

— Послушай, Петруха, — закричала она звонким голосом, — если скажешь хоть единое словцо, я тебя прокляну, сгоню со двора, заморю, убью!..

Он затрепетал при звуках знакомого ему голоса; онемение, произведенное в нем присутствием стольких незнакомых лиц, еще удвоилось; он боялся матери больше, чем всех казаков на свете, ибо привык ее бояться;

сопроводив свои угрозы значительным движением руки, она впала в задумчивость и казалась спокойною.

Прошло около десяти ужасных минут; вдруг раздались на дворе удары плети, ругательства казаков и крик несчастного. Ее материнское сердце сжалось, но вскоре мысль, что он не вытерпит мучений до конца и выскажет ее тайну, овладела всем ее существом... она и молилась, и плакала, и бегала по избе, в нерешимости, что ей делать, даже было мгновенье, когда она почти покушалась на предательство... но вот сперва утихли крики; потом удары... потом брань... и наконец она увидала из окна, как казаки выходили один за одним за ворота, и на улице, собравшись в кружок, стали советоваться между собою. Лица их были пасмурны, омрачены обманутой надеждой; рыжий Петруха, избитый, полуживой, остался на дворе; он, охая и стоная, лежал на земле; мать содрогаясь подошла к нему, но в глазах ее сияла какая-то высокая, неизъяснимая радость: он не высказал, не выдал своей тайны душегубцам.

490. КНЯГИНЯ ЛИГОВСКАЯ
Роман

ГЛАВА I

Поди! — поди! раздался крик!
Пушкин

В 1833 году, декабря 21-го дня в 4 часа пополудни по Вознесенской улице, как обыкновенно, валила толпа народу, и между прочим шел один молодой чиновник; заметьте день и час, потому что в этот день и в этот час случилось событие, от которого тянется цепь различных приключений, постигших всех моих героев и героинь, историю которых я обещался передать потомству, если потомство станет читать романы. — Итак, по Вознесенской шел один молодой чиновник, и шел он из департамента, утомленный однообразной работой, и мечтая о награде и вкусном обеде — ибо все чиновники мечтают! — На нем был картуз неопределенной формы и синяя ваточная шинель с старым бобровым воротником; черты лица его различить было трудно: причиною тому козырек, воротник — и сумерки; — казалось, он не торопился домой, а наслаждался чистым воздухом морозного вечера, разливавшего сквозь зимнюю мглу розовые лучи свои по кровлям домов, соблазнительным блистаньем магазинов и кондитерских; порою подняв глаза кверху с истинно поэтическим умиленьем, сталкивался он с какой-нибудь розовой шляпкой и, смутившись, извинялся; коварная розовая шляпка сердилась, — потом заглядывала ему под картуз и, пройдя несколько шагов, оборачивалась, как будто ожидая вторичного извинения; напрасно! молодой чиновник был совершенно недогадлив!.. но еще чаще он останавливался, чтоб поглазеть сквозь цельные окна магазина или кондитерской, блистающей чудными огнями и великолепной позолотою. Долго, пристально, с завистью разглядывал различные предметы, — и, опомнившись, с глубоким вздохом и стоическою твердостью продолжал свой путь; — самые же ужасные мучители его были извозчики, — и он ненавидел извозчиков; «барин! куда изволите? — прикажете подавать? — подавать-с!» Это была пытка Тантала, и он в душе глубоко ненавидел извозчиков.

Спустясь с Вознесенского моста и собираясь поворотить направо по канаве, вдруг слышит он крик: «берегись, поди!..» Прямо на него летел гнедой рысак; из-за кучера мелькал белый султан, и развевался воротник серой шинели. — Едва он успел поднять глаза, уж одна оглобля была против его груди, и пар, вылетавший клубами из ноздрей бегуна, обдал ему лицо; машинально он ухватился руками за оглоблю и в тот же миг сильным порывом

лошади был отброшен несколько шагов в сторону на тротуар... раздалось кругом: «задавил, задавил», извозчики погнались за нарушителем порядка, — но белый султан только мелькнул у них перед глазами и был таков.

Когда чиновник очнулся, боли он нигде не чувствовал, но колена у него тряслись еще от страха; он встал, облокотился на перилы канавы, стараясь придти в себя; горькие думы овладели его сердцем, и с этой минуты перенес он всю ненависть, к какой его душа только была способна, с извозчиков на гнедых рысаков и белые султаны.

Между тем белый султан и гнедой рысак пронеслись вдоль по каналу, поворотили на Невский, с Невского на Караванную, оттуда на Симионовский мост, потом направо по Фонтанке — и тут остановились у богатого подъезда, с навесом и стеклянными дверьми, с медной блестящею обделкой.

— Ну, сударь, — сказал кучер, широкоплечий мужик с окладистой рыжей бородой, — Васька нынче показал себя!

Надобно заметить, что у кучеров любимая их лошадь называется всегда Ваською, даже вопреки желанию господ, наделяющих ее громкими именами Ахилла, Гектора... она всё-таки будет для кучера не Ахел и не Нектор, а Васька.

Офицер слез, потрепал дымящегося рысака по крутой шее, улыбнулся ему признательно и взошел на блестящую лестницу; — об раздавленном чиновнике не было и помину... Теперь, когда он снял шинель, закиданную снегом, и взошел в свой кабинет, мы свободно можем пойти за ним и описать его наружность — к несчастию, вовсе не привлекательную; он был небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен; казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению; походка его была несколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали лень и беззаботное равнодушие, которое теперь в моде и в духе века, — если это не плеоназм. — Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека; видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. Звуки его голоса были то густы, то резки, смотря по влиянию текущей минуты; когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться, и вдруг оканчивал едкой шуткой, чтоб скрыть собственное смущение, — и в свете утверждали, что язык его зол и опасен... ибо свет не терпит в кругу своем ничего сильного, потрясающего, ничего, что бы могло обличить характер и волю: — свету нужны французские водевили и русская покорность чуждому мнению. Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любопытно для Лафатера и его последователей: они прочли бы на нем глубокие следы прошедшего и чудные обещания бу-

дущности... толпа же говорила, что в его улыбке, в его странно блестящих глазах есть что-то...

В заключение портрета скажу, что он назывался Григорий Александрович Печорин, а между родными просто Жорж, на французский лад, и что притом ему было 23 года, — и что у родителей его было 3 тысячи душ в Саратовской, Воронежской и Калужской губернии, — последнее я прибавляю, чтоб немного скрасить его наружность во мнении строгих читателей! — виноват, забыл включить, что Жорж был единственный сын, не считая сестры, 16-летней девочки, которая была очень недурна собою и, по словам маменьки (папеньки уж не было на свете), не нуждалась в приданом и могла занять высокую степень в обществе, с помощию Божией, и хорошенького личика, и блестящего воспитания.

Григорий Александрович, войдя в свой кабинет, повалился в широкие кресла; лакей взошел и доложил ему, что, дескать, барыня изволила уехать обедать в гости, а сестра изволила уж откушать... «Я обедать не буду, — был ответ: я завтракал!..» Потом взошел мальчик лет тринадцати в красной казачьей куртке, быстроглазый, беленький, и с виду большой плут, — и подал, не говоря ни слова, визитную карточку: Печорин небрежно положил ее на стол и спросил, кто принес.

— Сюда нынче приезжали молодая барыня с мужем, — отвечал Федька, — и велели эту карточку подать Татьяне Петровне (так называлась мать Печорина).

— Что ж ты принес ее ко мне?

— Да я думал, что это всё равно-с!.. может быть, вам угодно прочесть?

— То есть, тебе хочется узнать, что тут написано.

— Да-с, — эти господа никогда еще у нас не были.

— Я тебя слишком избаловал, — сказал Печорин строгим голосом, — набей мне трубку.

Но эта визитная карточка, видно, имела свойство возбуждать любопытство... Долго Жорж не решался переменить удобного положения на широких креслах и протянуть руку к столу... притом в комнате не было свеч — она озарялась красноватым пламенем камина, а велеть подать огню и расстроить очаровательный эффект каминного освещения ему также не хотелось. — Но любопытство превозмогло, — он встал, взял карточку и с каким-то непонятным волнением ожидания поднес ее к решетке камина... на ней было напечатано готическими буквами: князь Степан Степаныч Лиговской, с княгиней. — Он побледнел, вздрогнул, глаза его сверкнули, и карточка полетела в камин. Минуты три он ходил взад и вперед по комнате, делая разные странные движения рукою, разные восклицания, — то улыбаясь, то хмуря брови; наконец он остановился, схватил щипцы и бросился вытаски-

вать карточку из огня: — увы! одна ее половина превратилась в прах, а другая свернулась, почернела, — и на ней едва только можно было разобрать *Степан Степ...*

Печорин положил эти бренные остатки на стол, сел опять в свои кресла и закрыл лицо руками — и хотя я очень хорошо читаю побуждения души на физиономиях, но по этой именно причине не могу никак рассказать вам его мыслей. В таком положении сидел он четверть часа, и вдруг ему послышался шорох, подобный легким шагам, шуму платья, или движению листа бумаги... хотя он не верил привидениям... но вздрогнул, быстро поднял голову — и увидел перед собою в сумраке что<-то> белое и, казалось, воздушное... с минуту он не знал, на что подумать, так далеко были его мысли... если не от мира, то по крайней мере от этой комнаты...

— Кто это? — спросил он.

— Я! — отвечал принужденный контральто — и раздался звонкий женский хохот.

— Варенька! — какая ты шалунья.

— А ты спал!.. ужасно весело!..

— Я бы желал спать. Оно покойнее!..

— Это стыд! — отчего нам на балах, в обществах так скушно!.. вы все ищете спокойствия... какие любезные молодые люди...

— А позвольте спросить, — возразил Жорж зевая, — из каких благ мы обязаны забавлять вас...

— Оттого, что мы дамы.

— Поздравляю. Но ведь нам без вас не скушно...

— Я почему знаю!.. и что мы станем говорить между собою?

— Моды, новости... разве мало? поверяйте друг другу ваши тайны...

— Какие тайны? — у меня нет тайн... все молодые люди так несносны...

— Большая часть из них не привыкли к женскому обществу.

— Пускай привыкают — они и этого не хотят попробовать!..

Жорж важно встал и поклонился с насмешливой улыбкой:

— Варвара Александровна, я замечаю, что вы идете большими шагами в храм просвещения.

Варенька покраснела и надула розовые губки... а брат ее преспокойно опять опустился в свои кресла. Между тем подали свеч, и пока Варенька сердится и стучит пальчиком в окно, я опишу вам комнату, в которой мы находимся. — Она была вместе и кабинет и гостиная; и соединялась коридором с другой частью дома; светло-голубые французские обои покрывали ее стены... лоснящиеся дубовые двери с модными ручками и дубовые рамы окон показывали в хозяине человека порядочного. Драпировка над окнами была в китайском вкусе, а вечером или когда солнце ударяло в стеклы, опу-

скались пунцовые шторы, — противуположность резкая с цветом горницы, но показывающая какую-то любовь к странному, оригинальному. Против окна стоял письменный стол, покрытый кипою картинок, бумаг, книг, разных видов чернильниц и модных мелочей, — по одну его сторону стоял высокий трельяж, увитый непроницаемой сеткой зеленого плюща, по другую — кресла, на которых теперь сидел Жорж... На полу под ним разостлан был широкий ковер, разрисованный пестрыми арабесками; — другой персидский ковер висел на стене, находящейся против окон, и на нем развешаны были пистолеты, два турецкие ружья, черкесские шашки и кинжалы, подарки сослуживцев, погулявших когда-то за Балканом... на мраморном камине стояли три алебастровые карикатурки Паганини, Иванова и Россини... остальные стены были голые, кругом и вдоль по ним стояли широкие диваны, обитые шерстяным штофом пунцового цвета; — одна-единственная картина привлекала взоры, она висела над дверьми, ведущими в спальню; она изображала неизвестное мужское лицо, писанное неизвестным русским художником, человеком, не знавшим своего гения и которому никто об нем не позаботился намекнуть. — Картина эта была фантазия, глубокая, мрачная. — Лицо это было написано прямо, безо всякого искусственного наклонения или оборота, свет падал сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо, — казалось, вся мысль художника сосредоточилась в глазах и улыбке... Голова была больше натуральной величины, волосы гладко упадали по обеим сторонам лба, который кругло и сильно выдавался и, казалось, имел в устройстве своем что-то необыкновенное. Глаза, устремленные вперед, блистали тем страшным блеском, которым иногда блещут живые глаза сквозь прорези черной маски; испытующий и укоризненный луч их, казалось, следовал за вами во все углы комнаты, и улыбка, растягивая узкие и сжатые губы, была более презрительная, чем насмешливая; всякий раз, когда Жорж смотрел на эту голову, он видел в ней новое выражение; — она сделалась его собеседником в минуты одиночества и мечтания — и он, как партизан Байрона, назвал ее портретом Лары.— Товарищи, которым он ее с восторгом показывал, называли ее порядочной картинкой.

Между тем, покуда я описывал кабинет, Варенька постепенно придвигалась к столу, потом подошла ближе к брату и села против него на стул; в ее голубых глазах незаметно было ни даже искры минутного гнева, но она не знала, чем возобновить разговор. Ей попалась под руки полусгоревшая визитная карточка.

— Что это такое? Степан Степ... А! это, верно, у нас нынче был князь Лиговской!.. как бы я желала видеть Верочку! замужем, — она была такая добрая... я вчера слышала, что они приехали из Москвы!.. кто же сжег эту карточку... Её бы надо подать маменьке!

— Кажется, я, — отвечал Жорж, — раскуривал трубку!..

— Прекрасно! я бы желала, чтоб Верочка это узнала... ей было бы очень приятно!.. Так-то, сударь, ваше сердце изменчиво!.. Я ей скажу, скажу — непременно!.. впрочем, нет! теперь ей должно быть всё равно!.. она ведь замужем!..

— Ты судишь очень здраво для твоих лет!.. — отвечал ей брат и зевнул, не зная, что прибавить...

— Для моих лет! что я за ребенок! маменька говорит, что девушка в 17 лет так же благоразумна, как мужчина в 25.

— Ты очень хорошо делаешь, что слушаешься маменьки.

Эта фраза, по-видимому похожая на похвалу, показалась насмешкой; таким образом согласие опять расстроилось, и они замолчали... Мальчик взошел и принес записку: приглашение на бал к барону Р ***.

— Какая тоска! — воскликнул Жорж. — Надо ехать.

— Там будет mademoiselle Negouroff!.. — возразила ироническим тоном Варенька. — Она еще вчера об тебе спрашивала!.. какие у нее глаза! — прелесть!..

— Как угль, в горниле раскаленный!..

— Однако сознайся, что глаза чудесные!

— Когда хвалят глаза, то это значит, что остальное никуда не годится.

— Смейся!.. а сам неравнодушен...

— Положим.

— Я это расскажу Верочке!..

— Давно ли ты уверяла, что я для нее — всё равно!..

— Поверьте, я лучше этого говорю по-русски — я не монастырка.

— О! совсем нет! — очень далеко...

Она покраснела и ушла.

Но я вас должен предупредить, что это был на них черный день... они обыкновенно жили очень дружно, и особенно Жорж любил сестру самой нежною братскою любовью.

Последний намек на mademoiselle Negouroff (так будем мы ее называть впоследствии) заставил Печорина задуматься; наконец неожиданная мысль прилетела к нему свыше, он придвинул чернильницу, вынул лист почтовой бумаги — и стал что-то писать; покуда он писал, самодовольная улыбка часто появлялась на лице его, глаза искрились — одним словом, ему было очень весело, как человеку, который выдумал что-нибудь необыкновенное. — Кончив писать, он положил бумагу в конверт и надписал: Милостивой гос<ударыне> Елизавете Львовне Негуровой в собственные руки; — потом кликнул Федьку и велел ему отнесть на городскую почту — да чтоб никто из людей не видал. Маленький Меркурий, гордясь великой доверенностию

господина, стрелой помчался в лавочку; а Печорин велел закладывать сани и через полчаса уехал в театр; однако в этой поездке ему не удалось задавить ни одного чиновника.

ГЛАВА II

Давали Фенеллу (4-е представление). В узкой лазейке, ведущей к кассе, толпилась непроходимая куча народу… Печорин, который не имел еще билета и был нетерпелив, адресовался к одному театральному служителю, продающему афиши. За 15 рублей достал он кресло во втором ряду с левой стороны — и с краю: важное преимущество для тех, которые берегут свои ноги и ходят пить чай к Фениксу. — Когда Печорин вошел, увертюра еще не начиналась, и в ложи не все еще съехались; — между прочим, прямо над ним в бельэтаже была пустая ложа, возле пустой ложи сидели Негуровы, отец, мать и дочь; — дочка была бы недурна, если б бледность, худоба и старость, почти общий недостаток петербургских девушек, не затмевали блеска двух огромных глаз и не разрушивали гармонию между чертами довольно правильными и остроумным выражением. Она поклонилась Печорину довольно ласково и просияла улыбкой.

«Видно, еще письмо не дошло по адресу!» — подумал он и стал наводить лорнет на другие ложи; в них он узнал множество бальных знакомых, с которыми иногда кланялся, иногда нет; смотря по тому, замечали его или нет; он не оскорблялся равнодушием света к нему, потому что оценил свет в настоящую его цену; он знал, что заставить говорить об себе легко, но знал также, что свет два раза сряду не занимается одним и тем же лицом; ему нужны новые кумиры, новые моды, новые романы… ветераны светской славы, как и все другие ветераны, самые жалкие созданья… В коротком обществе, где умный, разнообразный разговор заменяет танцы (рауты в сторону), где говорить можно обо всем, не боясь цензуры тетушек, и не встречая чересчур строгих и неприступных дев, в таком кругу он мог бы блистать и даже нравиться, потому что ум и душа, показываясь наружу, придают чертам жизнь, игру и заставляют забыть их недостатки; но таких обществ у нас в России мало, в Петербурге еще меньше, вопреки тому, что его называют совершенно европейским городом и владыкой хорошего тона. Замечу мимоходом, что хороший тон царствует только там, где вы не услышите ничего лишнего, но увы! друзья мои! зато как мало вы там и услышите.

На балах Печорин с своей невыгодной наружностью терялся в толпе зрителей, был или печален — или слишком зол, потому что самолюбие его страдало. Танцуя редко, он мог разговаривать только с теми дамами, кото-

рые сидели весь вечер у стенки, — а с этими-то именно он никогда не знакомился... У него прежде было занятие — сатира, — стоя вне круга мазурки, он разбирал танцующих, — и его колкие замечания очень скоро расходились по зале и потом по городу; — но раз как-то он подслушал в мазурке разговор одного длинного дипломата с какою-то княжною... Дипломат под своим именем так и печатал все его остроты, а княжна из одного приличия не хохотала во всё горло; — Печорин вспомнил, что когда он говорил то же самое и гораздо лучше одной из бальных нимф дня три тому назад — она только пожала плечами и не взяла на себя даже труд понять его; с этой минуты он стал больше танцевать и реже говорить умно; — и даже ему показалось, что его начали принимать с большим удовольствием. Одним словом, он начал постигать, что *по коренным законам общества в танцующем кавалере ума не полагается!*

Загремела увертюра; всё было полно, одна ложа рядом с ложей Негуровых оставалась пуста и часто привлекала любопытные взоры Печорина; это ему казалось странно, — и он желал бы очень наконец увидать людей, которые пропустили увертюру Фенеллы.

Занавес взвился, — и в эту минуту застучали стулья в пустой ложе; Печорин поднял голову, — но мог видеть только пунцовый берет и круглую белую божественную ручку с божественным лорнетом, небрежно упавшую на малиновый бархат ложи; несколько раз он пробовал следить за движениями неизвестной, чтобы разглядеть хоть глаз, хоть щечку; напрасно, — раз он так закинул голову назад, что мог бы видеть лоб и глаза... но как на зло ему огромная двойная трубка закрыла всю верхнюю часть ее лица. — У него заболела шея, он рассердился и дал себе слово не смотреть больше на эту проклятую ложу. Первый акт кончился, Печорин встал и пошел с некоторыми из товарищей к Фениксу, стараясь даже нечаянно не взглянуть на ненавистную ложу.

Феникс — ресторация весьма примечательная по своему топографическому положению в отношении к задним подъездам Александрийского театра. Бывало, когда неуклюжие рыдваны, влекомые парою хромых кляч, теснились возле узких дверей театра, и юные нимфы, окутанные грубыми казенными платками, прыгали на скрыпучие подножки, толпа усастых волокит, вооруженных блестящими лорнетами и еще ярче блистающими взорами, толпились на крыльце твоем, о Феникс! но скоро промчались эти буйные дни: и там, где мелькали прежде черные и белые султаны, там ныне чинно прогуливаются треугольные шляпы без султанов; великий пример переворотов судьбы человеческой!

Печорин взошел к Фениксу с одним преображенским и другим конно-артиллерийским офицером. — Он велел подать чаю и сел с ними подле

стола; народу было много всякого; за тем же столом, где сидел Печорин, сидел также какой-то молодой человек во фраке, не совсем отлично одетый и куривший собственные пахитосы к великому соблазну трактирных служителей. — Этот молодой человек был высокого роста, блондин и удивительно хорош собою; большие томные голубые глаза, правильный нос, похожий на нос Аполлона Бельведерского, греческий овал лица и прелестные волосы, завитые природою, должны были обратить на него внимание каждого; одни губы его, слишком тонкие и бледные в сравнении с живостию красок, разлитых по щекам, мне бы не понравились; по медным пуговицам с гербами на его фраке можно было отгадать, что он чиновник, как все молодые люди во фраках в Петербурге. Он сидел задумавшись и, казалось, не слушая разговора офицеров, которые шутили, смеялись и рассказывали анекдоты, запивая дым трубки скверным чаем. Между прочим стали говорить о лошадях: один артиллерийский поручик хвастался своим рысаком; начался спор. Печорин à propos рассказал, как он сегодня у Вознесенского моста задавил какого-то франта, и умчался от погони... Костюм франта в измятом картузе был описан, его несчастное положение на тротуаре также. Смеялись. Когда Печорин кончил, молодой человек во фраке встал и, протянув руку, чтоб взять шляпу со стола, сдернул на пол поднос с чайником и чашками; движение было явно умышленное; все глаза на него обратились; но взгляд Печорина был дерзче и вопросительнее других; — кровь кинулась в лицо неизвестному господину, он стоял неподвижен и не извинялся — молчание продолжалось с минуту. Сделался кружок, и все предугадывали *историю*. Вдруг Печорин опять сел и громко крикнул служителя: «что стоит посуда?» — ему сказали цену втрое дороже.

— Этот чиновник так был неловок, что разбил ее, — продолжал Жорж холодно; — вот деньги! — Он бросил деньги на стол — и прибавил:

— Скажи ему, что теперь он может отсюда уйти свободно.

Служитель при всех доложил с почтением чиновнику, что он всё получил, — и просил на водку!.. Но тот, ничего не отвечая, скрылся: толпа хохотала ему вослед; — офицеры смеялись еще больше... и хвалили товарища, который так славно отделал противника, не запутавшись между тем в *историю*. — О! история у нас вещь ужасная; благородно или низко вы поступили, правы или нет, могли избежать или не могли, но ваше имя замешано в историю... всё равно, вы теряете всё: расположение общества, карьер, уважение друзей... попасться в историю! ужаснее этого ничего не может быть, как бы эта история ни кончилась! Частная известность уж есть острый нож для общества, вы заставили об себе говорить два дня. — Страдайте ж двадцать лет за это. Суд общего мнения, везде ошибочный, происходит, однако, у нас совсем на других основаниях, чем в остальной Европе; в Англии,

например, банкрутство — бесчестие неизгладимое, — достаточная причина для самоубийства. Развратная шалость в Германии закрывает навсегда двери хорошего общества (о Франции я не говорю: в одном Париже больше разных общих мнений, чем в целом свете) — а у нас?.. объявленный взяточник принимается везде очень хорошо: его оправдывают фразою: и! кто этого не делает!.. Трус обласкан везде, потому что он смирный малый, а замешанный в историю! — о! ему нет пощады: маменьки говорят об нем: «Бог его знает, какой он человек», и папеньки прибавляют: «мерзавец!..»

Офицеры без новой тревоги допили свой чай и пошли; Печорин вышел после всех; на крыльце кто-то его остановил за руку, примолвив: «я имею с вами поговорить!» По трепету руки он отгадал, что это его давешний противник; нечего делать: не миновать истории.

— Извольте говорить, — отвечал он небрежно. — Только не здесь на морозе.

— Пойдемте в коридор театра! — возразил чиновник. — Они пошли молча.

Второй акт уже начался: коридоры и широкие лестницы были пусты; на площадке одной уединенной лестницы, едва освещенной далекой лампой, они остановились, и Печорин, сложив руки на груди, прислонясь к железным перилам и прищурив глаза, окинул взором противника с ног до головы и сказал:

— Я вас слушаю!..

— Милостивый государь, — голос чиновника дрожал от ярости, жилы на лбу его надулись, и губы побледнели, — милостивый государь!.. вы меня обидели! вы меня оскорбили смертельно.

— Это для меня не секрет, — отвечал Жорж, — и вы могли бы объясниться при всех: — я вам отвечал бы то же, что теперь отвечу... когда ж вам угодно стреляться? нынче? завтра? — я думаю, что угадал ваше намерение; по крайней мере разбитие чашек не было случайностью: вы хотели с чего-нибудь начать... и начали очень остроумно, — прибавил он, насмешливо поклонившись...

— Милостивый государь! — отвечал он задыхаясь, — вы едва меня сегодня не задавили, да, меня, который перед вами... и этим хвастаетесь, вам весело! — а по какому праву? потому что у вас есть рысак, белый султан? золотые эполеты? Разве я не такой же дворянин, как вы? — Я беден! — да, я беден! хожу пешком — конечно, после этого я не человек, не только дворянин! — А! вам это весело!.. вы думали, что я буду слушать смиренно дерзости, потому что у меня нет денег, которые бы я мог бросить на стол!.. Нет, никогда! никогда, никогда я вам этого не прощу!..

В эту минуту пламеневшее лицо его было прекрасно, как буря; Печорин смотрел на него с холодным любопытством и наконец сказал:

— Ваши рассуждения немножко длинны — назначьте час — и разойдемтесь: вы так кричите, что разбудите всех лакеев: — и точно, некоторые из них, спавшие на барских салопах в коридоре первого яруса, начали поднимать головы...

— Какое дело мне до них! — пускай весь мир меня слушает!..

— Я не этого мнения... Если угодно завтра в восемь часов утра я вас жду с секундантом.

Печорин сказал свой адрес...

— Драться! я вас понимаю! — насмерть драться!.. И вы думаете, что я буду достаточно вознагражден, когда всажу вам в сердце свинцовый шарик!.. Прекрасное утешенье!.. Нет, я б желал, что<б> вы жили вечно, и чтоб я мог вечно мстить вам. Драться! нет!.. тут успех слишком неверен...

— В таком случае ступайте домой, выпейте стакан воды и ложитесь спать, — возразил Печорин, пожав плечами, и хотел идти.

— Нет, постойте, — сказал чиновник, придя несколько в себя, — и выслушайте меня!.. Вы думаете, что я трус? как будто храбрость не может существовать без вывески шпор или эполетов? Поверьте, что я меньше дорожу жизнью и будущностью, чем вы! Моя жизнь горька, будущности у меня нет... я беден, так беден, что хожу в стулья; я не могу раз в год бросить 5 рублей для своего удовольствия, я живу жалованьем, без друзей, без родных — у меня одна мать, старушка... я всё для нее: я ее провидение и подпора. Она для меня: и друзья и семейство; с тех пор, как живу, я еще никого не любил, кроме ее: — потеряв меня, сударь, она либо умрет от печали, либо умрет с голоду...

Он остановился, глаза его налились слезами и кровью...

— И вы думали, что я с вами буду драться?..

— Чего ж, наконец, вы от меня хотите? — сказал Печорин нетерпеливо.

— Я хотел вас заставить раскаяться.

— Вы, кажется, забыли, что не я начал ссору.

— А разве задавить человека ничего — шутка — потеха?

— Я вам обещаюсь высечь моего кучера.

— О, вы меня выведете из терпения!..

— Что ж? мы тогда будем стреляться!..

Чиновник не отвечал, он закрыл лицо руками, грудь его волновалась, в его отрывистых словах проглядывало отчаяние, казалось, он рыдал, и наконец он воскликнул:

«Нет, не могу, не погублю ее!..» — и убежал.

Печорин с сожалением посмотрел ему вослед и пошел в кресла: второй акт Фенеллы уж подходил к концу... Артиллерист и преображенец, сидевшие с другого края, не заметили его отсутствия.

ГЛАВА III

Почтенные читатели, вы все видели сто раз Фенеллу, вы все с громом вызывали Новицкую и Голланда, и поэтому я перескочу через остальные 3 акта и подыму свой занавес в ту самую минуту, как опустился занавес Александринского театра, замечу только, что Печорин мало занимался пьесою, был рассеян и забыл даже об интересной ложе, на которую он дал себе слово не смотреть.

Шумною и довольною толпою зрители спускались по извилистым лестницам к подъезду... внизу раздавался крик жандармов и лакеев. Дамы, закутавшись и прижавшись к стенам, и заслоняемые медвежьими шубами мужей и папенек от дерзких взоров молодежи, дрожали от холоду — и улыбались знакомым. Офицеры и штатские франты с лорнетами ходили взад и вперед, стучали — одни саблями и шпорами, другие калошами. Дамы высокого тона составляли особую группу на нижних ступенях парадной лестницы, смеялись, говорили громко и наводили золотые лорнетки на дам без тона, обыкновенных русских дворянок, — и одни другим тайно завидовали: необыкновенные красоте обыкновенных, обыкновенные, увы! гордости и блеску необыкновенных.

У тех и у других были свои кавалеры; у первых почтительные и важные, у вторых услужливые и порой неловкие!.. в середине же теснился кружок людей не светских, не знакомых ни с теми, ни с другими, — кружок зрителей. Купцы и простой народ проходили другими дверями. — Это была миньятюрная картина всего петербургского общества.

Печорин, закутанный в шинель и надвинув на глаза шляпу, старался продраться к дверям. Он поравнялся с Лизаветою Николавной Негуровой; на выразительную улыбку отвечал сухим поклоном и хотел продолжать свой путь, но был задержан следующим вопросом: «Отчего вы так сериозны, monsieur George? — вы недовольны спектаклем?»

— Напротив, я во всё горло вызывал Голланда!

— Не правда ли, что Новицкая очень мила!

— Ваша правда.

— Вы от нее в восторге?

— Я очень редко бываю в восторге.

— Вы этим никого не ободряете! — сказала она с досадою и стараясь иронически улыбнуться...

— Я не знаю никого, кто бы нуждался в моем ободрении! — отвечал Печорин небрежно. — И притом восторг есть что-то такое детское...

— Ваши мысли и слова удивительно подвержены перемене... давно ли...

— Право...

Печорин не слушал, его глаза старались проникнуть пеструю стену шуб, салопов, шляп... ему показалось, что там, за колонною, мелькнуло лицо ему знакомое, особенно знакомое... в эту минуту жандарм крикнул, и долговязый лакей повторил за ним: «карета князя Лиговско́ва!»... С отчаянными усилиями расталкивая толпу, Печорин бросился к дверям... перед ним человека за четыре мелькнул розовый салоп, шаркнули ботинки... лакей подсадил розовый салоп в блестящий купе, потом вскарабкалась в него медвежья шуба, дверцы хлопнули, — «на Морскую! пошел!».. Интересную карету заменила другая, может быть, не менее интересная, только не для Печорина. Он стоял как вкопанный!.. Мучительная мысль сверлила его мозг: эта ложа, на которую он дал себе слово не смотреть... Княгиня сидела в ней, ее розовая ручка покоилась на малиновом бархате; ее глаза, может быть, часто покоились на нем, а он даже и не подумал обернуться, магнетическая сила взгляда любимой женщины не подействовала на его бычачьи нервы, — о, бешенство! он себе этого никогда не простит! Раздосадованный, он пошел по тротуару, отыскал свои сани, разбудил толчком кучера, который лежал свернувшись, покрытый медвежьего полостью, и отправился домой. А мы обратимся к Лизавете Николавне Негуровой и последуем за нею.

Когда она села в карету, то отец ее начал длинную диссертацию насчет молодых людей нынешнего века. «Вот, например, Печорин, — говорил он, — нет того, чтоб искать во мне или в Катеньке (Катенька его жена, 55 лет), нет, и смотреть не хочет!.. как бывало в наше время: влюбится молодой человек, старается угодить родителям, всей родне... а не то, чтоб всё по углам с дочкой перешептываться да глазки делать... что это нынче, срам смотреть!.. и девушки не те стали!.. Бывало, слово лишнее услышат — покраснеют да и баста, уж от них не добьешься ответа... а ты, матушка, 25 лет девка, так на шею и вешаешься... замуж захотелось!»

Лизавета Николавна хотела отвечать, слезы навернулись у нее на глазах... — и она не могла произнесть ни слова; Катерина Ивановна за нее заступилась!..

«Уж ты всегда на нее нападаешь... понапрасну!.. Что ж делать, когда молодые люди не женятся... надо самой не упускать случая! Печорин жених

богатый… хорошей фамилии, чем не муж? Ведь не век же сидеть дома… — слава Богу что мне ее наряды-то стоят… а ты свое: замуж хочешь, замуж хочешь… — Да кабы замуж не выходили, так что бы было…» и проч…

Эти разговоры повторялись в том или другом виде всякий раз, когда мать, отец и дочь оставались втроем… дочь молчала, а что происходило в ее сердце в эти минуты, один Бог знает.

Приехали домой. Катерина Ивановна с ворчливым супругом отправились в свою комнату — а дочка в свою. Родители ее принадлежали и к старому, и к новому веку; прежние понятия, полузабытые, полустертые новыми впечатлениями жизни петербургской, влиянием общества, в котором Николай Петрович по чину своему должен был находиться, проявлялись только в минуты досады или во время спора; они казались ему сильнейшими аргументами, ибо он помнил их грозное действие на собственный ум, во дни его молодости; Катерина Ивановна была дама не глупая, по словам чиновников, служивших в канцелярии ее мужа; женщина хитрая и лукавая, во мнении других старух; добрая, доверчивая и слепая маменька для бальной молодежи… истинного ее характера я еще не разгадал; описывая, я только буду стараться соединить и выразить вместе все три вышесказанные мнения… и если выдет портрет похож, то обещаюсь идти пешком в Невский монастырь — слушать певчих!..

Лизавета же Николавна… о! знак восклицания… погодите!.. теперь она взошла в свою спальню и кликнула горничную Марфушу — толстую рябую девищу!.. дурной знак!.. я бы не желал, чтоб у моей жены или невесты была толстая и рябая горничная!.. терпеть не могу толстых и рябых горничных, с головой, вымазанной чухонским маслом или приглаженной квасом, от которого волосы слипаются и рыжеют, с руками шероховатыми, как вчерашний решетный хлеб, с сонными глазами, с ногами, хлопающими в башмаках без ленточек, тяжелой походкой, и (что всего хуже) четвероугольной талией, облепленной пестрым домашним платьем, которое внизу у́же, чем вверху… Такая горничная, сидя за работой в задней комнате порядочного дома, подобна крокодилу на дне светлого американского колодца… такая горничная, как сальное пятно, проглядывающее сквозь свежие узоры перекрашенного платья — приводит ум в печальное сомнение насчет домашнего образа жизни господ… о, любезные друзья, не дай Бог вам влюбиться в девушку, у которой такая горничная, если вы разделяете мои мнения, — то очарование ваше погибло навеки.

Лизавета Николавна велела горничной снять с себя чулки и башмаки и расшнуровать корсет, а сама, сев на постель, сбросила небрежно головной убор на туалет, черные ее волосы упали на плеча; — но я не продолжаю описания: никому не интересно любоваться поблекшими прелестями, ху-

дощавой ножкой, жилистой шеею и сухими плечами, на которых обозначались красные рубцы от узкого платья. Всякий, вероятно, на подобные вещи довольно насмотрелся. Лизавета Николавна легла в постель, поставила возле себя на столик свечу и раскрыла какой-то французский роман — Марфуша вышла... тишина воцарилась в комнате. Книга выпала из рук печальной девушки, она вздохнула и предалась размышлениям.

Конечно, ни одна отцветшая красавица не поверяла мне дум и чувств, волновавших ее грудь после длинного бала или вечеринки, когда в одинокой своей комнате она припоминала всё свое прошедшее, пересчитывала все любовные объяснения, которые некогда выслушала с притворной холодностию, притворной улыбкой — или с истинным наслаждением и которые не имели для нее других следствий, кроме лишних десяти строк в альбоме или мстительной эпиграммы отвергнутого обожателя, брошенной мимоходом позади ее стула во время длинной мазурки. Но я догадываюсь, что эти размышления должны быть тяжелы, несносны для самолюбия и сердца — если оное налицо имеется, ибо натуральная история нынче обогатилась новым классом очень милых и красивых существ — именно классом женщин без сердца. Чтоб легче угадать, об чем Лизавета Николавна изволила думать, я принужден, к моему великому сожалению, рассказать вам некоторые частности ее жизни... тем более, что для объяснения следующих происшествий это необходимо. Она родилась в Петербурге — и никогда не выезжала из Петербурга — правда, один раз на два месяца в Ревель на воды... — но вы сами знаете, что Ревель не Россия, и потому направление ее петербургского воспитания не получало никакого изменения; у нас в России несколько вывелись из моды французские мадамы, а в Петербурге их вовсе не держат... Агличанку нанимать ее родители были не в силах... агличанки дороги — немку взять было также неловко: Бог знает, какая попадется: здесь так много всяких... Лизавета Николавна осталась вовсе без мадамы — по-французски она выучилась от маменьки, а больше от гостей, потому что с самого детства она проводила дни свои в гостиной, сидя возле маменьки и слушая всякую всячину... Когда ей исполнилось 13 лет, взяли учителя по билетам: в год она кончила курс французского языка... и началось ее светское воспитание. В комнате ее стоял рояль, но никто не слыхал, чтоб она играла... танцевать она выучилась на детских балах... романы она начала читать, как только перестала учить склады... и читала их удивительно скоро... Между тем отец ее получил порядочное наследство, вслед за ним хорошее место — и стал жить открытее... 15 лет ее стали вывозить, выдавая за 17-летнюю, и до 25 лет условный этот возраст не изменялся... 17 лет точка замерзания: они растягиваются сколько угодно, как резинные помочи. Лизавета Николавна была недурна, — и очень интересна: бледность и худоба интересны... потому что

француженки бледны, а англичанки худощавы... надобно заметить, что прелесть бледности и худобы существуют только в дамском воображении и что здешние мужчины только из угождения потакают их мнению, чтоб чем-нибудь отклонить упреки в невежливости и так называемой «казармности».

При первом вступлении Лизаветы Николавны на паркет гостиных у нее нашли<сь> поклонники. Это всё были люди, всегда аплодирующие новому водевилю, скачущие слушать новую певицу, читающие только новые книги. Их заменили другие: эти волочились за нею, чтоб возбудить ревность в остывающей любовнице или чтоб кольнуть самолюбие жестокой красоты; — после этих явился третий род обожателей: люди, которые влюблялись от нечего делать, чтоб приятно провести вечер, ибо Лизавета Николавна приобрела навык светского разговора и была очень любезна, несколько насмешлива, несколько мечтательна... Некоторые из этих волокит влюбились не на шутку и требовали ее руки: но ей хотелось попробовать лестную роль непреклонной... и к тому же они все были прескушные: им отказали... один с отчаяния долго был болен, другие скоро утешились... между тем время шло: она сделалась опытной и бойкой девою: смотрела на всех в лорнет, обращалась очень смело, не краснела от двусмысленной речи или взора — и вокруг нее стали увиваться розовые юноши, пробующие свои силы в словесной перестрелке и посвящавшие ей первые свои опыты страстного красноречия, — увы, на этих было еще меньше надежды, чем на всех прежних; она с досадою и вместе тайным удовольствием убивала их надежды, останавливала едкой насмешкой разливы красноречия — и вскоре они уверились, что она непобедимая и чудная женщина; вздыхающий рой разлетелся в разные стороны... и наконец для Лизаветы Николавны наступил период самый мучительный и опасный сердцу отцветающей женщины...

Она была в тех летах, когда еще волочиться за нею было не совестно, а влюбиться в нее стало трудно; в тех летах, когда какой-нибудь ветреный или беспечный франт не почитает уже за грех уверять шутя в глубокой страсти, чтобы после, так, для смеху, скомпрометировать девушку в глазах подруг ее, думая этим придать себе более весу... уверить всех, что она от него без памяти, и стараться показать, что он ее жалеет, что он не знает, как от нее отделаться... говорит ей нежности шепотом, а вслух колкости... бедная, предчувствуя, что это ее последний обожатель, без любви, из одного самолюбия старается удержать шалуна как можно долее у ног своих... напрасно: она более и более запутывается, — и наконец... увы... за этим периодом остаются только мечты о муже, каком-нибудь муже... одни мечты.

Лизавета Николавна вступила в этот период, но последний удар нанес ей не беспечный шалун и не бездушный франт; — вот как это случилось.

Полтора года тому назад Печорин был еще в свете человек довольно новый: ему надобно было, чтоб поддержать себя, приобрести то, что некоторые называют светскою известностию, т. е. прослыть человеком, который может делать зло, когда ему вздумается; несколько времени он напрасно искал себе пьедестала, вставши на который он бы мог заставить толпу взглянуть на себя; сделаться любовником известной красавицы было бы слишком трудно для начинающего, а скомпрометировать девушку молодую и невинную он бы не решился, и потому он избрал своим орудием Лизавету Николавну, которая не была ни то, ни другое. Как быть? в нашем бедном обществе фраза: он погубил столько-то репутаций — значит почти: он выиграл столько-то сражений.

Лизавета Николавна и он были давно знакомы. Они кланялись. Составив план свой, Печорин отправился на один бал, где должен был с нею встретиться. Он наблюдал за нею пристально и заметил, что никто ее не пригласил на мазурку: знак был подан музыкантам начинать, кавалеры шумели стульями, устанавливая их в кружок, Лизавета Николавна отправилась в уборную, чтобы скрыть свою досаду: Печорин дожидался ее у дверей. Когда она возвращалась в залу, начиналась уже вторая фигура: Печорин торопливо подошел к ней.

— Где вы скрывались, — сказал он, — я искал вас везде — приготовил даже стулья: так я сильно надеялся, что вы мне не откажете.

— Как вы самоуверенны.

И неожиданное удовольствие вспыхнуло в ее глазах.

— Однако ж вы меня не накажете слишком строго за эту самоуверенность?

Она не отвечала и последовала за ним.

Разговор их продолжался во время всего танца, блистая шутками, эпиграммами, касаясь до всего, даже любовной метафизики. Печорин не щадил ни одной из ее молодых и свежих соперниц. За ужином он сел возле нее, разговор подвигался всё далее и далее, так что наконец он чуть-чуть ей не сказал, что обожает ее до безумия (разумеется двусмысленным образом). Огромный шаг был сделан, и он возвратился домой, довольный своим вечером.

Несколько недель сряду после этого они встречались на разных вечерах; разумеется, он неутомимо искал этих встреч, а она по крайней мере их не избегала. Одним словом, он пошел по следам древних волокит и действовал по форме, классически. Скоро все стали замечать их постоянное влечение друг к другу, как явление новое и совершенно оригинальное в нашем холодном обществе. Печорин избегал нескромных вопросов, но зато действовал весьма открыто. Лизавета Николавна была также этим очень довольна,

потому что надеялась завлечь его дальше и дальше и потом, как говорили наши матушки, женить его на себе. Ее родители, не имея еще об нем никакого мнения, так, безо всяких видов пригласили, однако же, его посещать свой дом, чтоб узнать его короче. Многие уже стали над ним подсмеиваться, как над будущим женихом, добрые приятели стали уговаривать его, отклонять от безрассудного поступка, который ему не входил и в голову. Из этого всего он заключил, что минута решительного кризиса наступила.

Был блестящий бал у барона ***. Печорин по обыкновению танцевал первую кадриль с Лизаветою Николавной.

— Как хороша сегодня меньшая Р., — заметила Лизавета Николавна.

Печорин навел лорнет на молодую красавицу, долго смотрел молча и наконец отвечал:

— Да, она прекрасна. — С каким вкусом перевиты эти пунцовые цветы в ее густых русых локонах, я непременно дал себе слово танцевать с нею сегодня, именно потому, что она вам нравится; не правда ли, я очень догадлив, когда хочу вам сделать удовольствие.

— О, без сомнения, вы очень любезны, — отвечала она вспыхнув.

В эту минуту музыка остановилась, первая кадриль кончилась, и Печорин очень вежливо раскланялся. Остальную часть вечера он или танцевал с Р... или стоял возле ее стула, старался говорить как можно больше и казаться как можно довольнее, хотя, между нами, девица Р** была очень проста и почти его не слушала; но так как он говорил очень много, то она заключила, что Печорин — кавалер очень любезный. После мазурки она подошла к Лизавете Николавне, и та ее спросила с ироническою улыбкою:

— Как вам кажется ваш постоянный нынешний кавалер?

— Il est très aimable, — отвечала Р.

Это был жестокий удар для Лизаветы Николавны, которая почувствовала, что лишается своего последнего кавалера, — ибо остальные молодые люди, видя, что Печорин занимается ею исключительно, совершенно ее оставили.

И точно, с этого дня Печорин стал с нею рассеяннее, холоднее, явно старался ей делать те мелкие неприятности, которые замечаются всеми и за которые между тем невозможно требовать удовлетворения. Говоря с другими девушками, он выражался об ней с оскорбительным сожалением, тогда как она, напротив, вследствие плохого расчета, желая кольнуть его самолюбие, поверяла своим подругам под печатью строжайшей тайны свою чистейшую, искреннейшую любовь. Но напрасно, он только наслаждался излишним торжеством, а она, уверяя других, мало-помалу сама уверилась, что его точно любит. Родители ее, более проницательные в качестве бес-

пристрастных зрителей, стали ее укорять, говоря: «Вот, матушка, целый год пропустила даром, отказала жениху с 20 тысячами доходу, правда, что он стар и в параличе, — да что нынешние молодые люди! Хорош твой Печорин, мы заранее знали, что он на тебе не женится, да и мать не позволит ему жениться! что ж вышло? он же над тобой и насмехается».

Разумеется, подобные слова не успокоят ни уязвленного самолюбия, ни обманутого сердца. Лизавета Николавна чувствовала их истину, но эта истина была уже для нее не нова. Кто долго преследовал какую-нибудь цель, много для нее пожертвовал, тому трудно от нее отступиться, а если к этой цели примыкают последние надежды увядающей молодости, то невозможно. В таком положении мы оставили Лизавету Николавну, приехавшую из театра, лежащую на постеле, с книжкою в руках, — и с мыслями, бродящими в минувшем и в будущем.

Наскучив пробегать глазами десять раз одну и ту же страницу, она нетерпеливо бросила книгу на столик и вдруг приметила письмо с адресом на ее имя и с штемпелем городской почты.

Какое-то внутреннее чувство шептало ей не распечатывать таинственный конверт, но любопытство превозмогло, конверт сорван дрожащими руками, свеча придвинута, и глаза ее жадно пробегают первые строки. Письмо было написано приметно искаженным почерком, как будто боялись, что самые буквы изменят тайне. Вместо подписи имени внизу рисовалась какая-то египетская каракула, очень похожая на пятна, видимые в луне, которым многие простолюдины придают какое-то символическое значение. Вот письмо от слова до слова:

«Милостивая Государыня!

Вы меня не знаете, я вас знаю: мы встречаемся часто, история вашей жизни так же мне знакома, как моя записная книжка, а вы моего имени никогда не слыхали. Я принимаю в вас участие именно потому, что вы никогда на меня не обращали внимания, и притом я нынче очень доволен собою и намерен сделать доброе дело: мне известно, что Печорин вам нравится, что вы всячески думаете снова возжечь в нем чувства, которые ему никогда не снились, он с вами пошутил — он недостоин вас: он любит другую, все ваши старания послужат только к вашей гибели, свет и так указывает на вас пальцами, скоро он совсем от вас отворотится. Никакая личная выгода не заставила меня подавать вам такие неосторожные и смелые советы. И чтобы вы более убедились в моем бескорыстии, то я клянусь вам, что вы никогда не узнаете моего имени.

Вследствие чего остаюсь

ваш покорнейший слуга:

Каракула».

От такого письма с другою сделалась бы истерика, но удар, поразив Лизавету Николавну в глубину сердца, не подействовал на ее нервы, она только побледнела, торопливо сожгла письмо и сдула на пол легкий его пепел.

Потом она погасила свечу и обернулась к стене: казалось, она плакала, но так тихо, так тихо, что если бы вы стояли у ее изголовья, то подумали бы, что она спит покойно и безмятежно.

На другой день она встала бледнее обыкновенного, в десять часов вышла в гостиную, разливала сама чай по обыкновению. Когда убрали со стола, отец ее уехал к должности, мать села за работу, она пошла в свою комнату: проходя через залу, ей встретился лакей.

— Куда ты идешь? — спросила она.

— Доложить-с.

— О ком?

— Вот тот-с... офицер... Господин Печорин...

— Где он?

— У крыльца остановился.

Лизавета Николавна покраснела, потом снова побледнела и потом отрывисто сказала лакею:

— Скажи ему, что дома никого нет. И когда он еще приедет, — прибавила она, как бы с трудом выговаривая последнюю фразу, — то не принимать!..

Лакей поклонился и ушел, а она опрометью бросилась в свою комнату.

ГЛАВА IV

Получив такой решительный отказ, Печорин, как вы сами можете догадаться, не удивился: он приготовился к такой развязке и даже желал ее. Он отправился на Морскую, сани его быстро скользили по сыпучему снегу: утро было туманное и обещало близкую оттепель. Многие жители Петербурга, проведшие детство в другом климате, подвержены странному влиянию здешнего неба. Какое-то печальное равнодушие, подобное тому, с каким наше северное солнце отворачивается от неблагодарной здешней земли, закрадывается в душу, приводит в оцепенение все жизненные органы. В эту минуту сердце неспособно к энтузиазму, ум к размышлению. В подобном расположении находился Печорин. Неожиданный успех увенчал его легкомысленное предприятие, и он даже не обрадовался. Чрез несколько минут он должен был увидеться с женщиною, которая была постоянною его мечтою в продолжении нескольких лет, с которою он был связан прошедшим, для которой был готов отдать свою будущность, — и сердце его не трепетало от нетерпе-

ния, страха, надежды. Какое-то болезненное замирание, какая-то мутность и неподвижность мыслей, которые подобно тяжелым облакам осаждали ум его, предвещали одни близкую бурю душевную. Вспоминая прежнюю пылкость, он внутренно досадовал на теперешнее свое спокойствие.

Вот сани его остановились перед одним домом; он вышел и взялся за ручку двери, но прежде чем он отворил ее, минувшее как сон проскользнуло в его воображении, и различные чувства внезапно, шумно пробудились в душе его. Он сам испугался громкого биения сердца своего, как пугаются сонные жители города при звуке ночного набата. Какие были его намерения, опасения и надежды, известно только Богу, но, по-видимому, он готов был сделать решительный шаг, дать новое направление своей жизни. Наконец дверь отворилась, и он медленно взошел по широкой лестнице. На вопрос швейцара, кого ему угодно, он отвечал вопросом: «дома ли княгиня Вера Дмитревна?»

— Князь Степан Степанович у себя-с.

— А княгиня? — повторил нетерпеливо Печорин.

— Княгиня также-с.

Печорин сказал швейцару свою фамилию, и тот пошел доложить.

Сквозь полураскрытую в залу дверь Печорин бросил любопытный взгляд, стараясь сколько-нибудь по убранству комнат угадать хотя слабый оттенок семейной жизни хозяев, но увы! в столице все залы схожи между собою, как все улыбки и все приветствия. Один только кабинет иногда может разоблачить домашние тайны, но кабинет так же непроницаем для посторонних посетителей, как сердце; однако же краткий разговор с швейцаром позволил догадаться Печорину, что главное лицо в доме был князь. «Странно, — подумал он, — она вышла замуж за старого, неприятного и обыкновенного человека, вероятно, для того, чтоб делать свою волю, и что же, если я отгадал правду, если она добровольно переменила одно рабство на другое, то какая же у нее была цель? Какая причина?.. но нет, любить она его не может, за это я ручаюсь головой».

В эту минуту швейцар взошел и торжественно произнес:

— Пожалуйте, князь в гостиной.

Медленными шагами Печорин прошел через зал, взор его затуманился, кровь прилила к сердцу. Он чувствовал, что побледнел, когда перешел через порог гостиной. Молодая женщина в утреннем атласном капоте и блондовом чепце сидела небрежно на диване; возле нее на креслах в мундирном фраке сидел какой-то толстый, лысый господин с огромными глазами, налитыми кровью, и бесконечно широкой улыбкой; у окна стоял другой в сертуке, довольно сухощавый, с волосами, обстриженными под гребенку, с обвислыми щеками и довольно неблагородным выражением лица, он про-

сматривал газеты и даже не обернулся, когда взошел молодой офицер. Это был сам кн<язь> Степан Степанович.

Молодая женщина поспешно встала, обратясь к Печорину с каким-то очень неясным приветствием, потом подошла к князю и сказала ему:

— Mon ami, вот господин Печорин, он старинный знакомый нашего семейства... Monsieur Печорин, рекомендую вам моего мужа.

Князь бросил газеты на окно, раскланялся, хотел что-то сказать, но из уст его вышли только отрывистые слова:

— Конечно... мне очень приятно... семейство жены моей... что вы так любезны... я поставил себе за долг... ваша матушка такая почтенная дама, — я имел честь быть вчерась у нее с женой.

— Матушка с сестрой хотела сама быть у вас сегодни, но она немного нездорова и поручила мне засвидетельствовать вам свое почтение.

Печорин сам не знал, что говорил. Опомнившись и думая, что он сказал глупость, он принял какой-то холодный принужденный вид. Княгине показалось, вероятно, что этой фразой он хотел объяснить свой визит, как будто бы невольный. Выражение лица ее также сделалось так же принужденно. Она подозревала намерение упрекнуть, щеки ее готовы были вспыхнуть, но она быстро отвернулась, сказала что-то толстому господину, тот захохотал и громко произнес: «о, да!» — Потом она пригласила Печорина сесть, заняла сама прежнее место, а князь взял опять в руки свои газеты.

Княгиня Вера Дмитревна была женщина 22 лет, среднего женского роста, блондинка с черными глазами, что придавало лицу ее какую-то оригинальную прелесть и таким образом, резко отличая ее от других женщин, уничтожало сравнения, которые, может быть, были бы не в ее пользу. Она была не красавица, хотя черты ее были довольно правильны. Овал лица совершенно аттический и прозрачность кожи необыкновенна. Беспрерывная изменчивость ее физиономии, по-видимому, несообразная с чертами несколько резкими, мешала ей нравиться всем и нравиться во всякое время, но зато человек, привыкший следить эти мгновенные перемены, мог бы открыть в них редкую пылкость души и постоянную раздражительность нерв, обещающую столько наслаждений догадливому любовнику. Ее стан был гибок, движения медленны, походка ровная. Видя ее в первый раз, вы бы сказали, если вы опытный наблюдатель, что это женщина с характером твердым, решительным, холодным, верующая в собственное убеждение, готовая принесть счастие в жертву правилам, но не молве. Увидавши же ее в минуту страсти и волнения, вы сказали бы совсем другое — или, скорее, не знали бы вовсе, что сказать.

Несколько минут Печорин и она сидели друг против друга в молчании, затруднительном для обоих. Толстый господин, который был по какому-то

случаю барон, воспользовался этим промежутком времени, чтоб объяснить подробно свои родственные связи с прусским посланником. Княгиня разными вопросами очень ловко заставляла барона еще более растягивать речь свою; Жорж, пристально устремив глаза на Веру Дмитревну, старался, но тщетно, угадать ее тайные мысли; он видел ясно, что она не в своей тарелке, озабочена, взволнованна. Ее глаза то тускнели, то блистали, губы то улыбались, то сжимались; щеки краснели и бледнели попеременно: но какая причина этому беспокойству?.. может быть, домашняя сцена, до него случившаяся, потому что князь явно был не в духе, может быть, радость и смущение воскресающей или только вновь пробуждающейся любви к нему, может быть, неприятное чувство при встрече с человеком, который знал некоторые тайны ее жизни и сердца, который имел право и, может быть, готов был ее упрекнуть...

Печорин, не привыкший толковать женские взгляды и чувства в свою пользу, остановился на последнем предположении... из гордости он решился показать, что, подобно ей, забыл прошедшее и радуется ее счастью... Но невольно в его словах звучало оскорбленное самолюбие; когда он заговорил, то княгиня вдруг отвернулась от барона... и тот остался с отверстым ртом, готовясь произнести самое важное и убедительнейшее заключение своих доказательств.

— Княгиня, — сказал Жорж... — извините, я еще не поздравил вас... с княжеским титулом!.. Поверьте, однако, что я с этим намерением спешил иметь честь вас увидеть... но когда взошел сюда... то происшедшая в вас перемена так меня поразила, что признаюсь... забыл долг вежливости...

— Я постарела, не правда ли? — отвечала Вера, наклонив головку к правому плечу.

— О! вы шутите! разве в счастии стареют... напротив, вы пополнели, вы...

— Конечно, я очень счастлива, — прервала его княгиня.

— Это молва всеобщая: многие молодые девушки вам завидуют... впрочем вы так благоразумны, что не могли не сделать такого достойного выбора... весь свет восхищается любезностию, умом и талантами вашего супруга... (барон сделал утвердительный знак головой), — княгиня чуть-чуть не улыбнулась, потом вдруг досада изобразилась на ее лице.

— Я вам отплачу комплиментом за комплимент, monsieur Печорин... вы также переменились к лучшему.

— Как быть? время всесильно... даже наши одежды, подобно нам самим, подвержены чудным изменениям — вы теперь носите блондовый чепчик, я вместо фрака московского недоросля или студентского сертука ношу мундир с эполетами... Вероятно, от этого я имею счастие вам нравиться больше, чем прежде... вы теперь так привыкли к блеску!

Княгиня хотела отомстить за эпиграмму:

— Прекрасно! — воскликнула она: — вы отгадали... и точно, нам, бедным москвитянкам, гвардейский мундир истинная диковинка!.. — она насмешливо улыбнулась, барон захохотал, — и Печорин на него взбесился.

— У вас такой усердный союзник, княгиня, — сказал он, — что я должен признаться побежденным. Я уверен, что барон при данном знаке готов меня сокрушить всей своей тяжестью.

Барон плохо понимал по-русски, хотя родился в России; он захохотал пуще прежнего, думая, что это комплимент, относящийся к нему вместе с Верою Дмитревной. — Печорин пожал плечами; и разговор снова остановился. — К счастию, князь подошел, преважно держа в руке газеты.

— Вот это до тебя касается, — сказал он жене, — новый магазин на днях открыт на Невском. Я покажу вам, — сказал он, обращаясь к гостям, — петербургский гостинец, который я вчера купил жене: все говорят, что серьги самые модные, а жена говорит, что нет, как будут по вашему вкусу?

Он пошел в другую комнату и принес сафьянную коробочку. Часто повторяемое князем слово *жена* как-то грубо и неприятно отзывалось в ушах Печорина; он с первого слова узнал в князе человека недалекого, а теперь убедился, что он даже человек не светский. Серьги переходили из рук в руки, барон произнес над ними несколько протяжных восклицаний, Печорин после него стал машинально их рассматривать.

— А как вы думаете, — спросил кн<язь Степан> Степанович, спрятавшись в галстух и одной рукой вытаскивая накрахмаленный воротничок, — сколько я за них заплатил, отгадайте!

Серьги по большей мере стоили 80 рублей, а были заплочены 75. Печорин нарочно сказал 150. Это озадачило князя. Он ничего не отвечал, стыдясь сказать правду, и сел на канапе, очень немилостиво поглядывая на Печорина. Разговор сделался общим разменом городских новостей, московских известий: князь, несколько развеселившись, объявил очень откровенно, что если б не тяжебное дело, то никак бы не оставил Москвы и Английского клуба, прибавляя, что здешний Английский клуб ничто перед московским. Наконец Печорин встал, раскланялся и дошел уже до двери, как вдруг княгиня вскочила с своего места и убедительно просила его не позабыть поцеловать за нее милую Вареньку сто раз, тысячу раз. Печорину хотелось ей заметить, что он не может передать словесных поцелуев, но ему было не до шуток, и он очень важно опять поклонился. Княгиня улыбнулась ему той ничего не выражающей улыбкою, которая разливается на устах танцовщицы, оканчивающей пируэт.

С горьким предчувствием он вышел из комнаты: пройдя залу, обернулся, княгиня стояла в дверях, неподвижно смотрела ему вослед: заметив его движение, она исчезла.

— Странно, — подумал Печорин, садясь в сани, — было время, когда я читал на лице ее все движенья мысли так же безошибочно, как собственную рукопись, а теперь я ее не понимаю, совершенно не понимаю.

ГЛАВА V

До 19-летнего возраста Печорин жил в Москве. С детских лет он таскался из одного пансиона в другой и наконец увенчал свои странствования вступлением в университет, согласно воле своей премудрой маменьки. Он получил такую охоту к перемене мест, что если бы жил в Германии, то сделался бы странствующим студентом. Но скажите ради Бога, какая есть возможность в России сделаться бродягой повелителю 3 т<ысяч> душ и племяннику 20 т<ысяч> московских тетушек. Итак, все его путешествия ограничивались поездками с толпою таких же негодяев, как он, в Петровский, в Сокольники и Марьину рощу. Можете вообразить, что они не брали с собою тетрадей и книг, чтоб не казаться педантами. Приятели Печорина, которых число было, впрочем, не очень велико, были всё молодые люди, которые встречались с ним в обществе, ибо и в то время студенты были почти единственными кавалерами московских красавиц, вздыхавших невольно по эполетам и аксельбантам, не догадываясь, что в наш век эти блестящие вывески утратили свое прежнее значение.

Печорин с товарищи являлся также на всех гуляньях. Держась под руки, они прохаживались между вереницами карет к великому соблазну квартальных. Встретив одного из этих молодых людей, можно было, закрывши глаза, держать пари, что сейчас явится и остальные. В Москве, где прозвания еще в моде, прозвали их la bande joyeuse.

Приближалось для Печорина время экзамена: он в продолжение года почти не ходил на лекции и намеревался теперь пожертвовать несколько ночей науке и одним прыжком догнать товарищей: вдруг явилось обстоятельство, которое помешало ему исполнить это геройское намерение. У матери Печорина Татьяны Петровны бывали детские вечера для маленькой дочери: на эти вечера съезжались и взрослые барышни и переспелые девы, жадные до всяких возможных вечеров. Дети ложились спать в 10 часов, их сменяли на паркете большие. На эти вечера являлись часто отец и дочь Р-вы. Они были старинные знакомые Татьяны Петровны и даже несколько ей сродни. Дочь этого госпо<дина> Р * называлась тогда просто Верочка. Жорж, привыкнув видеться с нею часто, не находил в ней ничего особенного, она же избегала его разговора. Раз собралась большая компания ехать в Симонов монастырь ко всенощной молиться, слушать певчих и гулять. Это было весною: уселись в длинные линии, запряженные каждая в 6 лошадей,

и тронулись с Арбата веселым караваном. Солнце склонялось к Воробьевым горам, и вечер был в самом деле прекрасен.

По какому-то случаю Жоржу пришлось сидеть рядом с Верочкою, он этим был сначала недоволен: ее 17-летняя свежесть и скромность казались ему верными признаками холодности и чересчур приторной сердечной невинности: кто из нас в 19 лет не бросался очертя голову вослед отцветающей кокетке, которых слова и взгляды полны обещаний, и души которых подобны выкрашенным гробам притчи. Наружность их — блеск очаровательный, внутри смерть и прах.

Выехав уже за город, когда растворенный воздух вечера освежил веселых путешественников, Жорж разговорился с своей соседкою. Разговор ее был прост, жив и довольно свободен. Она была несколько мечтательна, но не старалась этого выказывать, напротив, стыдилась этого, как слабости. Суждения Жоржа в то время были резки, полны противуречий, хотя оригинальны, как вообще суждения молодых людей, воспитанных в Москве и привыкших без принуждения постороннего развивать свои мысли.

Наконец приехали в монастырь. До всенощной ходили осматривать стены, кладбище; лазили на площадку западной башни, ту самую, откуда в древние времена наши предки следили движения, и последний Новик открыл так поздно имя свое и судьбу свою и свое изгнанническое имя. Жорж не отставал от Верочки, потому что неловко было бы уйти, не кончив разговора, а разговор был такого рода, что мог продолжиться до бесконечности. Он и продолжался всё время всенощной, исключая тех минут, когда дивный хор монахов и голос отца Виктора погружал их в безмолвное умиление. Но зато после этих минут разгоряченное воображение и чувства, взволнованные звуками, давали новую пищу для мыслей и слов. После всенощной опять гуляли и возвратились в город тем же порядком, очень поздно. Жорж весь следующий день думал об этом вечере, потом поехал к Р-вым, чтоб поговорить об нем и передать свои впечатления той, с которой он их разделял. Визиты делались чаще и продолжительнее, по короткости обоих домов они не могли обратить на себя никакого подозрения; так прошел целый месяц, и они убедились оба, что влюблены друг в друга до безумия. В их лета, когда страсть есть наслаждение, без примеси забот, страха и раскаяния, очень легко убедиться во всем. У Жоржа была богатая тетушка, которая в той же степени была родня и Р-вым. Тетушка пригласила оба семейства погостить к себе в Подмосковную недели на две, дом у нее был огромный, сады большие, одним словом, все удобства. Частые прогулки сблизили еще более Жоржа с Верочкой; несмотря на толпу мадамов и детей тетушки, они как-то всегда находили средство быть вдвоем: средство, впрочем, очень легкое, если обоим этого хочется.

Между тем в университете шел экзамен. Жорж туда не явился: разумеется, он не получил аттестата, но о будущем он не заботился, и уверил мать, что экзамен отложен еще на три недели, и что он всё знает. Вечерние прогулки имели необходимым следствием объяснение, потом клятвы в верности, наконец, когда двунедельный срок кончился, надобно было возвращаться в Москву. Накануне рокового дня (это было вечером) они стояли вдвоем на балконе, какой-то невидимый демон сблизил их уста и руки в безмолвное пожатие, в безмолвный поцелуй!.. Они испугались самих себя, и хотя Жорж рано с помощью товарищей вступил на соблазнительное поприще разврата... но честь невинной девушки была еще для него святыней. На другой день, садясь в экипажи, они раскланялись по-прежнему, очень учтиво, но Верочка покраснела, и глаза ее блистали.

Обман Жоржа открылся, как скоро приехали в Москву, отчаяние Татьяны Петровны было ужасно, брань ее неистощима. Жорж с покорностью и молча выслушал всё как стоик; но гроза невидимая сбиралась над ним. В комитете дядюшек и тетушек было положено, что его надобно отправить в Петербург и отдать в Юнкерскую школу: другого спасения они для него не видали. «Там, — говорили они, — его прошколят и выучат дисциплине».

В это время открылась Польская кампания, вся молодежь спешила определяться в полки, вступать в школу было для Жоржа невыгодно, потому что юнкера 2 класса не должны были идти в поход. Он почти на коленах выпросил у матери позволение вступить в Н... гусарский полк, стоявший недалеко от Москвы. После многого плаканья и оханья получил он ее благословение, но самое трудное оставалось ему еще сделать: надобно было объявить об этом Верочке. Он был так еще невинен душою, что боялся убить ее неожиданным известием. Однако ж она выслушала его молча и устремила на него укоризненный взгляд, не веря, чтоб какие бы то ни было обстоятельства могли его заставить разлучиться с нею: клятва и обещания ее успокоили.

Чрез несколько дней Жорж приехал к Р-вым, чтоб окончательно проститься. Верочка была очень бледна, он посидел недолго в гостиной, когда же вышел, то она, пробежав чрез другие двери, встретила его в зале. Она сама схватила его за руку, крепко ее сжала и произнесла неверным голосом: «Я никогда не буду принадлежать другому». — Бедная, она дрожала всем телом. Эти ощущения были для нее так новы, она так боялась потерять друга, она так была уверена в собственном сердце. Напечатлев жаркий поцелуй на холодном девственном челе ее, Жорж посадил ее на стул, опрометью сбежал с лестницы и поскакал домой. Вечером пришел лакей от Р. к Татьяне Петровне просить склянку с какими-то каплями и спирту, потому, что, дескать, барышня очень нездорова и раза три была без памяти. Это был

ужасный удар для Жоржа, он целую ночь не спал, чем свет сел в дорожную коляску и отправился в полк.

До сих пор, любезные читатели, вы видели, что любовь моих героев не выходила из общих правил всех романов и всякой начинающейся любви. Но зато впоследствии... о! впоследствии вы увидите и услышите чудные вещи.

Печорин в продолжение кампании отличался, как отличается всякий русский офицер, дрался храбро, как всякий русский солдат, любезничал с многими паннами, но минуты последнего расставанья и милый образ Верочки постоянно тревожили его воображение. Чудное дело! Он уехал с твердым намерением ее забыть, а вышло наоборот (что почти всегда и выходит в таких случаях). Впрочем, Печорин имел самый несчастный нрав: впечатления, сначала легкие, постепенно врезывались в его ум всё глубже и глубже, так что впоследствии эта любовь приобрела над его сердцем право давности, священнейшее из всех прав человечества.

После взятия Варшавы он был переведен в гвардию, мать его с сестрою переехали жить в Петербург, Варенька привезла ему поклон от своей милой Верочки, как она ее называла, — ничего больше как поклон. Печорина это огорчило — он тогда еще не понимал женщин. Тайная досада была одна из причин, по которым он стал волочиться за Лизаветой Николавной, слухи об этом, вероятно, дошли до Верочки. Через полтора года он узнал, что она вышла замуж; через два года приехала в Петербург уже не Верочка, а княгиня Лиговская и князь Степан Спеп<анович>.

Тут, кажется, мы остановились в предыдущей главе.

ГЛАВА VI

Дни через три после того, как Печорин был у князя, Татьяна Петровна пригласила несколько человек знакомых и родных отобедать. Степан Степанович с супругою был, разумеется, в числе.

Печорин сидел в своем кабинете и хотел уже одеваться, чтоб выйти в гостиную, когда взошел к нему артиллерийский офицер.

— А, Браницкий, — воскликнул Печорин, — я очень рад, что ты так кстати заехал, ты непременно будешь у нас обедать. Вообрази, у нас ныне полон дом молодых девушек, и я один, отдан им на жертву, ты всех их знаешь, сделай одолжение останься обедать!

— Ты так убедительно просишь, — отвечал Браницкий, — как будто предчувствуешь отказ.

— Нет, ты не смеешь отказаться, — сказал Печорин, он кликнул человека и велел отпустить сани Браницкого домой.

Дальнейший разговор их я не передаю, потому что он был бессвязен и пуст, как разговоры всех молодых людей, которым нечего делать. И в самом деле, скажите, об чем могут говорить молодые люди? запас новостей скоро истощается, в политику благоразумие мешает пускаться, об службе и так слишком много толкуют на службе, а женщины в наш варварский век утратили вполовину прежнее всеобщее свое влияние. Влюбиться кажется уже стыдно, говорить об этом смешно.

Когда несколько гостей съехалось, Печорин и Браницкий вошли в гостиную. Там на 3-х столах играли в вист. Покуда маменьки считали козыри, дочки, усевшись вкруг небольшого столика, разговаривали о последнем бале, о новых модах. Офицеры подошли к ним, Браницкий искусно оживил непринужденной болтовней их небольшой кружок, Печорин был рассеян. Он давно замечал, что Браницкий ухаживал за его сестрой и, не входя в рассмотрение дальнейших следствий, не тревожил приятеля наблюдением, а сестру нескромными вопросами. Вареньке казалось очень приятно, что такой ловкий молодой человек приметно отличает ее от других, ее, которая даже еще не выезжает.

Мало-помалу гости съезжались. Кн<язь> Лиговской и княгиня приехали одни из последних. Варенька бросилась навстречу своей старой приятельнице, княгиня поцеловала ее с видом покровительства. Вскоре сели за стол.

Столовая была роскошно убранная комната, увешанная картинами в огромных золотых рамах: их темная и старинная живопись находилась в резкой противуположности с украшениями комнаты, легкими, как всё, что в новейшем вкусе. Действующие лица этих картин — одни полунагие, другие живописно завернутые в греческие мантии или одетые в испанские костюмы, в широкополых шляпах с перьями, с прорезными рукавами, пышными манжетами, — брошенные на этот холст рукою художника в самые блестящие минуты их мифологической или феодальной жизни, казалось, строго смотрели на действующих лиц этой комнаты, озаренных сотнею свеч, не помышляющих о будущем, еще менее о прошедшем, съехавшихся на пышный обед не столько для того, чтобы насладиться дарами роскоши, но одни, чтоб удовлетворить тщеславию ума, тщеславию богатства, другие из любопытства, из приличий, или для каких-либо других сокровенных целей. В одежде этих людей, так чинно сидевших вокруг длинного стола, уставленного серебром и фарфором, так же как в их понятиях, были перемешаны все века. В одеждах их встречались глубочайшая древность с самой последней выдумкой парижской модистки, греческие прически, увитые гирляндами из поддельных цветов, готические серьги, еврейские тюрбаны, далее волосы, вздернутые кверху à la chinoise, букли à la Sévigné, пышные платьи наподобие фижм, рукава, чрезвычайно широкие или чрезвычайно узкие.

У мужчин прически à la jeune France, à la russe, à la moyen âge, à la Titus, гладкие подбородки, усы, испаньолки, бакенбарды и даже бороды, кстати было бы тут привести стих Пушкина: «какая смесь одежд и лиц!» Понятия же этого общества были такая путаница, которую я не берусь объяснить.

Печорину пришлось сидеть наискось противу княгини Веры Дмитревны, сосед его по левую руку был какой-то рыжий господин, увешанный крестами, который ездил к ним в дом только на званые обеды, по правую же сторону Печорина сидела дама лет 30-ти, чрезвычайно свежая и моложавая, в малиновом токе, с перьями, и с гордым видом, потому что она слыла неприступною добродетелью. Из этого мы видим, что Печорин, как хозяин, избрал самое дурное место за столом.

Возле Веры Дмитревны сидела по одну сторону старушка, разряженная, как кукла, с седыми бровями и черными пуклями, по другую — дипломат, длинный и бледный, причесанный à la russe и говоривший по-русски хуже всякого француза. После 2-го блюда разговор начал оживляться.

— Так как вы недавно в Петербурге, — говорил дипломат княгине, — то, вероятно, не успели еще вкусить и постигнуть все прелести здешней жизни. Эти здания, которые с первого взгляда вас только удивляют, как всё великое, со временем сделаются для вас бесценны, когда вы вспомните, что здесь развилось и выросло наше просвещение, и когда увидите, что оно в них уживается легко и приятно. Всякий русский должен любить Петербург: здесь всё, что есть лучшего русской молодежи, как бы нарочно собралось, чтоб подать дружескую руку Европе. Москва только великолепный памятник, пышная и безмолвная гробница минувшего, здесь жизнь, здесь наши надежды...

Так высокопарно и мудрено говорил худощавый дипломат, который имел претензию быть великим патриотом. Кн<ягиня> улыбнулась и отвечала рассеянно:

— Может быть, со временем я полюблю и Петербург, но мы, женщины, так легко предаемся привычкам сердца и так мало думаем, к сожалению, о всеобщем просвещении, о славе государства! Я люблю Москву. С воспоминанием об ней связана память о таком счастливом времени! А здесь, здесь всё так холодно, так мертво... О, это не мое мнение; это мнение здешних жителей. — Говорят, что въехавши раз в петербургскую заставу, люди меняются совершенно.

Эти слова она сказала, улыбаясь дипломату и взглянув на Печорина.

Дипломат взбеленился:

— Какие ужасные клеветы про наш милый город, — воскликнул он, — а всё это старая сплетница Москва, которая из зависти клевещет на молодую свою соперницу.

При слове *старая сплетница* разряженная старушка затрясла головой и чуть-чуть не подавилась спаржею.

— Чтоб решить наш спор, — продолжал дипломат, — выберемте посредника, княгиня: вот хоть Григория Александровича, он очень прилежно слушал наш разговор. Как вы думаете об этом? Monsieur Печорин, скажите по совести и не принесите меня в жертву учтивости. Вы одобряете мой выбор, княгиня?

— Вы выбрали судью довольно строгого, — отвечала она.

— Как быть, наш брат всегда наблюдает свои выгоды, — возразил дипломат с самодовольной улыбкою. — Monsieur Печорин, извольте же решить.

— Мне очень жаль, — сказал Печорин, — что вы ошиблись в своем выборе. Из всего вашего спора я слышал только то, что сказала княгиня.

Лицо дипломата вытянулось.

— Однако ж, — сказал он, — Москве или Петербургу отдадите вы преимущество?

— Москва моя родина, — отвечал Печорин, стараясь отделаться.

— Однако ж которая?.. — дипломат настаивал с упорством.

— Я думаю, — прервал его Печорин, — что ни здания, ни просвещение, ни старина не имеют влияния на счастие и веселость. А меняются люди за петербургской заставой и за московским шлагбаумом потому, что если б люди не менялись, было бы очень скучно.

— После такого решения, княгиня, — сказал дипломат, — я уступаю свое дипломатическое звание господину Печорину. Он увернулся от решительного ответа, как Талейран или Меттерних.

— Григорий Александрович, — возразила княгиня, — не увлекается страстью или пристрастием, он следует одному холодному рассудку.

— Это правда, — отвечал Печорин, — я теперь стал взвешивать слова свои и рассчитывать поступки, следуя примеру других. Когда я увлекался чувством и воображением, надо мною смеялись и пользовались моим простосердечием, но кто же в своей жизни не делал глупостей! И кто не раскаивался! Теперь по чести я готов пожертвовать самою чистейшею, самою воздушной любовью для 3 т<ысяч> душ с винокуренным заводом и для какого-нибудь графского герба на дверцах кареты! Надобно пользоваться случаем, такие вещи не падают с неба! Не правда ли? — Этот неожиданный вопрос был сделан даме в малиновом берете.

Молчаливая добродетель пробудилась при этом неожиданном вопросе, и страусовые перья заколышались на берете. Она не могла тотчас ответить, потому что ее невинные зубки жевали кусок рябчика с самым добродетельным старанием: все с нетерпением молча ожидали ее ответа. Наконец она открыла уста и важно молвила:

— Ко мне ли ваш вопрос относится?

— Если вы позволите, — отвечал Печорин.

— Не хотите ли вы разделить со мною вашу роль посредника и судьи?

— Я б желал вам передать ее совсем.

— Ах, избавьте!

В эту минуту ей подали какое-то жирное блюдо, она положила себе на тарелку и продолжала:

— Вот, адресуйтесь к княгине, она, я думаю, гораздо лучше может судить о любви и об графском или о княжеском титуле.

— Я бы желал слышать ваше мнение, — сказал Печорин, — и решился победить вашу скромность упрямством.

— Вы не первые, и вам это не удастся, — сказала она с презрительной улыбкой. — Притом я не имею никакого мнения о любви.

— Помилуйте! в ваши лета не иметь никакого мнения о таком важном предмете для всякой женщины.

Добродетель обиделась.

— То есть, я слишком стара, — воскликнула она покраснев.

— Напротив, я хотел сказать, что вы еще так молоды.

— Слава Богу, я уж не ребенок... вы оправдались очень неудачно.

— Что делать! — я вижу, что увеличил единицею несметное число несчастных, которые вам напрасно стараются понравиться...

Она от него отвернулась, а он чуть не засмеялся вслух.

— Кто эта дама? — шепотом спросил у него рыжий господин с крестами.

— Баронесса Штраль, — отвечал Печорин.

— Аа! — сделал рыжий господин.

— Вы, конечно, об ней много слыхали?

— Нет-с, ничего формально.

— Она уморила двух мужей, — продолжал Печорин, — теперь за третьим, который, верно, ее переживет.

— Ого! — сказал рыжий господин и продолжал уписывать соус, унизанный трюфелями.

Таким образом разговор прекратился, но дипломат взял на себя труд возобновить его.

— Если вы любите искусства, — сказал он, обращаясь к княгине, — то я могу вам сказать весьма приятную новость: картина Брюллова «Последний день Помпеи» едет в Петербург. Про нее кричала вся Италия, французы ее разбранили. Теперь любопытно знать, куда склонится русская публика, на сторону истинного вкуса или на сторону моды.

Княгиня ничего не отвечала, она была в рассеянности — глаза ее бродили без цели вдоль по стенам комнаты, и слово *картина* только заставило их остановиться на изображении какой-то испанской сцены, висевшем против нее. Это была старинная картина, довольно посредственная, но получившая ценность оттого, что краски ее полиняли и лак растрескался. На ней были

изображены три фигуры: старый и седой мужчина, сидя на бархатных креслах, обнимал одною рукою молодую женщину, в другой держал он бокал с вином. Он приближал свои румяные губы к нежной щеке этой женщины и проливал вино ей на платье. Она, как бы нехотя повинуясь его грубым ласкам, перегнувшись через ручку кресел и облокотись на его плечо, отворачивалась в сторону, прижимая палец к устам и устремив глаза на полуотворенную дверь, из-за которой во мраке сверкали два яркие глаза и кинжал.

Княгиня несколько минут со вниманием смотрела на эту картину и наконец попросила дипломата объяснить ее содержание.

Дипломат вынул из-за галстуха лорнет, прищурился, наводил его в разных направлениях на темный холст и заключил тем, что это должна быть копия с Рембранта или Мюрилла.

— Впрочем, — прибавил он, — хозяин ее должен лучше знать, что она изображает.

— Я не хочу вторично затруднять Григория Александровича разрешениями вопросов, — сказала Вера Дмитриевна и опять устремила глаза на картину.

— Сюжет ее очень прост, — сказал Печорин, не дожидаясь, чтобы его просили, — здесь изображена женщина, которая оставила и обманула любовника для того, чтобы удобнее обманывать богатого и глупого старика. В эту минуту она, кажется, что-то у него выпрашивает и удерживает бешенство любовника ложными обещаниями. Когда она выманит искусственным поцелуем всё, что ей хочется, она сама откроет дверь и будет хладнокровною свидетельницею убийства.

— Ах, это ужасно! — воскликнула княгиня.

— Может быть, я ошибаюсь, дав такой смысл этому изображению, — продолжал Печорин, — мое истолкование совершенно произвольное.

— Неужели вы думаете, что подобное коварство может существовать в сердце женщины?

— Княгиня, — отвечал Печорин сухо, — я прежде имел глупость думать, что можно понимать женское сердце. Последние случаи моей жизни меня убедили в противном, и поэтому я не могу решительно ответить на ваш вопрос.

Княгиня покраснела, дипломат обратил на нее испытующий взор и стал что-то чертить вилкою на дне своей тарелки. Дама в малиновом берете была как на иголках, слыша такие ужасы, и старалась отодвинуть свой стул от Печорина, а рыжий господин с крестами значительно улыбнулся и проглотил три трюфели разом.

Остальное время обеда дипломат и Печорин молчали, княгиня завела разговор с старушкою, добродетель горячо об чем-то спорила с своей соседкой с правой стороны, рыжий господин ел.

За десертом, когда подали шампанское, Печорин, подняв бокал, обратился к княгине:

— Так как я не имел счастия быть на вашей свадьбе, то позвольте поздравить вас теперь.

Она посмотрела на него с удивлением и ничего не ответила. Тайное страдание изображалось на ее лице, столь изменчивом, — рука ее, державшая стакан с водою, дрожала... Печорин всё это видел, и нечто похожее на раскаяние закралось в грудь его: за что он ее мучил? — с какою целью? — какую пользу могло ему принесть это мелочное мщение?.. — Он себе в этом не мог дать подробного отчета.

Вскоре стулья зашумели: встали изо стола и пошли в приемные комнаты... Лакеи на серебряных подносах стали разносить кофе, некоторые мужчины, не игравшие в вист — и в их числе князь Степан Степ<анович>, пошли в кабинет Печорина курить трубки, а княгиня под предлогом, что у нее развились локоны, удалилась в комнату Вареньки.

Она притворила за собою двери, бросилась в широкие кресла; неизъяснимое чувство стеснило ее грудь, слезы набежали на ресницы, стали капать чаще и чаще на ее разгоревшиеся ланиты, и она плакала, горько плакала, покуда ей не пришло в мысль, что с красными глазами неловко будет показаться в гостиную. Тогда она встала, подошла к зеркалу, осушила глаза, натерла виски одеколоном и духами, которые в цветных и граненых скляночках стояли на туалете. По временам она еще всхлипывала, и грудь ее подымалась высоко, но это были последние волны, забытые на гладком море пролетевшим ураганом.

Об чем же она плакала, спрашиваете вы, и я вас спрошу, об чем женщины не плачут? слезы их оружие нападательное и оборонительное. Досада, радость, бессильная ненависть, бессильная любовь имеют у них одно выражение: Вера Дмитревна сама не могла дать отчета, какое из этих чувств было главною причиною ее слез. Слова Печорина глубоко ее оскорбили; но странно, она его за это не возненавидела. Может быть, если б в его упреке проглядывало сожаление о минувшем, желание ей снова нравиться, она бы сумела отвечать ему колкой насмешкой и равнодушием, но, казалось, в нем было оскорблено одно самолюбие, а не сердце, — самая слабая часть мужчины, подобная пятке Ахиллеса, и по этой причине оно в этом сражении оставалось вне ее выстрелов. Казалось, Печорин гордо вызывал на бой ее ненависть, чтобы увериться, так же ли она будет недолговременна, как любовь ее, — и он достиг своей цели. Ее чувства взволновались, ее мысли смутились, первое впечатление было сильное, а от первого впечатления зависело всё остальное: он это знал и знал также, что самая ненависть ближе к любви, нежели равнодушие.

Княгиня уже собиралась возвратиться в гостиную, как вдруг дверь легонько скрыпнула и взошла Варенька.

— Я тебя искала, chère amie, — воскликнула она, — ты, кажется, нездорова...

Вера Дмитревна томно улыбнулась ей и сказала:

— У меня болит голова, там так жарко...

— Я за столом часто на тебя взглядывала, — продолжала Варенька, — ты всё время молчала, мне досадно было, что я не села возле тебя, тогда, может быть, тебе не было <бы> так скучно.

— Мне вовсе не было скучно, — отвечала княгиня, горько улыбнувшись, — Григорий Александрович был очень любезен.

— Послушай, мой ангел, я не хочу, чтоб ты называла брата Григорий Александрович. Григорий Александрович — это так важно: точно вы будто вчерась токмо познакомились. Отчего не называть его просто Жорж, как прежде, он такой добрый.

— О, я этого последнего достоинства в нем ныне не заметила, он мне ныне наговорил таких вещей, которые б другая ему никогда не простила.

Вера Дмитревна почувствовала, что проговорилась, но успокоилась тем, что Варенька, ветреная девочка, не обратит внимания на ее последние слова или скоро позабудет их. Вера Дмитревна, к несчастию ее, была одна из тех женщин, которые обыкновенно осторожнее и скромнее других, но в минуты страсти проговариваются.

Поправя свои локоны перед зеркалом, она взяла под руку Вареньку, и обе возвратились в гостиную, а мы пойдем в кабинет Печорина, где собралось несколько молодых людей и где князь Степан Степанович, с цигаркою в зубах, тщетно старался вмешаться в их разговор. Он не знал ни одной петербургской актрисы, не знал ключа ни одной городской интриги и, как приезжий из другого города, не мог рассказать ни одной интересной новости. Женившись на молодой женщине, он старался казаться молодым на зло подставным зубам и некоторым морщинам. В продолжение всей своей молодости этот человек не пристрастился ни к чему — ни к женщинам, ни к вину, ни к картам, ни к почестям, и со всем тем, в угодность товарищей и друзей, напивался очень часто, влюблялся раза три из угождения в женщин, которые хотели ему нравиться, проиграл однажды 30 т<ысяч>, когда была мода проигрываться, убил свое здоровье на службе потому, что начальникам это было приятно. Будучи эгоист в высшей степени, он, однако, слыл всегда добрым малым, готовым на всякие услуги, женился же он потому, что всем родным этого хотелось. Теперь он сидел против камина, куря сигарку и допивая кофе и внимательно слушая разговор двух молодых людей, стоявших против него. Один из них был артиллерийский офицер Браниц-

кий, другой статский. Этот последний был одно из характеристических лиц петербургского общества.

Он был порядочного роста и так худ, что английского покроя фрак висел на плечах его как на вешалке. Жесткий атласный галстух подпирал его угловатый подбородок. Рот его, лишенный губ, походил на отверстие, прорезанное перочинным ножичком в картонной маске, щеки его, впалые и смугловатые, местами были испещрены мелкими ямочками, следами разрушительной оспы. Нос его был прямой, одинаковой толщины во всей своей длине, а нижняя оконечность как бы отрублена, глаза, серые и маленькие, имели дерзкое выражение, брови были густы, лоб узок и высок, волосы черны и острижены под гребенку, из-за галстуха его выглядывала борода à la St.-Simonienne.

Он был со всеми знаком, служил где-то, ездил по поручениям, возвращаясь получал чины, бывал всегда в среднем обществе и говорил про связи свои с знатью, волочился за богатыми невестами, подавал множество проектов, продавал разные акции, предлагал всем подписки на разные книги, знаком был со всеми литераторами и журналистами, приписывал себе многие безымянные статьи в журналах, издал брошюру, которую никто не читал, был, по его словам, завален кучею дел и целое утро проводил на Невском проспекте. Чтоб докончить портрет, скажу, что фамилия его была малороссийская, хотя вместо Горшенко он называл себя Горшенков.

— Что вы ко мне никогда не заедете? — говорил ему Браницкий.

— Поверите ли, я так занят, — отвечал Горшенко, — вот завтра сам должен докладывать министру; — потом надобно ехать в комитет, работы тьма, не знаешь, как отделаться; еще надобно писать статью в журнал, потом надобно обедать у князя N, всякий день где-нибудь на бале, вот хоть нынче у графини Ф. Так и быть, уж пожертвую этой зимой, а летом опять запрусь в свой кабинет, окружу себя бумагами и буду ездить только к старым приятелям.

Браницкий улыбнулся и, насвистывая арию из Фенеллы, удалился.

Князь, который был мысленно занят своим делом, подумал, что ему не худо будет познакомиться с человеком, который всех знает и докладывает сам министру. Он завел с ним разговор о политике, о службе, потом о своем деле, которое состояло в тяжбе с казною о 20 т<ысячах> десятин лесу. Наконец князь спросил у Горшенки, не знает ли он одного чиновника Красинского, у которого в столе разбираются его дела.

— Да, да, — отвечал Горшенко, — знаю, видал, но он ничего не может сделать, адресуйтесь к людям, которые более имеют весу, я знаю эти дела, мне часто их навязывали, но я всегда отказывался.

Такой ответ поставил в тупик кн<язя> Степана Степановича. Ему казалось, что перед ним в лице Горшенки стоит весь комитет министров.

— Да, — сказал он, — ныне эти вещи стали ужасно затруднительны.

Печорин, слышавший разговор и узнав от кн<язя>, в каком департаменте его дело, обещался отыскать Красинского и привести его к князю.

Степан Степанович в восторге от его любезности пожал ему руку и пригласил его заезжать к себе всякий раз, когда ему нечего будет делать.

ГЛАВА VII

На другой день Печорин был на службе, провел ночь в дежурной комнате и сменился в 12 часов утра. Покуда он переоделся, прошел еще час. Когда он приехал в департамент, где служил чиновник Красинский, то ему сказали, что этот чиновник куда-то ушел; Печорину дали его адрес, и он отправился к Обухову мосту. Остановясь у ворот одного огромного дома, он вызвал дворника и спросил, здесь ли живет чиновник Красинский.

— Пожалуйте в 49 нумер, — был ответ.

— А где вход?

— Со двора-с.

49 нумер, и вход со двора! Этих ужасных слов не может понять человек, который не провел по крайней мере половины жизни в отыскивании разных чиновников, 49 нумер есть число мрачное и таинственное, подобное числу 666 в Апокалипсисе. Вы пробираетесь сначала через узкий и угловатый двор, по глубокому снегу или по жидкой грязи; высокие пирамиды дров грозят ежеминутно подавить вас своим падением, тяжелый запах, едкий, отвратительный, отравляет ваше дыхание, собаки ворчат при вашем появлении, бледные лица, хранящие на себе ужасные следы нищеты или распутства, выглядывают сквозь узкие окна нижнего этажа. Наконец, после многих расспросов, вы находите желанную дверь, темную и узкую, как дверь в чистилище; поскользнувшись на пороге, вы летите две ступени вниз и попадаете ногами в лужу, образовавшуюся на каменном помосте, потом неверною рукой ощупываете лестницу и начинаете взбираться наверх. Взойдя на первый этаж и остановившись на четвероугольной площадке, вы увидите несколько дверей кругом себя, но увы, ни на одной нет нумера; начинаете стучать или звонить, и обыкновенно выходит кухарка с сальной свечой, а из-за нее раздается брань или плач детей.

— Кого вам угодно?

— 49 нумер.

— Здесь эдаких нет-с.

— Кто ж здесь живет?

Ответ бывает обыкновенно или какое-нибудь варварское имя, или: «какое вам дело, ступайте выше!» Дверь захлопывается. Во всех других дверях та же сцена повторяется в разных видах, чем выше вы взбираетесь, тем хуже. Софист наблюдатель мог бы заключить из этого, что человек, приближаясь к небу, уподобляется растению, которое на вершинах гор теряет цвет и силу. Помучившись около часу, вы наконец находите желанный 49 нумер или другой столько же таинственный, и то если дворник не был пьян и понял ваш вопрос, если не два чиновника с одинаковым именем в этом доме, если вы не попали на другую лестницу, и т. д. Печорин претерпел все эти мучения и наконец, вскарабкавшись на 4-й этаж, постучал в дверь; вышла кухарка, он сделал обычный вопрос, ему отвечали: «здесь». Он взошел, снял шинель в кухне и хотел идти далее, как вдруг кухарка остановила его, сказав, что господин Красинский не воротился еще из департамента. «Я подожду», — отвечал он, и взошел. Кухарка следовала за ним и разглядывала его с видом удивления. Белый султан и красивый кавалерийский мундир были, по-видимому, явление необыкновенное на четвертом этаже. При входе Печорина в гостиную, если можно так назвать четыреугольную комнату, украшенную единственным столом, покрытым клеенкою, перед которым стоял старый диван и три стула, низенькая и опрятная старушка встала с своего места и повторила вопрос кухарки.

— Я ищу господина Красинского, может быть, я ошибся...

— Это мой сын, — отвечала старушка, — он скоро будет.

— Если вы мне позволите подождать, — продолжал Печорин.

— Сделайте одолжение, — прервала его старушка и торопливо придвинула стул.

Печорин сел. Окинув взором комнату и всё в ней находящееся, ему стало как-то неловко; если б судьба неожиданно бросила его во дворец персидского шаха, он бы скорей нашелся, нежели теперь.

Старушке с первого взгляда можно было дать лет 60, хотя она в самом деле была моложе, но ранние печали сгорбили ее стан, иссушили кожу, которая сделалась похожа цветом на старый пергамент. Синеватые жилы рисовались по ее прозрачным рукам, лицо ее было сморщено, в одних ее маленьких глазах, казалось, сосредоточились все ее жизненные силы, в них светили необыкновенная доброжелательность и невозмутимое спокойствие. Печорин, не зная, как начать разговор, стал перелистывать книгу, лежавшую на столе; он думал вовсе не о книге, но странное заглавие привлекло его внимание: *«Легчайший способ быть всегда богатым и счастливым»* сочинение Н. П. Москва, в тип. И. Глазунова, цена *25 копеек.* Улыбка появилась

на лице Печорина, эта книжка, как пустой лотерейный билет, была резкое изображение мечтаний обманутых, надежд несбыточных, тщетных усилий представить себе в лучшем виде печальную существенность. Старушка заметила его улыбку и сказала:

— Я просила сына моего, прочитав объявление в газетах, чтоб он мне достал эту книжку, да в ней ничего нет.

— Я думаю, — возразил Печорин, — что никакая книга не может выучить быть счастливым. О, если б счастие было наука! дело другое!

— Разумеется, — возразила старуха, — утопающий за щепку хватается, мы не всегда были в таком положении, как теперь. Муж мой был польский дворянин, служил в русской службе, вследствие долгой тяжбы он потерял большую часть своего имения, а остатки разграблены были в последнюю войну, однако же я надеюсь, скоро всё поправится. Мой сын, — продолжала она с некоторой гордостию, — имеет теперь очень хорошее место и хорошее жалованье.

После минутного молчанья она спросила:

— Вы, конечно, к моему сыну по какому-нибудь делу? Может быть, вам скучно будет дожидаться, так не угодно ли сказать мне, я ему передам.

— Мне препоручил, — отвечал Печорин, — кн<язь> Лиговской попросить вашего сына, чтобы он сделал одолжение, заехал к нему, у кн<язя> есть тяжба, которая теперь должна рассматриваться в столе у г. Красинского. Я вас попрошу передать ему адрес князя. Вы меня очень одолжите, если уговорите вашего сына к нему заехать хоть завтра вечером, я там буду.

Написав адрес, Печорин раскланялся и подошел к двери. В эту минуту дверь отворилась, и он вдруг столкнулся с человеком высокого роста; они взглянули друг на друга, глаза их встретились, и каждый сделал шаг назад. Враждебные чувства изобразились на обоих лицах, удивление сковало их уста, наконец Печорин, чтобы выйти из этого странного положения, сказал почти шепотом:

— Милостивый государь, вспомните, что я не знал, что вы г. Красинский, иначе бы я не имел счастия встретиться с вами здесь. Ваша матушка объяснит вам причину моего посещения.

Они разошлись — не поклонившись. Печорин уехал. Эта случайная игра судьбы сильно его потревожила, потому что он в Красинском узнал того самого чиновника, которого несколько дней назад едва не задавил и с которым имел в театре историю.

Между тем Красинский, не менее пораженный этою встречей, сел противу своей матери на кресла, опустил голову на руку и глубоко задумался. Когда мать передала ему препоручения Печорина, стараясь объяснить, как выгодно было бы взяться за дело князя, и стала удивляться тому, что Печорин

не объяснился сам, тогда Красинский вдруг вскочил с своего места, светлая мысль озарила лицо его, и воскликнул, ударив рукою по столу: «Да, я пойду к этому князю!» Потом он стал ходить по комнате мерными шагами, делая иногда бессвязные восклицания. Старушка, по-видимому, привыкшая к таким странным выходкам, смотрела на него без удивления. Наконец он опять сел, вздохнул и посмотрел на мать с таким видом, чтоб только начать разговор; она его угадала.

— Ну что, Станислав, — сказала она, — скоро ль тебе выйдет награждение? у нас денег осталось мало.

— Не знаю, — отвечал он отрывисто.

— Ты верно не сумел угодить начальнику отделения, — продолжала она, — ну что за беда, что он твоими руками жар загребает; придет и твое время, а покаместь, если не будешь искать в людях, и Бог тебя не взыщет.

Горькое чувство изобразилось на прекрасном лице Станислава, он отвечал глухим голосом:

— Матушка, вы хотите, чтобы я пожертвовал для вас даже характером, пожалуй, после всех жертв, которые я принес вам, это будет капля воды в море.

Она подняла к нему глаза, полные слез, и молчание снова воцарилось. Станислав стал перелистывать книгу и вдруг сказал, не отрывая глаз от параграфа, где безымянный сочинитель доказывал, что дружба есть ключ истинного счастия:

— Знаете ли, матушка, кто этот офицер, который был сегодня у нас?

— Не знаю, а что?

— Мой смертельный враг, — отвечал он.

Лицо старушки побледнело сколько могло побледнеть, она всплеснула руками и воскликнула:

— Боже мой, чего же он от тебя хочет?

— Вероятно, он мне не желает зла, но зато я имею сильную причину его ненавидеть. Разве когда он сидел здесь против вас, блистая золотыми эполетами, поглаживая белый султан, разве вы не чувствовали, не догадались с первого взгляда, что я должен непременно его ненавидеть? О, поверьте, мы еще не раз с ним встретимся на дороге жизни и встретимся не так холодно, как ныне. Да, я пойду к этому князю, какое-то тайное предчувствие шепчет мне, чтобы я повиновался указаниям судьбы.

Напрасны были все старания испуганной матери узнать причину такой глубокой ненависти. Станислав не хотел рассказывать, как будто боялся, что причина ей покажется слишком ничтожна. Как все люди страстные и упорные, увлекаемые одной постоянною мыслию, он больше всех препят-

ствий старался избегать убеждений рассудка, могущих отвлечь его от предположенной цели.

На другой день он оделся как можно лучше. Целое утро он прилежно, может быть, в первый раз от роду, рассматривал с ног до головы департаментских франтиков, чтоб выучиться повязывать галстух и запомнить, сколько пуговиц у жилета надобно застегнуть; и пожертвовал четвертак Фаге, который бессовестно взбил его мягкие и волнистые кудри в жесткий и неуклюжий хохол; а когда пробило 7 часов вечера, Красинский отправился на Морскую, полный смутных надежд и опасений!..

ГЛАВА VIII

У князя Лиговского были гости, кое-кто из родных, когда Красинский взошел в лакейскую.

— Князь принимает? — спросил он, нерешительно взглядывая то на того, то на другого лакея.

— Мы не здешние, — отвечал один из них, даже не приподнявшись с барской шубы.

— Нельзя ли, любезный, вызвать швейцара?..

— Он, верно, сейчас сам выйдет, — был ответ, — а нам нельзя!

Наконец явился швейцар.

— Князь Лиговской дома?

— Пожалуйте-с.

— Доложи, что пришел Красинский, — он меня знает! Швейцар отправился в гостиную и, подойдя к к<нязю> Степан Степанычу, сказал ему тихо:

— Господин Красинский приехал-с; он говорит, что вы изволите его знать.

— Какой Красинский? Что ты врешь? — воскликнул князь, важно прищурясь.

Печорин, прислушавшись в чем дело, поспешил на помощь сконфуженному швейцару.

— Это тот самый чиновник, — сказал он, — у которого ваше дело. Я к нему нынче заезжал.

— А! очень обязан, — отвечал Степан Степ<анович>. Он пошел в кабинет и велел просить туда чиновника. Мы не будем слушать их скучных толков о запутанном деле, а останемся в гостиной; две старушки, какой-то камергер и молодой человек обыкновенной наружности играли в вист; княгиня Вера и другая молодая дама сидели на канапе возле камина, слушая

Печорина, который, придвинув свои кресла к камину, где сверкали остатки каменных угольев, рассказывал им одно из своих похождений во время Польской кампании. Когда Степан Степаныч ушел, он занял праздное место, чтоб находиться ближе к княгине.

— Итак, вам велели отправиться со взводом в эту деревню, — сказала молодая дама, которую Вера называла кузиною, продолжая прерванный разговор.

— И я, как разумеется, отправился, хотя ночь была темная и дождливая, — сказал Печорин, — мне велено было отобрать у пана оружие, если найдется, а его самого отправить в главную квартиру... Я только что был произведен в корнеты, и это была первая моя откомандировка. К рассвету мы увидали перед собою деревню с каменным господским домом, у околицы мои гусары поймали мужика и притащили ко мне. Показания его об имени пана и о числе жителей были согласны с моею инструкцией.

— А есть ли у вашего пана жена или дочери? — спросил я.

— Есть, пане капитане.

— А как их зовут, графиню, жену вашего Острожского?

— Графиня Рожа.

— Должно быть красавица, — подумал я наморщась.

— Ну а дочки ее такие же рожи, как их маменька?

— Нет, пане капитане, старшая называется Амалия и меньшая Эвелина.

— Это еще ничего не доказывает, — подумал я. Гр<афиня> рожа меня мучила, я продолжал расспросы:

— А что, сама гр<афиня> Рожа старуха?

— Ни, пане, ей всего 33 года.

— Какое несчастье!

Мы въехали в деревню и скоро остановились у ворот замка.

Я велел людям слезть и в сопровождении унтер-офицера вошел в дом. Всё было пусто. Пройдя несколько комнат, я был встречен самим графом, дрожащим и бледным, как полотно. Я объявил ему мое поручение, разумеется он уверял, что у него нет оружий, отдал мне ключи от всех своих кладовых и, между прочим, предложил завтракать. После второй рюмки хереса граф стал просить позволения представить мне свою супругу и дочерей.

— Помилуйте, — отвечал я, — что за церемония. — Я, признаться, боялся, чтобы эта Рожа не испортила моего аппетита, но граф настаивал и, по-видимому, сильно надеялся на могущественное влияние своей Рожи. Я еще отнекивался, как вдруг дверь отворилась и взошла женщина, высокая, стройная, в черном платье. Вообразите себе польку и красавицу польку в ту минуту, как она хочет обворожить русского офицера. Это была самая графиня Розалия или Роза, по-простонародному Рожа.

Эта случайная игра слов показалась очень забавна двум дамам. Они смеялись.

— Я предчувствую, вы влюбились в эту Рожу, — воскликнула наконец молодая дама, которую княгиня Вера называла кузиной.

— Это бы случилось, — отвечал Печорин, — если б я уже не любил другую.

— Ого! постоянство, — сказала молодая дама. — Знаете, что этой добродетелью не хвастаются?

— Во мне это не добродетель, а хроническая болезнь.

— Вы, однако же, вылечились?

— По крайней мере лечусь, — отвечал Печорин.

Княгиня на него быстро взглянула, на лице ее изобразилось что-то похожее на удивление и радость. Потом вдруг она сделалась печальна. Этот быстрый переход чувств не ускользнул от внимания Печорина, он переменил разговор, анекдот остался неконченным и скоро был забыт среди веселой и непринужденной беседы. Наконец подали чай, и взошел князь, а за ним Красинский, князь отрекомендовал его жене и просил садиться. Взоры маленького кружка обратились на него, и молчание воцарилось. Если б князь был петербургский житель, он бы задал ему завтрак в 500 р<ублей>; если имел в нем нужду, даже пригласил бы его к себе на бал или на шумный раут потолкаться между разного рода гостями, но ни за что в мире не ввел бы <в> свою гостиную запросто человека постороннего и никаким образом не принадлежащего к высшему кругу; но князь воспитывался в Москве, а Москва такая гостеприимная старушка. Княгиня из вежливости обратилась к Красинскому с некоторыми вопросами, он отвечал просто и коротко.

— Мы очень благодарны, — сказала она наконец, — г<осподину> Печорину за то, что он доставил нам случай с вами познакомиться.

При этих словах Печорин и Красинский невольно взглянули друг на друга и последний отвечал скоро:

— Я еще более вас должен быть благодарен г<осподину> Печорину за эту неоцененную услугу.

По губам Печорина пробежала улыбка, которая могла бы выразиться следующей фразой: — «Ого, наш чиновник пускается в комплименты»; — понял ли Красинский эту улыбку или же сам испугался своей смелости, потому что вероятно, это был его первый комплимент, сказанный женщине, так высоко поставленной над ним обществом, не знаю, — но он покраснел и продолжал неуверенным голосом:

— Поверьте, княгиня, что я никогда не забуду приятных минут, которые позволили вы мне провесть в вашем обществе: — прошу вас не сумневаться:

я исполню всё, что будет зависеть от меня... и к тому же ваше дело только запутано, — но совершенно правое...

— Скажите, — спросила его княгиня с тем участием, которое похоже на обыкновенную вежливость, когда не знают, что сказать незнакомому человеку, — скажите: вы, я думаю, ужасно замучены делами... Я воображаю эту скуку: с утра до вечера писать и прочитывать длинные и бессвязные бумаги... это нестерпимо: — поверите ли, что мой муж каждый день в продолжение года толкует и объясняет мне наше дело, а я до сих пор ничего еще не понимаю.

— Какой любезный и занимательный супруг, — подумал Печорин...

— Да и зачем вам, княгиня? — сказал Красинский, — ваш удел забавы, роскошь, а наш — труд и заботы; оно так и следует: если б не мы, кто бы стал трудиться.

Наконец и этот разговор истощился: Красинский встал, раскланялся... Когда он ушел, то кузина княгини заметила, что он вовсе не так неловок, как бы можно ожидать от чиновника, и что он говорит вовсе не дурно. Княгиня прибавила: «et savez-vous, ma chère, qu'il est très bien!..» — Печорин при этих словах стал превозносить до невозможности его ловкость и красоту: он уверял, что никогда не видывал таких темноголубых глаз ни у одного чиновника на свете, и уверял, что Красинский, судя по его глубоким замечаниям, непременно будет великим государственным человеком, если не останется вечно титюлярным советником... «Я непременно узнаю, — прибавил он очень серьезно, — есть ли у него университетский аттестат!..»

Ему удалось рассмешить двух дам и обратить разговор на другие предметы: несмотря на то, выражение княгини глубоко врезалось в его памяти: оно показалось ему упреком, хотя случайным, но тем не менее язвительным. — Он прежде сам восхищался благородной красотою лица Красинского, но когда женщина, увлекавшая все его думы и надежды, обратила особенное внимание на эту красоту... он понял, что она невольно сделала сравнение для него убийственное, и ему почти показалось, что он вторично потерял ее навеки. И с этой минуты в свою очередь возненавидел Красинского. Грустно, а надо признаться, что самая чистейшая любовь наполовину перемешана с самолюбием.

Увлекаясь сам наружной красотою и обладая умом резким и проницательным, Печорин умел смотреть на себя с беспристрастием и, как обыкновенно люди с пылким воображением, переувеличивал свои недостатки. Убедясь по собственному опыту, как трудно влюбиться в одни душевные качества, он сделался недоверчив и приучился объяснять внимание или ласки женщин — расчетом или случайностью. То, что казалось бы другому доказательством нежнейшей любви, — пренебрегал он часто как приметы

обманчивые, слова, сказанные без намерения, взгляды, улыбки, брошенные на ветер, первому, кто захочет их поймать; другой бы упал духом и уступил соперникам поле сражения... но трудность борьбы увлекает упорный характер, и Печорин дал себе честное слово остаться победителем: следуя системе своей и вооружась несносным наружным хладнокровием и терпением, он мог бы разрушить лукавые увертки самой искусной кокетки... Он знал аксиому, что поздно или рано слабые характеры покоряются сильным и непреклонным, следуя какому-то закону природы, доселе необъясненному; можно было наверное сказать, что он достигнет своей цели... если страсть, всемогущая страсть не разрушит, как буря, одним порывом высокие подмостки его рассудка и старание... Но это *если,* это ужасное *если,* почти похоже на «если» Архимеда, который обещался приподнять земной шар, если ему дадут точку упора.

Толпа разных мыслей осаждала ум Печорина, так что под конец вечера он сделался рассеян и молчалив; князь Степан Степаныч рассказывал длинную историю, почерпнутую из семейных преданий; дамы украдкою зевали.

— Отчего вы сделались так печальны? — спросила наконец у Печорина кузина Веры Дмитревны.

— Причину даже совестно объявить, — отвечал Печорин...

— Однако ж!..

— Зависть!..

— Кому ж вы завидуете?.. например...

— Не мне ли? — сказал князь, тонко улыбаясь и не воображая важности этого вопроса: Печорину тотчас пришло в мысль, что княгиня рассказала мужу прежнюю их любовь, покаялась в ней как в детском заблуждении; если так, то всё было кончено между ними, и Печорин неприметно мог сделаться предметом насмешки для супругов, или жертвою коварного заговора; я удивляюсь, как это подозрение не потревожило его прежде, но уверяю вас, что оно пришло ему в голову именно теперь; он обещал себе постараться узнать, исповедовалась ли Вера своему мужу, и между тем отвечал:

— Нет, князь; не вам, хотя бы я мог, и всякий должен вам завидовать... но признаюсь, я бы желал иметь счастливый дар этого Красинского — нравиться всем с первого взгляда...

— Поверьте, — отвечала княгиня, — кто скоро нравится, об том скоро и забывают.

— Боже мой! что на свете не забывается?.. и если считать ни во что минутный успех — то где же счастие? Добиваешься прочной любви, прочной славы, прочного богатства... глядишь... смерть, болезнь, пожар, потоп, война, мир, соперник, перемена общего мнения — и все труды пропали!.. а забвенье? — забвенье равно неумолимо к минутам и столетиям. — Если б меня спросили,

чего я хочу: минуту полного блаженства или годы двусмысленного счастия… я бы скорей решился сосредоточить все свои чувства и страсти на одно божественное мгновенье и потом страдать сколько угодно, чем мало-помалу растягивать их и размещать по нумерам в промежутках скуки или печали.

— Я во всем с вами согласна, кроме того, что всё на свете забывается — есть вещи, которых забыть невозможно… особенно горести, — сказала княгиня.

Ее милое лицо приняло какой-то полухолодный, полугрустный вид, и что-то похожее на слезу пробежало, блистая, вдоль по длинным ее ресницам, как капля дождя, забытая бурей на листке березы, трепеща перекатывается по его краям, покуда новый порыв ветра не умчит ее — Бог знает куда.

Печорин с удивлением взглянул на нее… но увы! он не мог ничем объяснить этот странный припадок грусти! Он так давно разлучен был с нею: и с тех пор он не знал ни одной подробности ее жизни… даже очень вероятно, что чувства Веры в эту минуту относились вовсе не к нему? — мало ли могло быть у нее обожателей после его отъезда в армию; может быть, и ей изменил который-нибудь из них, — как знать!..

Кто объяснит, кто растолкует
Очей двусмысленный язык…

Когда он встал, чтоб уезжать, княгиня его спросила, будет ли он послезавтра на бале у баронессы Р., ее родственницы… «Мне досадно, что баронесса так убедительно нас звала, — прибавила она; — я почти вовсе не знаю здешнего круга и уверена, что мне там будет скушно…»

Печорин отвечал, что он еще не зван…

— Теперь я понимаю, — подумал он, садясь в сани, — ей хочется иметь на этом бале знакомого кавалера… Дай Бог, чтоб меня не звали: там, верно, будет Лиза Негурова… Ах! Боже мой, да, кажется, они с Верой давнишние знакомые… О! но если она осмелится…

Тут сани его остановились, и мысли также. — Взойдя к себе в кабинет, он нашел на столе пригласительный билет от баронессы.

ГЛАВА IX

Баронесса Р ** была русская, но замужем за курляндским бароном, который каким-то образом сделался ужасно богат; она жила на Мильонной в самом центре высшего круга. С 11 часа вечера кареты, одна за одной, стали подъез-

жать к ярко освещенному ее подъезду: по обеим сторонам крыльца теснились на тротуаре прохожие, остановленные любопытством и опасностию быть раздавленными. В числе их был Красинский: прижавшись к стене, он с завистью смотрел на разных господ со звездами и крестами, которых длинные лакеи осторожно вытаскивали из кареты, на молодых людей, небрежно выскакивавших из саней на гранитные ступени, и множество мыслей теснилось в голове его. «Чем я хуже их? — думал он. — Эти лица, бледные, истощенные, искривленные мелкими страстями, ужели нравятся женщинам, которые имеют право и возможность выбирать? Деньги, деньги и одни деньги, на что им красота, ум и сердце? О, я буду богат непременно, во что бы то ни стало, и тогда заставлю это общество отдать мне должную справедливость».

Бедный, невинный чиновник! он не знал, что для этого общества, кроме кучи золота, нужно имя, украшенное историческими воспоминаниями (какие бы они ни были), имя, столько уже знакомое лакейским, чтоб швейцар его не исковеркал и чтобы в случае, когда его произнесут, какая-нибудь важная дама, законодательница и судия гостиных, спросила бы — который это? не родня ли он князю В, или графу К? Итак, Красинский стоял у подъезда, закутанный в шинель. Вот подъехала карета; из нее вышла дама: при блеске фонарей брильянты ярко сверкали между ее локонами, за нею вылез из кареты мужчина в медвежей шубе. Это были князь Лиговской с княгиней; Красинский поспешно высунулся из толпы зевак, снял шляпу и почтительно поклонился, как знакомым, но увы! его не заметили или не узнали, что еще вероятнее. И в самом деле, женщине, видевшей его один только раз и готовой предстать на грозный суд лучшего общества, и пожилому мужу, следующему на бал за хорошенькою женою, право, не до толпы любопытных зевак, мерзнущих у подъезда, но Красинский приписал гордости и умышленному небрежению вещь чрезвычайно простую и случайную, и с этой минуты тайная неприязнь к княгине зародилась в его подозрительном сердце. «Хорошо, — подумал он, удаляясь, — будет и на нашей улице праздник», — жалкая поговорка мелочной ненависти.

Между тем в зале уже гремела музыка, и бал начинал оживляться; тут было всё, что есть лучшего в Петербурге: два посланника, с их заморскою свитою, составленною из людей, говорящих очень хорошо по-французски (что, впрочем, вовсе неудивительно) и поэтому возбуждавших глубокое участие в наших красавицах, несколько генералов и государственных людей, — один английский лорд, путешествующий из экономии и поэтому не почитающий за нужное ни говорить, ни смотреть, зато его супруга, благородная леди, принадлежавшая к классу blue stockings и некогда грозная гонительница Байрона, говорила за четверых и смотрела в четыре глаза, если

считать стеклы двойного лорнета, в которых было не менее выразительности, чем в ее собственных глазах; тут было пять или шесть наших доморощенных дипломатов, путешествовавших на свой счет не далее Ревеля и утверждавших резко, что Россия государство совершенно европейское и что они знают ее вдоль и поперек, потому что бывали несколько раз в Царском Селе и даже в Парголове. Они гордо посматривали из-за накрахмаленных галстухов на военную молодежь, по-видимому, так беспечно и необдуманно преданную удовольствию: они были уверены, что эти люди, затянутые в вышитый золотом мундир, неспособны ни к чему, кроме машинальных занятий службы. Тут могли бы вы также встретить несколько молодых и розовых юношей, военных с тупеями, штатских, причесанных à la russe, скромных подобно наперсникам классической трагедии, недавно представленных высшему обществу каким-нибудь знатным родственником: не успев познакомиться с большею частию дам и страшась, приглашая незнакомую на кадриль или мазурку, встретить один из тех ледяных ужасных взглядов, от которых переворачивается сердце, как у больного при виде черной микстуры, — они робкою толпою зрителей окружали блестящие кадрили и ели мороженое — ужасно ели мороженое. — Исключительно танцующие кавалеры могли разделиться на два разряда; одни добросовестно не жалели ни ног, ни языка, танцевали без устали, садились на край стула, обратившись лицом к своей даме, улыбались и кидали значительные взгляды при каждом слове, — короче, исполняли свою обязанность как нельзя лучше — другие, люди средних лет, чиновные, заслуженные ветераны общества, с важною осанкой и гордым выражением лица, скользили небрежно по паркету, как бы из милости или снисхождения к хозяйке; и говорили только с дамою своего vis-â-vis, когда встречались с нею, делая фигуру.

Но зато дамы… о! дамы были истинным украшением этого бала, как и всех возможных балов!.. сколько блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент… чудеса природы и чудеса модной лавки… волшебные маленькие ножки и чудно узкие башмаки, беломраморные плечи и лучшие французские белилы, звучные фразы, заимствованные из модного романа, бриллианты, взятые на прокат из лавки… Я не знаю, но в моих понятиях женщина на бале составляет с своим нарядом нечто целое, нераздельное, особенное; женщина на бале совсем не то, что женщина в своем кабинете, судить о душе и уме женщины, протанцевав с нею мазурку, всё равно, что судить о мнении и чувствах журналиста, прочитав одну его статью.

У двери, ведущей из залы в гостиную, сидели две зрелые девы, вооруженные лорнетами и разговаривающие с двумя или тремя молодыми людьми — не танцующими. Одна из них была Лизавета Николавна. Пунцовое платье придавало ее бледным чертам немного более жизни, и вообще она была

к лицу одета. В надежде на это преимущество она довольно холодно отвечала на вежливый поклон Печорина, когда тот подошел к ней. (Надобно заметить, между прочим, что дама дурно одетая обыкновенно гораздо любезнее и снисходительнее — это, впрочем, вовсе не значит, что они должны дурно одеваться.) Печорин стал возле Лиз<аветы> Николаевны, ожидая, чтобы она начала разговор, и рассеянно смотрел на танцующих. Так прошло несколько минут, и наконец она принуждена была сорвать с своих уст печать молчания.

— Отчего вы не танцуете? — спросила она его.

— Я всегда и везде следую вашему примеру.

— Разве с нынешнего дня?

— Что ж, лучше поздно, чем никогда. Не правда ли?

— Иногда бывает слишком поздно.

— Боже мой! какое трагическое выражение!

Лизавета Николавна чуть-чуть не оскорбилась, но старалась улыбнуться и отвечала:

— Я с некоторых пор перестала удивляться вашему поведению. Для других бы оно показалось очень дерзко, для меня очень натурально. О, я вас теперь очень хорошо знаю.

— А нельзя ль узнать, кто так искусно объяснил вам мой характер?

— О, это тайна, — сказала она, взглянув на него пристально и прижав к губам свой веер.

Он наклонился и с притворной нежностью шепнул ей на ухо:

— Одну тайну вашего сердца вы мне давно уже поверили, — ужели другая важнее первой?

Она покраснела, при всей своей неспособности краснеть, но не от стыда, не от воспоминания, не от досады; — невольное удовольствие, тайная надежда завлечь снова непостоянного поклонника, выйти замуж или хотя отомстить со временем по-своему, по-женски, промелькнули в ее душе. Женщины никогда не отказываются от таких надежд, когда представляется какая-нибудь возможность достигнуть цели, и от таких удовольствий, когда цель достигнута.

Приняв тотчас сериозный, печальный вид, она отвечала с расстановкою:

— Вы мне напоминаете вещи, об которых я хочу забыть.

— Но еще не забыли? — сказал он с нежностию.

— О, не продолжайте, я ничему не поверю более, вы мне дали такой урок...

— Я?

В этом *я* было больше удивления, чем в пяти восклицательных знаках, поставленных рядом. Потом Печорин задумался.

— Да, — сказал он, — теперь я начинаю понимать; кто-нибудь меня оклеветал перед вами, у меня столько врагов и особенно друзей, теперь понимаю, отчего намедни, когда я заезжал к вам, это было поутру, и я знаю, что у вас были гости, но меня не приняли; о, конечно, я сам не буду искать вторично такого оскорбления.

— Но вы не знаете, что этому причиною, — сказала поспешно Лизавета Николавна, — я получила письмо от неизвестного, в котором...

— В котором меня хвалят и толкуют мои поступки в самую лучшую сторону, — отвечал, горько улыбаясь, Печорин, — о, я догадываюсь, кто мне оказал эту услугу, однако ж прошу вас, верьте, верьте всему, что там написано, как вы верили до сей минуты.

Он засмеялся и хотел отойти прочь.

— Но если я не верю? — воскликнула испугавшись Лизавета Николавна.

— Напрасно, всегда выгоднее верить дурному, чем хорошему... один против двадцати, что... — он не кончил фразы, глаза его устремились на другую дверь залы, где произошло небольшое движение, глаза Лизаветы Николавны боязливо обратились в ту же сторону.

Сквозь толпу приближалась к гостиной княгиня Лиговская и за нею князь Степан Степ<анович>.

Она была одета со вкусом, только строгие законодатели моды могли бы заметить с важностью, что на ней было слишком много бриллиантов. Она медленно подвигалась сквозь толпу, небрежно раздавшуюся перед нею. Ни одно приветствие не удерживало ее на пути, и сто любопытных глаз, озиравших с головы до ног незнакомую красавицу, вызвали краску на нежные щеки ее, — глаза покрылись какою-то электрической влагой, грудь неровно подымалась, и можно было догадаться по выражению лица, что настала минута для нее мучительна<я>. Она была похожа на неизвестного оратора, всходящего в первый раз по ступеням кафедры... от этого бала зависел успех ее в модном свете... некстати пришитый бант, не на месте приколотый цветок мог навсегда разрушить ее будущность... И в самом деле, может ли женщина надеяться на успех, может ли она нравиться нашим франтам, если с первого взгляда скажут: elle a l' air bourgeois — это выражение, так некстати вкравшееся в наше чисто дворянское общество, имеет, однако же, ужасную власть над умами — и отнимает все права у красоты и любезности:

Вкус, батюшка, отменная манера.

Когда княгиня поровнялась с Печориным, то едва отвечала легким наклонением головы и мимолетной улыбкой на его поклон, — он хотел что-то

сказать, но она отвернулась; глаза ее беспокойно бегали кругом, стараясь открыть хоть еще одно знакомое лицо... и упали на Лизавету Николавну... Узнав друг друга, соперницы очень ласково обменялись приветствиями... Потом кто-то еще высунулся из толпы мужчин и с радостным видом стал спрашивать Веру, когда она из Москвы и проч... — Она постепенно делалась приветливей, так что можно почти держать пари, что если б она встретила здесь 99 знакомых, то девяносто девятый остался бы в счастливом убеждении, что одним взглядом победил ее сердце.

Только что княгиня и князь прошли в гостиную, Лизавета Николавна тотчас обратилась к Печорину, чтоб возобновить прерванный разговор, — но он был так бледен, так неподвижен, что ей стало страшно.

— Появление этой дамы, — сказала она наконец ему, — сделало на вас очень странное впечатление!.. вы давно ее знаете?

— С детства! — отвечал Печорин.

— Я также ее когда-то знала... за кем она замужем?

Печорин сказал.

— Как! — неужели этот господин, который за нею шел так смиренно, ее муж?.. если б я их встретила на улице, то приняла бы его за лакея. — Я думаю, она делает из него всё, что хочет.

— По крайней мере всё, что можно из него сделать!..

— Однако она счастлива...

— Разве вы не заметили, сколько на ней бриллиантов?

— Богатство не есть счастие!..

— Всё-таки оно ближе к нему, нежели бедность: — нет ничего безвкуснее, как быть довольну своей судьбою в скромной хижине... за чашкою грешневой каши.

— Кто ж вам говорит о бедности? везде надо уметь выбирать середину...

— Я вам желаю мужа, который бы так думал.

Он отошел. Кадрили кончались, — музыка замолкла: в широкой зале раздавался смешанный говор тонких и толстых голосов, шарканье сапогов и башмачков; — составились группы. — Дамы пошли в другие комнаты подышать свежим воздухом, пересказать друг другу свои замечания, немногие кавалеры за ними последовали, не замечая, что они лишние и что от них стараются отделаться; — княгиня пришла в залу и села возле Негуровой. Они возобновили старое знакомство, и между ними завязался незначительный разговор.

491

Я хочу рассказать вам историю женщины, которую вы все видали и которую никто из вас не знал. Вы ее встречали ежедневно на бале, в театре, на гулянье, у нее в кабинете. Теперь она уже сошла со сцены большого света; ей 30 лет, и она схоронила себя в деревне; но когда ей было только двадцать, весь Петербург шумно занимался ею в продолжение целой зимы. Об этом совершенно забыли, и слава Богу! потому что иначе я бы не мог печатать своей повести. В обществе про нее было в то время много разногласных толков. Старушки говорили об ней, что она прехитрая и прелукавая, приятельницы — что она преглупенькая, соперницы — что она предобрая, молодые женщины — что она кокетка, а раздушенные старики значительно улыбались при ее имени и ничего не говорили. Еще прибавлю странность. Иные жалели, что такой правильной и свежей красоте недостает физиономии, тогда как другие утверждали, что хотя она вовсе не хороша, но неизъяснимая прелесть выраженья в ее лице заменяет все прочие недостатки. Притом муж ее, пятидесятилетний мужчина, имел графский титул и сомнительно-огромное состоянье. Всего этого, кажется, довольно, чтобы доставить молодой женщине ту соблазнительную, мимолетную славу, за которой они все так жадно гоняются и за которую некоторые из них так дорого платят.

Подробности моего рассказа покажутся не очень нравственными, но ручаюсь вам, что в нем будет заключаться глубокий нравственный смысл, который не ускользнет ни от кого, разве от 18-тилетних барышень — да им моей книги не дадут; а если она им и попадется случайно, то умоляю их после этих строк закрыть ее и не класть на ночь под подушку, потому что от этого находят дурные сны. Молодые же дамы, прочитав эти правдивые страницы, верно, отдадут справедливость моим описаниям и замечаниям, вспомнив нечто подобное в своей жизни; но они, конечно, этого никому не скажут, тогда как многие молодые франты станут уверять, что такие приключения были с ними на днях, тогда как с большею частию из них ничего такого случиться даже не может. Все почти жалуются у нас на однообразие светской жизни, а забывают, что надо бегать за приключениями, чтоб они встретились; а для того, чтобы за ними гоняться, надо быть взволновану сильной страстью или иметь один из тех беспокойно-любопытных характеров, которые готовы сто раз пожертвовать жизнию, только бы достать ключ самой незамысловатой, по-видимому, загадки; но на дне одной есть уж, верно, другая, потому что всё для нас в мире тайна, и тот, кто думает отгадать чужое сердце или знать все подробности жизни своего лучшего друга, горько ошибается. Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало

чувство, промелькнуло событие, которых никто никому не откроет, и они-то самые важные и есть, они-то обыкновенно дают тайное направление чувствам и поступкам.

В нашем равнодушном веке любопытных и страстных людей немного; но около 10-ти лет тому назад случился один такой чудак в Петербурге, и судьба, как нарочно, поставила его перед непонятной женщиной, которой историю я хочу вам рассказать.

Александру Сергеевичу Арбенину было тридцать лет — возраст силы и зрелости для мужчины, если только молодость его прошла не слишком бурливо и не слишком спокойно. Известно, что в природе противоположные причины часто производят одинакие действия: лошадь равно падает на ноги от застоя и от излишней езды.

Вот какова была молодость Арбенина!

Начнем сначала.

Он родился в Москве. Скоро после появления его на этот свет его мать разъехалась с его отцом по неизвестным причинам. Сообразив все городские толки, можно было сделать только одно верное заключение, а именно что Сергей Васильевич разъехался с своей супругой.

Саша остался на руках отца. Когда ему минуло год, его посадили с кормилицей и няней в карету и отвезли в симбирскую деревню. Сергей Васильевич вскоре сам туда приехал и поселился на житье. Деревня эта находилась на берегу Волги. От барского дома по скату горы до самой реки расстилался фруктовый сад. С балкона видны были дымящиеся села луговой стороны, синеющие степи и желтые нивы. Весной, во время разлива, река превращалась в море, усеянное лесистыми островами; по ней мелькали белые паруса барок, и вечером раздавались песни бурлаков. Барский дом был похож на все барские дома: деревянный, с мезонином, выкрашенный желтой краской, а двор обстроен был одноэтажными, длинными флигелями, сараями, конюшнями и обведен валом, на котором качались и сохли жидкие ветлы; среди двора красовались качели; по воскресеньям дворня толпилась вокруг них, и порой две горничные садились на полусгнившую доску, висящую меж двух сомнительных веревок, и двое из самых любезных лакеев, взявшись каждый за конец толстого каната, взбрасывали скромную чету под облака; мальчишки били в ладони, когда пугливые девы начинали визжать, — и всем было очень весело. Надо заметить, что качели среди барского двора — признак отечески-доброго правления, а между тем вот как хорошо судят о нас иностранцы: в путевых записках одного француза я недавно читал, что у нас против господского дома обыкновенно торчит виселица. Француз замечал остроумно, что это, должно быть, злоупотребление, ибо смертная казнь в России уничтожена. Бедные качели!..

Мужики Арбенина большею частью занимались рыбной ловлей. Во время бури жены и дочери рыбаков выбегали с плачем на берег; в жаркие летние дни толпы крестьянских девок купались в студеных струях Волги; их русые косы мелькали над пенистой влагой; их громкий смех раздавался далеко. Зимой горничные девушки приходили шить и вязать в детскую, во-первых, потому что няне Саши было поручено женское хозяйство, а во-вторых, чтоб потешать маленького барченка. Саше было с ними очень весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами дикой храбрости и картинами мрачными и понятиями противуобщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет, уже он заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уж волновало ему душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. Ему хотелось, чтоб кто-нибудь его приласкал, поцеловал, приголубил, но у старой няньки руки были такие жесткие! Отец им вовсе не занимался, хозяйничал и ездил на охоту. Саша был преизбалованный, пресвоевольный ребенок. Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презреньем улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие <цветы>, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу. Бог знает, какое направление принял бы его характер, если б не пришла на помощь корь, болезнь, опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении: он не мог ходить, не мог приподнять ложки. Целые три года оставался он в самом жалком положении; и если б он не получил от природы железного телосложения, то верно бы отправился на тот свет. Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Не даром учат детей, что с огнем играть не должно. Но увы! никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а между тем он обхватил всё существо бедного ребенка. В продолжение мучительных бессониц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страданья тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником среди синих и студеных волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных <наездах>, при звуке песен, под свистом волжской бури. Вероятно, что раннее развитие умственных способностей немало помешало его выздоровлению.

492. АШИК-КЕРИБ
Турецкая сказка

Давно тому назад, в городе Тифлизе, жил один богатый турок; много Аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери: хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб; пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца — и дара песен; играя на саазе (балалайка турец<кая>) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых; — на одной свадьбе он увидал Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить ее руку — и он стал грустен, как зимнее небо.

Вот раз он лежал в саду под виноградником и наконец заснул; в это время шла мимо Магуль-Мегери с своими подругами; и одна из них, увидав спящего Ашика (балалаечник), отстала и подошла к нему: «Что ты спишь под виноградником, — запела она, — вставай, безумный, твоя газель идет мимо»; он проснулся — девушка порхнула прочь, как птичка; Магуль-Мегери слышала ее песню и стала ее бранить: «Если б ты знала, — отвечала та, — кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб»; — «Веди меня к нему», — сказала Магуль-Мегери; — и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать; «Как мне не грустить, — отвечал Ашик-Кериб, — я тебя люблю, и ты никогда не будешь моею». — «Проси мою руку у отца моего, — говорила она, — и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет». — «Хорошо, — отвечал он, — положим, Аян-Ага ничего не пожалеет для своей доч<ер>и; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан; — нет, милая Магуль-Мегери; я положил зарок на свою душу; обещаюсь 7 лет странствовать по свету и нажить себе богатство, либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею». — Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршуд-бека, который давно уж за нее сватается.

Пришел Ашик-Кериб к своей матери; взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох странничий и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник, — он смотрит — это Куршуд-бек. «Добрый путь, — кричал ему бек, — куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ»; не рад был Ашик своему товарищу — но нечего делать; долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду; — «Плыви вперед, — сказал Куршуд-бек, — я за тобою

последую». Ашик сбросил верхнее платье и поплыл; переправившись, глядь назад — о горе! о всемогущий Аллах! Куршуд-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлиз, только пыль вилась за ним змеею по гладкому полю. Прискакав в Тифлиз, несет бек платье Ашик-Кериба к его старой матери: «Твой сын утонул в глубокой реке, — говорит он, — вот его одежда»; в невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами; потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей, Магуль-Мегери. «Мой сын утонул, — сказала она ей, — Куршуд-бек привез его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала: «Не верь, это всё выдумки Куршуд-бека; прежде истечения 7 лет никто не будет моим мужем»; она взяла со стены свою сааз и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.

Между тем странник пришел бос и наг в одну деревню; добрые люди одели его и накормили; он за то пел им чудные песни; таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город; и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он наконец в Халаф; по обыкновению взошел в кофейный дом, спросил сааз и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песельников: многих к нему приводили — ни один ему не понравился; его чауши измучились, бегая по городу; вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос; они туда: «Иди с нами к великому паше, — закричали они, — или ты отвечаешь нам головою». «Я человек вольный, странник из города Тифлиза, — говорит Ашик-Кериб; — хочу пойду, хочу нет; пою, когда придется, и ваш паша мне не начальник»; однако несмотря на то его схватили и привели к паше. «Пой», — сказал паша, и он запел. И в этой песни он славил свою дорогую Магуль-Мегери; и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нем богатые одежды; счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат; забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, толь<ко> срок истекал, последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду.

Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться: в это время отправлялся один купец с керваном из Тифлиза с сорока верблюдами и 80-ю невольниками: призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо: «Возьми ты это блюдо, — говорит она, — и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом». Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не признавался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф: объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай: и видит золо-

тое блюдо в лавке тифлизского купца. «Это мое», — сказал он, схватив его рукою. «Точно, твое, — сказал купец: — я узнал тебя, Ашик-Кериб: ступай же скорее в Тифлиз, твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выдет за другого»; — в отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только 3 дни до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собою суму с золотыми монетами — и поскакал, не жалея коня; наконец измученный бегун упал бездыханный на Арзинган горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать: от Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды, а оставалось только два дни. «Аллах всемогущий, — воскликнул он, — если ты уж мне не помогаешь, то мне нечего на земле делать»; и хочет он броситься с высокого утеса; вдруг видит внизу человека на белом коне; и слышит громкий голос: «Оглан, что ты хочешь делать?» «Хочу умереть», — отвечал Ашик. «Слезай же сюда, если так, я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утеса. «Ступай за мною», — сказал грозно всадник; «Как я могу за тобою следовать, — отвечал Ашик, — твой конь летит как ветер, а я отягощен сумою»; — «Правда; повесь же суму свою на седло мое и следуй»; — отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать: «Что ж ты отстаешь?», — спросил всадник; «Как же я могу следовать за тобою, твой конь быстрее мысли, а я уж измучен». «Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно ехать». — «Хоть бы в Арзерум поспеть нонче», — отвечал Ашик. — «Закрой же глаза»; он закрыл. «Теперь открой»; — смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват, Ага, — сказал Ашик, — я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс»; — «То-то же, — отвечал всадник, — я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду; закрой же опять глаза, — теперь открой»; — Ашик себе не верит то, что это Карс: он упал на колени и сказал: «Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб: но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня: мне по-настоящему надо в Тифлиз». — «Экой ты неверный, — сказал сердито всадник, — но нечего делать: прощаю тебе: закрой же глаза. Теперь открой», — прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза. Принеся искренюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику: «Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще больше; если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлиз, мне никто не поверит; дай мне какое-нибудь доказательство». — «Наклонись, — сказал тот улыбнувшись, — и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху: и тогда, если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении, помажь ей глаза — и она увидит». Ашик взял кусок земли из-под ко-

пыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли; тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз (св. Георгий).

Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой: стучит он в двери дрожащею рукою, говоря: «Ана, ана (мать), отвори: я Божий гость: я холоден и голоден; прошу ради странствующего твоего сына, впусти меня». Слабый голос старухи отвечал ему: «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных: есть теперь в городе свадьбы — ступай туда; там можешь провести ночь в удовольствии». — «Ана, — отвечал он, — я здесь никого знакомых не имею и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего твоего сына впусти меня». Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери». — «Негодная, — отвечала старуха: — ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слез потеряла зрение». Но дочь, не внимая ее упрекам, встала, отперла двери и впустила Ашик-Кериба: сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться: и видит он на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный сааз.

И стал он спрашивать у матери: «Что висит у тебя на стене?» — «Любопытный ты гость, — отвечала она, — будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с Богом». — «Я уж сказал тебе, — возразил он, — что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене». — «Это сааз, сааз», — отвечала старуха сердито, не веря ему. — «А что значит сааз?» — «Сааз то значит: что на ней играют и поют песни». — И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему. — «Нельзя, — отвечала старуха: — это сааз моего несчастного сына, вот уже семь лет он висит на стене, и ничья живая рука до него не дотрогивалась». Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему: тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву: «О! всемогущий Аллах! если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили; и он начал петь: «Я бедный Кериб (нищий) — и слова мои бедны; но великий Хадрилияз помог мне спуститься с крутого утеса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать, своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает его: — «Как тебя зовут?» — «*Рашид*» (храбрый), — отвечал он. — «Раз говори, другой раз слушай, Рашид, — сказала она: — своими речами ты изрезал сердце мое в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уж семь лет я ослепла от слез: скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придет?» И дважды со

слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя ее сыном, но она не верила, и спустя несколько времени просит он: «Позволь мне, матушка, взять сааз и идти, я слышал, здесь близко есть свадьба: сестра меня проводит; я буду петь и играть, и всё, что получу, принесу сюда и разделю с вами». — «Не позволю, — отвечала старуха; — с тех пор, как нет моего сына, его сааз не выходил из дому». — Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны, — «а если хоть одна струна порвется, — продолжал Ашик, — то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его; проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра остал<ась> у дверей слушать, что будет.

В этом доме жила Магуль-Мегери, и в эту ночь она должна была сделать<ся> женою Куршуд-бека. Куршуд-бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-за чапры, что пришел незнакомец, который говорил: «Селям алейкюм: вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и зато я спою вам песню». — «Почему же нет? — сказал Куршуд-бек. — Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба: — спой же что-нибудь, Ашик (певец), и я отпущу тебя с полной горстью золота».

Тогда Куршуд-бек спросил его: «А как тебя зовут, путник?» — «Шинды-Гёрурсез (скоро узнаете)». — «Что это за имя, — воскликнул тот со смехом. — Я в первый раз такое слышу!» — «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь Бог ей дал: им отвечали — шинди гёрузез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился — мне дали это имя». — После этого он взял сааз и начал петь.

— В городе Халафе я пил мисирское вино, но Бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день.

Брат Куршуд-бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув: «Ты лжешь; как можно из Халафа приехать сюда в <день>?»

— За что ж ты меня хочешь убить, — сказал Ашик: — певцов обыкновенно со всех четырех сторон собирают в одно место; и я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте.

— Пускай продолжает, — сказал жених, и Ашик-Кериб запел снова:

— Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай

Бог, чтоб я стал жертвою белого коня, он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелья, из ущелья на гору: Маулям (Создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери.

Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую: — «Так-то ты сдержала свою клятву, — сказали ее подруги; — стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршуд-бека». — «Вы не узнали, а я узнала милый мне голос», — отвечала Магуль-Мегери; и, взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула; бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек остановил его, примолвив: «Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».

Придя в чувство, Магуль-Мегери покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чапру.

— Теперь точно видно, что ты Ашик-Кериб, — сказал жених; — но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство. — «В доказательство истины, — отвечал Ашик, — сабля моя перерубит камень, если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска; но лучше всего приведите мне слепую, которая бы 7 лет уж не видала свету Божьего, и я возвращу ей зрение». — Сестра Ашик-Кериба, стоявшая у двери и услышав такую речь, побежала к матери. «Матушка! — закричала она, — это точно брат, и точно твой сын Ашик-Кериб»; и, взяв ее под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развел его водою и намазал матери глаза, примолвя: «Знайте все люди, как могущ и велик Хадрилиаз», — и мать его прозрела. После этого никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршуд-бек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери.

Тогда в радости Ашик-Кериб сказал ему: «Послушай, Куршуд-бек, я тебя утешу: сестра моя не хуже твоей прежней невесты, я богат: у ней будет не менее серебра и золота; итак, возьми ее за себя — и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль-Мегери».

КОНЕЦ

493. ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее на находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое, и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что всё в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте однако после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж Бог знает!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I
Бэла

Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастию для меня, остался цел.

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтобы успеть до ночи взобраться на Койшаурскую Гору, и во всё горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряной нитью и сверкает, как змея своею чешуею.

Подъехав к подошве Койшаурской Горы, мы остановились возле духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, — а эта гора имеет около двух верст длины.

Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком.

За моею тележкою четверка быков тащила другую, как ни в чем не бывала, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сертук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился; он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.

— Мы с вами попутчики, кажется?

Он, молча, опять поклонился.

— Вы верно едете в Ставрополь?

— Так-с точно... с казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою пустую шесть скотов едва подвигают с помощию этих осетин?

Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня:

— Вы верно недавно на Кавказе?

— С год, — отвечал я.

Он улыбнулся вторично.

— А что ж?

— Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки всё ни с места... Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали мошенников! увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!

— А вы давно здесь служите?

— Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче*, — отвечал он приосанившись. — Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком, — прибавил он, — и при нем получил два чина за дела против горцев.

— А теперь вы?..

— Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..

Я сказал ему.

Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге; но, благодаря отливу снегов, мы легко могли различать дорогу, которая всё еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся вниз на долину, — но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно, и ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.

— Ведь этакой народ! — сказал он: — и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: «офицер, дай на водку!» Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие...

До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело

* Ермолове. (*Примеч. Лермонтова.*)

глубокое ущелье, за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, черные камни; кой-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русского колокольчика.

— Завтра будет славная погода! — сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас.

— Что ж это? — спросил я.

— Гуд-гора.

— Ну так что ж?

— Посмотрите, как курится.

И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.

Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой, холодный ветер, ущелье загудело, и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана...

— Нам придется здесь ночевать, — сказал он с досадою: — в такую метель через горы не переедешь. Что? были ль обвалы на Крестовой? — спросил он извозчика.

— Не было, господин, — отвечал осетин-извозчик: — а висит много, много.

За неимением комнаты для проезжающих на станции, нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.

Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал, куда деваться: тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастию, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться;

у огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо.

— Жалкие люди! — сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.

— Преглупый народ! — отвечал он. — Поверите ли, ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

— А вы долго были в Чечне?

— Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода, знаете?

— Слыхал.

— Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче, слава Богу, смирнее, а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уже где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди — либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..

— А, чай, много с вами было приключений? — сказал я, подстрекаемый любопытством.

— Как не бывать! бывало...

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку — желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел, я вытащил из чемодана два походные стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «да, бывало!». Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет *здравствуйте* (потому что фельдфебель говорит *здравия желаю*). А поболтать было бы о чем: кругом народ дикий, любопытный; каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.

— Не хотите ли подбавить рому? — сказал я своему собеседнику: — у меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.

— Нет-с, благодарствуйте, не пью.

— Что так?

— Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фрунт навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович

узнал: не дай Господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно: другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка — пропадший человек.

Услышав это, я почти потерял надежду.

— Да вот хоть черкесы, — продолжал он: — как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирнóва князя был в гостях.

— Как же это случилось?

— Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), — вот изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой — этому скоро пять лет. Раз, осенью, пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно, ну, да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и пожалуйста — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

— А как его звали? — спросил я Максима Максимыча.

— Его звали... Григорьем Александровичем *Печориным*. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте; все иззябнут, устанут, — а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха... Да-с, с большими был странностями, и должно быть богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещиц!..

— А долго он с вами жил? — спросил я опять.

— Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи.

— Необыкновенные? — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

— А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирнóй князь. Сынишка его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить: всякий день, бывало, то за тем, то за другим; и уж точно, избаловали мы его с

Григорьем Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога. А, бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, — говорил я ему: — яман будет твоя башка!»

Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках», — сказал мне Григорий Александрович. «Погодите!» — отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме.

У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в кунацкую. Я однако ж не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, — знаете, для непредвидимого случая.

— Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана.

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана, потом дарят молодых и всех их родственников; едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл, как по-ихнему... ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?.. вроде комплимента.

— А что ж такое она пропела, не помните ли?

— Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил меня отвечать ей; я хорошо знаю по-ихнему, и перевел его ответ.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: «Ну что, какова?»

— Прелесть! — отвечал он: — а как ее зовут? — «Ее зовут Бэлою», — отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича. Он, знаете, был не то, чтоб мирно́й, не то, чтоб не мирно́й. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался: что запросит, давай — хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес. Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, — и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы: а какая сила! скачи хоть на 50 верст; а уж выезжена — как собака бегает за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга, — подумал я: — уж он верно что-нибудь замышляет».

Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: *якши тхе, чек якши!*

Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют? — подумал я: — уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.

— Славная у тебя лошадь! — говорил Азамат: — если б я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!

«А, Казбич!» — подумал я и вспомнил кольчугу.

— Да, — отвечал Казбич после некоторого молчания: — в целой Кабарде не найдешь такой. Раз, — это было за Тереком, — я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крики гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себе Аллаху, и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться, — и пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам... Вдруг передо мною рытвина глубокая; скакун мой призадумался — и прыгнул. Задние его копыты оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня; он выскочил. Казаки всё это видели, только ни один не спустился меня искать: они верно думали, что я убился до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу, — смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжают из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагёз; все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их — и вижу: мой Карагёз летит, развевая хвост, вольный как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! Это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? во мраке слышу, бегает по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю; я узнал голос моего Карагёза: это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названья.

— Если б у меня был табун в тысячу кобыл, — сказал Азамат, — то отдал бы тебе его весь за твоего Карагёза.

— *Йок*, не хочу, — отвечал равнодушно Казбич.

— Послушай, Казбич, — говорил, ласкаясь к нему, Азамат: — ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня

в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю всё, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь, — а шашка его настоящая гурда: приложи лезвеем к руке, сама в тело вопьется; а кольчуга такая, как твоя, нипочем.

Казбич молчал.

— В первый раз, как я увидел твоего коня, — продолжал Азамат, — когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор всё мне опостылело: на лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его! — сказал Азамат дрожащим голосом.

Мне послышалось, что он заплакал; а надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе.

В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха.

— Послушай! — сказал твердым голосом Азамат: — видишь, я на всё решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом, чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха... Хочешь? дождись меня завтра ночью там, в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул, — и она твоя. Неужели не стоит Бэла твоего скакуна?

Долго, долго молчал Казбич; наконец, вместо ответа, он затянул старинную песню вполголоса*:

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз.
Сладко любить их — завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

* Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой; но привычка — вторая натура. (*Примеч. Лермонтова.*)

Напрасно упрашивал его Азамат согласиться и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

— Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? на первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.

— Меня! — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха!» — подумал я, кинулся в конюшню, взнуздал лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья — и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой. «Плохое дело в чужом пиру похмелье, — сказал я Григорью Александровичу, поймав его за руку: — не лучше ли нам поскорей убраться?»

— Да погодите, чем кончится.

— Да уж верно кончится худо; у этих азиатов всё так: натянулись бузы, и пошла резня! — Мы сели верхом и ускакали домой.

— А что Казбич? — спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

— Да что этому народу делается! — отвечал он, допивая стакан чая: — ведь ускользнул.

— И не ранен? — спросил я.

— А Бог его знает! Живущи, разбойники! Видал я-с иных в деле, например: ведь весь исколот, как решето, штыками, а всё махает шашкой. — Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю:

— Никогда себе не прощу одного: черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу всё, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся, — такой хитрый! — а сам задумал кое-что.

— А что такое? Расскажите, пожалуйста.

— Ну уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать.

Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она резвая, красивая, словно серна, — ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.

Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели

три спустя, стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..

Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи: «Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе ее как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?..»

— Всё, что он захочет, — отвечал Азамат.

— В таком случае я тебе ее достану, только с условием... Поклянись, что ты его исполнишь...

— Клянусь... Клянись и ты.

— Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагёз будет ее калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.

Азамат молчал.

— Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом...

Азамат вспыхнул. «А мой отец?» — сказал он.

— Разве он никогда не уезжает?

— Правда...

— Согласен?..

— Согласен, — прошептал Азамат, бледный как смерть. — Когда же?

— В первый раз, как Казбич приедет сюда; он обещался пригнать десяток баранов; остальное — мое дело. Смотри же, Азамат!

Вот они и сладили это дело — по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что по-ихнему он все-таки ее муж, а что Казбич — разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого?.. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой день. «Азамат! — сказал Григорий Александрович: — завтра Карагёз в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня...»

— Хорошо! — сказал Азамат и поскакал в аул. Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости; как они сладили это дело, не знаю, — только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

— А лошадь? — спросил я у штабс-капитана.

— Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне;

я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком*.

Стали мы болтать о том, о сем: вдруг, смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице — и к окну; но окно, к несчастию, выходило на задворье. «Что с тобой?» — спросил я.

— Моя лошадь!.. лошадь!.. — сказал он, весь дрожа.

Точно, я услышал топот копыт: «Это верно какой-нибудь казак приехал...»

— Нет! Урус яман, яман! — заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уж на дворе; у ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем; он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге... Вдали вилась пыль — Азамат скакал на лихом Карагёзе; на бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил, с минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал как ребенок... Вот кругом него собрался народ из крепости — он никого не замечал; постояли, потолковали и пошли назад; я велел возле его положить деньги за баранов — он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь?.. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтоб ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.

— Что ж отец?

— Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел: он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увезти сестру?

А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец: ведь смекнул, что не сносить ему головы, если б он попался. Так с тех пор и пропал; верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью: туда и дорога!..

Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему.

Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я всё это тотчас заметил. Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, — только он притворялся, будто не слышит.

* Кунак значит — приятель. (*Примеч. Лермонтова.*)

— Господин прапорщик! — сказал я как можно строже. — Разве вы не видите, что я к вам пришел?

— Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? — отвечал он, не приподнимаясь.

— Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.

— Всё равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, какая мучит меня забота!

— Я всё знаю, — отвечал я, подошед к кровати.

— Тем лучше: я не в духе рассказывать.

— Г<осподин> прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать...

— И полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно всё пополам.

— Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!..

— Митька, шпагу!..

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал: «Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо».

— Что нехорошо?

— Да то, что ты увез Бэлу... Уж эта мне бестия Азамат!.. Ну, признайся, — сказал я ему.

— Да когда она мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это? Я стал втупик. Однако ж, после некоторого молчания, я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.

— Вовсе не надо.

— Да он узнает, что она здесь?

— А как он узнает?

Я опять стал втупик. «Послушайте, Максим Максимыч! — сказал Печорин, приподнявшись: — ведь вы добрый человек, — а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...»

— Да покажите мне ее, — сказал я.

— Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть: сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня, — прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился... Что прикажете делать? есть люди, с которыми непременно должно соглашаться.

— А что? — спросил я у Максима Максимыча: — в самом ли деле он приучил ее к себе, или она зачахла в неволе, с тоски по родине?

— Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что из аула, — а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь: первые дни она молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпичку!.. Ну, да это в сторону... Долго бился с нею Григорий Александрович; между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и всё грустила, напевала свои песни вполголоса, так что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шел я мимо и заглянул в окно: Бэла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею. «Послушай, моя пери, — говорил он: — ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею — отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, я тебя сейчас отпущу домой». — Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. «Или, — продолжал он: — я тебе совершенно ненавистен?» — Она вздохнула. — «Или твоя вера запрещает полюбить меня?» — Она побледнела и молчала. — «Поверь мне, Аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью?» — Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслию; в глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза! они так и сверкали, будто два угля.

«Послушай, милая, добрая Бэла! — продолжал Печорин, — ты видишь как я тебя люблю; я всё готов отдать, чтобы тебя развеселить: я хочу, чтоб ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?» — Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтоб она его поцеловала; она слабо защищалась и только повторяла: «Поджалуста, поджалуйста, не нада, не нада». Он стал настаивать; она задрожала, заплакала. «Я твоя пленница, — говорила она: — твоя раба; конечно ты можешь меня принудить», — и опять слезы.

Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему; он сложа руки прохаживался угрюмый взад и вперед. «Что, батюшка?» — сказал я ему. — «Дьявол, а не женщина! — отвечал он: — только я вам даю мое честное слово, что она будет моя...» Я покачал головою. «Хотите пари? — сказал он: — через неделю!» — «Извольте!» Мы ударили по рукам и разошлись.

На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками; привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть.

— Как вы думаете, Максим Максимыч! — сказал он мне, показывая подарки: — устоит ли азиатская красавица против такой батареи? — «Вы черкешенок не знаете, — отвечал я: — это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки — совсем не то. У них свои правила: они иначе воспитаны». — Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.

А ведь вышло, что я был прав: подарки подействовали только вполовину: она стала ласковее, доверчивее — да и только; так что он решился на последнее средство. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. «Бэла! — сказал он: — ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся, прощай! оставайся полной хозяйкой всего, что я имею; если хочешь, вернись к отцу, — ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя; прощай, я еду — куда? почему я знаю! Авось, недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки: тогда вспомни обо мне и прости меня». — Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только, стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне стало жаль — такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал — и сказать ли вам? я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, Бог его знает! Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. — Поверите ли? я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то чтоб заплакал, а так — глупость!..

Штабс-капитан замолчал.

— Да, признаюсь, — сказал он потом, теребя усы: — мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила.

— И продолжительно было их счастье? — спросил я.

— Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне, и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления. Да, они были счастливы!

— Как это скучно! — воскликнул я невольно. В самом деле, я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обмануть мои надежды!.. — Да неужели, — продолжал я, — отец не догадался, что она у вас в крепости?

— То есть, кажется, он подозревал. Спустя несколько дней, узнали мы, что старик убит. Вот как это случилось...

Внимание мое пробудилось снова.

— Надо вам сказать, что Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него лошадь, по крайней мере я так полагаю. Вот он раз и дождался у дороги, версты три за аулом; старик возвращался из напрасных поисков за дочерью; уздени его отстали, — это было в сумерки, — он ехал

задумчиво шагом, как вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста, прыг сзади его на лошадь, ударом кинжала свалил его наземь, схватил поводья — и был таков; некоторые уздени всё это видели с пригорка; они бросились догонять, только не догнали.

— Он вознаградил себя за потерю коня и отомстил, — сказал я, чтоб вызвать мнение моего собеседника.

— Конечно, по-ихнему, — сказал штабс-капитан, — он был совершенно прав.

Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения.

Между тем чай был выпит; давно запряженные кони продрогли на снегу; месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах как клочки разодранного занавеса; мы вышли из сакли. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро; хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другою гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, покрытые девственными снегами. Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня.

Тихо было всё на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем. — Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-Гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она всё поднималась и наконец пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-Горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром — чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми: всё приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять.

Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным и долго-долго всматриваться в их причудливые образы и жадно глотать животворящий воздух, разлитой в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот, наконец, мы взобрались на Гуд-Гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурею; но на востоке всё было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли... Да, и штабс-капитан: в сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге.

— Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам? — сказал я ему.

— Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца.

— Я слышал, напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна.

— Разумеется, если хотите, оно и приятно; только всё же потому, что сердце бьется сильнее. Посмотрите, — прибавил он, указывая на восток: — что за край!

И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы похожие одна на другую, — и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что, кажется, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи; но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание. «Я говорил вам, — воскликнул он, — что нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь!» — закричал он ямщикам.

Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки; я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой — осетин: осетин вел коренную под уздцы со всеми возможными предосторож-

ностями, отпрягши заранее уносных, — а наш беспечный русак даже не слез с облучка! Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал мне: «И, барин! Бог даст, не хуже их доедем: ведь нам не впервые», — и он был прав: мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали, и если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб об ней так много заботиться.

Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы? — Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки; следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите, или, если хотите, переверните несколько страниц, только я вам этого не советую, потому что переезд через Крестовую Гору (или, как называет ее ученый Гамба, le Mont St.-Christophe) достоин вашего любопытства. Итак, мы спускались с Гуд-Горы в Чертову долину… Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами, — не тут-то было: название Чертовой долины происходит от слов «черта», а не «черт», ибо здесь когда-то была граница Грузии. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие *милые* места нашего отечества.

— Вот и Крестовая! — сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чертову долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом: наши извозчики объявили, что обвалов еще не было, и, сберегая лошадей, повезли нас кругом. При повороте встретили мы человек пять осетин; они предложили нам свои услуги, и уцепясь за колеса, с криком принялись тащить и поддерживать наши тележки. И точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога частию была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов, так что с трудом мы сами пробирались; лошади падали; — налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням. — В два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору, — две версты в два часа! Между тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер врывался в ущелья, ревел, свистал, как Соловей-Разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока… Кстати, об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил Император Петр 1-й, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кре-

сте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так укоренилось, что, право, не знаешь чему верить, тем более, что мы не привыкли верить надписям.

Нам должно было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтоб достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты, изгнанница, — думал я, — плачешь о своих широких раздольных степях! Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки».

— Плохо! — говорил штабс-капитан: — посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег — того и гляди, что свалимся в пропасть или засядем в трущобу, а там пониже, чай, Байдара так разыгралась, что и не переедешь. Уж эта мне Азия! что люди, что речки — никак нельзя положиться. — Извозчики с криком и бранью колотили лошадей, которые фыркали, упирались и не хотели ни за что в свете тронуться с места, несмотря на красноречие кнутов. «Ваше благородие, — сказал наконец один: — ведь мы нынче до Коби не доедем; не прикажете ли, покамест можно, своротить налево? Вон там что-то на косогоре чернеется, — верно, сакли: там всегда-с проезжающие останавливаются в погоду; они говорят, что проведут, если дадите на водку», — прибавил он, указывая на осетина.

— Знаю, братец, знаю без тебя! — сказал штабс-капитан; — уж эти бестии! рады придраться, чтоб сорвать на водку.

— Признайтесь, однако, — сказал я, — что без них нам было бы хуже.

— Всё так, всё так, — пробормотал он: — уж эти мне проводники! чутьем слышат, где можно попользоваться, будто без них и нельзя найти дороги.

Вот мы свернули налево, и кое-как, после многих хлопот, добрались до скудного приюта, состоявшего из двух саклей, сложенных из плит и булыжника и обведенных такою же стеною; оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурею. «Всё к лучшему! — сказал я, присев у огня: — теперь вы мне доскажете вашу историю про Бэлу; я уверен, что этим не кончилось».

— А почему ж вы так уверены? — отвечал мне штабс-капитан, примигивая с хитрой улыбкою.

— Оттого, что это не в порядке вещей: что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться.

— Ведь вы угадали...

— Очень рад.

— Хорошо вам радоваться, а мне так право грустно, как вспомню. Славная была девочка эта Бэла! Я к ней наконец так привык, как к дочери, и она меня любила. Надо вам сказать, что у меня нет семейства; об отце и матери я лет двенадцать уж не имею известия, а запастись женой не догадался раньше, — так теперь уж, знаете, и не к лицу; я и рад был, что нашел кого баловать. Она, бывало, нам поет песни иль пляшет лезгинку... А уж как плясала! Видал я наших губернских барышень, я раз был-с и в Москве в благородном собрании, лет двадцать тому назад, — только куда им! совсем не то!.. Григорий Александрович наряжал ее как куколку, холил и лелеял, и она у нас так похорошела, что чудо; с лица и с рук сошел загар, румянец разыгрался на щеках... Уж какая, бывало, веселая, и всё надо мной, проказница, подшучивала... Бог ей прости!..

— А что, когда вы ей объявили о смерти отца?

— Мы долго от нее это скрывали, пока она не привыкла к своему положению; а когда сказали, так она дня два поплакала, а потом забыла.

Месяца четыре всё шло как нельзя лучше. Григорий Александрович, я уж кажется говорил, страстно любил охоту: бывало, так его в лес и подмывает за кабанами или козами, — а тут хоть бы вышел за крепостной вал. Вот, однако же, смотрю, он стал снова задумываться, ходит по комнате, загнув руки назад; потом раз, не сказав никому, отправился стрелять, — целое утро пропадал; раз и другой, всё чаще и чаще... Нехорошо, подумал я: верно между ними черная кошка проскочила!

Одно утро захожу к ним — как теперь перед глазами: Бэла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался.

— А где Печорин? — спросил я.

— На охоте.

— Сегодня ушел? — Она молчала, как будто ей трудно было выговорить.

— Нет, еще вчера, — наконец сказала она, тяжело вздохнув.

— Уж не случилось ли с ним чего?

— Я вчера целый день думала, думала, — отвечала она сквозь слезы, — придумывала разные несчастия: то казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы... А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать! — Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

— Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его, — я княжеская дочь!..

Я стал ее уговаривать: «Послушай, Бэла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь, как пришитому к твоей юбке: он человек молодой, любит погоняться за дичью, — походит да и придет; а если ты будешь грустить, то скорей ему наскучишь».

— Правда, правда! — отвечала она: — я буду весела. — И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно, она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

Что было с нею мне делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался: думал, думал, чем ее утешить, и ничего не придумал; несколько времени мы оба молчали... Пренеприятное положение-с!

Наконец я ей сказал: «хочешь, пойдем прогуляться на вал? погода славная!». Это было в сентябре; и точно, день был чудесный, светлый и не жаркий; все горы видны были как на блюдечке. Мы пошли, походили по крепостному валу взад и вперед, молча; наконец она села на дерн, и я сел возле нее. Ну, право, вспомнить смешно: я бегал за нею, точно какая-нибудь нянька.

Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный: с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками*, оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; — с другой бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть всё. Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади: всё ближе и ближе, и наконец остановился по ту сторону речки, саженях во сте от нас, и начал кружить лошадь свою, как бешеный. Что за притча!.. «Посмотри-ка, Бэла, — сказал я: — у тебя глаза молодые, что это за джигит: кого это он приехал тешить?..».

Она взглянула и вскрикнула: «это Казбич!»...

— Ах он разбойник! смеяться что ли приехал над нами? — Всматриваюсь, точно Казбич: его смуглая рожа, оборванный, грязный как всегда. — «Это лошадь отца моего», — сказала Бэла, схватив меня за руку; она дрожала, как лист, и глаза ее сверкали: — «Ага! — подумал я: — и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь».

— Подойди-ка сюда, — сказал я часовому: — осмотри ружье, да ссади мне этого молодца, — получишь рубль серебром. — «Слушаю, ваше высокоблагородие; только он не стоит на месте...» — «Прикажи!» — сказал я смеясь... «Эй, любезный! — закричал часовой, махая ему рукой: — подожди маленько, что ты крутишься как волчок?» Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться: верно думал, что с ним заводят переговоры, — как не так!..

* Овраги. (*Примеч. Лермонтова.*)

Мой гренадер приложился... бац!.. мимо, — только что порох на полке вспыхнул; Казбич толкнул лошадь, и она дала скачок в сторону. Он привстал на стременах, крикнул что-то по-своему, погрозил нагайкой — и был таков.

— Как тебе не стыдно! — сказал я часовому.

— Ваше высокоблагородие! умирать отправился, — отвечал он: — такой проклятый народ, сразу не убьешь.

Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты; Бэла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие... Даже я уж на него рассердился. «Помилуйте, — говорил я: — ведь вот сейчас тут был за речкою Казбич, и мы по нем стреляли: ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы народ мстительный: вы думаете, что он не догадывается, что вы частию помогли Азамату? А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал Бэлу. Я знаю, что, год тому назад, она ему больно нравилась, — он мне сам говорил, — и если б надеялся собрать порядочный калым, то верно бы посватался...» Тут Печорин задумался: «Да, — отвечал он, — надо быть осторожнее... Бэла, с нынешнего дня ты не должна более ходить на крепостной вал».

Вечером я имел с ним длинное объяснение: мне было досадно, что он переменился к этой бедной девочке; кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно, ласкал он ее редко, и она заметно начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь ее: «О чем ты вздохнула, Бэла? ты печальна?» — «Нет!» — «Тебе чего-нибудь хочется?» — «Нет!» — «Ты тоскуешь по родным?» — «У меня нет родных». Случалось, по целым дням, кроме «да» да «нет», от нее ничего больше не добьешься.

Вот об этом-то я и стал ему говорить. «Послушайте, Максим Максимыч, — отвечал он, — у меня несчастный характер; воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение — только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц, и был любим, — но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться — науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука

не живет под чеченскими пулями — напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, — и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой; если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдам жизнь, только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я так же очень достоин сожаления, может быть больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне всё мало; к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день от дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь, — только не в Европу, избави Боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных дорог». — Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от двадцатипятилетнего человека, и, Бог даст, в последний... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, — продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне, — вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое; что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастие, как порок. — Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

— А всё, чай, французы ввели моду скучать?

— Нет, англичане.

— Ага, вот что!.. — отвечал он, — да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!

Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего, как пьяница. Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее: чтоб воздерживаться от вина, он конечно старался уверять себя, что все в мире несчастия происходят от пьянства.

Между тем он продолжал свой рассказ таким образом:

— Казбич не являлся снова. Только, не знаю почему, я не мог выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и затевает что-нибудь худое.

Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана; я долго отнекивался: ну, что мне был за диковинка кабан! Однако ж утащил-таки он меня с собою. Мы взяли человек пять солдат и уехали рано утром. До десяти часов шныряли по камышам и по лесу, — нет зверя. «Эй, не воротиться ли? — говорил я: — к чему упрямиться? Уж видно такой задался несчастный день». Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи; таков уж был человек: что задумает, подавай; видно в детстве был маменькой избалован. Наконец в полдень отыскали проклятого кабана, — паф! паф!.. не тут-то было: ушел в камыши... такой уж был несчастный день!.. Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой.

Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости; только кустарник закрывал ее от нас. — Вдруг выстрел... Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое подозрение... Опрометью поскакали мы на выстрел, — смотрим: на валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца; ружье из чехла — и туда; я за ним.

К счастию, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были всё ближе и ближе... И наконец я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поравнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!..» Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью.

Вот наконец мы были уж от него на ружейный выстрел; измучена ли была у Казбича лошадь, или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагёза...

Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья... «Не стреляйте! — кричу я ему: — берегите заряд; мы и так его догоним». — Уж эта молодежь! вечно некстати горячится... Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади; она сгоряча сделала еще прыжков десять, споткнулась и упала на колени. Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрою... Это была Бэла... бедная Бэла! — Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил в свою очередь, наудачу; верно пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку... Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь, и возле нее Бэла; а Казбич, бросив ружье, по кустарникам, точно кошка, карабкался на утес; хотелось мне его снять оттуда — да не было заряда готового! Мы соскочили с лошадей и кинулись к Бэле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями... Такой злодей: хоть бы в сердце ударил — ну, так уже и быть, одним разом всё бы

кончил, а то в спину... самый разбойничий удар! — Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже; напрасно Печорин целовал ее холодные губы — ничто не могло привести ее в себя.

Печорин сел верхом; я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло; он обхватил ее рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч, мы этак ее не довезем живую». — «Правда!» — сказал я, и мы пустили лошадей во весь дух. — Нас у ворот крепости ожидала толпа народа; осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел; осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может; только он ошибся...

— Выздоровела? — спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись.

— Нет, — отвечал он: — а ошибся лекарь тем, что она еще два дня прожила.

— Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?

— А вот как: несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко; она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался, — цап-царап ее, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! Она между тем успела закричать; часовые всполошились, выстрелили, да мимо, а мы тут и подоспели.

— Да зачем Казбич ее хотел увезти?

— Помилуйте! да эти черкесы известный воровской народ: что плохо лежит, не могут не стянуть; другое и не нужно, а всё украдет... уж в этом прошу их извинить! Да притом она ему давно-таки нравилась.

— И Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы уж с нею измучились порядком. Около десяти часов вечера она пришла в себя; мы сидели у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. — «Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька)», — отвечал он, взяв ее за руку. «Я умру!» — сказала она. — Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно; — она покачала головкой и отвернулась к стене: ей не хотелось умирать!..

Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки; она говорила несвязные речи об отце, брате; ей хотелось в горы, домой... Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою джанечку...

Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но только я во всё время не заметил ни одной слезы на ресницах его: в самом ли деле он не мог пла-

кать, или владел собою — не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал.

К утру бред прошел; с час она лежала неподвижная, бледная, и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит; потом ей стало лучше, и она начала говорить, только как вы думаете о чем?.. Этакая мысль придет ведь только умирающему!.. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григорья Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертию; я ей это предложил; она посмотрела на меня в нерешимости и долго не могла слова вымолвить; наконец отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась. — Так прошел целый день. Как она переменилась в этот день! Бледные щеки впали, глаза сделались большие, большие, — губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней лежало раскаленное железо.

Настала другая ночь; мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. — Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова. — Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу... Нет, она хорошо сделала, что умерла! Ну, что бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось, рано или поздно.

Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как ни мучил ее наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте! — говорил я ему: — ведь вы сами сказали, что она умрет непременно, так зачем тут все ваши препараты?» — «Все-таки лучше, Максим Максимыч, — отвечал он, — чтоб совесть была покойна». — Хороша совесть!

После полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна — но на дворе было жарче, чем в комнате; поставили льду около кровати — ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жажда — признак приближения конца, и сказал это Печорину. — «Воды, воды!..» — говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели.

Он сделался бледен как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню какую... Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в гошпиталях и на поле сражения, только это всё не то, совсем не то!.. Еще, признаться, меня вот что печалит: она

перед смертью ни разу не вспомнила обо мне; а, кажется, я ее любил как отец... ну, да Бог ее простит!.. И вправду молвить: что ж я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?

Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам — гладко!.. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя. — Наконец он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия, хотел утешить его, начал говорить: он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха... Я пошел заказывать гроб.

Признаться, я частию для развлечения занялся этим. У меня был кусок термаламы, я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которых Григорий Александрович накупил для нее же.

На другой день рано утром мы ее похоронили, за крепостью, у речки, возле того места, где она в последний раз сидела; кругом ее могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: все-таки она была не христианка...

— А что Печорин? — спросил я.

— Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что это ему будет неприятно, так зачем же? — Месяца три спустя его назначили в е....й полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались; да, помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было... Впрочем до нашего брата вести поздно доходят.

Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже — вероятно для того, чтоб заглушить печальные воспоминания.

Я не перебивал его и не слушал.

Через час явилась возможность ехать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завел речь о Бэле и о Печорине.

— А не слыхали ли вы, что сделалось с Казбичем? — спросил я.

— С Казбичем? А, право, не знаю... Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами и превежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко; да вряд ли это тот самый!..

В Коби мы расстались с Максимом Максимычем; я поехал на почтовых, а он, по причине тяжелой поклажи, не мог за мной следовать. Мы не на-

деялись никогда более встретиться, однако встретились, и, если хотите, я расскажу: это целая история… Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?.. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ.

II
Максим Максимыч

Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ. Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет.

Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толку нельзя добиться.

Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дня, ибо «оказия» из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за оказия!.. но дурной каламбур не утешение для русского человека, и я, для развлечения, вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей; видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!.. А вы, может быть, не знаете, что такое «оказия»? Это — прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказа в Екатериноград.

Первый день я провел очень скучно; на другой рано утром въезжает на двор повозка… А! Максим Максимыч!.. Мы встретились, как старые приятели. Я предложил ему свою комнату. Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак!..

Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном искусстве: он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоядении. Бутылка кахетинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно, и, закурив трубки, мы уселись: я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. О чем было нам говорить?.. Он уж рассказал мне о себе всё, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать. Я смотрел в окно. Множество

низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который разбегается шире и шире, мелькали из-за дерев, а дальше синелись зубчатою стеной горы, и из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался: мне стало их жалко...

Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы и за ними пустая дорожная коляска; ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея; в его звании нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на ямщика. Он явно был балованный слуга ленивого барина, — нечто вроде русского Фигаро. — «Скажи, любезный, — закричал я ему в окно, — что это — оказия пришла, что ли?» Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся; шедший возле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно. — «Слава Богу! — сказал Максим Максимыч, подошедший к окну в это время. — Экая чудная коляска! — прибавил он: — верно какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Видно, не знает наших горок! Нет, шутишь, любезный: они не свой брат, растрясут хоть английскую!» — «А кто бы это такое был — пойдемте-ка узнать...» Мы вышли в коридор. В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в нее чемоданы.

— Послушай, братец, — спросил у него штабс-капитан: — чья эта чудесная коляска?.. а?.. Прекрасная коляска!.. — Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимыч рассердился; он тронул неучтивца по плечу и сказал: «Я тебе говорю, любезный...»

— Чья коляска?.. моего господина...

— А кто твой господин?

— Печорин...

— Что ты? что ты? Печорин?.. Ах, Боже мой!.. да не служил ли он на Кавказе?.. — воскликнул Максим Максимыч, дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость.

— Служил, кажется — да я у них недавно.

— Ну так!.. так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут?.. Мы с твоим барином были приятели, — прибавил он, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться...

— Позвольте, сударь, вы мне мешаете, — сказал тот, нахмурившись.

— Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе... Да где же он сам остался?..

Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н...

— Да не зайдет ли он вечером сюда? — сказал Максим Максимыч: — или ты, любезный, не пойдешь ли к нему за чем-нибудь?.. Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч; так и скажи... уж он знает... Я тебе дам восьмигривенный на водку...

Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимыча, что он исполнит его поручение.

— Ведь сейчас прибежит!.. — сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом: — пойду за ворота его дожидаться... Эх! жалко, что я не знаком с Н...

Максим Максимыч сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. Признаться, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого Печорина; хотя, по рассказу штабс-капитана, я составил себе о нем не очень выгодное понятие, однако некоторые черты в его характере показались мне замечательными. Через час инвалид принес кипящий самовар и чайник. — «Максим Максимыч, не хотите ли чаю?» — закричал я ему в окно.

— Благодарствуйте; что-то не хочется.

— Эй, выпейте! Смотрите, ведь уж поздно, холодно.

— Ничего; благодарствуйте...

— Ну, как угодно! — Я стал пить чай один; минут через десять входит мой старик: — «А ведь вы правы: все лучше выпить чайку, — да я всё ждал... Уж человек его давно к нему пошел, да видно что-нибудь задержало».

Он наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве: явно было, что старика огорчало небрежение Печорина, и тем более, что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе и еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя.

Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; он что-то пробормотал сквозь зубы; я повторил приглашение, — он ничего не отвечал.

Я лег на диван, завернувшись в шинель и оставив свечу на лежанке, скоро задремал и проспал бы покойно, если б, уже очень поздно, Максим Максимыч, войдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевырять в печи, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался...

— Не клопы ли вас кусают? — спросил я.

— Да, клопы... — отвечал он, тяжело вздохнув.

На другой день утром я проснулся рано; но Максим Максимыч предупредил меня. Я нашел его у ворот сидящего на скамейке. — «Мне надо сходить к коменданту, — сказал он, — так пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной...»

Я обещался. Он побежал, как будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свежее и прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор; перед воротами расстилалась широкая площадь; за нею базар кипел народом, потому что было воскресенье: босые мальчики осетины, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг меня; я их прогнал: мне было не до них, я начинал разделять беспокойство доброго штабс-капитана.

Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковником Н..., который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем.

Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать; подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. Теперь я должен нарисовать вам его портрет.

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сертучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно-чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, — верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость; он сидел, как сидит бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его, я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был

дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и вероятно обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные, — признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади; чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; о глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! — Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса, и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно различное впечатление; но так как вы о нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиогномий, которые особенно нравятся женщинам светским.

Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что всё готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастию, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему: «Если вы захотите еще немного подождать, — сказал я, — то будете иметь удовольствие увидеться с старым приятелем...»

— Ах, точно! — быстро отвечал он: — мне вчера говорили; но где же он? — Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать, пот градом катился с лица его, мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его; колена его дрожали... он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.

— Как я рад, дорогой Максим Максимыч. Ну, как вы поживаете? — сказал Печорин.

— А... ты... а вы?.. — пробормотал со слезами на глазах старик... — сколько лет... сколько дней... да куда это?..

— Еду в Персию — и дальше...

— Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?.. Столько времени не видались...

— Мне пора, Максим Максимыч, — был ответ.

— Боже мой, Боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? в отставке?.. как?.. что поделывали?..

— Скучал! — отвечал Печорин, улыбаясь.

— А помните наше житье-бытье в крепости?.. Славная страна для охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...

— Да, помню! — сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...

Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два. «Мы славно пообедаем, — говорил он: — у меня есть два фазана; а кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта... Мы поговорим... вы мне расскажете про свое житье в Петербурге... А?..»

— Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... — прибавил он, взяв его за руку.

Старик нахмурил брови... Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это. «Забыть! — проворчал он; — я-то не забыл ничего... Ну, да Бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...»

— Ну полно, полно! — сказал Печорин, обняв его дружески: — неужели я не тот же?.. Что делать?.. всякому своя дорога... Удастся ли еще встретиться — Бог знает!.. — Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать возжи.

— Постой, постой! — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски: — совсем было забыл... У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрыч... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а вот где Бог дал свидеться... Что мне с ними делать?..

— Что хотите! — отвечал Печорин. — Прощайте...

— Так вы в Персию?.. а когда вернетесь?.. — кричал вслед Максим Максимыч...

Коляска была уж далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и зачем?..

Давно уже не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, а бедный старик стоял на том же месте в глубокой задумчивости.

— Да, — сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах; — конечно, мы были приятели, — ну, да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара... Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге... Что за коляска!.. сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!.. — Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. — Скажите, — продолжал он, обратясь ко мне, — ну что вы об этом думаете?.. ну какой бес несет его теперь в Персию?.. Смешно, ей-Богу, смешно!.. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться... А, право, жаль, что он дурно кончит... да и нельзя иначе!.. Уж я всегда говорил, что нету проку в том, кто старых друзей забывает!.. — Тут он отвернулся, чтоб скрыть свое волнение, и пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами.

— Максим Максимыч, — сказал я, подошедши к нему, — а что это за бумаги вам оставил Печорин?

— А Бог его знает! какие-то записки...

— Что вы из них сделаете?

— Что? а велю наделать патронов.

— Отдайте их лучше мне.

Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю, потом другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде было что-то детское, мне стало смешно и жалко...

— Вот они все, — сказал он: — поздравляю вас с находкою...

— И я могу делать с ними всё, что хочу?

— Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело!.. Что, я разве друг его какой, или родственник?.. Правда, мы жили долго под одной кровлей... Да мало ли с кем я не жил?..

Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется оказия; я велел закладывать. Штабс-капитан вошел в комнату в то время, когда я уже надевал шапку; он, казалось, не готовился к отъезду; у него был какой-то принужденный, холодный вид.

— А вы, Максим Максимыч, разве не едете?

— Нет-с.

— А что так?

— Да я еще коменданта не видал, а мне надо сдать кой-какие казенные вещи...

— Да ведь вы же были у него?

— Был, конечно, — сказал он заминаясь... — да его дома не было... а я не дождался.

Я понял его: бедный старик, в первый раз отроду может быть, бросил дела службы для *собственной надобности*, говоря языком бумажным, — и как же он был награжден!

— Очень жаль, — сказал я ему, — очень жаль, Максим Максимыч, что нам до срока надо расстаться.

— Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая, еще пока здесь под черкесскими пулями, так вы туда-сюда... а после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч.

— Да я, знаете, так, к слову говорю; а впрочем, желаю вам всякого счастия и веселой дороги.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном! И отчего? Оттого, что Печорин в рассеянности, или от другой причины, протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею! Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда перед ним отдергивается розовый флёр, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими... Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется...

Я уехал один.

ЖУРНАЛ ПЕЧОРИНА

Предисловие

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай Бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро

бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга — понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге, следовательно не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.

Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям.

Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переменил все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно себя узнают, и может быть они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем.

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам.

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? — Мой ответ — заглавие этой книги. — «Да это злая ирония!» — скажут они. — Не знаю.

I
Тамань

Тамань — самый скверный городишка из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голоду, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: «кто идет?». Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требо-

вать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе ни подъедем — занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к черту, только к месту!» — закричал я. «Есть еще одна фатера, — отвечал десятник, почесывая затылок: — только вашему благородию не понравится, там нечисто!» — Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря.

Полный месяц светил на камышевую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть, — подумал я: — завтра отправлюсь в Геленджик».

При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина — молчат; стучу — молчат... что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет четырнадцати.

«Где хозяин?». — «Нема». — «Как? совсем нету?» — «Совсим». — «А хозяйка?» — «Побигла в слободку». — «Кто ж мне отопрет дверь?» — сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась; из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мной неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица.

Признаюсь, я имею сильное предубеждение противу всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто, с потерею члена, душа теряет какое-нибудь чувство.

Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предубеждениям...

«Ты хозяйский сын?» — спросил я его наконец. «Ни». — «Кто же ты?» — «Сирота, убогой». — «А у хозяйки есть дети?» — «Ни; была дочь, да утикла за море с татарином». — «С каким татарином?» — «А бис его знает! крымский татарин, лодочник из Керчи».

Я взошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа — дурной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть: передо мною во мраке всё вертелся мальчик с белыми глазами.

Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся Бог знает куда. Я не мог полагать, чтоб это существо сбежало по отвесу берега; однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты; навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. *В тот день немые возопиют и слепые прозрят* — подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтоб не терять его из вида.

Между тем луна начала одеваться тучами, и на море поднялся туман; едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу: слепой приостановился, потом повернул низом направо; он шел так близко от воды, что, казалось, сейчас волна его схватит и унесет, но, видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин. Наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдавшеюся скалою берега. Спустя несколько минут, с противоположной стороны показалась белая фигура; она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.

«Что, слепой? — сказал женский голос: — буря сильна; Янко не будет». — «Янко не боится бури», — отвечал тот. — «Туман густеет», — возразил опять женский голос, с выражением печали. — «В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов», — был ответ. «А если он утонет?» — «Ну что ж? в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты».

Последовало молчание; меня однако поразило одно: слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски.

— Видишь, я прав, — сказал опять слепой, ударив в ладоши: — Янко не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей: прислушайся-ка: это не вода плещет, меня не обманешь, это его длинные весла.

Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с видом беспокойства.

— Ты бредишь, слепой, — сказала она: — я ничего не вижу.

Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут десять; и вот показалась между горами волн черная точка: она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно подымаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстояние двадцати верст, и важная должна быть причина, его к тому побудившая! Думая так, я, с невольным биением сердца, глядел на бедную лодку, но она, как утка, ныряла, и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены; и вот, я думал, она ударится с размаха об берег и разлетится вдребезги, но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредима. Из нее вышел человек среднего роста, в татарской бараньей шапке; он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки; груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из виду. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.

Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидел меня совсем одетого; я ему однако ж не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик.

Но увы, комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все — или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть, дни через три, четыре, придет почтовое судно, — сказал комендант: — и тогда — мы увидим». Я вернулся домой угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом.

— Плохо, ваше благородие! — сказал он мне.

— Да, брат, Бог знает, когда мы отсюда уедем. — Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом:

— Здесь нечисто! Я встретил сегодня черноморского урядника; он мне знаком, был прошлого года в отряде; как я ему сказал, где мы остановились, а он мне: «Здесь, брат, нечисто, люди недобрые!..» Да и в самом деле, что это за слепой! ходит везде один, и на базар, за хлебом, и за водой... уж видно здесь к этому привыкли.

— Да что ж? по крайней мере, показалась ли хозяйка?

— Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь.

— Какая дочь? у ней нет дочери.

— А Бог ее знает, кто она, коли не дочь; да вон старуха сидит теперь в своей хате.

Я вошел в лачужку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глуха, не слышит. Что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и подкладывал в огонь хворост. «Ну-ка, слепой чертенок, — сказал я, взяв его за ухо: — говори, куда ты ночью таскался с узлом, а?» Вдруг мой слепой заплакал, закричал, заохал: «куды я ходив?.. никуды не ходив... с узлом? яким узлом?». Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «вот выдумывают, да еще на убогого! за что вы его? что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки.

Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая в даль; передо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся... Так прошло около часа, может быть и более... Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня, и женский, свежий голосок, — но откуда?.. Прислушиваюсь — напев странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь — никого нет кругом; прислушиваюсь снова — звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье, с распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась в даль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню.

Я запомнил эту песню от слова до слова:

Как по вольной волюшке —
По зелену морю,
Ходят всё кораблики
    Белопарусники.

Промеж тех корабликов
Моя лодочка,
Лодка неснащеная,
    Двухвесельная.
Буря ль разыграется —
Старые кораблики
Приподымут крылушки,
    По морю размечутся.
Стану морю кланяться
Я низёхонько:
«Уж не тронь ты, злое море,
    Мою лодочку:
Везет моя лодочка
Вещи драгоценные,
Правит ею в темну ночь
    Буйная головушка».

Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос; я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и, прищелкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять вприпрыжку моя ундина; поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием; потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось: целый день она вертелась около моей квартиры; пеньё и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лице ее не было никаких признаков безумия; напротив, глаза ее с бойкою проницательностию останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь.

Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы… порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело: это открытие принадлежит Юной Франции. Она, т. е. порода, а не Юная Франция, большею частью изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение

головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах, и, особенно, правильный нос, — всё это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений: правильный нос свел меня с ума; я вообразил, что нашел Гётеву Миньону, это причудливое создание его немецкого воображения; — и точно, между ними было много сходства: те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни...

Под вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор:

«Скажи-ка мне, красавица, — спросил я: — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где поется, там и счастливится». — «А как неравно напоешь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять не далеко». — «Кто же тебя выучил эту песню?» — «Никто не выучил; вздумается — запою: кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слушать, тот не поймет». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто крестил?» — «Почему я знаю?» — «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал» (она не изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей всё, что видел, думая смутить ее, — нимало! она захохотала во всё горло. «Много видели, да мало знаете; а что знаете, так держите под замочком». — «А если б я, например, вздумал донести коменданту?» — и тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе не у места, я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.

Только что смеркалось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрипнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся, — то была она, моя ундина; она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои, и, не знаю почему, но этот взор показался мне чудно нежен; он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее без цели бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет; грудь ее то высоко подымалась, то, казалось, она

удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чаю, как вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «нынче ночью, как все уснут, выходи на берег», — и стрелою выскочила из комнаты. В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экой бес-девка!» — закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился.

Часа через два, когда всё на пристани умолкло, я разбудил своего казака: «Если я выстрелю из пистолета, — сказал я ему: — то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска; ее одежда была более нежели легкая, небольшой платок опоясывал ее гибкий стан.

— Идите за мной, — сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку», — сказала моя спутница; я колебался, я не охотник до сентиментальных прогулок по морю, но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» — сказал я сердито. «Это значит, — отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками: — это значит, что я тебя люблю»... И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду: я хвать за пояс — пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову. Оглядываюсь — мы от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать! Хочу оттолкнуть ее от себя — она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости... «Чего ты хочешь?» — закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку.

— Ты видел, — отвечала она: — ты донесешь, — и сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились из лодки; ее волосы касались воды, минута была решительная. Я уперся коленкою в дно,

схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны.

Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал.

На дне лодки я нашел половину старого весла, и кое-как, после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца; луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над обрывом берега; высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса всё, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих; мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка, быстро приблизилась она; из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но острижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янко, — сказала она: — всё пропало!» Потом разговор их продолжался, но так тихо, что я ничего не мог расслушать. — «А где же слепой?» — сказал наконец Янко, возвыся голос. «Я его послала», — был ответ. Через несколько минут явился слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.

— Послушай, слепой! — сказал Янко: — ты береги то место... знаешь? там богатые товары... скажи (имени я не расслышал), что я ему больше не слуга; дела пошли худо, он меня больше не увидит; теперь опасно; поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул; а мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит. — После некоторого молчания Янко продолжал: — Она поедет со мною; ей нельзя здесь оставаться, а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит.

— А я? — сказал слепой жалобным голосом.

— На что мне тебя? — был ответ.

Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою; он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников». — «Только?» — сказал слепой. — «Ну, вот тебе еще», — и упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку, ветер дул от берега: они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн; слепой всё сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание: слепой мальчик точно плакал, и долго, долго... Мне стало грустно. И зачем было судьбе ки-

нуть меня в мирный круг *честных контрабандистов*? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень едва сам не пошел ко дну!

Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы! моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал, — подарок приятеля, — всё исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восьмнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила?

Слава Богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что сталось с старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
(Окончание журнала Печорина)

II
Княжна Мери

11-го мая.

Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури», на север подымается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок; шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, — а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы всё синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом. — Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё — чего бы, кажется, больше? — зачем тут страсти, желания, сожаления? — Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается всё водяное общество.

Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно подымающихся в гору; то были большею частию семейства степных помещиков; об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сертукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей; видно, у них вся *водяная* молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сертука ввел их в заблуждение, но, скоро узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись.

Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы; и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин штатских и военных, которые,

как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют — однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом... Они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колодец кислосерной воды, они принимают академические позы; штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брызжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают.

Наконец вот и колодец! На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус; между ними было два гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.

Я остановился, запыхавшись, на краю горы, и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос:

— Печорин! давно ли здесь?

Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня.

Грушницкий — юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правою опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает, и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект — их наслаждение: они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, — иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать: он заки-

дывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи.

Он довольно остер; эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель — сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. — Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле: он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать.

Приезд его на Кавказ — также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так просто, служить, но что ищет смерти, потому что... тут он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: «нет, вы (или ты) этого не должны знать!.. Ваша чистая душа содрогнется!.. Да и к чему?.. Что я для вас! — Поймете ли вы меня?..» — и так далее.

Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К... полк, останется вечною тайной между им и небесами.

Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами: тут-то он, я думаю, старается!

Мы встретились старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах.

— Мы ведем жизнь довольно прозаическую, — сказал он вздохнув. — Пьющие утром воду вялы, как все больные, а пьющие вино повечеру несносны, как все здоровые. Женские общества есть, только от них небольшое утешение: они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком. Моя солдатская шинель — как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня.

В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего! — На

второй было закрытое платье *gris de perles,* легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки *couleur puce* стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в таинства красоты непременно бы ахнул, хотя от удивленья. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.

— Вот княгиня Лиговская, — сказал Грушницкий: — и с нею дочь ее Мери, как она ее называет на английский манер. Они здесь только три дня.

— Однако ты уж знаешь ее имя?

— Да, я случайно слышал, — отвечал он, покраснев. — Признаюсь, я не желаю с ними познакомиться; эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?

— Бедная шинель! — сказал я усмехаясь. — А кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стаканы?

— О! это московский франт Раевич! Он игрок: это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость — точно у Робинзона Крузое! Да и борода кстати, и прическа *à la moujik.*

— Ты озлоблен против всего рода человеческого.

— И есть за что…

— О! право?

В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски:

— Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante.

Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренно от души его поздравил.

— Эта княжна Мери прехорошенькая, — сказал я ему. — У нее такие бархатные глаза, — именно бархатные, я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах: нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска, они так мягки, они будто бы тебя гладят. — Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего… А что, у нее зубы белы? Это очень важно! Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

— Ты говоришь об хорошенькой женщине, как об английской лошади, — сказал Грушницкий с негодованием.

— Mon cher, — отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон: — je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule.

Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам с висящими между них кустарниками. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтоб вздохнуть под ее тенью, и это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно, допив уж последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца; больше на площадке никого не было.

Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтоб его поднять: больная нога ему мешала. Бежняжка! как он ухитрялся, опираясь на костыль, и всё напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание.

Княжна Мери видела всё это лучше меня.

Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести; потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный, — даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара... Но вот ее шляпка мелькнула через улицу; она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска; за нею прошла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем.

Только тогда бедный страстный юнкер заметил мое присутствие.

— Ты видел? — сказал он, крепко пожимая мне руку: — это просто ангел!

— Отчего? — спросил я с видом чистейшего простодушия.

— Разве ты не видал?

— Нет, видел: она подняла твой стакан. Если б был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку. Впрочем очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу...

— И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?..

— Нет.

Я лгал. Но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противуречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противуречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу: это чувство было зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться. И вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие), который бы не был этим поражен неприятно.

Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару, мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну!

13-го мая.

Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.

Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и матерьялист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку, — поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием. Так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки. Обыкновенно Вернер исподтишка насмехался над своими больными; но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом. Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу: он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык: под вывескою его эпиграммы не один добряк прослыл пошлым дураком; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных, — больные взбеленились! — почти все ему отказали. Его

приятели, то есть все истинно-порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упадший кредит.

Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на красоту самых свежих и розовых эндимионов. Надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной; оттого-то, может быть, люди подобные Вернеру, так страстно любят женщин.

Вернер был мал ростом и худ и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противуположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сертук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе неспособен. Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; — рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае — труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги. Вот как мы сделались приятелями: я встретил Вернера в С... среди многочисленного и шумного круга молодежи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убежден в разных разностях.

— Что до меня касается, то я убежден только в одном, — сказал доктор.

— В чем это? — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.

— В том, — отвечал он, — что рано или поздно, в одно прекрасное утро я умру.

— Я богаче вас, — сказал я: — у меня, кроме этого, есть еще убеждение, — именно то, что я в один прегадкий вечер имел несчастье родиться.

Все нашли, что мы говорим вздор, а право из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда,

посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером.

Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер взошел в мою комнату. Он сел в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи, — и мы оба замолчали.

— Заметьте, любезный доктор, — сказал я, — что без дураков было бы на свете очень скучно!.. Посмотрите: вот нас двое умных людей; мы знаем заране, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга, одно слово для нас целая история, видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть: мы знаем один о другом всё, что хотим знать, и знать больше не хотим; остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость!

Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул.

Он отвечал подумавши:

— В вашей галиматье однако ж есть идея.

— Две, — отвечал я.

— Скажите мне одну, я сам скажу другую.

— Хорошо, начинайте, — сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренно улыбаясь.

— Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж отгадываю, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.

— Доктор! решительно нам нельзя разговаривать: мы читаем в душе друг друга.

— Теперь другая...

— Другая идея вот: мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь, во-первых, потому, что слушать менее утомительно, во-вторых, нельзя проговориться, в-третьих, можно узнать чужую тайну, в-четвертых, потому, что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу: что вам сказала княгиня Лиговская обо мне?

— Вы очень уверены, что это княгиня, а не княжна?..

— Совершенно убежден.

— Почему?

— Потому что княжна спрашивала об Грушницком.

— У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль..

— Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении...

— Разумеется.

— Завязка есть! — закричал я в восхищении: — об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтобы мне не было скучно.

— Я предчувствую, — сказал доктор, — что бедный Грушницкий будет вашей жертвой...

— Дальше, доктор...

— Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо... Я ей заметил, что верно она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете... я сказал ваше имя... Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума! Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания... Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа в новом вкусе... Я не противуречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор.

— Достойный друг! — сказал я, протянув ему руку. Доктор пожал ее с чувством и продолжал:

— Если хотите, я вас представлю...

— Помилуйте! — сказал я, всплеснув руками: — разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную...

— И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?..

— Напротив, совсем напротив!.. Доктор, наконец я торжествую: вы меня не понимаете!.. Это меня, впрочем, огорчает, доктор, — продолжал я после минуты молчания: — я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтобы их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж, вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?

— Во-первых, княгиня — женщина сорока пяти лет, — отвечал Вернер: — у нее прекрасный желудок, но кровь испорчена: на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве, и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна как голубь. Какое мне дело?.. Я хотел ей отвечать, чтоб она была спокойна, что я никому этого не скажу! Княгиня лечится от ревматизма, а дочь Бог знает от чего: я велел обеим пить по два стакана в день кислосерной воды и купаться два раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажет-

ся, не привыкла повелевать: она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру; в Москве, видно, барышни пустились в ученость, и хорошо делают, — право! Наши мужчины так не любезны вообще, что с ними кокетничать должно быть для умной женщины несносно. — Княгиня очень любит молодых людей; княжна смотрит на них с некоторым презрением, — московская привычка! — Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остряками.

— А вы были в Москве, доктор?

— Да, я имел там некоторую практику.

— Продолжайте.

— Да я, кажется, всё сказал... Да! вот еще: княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и проч... она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно общество: ее, верно, холодно приняли.

— Вы никого у них не видали сегодня?

— Напротив: был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по муже, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная... Не встретили ль вы ее у колодца? — она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка: ее лицо меня поразило своей выразительностью.

— Родинка! — пробормотал я сквозь зубы. — Неужели?

Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце: «Она вам знакома». Мое сердце, точно, билось сильнее обыкновенного.

— Теперь ваша очередь торжествовать! — сказал я: — только я на вас надеюсь: вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину. — Не говорите ей обо мне ни слова; если она спросит, относитесь обо мне дурно.

— Пожалуй, — сказал Вернер, пожав плечами.

Когда он ушел, то ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит?.. и как мы встретимся?.. и потом, она ли это?.. Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мной: всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее всё те же звуки; я глупо создан: ничего не забываю, — ничего.

После обеда часов в шесть я пошел на бульвар: там была толпа; княгиня с княжною сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала наперерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке,

остановил двух знакомых Д... офицеров и начал им что-то рассказывать; — видно, было смешно, потому что они начали хохотать как сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну; мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал: мои анекдоты были умны до глупости, мои насмешки над проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжал увеселять публику до захождения солнца. — Несколько раз княжна под ручку с матерью проходила мимо меня, сопровождаемая каким-то хромым старичком; несколько раз ее взгляд, упадая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие...

— Что он вам рассказывал? — спросила она у одного из молодых людей, возвратившихся к ней из вежливости: — верно очень занимательную историю — свои подвиги в сражениях?.. — Она сказала это довольно громко и вероятно с намерением кольнуть меня. «А-га! — подумал я: — вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будет!»

Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз: бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтоб его кто-нибудь представил княгине. Она будет очень рада, потому что ей скучно.

16-го мая.

В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит; мне уже пересказывали две-три эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с нею. Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре; я употребляю все свои силы на то, чтоб отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других, — и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя, — теперь у меня каждый день полон дом, обедают, ужинают, играют — и, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок.

Вчера я ее встретил в магазине Челахова; она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться: этот ковер так украсил бы ее кабинет!.. Я дал 40 рублей лишних и перекупил его; за это я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкесскую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. Княжна хочет проповедовать против меня ополчение; я даже заметил, что уж два

адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают.

Грушницкий принял воинственный вид: ходит закинув руки за спину и никого не узнает; нога его вдруг выздоровела: он едва хромает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказать какой-то комплимент княжне; она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкою.

— Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? — сказал он мне вчера.

— Решительно.

— Помилуй, самый приятный дом на водах! Всё здешнее лучшее общество!..

— Мой друг, мне и нездешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь?

— Нет еще; я говорил раза два с княжной и более, но знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится... Другое дело, если б я носил эполеты...

— Помилуй, да этак ты гораздо интереснее! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением: да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем, страдальцем.

Грушницкий самодовольно улыбнулся.

— Какой вздор! — сказал он.

— Я уверен, — продолжал я, — что княжна в тебя уж влюблена.

Он покраснел до ушей и надулся.

О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар.

— У тебя всё шутки! — сказал он, показывая, будто сердится: — во-первых, она меня еще так мало знает...

— Женщины любят только тех, которых не знают.

— Да я вовсе не имею претензии ей нравиться: я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы очень смешно, если б я имел какие-нибудь надежды... Вот вы, например, другое дело! — вы, победители петербургские: только посмотрите, так женщины тают... А знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила?..

— Как? она тебе уж говорила обо мне?..

— Не радуйся однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца, случайно, и третье слово ее было: «кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? он был с вами, тогда...» Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою милую выходку. — Вам не нужно сказывать дня, — отвечал я ей, — он вечно будет мне памятен. Мой друг, Пе-

чорин, я тебе не поздравляю, ты у нее на дурном замечании... А право, жаль! потому что Мери очень мила!

Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря об женщине, с которой они едва знакомы, называют ее *моя Мери, моя Sophie*, если она имела счастие им понравиться.

Я принял серьезный вид и отвечал ему:

— Да, она недурна... Только берегись, Грушницкий! Русские барышни большею частью питаются только платонической любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве; а платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят чтоб их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно: твое молчание должно возбуждать ее любопытство, твой разговор — никогда не удовлетворять его вполне; ты должен ее тревожить ежеминутно; она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой, и, чтоб вознаградить себя за это, станет тебя мучить — а потом просто скажет, что она тебя терпеть не может! Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй; она с тобою накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за урода, из покорности к маменьке, и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой, серой шинелью билось сердце страстное и благородное...

Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате.

Я внутренно хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастию, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего; у него даже появилось серебряное кольцо с чернью, здешней работы: оно мне показалось подозрительным! — Я стал его рассматривать, и что же? мелкими буквами имя *Мери* было вырезано на внутренней стороне, и рядом — число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие; я не хочу вынуждать у него признаний! я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные, и тут-то я буду наслаждаться.

. . . .

Сегодня я встал поздно; прихожу к колодцу — никого уже нет. Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел; кругом него вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот;

мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор. Зачем она здесь? — и она ли? И почему я думаю, что это она?.. и почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках! Размышляя таким образом, я подошел к гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтоб не нарушить ее мечтаний, когда она на меня взглянула.

— Вера! — вскрикнул я невольно.

Она вздрогнула и побледнела.

— Я знала, что вы здесь, — сказала она.

Я сел возле нее и взял ее за руку: давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами; в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек.

— Мы давно не видались, — сказал я.

— Давно — и переменились оба во многом!

— Стало быть, уж ты меня не любишь?..

— Я замужем, — сказала она.

— Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала; но между тем...

Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали.

— Может быть, ты любишь своего второго мужа?

Она не отвечала и отвернулась.

— Или он очень ревнив?

Молчание.

— Что ж? Он молод, хорош, особенно верно богат, и ты боишься... — Я взглянул на нее и испугался; ее лицо выражало глубокое отчаяние, на глазах сверкали слезы.

— Скажи мне, наконец, — прошептала она, — тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть: с тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий... — Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою.

«Может быть, — подумал я: — ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда!..»

Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй; ее руки были холодны как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя

даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере.

Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем, — тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре; она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки: она его уважает, как отца! и будет обманывать, как мужа!.. Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности!

Муж Веры, Семен Васильевич Г.....в, дальний родственник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом; Вера часто бывает у княгини; я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтоб отвлечь от нее внимание. Таким образом мои планы нимало не расстроились, и мне будет весело!

Весело!.. Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастия, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь: теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими; даже, мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка сердца!..

Однако мне всегда было странно: я никогда не делался рабом любимой женщины; напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? — оттого ли, что я никогда ничем очень не дорожу, и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это — магнетическое влияния сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?

Надо признаться, что я, точно, не люблю женщин с характером: их ли это дело!..

Правда, теперь вспомнил: один раз, один только раз я любил женщину с твердой волею, которую никогда не мог победить... Мы расстались врагами, — и то, может быть, если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе...

Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается; я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют fièvre lente — болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия.

Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались... Она вверилась мне снова с прежней беспечностью и я ее не обману: она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. — Я знаю, мы скоро разлучимся опять и, может быть, навеки: оба пойдем разными путями до гроба; но воспоминание об ней останется

неприкосновенным в душе моей; я ей это повторял всегда, и она мне верит, хотя говорит противное.

Наконец мы расстались; я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять, или это только ее прощальный взгляд, последний подарок, — на память?.. А смешно подумать, что на вид я еще мальчик: лицо хотя бледно, но еще свежо; члены гибки и стройны; густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит...

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся всё яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, всё в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба, или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес.

Я думаю, казаки, зевающие на своих *вышках*, видя меня скачущего без нужды и цели, долго мучились этой загадкой, ибо верно по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего, оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска темно-бурая. Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад. Я держу четырех лошадей: одну для себя, трех для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям; они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать; лошадь моя была измучена; я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит *en piquenique*. Дорога идет извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Спустясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии *балками*, я остановился, чтоб напоить лошадь; в это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада: дамы в

черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь *черкесского с нижегородским*; впереди ехал Грушницкий с княжною Мери.

Дамы на водах еще верят нападениям черкесов среди белого дня; вероятно поэтому Грушницкий сверх солдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов: он был довольно смешон в этом геройском облачении. Высокий куст закрывал меня от них, но сквозь листья его я мог видеть всё и отгадать по выражениям их лиц, что разговор был сентиментальный. Наконец, они приблизились к спуску; Грушницкий взял за повод лошадь княжны, и тогда я услышал конец их разговора:

— И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? — говорила княжна.

— Что для меня Россия? — отвечал ее кавалер: — страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь, — здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами...

— Напротив... — сказала княжна покраснев.

Лицо Грушницкого изобразило удовольствие. Он продолжал:

— Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей, и если бы Бог мне каждый год посылал один светлый, женский взгляд, один подобный тому...

В это время они поравнялись со мной; я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста...

— Mon Dieu, un Circassien!.. — вскрикнула княжна в ужасе.

Чтоб ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь:

— Ne craignez rien, madame, — je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier.

Она смутилась, — но отчего? от своей ошибки, или оттого, что мой ответ ей показался дерзким? Я желал бы, чтоб последнее мое предположение было справедливо. Грушницкий бросил на меня недовольный взгляд.

Поздно вечером, то есть часов в одиннадцать, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрыпом нагайской арбы и заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался... Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре... но с кем? Что делает теперь Вера? думал я... Я бы дорого дал, чтоб в эту минуту пожать ее руку.

Вдруг слышу быстрые и неровные шаги... Верно Грушницкий... Так и есть!

— Откуда?

— От княгини Лиговской, — сказал он очень важно. — Как Мери поет!..

— Знаешь ли что? — сказал я ему: — я пари держу, что она не знает, что ты юнкер; она думает, что ты разжалованный...

— Может быть! Какое мне дело!.. — сказал он рассеянно.

— Нет, я только так это говорю...

— А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость, — я насилу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерение ее оскорбить; она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты верно о себе самого высокого мнения.

— Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступиться?

— Мне жаль, что не имею еще этого права...

«О-го! — подумал я: — у него, видно, есть уже надежды...»

— Впрочем для тебя же хуже, — продолжал Грушницкий: — теперь тебе трудно познакомиться с ними, — а жаль! это один из самых приятных домов, какие я только знаю...

Я внутренно улыбнулся.

— Самый приятный дом для меня теперь мой, — сказал я зевая, и встал, чтоб идти.

— Однако признайся, ты раскаиваешься?..

— Какой вздор! если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини...

— Посмотрим...

— Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной...

— Да, если она захочет говорить с тобой...

— Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит... Прощай!..

— А я пойду шататься, — я ни за что теперь не засну... Послушай, пойдем лучше в ресторацию, там игра... мне нужны нынче сильные ощущения...

— Желаю тебе проиграться...

Я пошел домой.

21-го мая.

Прошла почти неделя, а я еще не познакомился с Лиговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде; их разговоры бесконечны — когда же он ей наскучит?.. Мать не обращает на это внимания, потому что он *не жених*. Вот логика матерей! Я подметил два, три нежных взгляда, — надо этому положить конец.

Вчера у колодца в первый раз явилась Вера... Она с тех пор, как мы встретились в гроте, не выходила из дома. Мы в одно время опустили стаканы, и, наклонясь, она мне сказала шепотом:

— Ты не хочешь познакомиться с Лиговскими!.. Мы только там можем видеться...

Упрек!.. скучно! Но я его заслужил...

Кстати: завтра бал по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной мазурку.

22-го мая.

Зала ресторации превратилась в залу благородного собрания. В девять часов все съехались. Княгиня с дочерью явились из последних; многие дамы посмотрели на нее с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мери одевается со вкусом. Те, которые почитают себя здешними аристократками, утаив зависть, примкнулись к ней. Как быть? Где есть общество женщин, там сейчас явится высший и низший круг. Под окном, в толпе народа, стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз с своей богини; она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце... Танцы начались польским; потом заиграли вальс. Шпоры зазвенели, фалды поднялись и закружились.

Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями; пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи счастливую эпоху мушек из черной тафты; самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

— Эта княжна Лиговская пренесносная девчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет... C'est impayable!.. И чем она гордится? Уж ее надо бы проучить...

— За этим дело не станет! — отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату.

Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами.

Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось однако довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид: она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку набок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой! Ее свежее дыхание касалось моего лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей... Я сделал три тура. (Она вальсирует удивительно хорошо.) Она за-

пыхалась, глаза ее помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое: «merci, monsieur».

После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид:

— Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе незнаком, я имел уже несчастье заслужить вашу немилость... что вы меня нашли дерзким... неужели это правда?

— И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? — отвечала она с иронической гримаской, которая впрочем очень идет к ее подвижной физиономии.

— Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще большую дерзость, просить у вас прощения... И, право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались...

— Вам это будет довольно трудно...

— Отчего же?

— Оттого, что вы у нас не бываете, а эти балы вероятно не часто будут повторяться.

Это значит, — подумал я, — что их двери для меня навеки закрыты.

— Знаете, княжна, — сказал я с некоторой досадой, — никогда не должно отвергать кающегося преступника: с отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее... и тогда...

Хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны; он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне: он был пьян. Остановясь против смутившейся княжны и заложив руки за спину, он уставил на нее мутно-серые глаза и произнес хриплым дишкантом:

— Пермете... ну, да что тут!.. просто ангажирую вас на мазурку...

— Что вам угодно? — произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд. Увы! ее мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было; один адъютант, кажется, всё это видел, да спрятался за толпой, чтоб не быть замешану в историю.

— Что же? — сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который ободрял его знаками, — разве вам не угодно?.. Я таки опять имею честь вас ангажировать pour mazure... Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего!.. Гораздо свободнее, могу вас уверить...

Я видел, что она готова упасть в обморок от страху и негодования.

Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и, посмотрев ему пристально в глаза, попросил удалиться, — потому, прибавил я, что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною.

— Ну, нечего делать!.. в другой раз! — сказал он, засмеявшись, и удалился к своим пристыженным товарищам, которые тотчас увели его в другую комнату.

Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом.

Княжна подошла к своей матери и рассказала ей всё; та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тетушек.

— Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами незнакомы, — прибавила она: — но признайтесь, вы этому одни виною: вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин... не правда ли?

Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай.

Кадрили тянулись ужасно долго.

Наконец с хор загремела мазурка; мы с княжной уселись.

Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведенное на нее неприятною сценою, мало-помалу рассеялось; личико ее расцвело; она шутила очень мило; ее разговор был остер, без притязания на остроту, жив и свободен; ее замечания иногда глубоки... Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела.

— Вы странный человек! — сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись.

— Я не хотел с вами знакомиться, — продолжал я, — потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.

— Вы напрасно боялись! Они все прескучные...

— Все! — Неужели все?

Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и наконец произнесла решительно: *все!*

— Даже мой друг Грушницкий?

— А он ваш друг? — сказала она, показывая некоторое сомнение.

— Да.

— Он конечно не входит в разряд скучных...

— Но в разряд несчастных, — сказал я смеясь.

— Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте...

— Что ж? я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни!

— А разве он юнкер?.. — сказала она быстро и потом прибавила: — а я думала...

— Что вы думали?..

— Ничего!.. Кто эта дама?

Тут разговор переменил направление и к этому уж более не возвращался.

Вот мазурка кончилась, и мы распростились — до свидания. Дамы разъехались... Я пошел ужинать и встретил Вернера.

— А-га! — сказал он: — так-то вы! А еще хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасши ее от верной смерти.

— Я сделал лучше, — отвечал я ему, — спас ее от обморока на бале!..

— Как это? Расскажите!..

— Нет, отгадайте, — о вы, отгадывающий всё на свете!

23-го мая.

Около семи часов вечера я гулял на бульваре. Грушницкий, увидав меня издали, подошел ко мне: какой-то смешной восторг блистал в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом:

— Благодарю тебя, Печорин... Ты понимаешь меня?

— Нет; но во всяком случае не стоит благодарности, — отвечал я не имея точно на совести никакого благодеяния.

— Как? а вчера? ты разве забыл?.. Мери мне всё рассказала...

— А что? разве у вас уж нынче всё общее? и благодарность?..

— Послушай, — сказал Грушницкий очень важно: — пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем... Видишь: я ее люблю до безумия... и я думаю, я надеюсь, она также меня любит... У меня есть до тебя просьба: ты будешь у них нынче вечером; обещай мне замечать всё: я знаю, ты опытен в этих вещах, ты лучше меня знаешь женщин... Женщины! женщины! кто их поймет? Их улыбки противуречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает... То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то не понимают самых ясных намеков... Вот хоть княжна: вчера ее глаза пылали страстью, останавливаясь на мне, нынче они тусклы и холодны...

— Это, может быть, следствие действия вод, — отвечал я.

— Ты во всем видишь худую сторону... матерьялист! — прибавил он презрительно. — Впрочем переменим материю, — и, довольный плохим каламбуром, он развеселился.

В девятом часу мы вместе пошли к княгине.

Проходя мимо окон Веры, я видел ее у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас взошла в гостиную Лиговских. Княгиня меня ей представила как своей родственнице. Пили чай; гостей было много; разговор был общий. Я старался понравиться княгине, шутил, заставлял ее несколько раз смеяться от души; княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтоб не выйти из принятой роли: она находит, что томность к ней идет — и, может быть, не ошибается. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает.

После чая все пошли в залу.

— Довольна ли ты моим послушанием, Вера? — сказал я, проходя мимо ее.

Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам; но некогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепьяны; все просили ее спеть что-нибудь, — я молчал, и, пользуясь суматохой, отошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих... Вышло — вздор...

Между тем княжне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... О, я удивительно понимаю этот разговор, немой, но выразительный, краткий, но сильный!..

Она запела: ее голос недурен, но поет она плохо... впрочем я не слушал. Зато Грушницкий, облокотясь на рояль против нее, пожирал ее глазами и поминутно говорил вполголоса: «charmant! délicieux!».

— Послушай, — говорила мне Вера: — я не хочу, чтоб ты знакомился с моим мужем, но ты должен непременно понравиться княгине; тебе это легко: ты можешь всё, что захочешь. Мы здесь только будем видеться...

— Только?..

Она покраснела и продолжала:

— Ты знаешь, что я твоя раба, я никогда не умела тебе противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мере, я хочу сберечь свою репутацию... не для себя: ты это знаешь очень хорошо!.. О, я прошу тебя: не мучь меня по-прежнему пустыми сомнениями и притворной холодностью: я, может быть, скоро умру, я чувствую, что слабею со дня на день... и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебе... Вы, мужчины, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки... а я, клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его.

Между тем княжна Мери перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее; я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно.

Она сделала гримаску, выдвинув нижнюю губу, и присела очень насмешливо.

— Мне это тем более лестно, — сказала она, — что вы меня вовсе не слушали... но вы, может быть, не любите музыки?..

— Напротив, — после обеда особенно.

— Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы... и я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении...

— Вы ошибаетесь опять: я вовсе не гастроном: у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово; следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы: мне делается или слишком грустно, или слишком весело. То и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться, и притом грусть в обществе смешна, а слишком большая веселость неприлична.

Она не дослушала, отошла прочь, села возле Грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный разговор: кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы довольно рассеянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смотрел на нее с удивлением, стараясь угадать причину внутреннего волнения, изображавшегося иногда в ее беспокойном взгляде...

Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мне отплатить тою же монетою, кольнуть мое самолюбие, — вам не удастся! и если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден.

В продолжение вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворною досадой наконец удалился. Княжна торжествовала; Грушницкий тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь... вам недолго торжествовать!.. Как быть? у меня есть предчувствие... Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет она меня любить или нет...

Остальную часть вечера я провел возле Веры и досыта наговорился о старине... За что она меня так любит, право не знаю! — Тем более, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями... Неужели зло так привлекательно?..

Мы вышли вместе с Грушницким; на улице он взял меня под руку и после долгого молчания сказал:

— Ну, что?

«Ты глуп», — хотел я ему ответить, но удержался и только пожал плечами.

29-го мая.

Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор, я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами: это начинает ее пугать. Она при мне не смеет пускаться с Грушницким в сентиментальные прения, и уже несколько раз отвечала на его выходки насмешливой улыбкой; но я всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоем; в первый раз была она этому рада, или старалась показать; во второй рассердилась на меня; в третий — на Грушницкого.

— У вас очень мало самолюбия, — сказала она мне вчера. — Отчего вы думаете, что мне веселее с Грушницким?

Я отвечал, что жертвую счастию приятеля своим удовольствием...

— И моим, — прибавила она.

Я пристально посмотрел на нее и принял серьезный вид. Потом целый день не говорил с ней ни слова... Вечером она была задумчива, нынче поутру у колодца еще задумчивей; когда я подошел к ней, она рассеянно слушала Грушницкого, который, кажется, восхищался природой, но только что завидела меня, она стала хохотать (очень некстати), показывая, будто меня не примечает. Я отошел подальше и украдкой стал наблюдать за ней: она отвернулась от своего собеседника и зевнула два раза.

Решительно, Грушницкий ей надоел.

Еще два дня не буду с ней говорить.

3-го июня.

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? — Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностию предприятия... Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство — истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство; секрет этой бесконечности — только в невозможности достигнуть цели, то есть конца.

Из чего же я хлопочу? — Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближне-

го, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить:

— Мой друг, со мною было то же самое! и ты видишь однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез!

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую всё, что встречается на пути: я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле всё, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, — не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идеи — создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара.

Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, и ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы: полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов; душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, — лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божие.

Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета... Но что за нужда?.. Ведь этот журнал пишу я для себя, и, следственно, всё, что я в него ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием.

. . . .

Пришел Грушницкий и бросился мне на шею: он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер взошел вслед за ним.

— Я вас не поздравляю, — сказал он Грушницкому.

— Отчего?

— Оттого, что солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь на водах, не придаст вам ничего интересного... Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило.

— Толкуйте, толкуйте, доктор! вы мне не помешаете радоваться. Он не знает, — прибавил Грушницкий мне на ухо: — сколько надежд придали мне эти эполеты... О, эполеты, эполеты! ваши звездочки, путеводительные звездочки... Нет! я теперь совершенно счастлив.

— Ты идешь с нами гулять к провалу? — спросил я его.

— Я? ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир.

— Прикажешь ей объявить о твоей радости?..

— Нет, пожалуйста, не говори... Я хочу ее удивить...

— Скажи мне однако, как твои дела с нею?

Он смутился и задумался: ему хотелось похвастаться, солгать, — и было совестно, а вместе с этим было стыдно признаться в истине.

— Как ты думаешь, любит ли она тебя?..

— Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия!.. как можно так скоро?.. Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет...

— Хорошо! И вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?..

— Эх, братец! на всё есть манера; многое не говорится, а отгадывается...

— Это правда... Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова... Берегись, Грушницкий, она тебя надувает...

— Она! — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись: — мне жаль тебя, Печорин!..

Он ушел.

Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу.

По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер; он находится на отлогости Машука, в версте от города. К нему ведет

узкая тропинка между кустарников и скал; взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжение целой прогулки.

Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя взволновалась; я начал шутя — и кончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало.

— Вы опасный человек! — сказала она мне: — я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок... Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, — я думаю, это вам не будет очень трудно.

— Разве я похож на убийцу?..

— Вы хуже...

Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид:

— Да! такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца; они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуются даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние, — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, — тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней — и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна — пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало.

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы, рука ее, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали... ей было жаль меня! Сострадание — чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в

ее неопытное сердце. Во всё время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала... а это великий признак!

Мы пришли к провалу; дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних денди ее не смешили; крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза.

На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора; но на пустые мои вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно.

— Любили ли вы? — спросил я ее наконец.

Она посмотрела на меня пристально, покачала головой... и опять впала в задумчивость: явно было, что ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать; ее грудь волновалась... Как быть! кисейный рукав слабая защита, и электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку; все почти страсти начинаются так, и мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщина любит за наши физические или нравственные достоинства; конечно, они приготовляют, располагают ее сердце к принятию священного огня, а все-таки первое прикосновение решает дело.

— Не правда ли, я была очень любезна сегодня? — сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гулянья.

Мы расстались...

Она недовольна собой: она себя обвиняет в холодности! — о, это первое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я всё это знаю наизусть — вот что скучно!

4-го июня.

Нынче я видел Веру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны: надо признаться, удачный выбор!

— Я отгадываю, к чему всё это клонится, — говорила мне Вера: — лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь.

— Но если я ее не люблю?

— То зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение?.. О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтоб я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск: послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Найми квартиру рядом; мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская, а рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят. Приедешь?..

Я обещал — и тот же день послал занять эту квартиру.

Грушницкий пришел ко мне в шесть часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, как раз к балу.

— Наконец я буду с нею танцевать целый вечер… Вот наговорюсь! — прибавил он.

— Когда же бал?

— Да завтра! Разве не знаешь? Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить…

— Пойдем на бульвар…

— Ни за что! — в этой гадкой шинели…

— Как, ты ее разлюбил?..

Я ушел один и, встретив княжну Мери, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована.

— Я думала, что вы танцуете только по необходимости, как прошлый раз, — сказала она, очень мило улыбаясь…

Она, кажется, вовсе не замечает отсутствия Грушницкого.

— Вы будете завтра приятно удивлены, — сказал я ей.

— Чем?..

— Это секрет… на бале вы сами догадаетесь.

Я окончил вечер у княгини; гостей не было, кроме Веры и одного презабавного старичка. Я был в духе, импровизировал разные необыкновенные истории; княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряженным, даже нежным вниманием, что мне стало совестно. Куда девалась ее живость, ее кокетство, ее капризы, ее дерзкая мина, презрительная улыбка, рассеянный взгляд?..

Вера всё это заметила: на ее болезненном лице изображалась глубокая грусть; она сидела в тени у окна, погружаясь в широкие кресла; мне стало жаль ее.

Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, нашей любви, — разумеется, прикрыв всё это вымышленными именами.

Я так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги, — я в таком выгодном свете выставил ее поступки и характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжной.

Она встала, подсела к нам, оживилась… и мы только в два часа ночи вспомнили, что доктора велят ложиться спать в одиннадцать.

5-го июня.

За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет; эполеты неимоверной величины были загнуты кверху, в виде крылышек амура; сапоги его скрыпели, в левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правою

взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол; самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если б это было согласно с моими намерениями.

Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом; черный огромный платок, навернутый на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на полвершка из-за воротника; ему показалось мало: он вытащил его кверху до ушей; от этой трудной работы, — ибо воротник мундира был очень узок и беспокоен, — лицо его налилось кровью.

— Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной? — сказал он довольно небрежно и не глядя на меня.

— Где нам дуракам чай пить! — отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным.

— Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?.. Ох, проклятый жид!.. как под мышками режет!.. Нет ли у тебя духов?

— Помилуй, чего тебе еще? от тебя и так уж несет розовой помадой...

— Ничего. Дай-ка сюда...

Он налил себе полсклянки за галстух, в носовой платок, на рукава.

— Ты будешь танцевать? — спросил он.

— Не думаю.

— Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку, — я не знаю почти ни одной фигуры...

— А ты звал ее на мазурку?

— Нет еще...

— Смотри, чтоб тебя не предупредили...

— В самом деле, — сказал он, ударив себя по лбу. — Прощай... пойду дожидаться ее у подъезда. — Он схватил фуражку и побежал.

Через полчаса и я отправился. На улице было темно и пусто; вокруг собрания или трактира, как угодно, теснился народ; окна его светились; звуки полковой музыки доносил ко мне вечерний ветер. Я шел медленно; мне было грустно. Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?.. Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов, — или в сотрудники поставщику повестей,

например для «Библиотеки для чтения»?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титюлярными советниками?..

Взойдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим жаром; она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам, приложив веер к губкам; на лице ее изображалось нетерпение, глаза ее искали кругом кого-то; я тихонько подошел сзади, чтоб подслушать их разговор.

— Вы меня мучите, княжна, — говорил Грушницкий: — вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал...

— Вы также переменились, — отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайной насмешки.

— Я? я переменился? — О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видел вас однажды, тот навеки унесет с собою ваш божественный образ...

— Перестаньте!..

— Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и так часто, внимали благосклонно?..

— Потому что я не люблю повторений, — отвечала она, смеясь.

— О, я горько ошибся!.. Я думал, безумный, что по крайней мере эти эполеты дадут мне право надеяться... Нет, лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашим вниманием...

— В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу...

В это время я подошел и поклонился княжне; она немножко покраснела и быстро проговорила:

— Не правда ли, мсье Печорин, что серая шинель гораздо больше идет к мсье Грушницкому?..

— Я с вами не согласен, — отвечал я: — в мундире он еще моложавее.

Грушницкий не вынес этого удара: как все мальчики, он имеет претензию быть стариком; он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошел прочь.

— А признайтесь, — сказал я княжне, — что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен... в серой шинели?..

Она потупила глаза и не отвечала.

Грушницкий целый вечер преследовал княжну, танцевал или с нею, или vis-à-vis; он пожирал ее глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она его уж ненавидела.

— Я этого не ожидал от тебя, — сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку.

— Чего?

— Ты с нею танцуешь мазурку? — спросил он торжественным голосом. — Она мне призналась...

— Ну, так что ж? А разве это секрет?

— Разумеется, я должен был этого ожидать от девчонки... от кокетки... Уж я отомщу!

— Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а зачем же обвинять ее! Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?..

— Зачем же подавать надежды?

— Зачем же ты надеялся? — Желать и добиваться чего-нибудь — понимаю, а кто ж надеется?

— Ты выиграл пари, — только не совсем, — сказал он, злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну, другие кавалеры поминутно ее выбирали: это явно был заговор против меня. Тем лучше. Ей хочется говорить со мною, ей мешают, — ей захочется вдвое более.

Я раза два пожал ее руку; во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова.

— Я дурно буду спать эту ночь, — сказала она мне, когда мазурка кончилась.

— Этому виноват Грушницкий.

— О нет! — И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку.

Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть.

Я возвратился в залу очень доволен собой.

За большим столом ужинала молодежь, и между ними Грушницкий.

Когда я взошел, все замолчали: видно, говорили обо мне. Многие с прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан, а теперь, кажется, решительно составляется против меня враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такой гордый и храбрый вид...

Очень рад. Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть всё огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов, — вот что я называю жизнью!

В продолжение ужина Грушницкий шептался и перемигивался с драгунским капитаном.

6-го июня.

Нынче поутру Вера уехала с мужем в Кисловодск. Я встретил их карету, когда шел к княгине Лиговской. Она мне кивнула головой, во взгляде ее был упрек.

Кто ж виноват! зачем она не хочет дать мне случай видеться с нею наедине? Любовь, как огонь, — без пищи гаснет. Авось ревность сделает то, чего не могли мои просьбы.

Я сидел у княгини битый час. Мери не вышла, — больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла, в самом деле, грозный вид. — Я рад, что княжна больна: они сделали бы ей какую-нибудь дерзость. У Грушницкого растрепанная прическа и отчаянный вид: он, кажется, в самом деле огорчен, особенно самолюбие его оскорблено; но ведь есть же люди, в которых даже отчаяние забавно.

Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. *Я не видал ее! — Она больна!* Уж не влюбился ли я в самом деле? — Какой вздор!

7-го июня.

В одиннадцать часов утра, — час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, — я шел мимо ее дома. Княжна сидела задумчиво у окна; увидав меня, вскочила.

Я взошел в переднюю; людей никого не было, и я без докладу, пользуясь свободой здешних нравов, пробрался в гостиную.

Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны; она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой на спинку кресел: эта рука чуть-чуть дрожала. Я тихо подошел к ней и сказал:

— Вы на меня сердитесь?..

Она подняла на меня томный, глубокий взор и покачала головой; ее губы хотели проговорить что-то, и не могли; глаза наполнились слезами; она опустилась в кресла и закрыла лицо руками.

— Что с вами? — сказал я, взяв ее руку.

— Вы меня не уважаете!.. О! оставьте меня!..

Я сделал несколько шагов... Она выпрямилась на креслах, глаза ее засверкали...

Я остановился, взявшись за ручку двери и сказал:

— Простите меня, княжна! Я поступил как безумец... этого в другой раз не случится: я приму свои меры!.. Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей! Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте.

Уходя, мне кажется, я слышал, что она плакала.

Я до вечера бродил пешком по окрестностям Машука, утомился ужасно и, пришедши домой, бросился на постель в совершенном изнеможении.

Ко мне зашел Вернер.

— Правда ли, — спросил он, — что вы женитесь на княжне Лиговской?

— А что?

— Весь город говорит; все мои больные заняты этой важной новостью, а уж эти больные такой народ: всё знают!

«Это шутки Грушницкого!» — подумал я.

— Чтобы вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск...

— И княгиня также?..

— Нет; она остается еще на неделю здесь...

— Так вы не женитесь!..

— Доктор, доктор! посмотрите на меня: неужели я похож на жениха, или на что-нибудь подобное?

— Я этого не говорю!.. Но вы знаете, есть случаи, — прибавил он, хитро улыбаясь, — в которых благородный человек обязан жениться, и есть маменьки, которые по крайней мере не предупреждают этих случаев... Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее! Здесь на водах преопасный воздух; сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи и уезжавших отсюда прямо под венец... Даже, поверите ли, меня хотели женить! Именно одна уездная маменька, у которой дочь была очень бледна. Я имел несчастие сказать ей, что цвет лица возвратится после свадьбы; тогда она со слезами благодарности предложила мне руку своей дочери и всё свое состояние — пятьдесят душ, кажется! Но я отвечал, что я к этому неспособен.

Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег.

Из слов его я заметил, что про меня и княжну уж распущены в городе разные дурные слухи: это Грушницкому даром не пройдет.

10-го июня.

Вот уж три дни, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на ее балкон; она давно уж одета и ждет условленного знака; мы встречаемся, будто нечаянно, в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром Нарзан называется богатырским ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И в самом деле, здесь всё дышит уединением; здесь всё таинственно — и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною,

падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами, и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, — и постоянный, сладостно-усыпительный шум студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно взапуски и наконец кидаются в Подкумок; — с этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую лощину: по ней вьется пыльная дорога. Всякий раз, как я на нее взгляну, мне всё кажется, что едет карета, а из окна кареты выглядывает розовое личико. Уж много карет проехало по этой дороге, — а той всё нет. Слободка, которая за крепостью, населилась; в ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей; шум и звон стаканов раздается до поздней ночи.

Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь.

Но смешивать два эти ремесла
Есть тьма охотников — я не из их числа.

Грушницкий с своей шайкой бушует каждый день в трактире и со мной почти не кланяется.

Он только вчера приехал, а успел уже поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну: решительно — несчастия развивают в нем воинственный дух.

11-го июня.

Наконец они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты: у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюблен?.. Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать.

Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери... плохо! — Зато Вера ревнует меня к княжне: добился же я этого благополучия! Чего женщина не сделает, чтоб огорчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума: женщин трудно убедить в чем-нибудь, надо их довести до того, чтобы они убедили себя сами; порядок доказательств, которыми они уничтожают свои предупреждения, очень оригинален; чтоб выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики. Например, способ обыкновенный:

Этот человек любит меня — но я замужем, — следовательно, не должна его любить.

Способ женский:

Я не должна его любить — ибо я замужем, — но он меня любит, — следовательно… тут несколько точек, ибо рассудок уж ничего не говорит, а говорят большею частию: язык, глаза и, вслед за ними, сердце, если оное имеется.

Что если когда-нибудь эти записки попадутся на глаза женщине? — Клевета! — закричит она с негодованием.

С тех пор, как поэты пишут и женщины их читают (за что им глубочайшая благодарность), их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом…

Некстати было бы мне говорить о них с такой злостью, — мне, который, кроме их, на свете ничего не любил, мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнию… Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, всё, что я говорю о них, есть только следствие —

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Женщины должны бы желать, чтоб все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я люблю их во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь и постиг их мелкие слабости.

Кстати: Вернер намедни сравнил женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем «Освобожденном Иерусалиме». «Только приступи, — говорил он, — на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что Боже упаси: долг, гордость, приличие, общее мнение, насмешка, презрение… Надо только не смотреть, а идти прямо; — мало-помалу чудовища исчезают, и открывается перед тобой тихая и светлая поляна, среди которой цветет зеленый мирт; — зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет, и обернешься назад!».

12-го июня.

Сегодняшний вечер был обилен происшествиями. Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая *Кольцом*; это ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний, пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из нас, по правде сказать,

не думал о солнце. Я ехал возле княжны; возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их — совершенный калейдоскоп: каждый день от напора волн оно изменяется; где был вчера камень, там нынче яма. Я взял под уздцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен; мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мери.

Мы были уж на середине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась. «Мне дурно!» — проговорила она слабым голосом... Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию.

— Смотрите наверх, — шепнул я ей: — это ничего, только не бойтесь, я с вами.

Ей стало лучше, она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный, мягкий стан; моя щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем.

— Что вы со мною делаете!.. Боже мой!..

Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ехали сзади: никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возле нее; видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова, из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения.

— Или вы меня презираете, или очень любите! — сказала она наконец голосом, в котором были слезы. — Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу, и потом оставить... Это было бы так подло, так низко, что одно предположение... о, нет! не правда ли, — прибавила она голосом нежной доверенности: — не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение; ваш дерзкий поступок, — я должна, я должна вам его простить, потому что позволила... Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!.. — В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастию, начинало смеркаться. — Я ничего не отвечал.

— Вы молчите? — продолжала она: — вы, может быть, хотите, чтоб я первая вам сказала, что я вас люблю...

Я молчал...

— Хотите ли этого? — продолжала она, быстро обратясь ко мне. В решительности ее взора и голоса было что-то страшное...

— Зачем? — отвечал я, пожав плечами.

Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда уж она присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалось, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю Вампира!.. А еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия.

Слезши с лошадей, дамы взошли к княгине; я был взволнован и поскакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове моей. Росистый вечер дышал упоительной прохладой. Луна подымалась из-за темных вершин; каждый шаг моей некованой лошади глухо раздавался в молчании ущелий; у водопада я напоил коня, жадно вдохнул в себя раза два свежий воздух южной ночи и пустился в обратный путь. Я ехал через слободку. Огни начинали угасать в окнах; часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались...

В одном из домов слободки, построенном на краю оврага, заметил я чрезвычайное освещение; по временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну: неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслушать их слова. Говорили обо мне.

Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком, требуя внимания.

— Господа! — сказал он, — это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургские слётки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги.

— И что за надменная улыбка! А я уверен между тем, что он трус, — да, трус!

— Я думаю то же, — сказал Грушницкий. — Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Печорин всё обратил в смешную сторону. Я, разумеется, его не вызвал, потому что это было его дело; да не хотел и связываться...

— Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну, — сказал кто-то.

— Вот еще что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться, а компрометировать девушку не в моих правилах.

— Да, я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий, — о, Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг! — сказал опять драгунский капитан. — Господа! Никто здесь его не защищает? Никто!.. тем лучше; хотите испытать его храбрость? Это нас позабавит...

— Хотим — только как?

— А вот слушайте: Грушницкий на него особенно сердит — ему первая роль! Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль... Погодите: вот в этом-то и штука... Вызовет на дуэль, хорошо! Всё это — вызов, приготовления, условия, будет как можно торжественнее и ужаснее, — я за это берусь; я буду твоим секундантом, мой бедный друг! Хорошо! Только вот где закорючка: в пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит — на шести шагах их поставлю, черт возьми! Согласны ли, господа?

— Славно придумано... Согласны! Почему же нет, — раздалось со всех сторон.

— А ты, Грушницкий?

Я с трепетом ждал ответа Грушницкого, холодная злость овладевала мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею. Но после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «хорошо, я согласен».

Трудно описать восторг всей честной компании.

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть: за что они все меня ненавидят? думал я. За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство? И я чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу. Берегись, господин Грушницкий! говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате: со мной этак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка...

Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец.

Поутру я встретил княжну у колодца.

— Вы больны? — сказала она, пристально посмотрев на меня.

— Я не спал ночь.

— И я также... я вас обвиняла... может быть напрасно? — Но объяснитесь, я могу вам простить всё...

— Всё ли?..

— Всё... только говорите правду... только скорее... Видите ли, я много думала, старалась объяснить, оправдать ваше поведение; может быть вы боитесь препятствий со стороны моих родных... это ничего; когда они узнают... (ее голос задрожал) я их упрошу. Или ваше собственное положение...

но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю... О, отвечайте скорее, — сжальтесь... Вы меня не презираете, не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала; но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатья.

— Я вам скажу всю истину, — отвечал я княжне: — не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков; — я вас не люблю.

Ее губы слегка побледнели...

— Оставьте меня, — сказала она едва внятно.

Я пожал плечами, повернулся и ушел.

14-го июня.

Я иногда себя презираю... не оттого ли я презираю и других?.. Я стал неспособен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне: son coeur et sa fortune!.. но надо мною слово *жениться* имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться — прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие... Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей... Признаться ли?.. Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мне *смерть от злой жены*; это меня тогда глубоко поразило: в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе... Между тем что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется; по крайней мере я буду стараться, чтоб оно сбылось как можно позже.

15-го июня.

Вчера приехал сюда фокусник *Апфельбаум*. На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик, будет иметь честь дать великолепное представление сегодняшнего числа в восемь часов вечера, в зале благородного собрания (иначе — в ресторации); билеты по два рубля с полтиной.

Все собираются идти смотреть удивительного фокусника; даже княгиня Лиговская, несмотря на то, что дочь ее больна, взяла для себя билет.

Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе одна; к ногам моим упала записка:

«Сегодня в десятом часу вечера приходи ко мне по большой лестнице; муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини. — Я жду тебя. Приходи непременно».

— А-га! — подумал я: — наконец-таки вышло по-моему.

В восемь часов пошел я смотреть фокусника. Публика собралась в исходе девятого; представление началось. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини. Все были тут наперечет. — Грушницкий сидел в первом ряду с лорнетом. Фокусник обращался к нему всякий раз, как ему нужен был носовой платок, часы, кольцо и проч.

Грушницкий мне не кланяется уже несколько времени, а нынче два раза посмотрел на меня довольно дерзко. Всё это ему припомнится, когда нам придется расплачиваться.

В исходе десятого я встал и вышел.

На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые, холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор; лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию. У окон ее толпился народ. Я спустился с горы, и, повернув в ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мною. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать; однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою, и человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило. Однако я подкрался к крыльцу и поспешно взбежал на темную лестницу. Дверь отворилась; маленькая ручка схватила мою руку...

— Никто тебя не видал? — сказала шепотом Вера, прижавшись ко мне.

— Никто!

— Теперь ты веришь ли, что я тебя люблю?.. О, я долго колебалась, долго мучилась... но ты из меня делаешь всё, что хочешь.

Ее сердце сильно билось, руки были холодны, как лед. Начались упреки ревности, жалобы, — она требовала от меня, чтоб я ей во всем признался, говоря, что она с покорностью перенесет мою измену, потому что хочет единственно моего счастия. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и проч.

— Так ты не женишься на Мери? не любишь ее?.. А она думает... знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия... бедняжка!..

. . . .

. . . .

Около двух часов пополуночи я отворил окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мери сидела на своей постели, скрестив на коленах руки; ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики; ее маленькие ножки прятались в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь; пред нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко...

В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с балкона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо. «Ага! — сказал грубый голос: — попался!.. будешь у меня к княжнам ходить ночью!..»

— Держи его крепче! — закричал другой, выскочивший из-за угла.

Это были Грушницкий и драгунский капитан.

Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты; все тропинки сада, покрывающего отлогость против наших домов, были мне известны.

— Воры! караул!.. — кричали они; раздался ружейный выстрел; дымящийся пыж упал почти к моим ногам.

Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан.

— Печорин! вы спите? здесь вы?.. — кричал капитан.

— Сплю, — отвечал я сердито.

— Вставайте, — воры... черкесы...

— У меня насморк, — отвечал я, — боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я им откликнулся; они б еще с час проискали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Всё зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах — и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников остались бы на месте.

16-го июня.

Нынче поутру у колодца только и было толков, что об ночном нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нарзана, пройдясь раз десять по длинной липовой аллее, я встретил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать; он ужасно беспокоился о жене. «Как она перепугалась

нынче ночью! — говорил он: — ведь надобно ж, чтоб это случилось именно тогда, как я в отсутствии». Мы уселись завтракать возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек десять молодежи, в числе которой был и Грушницкий. Судьба вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить его участь. Он меня не видал, и следственно я не мог подозревать умысла; но это только увеличивало его вину в моих глазах.

— Да неужто в самом деле это были черкесы? — сказал кто-то: — видел ли их кто-нибудь?

— Я вам расскажу всю историю, — отвечал Грушницкий, — только, пожалуйста, не выдавайте меня; вот как это было: вчерась один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рассказывает, что видел в десятом часу вечера, как кто-то прокрался в дом к Лиговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтоб подстеречь счастливца.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собеседник очень был занят своим завтраком: он мог услышать вещи для себя довольно неприятные, если б неравно Грушницкий отгадал истину; но, ослепленный ревностью, он и не подозревал ее.

— Вот видите ли, — продолжал Грушницкий, — мы и отправились, взявши с собой ружье, заряженное холостым патроном, только так, чтобы попугать. До двух часов ждали в саду; наконец — уж Бог знает откуда он явился, только не из окна, потому что оно не отворялось, а должно быть он вышел в стеклянную дверь, что за колонной, — наконец, говорю я, видим мы, сходит кто-то с балкона... Какова княжна? а? Ну, уж признаюсь, московские барышни! после этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался и как заяц бросился в кусты; тут я по нем выстрелил.

Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости.

— Вы не верите? — продолжал он: — даю вам честное, благородное слово, что всё это сущая правда, и в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина.

— Скажи, скажи, кто ж он! — раздалось со всех сторон.

— Печорин, — отвечал Грушницкий.

В эту минуту он поднял глаза — я стоял в дверях против него; он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:

— Мне очень жаль, что я взошел после того, как вы уж дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.

— Прошу вас, — продолжал я тем же тоном: — прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью.

Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна. Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем; он вздрогнул и быстро отвечал мне, не подымая глаз:

— Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю, и готов повторить... Я не боюсь ваших угроз и готов на всё.

— Последнее вы уж доказали, — отвечал я ему холодно и, взяв под руку драгунского капитана, вышел из комнаты.

— Что вам угодно? — спросил капитан.

— Вы приятель Грушницкого и, вероятно, будете его секундантом?

Капитан поклонился очень важно.

— Вы отгадали, — отвечал он: — я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне. Я был с ним вчера ночью, — прибавил он, выпрямляя свой сутуловатый стан.

— А! так это вас ударил я так неловко по голове!..

Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на лице его.

— Я буду иметь честь прислать к вам нониче моего секунданта, — прибавил я, раскланявшись очень вежливо и показывая вид, будто не обращаю внимания на его бешенство.

На крыльце ресторации я встретил мужа Веры. Кажется, он меня дожидался.

Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг.

— Благородный молодой человек! — сказал он, с слезами на глазах. — Я всё слышал; экой мерзавец! неблагодарный!.. Принимай их после этого в порядочный дом! Слава Богу, у меня нет дочерей! Но вас наградит та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте уверены в моей скромности до поры до времени, — продолжал он: — я сам был молод и служил в военной службе; знаю, что в эти дела не должно вмешиваться. Прощайте.

Бедняжка! радуется, что у него нет дочерей...

Я пошел прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему всё — отношения мои к Вере и княжне и разговор, подслушанный мною, из которого я узнал намерение этих господ подурачить меня, заставив стреляться холостыми зарядами. Но теперь дело выходило из границ шутки: они, вероятно, не ожидали такой развязки.

Доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему несколько наставлений насчет условий поединка; он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но нимало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире.

После этого я пошел домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции.

— Против вас, точно, есть заговор, — сказал он. — Я нашел у Грушницкого драгунского капитана и еще одного господина, которого фамилии не помню; я на минуту остановился в передней, чтоб снять калоши; у них был ужасный шум и спор... «Ни за что не соглашусь! — говорил Грушницкий: — он меня оскорбил публично — тогда было совсем другое...» — «Какое тебе дело? — отвечал капитан: — я всё беру на себя. Я был секундантом на пяти дуэлях, и уж знаю, как это устроить. Я всё придумал. Пожалуйста, только мне не мешай. Постращать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?..» — В эту минуту я взошел. Они вдруг замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконец мы решили дело вот как: верстах в пяти отсюда есть глухое ущелье; они туда поедут завтра в четыре часа утра, а мы выедем полчаса после них; стреляться будете на шести шагах — этого требовал сам Грушницкий. Убитого — на счет черкесов. Теперь, вот какие у меня подозрения: они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулею один пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство, но в военное время, и особенно в азиатской войне, хитрости позволяются; только Грушницкий, кажется, поблагороднее своих товарищей. Как вы думаете? должны ли мы показать им, что догадались?

— Ни за что на свете, доктор; будьте спокойны: я им не поддамся.

— Что же вы хотите делать?

— Это моя тайна.

— Смотрите, не попадитесь... ведь на шести шагах!

— Доктор, я вас жду завтра в четыре часа; лошади будут готовы... Прощайте.

Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Приходил лакей звать меня к княгине, — я велел сказать, что болен.

. . . .

Два часа ночи. Не спится. А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А! господин Грушницкий! ваша мистификация вам не удастся... мы поменяемся ролями: теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я вам

без спора подставлю свой лоб... но мы бросим жеребий!.. и тогда... тогда... что если его счастье перетянет? если моя звезда наконец мне изменит?.. И немудрено: она так долго служила верно моим прихотям; на небесах не более постоянства, чем на земле.

Что ж? умереть так умереть: потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я — как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова? — прощайте!

Пробегаю в памяти всё мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А верно она существовала, и верно было мне назначенье высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные; но я не угадал этого назначенья, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудье казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаленья... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил; я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья — и никогда не мог насытиться. Так томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие вины; он пожирает с восторгом воздушные дары воображенья, и ему кажется легче... но только проснулся, мечта исчезает... остается удвоенный голод и отчаяние!

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле... Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец!.. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а всё живешь — из любопытства; ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!

Вот уже полтора месяца, как я в крепости *N*; Максим Максимыч ушел на охоту. Я один; сижу у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туман кажется желтым пятном. Холодно, ветер свищет и колеблет ставни. Скучно. Стану продолжать свой журнал, прерванный столькими странными событиями.

Перечитываю последнюю страницу: смешно! — Я думал умереть; это было невозможно: я еще не осушил чаши страданий, и теперь чувствую, что мне еще долго жить.

Как всё прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время.

Я помню, что в продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго: тайное беспокойство мною овладело. С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские Пуритане». Я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом... Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?..

Наконец рассвело. Нервы мои успокоились. Я посмотрелся в зеркало: тусклая бледность покрывала лицо мое, хранившее следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволен собою.

Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в холодный кипяток Нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела!..

Возвратясь, я нашел у себя доктора. На нем были серые рейтузы, архалук и черкесская шапка. Я расхохотался, увидев эту маленькую фигурку под огромной косматой шапкой; у него лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было еще длиннее обыкновенного.

— Отчего вы так печальны, доктор? — сказал я ему. — Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка! я могу выздороветь, могу и умереть: то и другое в порядке вещей. Старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной, — и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени: вы можете надо мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений... Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?

Эта мысль поразила доктора, и он развеселился.

Мы сели верхом; Вернер уцепился за поводья обеими руками, и мы пустились. Мигом проскакали мимо крепости через слободку и въехали в ущелье, по которому вилась дорога, полузаросшая высокой травой и ежеминутно пересекаемая шумным ручьем, через который нужно было переправляться вброд, к великому отчаянию доктора, потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась.

Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томленье. В ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня: он золотил только верхи

утесов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем. Я помню — в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! Там путь всё становился уже, утесы синее и страшнее, и наконец они, казалось, сходились непроницаемой стеной. Мы ехали молча.

— Написали ли вы свое завещание? — вдруг спросил Вернер.

— Нет.

— А если будете убиты?..

— Наследники отыщутся сами.

— Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прости?..

Я покачал головой.

— Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?..

— Хотите ли, доктор, — отвечал я ему, — чтоб я раскрыл вам мою душу?.. Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе: иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, взведут на мой счет Бог знает какие небылицы; женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтоб не возбудить в нем ревности к усопшему, — Бог с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько идей — и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю и разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй... второй?.. Посмотрите, доктор: видите ли вы, на скале направо чернеются три фигуры? Это, кажется, наши противники?..

Мы пустились рысью.

У подошвы скалы в кустах были привязаны три лошади; мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьевичем; фамилии его я никогда не слыхал.

— Мы давно уж вас ожидаем, — сказал драгунский капитан с иронической улыбкой.

Я вынул часы и показал ему.

Он извинился, говоря, что его часы уходят.

Несколько минут продолжалось затруднительное молчание; наконец доктор прервал его, обратясь к Грушницкому.

— Мне кажется, — сказал он, — что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условиям чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дело полюбовно.

— Я готов, — сказал я.

Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щеки. С тех пор, как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза; но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.

— Объясните ваши условия, — сказал он, — и всё, что я могу для вас сделать, то будьте уверены...

— Вот мои условия: вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения...

— Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи?..

— Что ж я вам мог предложить, кроме этого?..

— Мы будем стреляться...

Я пожал плечами.

— Пожалуй; только подумайте, что один из нас непременно будет убит.

— Я желаю, чтобы это были вы...

— А я так уверен в противном...

Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал.

Капитан взял его под руку и отвел в сторону; они долго шептались.

Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но всё это начинало меня бесить.

Ко мне подошел доктор.

— Послушайте, — сказал он с явным беспокойством: — вы, верно, забыли про их заговор?.. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае... Вы странный человек! Скажите им, что вы знаете их намерение, и они не посмеют... Что за охота! подстрелят вас как птицу...

— Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите... Я всё так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться...

— Господа, это становится скучно! — сказал я им громко: — драться так драться; вы имели время вчера наговориться...

— Мы готовы, — отвечал капитан. — Становитесь, господа!.. Доктор, извольте отмерить шесть шагов...

— Становитесь! — повторил Иван Игнатьевич пискливым голосом.

— Позвольте! — сказал я: — еще одно условие; так как мы будем драться на смерть, то мы обязаны сделать всё возможное, чтоб это осталось тайною, и чтоб секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?..

— Совершенно согласны.

— Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку? оттуда до низу будет сажень тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом даже легкая рана будет смертельна; это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться.

— Пожалуй! — сказал капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести; но теперь он должен был выстрелить на воздух, или сделаться убийцей, или наконец оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мною опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром; я видел, как посиневшие губы его дрожали; но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой. «Ты дурак! — сказал он Грушницкому довольно громко: — ничего не понимаешь! Отправимся же, господа!»

Узкая тропинка вела между кустами на крутизну; обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы; цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором.

— Я вам удивляюсь, — сказал доктор, пожав мне крепко руку. — Дайте пощупать пульс!.. о-го! лихорадочный!.. но на лице ничего не заметно... только глаза у вас блестят ярче обыкновенного.

Вдруг мелкие камни с шумом покатились нам под ноги. Что это? Грушницкий спотыкнулся; ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если б его секунданты не поддержали.

— Берегитесь! — закричал я ему: — не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря!

Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы: площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка.

Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз; голова чуть-чуть у меня не закружилась: там внизу казалось темно и холодно,

как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами.

Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда всё устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать!.. Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала: кто не заключал таких условий с своею совестью?

— Бросьте жребий, доктор, — сказал капитан.

Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху.

— Решетка! — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.

— Орел! — сказал я.

Монета взвилась и упала звеня; все бросились к ней.

— Вы счастливы, — сказал я Грушницкому: — вам стрелять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь! — даю вам честное слово.

Он покраснел: ему было стыдно убить человека безоружного; я глядел на него пристально; с минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что я потребую вторичного поединка.

— Пора, — шепнул мне доктор, дергая за рукав: — если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то всё пропало... Посмотрите, он уж заряжает... если вы ничего не скажете, то я сам...

— Ни за что на свете, доктор! — отвечал я, удерживая его за руку: — вы всё испортите; вы мне дали слово не мешать... Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит...

Он посмотрел на меня с удивлением.

— О! это другое!.. только на меня на том свете не жалуйтесь...

Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому, с улыбкою шепнув ему что-то; другой мне.

Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад.

Грушницкий стал против меня и, по данному знаку, начал поднимать пистолет. Колена его дрожали. Он целил мне прямо в лоб.

Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей.

Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту.

— Не могу, — сказал он глухим голосом.

— Трус! — отвечал капитан.

Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтоб поскорей удалиться от края.

— Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся, — сказал капитан: — теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы уж не увидимся! — Они обнялись; капитан едва мог удержаться от смеха: — Не бойся, — прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого, — всё вздор на свете!.. Натура — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка!

После этой трагической фразы, сказанной с приличною важностью, он отошел на свое место; Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого роду чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо раненный в ногу немного сильнее я бы непременно свалился с утеса.

Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку.

— Я вам советую перед смертью помолиться Богу, — сказал я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу: стреляйте скорее.

— И вы не отказываетесь от своей клеветы? Не просите у меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?

— Господин Печорин! — закричал драгунский капитан: — вы здесь не для того, чтоб исповедовать, позвольте вам заметить... Кончимте скорее; неравно кто-нибудь проедет по ущелью — и нас увидят.

— Хорошо. Доктор, подойдите ко мне.

Доктор подошел. Бедный доктор! он был бледнее, чем Грушницкий десять минут тому назад.

Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор.

— Доктор, эти господа, вероятно второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, — и хорошенько!

— Не может быть! — кричал капитан: — не может быть! я зарядил оба пистолета, — разве что из вашего пуля выкатилась... Это не моя вина! — А вы не имеете права перезаряжать... никакого права... это совершенно против правил, — я не позволю.

— Хорошо, — сказал я капитану: — если так, то мы будем стреляться на тех же условиях...

Он замялся.

Грушницкий стоял опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.

— Оставь их! — сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора. — Ведь ты сам знаешь, что они правы.

Напрасно капитан делал ему разные знаки, — Грушницкий не хотел и смотреть.

Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне.

Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой: «Дурак же ты, братец, — сказал он: — пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем... Поделом же тебе! околевай себе как муха...» Он отвернулся и, отходя, пробормотал: «а все-таки это совершенно противу правил».

— Грушницкий! — сказал я; — еще есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу всё; тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено, — вспомни, мы были когда-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.

— Стреляйте! — отвечал он. — Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места...

Я выстрелил.

Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва.

Все в один голос вскрикнули.

— Finita la comedia! — сказал я доктору.

Он не отвечал и с ужасом отвернулся.

Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого.

Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза.

Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели.

Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид человека был мне тягостен: я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго, наконец очутился в месте, мне вовсе незнакомом; я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу; уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади.

Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него, другую… от Веры.

Я распечатал первую: она была следующего содержания:

«Всё устроено как можно лучше: тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиною его смерти несчастный случай; только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно, *если можете*. Прощайте».

Я долго не решался открыть вторую записку… Что могла она мне писать? Тяжелое предчувствие волновало мою душу.

Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти:

«Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу… ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощаньем и исповедью: я обязана сказать тебе всё, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя — ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина; ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла с начала… Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, независящую ни от каких условий; прошло с тех пор много времени: я проникла во все тайны души твоей… и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла.

Мы расстаемся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого; моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно; ничей взор не обещает столько блаженства; никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами, — и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.

Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда; она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня.

Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменилась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза; я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться и что я этому причиной; мне казалось, что я сойду с ума... Но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив: невозможно, чтоб ты умер без меня, невозможно! Мой муж долго ходил по комнате; я не знаю, что он мне говорил, не помню, что я ему отвечала... верно, я ему сказала, что я тебя люблю... Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету... вот уже три часа, как я сижу у окна и жду твоего возврата... Но ты жив, ты не можешь умереть!.. Карета почти готова... Прощай, прощай... Я погибла, — но что за нужда?.. Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить, — не говорю уж любить, — нет, только помнить... Прощай: идут... я должна спрятать письмо...

Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней? — Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла всё на свете...»

Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух, по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, храпя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.

Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! — одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ей руку... Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете, дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И между тем я всё скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте... Оставалось пять верст до Ессентуков, казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Всё было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут. Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод — напрасно; едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; чрез несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал.

И долго я лежал неподвижно, и плакал, горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, всё мое хладнокровие — исчезли, как дым, душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.

Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастием бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не всё ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.

Мне однако приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок.

Всё к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово, и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.

Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо.

Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук, и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огни в строеньях крепости и слободки. На дворе у нас всё было тихо, в доме княгини было темно.

Взошел доктор. Лоб у него был нахмурен, и он против обыкновения не протянул мне руки.

— Откуда вы, доктор?

— От княгини Лиговской; дочь ее больна — расслабление нервов! Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей всё этот старичок рассказал: — как бишь его? — Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь...

Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку... и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень, — и он вышел.

Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того,

кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..

На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость *N*, я зашел к княгине проститься.

Она была удивлена, когда на вопрос ее: имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное? я отвечал, что желаю ей быть счастливой и проч.

— А мне нужно с вами поговорить очень серьезно.

Я сел молча.

Явно было, что она не знала, с чего начать; лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу; наконец она начала так, прерывистым голосом:

— Послушайте, мсье Печорин! я думаю, что вы благородный человек.

Я поклонился.

— Я даже в этом уверена, — продолжала она, — хотя ваше поведение несколько сомнительно; но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее, следственно, рисковали жизнью... Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит (она перекрестилась). Бог ему простит — и, надеюсь, вам также!.. Что до меня касается, то я не смею осуждать вас, потому что дочь моя, хотя невинно, но была этому причиной. Она мне всё сказала... я думаю, всё: вы изъяснились ей в любви... она вам призналась в своей (тут княгиня тяжело вздохнула). Но она больна, и я уверена, что это не простая болезнь! Печаль тайная ее убивает; она не признается, но я уверена, что вы этому причиной... Послушайте, вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства, — разуверьтесь! я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться, — вы имеете состояние; вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастие мужа, — я богата, она у меня одна... Говорите, что вас удерживает?.. Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь — вспомните, у меня одна дочь... одна...

Она заплакала.

— Княгиня, — сказал я: — мне невозможно отвечать вам; позвольте мне поговорить с вашей дочерью, — наедине...

— Никогда! — воскликнула она, встав со стула в сильном волнении.

— Как хотите, — отвечал я, приготовляясь уйти.

Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтоб я подождал, и вышла.

Прошло минут пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мери, но старания мои были напрасны.

Вот двери отворились и взошла она. Боже! как переменилась с тех пор, как я не видал ее, — а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.

Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось искали в моих что-нибудь похожее на надежду; ее бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее нежные руки, сложенные на коленах, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее.

— Княжна, — сказал я: — вы знаете, что я над вами смеялся!.. Вы должны презирать меня.

На ее щеках показался болезненный румянец.

Я продолжал: — Следственно, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.

— Боже мой! — произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.

— Итак, вы сами видите, — сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкою: — вы сами видите, что я не могу на вас жениться; если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь; вот всё, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне ни имели — я ему покоряюсь... Видите ли, я перед вами низок... Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали.

— Я вас ненавижу... — сказала она.

Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.

Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст от Есентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято — вероятно, проезжим казаком, — и вместо седла на спине его сидели два ворона. — Я вздохнул и отвернулся!..

И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное... Нет! я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его

тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани...

III
Фаталист

Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты.

Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С*** очень долго; разговор, против обыкновения, был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro или contra*.

— Всё это, господа, ничего не доказывает, — сказал старый майор: — ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми вы подтверждаете свои мнения...

— Конечно, никто! — сказали многие: — но мы слышали от верных людей...

— Всё это вздор! — сказал кто-то: — где эти верные люди, видевшие список, на котором означен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?..

В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом... Он был родом серб, как видно было из его имени.

Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, — всё это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи.

* За или против (*лат.*) — *Ред.*

Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, которых прелесть трудно постигнуть, не видав их, он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали.

Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зеленым столом он забывал всё и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк; ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк!» — кричал Вулич, не подымаясь, одному из самых горячих понтёров. — «Идет семерка», — отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью; карта была дана.

Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтёра.

— Семерка дана! — закричал он, увидав его наконец в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля и, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами.

Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки.

— Господа! — сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного): — господа, к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнию, или каждому из нас заранее назначена роковая минута... Кому угодно?

— Не мне, не мне! — раздалось со всех сторон: — вот чудак! придет же в голову!..

— Предлагаю пари, — сказал я шутя.

— Какое?

— Утверждаю, что нет предопределения, — сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев, всё, что было у меня в кармане.

— Держу, — отвечал Вулич глухим голосом. — Майор, вы будете судьею; вот пятнадцать червонцев, остальные пять вы мне должны, и сделайте мне дружбу прибавить их к этим.

— Хорошо, — сказал майор: — только не понимаю, право, в чем дело... и как вы решите спор......

Вулич молча вышел в спальню майора. Мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов; мы еще его не понимали; но когда он взвел курок и насыпал на полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки.

— Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие! — закричали ему.

— Господа! — сказал он медленно, освобождая свои руки: — кому угодно заплатить за меня двадцать червонцев?

Все замолчали и отошли.

Вулич вышел в другую комнату и сел у стола. Все последовали за ним. Он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись. Но несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его: я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться.

— Вы нынче умрете, — сказал я ему. Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно:

— Может быть да, может быть и нет...

Потом, обратясь к майору, спросил: заряжен ли пистолет. Майор в замешательстве не помнил хорошенько.

— Да полно, Вулич! — закричал кто-то: — уж верно заряжен, коли в головах висел... что за охота шутить!..

— Глупая шутка, — подхватил другой.

— Держу пятьдесят рублей против пяти, что пистолет не заряжен! — закричал третий.

Составились новые пари.

Мне надоела эта длинная церемония.

— Послушайте, — сказал я: — или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдемте спать.

— Разумеется, — воскликнули многие, — пойдемте спать.

— Господа, я вас прошу не трогаться с места, — сказал Вулич, приставя дуло пистолета ко лбу. Все будто окаменели.

— Господин Печорин, — прибавил он: — возьмите карту и бросьте вверх.

Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху: дыхание у всех остановилось; все глаза, выражая страх и какое-то неопре-

деленное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно; в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок... осечка!

— Слава Богу, — вскрикнули многие: — не заряжен...

— Посмотрим, однако ж, — сказал Вулич. Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над окном, — выстрел раздался — дым наполнил комнату. Когда он рассеялся, сняли фуражку: она была пробита в самой середине, и пуля глубоко засела в стене.

Минуты три никто не мог слова вымолвить. Вулич преспокойно пересыпал в свой кошелек мои червонцы.

Пошли толки о том, отчего пистолет в первый раз не выстрелил; иные утверждали, что вероятно полка была засорена, другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой и что после Вулич присыпал свежего; но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во всё время не спускал глаз с пистолета.

— Вы счастливы в игре, — сказал я Вуличу...

— В первый раз отроду, — отвечал он, самодовольно улыбаясь: — это лучше банка и штосса.

— Зато немножко опаснее.

— А что? вы начали верить предопределению?

— Верю... только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...

Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился.

— Однако же довольно, — сказал он, вставая: — пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны... — Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным, — и недаром!..

Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться; как будто он без меня не мог найти удобного случая!..

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным

странником. Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо, с своими бесчисленными жителями, на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою.

И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли; и к чему это ведет?.. В первой молодости моей я был мечтателем: я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? — одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.

Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы; не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею; но я остановил себя вовремя на этом опасном пути, и имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но по-видимому неживое. Наклоняюсь — месяц уж светил прямо на дорогу — и что же? предо мною лежала свинья, разрубленная пополам шашкой... Едва я успел ее рассмотреть, как услыхал шум шагов: два казака бежали из переулка; один подошел ко мне и спросил: не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.

— Экой разбойник! — сказал второй казак: — как напьется чихиря, так и пошел крошить всё, что ни попало. Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и наконец счастливо добрался до своей квартеры.

Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку, Настю.

Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя!» — сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула.

Я затворил за собою дверь моей комнаты, засветил свечу и бросился на постель; только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул, но видно было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь. В четыре часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?.. «Вставай, одевайся!» — кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что случилось?» — сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною; они были бледны, как смерть.

— Что?

— Вулич убит.

Я остолбенел.

— Да, убит, — продолжали они: — пойдем скорее.

— Да куда же?

— Дорогой узнаешь.

Мы пошли. Они рассказали мне всё, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вулич шел один по темной улице; на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «кого ты, братец, ищешь?» — «*Тебя!*» — отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца... Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: «он прав!». Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня, я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.

Убийца заперся в пустой хате, на конце станицы. Мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону. По временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была страшная.

Вот, наконец, мы пришли: смотрим, вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между

собою; женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние; она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие?

Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отваживался броситься первый. Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня: бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет; окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом; порою он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.

В это время старый есаул подошел к двери и назвал его по имени; тот откликнулся.

— Согрешил, брат Ефимыч, — сказал есаул: — так уж нечего делать, покорись.

— Не покорюсь, — отвечал казак.

— Побойся Бога, ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин; — ну уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь.

— Не покорюсь! — закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.

— Эй, тетка, — сказал есаул старухе: — поговори сыну; авось тебя послушает... Ведь это только Бога гневить. Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются.

Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой.

— Василий Петрович, — сказал есаул, подойдя к майору: — он не сдастся: я его знаю; а если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? в ставне щель широкая.

В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу.

— Погодите, — сказал я майору: — я его возьму живого.

Велев есаулу завести с ним разговор и поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить и броситься мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось.

— Ах ты окаянный! — кричал есаул: — что ты над нами смеешься, что ли? али думаешь, что мы с тобой не совладаем? — Он стал стучать в дверь изо всей силы: я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, — и вдруг оторвал ставень и бросил-

ся в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки; казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уже связан и отведен под конвоем. Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли — и точно, было с чем!

После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, убежден ли он в чем, или нет?.. И как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..

Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!

Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу всё, что случилось со мною и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, значительно покачав головою:

— Да-с! конечно-с! — это штука довольно мудреная! Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны, или недовольно крепко прижмешь пальцем; признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны, — приклад маленький, того и гляди, нос обожжет... Зато уж шашки у них — просто мое почтение!

Потом он промолвил, несколько подумав:

— Да, жаль беднягу... Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано...

Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений.

КОНЕЦ

494. КАВКАЗЕЦ

Во-первых, что такое именно кавказец и какие бывают кавказцы? Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское; наклонность к обычаям восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть при заезжих из России. Ему большею частью от 30 до 45 лет; лицо у него загорелое и немного рябоватое; если он не штабс-капитан, то уж верно майор. Настоящих кавказцев вы находите на Линии; за горами, в Грузии, они имеют другой оттенок; статские кавказцы редки; они большею частию неловкое подражание, и если вы между ними встретите *настоящего*, то разве только между полковых медиков.

Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия. До 18 лет он воспитывался в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером; он потихоньку в классах читал «Кавказского Пленника» и воспламенился страстью к Кавказу. Он с 10 товарищами был отправлен туда на казенный счет с большими надеждами и маленьким чемоданом. Он еще в Петербурге сшил себе ахалук, достал мохнатую шапку и черкесскую плеть на ямщика. Приехав в Ставрополь, он дорого заплатил за дрянной кинжал, и первые дни, пока не надоело, не снимал его ни днем, ни ночью. Наконец он явился в свой полк, который расположен на зиму в какой-нибудь станице, тут влюбился, как следует, в казачку пока до экспедиции; всё прекрасно! сколько поэзии! Вот пошли в экспедицию; наш юноша кидался всюду, где только провизжала одна пуля. Он думает поймать руками десятка два горцев, ему снятся страшные битвы, реки крови и генеральские эполеты. Он во сне совершает рыцарские подвиги — мечта, вздор, неприятеля не видать, схватки редки, и, к его великой печали, горцы не выдерживают штыков, в плен не сдаются, тела свои уносят. Между тем жары изнурительны летом, а осенью слякоть и холода. Скучно! промелькнуло пять, шесть лет: всё одно и то же. Он приобретает опытность, становится холодно храбр и смеется над новичками, которые подставляют лоб без нужды.

Между тем хотя грудь его увешана крестами, а чины нейдут. Он стал мрачен и молчалив; сидит себе да покуривает из маленькой трубочки; он также на свободе читает Марлинского и говорит, что очень хорошо; в экспедицию он больше не напрашивается: старая рана болит! Казачки его не прельщают, он одно время мечтал о пленной черкешенке, но теперь забыл и эту почти несбыточную мечту. Зато у него явилась новая страсть, и тут-то он делается настоящим кавказцем.

Эта страсть родилась вот каким образом: последнее время он подружился с одним мирным черкесом; стал ездить к нему в аул. Чуждый утон-

ченностей светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного. Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств. Знает, какой князь надежный и какой плут; кто с кем в дружбе и между кем и кем есть кровь. Он легонько маракует по-татарски; у него завелась шашка, настоящая *гурда*, кинжал — старый *базалай*, пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, которую он сам смазывает, лошадь — чистый *Шаллох* и весь костюм черкесский, который надевается только в важных случаях и сшит ему в подарок какой-нибудь дикой княгиней. Страсть его ко всему черкесскому доходит до невероятия. Он готов целый день толковать с грязным узденем о дрянной лошади и ржавой винтовке и очень любит посвящать других в таинства азиатских обычаев. С ним бывали разные казусы предивные, только послушайте. Когда новичок покупает оружие или лошадь у его приятеля узденя, он только исподтишка улыбается. О горцах он вот так отзывается: «Хороший народ, только уж такие азиаты! Чеченцы, правда, дрянь, зато уж кабардинцы просто молодцы; ну есть и между шапсугами народ изрядный, только всё с кабардинцами им не равняться, ни одеться так не сумеют, ни верхом проехать... хотя и чисто живут, очень чисто!»

Надо иметь предубеждение кавказца, чтобы отыскать что-нибудь чистое в черкесской сакле.

Опыт долгих походов не научил его изобретательности, свойственной вообще армейским офицерам; он франтит своей беспечностью и привычкой переносить неудобства военной жизни, он возит с собой только чайник, и редко на его бивачном огне варятся щи. Он равно в жар и в холод носит под сюртуком ахалук на вате и на голове баранью шапку; у него сильное предубежденье против шинели в пользу бурки; бурка его тога, он в нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее раздувает — ничего! бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча, он спит на ней и покрывает ею лошадь; он пускается на разные хитрости и пронырства, чтобы достать настоящую Андийскую бурку, особенно белую с черной каймой внизу, и тогда уже смотрит на других с некоторым презрением. По его словам, его лошадь скачет удивительно — вдаль! поэтому-то он с вами не захочет скакаться только на 15 верст. Хотя ему порой служба очень тяжела, но он поставил себе за правило хвалить кавказскую жизнь; он говорит кому угодно, что на Кавказе служба очень приятна.

Но годы бегут, кавказцу уже 40 лет, ему хочется домой, и если он не ранен, то поступает иногда таким образом: во время перестрелки кладет

голову за камень, а ноги выставляет *на пенсион*; это выражение там освящено обычаем. Благодетельная пуля попадает в ногу, и он счастлив. Отставка с пенсионом выходит, он покупает тележку, запрягает в нее пару верховых кляч и помаленьку пробирается на родину, однако останавливается всегда на почтовых станциях, чтоб поболтать с проезжающими. Встретив его, вы тотчас отгадаете, что он *настоящий*, даже в Воронежской губернии он не снимает кинжала или шашки, как они его ни беспокоят. Станционный смотритель слушает его с уважением, и только тут отставной герой позволяет себе прихвастнуть, выдумать небылицу; на Кавказе он скромен — но ведь кто ж ему в России докажет, что лошадь не может проскакать одним духом 200 верст и что никакое ружье не возьмет на 400 сажен в цель? Но увы, большею частию он слагает свои косточки в земле басурманской. Он женится редко, а если судьба и обременит его супругой, то он старается перейти в гарнизон и кончает дни свои в какой-нибудь крепости, где жена предохраняет его от гибельной для русского человека привычки.

Теперь еще два слова о других кавказцах, *не настоящих*. Грузинский кавказец отличается тем от настоящего, что очень любит кахетинское и широкие шелковые шаровары. Статский кавказец редко облачается в азиатский костюм; он кавказец более душою, чем телом: занимается археологическими открытиями, толкует о пользе торговли с горцами, о средствах к их покорению и образованию. Послужив там несколько лет, он обыкновенно возвращается в Россию с чином и красным носом.

495. <ШТОСС>

1

У графа В... был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема; в числе гостей мелька<ло> несколько литераторов и ученых; две или три модные красавицы; несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер. Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина; всё шло своим чередом; было ни скучно, ни весело.

В ту самую минуту как новоприезжая певица подходила к роялю и развертывала ноты... одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую. На ней было черное платье, кажется по случаю придворного траура. На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель; она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще молодое правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли.

— Здравствуйте, мсье Лугин, — сказала Минская кому-то; — я устала... скажите что-нибудь! — и она опустилась в широкое пате возле камина: тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей.

— Скучно, — сказала Минская и снова зевнула, — вы видите, я с вами не церемонюсь! — прибавила она.

— И у меня сплин! — ...отвечал Лугин.

— Вам опять хочется в Италию! — сказала она после некоторого молчания. — Не правда ли?

Лугин в свою очередь не слыхал вопроса; он продолжал, положив ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы: — Вообразите, какое со мной несчастье: что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи! — вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми, — и одни только люди! добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите; я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. Так нет! всё остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимоны.

Минская улыбнулась. — Призовите доктора, — сказала она.

— Доктора́ не помогут — это сплин!

— Влюбитесь! — (Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее: «мне бы хотелось его немножко помучить!»)

— В кого?

— Хоть в меня!

— Нет! вам даже кокетничать со мною было бы скучно — и потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.

— А эта, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?..

— Вот видите, — отвечал задумчиво Лугин, — я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти — но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке кстати трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастию; — я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? — вышло нет; — я дурен — и, следственно, женщина меня любить не может, это ясно: артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас, они чаще и долее нас покорны первому впечатлению; если я умел подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне неимоверных трудов и жертв — но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви; к моей страсти примешивалось всегда немного злости — всё это грустно — а правда!..

— Какой вздор! — сказала Минская, — но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.

Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то, что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые делают человека приятным <в> обществе; он был неловко и грубо сложен; говорил резко и отрывисто; больные и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга, делали его на вид старее, чем он был в самом деле; он три года лечился в Италии от ипохондрии, — и хотя не вылечился, но по крайней мере нашел средство развлекаться с пользой; он пристрастился к живописи; природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.

Лугин уже два месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской: ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечат-

ление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине.

Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гёте: «Лесной царь». Когда она кончила, Лугин встал.

— Куда вы? — спросила Минская.

— Прощайте.

— Еще рано.

Он опять сел.

— Знаете ли, — сказал он с какою-то важностию, — что я начинаю сходить с ума?

— Право?

— Кроме шуток. Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера — и как вы думаете что? — адрес:— вот и теперь слышу: в Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титюлярного сове<тника> Штосса, квартира номер 27. — И так шибко, шибко, — точно торопится... несносно!..

Он побледнел. Но Минская этого не заметила.

— Вы, однако, не видите того, кто говорит? — спросила она рассеянно.

— Нет. Но голос звонкий, резкий, дишкант.

— Когда же это началось?

— Признаться ли? я не могу сказать наверное... не знаю... ведь это, право, презабавно! — сказал он, принужденно улыбаясь.

— У вас кровь приливает к голове, и в ушах звенит.

— Нет, нет. Научите, как мне избавиться?

— Самое лучшее средство, — сказала Минская, подумав с минуту, — идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как, верно, в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер, — то для приличия закажите ему работу, и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что... вы в самом деле нездоровы!.. — прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием.

— Вы правы, — отвечал угрюмо Лугин, — я непременно пойду.

Он встал, взял шляпу и вышел.

Она посмотрела ему вослед с удивлением.

2

Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная

шерсть их бедных кляч завивалась барашком; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши чиновника, — да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как например... у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста, ни худой, ни толстый, не стройный, но с широкими плечами, в пальто, и вообще одетый со вкусом; жалко было видеть его лакированные сапоги, вымоченные снегом и грязью; но он, казалось, об этом нимало не заботился; засунув руки в карманы, повеся голову, он шел неровными шагами, как будто боялся достигнуть цель своего путешествия или не имел ее вовсе. На мосту он остановился, поднял голову и осмотрелся. То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице, в глазах горело тайное беспокойство.

— Где Столярный переулок? — спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом, закрывшись по шею мохнатою полостию и насвистывая камаринскую.

Извозчик посмотрел на него, хлыстнул лошадь кончиком кнута и проехал мимо.

Ему это показалось странно. Уж полно, есть ли Столярный переулок? Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу.

— Столярный? — сказал мальчик, — а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо, — первый переулок и будет Столярный.

Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидал небольшой грязный переулок, в котором с каждой стороны было не больше 10 высоких домов. Он постучал в дверь первой мелочной лавочки и, вызвав лавочника, спросил: «Где дом Штосса?»

— Штосса? Не знаю, барин, здесь этаких нет; а вот здесь рядом есть дом купца Блинникова, — а подальше...

— Да мне надо Штосса...

— Ну не знаю, — Штосса! — сказал лавочник, почесав затылок, — и потом прибавил: — нет, не слыхать-с!

Лугин пошел сам смотреть надписи; что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал. Так он добрался почти до конца переулка, и ни одна надпись ничем не поразила его воображения, как вдруг он кинул случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидал над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи.

Он подбежал к этим воротам — и сколько ни рассматривал, не заметил ничего похожего даже на следы стертой временем надписи; доска была совершенно новая.

Под воротами дворник в долгополом полинявшем кафтане, с седой давно небритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.

— Эй! дворник, — закричал Лугин.

Дворник что-то проворчал сквозь зубы.

— Чей это дом?

— Продан! — отвечал грубо дворник.

— Да чей он был.

— Чей? — Кифейкина, купца.

— Не может быть, верно Штосса! — вскрикнул невольно Лугин.

— Нет, был Кифейкина — а теперь так Штосса! — отвечал дворник, не подымая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилось, как будто предчувствуя несчастие. Должен ли он был продолжать свои исследования? не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться — хотя видим нас ожидающую бездну.

Лугин долго стоял перед воротами. Наконец обратился к дворнику с вопросом.

— Новый хозяин здесь живет?

— Нет.

— А где же?

— А черт его знает.

— Ты уж давно здесь дворником?

— Давно.

— А есть в этом доме жильцы?

— Есть.

— Скажи, пожалуйста, — сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику целковый, — кто живет в 27 номере?

Дворник поставил метлу к воротам, взял целковый и пристально посмотрел на Лугина.

— В 27 номере?.. да кому там жить! — он уж Бог знает сколько лет пустой.

— Разве его не нанимали?

— Как не нанимать, сударь, — нанимали.

— Как же ты говоришь, что в нем не живут!

— А Бог их знает! так-таки не живут. Наймут на год — да и не переезжают.

— Ну а кто его последний нанимал?

— Полковник, из анженеров, что ли!

— Отчего же он не жил?

— Да переехал было... а тут, говорят, его послали в Вятку — так номер пустой за ним и остался.

— А прежде полковника?

— Прежде его было нанял какой-то барон, из немцев — да этот и не переезжал; слышно, умер.

— А прежде барона?

— Нанимал купец для какой-то своей... гм! — да обанкрутился, так у нас и задаток остался...

«Странно!» — подумал Лугин.

— А можно посмотреть номер?

Дворник опять пристально взглянул на него.

— Как нельзя? — можно! — отвечал он и пошел переваливаясь за ключами.

Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке, и дверь отворилась; им в лицо пахнуло сыростью. Они взошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамками рококо; вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность.

Они, не знаю почему, понравились Лугину.

— Я беру эту квартиру, — сказал он. — Вели вымыть окна и вытереть мебель... посмотри, сколько паутины! — да надо хорошенько вытопить... — В эту минуту он заметил на стене последней комнаты поясной портрет, изображавший человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, платье, волосы, рука, перстни, всё было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случалось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно наброшенной

на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить их на бумагу! вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший, — и очарование исчезает; рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое отступление — и прежнее выражение погибло невозвратно. В лице портрета дышало именно то *неизъяснимое*, возможное только гению или случаю.

«Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру!» — подумал Лугин.

Он сел в кресла, опустил голову на руку и забылся.

Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.

— Что ж, барин? — проговорил он наконец.

— А!

— Как же? — коли берете, так пожалуйте задаток.

Они условились в цене, Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозиться, а сам просидел против портрета до вечера; в 9 часов самые нужные вещи были перевезены из гостиницы, где жил до сей поры Лугин.

«Вздор, чтоб на этой квартире нельзя было жить», — думал Лугин. «Моим предшественникам, видно, не суждено было в нее перебраться — это, конечно, странно! — Но я взял свои меры: переехал тотчас! — что-ж? — ничего!»

До двенадцати часов он с своим старым камердинером Никитой расставлял вещи...

Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет.

Перед тем, чтоб лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами: *Середа.*

— Какой нынче день? — спросил он Никиту.

— Понедельник, сударь...

— Послезавтра середа! — сказал рассеянно Лугин.

— Точно так-с!..

Бог знает почему Лугин на него рассердился.

— Пошел вон! — закричал он, топнув ногою.

Старый Никита покачал головою и вышел.

После этого Лугин лег в постель и заснул.

На другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин.

3

В числе недоконченных картин, большею частию маленьких, была одна размера довольно значительного; посреди холста, исчерченного углем, мелом и загрунтованного зелено-коричневой краской, эскиз женской головки остановил бы внимание знатока; но, несмотря на прелесть рисунка и на живость колорита, она поражала неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки; видно было, что Лугин перерисовывал ее в других видах и не мог остаться довольным, потому что в разных углах холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской. То не был портрет; может быть, подобно молодым поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой идеал — женщину-ангела; причуда, понятная в первой юности, но редкая в человеке, который сколько-нибудь испытал жизнь. Однако есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий. Самый тонкий плут, самая опытная кокетка с трудом могли бы его провесть, а сам себя он ежедневно обманывал с простодушием ребенка. С некоторого времени его преследовала постоянная идея, мучительная и несносная, тем более, что от нее страдало его самолюбие: он был далеко не красавец, это правда, однако в нем ничего не было отвратительного, и люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили даже выражение лица его довольно приятным; но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви, и стал смотреть на женщин как на природных своих врагов, подозревая в случайных их ласках побуждения посторонние и объясняя грубым и положительным образом самую явную их благосклонность. Не стану рассматривать, до какой степени он был прав, но дело в том, что подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу, любовь самую невинную и вместе самую вредную для человека с воображением.

В этот день, который был вторник, ничего особенного с Лугиным не случилось: он до вечера просидел дома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его; хотел рисовать — кисти выпадали из рук; пробовал читать — взоры его скользили над строками и читали совсем не то, что было написано; его бросало в жар и в холод; голова болела; звенело в ушах. Когда смерклось, он не велел подавать свеч и сел у окна, которое выходило на двор; на дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна; — он долго сидел; вдруг на дворе заиграла шарманка: она играл<а> какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал — ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое

беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться... он бросился на постель и заплакал: ему представилось всё его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, как часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки, — и он с ужасом заметил и признался, что он недостоин был любви безотчетной и истинной, — и ему стало так больно! так тяжело!

Около полуночи он успокоился; — сел к столу, зажег свечу, взял лист бумаги и стал что-то чертить; — всё было тихо вокруг. — Свеча горела ярко и спокойно; он рисовал голову старика, — и когда кончил, то его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым! Он поднял глаза на портрет, висевший против него, — сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся; ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, заскрипела; глаза его не могли оторваться от двери.

— Кто там? — вскрикнул он.

За дверьми послышался шорох, как будто хлопали туфли; известка посыпалась с печи на пол. «Кто это»? — повторил он слабым голосом.

В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыхание повеяло в комнату; — дверь отворялась сама; в той комнате было темно, как в погребе.

Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сгорбленный старичок; он медленно подвигался приседая; лицо его, бледное и длинное, было неподвижно; губы сжаты, серые мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрели прямо без цели. И вот он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой, и улыбнулся.

— Что вам надобно? — сказал Лугин с храбрость<ю> отчаяния. Его кулаки судорожно сжимались, и он был готов пустить шандалом в незваного гостя.

Под халатом вздохнуло.

— Это несносно! — сказал Лугин задыхающимся голосом. Его мысли мешались.

Старичок зашевелился на стуле; вся его фигура изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съеживался; наконец принял прежний вид.

«Хорошо, — подумал Лугин, — если это привидение, то я ему не поддамся».

— Не угодно ли, я вам промечу штосс? — сказал старичок.

Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и отвечал насмешливым тоном: «а на что же мы будем играть? — я вас предваряю, что душу свою на карту не поставлю! (он думал этим озадачить привидение)... а если хотите, — продолжал он, — я поставлю клюнгер; не думаю, чтоб водились в вашем воздушном банке».

Старичка эта шутка нимало не сконфузила.

«У меня в банке вот это!» — отвечал он, протянув руку. «Это? — сказал Лугин, испугавшись и кинув глаза налево; —Что это?» — Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся. «Мечите!» — потом сказал он оправившись и, вынув из кармана клюнгер, положил его на карту. «Идет, темная». Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин поставил семерку бубен, и она с оника была убита; старичок протянул руку и взял золотой.

— Еще талью! — сказал с досадою Лугин.

Оно покачало головою.

— Что же это значит?

— В середу, — сказал старичок.

— А! в середу! — вскрикнул в бешенстве Лугин; так нет же! — не хочу в середу! — завтра или никогда! слышишь ли?

Глаза странного гостя пронзительно засверкали, и он опять беспокойно зашевелился.

— Хорошо, — наконец сказал он, встал, поклонился и вышел приседая. Дверь опять тихо за ним затворилась; в соседней комнате опять захлопали туфли... и мало-помалу всё утихло. У Лугина кровь стучала в голову молотком; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что он проиграл!..

«Однако ж я не поддался ему! — говорил он, стараясь себя утешить: — переупрямил. В середу! — как бы не так! что я за сумасшедший! Это хорошо, очень хорошо!.. он у меня не отделается».

— А как похож на этот портрет!.. ужасно, ужасно похож! — а! теперь я понимаю!..

На этом слове он заснул в креслах. На другой день поутру никому о случившемся не говорил, просидел целый день дома и с лихорадочным нетерпением дожидался вечера.

«Однако я не посмотрел хорошенько на то, что у него <в> банке! — думал он, — верно что-нибудь необыкновенное!»

Когда наступила полночь, он встал с своих кресел, вышел в соседнюю комнату, запер на ключ дверь, ведущую в переднюю, и возвратился на свое место; он недолго дожидался; опять раздался шорох, хлопанье ту-

фелей, кашель старика, и в дверях показал<ась> его мертвая фигура. За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы.

Старичок сел, как накануне положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, по-видимому, не ожидая от Лугина никакого сопротивления; в его глазах блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем. Лугин, остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием его серых глаз, уже бросил было на стол два полуимпериала, как вдруг он опомнился.

— Позвольте, — сказал он, накрыв рукою свою колоду.

Старичок сидел неподвижен.

— Что бишь я хотел сказать! — позвольте, — да! — Лугин запутался.

Наконец сделав усилие, он медленно проговорил:

— Хорошо... я с вами буду играть — я принимаю вызов — я не боюсь — только с условием: я должен знать, с кем играю! Как ваша фамилия?

Старичок улыбнулся.

— Я иначе не играю, — проговорил Лугин, — и меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.

— Что-с? — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.

— Штос? — кто? — У Лугина руки опустились: он испугался. В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыхание; и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновенье. Странный, сладкий и вместе <болез>ненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновенье <оберну>л голову и тотчас опять устремил взор на карты: <но э>того минутного взгляда было бы довольно, чтоб заставить <его пр>оиграть душу. То было чудное и божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая... она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное — то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак... потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда, — то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях и плачем, и молим, и радуемся Бог знает чему — одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.

В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось, но с этой минуты он решился играть, пока не выиграет; эта цель сделалась целью его жизни: он был этому очень рад.

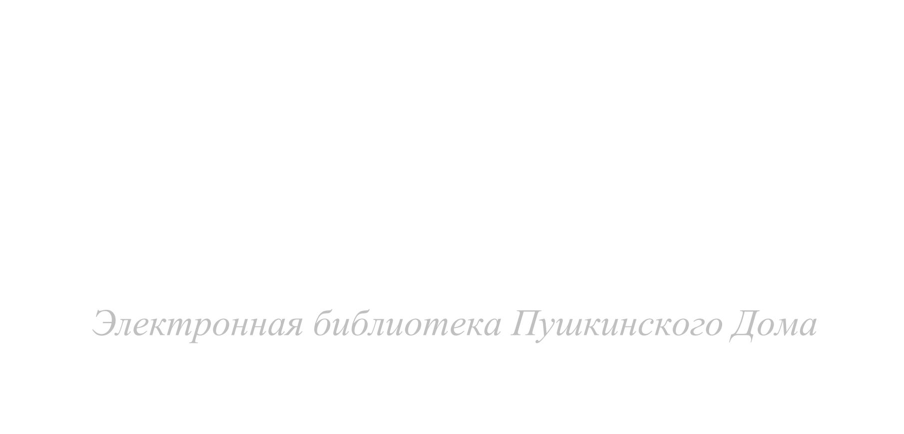
Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.

— Завтра, — сказал Лугин.

Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.

Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал; но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому всё удваивал куши: он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку — за которые он готов был отдать всё на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свиданья, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой; — *она* — не знаю, как назвать ее? — она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика; и всякий ра<з>, когда карта Лугина была убита и <он с> грустным взором оборачивался <к ней>, на него смотрели эти страстные, глубокие глаза, которые, <казалось>, говорили: «смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоя, во что бы то ни стало! я тебя люблю...» и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты. — И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце — отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился.

ПРИЛОЖЕНИЯ



496. ПАНОРАМА МОСКВЫ

Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! у нее есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта!.. Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!.. Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Беетговена, в которой густой рев контрбаса, треск литавр с пением скрыпки и флейты образуют одно великое целое; — и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод!..

О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, взобравшись на самый верхний ярус Ивана Великого, облокотясь на узкое мшистое окно, к которому привела вас истертая, скользкая, витая лестница, и думать, что весь этот оркестр гремит под вашими ногами, и воображать, что всё это для вас одних, что вы царь этого невещественного мира, и пожирать очами этот огромный муравейник, где суетятся люди, для вас чуждые, где кипят страсти, вами на минуту забытые!.. Какое блаженство разом обнять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир — с высоты!

На север перед вами, в самом отдалении на краю синего небосклона, немного правее Петровского замка, чернеет романическая Марьина роща, и пред нею лежит слой пестрых кровель, пересеченных кое-где пыльной зеленью булеваров, устроенных на древнем городском валу; на крутой горе,

усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе! Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы, всё хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться.

Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, более европейский; проглядывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесенные чугунными решетками, бесчисленные главы церквей, шпицы колоколен с ржавыми крестами и пестрыми раскрашенными карнизами.

Еще ближе, на широкой площади, возвышается Петровский театр, произведение новейшего искусства, огромное здание, сделанное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей и величественным портиком, на коем возвышается алебастровый Аполлон, стоящий на одной ноге в алебастровой колеснице, неподвижно управляющий тремя алебастровыми конями и с досадою взирающий на кремлевскую стену, которая ревниво отделяет его от древних святынь России!..

На восток картина еще богаче и разнообразнее: за самой стеной, которая вправо спускается с горы и оканчивается круглой угловой башнею, покрытой, как чешуею, зелеными черепицами; — немного левее этой башни являются бесчисленные куполы церкви Василия Блаженного, семидесяти приделам которой дивятся все иностранцы и которую ни один русский не потрудился еще описать подробно.

Она, как древний Вавилонский столп, состоит из нескольких уступов, кои оканчиваются огромной, зубчатой, радужного цвета главой, чрезвычайно похожей (если простят мне сравнение) на хрустальную граненую пробку старинного графина. Кругом нее рассеяно по всем уступам ярусов множество второклассных глав, совершенно не похожих одна на другую; они рассыпаны по всему зданию без симметрии, без порядка, как отрасли старого дерева, пресмыкающиеся по обнаженным корням его.

Витые тяжелые колонны поддерживают железные кровли, повисшие над дверями и наружными галереями, из коих выглядывают маленькие темные окна, как зрачки стоглазого чудовища. Тысячи затейливых иероглифических изображений рисуются вокруг этих окон; изредка тусклая лампада светится сквозь стекла их, загороженные решетками, как блещет ночью мирный светляк сквозь плющ, обвивающий полуразвалившуюся башню. Каждый придел раскрашен снаружи особенною краской, как будто они не были выстроены все в одно время, как будто каждый владетель Москвы в продолжение многих лет прибавлял по одному, в честь своего ангела.

Весьма немногие жители Москвы решались обойти все приделы сего храма. Его мрачная наружность наводит на душу какое-то уныние; кажется, видишь перед собою самого Иоанна Грозного, — но таковым, каков он был в последние годы своей жизни!

И что же? — рядом с этим великолепным, угрюмым зданием, прямо против его дверей, кипит грязная толпа, блещут ряды лавок, кричат разносчики, суетятся булошники у пьедестала монумента, воздвигнутого Минину; гремят модные кареты, лепечут модные барыни, ...всё так шумно, живо, неспокойно!..

Вправо от Василия Блаженного, под крутым скатом, течет мелкая, широкая, грязная Москва-река, изнемогая под множеством тяжких судов, нагруженных хлебом и дровами; их длинные мачты, увенчанные полосатыми флюгерями, встают из-за Москворецкого моста, их скрыпучие канаты, колеблемые ветром, как паутина, едва чернеют на голубом небосклоне. На левом берегу реки, глядясь в ее гладкие воды, белеет воспитательный дом, коего широкие голые стены, симметрически расположенные окна и трубы и вообще европейская осанка резко отделяются от прочих соседних зданий, одетых восточной роскошью или исполненных духом средних веков. Далее к востоку на трех холмах, между коих извивается река, пестреют широкие массы домов всех возможных величин и цветов; утомленный взор с трудом может достигнуть дальнего горизонта, на котором рисуются группы нескольких монастырей, между коими Симонов примечателен особенно своею почти между небом и землей висящею платформой, откуда наши предки наблюдали за движениями приближающихся татар.

К югу, под горой, у самой подошвы стены кремлевской, против Тайницких ворот, протекает река, и за нею широкая долина, усыпанная домами и церквами, простирается до самой подошвы Поклонной горы, откуда Наполеон кинул первый взгляд на гибельный для него Кремль, откуда в первый раз он увидал его вещее пламя: этот грозный светоч, который озарил его торжество и его падение!

На западе, за длинной башней, где живут и могут жить одни ласточки (ибо она, будучи построена после французов, не имеет внутри ни потолков, ни лестниц, и стены ее росперты крестообразно поставленными брусьями), возвышаются арки каменного моста, который дугою перегибается с одного берега на другой; вода, удержанная небольшой запрудой, с шумом и пеною вырывается из-под него, образуя между сводами небольшие водопады, которые часто, особливо весною, привлекают любопытство московских зевак, а иногда принимают в свои недра тело бедного грешника. Далее моста, по правую сторону реки, отделяются на небосклоне зубчатые силуэты Алексеевского монастыря; по левую, на равнине между кровлями купеческих домов,

блещут верхи Донского монастыря... А там — за ним одеты голубым туманом, восходящим от студеных волн реки, начинаются Воробьевы горы, увенчанные густыми рощами, которые с крутых вершин глядятся в реку, извивающуюся у их подошвы подобно змее, покрытой серебристою чешуей.

Когда склоняется день, когда розовая мгла одевает дальние части города и окрестные холмы, тогда только можно видеть нашу древнюю столицу во всем ее блеске, ибо подобно красавице, показывающей только вечером свои лучшие уборы, она только в этот торжественный час может произвести на душу сильное, неизгладимое впечатление.

Что сравнить с этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки?..

Он алтарь России, на нем должны совершаться и уже совершались многие жертвы, достойные отечества... Давно ли, как баснословный феникс, он возродился из пылающего своего праха?!

Что величественнее этих мрачных храмин, тесно составленных в одну кучу, этого таинственного дворца Годунова, коего холодные столбы и плиты столько лет уже не слышат звуков человеческого голоса, подобно могильному мавзолею, возвышающемуся среди пустыни в память царей великих?!..

Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно... Надо видеть, видеть... надо чувствовать всё, что они говорят сердцу и воображению!..

Юнкер Л. Г. Гусарского Полка Лермантов.

ПЛАНЫ И НАБРОСКИ

497. СЮЖЕТ ТРАГЕДИИ

Отец с дочерью, ожидают сына, военного, который приедет в отпуск. Отец разбойничает в своей деревне, и дочь самая злая убийца. Сын хочет сюрприз сделать отцу и прежде, нежели писал, отправляется. Приехав, недалеко от деревни становится в трактире. Он находит здесь любезную свою с матерью. Они просят, чтоб он ночевал, ибо боятся разбойников. Он соглашается. Вдруг разбойники ночью приезжают. Он защищается и отрубает руку у одного. Его запирают в его комнате. Когда всё утихло, он вырывается. Уходит и приносит труп своей любезной, клянется отомстить ее. Для этого спешит к отцу, чтоб там найти помощь.

Ночь у отца. Дочь примеривает платья убитых несколько дней тому назад; люди прибирают мертвые тела. Прибегает вскоре сын, сказывает о себе, его впускают, он рассказывает сестре свое несчастие — вдруг отец — он без руки... сын к нему — и видит — в отчаянии убегает. Смятение в дому. Меж тем полиция узнала не о сем, но о другом недавнем злодеянии и приходит; сын сам объявляет об отце: вбегает с *ними.* Полиция. Отца схватывают и уводят. Сын застреливается. Тут вбегает служитель старый сына, добрый, хочет его увидеть и видит его мертвого.

498. СЮЖЕТ ТРАГЕДИИ

В Америке (дикие, угнетенные испанцами. Из романа французского Аттала).

499

Прежде от матерей и отцов продавали дочерей казакам на ярмарках как негров: это в трагедии поместить.

500. СЮЖЕТ ТРАГЕДИИ

Молодой человек в России, который не дворянского происхождения, отвергаем обществом, любовью, унижаем начальниками (он был из поповичей или из мещан, учился в университете и вояжировал на казенный счет). — Он застреливается.

501. ЭПИТАФИЯ ПЛОДОВИТОГО ПИСАКИ

Здесь покоится человек, который никогда не видал перед собою белой бумаги.

502

В следующей сатире всех разругать, и одну грустную строфу. Под конец сказать, что я напрасно писал и что если б это перо в палку обратилось, а какое-нибудь божество новых времен приударило в них, оно — лучше.

503

(*Написать записки молодого монаха 17-и лет. — С детства он в монастыре; кроме священных книг не читал. — Страстная душа томится. — Идеалы...*).

504

Написать шутливую поэму, приключения богатыря.

505

Memor: перевесть в прозе: The Dream of Lord Byron — pour miss Alexandrine.

506

Memor: написать трагедию: *Марий, из Плутарха.*

1) *дейст<вие>.* Его жизнь в Риме во время его конс<ульства> и изгнание Силлою.

2) Когда Марий в изгнании бродит, и взят, и Цибрский невольник не смеет убить его.

3) Сын Мария при дворе сатрапа освобождаем невольницею, и Марий в Карфагене.

4) Цинна в Риме, пришествие Мария, тиранства, убийства, и проч. (между прочим: Антония, оратора убили).

5) Марий предчувствует гибель. Он умирает. Сластолюбивый сын его тиранствует, но, угрожаем Силлою, бежит из Рима и в Пренесте убивает себя.

Сыну Мария перед смертью в 5-м дейст<вии> является тень его отца и повелевает умереть; ибо род их должен ими кончиться.

507

Memor: прибавить к «Странному человеку» еще сцену, в которой читают историю его детства, которая нечаянно попалась Белинскому.

508

[При дворе князя Владимира был один молодой витязь, варяг, прекрасный, умный, но честолюбивый и гордый; пылкость его была во всем; он много наслаждался, и всё начинало ему надоедать, говорили, что он не христианин и что волшебная сила над ним владеет. Однажды ночью он стоял на часах у дворца, при свете лампады; вдруг является тень девы и зовет его жалобно, умоляя спасти ее; он следует за нею; выходит из ворот; она исчезла, взяв от него клятву, что он спасет ее, и сказав, что она под властью чародея. На другой день витязь уезжает, ни с кем не простившись, ибо он был сирота; — едет витязь степью, лесом и горами; и видит крест на холме; и несколько пещер, и слышит звон; подъезжает и видит: один *инок* звонит, читает молитву, а двое копают могилу; тут на траве лежит мертвая женщина, прекрасная и бледная. — Он взглянул, и сердце его забилось; он не заплакал, но чувство, полное муки и тайного удовольствия, пролилось по его сердцу; — он любит мертвую? — нет, это одно расстройство воображения. — Витязь удаляется; подъезжает к реке; и вечером засыпает при свете молодого месяца и при

песни лебедя; — видит страшный сон. — Поутру его будит поцелуй; дева, которая манила его, стоит перед ним и ведет в свой хрустальный чертог; там всё полно неги, но витязь не любит ее; мысли его летят к умершей, сердце ноет, и он должен подавлять его. Дева рассказывает ему свою повесть, как царь Стамфул превратил ее в лебедя и как она посредством старухи избегнула его любви; он уходит от нее, чтоб достать цветок жизни в замке Стамфула, который за рекой великой; он пускает коня и садится в лодку; пловец этот ему рассказывает свою повесть и за что он осужден всегда ездить и не может вылезть.

Переехав речку, витязь видит два ворона, которые всё вокруг него летают; «что? ужели вы мне предвещаете смерть?» — сказал он им; «нет, витязь, — говорит один ворон, — я хочу тебе помочь, я тебя проведу куда надо». Витязь идет за вороном и спрашивает, отчего он говорит как человек; ворон рассказывает ему, что их два брата было и за что Стамфул превратил их в воронов, он рассказывает, как достать цветок жизни; они подходят к древнему замку; ворота отперты; всё пусто; ворон просил витязя ничего, кроме цветка, не трогать: — витязь взял в садах цветок и возвращаясь видит меч золотой на воротах, и едва прикоснулся, как раздался шум и звон; он выходит из замка быстро, стрела летит за ним и поражает ворона; витязь оборачивается; Стамфул на него несется; последний принимает разные виды, наконец сражен. Витязь бросает его тело в море, ибо замок на берегу моря; и видит мертвого ворона, а над ним другой умер. — Витязь примечает, что его преследует что-то свыше. Он помнит умершую деву и чувствует, что любит ее. — На дороге он видит издали пыль, и крик и звон мечей, подходит, и что же? — горсть воинов обороняются против толпы врагов; он бросается в бой и освобождает их; они ведут его к своему царю; царь угощает витязя; но сам печален; и рассказывает, что у него была одна дочь; но что умерла на 17 году, и что когда ее похоронили, то рассказывают, что три чернеца с крестами унесли ее тело бог весть куда; царь показывает витязю портрет дочери своей, говоря, что ей было предсказано паломником за то, что она его напоила и накормила, что она выдет замуж за такого-то витязя. Наш витязь слышит свое имя и трепещет; но когда увидал портрет, то упал без чувств, ибо узнал умершую деву, которую любил; — он тотчас удаляется из дворца, взяв лошадь только; не берет проводников, хотя гроза свирепствует на дворе — род бешенства или сумасшествия обладает им. Наконец он приезжает к берегам речки, где лебедь, и бросает ему цветок жизни; лебедь тотчас делается девицей, она выходит из воды; он отвергает ее ласки, говоря, что не любит ее; она просит один поцелуй прощанья, и только что поцеловала, как исчезает с хохотом и визгом; — прекрасное местоположение переменилось в дикое, розовые кусты, река исчезли. — Овраг или пропасть, скалы одни остались, и вихорь едва не увлек туда героя; луна встала;

витязь сидит на берегу пропасти. Вдруг на облаке является ему старец; и говорит, что он его отец; что он был язычник и оттого долго мучился, но теперь Бог ему простил, и что злой дух преследует витязя, ибо он язычник. Витязь обещает креститься; а отец его дает ему крест и говорит, что он чудотворный; — он едет к известной могиле; роет; — и вдруг видит не гроб, но широкое подземелье; и дева при блеске свечей спит на подушке; она спит, ибо дышит; он выносит ее оттуда в исступлении любви; кладет на лошадь и скачет в Киев; приезжает туда вечером и приносит ее в церковь, где народ слушал вечерню; прикладывает крест к ее груди, и она оживает; и падает в ее объятья; — их венчают; но он позабыл креститься; когда кончился обряд, и он выходил из церкви, чей-то голос ему напомнил вдруг об этом, говоря: «ты не будешь счастлив!» — на другой день свадьбы она умерла; — он скрылся.]

509. НАПИСАТЬ ПОЭМУ «АНГЕЛ СМЕРТИ»

Ангел смерти при смерти девы влетает в ее тело из сожаления к любезному и раскаивается, ибо это был человек мрачный и кровожадный, начальник греков. — Он ранен в сражении и должен умереть; ангел уже не ангел, а только дева, и его поцелуй не облегчает смерти юноши, как бывало прежде. Ангел покидает тело девы, но с тех пор его поцелуи мучительны умирающим.

510

Memor: написать длинную сатирическую поэму: приключения демона.

511

(*Ecrire une tragédie: Néron*).

512

Имя героя Мстислав, — Черный прозвание от его задумчивости, — его сестра — Ольга.

Мстислав три ночи молится на кургане, чтоб не погибло любезное имя Россия.

Поместить песню: печальную, о любви или *Что за пыль пылит;* Ольга молодая, невинная, ангел — поет ее; входит брат ее — после паломник.

Все сначала укоряют Мстислава в равнодушии к бедствиям родины, ибо он молчит.

Юный князь Василий утонул в крови во время битвы.

513. СЮЖЕТ

1

1) Молодежь, разговаривают о том, что татары приедут толпой, и всё берут: никто не смеет и слова сказать: зарево видно; иные говорят, что лучше предаваться татарам, чем умирать и тому подобное; Мстислав вскакивает — и уходит; он всё сначала молчал. Он кажется равнодушен к бедствиям отечества, и его порицают за это.

2) Паломник у Ольги; он рассказ<ывает> про Ерус<алим>, путешествия и разрушенный Киев; Мстислав ходит; и, слыша рассказы о прежней вольности, ему приходит в голову мысль освободить родину от татар; Ольге один богатый татарин дал подарки; ее мать позволила; он ей нравится.

2

3) В городе; послы татарские; пир у князя, унижение князя; один посол за то, что русский не низко поклонился, велит его казнить; — Мстислав убивает посла и скрывается.

4) Татарин любит Ольгу; мать не против, он обольщает ее. — Это длинная сцена. — Между тем множество заговорщиков разговаривают о возмущении против татар; они ищут начальника; и выбор падет на Мстислава; они идут искать его.

3

5) Мстислав на кургане; три ночи он молился; проходит поломник; и узнает его. Мстислав спрашивает его о сестре; паломник говорит, что про сестру его носятся дурные слухи, будто она в связи с мурзой татарским, это еще более воспламеняет его. Приходят заговорщики, избирают его начальником; он клянется им. Они хотят напасть на стан татар, кои приближались опять, чтобы грабить; и надеялись, что Россия последует их примеру.

6) Мстислав возвращается домой; печален, озабочен, угрюм. Сцена, где видна его любовь к сестре; он ее спрашивает, любит ли его одного; она смущается; он приготавливает ее к тому, что сам, может быть, погибнет; и спра-

шивает, готова ли она всё пожертвовать для отечества; потом как будто всё знал, но чтобы испытать, правда ли, вдруг говорит: «ты любишь татарина!» — она ему признается в испуге; он мрачен; но выносит этот удар; говорит ей сильно, какая она преступница, и заставляет ее согласиться, что на будущую ночь она его пригласит, и тогда его убьют; это будет сигнал кровопролития; однако после этой вести, узнав позор сестры своей, Мстислав предчувствует ужасное, однако не теряет духа.

4

7) Ольга колеблется между отечеством и любовником; однако придумывает; в свидании умоляет, чтоб он не приходил сам к ней, ибо его жизнь в опасности; мурза допытывается и догадывается, что есть заговор; она бежит с мурзой, боясь братнина гнева.

8) Мстислав проходит мимо деревни; одна женщина поет, баюкая ребенка. (*Что за пыль... Злы татаровья*) — он радуется тому, что эта песня вдохнет ребенку ненависть против татар; и что если он погибнет, то останется еще мститель за отечество; — он идет в назначенное место, где все собрались; однако он удивляется тому, что мурза не пришел.

5

9) Стан татар; сонный; стражи пьют русское вино и засыпают, разговаривая о красоте девушки, которая досталась мурзе; — приходят русские и убивают сонных; Мстислав считает удары; — он входит в палатку мурзы; и выносит оттуда деву, говоря, что как всех соглашено убить, то ее жалко; вдруг узнает, что это его сестра. Она спит и бредит; и просыпается; вскрикивает; узнает его; упадает; он думает, что она умерла; склоняется над ней; — между тем крик разбудил нескольких татар, кои еще не могут опомниться: «Боже, — говорит Мстислав, — зачем одно чувство любви должно погубить мое отечество! — как я ее любил, как она прекрасна!» Выбегает мурза; он его убивает; начинается битва, русских перерезали.

10) День. Мстислав раненый под деревом; старый воин приходит; он спрашивает, все ли убиты, и узнает, что все, что татары взяли то же утро город и разграбили; проходят несколько мужчин и женщин, которые хотят скрыться в лесах, с воем отчаяния указывая на зарево; Мстислав спрашивает, не видал ли он женщины в стане, может быть она не умерла; — тот его не понимает; — Мстислав умирает; и просит, чтоб над ним поставил крест. — И чтоб рассказал его дела какому-нибудь певцу; чтоб этой песнью возбудить жар любви к родине в душе потомков.

514. ПРОГРАММА

Его история.
Его любовь к отцу.
Приезд архиерея.
Что про него сказал архиерей.
История одного монаха.
Весна.
Любовь к неизвестной.
Зеркало.
Колокольчик.
Родители.
Несправедливости.
Пострижение.
Убийство: один хотел быть игуменом и для того убил другого и посадил его так, будто он сам себя убил.
Последняя любовь.
Разочарование.
Болезнь.

515. ПЛЕМЯ НА КАВКАЗЕ

[Герой — пророк.]

516

[Монах впоследствии сидит у окна. Подходит старый нищий и девушка. Он узнает отца и сестру. Хочет броситься — но ост<анавливается> и закрывает окно в отчаянье. Он украл денег; и на другой день ищет их, но нигде не находит; потом, не зная, что с ними делать, зовет товарища-слугу — в кабак и пропивает их; так узнали, что он украл; и он посажен в тюрьму.]

517

Он угрожает ей гибелью отца, и она обещается завтра прислать к нему свою рабу. Она заражается чумой; он приходит, проводит ночь и умирает в ее объятьях в саду.

518. ДЕМОН. СЮЖЕТ

Во время пленения евреев в Вавилоне (из Библии). Еврейка; отец слепой; он в первый раз видит ее спящую. — Потом она поет отцу про старину и про близость ангела; — *и проч<ее> как прежде.* — Евреи возвращаются на родину — ее могила остается на чужбине.

519

Алекс<андр>: у него любовница, которую он взял из жалости; он был знаком в Москве в одном знатном доме и любим дочерью; говорят, что у нее миллионы. Здесь его принимают худо, она ничего прежнего не хочет помнить, а в высшем кругу его не принимают. Граф за ней волочится и хочет жениться. Этот граф всегда был на дороге Алекс<андра>. — Александр хочет заставить его отказаться; тот над ним смеется. Потом Александр клевещет на него ей; но графы приезжают и они над Алекс<андром> трунят.

Александр дома с любовницей, хочет денег; но у нее, кроме любви, ничего нет. Он ее не любит и ту не любит, и хочет денег. Входит ростовщик, живущий за стеной, и предлагает ему денег, а тот дает ему вексель на всё имение; ростовщик открывает, что у нее ничего нет.

Посредством денег Александр пробирается в комнату Софьи, говорит ей, что он знает, что у нее ничего нет и что она хочет выйти за графа, ибо он богат, и что если она хочет, чтоб он не отказался от нее, узнав, что у нее ничего нет, то она должна его любить. Она уже колеблется; вдруг входит горничная, говоря, что граф приехал; Александра прячут за гардину. — Граф изъясняется в любви, говорит, что ибо ему позволяют вход во всякое время, то это показывает, что родители не прочь; она ему клянется, что любит его одного; в эту минуту Александр выходит и говорит: это правда; смущение; — сцена. — Вдруг входит отец с дядей и говорит, что его дочь обесчещена, что граф должен жениться, что иначе они его лишат места, убьют и проч<ее>. — Граф в отчаянии. Алекс<андра> выгоняют — но он [рад] — дочь в обмороке. Александр с ней прощается.

Александр болен; он в размолв<ке> с любовницей, рассказывает жизнь. Входит ростовщик; жалеет и говорит, что вчера вечером была свадьба гра-

фа. — Посылают за графом. — Граф приходит, подносит свечу к кровати и ужасается. Александр ему говорит, что он отомстил ему, что написал к своим приятелям всю историю; и потом говорит, что у нее ничего нет, и ставит в свидетели ростовщика. — Сам упадает без чувств. — Любовница в отчаянии проклинает графа; — Александр <кается> и говорит, что жалеет, что не имеет миллиона оставить ей. — И умирает.

520

Я в Тифлисе у Петр. Г. — ученый татар<ин> Али и Ахмет; иду за груз<инкой> в бани; она делает знак; но мы не входим, ибо суббота. Выходя, она опять делает знак; я рисовал углем на стене для забавы татар, и делаю ей черту на спине; следую за ней; она соглашается дать, только чтоб я поклялся сделать, что она велит; надо вынести труп. Я выношу и бросаю в Куру. Мне делается дурно. Меня <?> нашли и отнесли на гауптвахту: я забыл ее дом наверное. Мы решаемся отыскать; я снял с мертвого кинжал для доказательства... несем его к Геургу. Он говорит, что делал его русскому офицеру. Мы говорим Ахмету, чтоб он узнал, кого имел этот офицер. Узнают от денщика, что этот офицер долго ходил по соседству к одной старухе с дочерью; но дочь вышла замуж; а через неделю он пропал. Наконец, узнаем, за кого эта дочь вышла замуж, находим дом, но ее не видать. Ахмет бродит кругом и узнает, что муж приехал, и кто-то ему сказал, что видели, как из окошка вылез человек намедни, и что муж допрашивал и вся семья. — Раз мы идем по караван-сераю — видим: идет мужчина с женой; они остановились и посмотрели на нас. Мы прошли и видим, она показала на меня пальцем, а он кивнул головой. После ночью оба на меня напали на мосту, схватили меня и — как зовут: я сказал. Он: «я муж такой-то» и хотел меня сбросить, но я его предупредил и сбросил.

521

У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем.

Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21 году проснулся от тяжелого сна — и встал и пошел... и встретил он тридцать семь королей и 70 богатырей и побил их и сел над ними царствовать...

Такова Россия.

ПРОЗАИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

522. МРАК. ТЬМА

Я видел сон, который не совсем был сон. Блестящее солнце потухло, и звезды темные блуждали по беспредельному пространству, без пути, без лучей; и оледенелая земля плавала слепая и черная в безлунном воздухе. Утро пришло и ушло — и опять пришло и не принесло дня; люди забыли о своих страстях в страхе и отчаянии; и все сердца охладели в одной молитве о свете; люди жили при огнях, и престолы, дворцы венценосных царей, хижины, жилища всех населенцев мира истлели вместо маяков; города развалились в пепел, и люди толпились вкруг домов горящих, чтоб еще раз посмотреть друг на друга; счастливы были жившие противу волканов, сих горных факелов; одна боязненная надежда поддерживала мир; леса были зажжены — но час за часом они падали и гибли, и треща гасли пни — и всё было мрачно.

Чела людей при отчаянном свете имели вид чего-то неземного, когда случайно иногда искры на них упадали. Иные ложились на землю, и закрывали глаза и плакали; иные положили бороду на сложенные руки и улыбались; а другие толпились туда и сюда, и поддерживали в погребальных кострах пламя, и с безумным беспокойством устремляли очи на печальное небо, подобно савану одевшее мертвый мир; и потом с проклятьями снова обращали их на пыльную землю, и скрежетали зубами и выли; и птицы кидали пронзительные крики и метались по поверхности земли, и били тщетными крылами; лютейшие звери сделались смирны и боязливы; и змеи ползая увивались между толпы, шипели, но не уязвляли — их убивали на съеденье люди; и война, уснувшая на миг, с новой силой возобновилась; пища покупалась кровью, и каждый печально и одиноко сидел, насыщаясь в темноте; не оставалось любви; вся земля имела одну мысль — это смерть близкая и бесславная; судороги голода завладели утробами, люди умирали, и мясо и кости их непогребенные валялись; тощие были съедены тощими, псы нападали даже на своих хозяев, все кроме одного, и он был верен его трупу и отгонял с лаем птиц и зверей и людей голодных, пока голод не изнурял или новый труп не привлекал их алчность; он сам не искал пищи, но

с жалобным и протяжным воем и с пронзительным лаем лизал руку, не отвечавшую его ласке, — и умер. Толпа постепенно редела; лишь *двое* из обширного города остались вживе — и это были враги; они встретились у пепла алтаря, где грудой лежали оскверненные церковные утвари; они разгребали и дрожа подымали хладными сухими руками теплый пепел, и слабое дыханье немного продолжалось и произвело как бы насмешливый чуть видный огонек; тогда они подняли глаза при большем свете и увидали друг друга — увидали, и издали вопль и умерли, от собственного их безобразия они умерли, не зная, на чьем лице голод начертал: враг. Мир был пуст, многолюдный и могущий сделался громадой безвременной, бестравной, безлесной, безлюдной, безжизненной, громадой мертвой, хаосом, глыбой праха; реки, озера, океан были недвижны, и ничего не ворочалось в их молчаливой глубине; корабли без пловцов лежали гния в море, и их мачты падали кусками; падая засыпали на гладкой поверхности; скончались волны; легли в гроб приливы, луна, царица их, умерла прежде; истлели ветры в стоячем воздухе, и облака погибли; мрак не имел более нужды в их помощи — он был повсеместен.

523. THE GIAOUR

Нет легкого дуновения воздуха, рассекающего волну, которая катится под могилою афинян; сей блестящий гроб на крутой, навислой скале первый приветствует возвращающуюся домой ладью; он высоко господствует над страною, тщетно им спасенною, — когда снова увидит такого героя?..

Прекрасный климат! где каждое время года улыбается над сими благословенными островами, кои, видные издалека, с высоты *колонны,* радуют сердце восхитительной картиной и представляют убежище уединенью. Там нежно рябится ланита океана, отражая *краски* многих утесов, пойманные смеющимися приливами, которые омывают этот восточный Эдем.

И если иногда мгновенный зефир взволнует голубой кристалл моря или сметет цвет с дерева, да будет благословен милый ветерок, пробудивший и разнесший здесь благоухание.

Ибо здесь — *роза*, на скале или в долине, любовница соловья, дева, для которой его звуки, тысячи его песней слышны в высоте, цветет, краснея от рассказов соловья: его царица, царица садов, его роза, не сгибаемая ветрами, не оледеняемая снегами, далеко от зимы западной, благословляемая каждым временем года и каждым зефиром, подарок природы — аромат от-

дает небу в сладчайшем благоухании. Она признательно возвращает и лучшие свои цветы улыбающемуся небу, с благовонным вздохом.

И много здесь летних цветов, и много тени, которую любовь желала бы разделить, и многие есть пещеры, манящие к отдохновенью, которые служат вертепом для разбойника, коего ладья, пристав к скрытой здесь гавани, ждет мирного корабля, пока не услышит гитару веселого моряка, пока не увидит вечернюю звезду. Тогда, укрываясь с своим веслом под тенью скалистого берега, кидается ночной грабитель на добычу свою и переменяет песни с гитарой на отчаянные крики. Странно, что где природа создала жилище, достойное богов, и смешала, истощила всё прекрасное в этом раю, здесь человек, живущий разрушением, хочет обращать его в дикую пустыню и попирает, подобно бессловесному животному, каждый цветок, который не стоит ниже часа трудов и не требует помощи ничьей руки, дабы расстилаться в волшебной стране сей, но выходит, растет, отвергая всякое старание, и только молит, чтоб его пощадили.

Странно, что где господствует тишина, там страсти беспредельны в гордости своей, и жадность и хищность дико бушуют, дабы помрачить прелестную землю. Это как будто злые духи взяли верх над ангелами и укрепили на небесных престолах освобожденного наследника ада; так прекрасна страна, созданная для удовольствия, и так ненавистны тираны, разрушающие его.

. . . .

. . . .

. . . .

О страна незабвенных героев! которая от долины до горных пещер была жилищем свободы или могилою славы. Храм могущих! ужели это всё, что остается от тебя? Приближься, пресмыкающийся невольник; скажи, не это ли Термопилы? Эти синие воды, плещущие кругом, скажи, порабощенный потомок свободного, скажи, какое это море, какой берег? — это залив, это скала Саламины!.. восстаньте, вспомните прошедшее и возобновите его; исторгните из праха отцов ваших искры огня, коим некогда они пламенели.

И *тот*, кто погибнет в битве, к их именам прибавит свое страшное имя, коего будут трепетать тираны; он оставит потомкам надежду, знаменитость; и они прежде умрут, нежели посрамят ее: ибо, если война за свободу уже началась, она передается кровью от отца к сыну, и если иногда неуспешно, то всегда под конец торжествует. Этому свидетель ты, Греция, про которую доказывают о бессмертных столетьях многие живые страницы! Тогда как цари, скрытые в пыльном мраке, оставили одни безымянные пирамиды, твои герои, хотя общим приговором сняты колонны на их могилах, имеют

лучшие памятники: горы высокие отечества их!.. Здесь показывает муза могилы тех очам странника, кои не могут умереть. Долго и печально было бы рассказывать каждый шаг Греции от величия к бедственности; довольно — никакой чуждый враг не мог ослабить духа твоего, пока сам он не упал; так собственное унижение открыло путь ненавистным цепям и скипетру деспотов.

Что расскажет нам тот, кто попирает твой брег? Ни песни старинной, ничего, чем может заняться муза, ничего столь высокого как прежде, когда человек был достоин сего климата. Сердца, рожденные в твоих долинах, буйные души, кои могли бы весть твоих сынов к великим подвигам, теперь пресмыкаются от колыбели до могилы, рабы — нет, рабы раба, безжизненные везде, кроме в преступленье; оскверненные всеми бедствиями рода человеческого, где он менее всего возвышается над тварею бессловесной; даже не имея ни одной дикой добродетели, не имея в среде своей ни одной храброй и свободной груди. Еще теперь у соседних пристаней они слывут лукавыми, и взошли в пословицу; в этом только хитрый грек найден, и этим, лишь этим, известен. Напрасно свобода стала бы призывать ум, дабы свергнуть иго с шеи, которое льстит ему; я больше не сожалею о их несчастии, однако я расскажу вам печальную повесть, и внимающие мне могут поверить, что тот, кто слушал ее в первый раз, имел право грустить.

Торопливо приближался он, и быстрота его бега привлекала мой удивленный взор; хотя, как ночной демон, он пробежал и скрылся от меня, его вид, выражение лица его оставили навсегда смутное воспоминанье в груди моей, и еще долго после в моем страхом пораженном слухе раздавался топот ног черного его коня. Он жмет ногами коня; он приближается к крутому утесу, выдавшемуся от берега и бросающему тень на поверхность моря; он минует и низвергается за скалу, которая освобождает его от очей моих; неуместен взор, преследующий беглеца, и хотя нет ни одной звезды на небе, но всё для него светло кажется.

Он скрылся; но прежде кинул взгляд, который казался его последним, на минуту удержал беспокойного своего коня, на минуту дал ему отдохнуть, на минуту привстал на стременах — для чего смотрит он в оливную рощу? Полумесяц встает над холмом: лампы в мечетях погасая трепещут.

524. NAPOLEON'S FAREWELL

1

Прости! о край, где тень моей славы восстала и покрыла землю своим именем — он покидает меня теперь, но страница его истории, самая мрачная или блестящая, наполнена моими подвигами. Я воевал с целым светом, который победил меня только тогда, когда метеор завоеваний заманил меня слишком далёко; я противился народам, которые боялись меня оставленного, последнего, единственного пленника из миллионов бывших на войне.

2

Прости, Франция! — когда твой венец короновал меня, я сделал тебя алмазом, дивом и красою земли. Но твоя слабость повелевает, чтоб я тебя оставил как нашел, увядшую славой и упадшую своим именем; ибо сердца старых бойцов моих были приведены в отчаянье нападением бури и непогоды, хотя сражения были выиграны и орел, коего взор померкнул, мог бы снова подняться, встретив солнце победы.

3

Итак, прости же, Франция! — но если свобода снова появится у тебя, вспомни обо мне — фиалка надежды еще растет, скрываясь во глубине долин твоих; хотя она увяла, слезы твои могут воскресить ее — я могу еще смешать неприятелей, нас окружающих, и твоя душа еще может внять голосу моему; в цепи, которая нас оковала, еще есть кольцы, могущие разорваться, тогда, обратись, призови начальника твоего выбора.

525. ВЕРРО

Известно, по крайней мере должно бы было быть известно, что во всех странах католического исповедания несколько недель до поста *народ* веселится и празднует сколько хочет; покупают раскаяние перед тем, чтобы сделаться богомольными, какого бы высокого или низкого состояния ни были, пируют, играют, пляшут, пьют, маскируются и употребляют всё, что можно получить попросивши.

526. (С НЕМЕЦКОГО)

Я проводил тебя со слезами; но ты удалилась, чужда сожалений и слез.

Где долго ожиданный день, столько радости мне обещавший? — погиб он! — но я не раскаялся в том, в чем тебе поклялся.

И если б могла ты понять и измерить страданья мои, то вечно бы ты не забыла того, кто тебя никогда не забывал.

Тогда бы заплакала ты, и тот миг воскресил бы опять охладевшее мое счастье.

Мое сердце, отвергнутое тобою, мой ангел! все-таки тебе принадлежит; но сердце, тобою любимое, не будет так постоянно.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

527. 1830. ЗАМЕЧАНИЕ

Когда я начал марать стихи в 1828 году, я как бы по инстинкту переписывал и прибирал их, они еще теперь у меня. Ныне я прочел в жизни Байрона, что он делал то же — это сходство меня поразило!

528

Музыка моего сердца была совсем расстроена нынче. Ни одного звука не мог я извлечь из скрыпки, из фортепьяно, чтоб они не возмутили моего слуха.

529. ЗАПИСКА 1830 ГОДА, 8 ИЮЛЯ. НОЧЬ

Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду?

Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. — К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет 9. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей; он мне любезен, сам не знаю почему. — Один раз, я помню, я вбежал в комнату: она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. — Я тогда ни об чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть, сильная, хотя ребяческая: это была истинная любовь: с тех пор я еще не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! — И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку без причины, желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату. — Я не хотел говорить об ней и убегал, слыша ее названье (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснил другим тайну, непонятную для меня самого. — Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне, мне неловко

как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу; не поверят ее существованью — это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность — нет; с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз. Горы кавказские для меня священны... И так рано! в 10 лет... о эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум!.. иногда мне странно, и я готов смеяться над этой страстию! — но чаще плакать*.

530. (1830)

Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать.

531. 1830

Я помню один сон; когда я был еще 8-ми лет, он сильно подействовал на мою душу. В те же лета я один раз ехал в грозу, куда-то; и помню облако, которое небольшое, как бы оторванный клочок черного плаща, быстро неслось по небу: это так живо передо мною, как будто вижу.

Когда я еще мал был, я любил смотреть на луну, на разновидные облака, которые в виде рыцарей с шлемами теснились будто вокруг нее; будто рыцари, сопровождающие Армиду в ее замок, полные ревности и беспокойства.

532. 1830 (МНЕ 15 ЛЕТ)

Я однажды (3 года назад) украл у одной девушки, которой было 17 лет, и потому безнадежно любимой мною, бисерный синий снурок; он и теперь у меня хранится.

Кто хочет узнать имя девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей. — Как я был глуп!..

* Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. — Я думаю, что в такой душе много музыки. (П*римечание Лермонтова*.)

533. (1830)

Наша литература так бедна, что я из нее ничего не могу заимствовать; в 15 же лет ум не так быстро принимает впечатления, как в детстве; но тогда я почти ничего не читал. — Однако же, если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. — Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская — я не слыхал сказок народных; — в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности.

534. МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ
(про дерево, где я сидел с А. С.)

Схороните меня под этим сухим деревом, чтобы два образа смерти предстояли глазам вашим; я любил под ним и слышал волшебное слово: «люблю», которое потрясло судорожным движением каждую жилу моего сердца; в то время это дерево, еще цветущее, при свежем ветре покачало головою и шепотом молвило: «безумец, что ты делаешь?» — Время постигло мрачного свидетеля радостей человеческих прежде меня. Я не плакал, ибо слезы есть принадлежность тех, у которых есть надежды; — но тогда же взял бумагу и сделал следующее завещание: «Похороните мои кости под этой сухою яблоней; положите камень; — и — пускай на нем ничего не будет написано, если одного имени моего не довольно будет доставить ему бессмертие!»

535. 1830

Еще сходство в жизни моей с *лордом* Байроном. Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет *великий человек* и будет два раза *женат*; про меня на Кавказе предсказала то *же самое* старуха моей бабушке. Дай Бог, чтоб и надо мной сбылось; хотя б я был так же несчастлив, как Байрон.

536

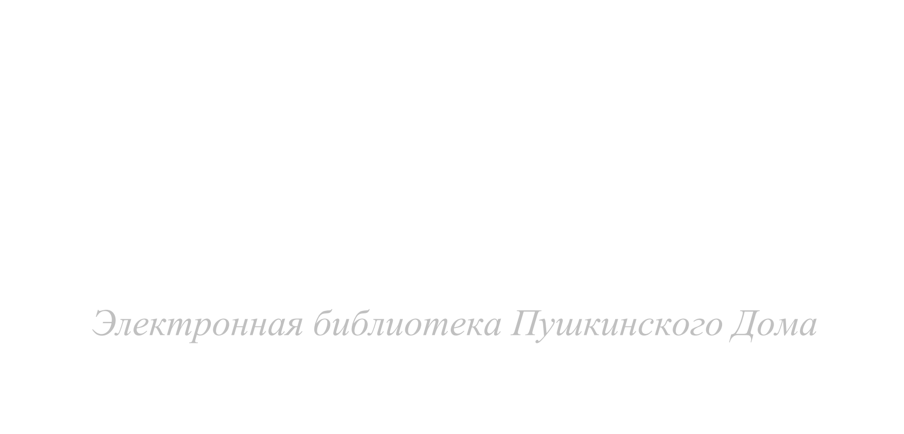
Я читаю Новую Элоизу. Признаюсь, я ожидал больше гения, больше познания природы, и истины. — Ума слишком много; идеалы — что в них? — они прекрасны, чудесны; но несчастные софизмы, одетые блестящими вы-

ражениями, не мешают видеть, что они всё идеалы. — Вертер лучше; там человек — более человек. У Жан-Жака даже пороки не таковы, какие они есть. — У него герои насильно хотят уверить читателя в своем великодушии, — но красноречие удивительное. И после всего я скажу, что хорошо, что у Руссо, а не у другого, родилась мысль написать Новую Элоизу.

537. 2-го ДЕКАБРЯ: СВ. ВАРВАРЫ. ВЕЧЕРОМ, ВОЗВРАТЯСЬ

Вчера еще я дивился продолжительности моего счастья! Кто бы подумал, взглянув на нее, что она может быть причиною страданья?

ПИСЬМА



538. М. А. ШАН-ГИРЕЙ

<Осень 1827 г. Из Москвы в Апалиху>

Милая тетенька,

Наконец настало то время, которое вы столь ожидаете, но ежели я к вам мало напишу, то это будет не от моей лености, но оттого, что у меня не будет время. Я думаю, что вам приятно будет узнать, что я в русской грамматике учу синтаксис и что мне дают сочинять; я к вам это пишу не для похвальбы, но собственно оттого, что вам это будет приятно; в географии я учу математическую; по небесному глобусу градусы планеты, ход их и пр…; прежнее учение истории мне очень помогло. — Заставьте, пожалуста, Екима рисовать контуры, мой учитель говорит, что я еще буду их рисовать с полгода; но я лучше стал рисовать; однако ж мне запрещено рисовать свое. Катюше в знак благодарности за подвязку посылаю ей бисерный ящик моей работы. Я еще ни в каких садах не был, но я был в театре, где я видел оперу «Невидимку», ту самую, что я видел в Москве 8 лет назад; мы сами делаем Театр, который довольно хорошо выходит, и будут восковые фигуры играть (сделайте милость, пришлите мои воски). Я нарочно замечаю, чтобы вы в хлопотах не были, я думаю, что эта пунктуальность не мешает; я бы приписал к братцам здесь, но я им напишу особливо; Катюшу же целую и благодарю за подвязку.

Прощайте, милая тетенька, целую ваши ручки; и остаюсь ваш покорный племянник.

М. Лермантов.

539. М. А. ШАН-ГИРЕЙ

<Около 21 декабря 1828 г. Из Москвы в Апалиху>

Милая тетенька!

Зная вашу любовь ко мне, я не могу медлить, чтобы обрадовать вас: экзамен кончился и вакация началась до 8-го января, следственно она будет

продолжаться 3 недели. Испытание наше продолжалось от 13-го до 20-го числа. Я вам посылаю баллы, где вы увидите, что г-н Дубенской поставил 4 русск<ий>и 3 лат<инский>, но он продолжал мне ставить 3 и 2 до самого экзамена. Вдруг как-то сжалился и накануне переправил, что произвело меня вторым учеником.

Папенька сюда приехал, и вот уже 2 картины извлечены из моего portefeuille... слава Богу! что такими любезными мне руками!..

Скоро я начну рисовать с (buste) бюстов... какое удовольствие! к тому ж Александр Степанович мне показывает также, как должно рисовать пейзажи.

Я продолжал подавать сочинения мои Дубенскому, а Геркулеса и Прометея взял инспектор, который хочет издавать журнал, «Каллиопу» (подражая мне! (?)), где будут помещаться сочинения воспитанников. Каково вам покажется; Павлов мне подражает, перенимает у... меня! — стало быть... стало быть... — но выводите заключения, какие вам угодно.

Бабушка была немного нездорова зубами, однако же теперь гораздо лучше, а я, — о! je me porte comme à l'ordinaire... bien!

Прощайте, милая тетенька, желаю, чтобы вы были внутренно покойны, след<овательно,> здоровы, ибо: Les douleurs du corps proviennent des maux de l'âme!

Остаюсь ваш покорный
Племянник:

М. Лермантов.

NB. Прилагаю вам, милая тетенька, стихи, кои прошу поместить к себе в альбом, а картинку я еще не нарисовал. На вакацию надеюсь исполнить свое обещание.

Вот стихи:

ПОЭТ

Когда Рафаель вдохновенный
Пречистой Девы лик священный
Живою кистью окончал;
Своим искусством восхищенный
Он пред картиною упал!
Но скоро сей порыв чудесный
Слабел в груди его младой,
И утомленный и немой,
Он забывал огонь небесный.

Таков поэт: чуть мысль блеснет,
Как он пером своим прольет
Всю душу; звуком громкой лиры
Чарует свет, и в тишине
Поет, забывшись в райском сне,
Вас, вас! души его кумиры!
И вдруг хладеет жар ланит,
Его сердечные волненья
Всё тише, и призрак бежит!
Но долго, долго ум хранит
Первоначальны впечатленья.

М. Л.

P. S. Не зная, что дяденька в Апалихе, я не писал к нему, но прошу извинения и свидетельствую ему мое почтение.

ВЕДОМОСТЬ О ПОВЕДЕНИИ И УСПЕХАХ УНИВЕРСИТЕТСКОГО БЛАГОРОДНОГО ПАНСИОНА ВОСПИТАННИКА 4-го КЛАССА М. ЛЕРМАНТОВА

Поведение	Прилежание	Успехи								Заключение
		закон божий	математика	русский язык	латинский язык	история	география	немецкий язык	французский язык	
Весьма похвально		3	4	4	3	4	4	4	4	30 За 24 балла перевод в 5-й класс

Инспектор Павлов

NB. 4 означает высшую степень, 0 низшую!
Я сижу 2-м учеником.

540. М. А. ШАН-ГИРЕЙ

<Весна 1829 г. Из Москвы в Апалиху>

Милая тетенька!

Извините меня, что я так долго не писал... Но теперь постараюсь почаще уведомлять вас о себе, зная, что это вам будет приятно. Вакации приближаются и... прости! достопочтенный пансион. Но не думайте, чтобы я был рад оставить его, потому учение прекратится; нет! дома я заниматься буду еще более, нежели там.

Вы спрашивали о баллах, милая тетенька, увы! — у нас в пятом классе с самого нового года еще не все учителя поставили сии *вывески нашей премудрости!** Помните ли, милая тетенька, вы говорили, что наши актеры (московские) хуже петербургских. Как жалко, что вы не видали здесь *«Игрока»,* трагедию *«Разбойники»*. Вы бы иначе думали. Многие из петербургских господ соглашаются, что эти пьесы лучше идут, нежели там, и что Мочалов в многих местах превосходит Каратыгина. Бабушка, я и Еким, все, слава Богу, здоровы, но m-r G. Gendroz был болен, однако теперь почти совсем поправился.

Постараюсь следовать советам вашим, ибо я уверен, что они служат к моей пользе. Целую ваши ручки. Покорный ваш племянник

М. Лермантов.

P. S. Прошу вас дяденьке засвидетельствовать мое почтение и у тетеньки Анны Акимовны целую ручки. Также прошу поцеловать за меня: Алешу, двух Катюш и Машу.

М. Л.

541. М. А. ШАН-ГИРЕЙ

<Февраль 1830 г. или февраль 1831 г.
Из Москвы в Апалиху>

Ma chère tante.

Вступаюсь за честь Шекспира. Если он велик, то это в Гамлете; если он истинно Шекспир, этот гений необъемлемый, проникающий в сердце человека, в законы судьбы, оригинальный, то есть неподражаемый Шекспир — то это в Гамлете. Начну с того, что имеете вы перевод не с Шекспира, а перевод перековерканной пиесы Дюсиса, который, чтобы удовлетворить приторному вкусу французов, не умеющих обнять высокое, и глупым их правилам, переменил ход трагедии и выпустил множество характеристических сцен: эти переводы, к сожалению, играются у нас на театре. — Верно, в вашем Гамлете нет сцены могильщиков, и других, коих я не запомню.

Гамлет по-английски написан половина в прозе, половина в стихах. — Верно, нет той сцены, когда Гамлет говорит с своей матерью и она показывает на портрет его умершего отца; в этот миг с другой стороны, видимая одному Гамлету, является тень короля, одетая, как на портрете; и принц, глядя уже на тень, отвечает матери — какой живой контраст, как глубоко!

* Выражение одного ученика. (*Примечание Лермонтова.*)

Сочинитель знал, что, верно, Гамлет не будет так поражен и встревожен, увидев портрет, как при появлении призрака.

Верно, Офелия не является в сумасшествии! хотя сия последняя одна из трогательнейших сцен! Есть ли у вас сцена, когда король подсылает двух придворных, чтоб узнать, точно ли помешан притворившийся принц, и сей обманывает их; я помню несколько мест этой сцены; они, придворные, надоели Гамлету, и этот прерывает одного из них, спрашивая:

Гам<лет>. Не правда ли, это облако похоже на пилу?

1 придворный. Да, мой принц.

Гамлет. А мне кажется, что оно имеет вид верблюда, что похоже на животное!

2 придвор<ный>. Принц, я сам лишь хотел сказать это.

Гамлет. На что же вы похожи оба? — и проч.

Вот как кончается эта сцена: Гамлет берет флейту и говорит:

Сыграйте что-нибудь на этом инструменте.

1 прид<ворный>. Я никогда не учился, принц, я не могу;

Гам<лет>. Пожалуста.

1 прид<ворный>. Клянусь, принц, не могу (и проч. извиняется).

Гамлет. Ужели после этого не чудаки вы оба? когда из такой малой вещи вы не можете исторгнуть согласных звуков, как хотите из меня, существа одаренного сильной волею, исторгнуть тайные мысли?..

И это не прекрасно!..

Теперь следуют мои извинения, что я к вам, любезная тетенька, не писал: клянусь, некогда было; ваше письмо меня воспламенило: как обижать Шекспира?..

Мне здесь довольно весело: почти каждый вечер на бале. — Но великим постом я уже совсем засяду. В университете всё идет хорошо.

Прощайте, милая тетенька: желаю вам здоровья и всего, что вы желаете; если говорят: одна голова хорошо, а две лучше, зачем не сказать: одно сердце хорошо, а два лучше.

Целую ваши ручки и остаюсь покорный ваш племянник

М. Лермантов.

P. S. Поклонитесь от меня дяденьке и поцелуйте, пожалуста, деточек...

542. Н. И. ПОЛИВАНОВУ

<*7 июня 1831 г. Из Москвы в имение Поливанова*>

Любезный друг, здравствуй!

Протяни руку и думай, что она встречает мою; я теперь сумасшедший совсем. Нас судьба разносит в разные стороны, как ветер листы осени. — Завтра свадьба твоей кузины Лужиной, *на которой* меня не будет (??); впрочем, мне теперь не до подробностей. — Черт возьми все свадебные пиры. — Нет, друг мой! мы с тобой не для света созданы; — я не могу тебе много писать: болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры. — Source intarissable. — Много со мной было; прощай, напиши что-нибудь веселее. Что ты делаешь? — Про<щай, друг> мой.

М. Лермантов.

543. С. А. БАХМЕТЕВОЙ

<*Вторая половина июля 1832 г. Из Твери в Москву*>

Ваше Атмосфераторство!

Милостивейшая государыня,

София, дочь Александрова!..

ваш раб всепокорнейший Михайло, сын Юрьев, бьет челом вам.

Дело в том, что я обретаюсь в ужасной тоске: извозчик едет тихо, дорога пряма, как палка, на квартере вонь, и перо скверное!..

Кажется довольно, чтоб истощить ангельское терпение, подобное моему.

Что вы делаете?

Приехала ли Александра, Михайлова дочь, — и какие ее речи? всё пишите — а моего писания никому не являйте.

Растрясло меня и потому к благоверной кузине не пишу — а вам мало; извините моей немощи!..

До Петербурга с обоими прощаюсь:

раб ваш M. Lerma.

Прошу засвидетельствовать мое нижайшее поч<тение> тетеньке и всем домочадцам.

544. С. А. БАХМЕТЕВОЙ

<Август 1832 г. Из Петербурга в Москву>

Любезная Софья Александровна;
до самого нынешнего дня я был в ужасных хлопотах; ездил туда-сюда, к Вере Николаевне на дачу и проч., рассматривал город по частям и на лодке ездил в море — короче, я ищу впечатлений, каких-нибудь впечатлений!.. Преглупое состояние человека то, когда он принужден занимать себя, чтоб жить, как занимали некогда придворные старых королей; быть своим шутом!.. как после этого не презирать себя; не потерять доверенность, которую имел к душе своей... одну добрую вещь скажу вам: наконец я догадался, что не гожусь для общества, и теперь больше, чем когда-нибудь; вчера я был в одном доме NN, где, просидев 4 часа, я не сказал ни одного путного слова; — у меня нет ключа от их умов — быть может, слава Богу! —

Вашей комиссии я еще не исполнил, ибо мы только вчера перебрались на квартеру. — Прекрасный дом — и со всем тем душа моя к нему не лежит; мне кажется, что отныне я сам буду пуст, как был он, когда мы взъехали. — Пишите мне, что делается в странах вашего царства? как свадьба? всё ли вы в Средникове или в Москве: чай, Александра Михайловна да Елизавета Александровна покою не знают, всё хлопочут! —

Странная вещь! только месяц тому назад я писал:

Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело;
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман: —
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?

И пришла буря, и прошла буря; и океан замерз, но замерз с поднятыми волнами; храня театральный вид движения и беспокойства, но в самом деле мертвее, чем когда-нибудь.

Надоел я вам своими диссертациями!.. Я короче сошелся с Павлом Евреиновым: — у него есть душа в душе!

— Одна вещь меня беспокоит: я почти совсем лишился сна — Бог знает, надолго ли; — не скажу, чтоб от горести; были у меня и больше горести, а я

спал крепко и хорошо; — нет, я не знаю; тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит.

Дорогой я еще был туда-сюда; приехавши — не гожусь ни на что; право, мне необходимо путешествовать; — я цыган.

— Прощайте, — пишите мне, чем поминаете вы меня? — Обещаю вам, что не все мои письма будут такие; теперь я болтаю вздор, потому что натощак. — Прощайте;

член вашей bande joyeuse

M. Lerma.

P. S. У тетушек моих целую ручки и прошу вас от меня отнести поклон всем моим друзьям... во втором разряде коих Achille арап; а если вы не в Москве, то мысленно.

Прощайте.

545. С. А. БАХМЕТЕВОЙ

<*Август 1832 г. Из Петербурга в Москву*>

Примите дивное *посланье*
Из края дальнего сего;
Оно не *Павлово* писанье —
Но Павел вам отдаст его.
Увы! как скучен этот город,
С своим туманом и водой!..
Куда ни взглянешь, красный ворот,
Как шиш, торчит перед тобой;
Нет милых сплетен — всё сурово,
Закон сидит на лбу людей;
Всё удивительно и ново —
А нет не пошлых новостей!
Доволен каждый сам собою,
Не беспокоясь о других,
И что у нас зовут душою,
То без названия у них!..
— И наконец я видел море,
Но кто поэта обманул?..
Я в роковом его просторе
Великих дум не почерпнул.
Нет! как оно, я не был волен;
Болезнью жизни, скукой болен,

(На зло былым и новым дням)
Я не завидовал, как прежде,
Его серебряной одежде,
Его бунтующим волнам. —

Экспромтом написал я вам эти стихи, любезная Софья Александровна, и не имею духу продолжать таким образом. — В самом деле; не знаю отчего, поэзия души моей погасла;

По произволу дивной власти
Я выкинут из царства страсти;
Как после бури на песок
Волной расшибенный челнок; —
Пускай прилив его ласкает;
Не слышит ласки инвалид:
Свое бессилие он знает
И притворяется, что спит;
Никто ему не вверит боле
Себя иль ноши дорогой;
Он не годится, и на воле!
Погиб — и дан ему покой! —

Мне кажется, что это недурно вышло; пожалуста, не рвите этого письма на нужные вещи. — Впрочем, если б я начал писать к вам за час прежде, то, быть может, писал бы вовсе другое; каждый миг у меня новые фантазии...

— Прощайте, дражайшая.

— Я к вам писал из Твери и отсюда — а до сих пор не получил ответа.

Стыдно — однако я прощаю.

— И прощаюсь. —

M. Lerma.

Тетеньке и всем нижайшее мое почтение.

Пишите — что делается, и слышится, и говорится.

У Демидовой был, дома не застал; она была у какой-то директорши, — Бог знает; — я письма не отдал и на-днях поеду опять. — Не имею слишком большого влечения к обществу: надоело! — Всё люди, такая тоска, хоть бы черти для смеха попадались.

546. М. А. ЛОПУХИНОЙ

<28 августа 1832 г. Из Петербурга в Москву>

S.-Pétersb<ourg> le 28 Août.

Dans le moment où je vous écris, je suis très inquiet, car grand'maman est très malade, et depuis deux jours au lit; — ayant reçu une seconde lettre de vous, c'est maintenant une consolation que je me donne: — vous nommer toutes les personnes que je fréquente? — *moi,* c'est la personne que je fréquente avec le plus de plaisir; en arrivant je suis sorti, il est vrai assez souvent, chez des parents avec lesquels je devais faire connaissance, mais à la fin j'ai trouvé que mon meilleur parent c'était moi; j'ai vu des échantillons de la société d'ici, des dames fort aimables, des jeunes gens fort polis — tous ensemble ils me font l'effet d'un jardin français, bien étroit et simple, mais où l'on peut se perdre pour la première fois, car entre un arbre, et un autre, le ciseau du maître a ôté toute différence!..

— J'écris peu, je ne lis pas plus; mon roman devient une œuvre de désespoir; j'ai fouillé dans mon âme pour en retirer tout ce qui est capable de se changer en haine — et je l'ai versé pêle-mêle sur le papier: vous me plaindriez en le lisant!.. à propos de votre mariage, chère amie, vous avez deviné mon enchantement d'apprendre qu'il soit rompu *(pas français);* — j'ai déjà écrit à ma cousine que ce nez en l'air n'était bon que pour flairer les alouettes — cette expression m'a beaucoup plu à moi-même. Dieu soit loué que ça soit fini comme cela, et pas autrement! — Au reste n'en parlons plus; on n'en a que trop parlé. —

— J'ai une qualité que vous n'avez pas; quand on me dit qu'on m'aime, je ne doute plus, ou (ce qui est pire) je ne fais pas semblant de douter; — vous avez ce défaut, et je vous prie de vous en corriger, du moins dans vos chères lettres.

— Hier il y a eu, à 10 heures du soir, une petite inondation et même on a tiré deux fois du canon à trois différentes reprises, à mesure que l'eau baissait et montait. Il y avait clair de lune, et j'étais à ma fenêtre qui donne sur le canal; voilà ce que j'ai écrit! —

Для чего я не родился
Этой синею волной? —
Как бы шумно я катился
Под серебряной луной,
О! как страстно я лобзал бы
Золотистый мой песок,
Как надменно презирал бы
Недоверчивый челнок;
Всё, чем так гордятся люди
Мой набег бы разрушал;

И к моей студёной груди
Я б страдальцев прижимал;
Не страшился б муки ада,
Раем не был бы прельщен;
Беспокойство и прохлада
Были б вечный мой закон;
Не искал бы я забвенья
В дальном северном краю;
Был бы волен от рожденья
Жить и кончить жизнь мою! —

— Voici une autre; ces deux pièces vous expliqueront mon état moral, mieux que j'aurais pu le faire en prose;

Конец! как звучно это слово!
Как много, — мало мыслей в нем!
Последний стон — и всё готово
Без дальних справок; — а потом?
Потом вас чинно в гроб положут
И черви ваш скелет обгложут,
А там наследник в добрый час
Придавит монументом вас;
Простив вам каждую обиду,
Отслужит в церкви панихиду,
Которой — (я боюсь сказать)
Не суждено вам услыхать;
И если вы скончались в вере
Как христианин, то гранит
На сорок лет по крайней мере
Названье ваше сохранит,
С двумя плачевными стихами,
Которых, к счастию, вы сами
Не прочитаете вовек. —
Когда ж чиновный человек
Захочет место на кладбище,
То ваше тесное жилище
Разроет заступ похорон
И грубо выкинет вас вон;
И, может быть, из вашей кости,

Подлив воды, подсыпав круп,
Кухмейстер изготовит суп —
    (Всё это дружески, без злости).
А там голодный аппетит
Хвалить вас будет с восхищеньем;
А там желудок вас сварит,
А там — но с вашим позволеньем
Я здесь окончу мой рассказ;
И этого довольно с вас.

— Adieu... je ne puis plus vous écrire, la tête me tourne à force de sottises; je crois que c'est aussi la cause qui fait tourner la terre depuis 7000 ans, si Moïse n'a pas menti.

Mes compliments à tout le monde.

— Votre ami le plus sincère

M. Lerma.

547. М. А. ЛОПУХИНОЙ

<2 сентября 1832 г. Из Петербурга в Москву>

2 Septembre.

Dans ce moment même je commence à dessiner quelque chose pour vous; et je vous l'enverrai peut-être dans cette lettre — savez vous, chère amie, comment je vous écrirai — par moments! — une lettre durera quelquefois plusieurs jours, — une pensée me viendra-t-elle je l'inscrirai; quelque chose de remarquable se gravera-t-il dans mon esprit — je vous en ferai part — êtes-vous contente de ceci? —

Voilà plusieures semaines déjà que nous sommes séparés, peut-être pour bien longtemps, car je ne vois rien de trop consolant dans l'avenir, et pourtant je suis toujours le même, malgré les malignes suppositions de quelques personnes que je ne nommerai pas. — Enfin, pensez vous que j'ai été aux anges de voir Наталью Алексеевну, parce qu'elle vient de nos contrées; — car Moscou est et sera toujours ma patrie. — J'y suis *né,* j'y ai beaucoup *souffert,* et j'y ai été *trop heureux!* — ces trois choses auraient bien mieux fait de ne pas arriver... mais que faire!

Mademoiselle Annette m'a dit qu'on n'avait pas effacé la célèbre tête sur la muraille! — pauvre ambition! — cela m'a réjoui... et encore comment! — cette drôle passion de laisser partout des traces de son passage! — une idée d'homme,

quelque grande qu'elle soit vaut-elle la peine d'être répétée dans un objet matériel, avec le seul mérite de se faire comprendre à l'âme de quelques-uns; — il faut que les hommes ne soient pas nés pour penser, puis qu'une idée forte et libre est pour eux chose si rare! —

Je me suis proposé pour but de vous enterrer sous mes lettres et mes vers; cela n'est pas bien amical ni même philantropique, mais chacun doit suivre sa destination.

Voici encore des vers, que j'ai faits au bord de la mer:

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом. —
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

* *

Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит;
Увы! — он счастия не ищет,
И не от счастия бежит! —

* *

Струя под ним светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой: —
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

. . . .

— Adieu donc, adieu — je ne me porte pas bien: un songe heureux, un songe divin m'a gâté la journée... je ne puis ni parler, ni lire, ni écrire — chose étrange que les songes! une doublure de la vie, qui souvent est plus agréable que la réalité... car je ne partage pas du tout l'avis de ceux qui disent que la vie n'est qu'un songe; je sens bien fortement sa réalité, son vide engageant! — je ne pourrai jamais m'en détacher assez pour la mépriser de bon cœur; car ma vie — c'est moi, moi, qui vous parle, — et qui dans un moment peut devenir rien, un nom, c'est à dire encore rien. — Dieu sait, si après la vie, le moi existera! C'est terrible, quand on pense qu'il peut arriver un jour, où je ne pourrai pas dire: moi! — à cette idée l'univers n'est qu'un morceau de boue. —

Adieu; n'oubliez pas de me rappeler au souvenir de votre frère et de vos sœurs —car je ne suppose pas ma cousine de retour. —

— Dites moi, chère miss Mary, si monsieur mon cousin Evreïnoff vous a rendu mes lettres; et comment vous le trouvez, car dans ce cas je vous choisis pour mon thermomètre.

— Adieu.

Votre dévoué Lerma.

P. S. J'aurais bien voulu vous faire une petite question — mais elle se refuse de sortir de ma plume. — Si vous me devinez — bien, je serai content; — si non — alors, cela veut dire que si même je vous avais dit la question, vous n'y auriez pas su répondre.

C'est le genre de question dont peut-être vous ne vous doutez pas! —

548. М. А. ЛОПУХИНОЙ

*<Первая половина октября 1832 г.
Из Петербурга в Москву>*

Je suis extrêmement fâché que ma lettre pour ma cousine soit perdue ainsi que la vôtre pour grand'maman; — ma cousine pense peut-être que j'ai fait le paresseux, ou que je mens en disant que j'ai écrit; mais ni l'un ni l'autre ne serait juste de sa part; puisque je l'aime beaucoup, trop pour m'esquiver par un mensonge, et que, à ce que vous pouvez lui attester, je ne suis pas paresseux à écrire; je me justifierai peut-être avec ce même courrier, et si non, je vous prie de le faire pour moi; après-demain je tiens examen et suis enterré dans les mathématiques. — Dites lui de m'écrire quelquefois; ses lettres sont si aimables.

Je ne puis pas m'imaginer encore, quel effet produira sur vous ma grande nouvelle; moi, qui jusqu'à présent avais vécu pour la carrière littéraire, après avoir tant sacrifié pour mon ingrat idole, voilà que je me fais guerrier; — peut-être est-ce le vouloir particulier de la providence! — peut-être ce chemin est-il le plus court; et s'il ne me mène pas à mon premier but, peut-être me ménera-t-il au dernier de tout le monde. Mourir une balle de plomb dans le cœur, vaut bien une lente agonie de vieillard; — aussi, s'il y a la guerre, je vous jure par dieu d'être le premier partout. — Dites, je vous en prie, à Alexis que je lui enverrai un cadeau dont il ne se doute pas; il avait il y a longtemps désiré quelque chose de semblable; et je lui envoie la même chose, seulement dix fois mieux; — maintenant je ne lui écris pas, car je n'ai pas le temps; dans quelques jours l'examen; une fois entré je vous assomme de lettres, et je vous conjure tous, et toutes, de me riposter; — mademoiselle Sophie m'a promis de m'écrire aussitôt après son arrivée; le *saint*

du Voronège lui aurait-il conseillé de m'oublier? Dites lui que je voudrais savoir de ses nouvelles. — Que coûte une lettre? — une demi-heure! et elle n'entre pas à l'école des guardes; — vraiment je n'ai que la nuit; — vous, c'est autre chose; il me parait que, si je ne vous communique pas quelque chose d'important, arrivé à ma personne, je suis privé de la moitié de ma résolution. — Croyez ou non, mais cela est tout-à-fait vrai; je ne sais pourquoi, mais lorsque je reçois une lettre de vous, je ne puis m'empêcher de répondre tout de suite, comme si je vous parlais.

Adieu donc, chère amie; je ne dis pas au revoir, puisque je ne puis espérer de vous voir ici, et entre moi et la chère Moscou il y a des barrières insurmontables, que le sort semble vouloir augmenter de jour en jour. — Adieu, ne soyez pas plus paresseuse que vous n'avez été jusqu'ici, et je serai content de vous; maintenant j'aurai besoin de vos lettres plus que jamais: enfermé comme <je> serai, cela sera ma plus grande jouissance; cela seul pourra relier mon passé avec mon avenir, qui déjà s'en vont chacun de son côté, en laissant entre eux une barrière de 2 tristes, pénibles années; prenez sur vous cette tâche ennuyeuse, mais charitable, et vous empêcherez une vie de se démolir; — à vous seule je puis dire tout ce que je pense, bien ou mal, ce que j'ai déjà prouvé par ma confession; et vous ne devez pas rester en arrière; vous ne devez pas — car ce n'est pas une complaisance que je vous demande, mais un bienfait. — J'ai été inquiet il y a quelques jours, maintenant je ne le suis plus: tout est fini; j'ai vécu, j'ai mûri trop tôt; et les jours qui vont suivre seront vides de sensations...

Он был рожден для счастья, для надежд
И вдохновений мирных! — но безумный
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной;
И мир не пощадил — и Бог не спас! —
Так сочный плод до времени созрелый
Между цветов висит осиротелый;
Ни вкуса он не радует, ни глаз;
И час их красоты — его паденья час! —

И жадный червь его грызет, грызет,
И между тем как нежные подруги
Колеблются на ветках — ранний плод
Лишь тяготит свою... до первой вьюги!
— Ужасно стариком быть без седин; —
Он равных не находит; за толпою

Идет, хоть с ней не делится душою; —
Он меж людьми ни раб, ни властелин,
И всё, что чувствует, он чувствует один!

Adieu — mes poclony à tous — adieu, ne m’oubliez pas.

M. Lermantoff.

P. S. Je n’ai jamais rien écrit par rapport à vous à Evreïnoff; et vous voyez que tout ce que j’ai dit de son caractère, est vrai; seulement j’ai eu tort en disant qu’il était hypocrite — il n’a pas assez de moyens pour cela; il n’est que menteur.

549. А. М. ВЕРЕЩАГИНОЙ

<Конец октября 1832 г. Из Петербурга в Москву>

Femme injuste et crédule! (et remarquez que j’ai le plein droit de vous nommer ainsi, chère cousine). Vous avez crû aux paroles et à la lettre d’une jeune fille sans les analyser; Annette dit qu’elle n’a jamais écrit que j’avais une histoire, mais qu’on ne m’a pas compté les années que j’ai passées à Moscou, comme à tant d’autres; car il y a une réforme dans toutes les universités, et je crains qu’Alexis n’en souffre aussi, puisqu’on ajoute une année aux trois insupportables.

— Vous devez déjà savoir, notre dame, que j’entre à l’école des guardes; ce qui me privera malheureusement du plaisir de vous voir bientôt. — Si vous pouviez deviner tout le chagrin que cela me fait, vous m’auriez plaint; — ne grondez donc plus, et consolez moi, si vous avez un cœur. —

Je ne puis concevoir ce que vous voulez dire par *peser les paroles,* je ne me rappelle pas vous avoir écrit quelque chose de semblable. Au surplus je vous remercie de m’avoir grondé, cela me servira pour l’avenir; et si vous venez à Pétersbourg j’espère me venger entièrement, — et par-dessus le marché — à coups de sabre — et point de quartier, entendez vous! — mais que cela ne vous effraye pas; venez toujours, et amenez avec vous une suite nombreuse; et mademoiselle Sophie, à laquelle je n’écris pas, parce que je boude contre elle; elle m’a promis de m’écrire en arrivant de Voronège — *une longue lettre,* et je ne m’aperçois que de la longueur du temps — qui remplace la lettre.

— Et vous, chère cousine, vous m’accusez de la même chose! — et pourtant je vous ai écrit deux lettres après monsieur Paul Evreïnoff. Mais comme elles étaient adressées dans la maison Stolypine à Moscou, je suis sûr que le Léthé les a englouties, ou que la femme d’un domestique entortilla des chandelles avec mes tendres épîtres.

— Donc, je vous attends cet hiver; point de réponses évasives; vous devez venir; un beau projet ne doit pas être ainsi abandonné, la fleur ne doit pas se faner sur sa tige, et cetera.

En attendant je vous dis adieu, car je n'ai plus rien à vous communiquer d'intéressant; je me prépare pour l'examen, et dans une semaine, avec l'aide de dieu, je serai militaire; encore: vous attribuez trop à l'eau de la Neva; elle est un très bon purgatif, mais je ne lui connais point d'autre qualité; apparemment que vous avez oublié mes galanteries passées, et que vous n'êtes que pour le présent et le *futur*, qui ne manquera pas de se présenter à vous par la première occasion; adieu donc, chère amie, et mettez tous vos soins à me trouver une *future*; il faut qu'elle ressemble à Dachinka, mais qu'elle n'aie pas comme elle un gros ventre, car il n'y aurait plus de symétrie avec moi, comme vous savez; ou comme vous ne savez pas, car je suis devenu fin comme une allumette.

Je baise vos mains
M. Lerma.

P. S. Mes compliments aux tantes. —

550. М. А. ЛОПУХИНОЙ
<19 июня 1833 г. Из Петербурга в Москву>

19 Juin, Pétersbourg.

J'ai reçu vos deux lettres hier, chère amie, et je les ai — dévorées; il y a si longtemps que je n'ai eu de vos nouvelles; hier c'est le dernier dimanche que j'ai passé en ville, car demain (mardi) nous allons au camp pour deux mois; — je vous écris assis sur un banc de l'école au milieu du bruit des préparatifs, etc... — Vous serez, à ce que je crois, contente d'apprendre, que, n'ayant passé à l'école que deux mois, j'ai subi mon examen, pour la I-re classe, et suis, un des premiers... cela nourrit toujours l'espérance d'une prochaine liberté! —

Il faut pourtant absolument que je vous raconte une chose assez étrange; samedi avant de me réveiller je vois en songe, que je suis dans votre maison; vous êtes assise sur le grand canapé du salon; je m'approche de vous pour vous demander, si vous voulez définitivement que je me brouille avec vous — mais vous sans répondre m'avez tendu la main; le soir on nous laisse partir; j'arrive chez nous — et je trouve vos lettres. Cela me frappe! — je voudrais savoir: que faisiez vous ce jour-là? —

Maintenant il faut que je vous explique pourquoi j'adresse cette lettre à Moscou et non à la campagne; j'ai laissé votre lettre à la maison et l'adresse avec; et comme personne ne sait où je conserve vos lettres, je ne puis la faire venir ici.

Vous me demandez ce que signifie la phrase à propos du mariage du prince: удавится или женится! — ma parole d'honneur que je ne me rappelle pas avoir écrit quelque chose de semblable. Car j'ai trop bonne opinion du prince et je suis sûr qu'il n'est pas un de ceux qui choisissent les promises d'après un registre;

— Dites je vous prie à ma cousine que l'hiver prochain elle aura un cavalier aimable et beau: Jean Vatkofsky est officier des gardes; et tout cela parce que son colonel se marie avec sa sœur! — et dites après qu'il n'y a pas de hasard dans ce bas monde.

Dites moi à cœur ouvert: vous m'avez boudé pendant quelque temps? — et bien puisque c'est fini n'en parlons plus — adieu, on me demande — car le général est arrivé. —

Adieu.

M. Lerma.

Mes compliments à tout le monde.

Il fait tard; j'ai trouvé un moment de loisir pour continuer cette lettre. Il y a tant de choses qui se sont passées en moi depuis que je ne vous ai écrit, tant de choses étranges, que je ne sais moi-même, quelle route je vais prendre: celle du vice ou de la sottise; il est vrai que toutes les deux mènent souvent au même but; — je sais que vous m'exhorterez, que vous essayerez de me consoler — ce serait de trop! je suis plus heureux que jamais, plus gai que le premier ivrogne chantant dans la rue! — Les termes vous déplaisent — mais hélas: *dis moi qui tu hantes je te dirai qui tu es!* — Je vous crois que mademoiselle S. est fausse, car je sais que vous ne direz jamais de fausseté d'autant plus si c'est du mal! — que dieu la bénisse! — quant aux autres choses que j'aurais pu vous écrire, — je guarde le silence, pensant que beaucoup de paroles ne valent pas une action, et comme je suis paresseux de nature, ainsi que vous le savez, chère amie, je m'endors sur mes lauriers, mettant une fin tragique à mes actions et paroles à la fois

— adieu.

551. М. А. ЛОПУХИНОЙ

<4 августа 1833 г. Из Петербурга в Москву>

S.-Pétersbourg. Le 4-me Août.

Je ne vous ai pas donné de mes nouvelles depuis que nous sommes allés au camp; et vraiment je n'aurais pu y réussir avec toute la bonne volonté possible; imaginez-vous une tente qui a 3 archines en long et en large et 2½ de hauteur, occupée par trois personnes et tout leur bagage, toute leur armure, comme: sabres,

carabines, chakos etc., etc. — le temps a été horrible, une pluie qui ne finissait pas faisait, que souvent nous passions 2 jours de suite sans pouvoir sécher nos habits; et pourtant cette vie ne m'a pas tout à fait déplu; vous savez, chère amie, que j'eus toujours un penchant très prononcé pour la pluie et la boue, et maintenant grâce à dieu j'en ai joui complètement.

— Nous sommes rentrés en ville, et bientôt recommencent nos occupations; la seule chose qui me soutient, c'est l'idée que dans un an je suis officier. — Et alors, alors — ...bon dieu! si vous saviez la vie que je me propose de mener!.. oh, cela sera charmant: d'abord, des bizarreries, des folies de toute espèce, et de la poésie noyée dans du Champagne: — je sais vous allez vous recrier; mais hélas, le temps de mes rêves est passé; le temps de *croire* n'est plus; il me faut des plaisirs matériels, un bonheur palpable, un bonheur qui s'achète avec de l'or, que l'on porte dans sa poche comme une tabatière, un bonheur qui ne fasse que tromper mes sens en laissant mon âme tranquille et inactive!.. voilà ce qui m'est nécessaire maintenant, et vous vous apercevez, chère amie, que je suis quelque peu changé depuis que nous sommes séparés; quand j'ai vu mes beaux rêves s'enfuir, je me suis dit que ça ne valait pas la peine d'en fabriquer d'autres; il vaut mieux, pensai-je, apprendre à s'en passer; j'essayai; j'avais l'air d'un ivrogne qui peu à peu tâche de se déshabituer du vin; — mes efforts ne furent pas inutiles, et bientôt je ne vis dans le passé qu'un programme d'aventures insignifiantes et fort communes. Mais parlons d'autres choses; — vous me dites que le Prince T. et votre sœur son épouse se trouvent fort contents l'un de l'autre, je n'y ajoute pas une foi entière, car je crois connaître le caractère de tous les deux, et votre sœur ne paraît pas très disposée à la soumission, et il paraît que monsieur n'est pas non plus un agneau! — Je souhaite que ce calme factice dure le plus longtemps possible — mais je ne saurai prédire rien de bon. — Ce n'est pas que je vous trouve un manque de pénétration; mais je crois plutôt, que vous n'avez pas voulu me dire tout ce que vous pensiez; et c'est très naturel; car maintenant si mes suppositions sont vraies, vous n'avez pas même besoin de dire: oui. — Que faites vous à la campagne? vos voisins sont-ils amusants, aimables, nombreux? voici des questions qui vous auront l'air d'être faites sans aucune intention sérieuse!

Dans un an, peut-être, je viendrai vous voir; et quels changements ne trouverai-je pas? — me reconnaîtrez-vous, et voudrez-vous le faire? — Et moi, quel rôle jouerai-je? sera-ce un moment de plaisir, pour vous, ou d'embarras pour nous deux? car je vous avertis, que je ne suis plus le même, que je ne sens plus, que je ne parle plus de la même manière, et dieu sait ce que je deviendrai encore dans un an; — ma vie jusqu'ici n'a été qu'une suite de désappointements, qui me font rire maintenant, rire de moi et des autres; je n'ai fait qu'effleurer tous les plaisirs, et sans en avoir joui, j'en suis dégoûté.

— Mais ceci est un sujet bien triste que je tâcherai de ne pas ramener une autre fois; lorsque vous serez à Moscou annoncez le moi, chère amie... — je compte sur votre constance; adieu;

M. Ler...

P. S. Mes compliments à ma cousine, si vous lui écrivez, car je suis trop paresseux pour le faire moi-même.

552. М. Л. СИМАНСКОЙ

<20 февраля 1834 г. В Петербурге>

Ma chère cousine! Je me rends avec *extase* à votre aimable invitation, et, certainement je ne manquerai pas de venir féliciter mon oncle d'abord après diner, car — pour mon grand désespoir mon cousin Stolipine est mort avant hier, — et je suis sûr que vous ne trouverez pas mal que je me prive du plaisir de vous voir quelques heures plus tôt, pour aller, remplir un devoir aussi triste qu'indispensable; — à vous pour toute la soirée et toute la vie.

M. L.

553. М. А. ЛОПУХИНОЙ

<23 декабря 1834 г. Из Петербурга в Москву>

S.-Pétersbourg. Le 23 décembre.

Chère amie! — quoi qu'il arrive je ne vous nommerai jamais autrement, car ce serait briser le dernier lien qui m'attache encore au passé — et je ne le voudrais pour rien au monde; car mon avenir quoique brillant à l'oeil, est vide et plat; je dois vous avouer que chaque jour je m'aperçois de plus en plus que je ne serai jamais bon à rien, avec tous mes beaux rêves, et mes mauvais essais dans le chemin de la vie... car: ou l'occasion me manque ou l'audace!.. on me dit: l'occasion arrivera un jour! l'expérience et le temps vous donneront de l'audace!.. et qui sait, quand tout cela viendra, s'il me restera alors quelque chose de cette âme brûlante et jeune, que dieu m'a donnée fort mal à propos? si ma volonté ne sera pas épuisée à force de patienter?.. si enfin je ne serai pas tout à fait désabusé de tout ce qui nous force d'avancer dans l'existence?..

Je commence ainsi ma lettre par une *confession*, vraiment sans y penser! — Eh bien, qu'elle me serve d'excuse: vous verrez là du moins que si mon caractère est un peu changé, mon cœur ne l'est pas. La vue seule de votre dernière lettre a déjà été pour moi un reproche — bien mérité certainement; mais que pouvais-je vous écrire? — vous parler de moi? — vraiment je suis tellement blasé sur ma personne, que lorsque je me surprends à admirer ma propre pensée, je cherche à me rappeler:

où je l'ai lue!.. et par suite de cela j'en suis venu à ne pas lire, pour ne pas penser!.. je vais dans le monde maintenant… pour me faire connaître, pour prouver que je suis capable de trouver du plaisir dans la bonne *société;* — ah!!!.. je fais la cour, et à la suite d'une déclaration je dis des impertinences: ça m'amuse encore un peu; et quoique cela ne soit pas tout à fait nouveau, du moins cela se voit rarement!.. vous supposerez qu'on me renvoie après cela tout de bon… eh bien non, tout au contraire… les femmes sont ainsi faites; je commence à avoir de l'aplomb avec elles; rien ne me trouble, ni colère, ni tendresse: je suis toujours empressé et bouillant, avec un cœur assez froid, qui ne bat que dans les grandes occasions: n'est-ce pas, j'ai fait du chemin!.. et ne croyez pas que ce soit une fanfaronnade: je suis maintenant l'homme le plus modeste — et puis je sais bien que ça ne me donnera pas une couleur favorable à vos yeux; mais je le dis, parce que ce n'est qu'avec vous que j'ose être sincère, ce n'est que vous qui saurez me plaindre sans m'humilier, puisque je m'humilie déjà moi-même; si je ne connaissais votre générosité et votre bon sens je n'aurais pas dit ce que j'ai dit; et peut-être, puisque autrefois vous avez calmé un chagrin bien vif, peut-être, voudrez-vous maintenant chasser par de douces paroles cette froide ironie qui se glisse dans mon âme irrésistiblement, comme l'eau qui entre dans un bateau brisé. Oh! combien j'aurais voulu vous revoir, vous parler: car c'est l'accent de vos paroles, qui me faisait du bien; vraiment on devrait en écrivant mettre des notes au-dessus des mots; — car maintenant lire une lettre, c'est comme regarder un portrait: point de vie, point de mouvement; l'expression d'une pensée immuable, quelque chose qui sent la mort!..

— J'étais à *Царское Село* lorsque Alexis est arrivé; quand j'en ai reçu la nouvelle, je suis devenu presque fou de joie; je me suis surpris discourant avec moi-même, riant, me serrant les mains l'une l'autre; je suis retourné en un moment à mes joies passées, j'ai sauté deux années terribles, enfin…

Je l'ai trouvé bien changé, votre frère, il est gros, comme j'étais alors, il est rose, — mais toujours sérieux, pausé; pourtant nous avons ri comme des fous la soirée de notre entrevue, — et dieu sait de quoi?

Dites moi, j'ai cru remarquer qu'il a du tendre pour m-lle Catherine Souchkoff… est-ce que vous le savez? — les oncles de mamselle auraient bien voulu les marier!.. Dieu préserve!.. cette femme est une chauve souris, dont les ailes s'accrochent à tout ce qu'ils rencontrent! — il y eut un temps où elle me plaisait, maintenant elle me force presque de lui faire la cour… mais, je ne sais, il y a quelque chose, dans ses manières, dans sa voix, quelque chose de dur, de saccadé, de brisé, qui repousse; tout en cherchant à lui plaire on trouve du plaisir à la compromettre, de la voir s'embarrasser dans ses propres filets.

Ecrivez-moi de grâce, chère amie, maintenant que tous nos différends sont réglés, que vous n'avez plus à vous plaindre de moi, car je pense avoir été assez sincère, assez soumis dans cette lettre pour vous faire oublier mon crime de lèse-amitié!..

Je voudrais bien vous revoir encore: au fond de ce désir, pardonnez, il gît une pensée égoïste, c'est que, près de vous, je me retrouverais moi-même, tel que j'étais autrefois, confiant, riche d'amour et de dévouement, riche enfin de tous les biens que les hommes ne peuvent nous ôter, et que dieu m'a ôté, lui! — Adieu, adieu — je voudrais continuer mais je ne puis.

M. Lerma.

— P. S. Mes compliments à tous ceux auxquels vous jugerez convenable de les faire pour moi... adieu encore.

554. А. М. ВЕРЕЩАГИНОЙ

<Начало 1835 г. Из Петербурга в Москву>

Ma chère cousine!

Je me suis décidé de vous payer une dette que vous n'avez pas eu le bonté de réclamer, et j'espère que cette générosité de ma part touchera votre cœur devenu si dur pour moi depuis quelque temps; je ne demande en récompense que quelques gouttes d'encre et deux ou trois traits de plume pour m'annoncer que je ne suis pas encore tout à fait banni de votre souvenir; — autrement je serai forcé de chercher des consolations ailleurs (car ici aussi j'ai des cousines) — et la femme la moins aimante (c'est connu) n'aime pas beaucoup qu'on cherche des consolations loin d'elle. — Et puis si vous persévérez encore dans votre silence, je puis bientôt arriver à Moscou — et alors ma vengeance n'aura plus de bornes; en fait de guerre (vous savez) on ménage la garnison qui a capitulé, mais la ville prise d'assaut est sans pitié abandonnée à la fureur des vainqueurs.

Après cette bravade à la hussard, je me jette à vos pieds pour implorer ma grâce en attendant que vous le fassiez à mon égard.

Les préliminaires finis, je commence à vous raconter ce qui m'est arrivé pendant ce temps, comme on fait en se revoyant après une longue séparation.

Alexis a pu vous dire quelque chose sur ma manière de vivre, mais rien d'intéressant si ce n'est le commencement de mes amourettes avec M-lle Souchkoff, dont la fin est bien plus intéressante et plus drôle. Si j'ai commencé par lui faire la cour, ce n'était pas un reflet du passé — avant c'était une occasion de m'occuper, et puis lorsque nous fûmes de bonne intelligence, ça devint un calcul: — voilà comment. — J'ai vu en entrant dans le monde que chacun avait son piédestal: une fortune, un nom, un titre, une faveur... j'ai vu que si j'arrivais à occuper de moi une personne, les autres s'occuperont de moi insensiblement, par curiosité avant, par rivalité après.

— La demoiselle S. — voulant *m'attraper* (mot technique), j'ai compris qu'elle se comprometterait pour moi facilement; — aussi je l'ai compromise autant qu'il

était possible, sans me compromettre avec, la traitant publiquement comme à moi, lui faisant sentir qu'il n'y a que ce moyen pour me soumettre... Lorsque j'ai vu que ça m'a réussi, mais qu'un pas de plus me perdait, je tente un coup de main. Avant je devins plus froid aux yeux du monde, et plus tendre avec elle pour faire voir que je ne l'aimais plus, et qu'elle m'adore (ce qui est faux au fond); et lorsqu'elle commença à s'en apercevoir et voulut secouer le joug, je l'abandonnai le premier publiquement, je devins dur et impertinent, moqueur et froid avec elle devant le monde, je fis la cour à d'autres et leur racontais (en secret) la partie, favorable à moi, de cette histoire. — *Elle* fut si confondue de cette conduite inattendue — que d'abord elle ne sut que faire et se résigna — ce qui fit parler et me donna l'air d'avoir fait une conquête entière; puis elle se réveilla — et commença à me gronder partout — mais je l'avais prévenue — et sa haine parut à ses amies (ou ennemies) de l'amour piqué. — Puis elle tenta de me ramener par une feinte tristesse et en disant à toutes mes connaissances intimes qu'elle m'aimait — je ne revins pas — et profitai de tout habilement. Je ne puis vous dire combien tout ça m'a servi — ça serait trop long, et ça regarde des personnes que vous ne connaissez pas. Mais voici la partie plaisante de l'histoire: quand je vis qu'il fallait rompre avec elle aux yeux du monde et pourtant lui paraître fidèle en tête-à-tête, je trouvai vite un moyen charmant; — j'écrivis une lettre anonyme: *«M-lle: je suis un homme qui vous connaît et que vous ne connaissez pas, etc... je vous avertis de prendre garde à ce jeune homme: M. L.— il vous séduira — etc... voilà les preuves (des bêtises) etc...»* une lettre sur 4 pages!.. Je fis tomber adroitement la lettre dans les mains de la tante; orage et tonnerre dans la maison. — Le lendemain j'y vais de grand matin pour que en tout cas je ne sois pas reçu. — Le soir à un bal, je m'en étonne en le racontant à mademoiselle; mad<emoiselle> me dit la nouvelle terrible et incompréhensible; et nous faisons des conjectures — je mets tout sur le compte d'ennemis secrets — qui n'existent pas; enfin elle me dit que ses parents lui défendent de parler et danser avec moi, — j'en suis au désespoir, mais je me garde bien d'enfreindre la défense de la tante et des oncles; — ainsi fut menée cette aventure touchante qui certes va vous donner une fort bonne opinion de moi. Au surplus les femmes pardonnent toujours le mal qu'on fait à une femme *(maximes de La Rochefoucauld)*. Maintenant je n'écris pas de romans — j'en fais.

Enfin vous voyez que je me suis bien vengé des larmes que les coquetteries de m-lle S. m'ont fait verser il y a 5 ans; oh! mais c'est que nos comptes ne sont pas encore réglés: elle a fait souffrir le cœur d'un enfant, et moi je n'ai fait que torturer l'amour propre d'une vieille coquette, qui peut-être est encore plus... mais néanmoins, ce que je gagne c'est qu'elle m'a servi à quelque chose! — oh c'est que je suis bien changé; c'est que, je ne sais pas comment ça se fait, mais chaque jour donne une nouvelle teinte à mon caractère et à ma manière de voir! — ça devait arriver, je le savais toujours... mais je ne croyais pas que cela arrivât si

vite. Oh, chère cousine, il faut vous l'avouer, la cause de ce que je ne vous écrivais plus, à vous et à M-lle Marie, c'est la crainte que vous ne remarquiez par mes lettres que je ne suis presque plus digne de votre amitié… car à vous deux je ne puis pas cacher la vérité, à vous qui avez été les confidentes de mes rêves de jeunesse, si beaux — surtout dans le souvenir.

Et pourtant à me voir maintenant on dirait que je suis rajeuni de 3 ans, tellement j'ai l'air heureux et insouciant, content de moi-même et de l'univers entier; ce contraste entre l'âme et l'extérieur ne vous paraît-il pas étrange? —

Je ne saurais vous dire combien le départ de grand'maman m'afflige, — la perspective de me voir tout-à-fait seul la première fois de ma vie m'effraye; dans toute cette grande ville il ne restera pas un être qui s'intéresse véritablement à moi…

Mais assez parler de ma triste personne — causons de vous et de Moscou. On m'a dit que vous avez beaucoup embelli, et c'est M-me Ouglitzki qui l'a dit; en ce cas seulement je suis sûr qu'elle n'a pas menti, car elle est trop femme pour cela: elle dit encore que la femme de son frère est charmante… en ceci je ne la crois pas tout-à-fait, car elle a intérêt de mentir… ce qui est drôle c'est qu'elle veut se faire malheureuse à tout prix, pour attirer les condoléances de tout le monde, — tandis que je suis sûr qu'il n'y a pas au monde une femme qui soit moins à plaindre… à 32 ans avoir ce caractère d'enfant, et s'imaginer encore faire des passions!.. — et après cela se plaindre? — Elle m'a annoncé encore que mademoiselle Barbe allait se marier avec M. Bachmétieff; je ne sais pas si je dois trop lui croire — mais en tout cas je souhaite à M-lle Barbe de vivre en paix conjugale jusqu'au célébrement de sa noce *d'argent*, — et même plus, si jusque-là elle n'en est pas encore dégoûtée!..

Maintenant voici mes nouvelles, Наталья Алексеевна с чады и домочадцы s'en va aux pays étrangers!!! pouah!.. elle va donner là bas une fameuse idée de nos dames russes!…

Dites à Alexis que sa passion M-lle Ladigenski devient de jour en jour plus formidable!.. je lui conseille aussi d'engraisser encore pour que le contraste ne soit pas si frappant. Je ne sais pas si la manière de vous ennuyer est la meilleure pour obtenir ma grâce; ma huitième page va finir et je craindrais d'en commencer une dixième… ainsi donc, chère et cruelle cousine, adieu, et si vraiment vous m'avez remis dans votre faveur, faites le moi savoir, par une lettre de votre domestique, — car je n'ose pas compter sur un billet de votre main.

Adieu donc, j'ai l'honneur d'être ce qu'on met au bas d'une lettre…

votre très humble

M. Lermantoff.

P. S. Mes respects je vous pris à mes tantes, cousines, et cousins, et connaissances…

555. А. М. ГЕДЕОНОВУ

<Декабрь (до 17) 1835 г. В Петербурге>

Милостивый Государь,

Александр Михайлович,

Возвращенную цензурою мою пьесу «Маскерад» я пополнил четвертым актом, с которым, надеюсь, будет одобрена цензором; а как она еще прежде представления Вам подарена мною г-ну Раевскому, то и новый акт передан ему же для представления цензуре.

Отъезжая на несколько времени из Петербурга, я вновь покорнейше прошу Ваше Превосходительство оказать моему труду высокое внимание Ваше.

С отличным почтением и преданностью честь имею быть Вашего Превосходительства

покорнейший слуга М. Лермантов.

Декабря 1835 г.

556. С. А. РАЕВСКОМУ

<16 января 1836 г. Из Тархан в Петербург>

Тарханы, 16 января.

Любезный Святослав!

Мне очень жаль, что ты до сих пор ленишься меня уведомить о том, что ты делаешь и что делается в Петербурге. Я теперь живу в Тарханах, в Чембарском уезде (вот тебе адрес на случай, что ты его не знаешь), у бабушки, слушаю, как под окном воет мятель (здесь всё время ужасные, снег в сажень глубины, лошади вязнут и пердят, и соседи оставляют друг друга в покое, что, в скобках, весьма приятно), ем за десятерых, еть не могу, потому что девки воняют, пишу четвертый акт новой драмы, взятой из происшествия, случившегося со мною в Москве. — О Москва, Москва, столица наших предков, златоглавая царица России великой, малой, белой, черной, красной, всех цветов, Москва, ети ее мать, преподло со мною поступила. Надо тебе объяснить сначала, что я влюблен. И что ж я этим выиграл? — Одни поллюции. Правда, сердце мое осталось покорно рассудку, но в другом не менее важном члене тела происходит гибельное восстание. Теперь ты ясно видишь мое несчастное положение и, как друг, верно, пожалеешь, а может быть, и позавидуешь, ибо всё то хорошо, чего у нас нет, от этого, верно, и п<...> нам нравится. Вот самая деревенская философия!

Я опасаюсь, что моего «Арбенина» снова не пропустили, и этой мысли подало повод твое молчание. Но об этом будет!

Также я боюсь, что лошадей моих не продали и что они тебя затрудняют. Если бы ты об этом раньше написал, то я бы прислал денег для прокормления их и людей, и потом если они не продадутся, то я отсюда не возьму столько лошадей, сколько намереваюсь. Пожалуста, отвечай, как получишь.

Объявляю тебе еще новость: летом бабушка переезжает жить в Петербург, т. е. в июне месяце. Я ее уговорил потому, что она совсем истерзалась, а денег же теперь много, но я тебе объявляю, что мы все-таки не расстанемся.

Я тебе не описываю своего похождения в Москве в наказание за твою излишнюю скромность, — и хорошо, что вспомнил об наказании — сейчас кончу письмо (ты видишь из этого, как я еще добр и великодушен).

М. Лермонтов.

557. Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

<Конец марта — первая половина апреля 1836 г.
Из Царского Села в Тарханы>

Милая бабушка.

Так как время вашего приезда подходит, то я уже ищу квартиру, и карету видел да высока; Прасковья Николавна Ахвердова в маие сдает свой дом, кажется, что будет для нас годиться, только всё далеко. — Лошади мои вышли, башкирки, так сносны, что чудо, до Петербурга скачу — а приеду, они и не вспотели; а большими парой, особенно одной все любуются, — они так выправились, что ожидать нельзя было. — Лошадь у генерала я еще не купил, а уже говорил ему об этом, и он согласен. Посылаю вам в оригинале письмо Григорья Васильевича, и я буду дожидаться вашего письма, чтоб ему отвечать; признаюсь вам, я без этого не знал бы, что и писать ему, — как вы рассудите: я боюсь наделать глупостей. — Скоро государь, говорят, переезжает в Царское Село — и нам начнется большая служба, и теперь я больше живу в Царском, в Петербурге нечего делать, — я там уж полторы недели не был; всё по службе идет хорошо — и я начинаю приучаться к царскосельской жизни.

Пожалуйста, растолкуйте мне, что отвечать Григорью Васильевичу.

Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны на мой счет, а я, будьте уверены, всё сделаю, чтоб продолжить это спокойствие. Целую ваши ручки и прошу вашего благословения.

Покорный внук
М. Лермонтов.

558. Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

<Вторая половина апреля 1836 г.
Из Петербурга или Царского Села в Тарханы>

Милая бабушка,

На днях Марья Акимовна уехала, — я узнал об ее отъезде в Царском, — приехал в город на один вечер, был у нее, но не застал, и потому не писал с нею, — вы, верно, получите мое письмо прежде ее приезда, то и не будете беспокоиться, что я с нею <не> пишу к вам.

Я на днях купил лошадь у генерала и прошу вас, если есть деньги, прислать мне 1580 рублей; лошадь славная и стоит больше, — а цена эта не велика.

Насчет квартиры я еще не решился, но есть несколько на примете; в начале мая они будут дешевле по причине отъезда многих на дачу. Я вам, кажется, писал, что Лизавета Аркадьевна едет нынче весной с Натальей Алексеевной в чужие краи на год; теперь это мода, как было некогда в Англии; в Москве около двадцати семейств собираются на будущий год в чужие краи; пожалуста, бабушка, не мешкайте отъездом: вы, я думаю, получили письмо мое, с которым я посылаю письмо Григорья Васильевича, — пожалуста, объясните мне, что мне лучше ему писать.

Прощайте, милая бабушка, прошу вашего благословения, целую ваши ручки и остаюсь покорный внук.

М. Лермонтов.

559. Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

<Конец апреля — начало мая 1836 г.
Из Царского Села в Москву>

Милая бабушка.

Полагая, что вы уже в дороге, пишу к вам в Москву; последнее мое письмо от 25-го апреля, я думаю, вас не застанет в деревне, судя по тому, как вы хотели выехать, и к тому ж Андрей получил письмо от жены, где она пишет, что вы думали выехать 20-го апреля, также и то, что не получаю от вас писем, заставляет меня думать, что вы уже в дороге. Также я думаю, милая бабушка, что вы не получили моего письма, где я писал вам о письмах ко мне Григорья Васильевича, — и я всё еще жду вашего разрешения, если вы получили. — Квартиру я нанял на Садовой улице в доме князя Шаховского, за 2000 рублей — все говорят, что недорого, смотря по числу комнат. —

Карета также ждет вас... а мы теперь все живем в Царском; государь и великий князь здесь; каждый день ученье, иногда два.

Ожидаю от вас письма, милая бабушка, оно разрешит мое недоумение.

Прощайте. Целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук

М. Лермантов.

560. М. Л. СИМАНСКОЙ
<11 мая 1836 г. В Петербурге>

Je vous aime M-lle M. S.
Своею кровью.

561. С. А. РАЕВСКОМУ
<Конец февраля 1837 г. В Петербурге>

Милый мой друг Раевский.

Меня нынче отпустили домой проститься. Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я узнал, что я виной твоего несчастия, что ты, желая мне же добра, за эту записку пострадаешь. Дубельт говорит, что Клейнмихель тоже виноват... Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет и что если я запрусь, то меня в солдаты... Я вспомнил бабушку... и не смог. Я тебя принес в жертву ей... Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать, — но я уверен, что ты меня понимаешь и прощаешь и находишь еще достойным своей дружбы... Кто б мог ожидать!.. Я к тебе заеду непременно. Сожги эту записку.

Твой — M. L.

562. С. А. РАЕВСКОМУ
<Начало марта 1837 г. В Петербурге>

Любезный друг.

Я видел нынче Краевского; он был у меня и рассказывал мне, что знает про твое дело. Будь уверен, что всё, что бабушка может, она сделает... Я теперь почти здоров — нравственно... Была тяжелая минута, но прошла. Я боюсь, что будет с твоей хандрой? Если б я мог только с тобой видеться. Как только позволят мне выезжать, то вторично приступлю к коменданту. Авось, позволит проститься. — Прощай, твой навеки M. L.

563. С. А. РАЕВСКОМУ

<Март (до 19) 1837 г. В Петербурге>

Любезный друг Святослав.

Ты не можешь вообразить, как ты меня обрадовал своим письмом. У меня было на совести твое несчастье, меня мучила мысль, что ты за меня страдаешь. Дай Бог, чтоб твои надежды сбылись. Бабушка хлопочет у Дубельта, и Афанасий Алексеевич также. Что до меня касается, то я заказал обмундировку и скоро еду. Мне комендант, я думаю, позволит с тобой видеться — иначе же я и так приеду. Сегодня мне прислали сказать, чтоб я не выезжал, пока не явлюсь к Клейнмихелю, ибо он теперь и мой начальник, ети его мать. Я сегодня был у Афанасья Алексеевича, и он меня просил не рисковать без позволения коменданта — и сам хочет просить об этом. Если не позволят, то я всё приеду. Что Краевский, на меня пеняет за то, что и ты пострадал за меня? — Мне иногда кажется, что весь мир на меня ополчился, и если бы это не было очень лестно, то право, меня бы огорчило... Прощай, мой друг. Я буду к тебе писать про страну чудес — восток. Меня утешают слова Наполеона: les grands noms se font à l'Orient. Видишь: всё глупости. Прощай, твой навсегда

M. Lerm<ontoff>.

564. М. А. ЛОПУХИНОЙ

<31 мая 1837 г. Из Пятигорска в Москву>

31-го мая.

Je tiens exactement ma promesse, chère et bonne amie, et je vous envoie ainsi qu'à madame votre sœur les souliers circassiens que je vous avais promis; il y en a six paires, et vous pouvez facilement partager sans vous quereller; je les ai achetés dès que j'ai pu en trouver; je suis maintenant aux eaux, je bois et je me baigne, enfin je mène une vie de canard tout-à-fait. Dieu veuille, que ma lettre vous trouve encore à Moscou, car si elle va voyager en Europe à vos trousses, elle vous attrapera peut être à Londres, à Paris, à Naples, que sais-je, — et toujours dans des endroits où elle sera pour vous la chose la moins intéressante, de quoi dieu la garde et moi aussi. — J'ai ici un logement fort agréable; chaque matin je vois de ma fenêtre toute la chaîne des montagnes de neige et l'Elbrous; et maintenant encore, au moment où j'écris cette lettre, je m'arrête quelques fois pour jeter un coup d'oeil sur ces géants, tant ils sont beaux et majestueux. J'espère m'ennuyer joliment tout le temps que je passerai aux eaux, et quoiqu'il est très facile de faire des connaissances je tâche de n'en pas faire du tout; je rôde chaque jour sur la montagne, ce qui seul a rendu la force à mes pieds; aussi je ne fais que

marcher; ni la chaleur ni la pluie ne m'arrêtent... Voici à peu près mon genre de vie, chère amie, ce n'est pas fort beau, mais... — dès que je serai guéri j'irai faire l'expédition d'automne contre les circassiens, quand l'empereur sera ici...

— Adieu, chère, je vous souhaite beaucoup de plaisir à Paris et à Berlin. — Alexis a-t-il reçu sa permission; — embrassez le de ma part — adieu.

Tout à vous M. Lermontoff.

P. S. De grâce, écrivez-moi — et dites si les souliers vous ont plu.

565. Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

<18 июля 1837 г. Из Пятигорска в Петербург>

18 июля.

Милая бабушка! пишу к вам по тяжелой почте, потому что третьего дня по экстра-почте не успел, ибо ездил на железные воды и, виноват, совсем забыл, что там письма не принимают; боюсь, чтобы вы не стали беспокоиться, что одну почту нет письма. Эскадрон нашего полка, к которому барон Розен велел меня причислить, будет находиться в Анапе, на берегу Черного моря при встрече государя, тут же, где отряд Вельяминова, и, следовательно, я с вод не поеду в Грузию; итак прошу вас, милая бабушка, продолжайте адресовать письма на имя Павла Ивановича Петрова и напишите к нему: он обещался мне доставлять их туда; иначе нельзя, ибо оттуда сообщение сюда очень трудно, и почта не ходит, а депеши с нарочными отправляют. От Алексея Аркадича я получил известия; он здоров, и некоторые офицеры, которые оттуда сюда приехали, мне говорили, что его можно считать лучшим офицером из гвардейских, присланных на Кавказ. То, что вы мне пишете об Гвоздеве, меня не очень удивило; я, уезжая, ему предсказывал, что он будет юнкером у меня во взводе; а впрочем, жаль его.

Здесь погода ужасная: дожди, ветры, туманы; июль хуже петербургского сентября; так что я остановился брать ванны и пить воды до хороших дней. Впрочем, я думаю, что не возобновлю, потому что здоров как нельзя лучше. Для отправления в отряд мне надо будет сделать много покупок, а свои вещи я думаю оставить у Павла Ивановича. Пожалуйста, пришлите мне денег, милая бабушка; на прожитье здесь мне достанет; а если вы пришлете поздно, то в Анапу трудно доставить. — Прощайте, милая бабушка, целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь ваш вечно привязанный к вам и покорный

внук Михаил.

Пуще всего не беспокойтесь обо мне; Бог даст, мы скоро увидимся.

566. С. А. РАЕВСКОМУ

<Вторая половина ноября — начало декабря 1837 г. Из Тифлиса в Петрозаводск>

Любезный друг Святослав!

Я полагаю, что либо мои два письма пропали на почте, либо твои ко мне не дошли, потому что с тех пор, как я здесь, я о тебе знаю только из писем бабушки.

Наконец, меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк, и если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли Поселение веселее Грузии.

С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже...

Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить — в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров, зато веду жизнь примерную; пью вино только, когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, греюсь... — Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два, три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался: раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирный, разумеется), — и чуть не попались шайке лезгин. — Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные; а что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани! — Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь.

Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе, — да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским.

Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а право, я расположен к этому роду жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург; увы, не в Царское Село; скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку.

Прощай, любезный друг, не позабудь меня, и верь все-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал.

Вечно тебе преданный М. Лермонтов.

567. П. И. ПЕТРОВУ

<1 февраля 1838 г. Из Петербурга в Ставрополь>

Любезный дядюшка

Павел Иванович.

Наконец приехав в Петербург, после долгих странствований и многих *плясок* в Москве, я благословил, во-первых, всемогущего Аллаха, разостлал ковер отдохновения, закурил чубук удовольствия и взял в руки перо благодарности и приятных воспоминаний.

Бабушка выздоровела от моего приезда и надеется, что со временем меня опять переведут в лейб-гусары; и теперь я еще здесь обмундировываюсь; но мне скоро грозит приятное путешествие в *великий* Новгород, *ужасный* Новгород.

Ваше письмо я отдал в руки дядюшке Афанасью Алексеевичу, которого нашел в Москве. — Я в восторге, что могу похвастаться своею аккуратностью перед вами, которые видели столько раз во мне противное качество или порок, как угодно.

Боюсь, что письмо мое не застанет вас в Ставрополе, но, не зная, как вам адресовать в Москву, пускаюсь наудалую, и великий пророк да направит стопы почтальона.

С искреннейшею благодарностию за все ваши попечения о моем ветреном существе имею честь прикладывать к *сему* письму 1050 руб., которые вы мне одолжили.

Пожалуйста, любезный дядюшка, скажите милым кузинам, что я цалую у них руцьки и прошу меня не забывать,

— остаюсь всей душою преданный вам

М. Лермонтов.

568. М. А. ЛОПУХИНОЙ

<15 февраля 1838 г. Из Петербурга в Москву>

15 Février.

Je vous écris, chère amie, la veille de m'en aller à Novgorod; j'attendais jusqu'à présent qu'il m'arrivât quelque chose d'agréable pour vous l'annoncer, mais rien n'est venu; et je me décide à vous écrire que je m'ennuie à la mort; les premiers jours de mon arrivée je n'ai fait que courir — des présentations, des visites de cérémonie — vous savez, puis je suis allé chaque jour au spectacle: — il est fort bien c'est vrai, mais j'en suis déjà dégoûté; et puis on me persécute: tous les chers parents! — on ne veut pas que je quitte le service, quoique je l'aurais pu déjà, vu que ces messieurs qui sont passés à la garde avec moi, l'ont déjà quitté. — Enfin je suis passablement découragé, et je désire même quitter Pétersbourg au plus vite, pour aller n'importe où, que ce soit au régiment ou au diable; j'aurai au moins alors un prétexte pour me lamenter, ce qui est une consolation comme une autre.

Ce n'est pas très joli de votre part que vous attendez toujours ma lettre pour m'écrire; on dirait que vous faites la fière; — pour Alexis cela ne m'étonne pas, car il va se marier un de ces jours-ci avec je ne sais plus quelle riche marchande, comme on le dit ici, et je conçois que je ne puis pas espérer d'avoir dans son cœur une place pareille à celle d'une grosse marchande en gros. Il m'avait promis de m'écrire deux jours après mon départ de Moscou, — mais peut-être a-t-il oublié mon adresse, aussi je lui envoie deux:

1) В С.-Петерб<ург>: у Пантелеймоновского моста на Фонтанке, против Летнего сада, в доме Венецкой.

2) В Новгородскую губернию, в первый округ военных поселений в штаб *Лейб-гвардии* Гродненского гусарского полка.

Si après cela il ne m'écrit pas, je le maudis lui et sa grosse marchande en gros: je m'applique déjà à composer la formule de ma malédiction. Dieu! que c'est embarrassant d'avoir des amis qui sont en train de se marier.

En arrivant ici j'ai trouvé un chaos de commérages dans la maison; j'y ai mis de l'ordre autant que possible, quand on a à faire à trois ou quatre femmes qui ne veulent pas entendre raison: pardonnez-moi, si je parle ainsi de votre [sesque] ou sexe charmant, mais hélas! si je vous le dis c'est aussi une preuve que je vous crois une exception. — Enfin quand je reviens à la maison, je n'entends que des histoires, des histoires — des plaintes, des reproches, des suppositions, des conclusions,— c'est quelque chose d'odieux, pour moi surtout qui en ai perdu l'habitude au Caucase, où la société des dames est très rare, ou très peu causante (celle des géorgiennes par ex<emple>, car elles ne parlent pas russe, ni moi géorgien).

Je vous prie, chère Marie, écrivez-moi un peu, sacrifiez-vous, — écrivez-moi toujours, et ne faites pas de ces petites cérémonies — vous devez être audessus

de cela! — car enfin si quelquefois je tarde à répondre, c'est que vraiment ou je n'ai rien à dire, ou j'ai trop à faire! — deux excuses valables.

J'ai été chez Joukofsky, et lui ai porté Тамбовскую казначейшу qu'il m'avait demandé, et qu'il porta à Wiazemsky pour lire ensemble; cela leur a beauoup plu, — et cela sera inséré au prochain numéro du Современник.

Grand'maman espère que je serai bientôt passé au hussards de Царское Село, mais c'est parce que on le lui a fait espérer, dieu sait avec quel motif — et c'est pour cela qu'elle ne consent pas à ce que je prenne mon congé: quant à moi je n'espère rien du tout.

Pour la conclusion de ma lettre je vous envoie une pièce de vers que j'ai trouvée par hasard dans mes paperasses de voyage, et qui m'a plu assez, vu que je l'ai oublié, — mais cela ne prouve rien du tout.

МОЛИТВА СТРАННИКА

Я, матерь божия, ныне с молитвою,
Пред твоим образом, — ярким сиянием, —
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием;

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного: —
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

———

Окружи счастием счастья достойную,
Дай ты ей спутников полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную, —
Сердцу незлобному мир упования;

———

Срок ли приблизится часу прощальному,
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

Adieu, chère amie — embrassez Alexis, et dites lui que c'est une honte, — et dites le aussi à mademoiselle Marie Lapouchine. —

Lerma.

569. С. А. РАЕВСКОМУ

<8 июня 1838 г. Из Петербурга или Царского Села в Петрозаводск>

Июня 8 дня.

Любезный друг Святослав,

Твое последнее письмо огорчило меня: ты сам знаешь почему; но я тебя от души прощаю, знаю твои расстроенные нервы. Как мог ты думать, чтоб я шутил твоим спокойствием или говорил такие вещи, чтобы отвязаться. Главное то, что я совсем этого не говорил или пусть говорил, да не про то. Я сказал, что отзыв *непокорен к начальству* повредит тебе тогда, когда ты еще здесь сидел под арестом, и что без этого ты, может быть, остался бы здесь.

Я слышал здесь, что ты просился к водам и что просьба препровождена к военному министру; но резолюции не знаю; если ты поедешь, то, пожалуйста, напиши, куда и когда. Я здесь по-прежнему скучаю; как быть? покойная жизнь для меня хуже. Я говорю *покойная*, потому что ученье и маневры производят только усталость. Писать не пишу, печатать хлопотно, да и пробовал, но неудачно.

Роман, который мы с тобою начали, затянулся и вряд ли кончится, ибо обстоятельства, которые составляли его основу, переменились, а я, знаешь, не могу в этом случае отступить от истины.

Если ты поедешь на Кавказ, то это, я уверен, принесет тебе много пользы физически и нравственно: ты вернешься поэтом, а не экономо-политическим мечтателем, что для души и для тела здоровее. Не знаю, как у вас, а здесь мне после Кавказа всё холодно, когда другим жарко, а уж здоровее того, как я теперь, кажется, быть невозможно. О Юрьеве скажу тебе: вообрази, влюбился в актрису, вышел в отставку, живет у Балабина, табак и чай уж в долг не дают и 30.000 долгу, и вон из города не выпускают, — видишь: у всякого свои несчастия.

Прощай, любезный друг, и прошу тебя, будь уверен во мне и думай, что я никогда не скажу и не сделаю ничего тебе огорчительного. Прощай, милый друг, бабушка также к тебе пишет.

М. Лермонтов.

570. А. И. ФИЛОСОФОВУ

<Конец сентября — начало октября 1838 г. Царское Село>

Cher o<n>cle, je prends la liberté de vous supplier d’intercéder pour moi dans une affaire que vous seul pouvez arranger, et je suis sûr que vous ne me refuserez pas votre protection. Grand-maman est dangereusement malade,

tellement qu'elle n'a pas pu même me l'écrire, le domestique est venu me chercher croyant que j'étais déjà libéré. J'ai demandé au commandant quelques heures seulement pour aller la voir, j'ai écrit au général — mais comme cela dépend du Monseigneur, il n'ont rien pu faire.

Ayez pitié de Grand-maman, si ce n'est de moi, et obtenez un jour pour moi car le temps presse...

Je n'ai pas besoin de vous parler de ma reconnaissance et de mon chagrin, car votre cœur me comprendra complètement

Je suis votre tout dévoué
M. Lermontoff.

На обороте:

Его Превосходительству
Милостивому Государю
Алексею Илларионовичу
Философову.

571. А. М. ВЕРЕЩАГИНОЙ-ХЮГЕЛЬ

<16 ноября 1838 г. Из Петербурга в Париж>

St.-Pétersbourg, Novembre 16/28. Среда.

Ma cousine,
Je m'incline
A genoux
à cette place!
qu'il est doux
de faire grâce!

———

Pardonnez
ma paresse, etc., etc.

— Vraiment je n'ai trouvé que ce moyen pour me rappeler à votre souvenir, et obtenir mon pardon; soyez heureuse, et ne m'en voulez pas; demain je commence une énorme lettre pour vous... Ma tante m'arrache la plume... ah!..

M. Lermontoff.

572. М. А. ЛОПУХИНОЙ

<Конец 1838 г. Из Петербурга в Москву>

Il y a longtemps, chère et bonne amie, que je ne vous ai écrit et que vous ne m'avez donné de nouvelles de votre chère personne et de tous les vôtres; aussi j'ai l'espérance que votre réponse à cette lettre ne se fera pas longtemps attendre: il y a de la fatuité dans cette phrase, direz-vous; mais vous vous tromperez. Je sais que vous êtes persuadée que vos lettres me font un grand plaisir puisque vous employez le silence comme punition; mais je ne mérite pas cette punition car j'ai constamment pensé à vous, preuve: j'ai demandé un semestre d'un an, — refusé, de 28 jours — refusé, de 14 jours — le grand duc a refusé de même; tout ce temps j'ai été dans l'espérance de vous voir; je ferai encore une tentative — dieu veuille qu'elle réussisse. — Il faut vous dire que je suis le plus malheureux des hommes, et vous me croirez quand vous saurez que je vais chaque jour au bal: je suis lancé dans le *grand-monde:* pendant un mois j'ai été à la mode, on se m'arrachait. C'est franc au moins. — Tout ce monde que j'ai injurié dans mes vers se plait à m'entourer de flatteries; les plus jolies femmes me demandent des vers et s'en vantent comme d'un triomphe. — Néanmoins je m'ennuie. — J'aj demandé d'aller au Caucase — refusé. — On ne veut pas même me laisser tuer. Peut-être, chère amie, ces plaintes ne vous paraîtront-elles pas de bonne foi? — peut-être vous paraîtra-t-il étrange qu'on cherche les plaisirs pour s'ennuyer, qu'on court les salons quand on n'y trouve rien d'intéressant? — eh bien je vous dirai mon motif: vous savez que mon plus grand défaut c'est la vanité et l'amour-propre: il fut un temps où j'ai cherché à être admis dans cette société comme novice, je n'y suis pas parvenu; les portes aristocratiques se sont fermées pour moi: et maintenant j'entre dans cette même société non plus en solliciteur, mais en homme qui a conquis ses droits; j'excite la curiosité; on me recherche, on m'engage partout, sans que je fasse mine de le désirer même; les femmes qui tiennent à avoir un salon remarquable veulent m'avoir, car je suis aussi un *lion,* oui, moi — votre Michel, bon garçon, auquel vous n'avez jamais cru une crinière. — Convenez que tout cela peut enivrer. Heureusement ma paresse naturelle prend le dessus; et peu à peu je commence à trouver tout cela par trop insupportable: mais cette nouvelle expérience m'a fait du bien, en ce qu'elle m'a donné des armes contre cette société, et si jamais elle me poursuit de ses calomnies (ce qui arrivera) j'aurai du moins les moyens de me venger; car certainement nulle part il n'y a tant de bassesses et de ridicules. Je suis persuadé que vous ne direz à personne mes vanteries, car on me trouverait encore plus ridicule que qui que cela soit, et puis avec vous je parle comme avec ma conscience, et puis c'est si doux de rire sous-cape des choses briguées et enviées par les sots, avec quelqu'un qui, on le sait, est toujors prêt à partager vos sentiments; c'est de vous que je parle, chère amie, je vous le répète, car ce passage est tant soit peu obscur.

Mais vous m'écrirez n'est ce pas? — je suis sûr que vous ne m'avez pas écrit pour quelque raison grave? — êtes-vous malade? y a-t-il quelqu'un de malade dans la famille? je le crains. On m'a dit quelque chose de semblable. Dans la semaine prochaine j'attend votre réponse, qui j'espère sera non moins longue que ma lettre, et certainement mieux écrite, car je crains bien que vous ne sachiez déchiffrer ce barbouillage.

Adieu, chère amie, peut-être si dieu veut me récompenser je parviendrai à avoir un semestre, et alors je serai toujours sûr d'une réponse telle-quelle.

Saluez de ma part tous ceux qui ne m'ont pas oublié. — Tout à vous

M. Lermontoff.

573. А. П. ШУВАЛОВУ

<Весна 1838 г .— весна 1839 г. в Петербурге>

Cher comte!

Faites moi le plaisir de me prêter votre chien Mongo pour perpétuer une race que je lui dois déjà; vous m'obligerez infiniment.

V<otre> T<out> D<évoué> Lermontoff.

На обороте:

Monsieur
le comte André
Chouvalof.

574. А. А. ЛОПУХИНУ

*<Вторая половина февраля — начало марта 1839 г.
Из Петербурга в Москву>*

Милый Алексис.

Я был болен и оттого долго тебе не отвечал и не поздравлял тебя, но верь мне, что я искренно радуюсь твоему счастию и поздравляю тебя и милую твою жену. Ты нашел, кажется, именно ту узкую дорожку, через которую я перепрыгнул, и отправился целиком. Ты дошел до цели, а я никогда не дойду: засяду где-нибудь в яме, и поминай как звали, да еще будут ли поминать? Я похож на человека, который хотел отведать от всех блюд разом, сытым не наелся, а получил индижестию, которая, вдобавок, к несчастию, разрешается стихами. Кстати о стихах; я исполнил обещание и написал их твоему наследнику, они самые нравоучительные (a l'usage des enfants).

Ребенка милого рожденье
Приветствует мой запоздалый стих.
Да будет с ним благословенье
Всех ангелов небесных и земных!
Да будет он отца достоин;
Как мать его, прекрасен и любим;
Да будет дух его спокоен,
И в правде тверд, как Божий херувим.
Пускай не знает он до срока
Ни мук любви, ни славы жадных дум;
Пускай глядит он без упрека
На ложный блеск и ложный мира шум;
Пускай не ищет он причины
Чужим страстям и радостям своим,
И выйдет он из светской тины
Душою бел и сердцем невредим!

Je désire que le sujet de ces vers ne soit pas un mauvais sujet... — Увы! каламбур лучше стихов! Ну да все равно! Если он вышел из пустой головы, то, по крайней мере, стихи из полного сердца. Тот, кто играет словами, не всегда играет чувствами, и ты можешь быть уверен, дорогой Алексис, что я так рад за тебя, что завтра же начну сочинять новую ар<ию> для твоего маленького крикуна.

Напиши, пожалуйста, милый друг, еще тотчас, что у вас делается; я три раза зимой просился в отпуск в Москву к вам, хоть на 14 дней — не пустили! Что, брат, делать! Вышел бы в отставку, да бабушка не хочет — надо же ей чем-нибудь пожертвовать. Признаюсь тебе, я с некоторого времени ужасно упал духом.

. . . .

575. А. И. ТУРГЕНЕВУ

<*Вторая половина декабря 1839 г. В Петербурге*>

Милостивый Государь
Александр Иванович!

Посылаю вам ту строфу, о которой вы мне вчера говорили, для *известного употребления*, если будет такова ваша милость.

…«Его убийца хладнокровно
Навел удар — спасенья нет!
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво? — издалёка,
Подобный сотне беглецов,
На ловлю денег и чинов,
Заброшен к нам по воле рока,
Смеясь, он дерзко презирал
Чужой земли язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы,
Не мог понять в сей миг кровавый
На чтó он руку поднимал!»

За сим остаюсь навсегда вам преданный и благодарный

Лермонтов.

На обороте:

Его Превосходительству
Милостивому Государю
Александру Ивановичу
Тургеневу.

576. К. Ф. ОПОЧИНИНУ

<Март (до 10) 1840 г. ?; середина мая 1838 — начало марта 1840 (?). В Петербурге>

O! cher et aimable M-r Opotchinine! *Et* hier soir en revenant de chez vous, on m'a annoncé une nouvelle fatale avec tous les ménagements possibles. *Et* à l'heure, au moment où vous lirez ce billet, je ne serai plus . . . . (tournez) à Pétersbourg. Car je monte la garde. *Et or* (style biblique et naïf) croyez à mes regrets sincères de ne pouvoir venir vous voir.

Et tout à vous
Lermontoff.

577. Н. Ф. ПЛАУТИНУ

<10–11 (?) марта 1840 г. В Петербурге>

Ваше превосходительство,

Милостивый государь!

Получив от Вашего превосходительства приказание объяснить вам обстоятельства поединка моего с господином Барантом, честь имею донести вашему превосходительству, что 16-го февраля на бале у графини Лаваль господин Барант стал требовать у меня объяснения насчет будто мною сказанного; я отвечал, что всё ему переданное несправедливо, но так как он был этим недоволен, то я прибавил, что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. На колкий его ответ я возразил такой же колкостию, на что он сказал, что если б находился в своем отечестве, то знал бы как кончить дело; тогда я отвечал, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. Он меня вызвал, мы условились и расстались. 18-го числа в воскресенье в 12 часов утра съехались мы за Черною речкой на Парголовской дороге. Его секундантом был француз, которого имени я не помню и которого никогда до сего не видал. Так как господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия. Он избрал шпаги, но с нами были также и пистолеты. Едва успели мы скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он мне слегка оцарапал грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После сего он подал мне руку, и мы разошлись.

Вот, Ваше превосходительство, подробный отчет всего случившегося между нами.

С истинною преданностию
честь имею пребыть
Вашего превосходительства
покорнейший слуга
Михаила Лермонтов.

578. С. А. СОБОЛЕВСКОМУ

<Март 1840 г. В Петербурге>

Je suis bien fâché, mon cher Sobolevsky, de ne pouvoir profiter aujourd'hui de votre invitation, société et roastbeaf; j'espère que vous me pardonnerez de vous faire faux bond en faveur de ma position actuelle qui n'est rien moins qu'indépendante.

Tout à vous

Lermontoff.

579. С. А. СОБОЛЕВСКОМУ

<Конец марта — середина апреля 1840 г. В Петербурге>

Любезный Signor Соболевский, пришли мне, пожалуста, с *сим* кучером *Sous les Tilleuls*, да заходи потом сам, если успеешь; я в ордонансгаузе, на верху в особенной квартире; надо только спросить плац-маиора.

Твой Лермонтов.

580. В. КН. МИХАИЛУ ПАВЛОВИЧУ

<20—29 апреля 1840 г. В Петербурге>

Ваше императорское высочество!

Признавая в полной мере вину мою и с благоговением покоряясь наказанию, возложенному на меня его императорским величеством, я был ободрен до сих пор надеждой иметь возможность усердною службой загладить мой проступок, но, получив приказание явиться к господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, что на мне лежит еще обвинение в ложном показании, самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своей честью. Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баранту, в котором бы я просил извиненья в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил на воздух. Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести; но теперь мысль, что его императорское величество и ваше императорское высочество, может быть, разделяете сомнение в истине слов моих, мысль эта столь невыносима, что я решился обратиться к вашему императорскому высочеству, зная великодушие и справедливость вашу, и будучи уже не раз облагодетельствован вами, и просить вас защитить и оправдать меня во мнении его им-

ператорского величества, ибо в противном случае теряю невинно и невозвратно имя благородного человека.

Ваше императорское высочество позволите сказать мне со всею откровенностию: я искренно сожалею, что показание мое оскорбило Баранта: я не предполагал этого, не имел этого намерения; но теперь не могу исправить ошибку посредством лжи, до которой никогда не унижался. Ибо сказав, что выстрелил на воздух, я сказал истину, готов подтвердить оную честным словом, и доказательством может служить то, что на месте дуэли, когда мой секундант, отставной поручик Столыпин, подал мне пистолет, я сказал ему именно, что выстрелю на воздух, что и подтвердит он сам.

Чувствуя в полной мере дерзновение мое, я, однако, осмеливаюсь надеяться, что ваше императорское высочество соблаговолите обратить внимание на горестное мое положение и заступлением вашим восстановить мое доброе имя во мнении его императорского величества и вашем.

С благоговейною преданностию имею счастие пребыть вашего императорского высочества

Всепреданнейший
Михаил Лермонтов

Тенгинского пехотного полка поручик.

581. А. А. ВАДКОВСКОЙ

<1838—1840 г. В Петербурге>

Je vous remercie bien pour l'adresse de cette maison qui me sera éternellement chère et je me recommande au souvenir de mon aimable cousine en la suppliant de me donner la mazurka.

Votre bien dévoué Lermontoff

582. А. А. ЛОПУХИНУ

<17 июня 1840 г. Из Ставрополя в Москву>

О, милый Алексис!

Завтра я еду в действующий отряд, на левый фланг, в Чечню брать пророка Шамиля, которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе по пересылке. Такая каналья этот пророк! Пожалуйста, спусти его с Аспелинда; они там в Чечне не знают индейских петухов, так, авось, это его испугает. Я здесь, в Ставрополе, уже с неделю и живу вместе

с графом Ламбертом, который также едет в экспедицию и который вздыхает по графине Зубовой, о чем прошу ей всеподданнейше донести. И мы оба так вздыхаем, что кишочки наши чересчур наполнились воздухом, отчего происходят разные приятные звуки... Я здесь от жару так слаб, что едва держу перо. Дорогой я заезжал в Черкаск к генералу Хомутову и прожил у него три дня, и каждый день был в театре. Что за *феатр!* Об этом стоит рассказать: смотришь на сцену — и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо — ничего не видишь, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе полицмейстера; оркестр составлен из четырех кларнетов, двух контрабасов и одной скрипки, на которой пилит сам капельмейстер, и этот капельмейстер примечателен тем, что глух, и когда надо начать или кончать, то первый кларнет дергает его за фалды, а контрабас бьет такт смычком по его плечу. Раз, по личной ненависти, он его так хватил смычком, что тот обернулся и хотел пустить в него скрипкой, но в эту минуту кларнет дернул его за фалды, и капельмейстер упал навзничь головой прямо в барабан и проломил кожу; но в азарте вскочил и хотел продолжать бой, и что же! о ужас! на голове его вместо кивера торчит барабан. Публика была в восторге, занавес опустили, а оркестр отправили на съезжую. В продолжение этой потехи я все ждал, что будет? — Так-то, мой милый Алеша! — Но здесь, в Ставрополе, таких удовольствий нет; зато ужасно жарко. Вероятно, письмо мое тебя найдет в Сокольниках. Между прочим, прощай: ужасно я устал и слаб. Поцелуй за меня ручку у Варвары Александровны и будь благонадежен. Ужасно устал... Жарко!.. Уф!.. —

Лермонтов.

583. А. А. ЛОПУХИНУ

<12 сентября 1840 г. Из Пятигорска в Москву>

Пятигорск, сентября 1840 года.

Мой милый Алеша.

Я уверен, что ты получил письма мои, которые я тебе писал из действующего отряда в Чечне, но уверен также, что ты мне не отвечал, ибо я ничего о тебе не слышу письменно. Пожалуста, не ленись: ты не можешь вообразить, как тяжела мысль, что друзья нас забывают. С тех пор как я на Кавказе, я не получал ни от кого писем, даже из дому не имею известий. Может быть, они пропадают, потому что я не был нигде на месте, а шатался все время по горам с отрядом; у нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось шесть часов сряду; нас было всего 2 000 пехоты, а их до ше-

сти тысяч, и все время дрались штыками; у нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте, — кажется хорошо! вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью. Когда мы увидимся, я тебе расскажу подробности очень интересные; только бог знает, когда мы увидимся, я теперь вылечился почти совсем и еду с вод опять в отряд в Чечню. Если ты будешь мне писать, то вот адрес: *на Кавказскую линию, в действующий отряд генерал-лейтенанта Галофеева, на левый фланг.* Я здесь проведу до конца ноября, а потом не знаю, куда отправлюсь — в Ставрополь, на Черное море или в Тифлис. Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными. Только скучно то, что либо так жарко, что насилу ходишь, либо так холодно, что дрожь пробирает, либо есть нечего, либо денег нет, — именно что со мною теперь. Я прожил всё, а из дому не присылают. Не знаю, почему от бабушки ни одного письма. Не знаю, где она, в деревне или в Петербурге. Напиши, пожалуста, видел ли ты ее в Москве. Поцелуй за меня ручку у Варвары Александровны и прощай. Будь здоров и счастлив.

Твой Лермонтов.

На обороте:

Его высокоблагородию милостивому государю Алексею Александровичу Лопухину. В Москве на Молчановке, в собственном доме, в приходе Николы Явленного.

584. А. А. ЛОПУХИНУ

<16—26 октября 1840 г. Из крепости Грозной в Москву>

Милый Алеша.

Пишу тебе из крепости Грозной, в которую мы, то есть отряд, возвратился опять после 20-дневной экспедиции в Чечне. Не знаю, что будет дальше, а пока судьба меня не очень обижает: я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую изо ста козаков — разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то, авось, что-нибудь дадут; я ими только четыре дня в деле командовал и не знаю еще хорошенько, до какой степени они надежны; но так как, вероятно, мы будем еще воевать целую зиму, то я успею их раскусить; вот тебе обо мне самое интересное. — Писем я ни от тебя, ни от кого другого уж месяца три не получал. бог знает, что с вами сделалось; забыли, что ли? или пропадают? Я махнул рукой. Мне тебе нечего много писать: жизнь наша здесь вне войны однообразна; а описывать экспедиции не велят. Ты видишь, как я по-

корен законом. Может быть, когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетелем. Варвара Александровна будет зевать за пяльцами и, наконец, уснет от моего рассказа, а тебя вызовет в другую комнату управитель, и я останусь один и буду доканчивать свою историю твоему сыну, который сделает мне кака на колена... Сделай одолжение, пиши ко мне как можно больше. Прощай, будь здоров с чадами и *домочадцами* и поцелуй за меня ручку у своей *сожительницы.*

Твой Лермонтов.

На обороте:

В Москве, на Молчановке, в собственном доме, в приходе Николы Явленного. Его высокоблагородию, милостивому государю Алексею Александровичу Лопухину.

585. А. И. БИБИКОВУ

<Вторая половина февраля 1841 г. Из Петербурга в Ставрополь>

Милый Биби.

Насилу собрался писать к тебе; начну с того, что объясню тайну моего отпуска: бабушка моя просила о прощении моем, а мне дали отпуск; но я скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот такие беды: приехав сюда в П<етер>бург на половине масляницы, я на другой же день отправился на бал к г<рафине> Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. что делать? Кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал; обществом зато я был принят очень хорошо, и у меня началась новая драма, которой завязка очень замечательная, зато развязки, вероятно, не будет, ибо 9-го марта отсюда уезжаю заслуживать себе на Кавказе отставку; из Валерикского представления меня здесь вычеркнули, так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сертук.

Я был намедни у твоих, и они все жалуются, что ты не пишешь; и, взяв это в рассмотрение, я уже не смею тебя упрекать. Мещеринов, верно, прежде меня приедет в Ставрополь, ибо я не намерен очень торопиться; итак, не продавай удивительного лова, ни кровати, ни седел; верно, отряд не выступит прежде 20 апреля, а я к тому времени непременно буду. Покупаю для общего нашего обихода Лаватера и Галя и множество других книг.

Прощай, мой милый, будь здоров.

Твой Лермонтов.

586. А. А. КРАЕВСКОМУ

<13—14 апреля 1841 г. В Петербурге>

Любезный Андрей Александрович.

Очень жалею, что не застал уже тебя у Одоевского и не мог таким образом с тобою проститься; сделай одолжение, отдай подателю сего письма для меня два билета на «О<течественные> Записки». Это для бабушки моей.

Будь здоров и счастлив.
Твой Лермонтов.

На обороте:

Его высокоблагородию Андрею Александровичу Краевскому, у Измайловского моста. Спросить, чей дом у Аничкого моста на Фонтанке, в доме кн. Долгорукого, на квартире кн. Одоевского.

587. Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

<19 апреля 1841 г. Из Москвы в Петербург>

Милая бабушка,

Жду с нетерпением письма от вас с каким-нибудь известием; я в Москве пробуду несколько дней, остановился у Розена; Алексей Аркадич здесь еще; и едет послезавтра. Я здесь принят был обществом по обыкновению очень хорошо — и мне довольно весело; был вчера у Николая Николаевича Анненкова и завтра у него обедаю; он был со мною очень любезен: — вот всё, что я могу вам сказать про мою здешнюю жизнь; еще прибавлю, что я от здешнего воздуха потолстел в два дни; решительно Петербург мне вреден; может быть, также я поздоровел оттого, что всю дорогу пил горькую воду, которая мне всегда очень полезна. Скажите, пожалуста, от меня Екиму Шангирею, что я ему напишу перед отъездом отсюда и кое-что пришлю. — Вероятно, Сашенькина свадьба уж была, и потому прошу вас ее поздравить от меня; а Леокадии скажите от меня, что я ее целую и желаю исправиться, и быть как *можно осторожнее вообще.*

Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что Бог вас вознаградит за все печали. Целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь

покорный внук
М. Лермонтов.

588. Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

<9—10 мая 1841 г. Из Ставрополя в Петербург>

Милая бабушка,

я сейчас приехал только в Ставрополь и пишу к вам; ехал я с Алексеем Аркадьевичем, и ужасно долго ехал, дорога была прескверная, теперь не знаю сам еще, куда поеду; кажется, прежде отправлюсь в крепость Шуру, где полк, а оттуда постараюсь на воды. Я, слава Богу, здоров и спокоен, лишь бы вы были так спокойны, как я: одного только и желаю; пожалуста, оставайтесь в Петербурге: и для вас и для меня будет лучше во всех отношениях. Скажите Екиму Шангирею, что я ему не советую ехать в Америку, как он располагал, а уж лучше сюда на Кавказ. Оно и ближе и гораздо веселее.

Я всё надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье, и я могу выйти в отставку.

Прощайте, милая бабушка, целую ваши ручки и молю Бога, чтоб вы были здоровы и спокойны, и прошу вашего благословения. —

Остаюсь п<окорный> внук Лермонтов.

589. С. Н. КАРАМЗИНОЙ

<10 мая 1841 г. Из Ставрополя в Петербург>

Lé 10 mai.

Je viens d’arriver à Stavropol, chère M-lle Sophie, et je reparts le jour même pour l’expédition avec Stolipine Mongo. Souhaitez moi: du bonheur et une légère blessure, c’est tout ce que l’on peut me souhaiter de mieux. J’espère que cette lettre vous trouvera encore à St. Pétersbourg et qu’au moment où vous la lirez je monterai à la brèche de *Черкей*. Comme vous avez de profondes connaissances en géographie je ne vous engage pas à regarder la carte, pour savoir où c’est; mais pour aider votre mémoire je vous dirai que c’est entre la mer Caspienne et la mer Noire, un peu au sud de Moscou et un peu au nord de l’Egypte, et surtout assez près d’Astracan, que vous connaissez si bien.

Je ne sais si cela durera; mais pendant mon voyage j’ai été possédé du démon de la poésie, idem, des vers. J’ai rempli d’à moitié un livre que m’a donné Odoevsky, ce qui m’a porté bonheur probablement; je suis allé jusqu’à faire des vers français, — oh! dépravation! Si vous voulez je vous les écrirai ici; ils sont très jolis pour des premiers vers; et dans le genre de Parny, si vous le connaissez.

L'ATTENTE

Je l'attends dans la plaine sombre;
Au loin je vois blanchir une ombre,
Une ombre, qui vient doucement...
Eh non! — trompeuse espérance! —
C'est un vieux saule, qui balance
Son tronc desséché et luisant.

Je me penche, et longtemps j'écoute;
Je crois entendre sur la route
Le son, qu'un pas léger produit...
Non, ce n'est rien! C'est dans la mousse
Le bruit d'une feuille, que pousse
Le vent parfumé de la nuit.

Rempli d'une amère tristesse,
Je me couche dans l'herbe épaisse
Et m'endors d'un sommeil profond...
Tout-à-coup, tremblant, je m'éveille:
Sa voix me parlait à l'oreille,
Sa bouche me baisait au front.

Vous pouvez voir par ceci quelle salutaire influence a eu sur moi le printemps, saison enchantée, où l'on a de la boue jusqu'aux oreilles, et le moins de fleurs possible. — Donc, je pars ce soir: je vous avouerai que je suis passablement fatigué de tous ces voyages qui paraissent devoir se prolonger dans l'éternité. — J'ai voulu écrire encore à quelques personnes à Pétersbourg, entre autres à M-me Smirnoff, mais je ne sais si cette action téméraire lui serait agréable, voilà pourquoi je m'abstiens. Si vous me répondez, adressez à Stavropol, в штаб генерала Грабе — je me suis arrangé pour qu'on m'envoye mes lettres — adieu; mes respects je vous prie à tous les vôtres; et encore adieu — portez vous bien, soyez heureuse et ne m'oubliez pas.

T<out> à V<ous> Lermontoff.

590. Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

<28 июня 1841 г. Из Пятигорска в Петербург>

Июня 28.

Милая бабушка,

Пишу к вам из Пятигорска, куды я опять заехал и где пробуду несколько времени для отдыху. Я получил ваших три письма вдруг и притом бумагу от Степана насчет продажи людей, которую надо засвидетельствовать и подписать здесь; я это всё здесь обделаю и пошлю.

Напрасно вы мне не послали книгу графини Ростопчиной; пожалуста, тотчас по получении моего письма пошлите мне ее сюда, в Пятигорск. Прошу вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского последнего издания и пришлите также сюда тотчас. Я бы просил также полного Шекспира, по-англински, да не знаю, можно ли найти в Петербурге; препоручите Екиму. Только, пожалуста, поскорее; если это будет скоро, то здесь еще меня застанет.

То, что вы мне пишете о словах г. Клейнмихеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам; он только просто не советует; а чего мне здесь еще ждать?

Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам.

Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны; целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук

М. Лермонтов.

DUBIA

591. Е. А. СУШКОВОЙ

<5 января 1835 г. Петербург>

Милостивая государыня
Екатерина Александровна!

Позвольте человеку, глубоко вам сочувствующему, уважающему вас и умеющему ценить ваше сердце и благородство, предупредить вас, что вы стоите на краю пропасти, что любовь ваша к *нему* (известная всему Петербургу, кроме родных ваших) погубит вас. Вы и теперь уже много потеряли во мнении света, оттого что не умеете и даже не хотите скрывать вашей страсти к *нему*.

Поверьте, *он* недостоин вас. Для *него* нет ничего святого, *он* никого не любит. *Его* господствующая страсть: господствовать над всеми и не щадить никого для удовлетворения своего самолюбия.

Я знал *его* прежде чем вы, *он* был тогда и моложе и неопытнее, что, однако же, не помешало ему погубить девушку, во всем равную вам и по уму и по красоте. *Он* увез ее от семейства и, натешившись ею, бросил.

Опомнитесь, придите в себя, уверьтесь, что и вас ожидает такая же участь. На вас вчуже жаль смотреть. О, зачем, зачем вы его так полюбили? Зачем принесли *ему* в жертву сердце, преданное вам и достойное вас.

Одно участие побудило меня писать к вам; авось еще не поздно! Я ничего не имею против *него*, кроме презрения, которое он вполне заслуживает. *Он* не женится на вас, поверьте мне; покажите *ему* это письмо, он прикинется невинным, обиженным, забросает вас страстными уверениями, потом объявит вам, что бабушка не дает ему согласия на брак; в заключение прочтет вам длинную проповедь или просто признается, что он притворялся, да еще посмеется над вами и — это лучший исход, которого вы можете надеяться и которого от души желает вам

Вам неизвестный, но преданный вам

друг *NN*.

ПИСЬМА К ЛЕРМОНТОВУ

1. ОТ М. А. ЛОПУХИНОЙ

<12 октября 1832 г. Из Москвы в Петербург>

Le 12 Octobre, Moscou

Votre lettre, datée de trois de ce mois, vient de me parvenir, je ne savais pas, que ce jour-là fut celui de votre naissance, je vous en félicite, mon cher, quoique un peu tard. Je ne saurai vous exprimer le chagrin que m'a causé la mauvaise nouvelle que vous me donnez. Comment, après tant de peines et de travail se voir entièrement frustré de l’espérance d’en recueillir les fruits, et se voir obligé de recommencer tout un nouveau genre de vie? ceci est véritablement désagréable. Je ne sais, mais je crois toujours que vous avez agi avec trop de précipitation, et si je ne me trompe, ce parti a dû vous être suggéré par M-r Alexis Stolipine, n’est ce pas?

Je conçois aisément, combien vous devez être dérouté par ce changement, car vous n’avez jamais été habitué au service militaire; mais à présent, comme toujours, l’homme propose et Dieu dispose, et soyez fortement persuadé que ce qu’il propose, dans sa sagesse infinie, est certainement pour notre bien. Dans la carrière militaire vous avez tout aussi bien les moyens de vous distinguer; avec de l’esprit et de la capacité on sait se rendre heureux partout; d’ailleurs combien de fois ne m’avez-vous pas dit, que si la guerre s’allumait, vous ne voudriez pas rester oisif, eh bien! vous voilà pour ainsi dire jeté par le sort dans le chemin qui vous offre les moyens de vous distinguer et de devenir un jour un guerrier célèbre. Ceci ne peut pas empêcher que vous vous occupiez de poésie; pourquoi donc? l’un n’empêche pas l’autre, au contraire, vous ne ferez qu'un plus aimable militaire.

Voici, mon cher, maintenant le moment le plus critique pour vous, pour Dieu, rapellez-vous autant que possible la promesse que vous m’avez faite avant de partir. Prenez garde de vous lier trop tôt avec vos camarades, connaissez les bien avant de le faire. Vous êtes d’un bon caractère, et avec votre cœur aimant vous serez pris tout d’abord; surtout évitez cette jeunesse qui se fait merveilles de toutes sortes de bravades, et une espèce de mérite de sottes fanfaronnades. Un homme d’esprit doit être au-dessus de toutes ces petitesses; ce n’est pas là du mérite, tout au contraire, ce n’est bon que pour les petits esprits; laissez leur cela, et suivez votre chemin.

Pardon, mon cher ami, si je m'avise de vous donner de ces conseils; mais ils me sont dictés par l'amitié la plus pure, et l'attachement que je vous porte fait, que je vous désire tout le bien possible; j'espère que vous ne vous facherez pas contre dame-prèche-morale, et que tout au contraire vous lui en saurez gré, je vous connais trop pour en douter.

Vous ferez bien de m'envoyer comme vous le dites, tout ce que vous avez écrit jusqu'à présent; vous êtes bien sûr que je garderai fidèlement ce dépôt, que vous serez enchanté de retrouver un jour. Si vous continuez d'écrire, ne le faites jamais à l'école, et n'en faites rien voir à vos compagnons, car quelque fois la chose la plus innocente occasionne notre perte. Je ne comprends pas, pourquoi vous recevez si rarement de mes lettres? Je vous assure que je ne fais pas la paresseuse, et que je vous écris souvent et longuement. Votre service ne m'empêchera pas de vous écrire comme à l'ordinaire, et j'adresserai toujours mes lettres à leur ancienne adresse; dites-moi, ne faudrait-il pas que je les mette au nom de grand'maman.

J'espère, que parce que vous serez à l'école, ce ne sera pas un empêchement pour que vous m'écriviez de votre côté; si vous n'aurez pas le temps de le faire chaque semaine, eh bien! dans deux semaines une fois; mais je vous en prie, n'allez pas me priver de cette consolation.

Courage, mon cher, courage! ne vous laissez pas abattre par un mécompte, ne désespérez pas, croyez-moi que tout ira bien. Ce ne sont pas des phrases de consolation que je vous offre là, non, pas du tout; mais il y a un je ne sais quoi, qui me dit que tout ira bien. Il est vrai que maintenant nous ne nous verrons pas avant deux ans; j'en suis vraiment désolée pour moi, mais ... pas pour vous, cela vous fera du bien, peut-être. Dans deux ans on a le temps de guérir et de devenir tout-à-fait raisonnable.

Croyez-moi, je n'ai pas perdu l'habitude de vous deviner, mais que voulez-vous que je vous dise? Elle se porte bien, paraît assez gaie, du reste sa vie est tellement uniforme, qu'on n'a pas beaucoup à dire sur son compte; c'est aujourd'hui comme hier. Je crois que vous n'êtes pas tout-à-fait fâché de savoir, qu'elle mène ce genre de vie, car elle est à l'abri de toute épreuve; mais pour mon compte, je lui voudrais un peu de distraction, car, qu'est-ce que c'est que cette jeune personne dandinant d'une chambre à l'autre, à quoi une vie comme celle-là mènera-t-elle? à devenir un être nul, et voilà tout. Eh bien! Vous ai-je deviné? est-ce là le plaisir que vous attendiez de moi?

. . . .

. . . .

Il ne me reste tout juste de place, que pour dire adieu à mon gentil hussard. Comme j'aurais voulu vous voir avec votre uniforme et vos moustaches. Adieu, mes sœurs et mon frère vous saluent. Mes respects à grand-maman.

2. ОТ А. М. ВЕРЕЩАГИНОЙ, ОТРЫВОК
<13 октября 1832 г. Из Москвы в Петербург>

13 octobre

Annette Stolipine écrit à Pachinka que vous avez un désagrément à l'Université, et que ma tante en est malade, de grâce écrivez-moi ce que c'est? У нас всё делают из мухи слона, tranquilisez-moi de grâce, — pour mon malheur je vous connais trop pour pouvoir être tranquille, je sais que vous êtes capable de vous couper la gorge avec le premier venu, et pour la première sottise — fi! C'est une honte! vous ne serez jamais heureux avec ce vilain caractère.

3. ОТ А. А. ЛОПУХИНА, ОТРЫВКИ
<Ноябрь 1832 г. Из Москвы в Петербург>

Здравия желаю! Любезному гусару! — Право, мой друг Мишель, я тебя удивлю, сказав, что не так еще огорчен твоим переходом, потому что с живым характером твоим ты бы соскучился в статской службе... Насчет твоего таланта, ты понапрасно так беспокоишься, — потому кто любит что, всегда найдет время побеседовать с тем... Прощай, мой милый друг, люби меня по-прежнему и продолжай писать; божусь, что ты меня очень утешаешь...

4. ОТ ВИНСОНА (&), ОТРЫВОК
<1832 г. Из Любимовки в Петербург>

Любимовка, 1832 г.

Est-ce que vous négligez M<onsieur> Degai?

5. ОТ А. А. ЛОПУХИНА, ОТРЫВКИ
<7 января 1833 г. Из Москвы в Петербург>

1833 г. 7 января.

У тебя нога болит, любезный Мишель!...... Что за судьба! Надо было слышать, как тебя бранили и даже бранят за переход в военную службу. Я уверял их, хотя и трудно, чтоб поняли справедливость безрассудные люди, что ты не желал огорчить свою бабушку, но что этот переход необходим. Нет, сударь, решил какой-то Кикин, что ты всех обманул и что это твое единственное было желание, и даже просил тетеньку, чтоб она тебе написала его мнение. А уж почтенные-то расходились и вперед, вот хорош конец

сделал и никого-то он не любит, бедная Елизавета Алек<сеевна> — всё твердят. — Знаю наперед, что ты рассмеешься, а не примешь к сердцу.

6. ОТ А. А. ЛОПУХИНА, ОТРЫВОК

<25 февраля 1833 г. Из Москвы в Петербург>

1833 г. Февраля 25.

Напиши мне, что ты в школе остаешься или нет, и позволит ли тебе нога продолжать службу военную. Очень и очень тебе благодарен за твою голову, она меня очень восхищает и между тем иногда грусть наводит, когда я в ипохондрии.

7. ОТ А. М. ВЕРЕЩАГИНОЙ, ОТРЫВОК

<1833 г. Из Москвы (?) в Петербург>

1833 г.

Si non, vous pouvez composer une dans le génie de vos improvisations кто смотрит так гордо en récitatif — et Arsenief en allegro.

8. ОТ А. М. ВЕРЕЩАГИНОЙ

<18 августа 1835 г. (?) Из Федорова в Петербург>

Fedorov, 18 d'août

Mon cher cousin.

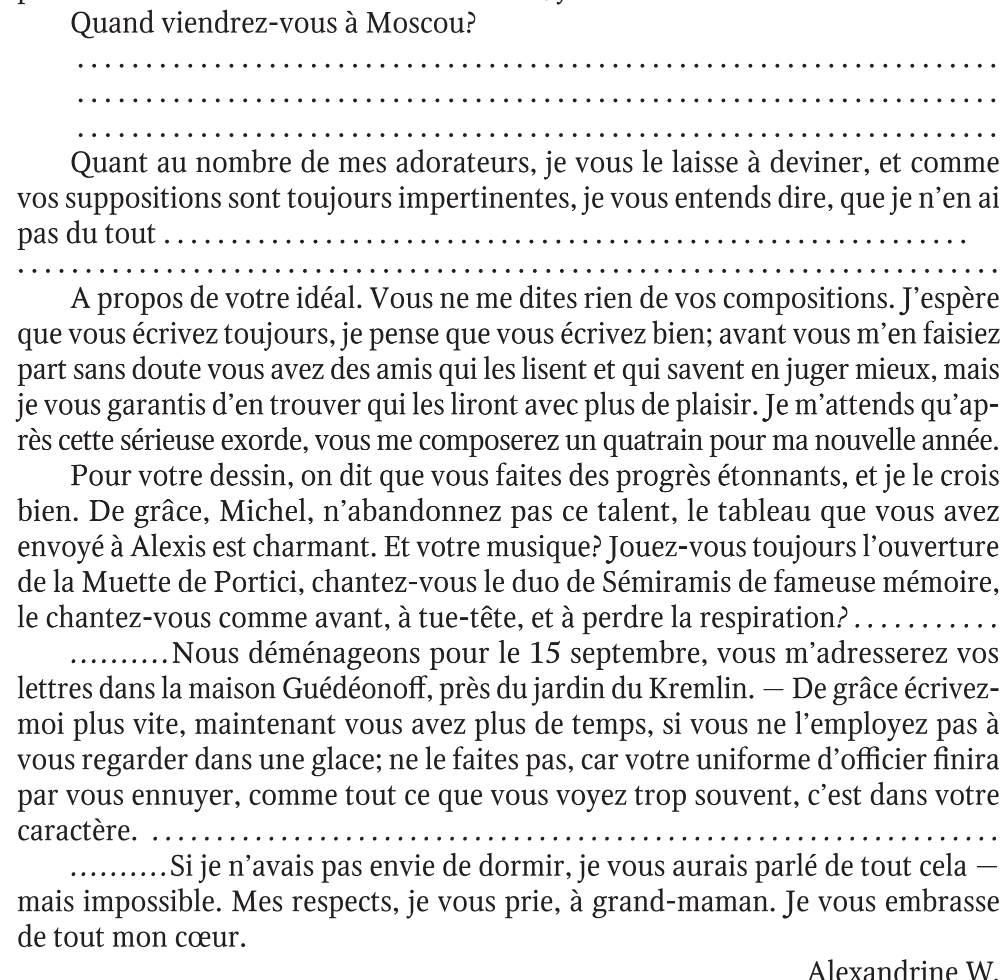
C'est après avoir lu pour la troisième fois votre lettre, et après m'être bien assurée, que je ne suis pas sous l'influence d'un rêve, que je prends la plume pour vous écrire. Ce n'est pas que j'aie peine à vous croire capable d'une grande et belle action, mais écrire trois fois, sans avoir au moins trois réponses — savez-vous, que c'est un prodige de générosité, un trait sublime, un trait à faire pâlir d'émotion? — Mon cher Michel, je ne suis plus inquiette de votre avenir — un jour vous serez un grand homme.

Je voulais m'armer de toutes mes forces, désir et volonté, pour me fâcher sérieusement contre vous. Je ne voulais plus vous écrire, et vous prouver par là, que mes lettres peuvent se passer de *cadre* et de *verre,* pourvu qu'on trouve du plaisir à les recevoir. — Mais trêve là-dessus; vous êtes repentant — je jette bas mes armes et consens à tout oublier.

Vous êtes officier, recevez mes compliments. C'est une joie pour moi d'autant plus grande, qu'elle était inattendue. Car (je vous le dis à vous seul) je m'attendais plus tôt à vous savoir soldat. Vous conviendrez vous-même que j'avais raison de

craindre et si même vous êtes deux fois plus raisonnable que vous ne l'étiez avant, vous n'êtes pas encore sorti du rang des polissons... Mais c'est toujours un pas, et vous ne marcherez pas à reculon, je l'espère.

Je m'imagine la joie de grand-maman; je n'ai pas besoin de vous dire que je la partage de tout mon cœur. Je ne compare pas mon amitié à un *puits sans fond,* vous ne m'en croirez que mieux. Je ne suis pas *forte* en comparaisons, et n'aime pas à tourner les choses sacrées en ridicule, je laisse cela à d'autres.



Quand viendrez-vous à Moscou?

. . . .

. . . .

. . . .

Quant au nombre de mes adorateurs, je vous le laisse à deviner, et comme vos suppositions sont toujours impertinentes, je vous entends dire, que je n'en ai pas du tout . . . .

. . . .

A propos de votre idéal. Vous ne me dites rien de vos compositions. J'espère que vous écrivez toujours, je pense que vous écrivez bien; avant vous m'en faisiez part sans doute vous avez des amis qui les lisent et qui savent en juger mieux, mais je vous garantis d'en trouver qui les liront avec plus de plaisir. Je m'attends qu'après cette sérieuse exorde, vous me composerez un quatrain pour ma nouvelle année.

Pour votre dessin, on dit que vous faites des progrès étonnants, et je le crois bien. De grâce, Michel, n'abandonnez pas ce talent, le tableau que vous avez envoyé à Alexis est charmant. Et votre musique? Jouez-vous toujours l'ouverture de la Muette de Portici, chantez-vous le duo de Sémiramis de fameuse mémoire, le chantez-vous comme avant, à tue-tête, et à perdre la respiration? . . . .

. . . . Nous déménageons pour le 15 septembre, vous m'adresserez vos lettres dans la maison Guédéonoff, près du jardin du Kremlin. — De grâce écrivez-moi plus vite, maintenant vous avez plus de temps, si vous ne l'employez pas à vous regarder dans une glace; ne le faites pas, car votre uniforme d'officier finira par vous ennuyer, comme tout ce que vous voyez trop souvent, c'est dans votre caractère. . . . .

. . . . Si je n'avais pas envie de dormir, je vous aurais parlé de tout cela — mais impossible. Mes respects, je vous prie, à grand-maman. Je vous embrasse de tout mon cœur.

Alexandrine W.

9. ОТ Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

<18 октября 1835 г. Из Тархан в Петербург>

Милой любезной друг Мишинька. Конечно, мне грустно, что долго тебя не увижу, но, видя из письма твоего привязанность твою ко мне, я плакала

от благодарности к Богу, после двадцати пяти лет страдания любовию своею и хорошим поведением ты заживляешь раны моего сердца. Что делать, Богу так угодно, но Бог умилосердится надо мной и тебя отпустят, меня беспокоит, что ты без денег, я с десятого сентября всякой час тебя ждала, 12 октября получила письмо твое, что тебя не отпускают, целую неделю надо было почты ждать, посылаю теперь тебе, мой милый друг, тысячу четыреста рублей ассигнациями да писала к брату Афанасью, чтоб он тебе послал две тысячи рублей, надеюсь на милость Божию, что нонишний год порядочной доход получим, но теперь еще никаких цен нет на хлеб, а задаром жалко продать хлеб, невест<к>а Марья Александровна была у меня и сама предложила написать к Афанасью, и ты, верно, через неделю получишь от него две тысячи, еще мы теперь не устроились. Я в Москве была нездорова, оттого долго там и прожила, долго ехала, слаба еще была и домой приехала 25 июля, а в сентябре ждала тебя, моего друга, и до смерти мне грустно, что ты нуждаешься в деньгах, я к тебе буду посылать всякие три месяца по две тысячи по пятьсот рублей, а всякой месяц хуже слишком по малу, а может иной месяц мундир надо сшить, я долго к тебе не писала, мой друг, всякой час ждала тебя, но не беспокойся обо мне, я здорова; береги свое здоровье, мой милой, ты здоров, весел, хорошо себя ведешь, и я счастлива истинно, мой друг, забываю все горести и со слезами благодарю Бога, что он на старости послал в тебе мне утешения, лошедей тройку тебе купила и говорят, как птицы летят, они одной породы с буланой и цвет одинакой, только черный ремень на спине и черные гривы, забыла, как их называют, домашних лошедей шесть, выбирай любых, пара темно-гнедых, пара светло-гнедых и пара серых, но здесь никто не умеет выезжать лошедей, у Матюшки силы нет. Никонорка объезжает купленных лошедей, но я боюсь, что нехорошо их приездит, лучше думаю тебе и Митьку кучера взять. Можно до Москвы в седейки его отправить дни за четыре до твоего отъезда, ежели ты своих вятских продашь, и сундучок с мундирами и с бельем с ним можно отправить, впрочем как ты сам лучше придумаешь, тебе уже 21 год, Катерина Аркадьевна переезжает в Москву, то в Средниково тебе не нужно заезжать, да ты после меня ни разу не писал к Афанасью Алексеичу, через письма родство и дружба сохраняется, он друг был твоей матери и любит тебя как родного племянника, да к Марье Акимовне и к Павлу Петровичу хоть бы в моем письме приписал два слова. Стихи твои, мой друг, я читала бесподобные, а всего лучше меня утешило, что тут нет нонишней модной неистовой любви, и невес<т>ка сказывала, что Афанасью очень понравились стихи твои и очень их хвалил, да как ты не пишешь, какую ты пиесу сочинил, комедия или трагедия, всё, что до тебя касается, я неравнодушна, уведомь, а коли можно, то и пришли через почту. Стихи твои я больше десяти раз читала, скажи Андрею, что он так давно к жене не писал, она

с ума сходит, всё плачет, думает, что он болен, в своем письме его письмо положи, achète quelque chose pour Daria, elle me sert avec beaucoup d'attachement, очень благодарна Катерине Александровне, что она обо мне помнит, но мое присутствие здесь необходимо, Степан очень прилежно смотрит, но всё как я прикажу, то лучше, девки, молодые вдовы замуж не шли и беспутничали, я кого уговаривала, кого на работу посылала, и от 16 больших девок 4 только осталось и вдовы все вышли, иную подкупили — и всё пришло в прежний порядок. Как Бог даст милость свою и тебя отпустят, то хотя Тарханы и Пензенской губернии, но на Пензу ехать слишком двести верст крюку, то из Москвы должно ехать на Рязань, на Козлов и на Тамбов, а из Тамбова на Кирсанов в Чембар, у Катерине Аркадьевне на дворе тебя дожидается долгуша точно коляска, перина и собачье одеяло, может еще зимнего пути не будет, здесь у нас о сю пору совершенная весна середи дня, ночью морозы только велики, я в твоем письме прикладывала письмо к Катерине Лукьяновне и к Емельяну Никитичу, уведомь, отдал ли ты им их, да несколько раз к тебе писала, получил ли ты мех черной под сертук, Прасковья Александровна Крюкова взялась переслать его к Лонгиновой, и с Митькой послала тебе кисет и к Авдотье Емельяновне башмаки, напиши привез ли он это всё, да уведомь, часто ли ты бываешь у Лонгиновой, прощай, мой друг, Христос с тобою, будь над тобою милость Божия, верный друг твой

Елизавета Арсеньева.

1835 года

18 октября

Спроси у Емельяна Никитича ответ на мое письмо, не забудь, мой друг, купить мне металлических перьев, здесь никто не умеет очинить пера, всё мне кажется, мой друг, мало тебе денег, нашла еще сто рублей, то посылаю тебе тысячу пятьсот рублей.

10. ОТ В. Ф. ОДОЕВСКОГО, ЗАПИСКА

<Не ранее 5 августа 1839 г. В Петербурге>

Ты узнаешь, кто привез тебе эти две вещи — одно прекрасное и редкое издание мое любимое — читай Его. О другом напиши, что почувствуешь прочитавши. Может быть, сегодня еще раз заеду.

Од<оевский>

Жена была со мною и кланяется тебе, жалела что не застали.

КОРРЕКТУРНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

592. LE CHAMP DE BORODINO

La soirée, qui précéda le grand jour où le sort de Moscou et celui de Napoléon furent en même temps décidés, était douce mais sombre. Un nuage épais, semblable à un corbeau immense, planait au-dessus de la vallée, où deux armées nombreuses étaient campées se préparant à un combat qui paraissait devoir être le dernier pour l'une, et qui pour l'autre n'était que le premier signal d'une lutte sanglante et désespérée, en faveur de la patrie.

Tout était bruyant et gai dans les tentes françaises illuminées, comme la veille d'une fête, par mille feux de joie; les jeunes officiers buvaient, riaient, chantaient, sans être tourmentés ni par un souvenir, ni par un pressentiment. Les soldats, se confiant aux talents de leur grand capitaine et à leur propre nombre, jouissaient d'un repos à demi troublé par des bruits confus, qui sortaient parfois des tentes de leurs chefs.

Notre armée, triste et silencieuse, présentait un aspect bien différent: on n'entendait rien que les cris entrecoupés des sentinelles, le bruit sourd des pas d'un coursier qui traversait le camp ventre à terre, monté par un cosaque porteur de dépêches, ou quelquefois encore la prière d'un vieux soldat, faite à voix basse, tandis qu'il aiguisait sa baïonnette noircie par la poudre, sur l'affût d'un canon...

Ainsi passa la nuit. Au lever de l'aurore les deux armées commencèrent à se déployer dans la plaine et les premières détonations du canon retentirent dans une atmosphère brumeuse et froide.

Combien de fois de grandes et chères espérances devaient mourir et renaître dans le cours de cette sanglante journée... Combien de membres français devaient semer cette vaste plaine pour satisfaire à l'ambition d'un seul homme, ou pour soutenir l'honneur d'un peuple!..

Près d'un ravin dans le centre de la ligne russe il y avait une misérable redoute, mais élevée sur un terrain qui dominait tous les environs. Derrière elle de l'autre coté du ravin était postée presque toute notre artillerie dont les bouches de cuivre devaient vomir le feu et l'airain sur tout ce qui essaierait de s'emparer de l'élévation.

Contre cette terrible mais petite redoute, qui devint le tombeau de tant de braves, se dirigent les forces principales de l'ennemi.

Les Français combattaient pour la gloire, les Russes pour leur pays; les uns tombaient avec le nom de leur chef sur la bouche, et la colère dans les yeux; les autres mouraient silencieusement, serrant fortement leurs armes encore chaudes de sang, et tournant un regard sombre vers la terre qui les a vu naître. — c'était horrible! c'était grand et beau!..

Six fois la redoute passa de main en main. Bonaparte était furieux, il dirigeait à chaque moment de nouvelles forces sur ce point important. Mais dès que les Français entraient sur ce terrain enchanté, une nouvelle, terrible décharge les balayait tout d'un coup; la baïonnette aidait le canon, et ils étaient obligés de se retirer entre deux murailles d'ennemis qui les hachaient sans pitié.

Ainsi dura le combat jusqu'au soir; à la fin autour du faible rempart de la redoute il s'en éleva un nouveau, un rempart de cadavres, épais, impénétrable; cimenté par un sang épais et noir; les boulets s'y enfonçaient sans pouvoir le traverser.

Napoléon se retira mécontent, espérant encore recevoir les clefs de Moscou des mains soumises d'un peuple fier et courageux.

Les Russes dormirent sur les cadavres.

Ni l'un ni l'autre des deux partis ne veut encore jusqu'à présent se reconnaître vaincu pendant cette mémorable journée, car les Français une semaine après étaient dans les murs de la capitale, et deux mois plus tard les Russes leur creusèrent un tombeau dans les flots glacés de la Bérézina.

593. ПОГРАНИЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ. ПЕРЕПОНИЯ

На днях получили здесь преинтересное письмо от путешественников, которые для блага науки решились подвергнуть жизнь свою опасности, проникнуть в глубину доселе малоизвестной *Безмозглии*; не желая лишить любителей изящного удовольствия читать сие известие, я целиком передаю нижепомянутое письмо, не прибавляя и не пропуская ничего.

34 Февраля, во 2-м часу утра, Профессор Химии, привилегированный невежда Короля *Свища* I-го *барон фон-дер-Бздех* с компаниею оставил Сан-Сикилей, получа от расстроенного Короля Свища I по 12 плюх в левые щеки и по кулаку в затылок; сам же Профессор в знак особенной милости публично выдран был плетьми и отправился, торжественно сопровождаемый народом, который от избытка чувств при разлуке с покровителем своим во все время процессии кидал в него каменьями и сыпал в глаза табак. Профессор со слезами на глазах плевал во все стороны и чихал почтенным гражданам в рожу в знак большой милости. Но увы! продлить сие торжество было не в его власти, и скоро застава Сан-Сикелея упала ему прямо на макушку. Часовой записал его имя себе на плешь, а все жители столицы плясали до самой ночи, что есть знак величайшей горести.

К ночи настигла путешественников наших ужасная гроза, и Профессор не знал, куда деваться самому и свите его; ни города, ни селения не было в виду, и все были в совершенном отчаянии. (Вот как пишет Секретарь Пр. фон-дер-Бздеха:)

В 13-м часу вечера синее небо уподобилось подбитому глазу, черные тучи, расхаживая по горизонту, хрипели, рычали и грозили низвергнуться на нас всею своею тяжестию. Профессор решился прекратить путь и приказал разбить походный нужник, где и поместился со свитою; по углам сего спасительного здания расставлены были избранные е<...>ки с поднятыми кверху х<...>ми для отвода молнии. Мрак был так велик, что невозможно было в двух шагах различить лица от жопы, и все пришли в уныние.... вдруг загремел в облаках ужасный пердок, земля затряслася, и отводные х<...> расчетверились вдруг, пердки усилились, ветры завоняли сильнее, и жидкая дристня пудами полетела на землю.

Вся свита Профессора, не исключая и его самого, стала на корячки, засунув друг другу пальцы в жопу и с смирением ожидали ежеминутной погибели, но боги умилостивились, гроза стала утихать, и вскоре истощенные облака, расползясь в стороны, представили взорам их ярко-красное полномудие (что в Курке заменяет половину луны), ветры уменьшились, и чистое говно лишь изредка падало с неба, как падают у нас последние капли перелетного дождя.

Обрадованный фон-дер-Бздех поспешил принести богам благодарственную жертву и, велев докрасна раскалить огромную сковороду, сел на оную голою жопою припевая: *ай батько хорошо, ай курвин сын хорошо*, все подчиненные его после каждого таковового восклицания подхватывали хором:

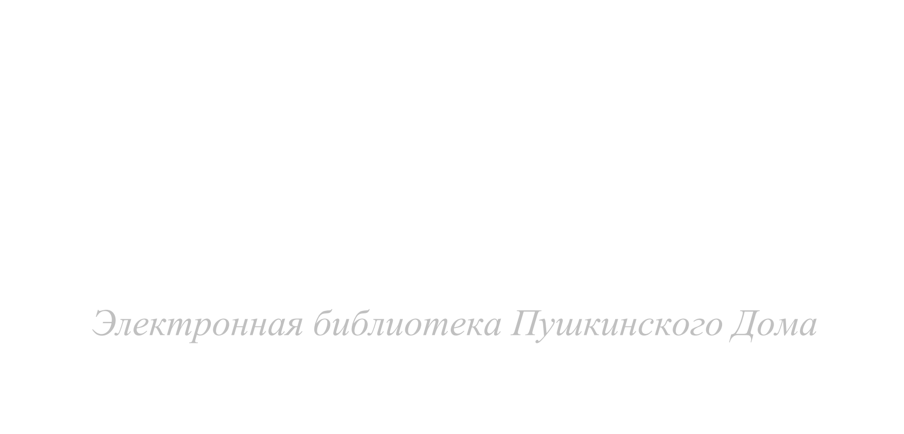
Юсь, юсь
Признаюсь
Ты, ты
Мои мечты
Сокрушил и проч.

В заключение после бывшего пиршества Профессор от имени Короля в знак счастливого избавления от смерти велел залепить всем его окружающим по 500 фухтелей в жопу; сии же последние, чувствуя вполне милость своего повелителя, повергнулись к стопам его, умоляя принять от них в свою очередь несколько тысяч *шпицрутенов* в спину и отборных щелчков в нос. Долго не соглашался Профессор на просьбы обожающих его людей, долго отговаривался он, говоря, что недостоин такой великой награды, но, наконец, всеобщие просьбы и увещания взяли перевес, и Профессора выдрали как *Сидорову козу*. День сей кончился как нельзя лучше, и все были довольны друг другом; после легкого ужина, состоящего из печеных жаб, приправленных козьими говешками, тухлых яиц и волчьих ягод с малафьею, все разошлись по своим местам, а Профессор удалился в свою богато убранную спальную.

Раздевшись, как это водится, Фон-дер-Бздех, высцался в карман любимейшего из своих приближенных и лег в постель, задрав ноги кверху; один из бардашей его остался с ним, чтобы усыпить его частыми ударами жопой по лицу, а другой беспрерывно засовывал ему в нос бумажные гусары с табаком; когда же Профессорские вежды сомкнулись на покой, оба бардаша, засыпав ему порядочный прием перцу в жопу, удалились из спальни, оставя повелителя своего в сладких объятиях Морфея.

Что было по утру, то скажет нам следующий Журнал, если угодно будет почтенным читателям нашим.

КОММЕНТАРИИ



В настоящий том вошли все прозаические произведения Лермонтова, начиная с юношеского романа «Вадим» (1832–1834) и кончая последней, незаконченной повестью <«Штосс»> (1841). Основу прозаического раздела составляет роман «Герой нашего времени» (1837–1840).

Приложение к основной части тома состоит из следующих разделов:

— «Панорама Москвы» — ученическое сочинение Лермонтова-юнкера (1834).

— «Планы и наброски» — подготовительные материалы к нереализованным замыслам Лермонтова.

— «Прозаические переводы стихотворных текстов», имеющие подготовительный характер.

— «Автобиографические заметки» — несколько заметок осознанно автобиографического характера.

— «Письма Лермонтова» — раздел включает все известные письма Лермонтова (включая дубиальное).

— «Письма к Лермонтову» — раздел включает все известные письма к Лермонтову (в общую нумерацию текстов не включены).

— «Корректурные дополнения» — произведения, обнаруженные на последней стадии подготовки тома.

Записи Лермонтова, имеющие бытовой характер, — конспекты, адреса и списки визитов, счета, выписки из книг, дарственные и владельческие надписи на книгах, подписи к рисункам, и т. п. — остались за границами настоящего издания.

В конце тома помещен «Алфавитный указатель произведений Лермонтова» ко всем четырем томам издания.

Тексты 4-го тома подготовли: Н. И. Коваленко, О. В. Миллер, Ю. М. Прозоров, за исключением № 491, 495, 555, 556, 563, 567, 570, 574, 580, 582–585, 592, 593 и раздела «Письма к Лермонтову», подготовленных А. С. Бодровой.

Комментарии составила О. В. Миллер при участии А. С. Бодровой (легенды к № 489–593; примеч. к № 491, 592, 593), Е. Н. Грачевой (№ 493), Н. А. Дроздова (№ 489, 490, 493, 495), Н. Г. Охотина (№ 490, 493, 494, 563), Ю. М. Прозорова (№ 489–492). В основу комментария к роману «Герой нашего времени» положена книга: Мануйлов В. А., Миллер О. В. Герой нашего времени. [Комментарий]. СПб., 1996.

Ответственный редактор тома Н. Г. Охотин.

ПРОЗА

489. <Вадим>

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 17. Л. 1–50. — черновой в тетради 16, без заглавия. Начальный лист рукописи полностью не сохранился. На обеих сторонах края вырванного листа заметен текст предисловия или посвящения. Обложка автографа представляет собой грифонаж, выполненный рукой Лермонтова: отдельные всадники и отряды кавалерии, жанровые сцены, мужские и женские лица и фигуры, деревья, домашние животные, объединенные в общую композицию (воспроизведено: Ковалевская 1980: 114–117; Каталог 2014: 29–30; подробный разбор см.: Мельникова 2006: 29–45).
Печатается по автографу.
Предположительно датируется 1832–1834 гг. (см. ниже).
Впервые: ВЕ. 1873. № 10. С. 458–557. В первой публикации П. А. Ефремова роман был оставлен без названия с условным обозначением «Юношеская повесть М. Ю. Лермонтова». В издании П. А. Висковатого текст был озаглавлен «Горбач — Вадим. Эпизод из Пугачевского бунта (юношеская повесть)» (Лермонтов 1889–1891: V, 1); наконец, в издании под редакцией А. И. Введенского произведение получило заглавие «(Вадим)», устоявшееся в последующей эдиционной традиции (Введенский 1891: III, 200–272).

Время работы Лермонтова над романом определяется на основании двух писем. 28 августа 1832 г. он писал М. А. Лопухиной (подлинник по-французски): «Пишу мало, читаю не больше; мой роман становится произведением, полным отчаяния; я рылся в своей душе, желая извлечь из нее все, что способно обратиться в ненависть; и все это я беспорядочно излил на бумагу — вы бы меня пожалели, читая его!..» (см. № 546). Вероятно, Лермонтов писал именно о романе «Вадим», хотя не исключено, что в 1832 г. у него был иной замысел. Второе свидетельство — воспоминания А. М. Меринского, с которым Лермонтов учился в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров: «Раз, в откровенном разговоре со мной, он мне рассказал план романа, который задумал писать прозой и три главы которого были тогда уже им написаны. Роман этот был из времен Екатерины II, основанный на истинном происшествии по рассказам бабушки. Не помню хорошо всего сюжета, помню только, что какой-то нищий играл значительную роль в этом романе; <...> Роман, о котором я говорил, мало кому известен, и нигде о нем не упоминается; он не был окончен Лермонтовым и, вероятно, им уничтожен» (Воспоминания 1989: 173). Так как Меринский поступил в школу в 1833 г., на год позже Лермонтова, можно предположить, что работа над романом продолжалась в 1833–1834 гг. И. Л. Андроников предполагал, что в 1832 г. Лермонтов писал другой роман, так как на конец 1833 г. были готовы всего лишь три главы «Вадима» (Андроников 1948: 28). Г. В. Москвин, опираясь на точку зрения Б. М. Эйхенбаума, согласно которой переход Лермонтова к прозе был обусловлен «его разочарованием в поэмах и драмах» (Эйхенбаум 1924: 127), предположил, что работа над романом началась непосредственно после появления поэм 1830–1831 гг. (отсюда обилие мотивных перекличек с ними). Анализируя текст письма

к Лопухиной, исследователь приходит к выводу, что к лету 1832 г. по крайней мере часть романа уже была написана (Москвин 2004: 82–92; см. также: Москвин 2012: 147–159).

Место действия романа — Пензенский край, где Лермонтов вырос. Изображая поместье Палицына, расположенную недалеко от него деревню, где находится крутой и глубокий овраг, пещеру, которую местные жители называли Чертово логовище, Лермонтов описывал местность, хорошо ему знакомую. Это окрестности Тархан, сел Нижние Поляны, Тархово. См.: Андреев-Кривич 1981: 46–160; Вырыпаев 1976: 98–105. В основе «Вадима» лежат исторические события, связанные с одним из этапов пугачевского восстания (1773–1775 гг.), во время которого пугачевские войска проходили через Пензенскую губернию; действие первых глав романа приходится на лето 1773 г., «за два месяца до бунта пугачевского». Среди помещиков, пострадавших от пугачевцев, были родственники и знакомые Е. А. Арсеньевой — в том числе убитый в Краснослободске капитан Данило Столыпин, подпоручик Василий Хотяинцев, сын которого Фома был крестным отцом Лермонтова, семьи Мартыновых, Мансыровых, Киреевых, Мещериновых, Мосоловых (подробнее см.: Докусов 1947: 77–86; Коган 1947: 53–71; Андроников 1948: 289–299; Андроников 1951: 60–79; Андроников 1952: 5–27). Ряд сцен (бегство в лес Палицына, спасавшегося от пугачевцев в пещерах, казнь его жены, расправа с владельцами села Красного) восходит к подлинным эпизодам и событиям «пугачевского года». История Вадима могла иметь в основе свидетельства современников о том, что среди пугачевцев было несколько пензенских дворян. Так, отставной подпоручик Н. Н. Чевкин примкнул к ним, чтобы отомстить соседу, помещику Левашову (подробнее об этом см.: Андроников 1968: 94–116). Подробнее о сюжетных перекличках между романами см.: Петров 1984: 149—150.

Примечательно то, что в 1833 г. к этому историческому периоду обращается и Пушкин, работая над «Капитанской дочкой». Также отмечалось фабульное сходство между романом Лермонтова «Вадим» и романом Пушкина «Дубровский»: Андроников высказывал предположение, что в основе обоих романов лежал один и тот же факт: судебная тяжба между тамбовскими помещиками С. П. Крюковым и И. Я. Яковлевым (Андроников 1948: 292–293). Сюжетные переклички между романами приводятся в: Петров 1984: 149–150.

В «Вадиме» сочетаются сразу несколько литературных традиций. Форма эпического повествования, выбранная Лермонтовым, в целом отсылает к историческим романам Вальтера Скотта (см.: Томашевский 1941: 473), однако к середине 1830-х годов эта влиятельная традиция осознавалась скорее как фоновая: ее приемы использовалась в большинстве вариаций исторического жанра по умолчанию. Тематически, концептуально и стилистически «Вадим» соотносится, прежде всего, с французскими историческими романами 1820-х гг., такими как «Ган исландец» («Han d'Islande», 1823) и «Бюг Жаргаль» («Bug-Jargal», 1826) Гюго или «Шуаны, или Бретань в 1799 году» («Le dernier Chouan, ou ou la Bretagne en 1800», 1829) О. де Бальзака. Лермонтова и Гюго объединяет похожая обрисовка социального конфликта: угнетенный народ поднимается на восстание и в своем

диком бесчинстве забывает о человечности, совершая жестокие преступления. «Вадима» и «Шуанов» объединяет, с точки зрения Дж. Мерсеро, схожий взгляд на природу крестьянского восстания, участники которого «в гораздо большей степени обеспокоены личной наживой от грабежей и мародерств, чем политическими и религиозными проблемами» (Mersereau 1963: 237).

Лермонтов неоднократно вводит в роман этнографические и фольклорные элементы, детально описывает ландшафт и домашний интерьер; снабжает повествование бытовой лексикой и простонародными речениями, специфическими для южнорусских говоров или охотничьего жаргона (Виноградов 1990: 198–199). Тем не менее, по мнению С. Н. Дурылина и, вслед за ним, — С. М. Петрова, было бы неправомерным безусловно называть роман «Вадим» историческим: «Роман должен был развернуть широкую историческую картину народного движения, но превратился в своеобразную романтическую поэму в прозе, повторившую собой всю обычную внутреннюю и внешнюю структуру лермонтовской поэмы в стихах» (Дурылин 1941: 235). В связи с этим можно говорить о том, что «Вадим» «представляет собой особую модификацию исторического романа, отражение в своеобразной жанровой форме особенностей исторической обстановки в романтическом восприятии и истолковании» (Петров 1984: 144–145).

С другой стороны, не менее значительна и лирическая составляющая романа, связывающая его с байроновскими поэмами. Центральный элемент лирической системы — Вадим — своей таинственностью напоминает Корсара из одноименной поэмы («The Corsaire», 1814); размышления Вадима в монастыре напоминают мысли Гяура среди монахов («The Giaour», 1813) и т. д. (см.: Воробьев 2003: 38–43). Основным мотивом «Вадима», как и неоднократно у Байрона («Осада Коринфа» — «The Siege of Corinth», 1816; «Марино Фальеро, дож венецианский» — «Marino Faliero, Doge of Venice», 1821), становится месть, хотя причины, побуждающие героев мстить своим обидчикам, несомненно, отличаются: Вадим гораздо более индивидуалистичен в своей ярости, его мало интересуют какие-либо социальные или политические мотивы (см.: Нольман 1941: 466–515.). Также Вадим ассоциируется с персонажами-мстителями из юношеских поэм Лермонтова, в которых нередко совмещаются стремление к справедливости и жестокость. На основании мотивных пересечений между «кавказскими поэмами» и «Вадимом» Москвин пришел к выводу, о том, что поэмы «Каллы» и «Измаил-Бей», равно как и другие ранние поэмы Лермонтова, «подготавливают мотивную и образную структуру романа», тогда как «Аул Бастунжи» и «Хаджи Абрек», «напротив, служат своего рода ответом на его проблематику» (Москвин 2011: 90). Развитие образа мстителя в поэмах отражает, по мнению Москвина, эволюцию Вадима, начиная с «неистовства личного бунта» (Аджи, «Каллы») и переходя к немотивированной жестокости (Хаджи Абрек). «Вадим» неразрывным образом связан и с персонажами ранней лирики Лермонтова, что подтверждается заимствованиями из отдельных стихотворений (см. примечания).

Кроме того, повышенная эмоциональность повествования проявляется и в формировании особого, лирического рассказчика, который регулярно вторгается

в текст своими размышлениями о персонажах и происходящих вокруг них событиях. Это также сближает «Вадима» и ранние романтические поэмы Лермонтова (см.: Эйхенбаум 1924: 127–128) и его лирику, подрывая «объективность» исторического романа. Основными темами лирических отступлений становятся проблемы добра и зла, а также свободы воли, что отчетливо связывает лермонтовский роман с поэмами Байрона.

Поэтический язык «Вадима» полон метафор и фигур пафоса, типичных для поэм Байрона и его русских подражателей (Перльмуттер 1941: 310–355); при этом наблюдается крайняя небрежность в выборе метафор, что нередко приводит к смысловой неоднозначности (Виролайнен 1985: 106–107). Язык «Вадима» позволяет также говорить о тяготении Лермонтова к повествовательной манере А. А. Бестужева-Марлинского, чьи повести отличаются повышенной стилистической экспрессивностью. Помимо этого, Лермонтов широко использует приемы «pittoresque» манеры, которая была введена французскими романтиками и предполагала особое внимание к живописным картинам, наполненным яркими эмоциональными ассоциациями (Москвин 2002: 148–158; Кезина 2006: 137–141). По мере развития романа, однако, стиль меняется — автор все больше внимания уделяет сюжетной линии повествования, лирические отступления становятся локальными.

«Вадим» относится к числу тех произведений европейского романтизма, где в качестве центрального персонажа выступает уродливый человек (чаще всего — горбун). Здесь Лермонтов мог воспользоваться опытом Вальтера Скотта (Элши в «Черном карлике» — «The Black Dwarf», 1818), Байрона (Арнольд в «Преображенном уроде» — «The Deformed Transformed», 1824) и Гюго (Квазимодо в «Соборе Парижской Богоматери» — «Notre-Dame de Paris», 1831), — все эти герои, как и Вадим, наделялись отчетливо демоническими чертами. Несмотря на то что по своей физической силе Вадим очень напоминает Бюг Жаргаля из одноименного романа В. Гюго, его жестокость и пренебрежение по отношению к людям в гораздо большей степени сближают его с персонажем того же романа карликом Хабиброй, взятым, подобно Вадиму, в дом к помещику из-за своей примечательной уродливости (Родзевич 1914: 9–10; Mersereau 1963: 237). Подобно Гану-исландцу из другого романа Гюго, Вадим ослеплен жаждой мщения; они оба, совершая убийство или наблюдая за ним, получают садистическое удовольствие (Родзевич 1914: 13). При этом, однако, образ Вадима далек от однозначности. Ему не чужды благородные порывы и саморазрушающая рефлексия («для Вадима всё заключалось в его сердце!»), а сам повествователь, в особенности в начале романа, признает, что «в его глазах было столько огня и ума, столько неземного», «гений блистал на челе его». Родзевич связывает появление подобных черт в образе Вадима с возможной ориентированностью Лермонтова в том числе и на таких персонажей, как Карл Моор или Жан Сбогар (Родзевич 1914: 17–18).Фигура лермонтовского героя, несомненно, наделена чертами традиционного злодея «неистовой словесности»: отталкивающая внешность, гипертрофированная жестокость, повышенная экспрессивность поведения. В частности, несомненно сходство между «Вадимом» и «Собором Парижской Богоматери»; отмечается не только портретное сходство

Вадима и Квазимодо, но и параллелизм многих сопутствующих деталей (Докусов 1976: 7; Томашевский 1941: 475). Так, перед обоими героями преклоняется толпа, чувствуя их превосходство и необычную внутреннюю мощь. Кроме того, сходное воздействие оказывает на героев внимание и сочувствие женских персонажей — Ольги и Эсмеральды, соответственно. Описания уродливых нищих из «Вадима» и жителей парижских кварталов также строятся по одной модели, с использованием тождественных мотивов и приемов. Помимо этого, в обоих романах присутствует любовный треугольник, в состав которого входят красивая женщина и два поклонника, один из которых привлекателен внешне, а другой — уродлив (Докусов 1976: 12–13; более ранний вариант такого конфликта разрабатывался Гюго в «Бюг Жаргале» — Родзевич 1914: 7–8). Таким образом, в Вадиме как бы аккумулируются черты сразу нескольких литературных персонажей (Бюг Жаргаль и Хабибра, Квазимодо и Клод Фролло). Анализируя полигенетичность лермонтовского героя, В. Э. Вацуро считал, что ни с одним из возможных литературных прототипов Вадим не может быть отождествлен полностью: он представляет собой совершенно особенный, неповторимый «гиперболизированный характер с чертами демонизма, наделенный сверхчеловеческой волей, страстями и страданием» (Вацуро 2002: 494). Демоническое начало в Вадиме постулируется не только повествователем («они уважали в нем какой-то величайший порок, а не безграничное несчастие, демона — но не человека», «чело Вадима омрачилось, и горькая язвительная улыбка придала чертам его, слабо озаренным догорающей свечой, что-то демонское» и т. д.), но и им самим («с тех пор как я сделался нищим, какой-то бешеный демон поселился в меня», «в этот дом я принес с собою моего демона»).

Поэтика уродливого и страшного используется в романе с показательной регулярностью (описания эмоциональных срывов Вадима и совершенных им убийств). В тех случаях, когда повествование предполагает описание бытовых ситуаций (в духе Вальтера Скотта), Лермонтов демонстративно отказывается от многословия, однако «неистовые» эпизоды разрабатываются Лермонтовым с максимальной детализацией, что, несомненно, сближает его с французскими писателями. Кроме собственно «неистовых» сцен роман содержит множество «безнравственных» эпизодов, в которых злодеем выставляется не только Вадим, но и Палицын. Объектом домогательств последнего становится Ольга, впрочем, благодаря случаю избегающая опасности. Не меньший интерес к Ольге проявляет Вадим, однако он желает обладать ею не только физически, но и морально («он хотел ею завладеть, он боялся расстаться с нею на одно мгновение»). Мотив инцеста в «Вадиме» лишь намечен, однако даже намек обличает в Лермонтове заинтересованного читателя современной ему французской литературы. Мотив поруганной красоты, несколько раз появляющийся в романе, может быть генетически связан не только с «неистовой словесностью», но и с «готическим романом», в котором страдающая от домогательств молодая девушка была неизменным атрибутом. По мнению Вацуро, инцестуальные мотивы могут восходить к «Рене» («René», 1802) Шатобриана, или, еще вероятнее, к «Монаху» («The Monk», 1796) М. Г. Льюиса, в котором персонажем управляет скорее физическое, чем духовное начало.

Еще больше сближает «Вадима» с современной ему «неистовой словесностью» соположение жестоких и комических эпизодов. Так, например, сцены казни сопровождаются картинами веселящейся молодежи и смеющихся казаков, а вскоре после этого повествователь вводит сцену избиения солдаткой своего сына, признаваясь, что пропустить эту пошлую сцену ему не позволяет развитие сюжета. Вскоре, однако, этот комичный эпизод сменяется описанием пыток, которым казаки подвергают солдатку и ее сына. Сочетание разностилевых эпизодов вообще типично для «Вадима»: так, например, патетическое описание монастыря («Звонили к вечерни; монахи и служки ходили взад и вперед по каменным плитам, ведущим от кельи архимандрита в храм; длинные, черные мантии с шорохом обметали пыль вслед за ними...») сменяется ироническим взглядом на происходящее («...и они толкали богомольцев с таким важным видом, как будто бы это была их главная должность»), а затем рассказ возвращается к прежнему тону («Под дымной пеленою ладана трепещущий огонь свечей...») (Виролайнен 1985: 104–106).

Внутренняя противоречивость «Вадима» проявляется практически на всех уровнях текста. Задуманный как романтическая поэма в прозе, этот роман по ходу развития сюжета начинает превращаться в объективированное повествование, однако заложенные в основание подобного подхода противоречия не позволяют Лермонтову прийти к непротиворечивому финалу. Возможно, одна из причин незавершенности романа кроется именно в его эклектичной природе.

Попытки описать продолжение романа предпринимались многократно, однако не выходили за рамки осторожных предположений. Единственная последовательная, хотя и в высшей степени гипотетическая реконструкция принадлежит О. Б. Заславскому (1993: 337–346): по мнению исследователя, Вадим должен был осуществить свою месть, однако она привела бы к катастрофическим последствиям — в частности, Вадим должен был обнаружить, что Палицын — его настоящий отец (это, в соответствии с общими тенденциями лермонтовского творчеств завершило бы демонизацию героя).

С. 7. *У ворот монастырских...* — Лермонтов описал здесь мужской монастырь, находившийся в двух верстах от Нижнего Ломова, старинного города, стоявшего на пути из Москвы в Пензу. С Тарханами его связывала короткая прямая дорога, сохранившаяся до настоящего времени. «Вход в обитель идет через большие ворота, называемые святыми, с изображением на них величественной картины Страшного суда» (<Архимандрит Гедеон>. Нижнеломовский казанский второклассный мужской монастырь. Н. Ломов, 1911. С. 6). См. также: Яковлев 1949: 245–246. Развалины монастыря в 1960-е годы видел С. А. Андреев-Кривич.

С. 8. *...с анненским крестом в петлице...* — Знаки ордена св. Анны, учрежденного в 1736 г., имели форму равноконечного креста; концы креста сужались к центру и расширялись к краям.

С. 9. *... остался хладнокровен, как Сократ, когда жена вылила кувшин воды на его голову...* — Имеется в виду жена Сократа Ксантиппа, чье имя стало нарица-

тельным из-за ее сварливого характера. Существует несколько историй о том, как Ксантиппа выливала на Сократа кипяток, ведро с помоями и т. д.

С. 9. *...подлые души завидуют всему ~ их начальника.* — Дж. Викери усматривает в этой и некоторых других сентенциях «Вадима» подражание максимам Ф. де Ларошфуко и других французских моралистов (см.: Vickery 2001: 351).

С. 10. *...три круглые стола; перед каждым небольшое канапе...* — Канапе — небольшой диван с приподнятым изголовьем.

...на ней изображался завядшими красками торжественный въезд Петра I в Москву после Полтавы... — Въезд Петра I в Москву после Полтавской победы состоялся 21 декабря 1709 г..

...эту картину можно бы назвать рисованной программой. — В Императорской Академии художеств еще с середины XVIII в. утверждались «программные задания» для курсовых или выпускных испытаний. Программы эти носили преимущественно религиозный, мифологический или исторический характер. С начала XIX в. в число рекомендуемых тем стали входить сюжеты из русской истории, в частности, связанные с деятельностью Петра Великого и Полтавской битвой (оценивая это новшество Н. М. Карамзин писал в 1802 г., что «Полтавское сражение утвердило или, лучше сказать, основало первенство России на Севере» — Карамзин 1964: II, 189). Говоря о «рисованной программе» Лермонтов, очевидно, имел в виду ученический характер картины, висящей в гостиной Палицыных.

Это был ангел, изгнанный из рая за то, что слишком сожалел о человечестве... — Б. В. Томашевский усматривает в этой фразе ссылку на поэму А. де Виньи «Элоа, или Сестра ангелов» (A. de Vigny. «Eloa, ou la Sœur des anges», 1824): Томашевский 1941: 474.

С. 13. *...за 2 месяца до бунта пугачевского.* — Первые отряды пугачевцев появились на территории Пензенского края в конце июля 1774 г. Пенза была взята 1 августа. Волнения пензенско-воронежских крестьян начались еще до появления там Пугачева.

С. 14. *Вокруг старинного дома обходит деревянная резной работы голодарейка, служащая вместо балкона.* — Голодарея — длинный балкон вдоль дома.

С. 16. *Благодарность! — продолжал он с горьким смехом...* — Ср. со словами Фернандо из драмы «Испанцы» (см.: Т. 3. С. 12).

...произвели бы действие глаз василиска.... — Василиск — мифический чудовищный змей, который убивал не только ядом, но и взглядом, дыханием, от которого сохла трава и растрескивались скалы.

...перед иконой Богоматери упала Ольга на колени... — Ольга в «Вадиме» наделена типичными для русского романтизма чертами женщины-ангела, которая отличается не только внешней привлекательностью, но и благочестием (Давидович 1927: 91–96).

С. 18. *...тени рябиновых листьев рисовались на лице его непостоянными арабесками...* — Арабески — вид сложного орнамента, состоящего из геометрических фигур и стилизованных листьев, цветов и т. п., получивший распространение в европейском искусстве главным образом под влиянием арабских образцов.

С. 19. *...Наталья Сергевна разрядилась в фижмы...* — Фижмы — каркас из китового уса для придания низу платья большого объема.

...он служил в лейб-кампанцах... — В 1741 г. гренадерской роте лейб-гвардии Преображенского полка за участие в государственном перевороте, приведшем к власти императрицу Елизавету Петровну, было присвоено название «Лейб-компания» (капитаном считалась сама императрица; просуществовало это полувоенное-полупридворное образование до 1862 г.). Всем лейб-компанцам, вне зависимости от их исходного звания, было даровано потомственное дворянство, они были приняты в почетную придворную службу, получили различные награды. Таким образом, Генадий Василич Горинкин характеризуется, как человек, «попавший в случа́й», но не обладающий достоинствами старой родовой аристократии.

Мало́й! Египетского... — Вероятно, имеется в виду так называемое «vin d'Egypte», эликсир графа Калиостро (G. Balsamo, 1743–1795), обладающий свойствами сильного афродизиака (см., например: Barberi 1791: 9–10; Jolly 1824: 195). Это объясняет специфическое возбуждение, охватившее хозяина и гостей, а также последующую попытку Палицына изнасиловать Ольгу. Однако Лермонтов, похоже, знал о «египетском вине» лишь понаслышке: пить его «большими кружками» было бы чрезвычайно опасно. Кроме того, упоминание этого средства — явный анахронизм: граф Феникс (один из псевдонимов Бальзамо) приехал в Россию только в 1780 г.

С. 25. *...он похож был в это мгновенье на вампира, глядящего на издыхающую жертву.* — Обращение к теме вампиризма, стремительно развивавшейся с конца XVIII века, вновь ставит Вадима в ряд литературных «злодеев». Лермонтов мог обращаться к «Вампиру» («Vampire», 1816) Полидори — Байрона (рус. перевод вышел в 1828 г.).

...разрушить естественный порядок... — Выражение «естественный порядок» здесь означает установленный природою, не зависящий от воли и разума человека (ср. в «Странном человеке»: «Я создан, чтоб разрушать естественный порядок» — Т. 3. С. 216).

С. 27. *... какой-то бешеный демон поселился в меня...* — Ср. со стихотворением Лермонтова «Мой демон», строфа 4 (Т. 1. № 46).

С. 28. *...на дне этого удовольствия шевелится неизъяснимая грусть, как ядовитый крокодил в глубине чистого, прозрачного американского колодца...* — Это сравнение восходит к повести Ф. Р. Шатобриана (1768–1848) «Атала, или любовь двух дикарей в пустыне» (1801): «Сердце, самое чистое по виду, похоже на природный колодезь саванны Алашуа: его поверхность кажется спокойной и чистой, но, если посмотришь в глубину бассейна, то увидишь огромного крокодила». Подобный мотив есть и у Батюшкова («Счастливец», «Подражание древним»), однако на Шатобриана указывает эпитет «американский»: действие повести «Атала» разворачивается в Америке. Ср. также в «Княгине Лиговской» (№ 490. С. 108). Другие аллюзии на Шатобриана см.: Томашевский 1941: 476–479.

С. 29. *Таково предание народное...* — Рассказ о женихе-призраке восходит к немецкой народной песне. Этот сюжет был использован Г. Бюргером в балладе «Ленора», в русской литературе известной по подражаниям и переводам В. А. Жу-

ковского («Людмила» — 1808, «Светлана» — 1808–1812, «Ленора» — 1831). Ср. балладу Лермонтова «Гость» (Т. 1. № 106). Сюда же Лермонтов присоединяет и отчетливый готический мотив — прижимание невесты к кровавой ране на теле (отмечено: Вацуро 2002: 495).

С. 34. *Этот галванизм...* — Явление, открытое основоположником электрофизиологии, итальянским анатомом и физиологом Л. Гальвани (1737–1798). Позднее гальванизм был определен как физиологическое действие электрического тока. Подобное словоупотребление вновь обличает в Лермонтове если не поклонника, то внимательного читателя французской «неистовой словесности» конца 1820-х — начала 1830-х гг.: Пушкин, например, употребил это слово в своем знаменитом выступлении против М. Е. Лобанова: «Уже „словесность отчаяния“ (как назвал ее Гёте), „словесность сатаническая“ (как говорит Соувей), словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и пр. — эта словесность, давно уже осужденная высшею критикою, начинает упадать даже и во мнении публики» (Пушкин 1937–1959: XII, 70).

С. 35. *...таков был ужас Макбета...* — Лермонтов имеет в виду 4-ю сцену III акта «Макбета» («Macbeth», 1606) У. Шекспира, где Макбету является призрак убитого им Банко.

С. 38. Песня «Воет ветер» включена также в поэму «Азраил» с разночтениями в двух первых стихах (см.: Т. 2. С. 108).

С. 39. *Борис Петрович еще долго пропорскает...* — Порскать (охотничий жаргон) — на псовой охоте криком понукать, натравливать (гончих) на зверя. Однако здесь употреблено с оттенком более общего значения — двигаться взад и вперед, сновать (Даль).

Но век иной, иные нравы! — Парафраз крылатого латинского выражения «Alias tempora, alii mores» (франц. «Autres temps, autres mœurs»).

С. 40. *...в тороках у стремянного висело только два зайца...* — Торока — ремень на задней части седла для пристегивания. Стремянный — здесь слуга, следующий за хозяином на охоте.

... удалец, которого казаки величают Красной шапкой... — Н. Б. Горбачева высказывает мысль о том, что в прозвище Вадима содержится намек на красные головные уборы якобинцев (bonnet rouge), ассоциировавшихся «с одной стороны, с простонародным началом революции, а с другой — с невероятной жестокостью, расправами, кровью» (Горбачева 1989: 52). Ср. с характеристикой предводителя якобинцев Марата в поэме «Сашка»: «Меж тем как нищих буйный миллион / Кричал, смеясь: „Да здравствует закон!“ — / И, в недостатке хлеба или злата, / Просил одной лишь крови у Марата» (Т. 2. С. 314). Красные головные уборы часто характеризуют в литературе и внешность разбойников (пиратов); см., например, в известной новелле Вашингтона Ирвинга «Вольфер Веббер, или Золотые сны» (1824), в раннем русском переводе которой разбойничьи «red caps» переданы как «красные шапки» (МТ. 1826. Ч. 7. № 3. С. 132–135.).

«Ты черт или Гуммель», — сказал Фильд... — Гуммель Иоганн (Ян) Непомук (1778–1837) и Джон Филд (1782–1837) — известные пианисты-виртуозы и ком-

позиторы. Гуммель, уроженец Братиславы, выступал с концертами в Петербурге и в Москве в 20-х гг. XIX в. Филд, ирландец, приехал в Россию в 1802 г. В 1831–1835 гг. концертировал в Западной Европе (Лондон, Париж). Умер в Москве.

С. 41. *Куда? зачем? — если б рассказывать все их мнения, то мне был бы нужен талант Вальтер-Скотта и терпение его читателей!* — Романы Вальтера Скотта представляли собой пример неторопливого повествования, наполненного разнообразными подробностями и деталями. Лермонтов демонстрировал, с одной стороны, восхищение произведениями Скотта, а с другой — необходимость создания новых принципов повествования.

...песня была дика... — Лермонтов ввел в текст романа юношеское стихотворение «Воля» (1831; Т. 1. № 210) в несколько измененной редакции.

С. 42. *...поезжай скажи Белбородке...* — Под именем Белбородки в романе фигурирует один из руководителей пугачевского восстания «главный атаман и походный полковник» Иван Наумович Белобородов (1741?–1774). Отряды Белобородова, однако, не вели действий на правом берегу Волги, т. е. в местах, описанных Лермонтовым.

...когда турки угнетали потомков Леонида... — Потомки Леонида — греки. Леонид — спартанский царь, возглавивший объединенное греческое войско против персидского царя Ксеркса. Героически погиб при защите Фермопильского ущелья (480 г. до н. э.). Греция освободилась от турецкого ига, длившегося 400 лет, в 1829 г.

С. 45. *Вадим продрался сквозь толпу до самого клироса и, став на амвон, окинул взором всю церковь.* — Клирос — особое место для певчих и чтецов во время богослужения на возвышении перед алтарем, справа и слева от царских врат. Амвон — центральная часть возвышения перед алтарем, с которой произносятся проповеди и оглашаются царские манифесты.

...черная мантия и клобук <...> руки, сложенные на груди крестом, <...> обыкновенно рисуются под адамовой головой. — Лермонтов создает портрет, сочетающий мрачные атрибуты готического романа («черный монах», символы смерти) с чертами наполеоновской иконографии (см.: Т. 1. № 84); последнее подчеркивает роль Вадима, как «человека судьбы»..

С. 46. *Приидите ко мне вси труждающиеся и аз успокою вы*! — Мф: 11, 28.

С. 49. *...суфлер, этот услужливый Протей...* — Протей в греческой мифологии морское божество, обладавшее даром пророчества.

С. 50–51. *Один из них по всем приметам был некогда женщиной...* — Описание трупа Натальи Сергеевны Палицыной отсылает к сцене убийства настоятельницы обители Святой Клары в «Монахе» Льюиса, совершенного такой же беснующейся толпой, как у Лермонтова. Значительно уступающее английскому роману по объему, это описание, тем не менее, типологически сближает произведения (Вацуро 2002: 495).

С. 55. *...часто повторяемые имена дидо и ладо могли бы ввести в это заблуждение неопытного чужестранца.* — В славянской мифологии, сконструированной в литературе XVIII в., Лада (Ладо) — богиня брака, любви и веселья; Дидо — сын Лады, бог веселья и любви.

С. 57. *...мир без тебя? что такое!.. храм без божества...* — В этих репликах есть фразеологическое сходство со стихами 153–155 из поэмы Лермонтова «Исповедь» (1829–1830; Т. 2. С. 132):

Что без нее земля и рай?
Пустые звонкие слова,
Блестящий храм без божества!

Эти стихи варьируются и в одной из ранних редакций (1833–1834 гг.) поэмы «Демон» (Т. 2. С. 505–506; см. также: С. 409):

С тобою розно мир и вечность
Пустые звучные слова,
Прекрасный храм — без божества.

Этот же оборот встречается и в конце поэмы «Боярин Орша» (1835–1836; Т. 2. С. 287):

Что без нее земля и рай?
Одни лишь звучные слова,
Блестящий храм — без божества!

С. 58. *...подобный одному из тех безобразных кумиров...* — Каменные изваяния («каменные бабы»), ставившиеся в древности на возвышенностях в степях от Днестра до Монголии (V–IV вв. до н. э. — XIII–XIV вв. н. э.).

...если б бедная собака, иссохшая, полуживая от голода и жажды... — Ср. в драме «Странный человек», сцена XII: «...если б иссохшая от голода собака приползла к твоим ногам с жалобным визгом...» (Т. 3. С. 229).

С. 60. *Lasciate ogni speranza voi ch'entrate!* — «Оставь надежду всяк сюда входящий» (ит.) — стих из «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь 3, стих 9).

...гнилые колоды, обросшие зеленью и плющом, с своими обнаженными сучьями, как крепостные рогатки, преграждают путь... — Рогатки — своего рода шлагбаумы на въезде в крепость или в город: «продольный брус со вдолбленными накрест палисадинами, для преграды пути» (Даль).

С. 62.*...в колючие объятия мадоны долорозы...* — «Мадонна долороза» (матерь скорбящая) — наименование средневекового орудия пытки.

С. 66. *...как иногда блудящий огонек, <...> заводит путника к самому краю пропасти...* — Ср. в «Демоне» (Т. 2. С. 411):

И мчался путник одинокой
Обманут близким огоньком;
И в бездну падая с конем
Напрасно звал...

И перед ним начал развиваться длинный свиток воспоминаний... — Ср. в стихотворении Пушкина «Воспоминание» (1828; Пушкин 1937–1959: III, 102): «Воспоминание безмолвно предо мной / Свой длинный развивает свиток».

С. 67. *...как семена притчи...* — Лермонтов имеет в виду притчу о сеятеле, изложенную в Евангелиях: Мф. 13, 3–23; Мк. 4, 3–20; Лк. 8, 4–15.

С. 68. *...поход! — в Турцию...* — Турция объявила войну России 25 сентября / 6 октября 1768 г. Военные действия начались в январе 1769 г. Через Дунай русские переправились под началом Суворова в мае 1773 г.

С. 69. *нет! Зара, нет!* — Ориентальное имя Зара появляется также в поэмах Лермонтова «Аул Бастунджи» и «Измаил Бей» (см.: Т. 2. № 467, 465).

...прощай, роза Гулистана! — Выражение, неоднократно встречающееся в русской ориентальной поэзии 1830-х гг. (Д. А. Кропоткин, Д. П. Ознобишин, А. И. Полежаев). «Гулистан» в переводе с персидского значит «розовый сад». Так озаглавлено произведение персидского поэта и мыслителя Саади (ок. 1200 — ок. 1292).

С. 70. *Не одна 30-летняя вдова рыдала у ног его...* — В этой фразе содержится намек на роман О. де Бальзака «Тридцатилетняя женщина» («La Femme de trente ans», 1831–1834), упоминание о котором есть и в «Герое нашего времени» (с. 186).

...подобно плодам, растущим на берегах Мертвого моря... — В «Иудейской войне» Иосифа Флавия есть описание странных деревьев, растущих в окрестностях Асфальтового озера (Мертвого моря). Плоды их, съедобные на вид, но негодные к пище, рассыпаются в пепел при первом к ним прикосновении (IV, 8, 4). Этот сюжет использовал Д. Мильтон в «Потерянном рае», кн. 10, ст. 760–767 (1667) и Томас Мур в «восточной» поэме «Лалла-Рук» (1817). Наиболее вероятно, что сравнение, употребленное здесь Лермонтовым, восходит именно к Муру (Левин 1975: 206).

...узел, который судьба, не умея расплесть, перерубит подобно Александру. — По преданию, Александр Македонский, не сумев распутать сложный узел, завязанный фригийским царем Гордием, разрубил его мечом.

С. 72. *...он торжествовал, как Геркулес, победивший змея...* — С именем Геракла (Геркулеса) связано несколько змееборческих мотивов — в младенчестве он убил двух змей, посланных задушить его в колыбели; в числе двенадцати подвигов героя — убийство лернейской гидры, чудовища с телом змеи и девятью драконьими головами, которое опустошало окрестности города Лерны.

С. 78. *...а Борис Петрович был человек, как вам это известно, то есть животное, которое ничем не хуже волка...* — Видимо, имеется в виду известная латинская поговорка «Homo homini lupus est» («Человек человеку — волк»), восходящая к Плавту и Сенеке (часто встречается в трудах европейских философов-моралистов, например, у Монтеня и Гоббса).

С. 82. *Вдруг толпа раздалась, расхлынулась, как некогда море, тронутое жезлом Моисея...* — Ср. в Ветхом Завете: «Простре же Моисей руку на море, и возгна Господь море вѣтромъ южнымъ сильнымъ всю нощь, и сотвори море сушу, и разступися вода» (Исх. 14, 21). Нередко употребляется метафорически, применительно к толпе, например: «Прибытие консула съ многочисленною свитою переменило вид сцены. Волнуяся, расхлынулся народ, как некогда море пред Моисеем. Живые волны, расступившись, очистили широкий путь правителю» (Шидловский А. Б. Последний консул в Кафе // БдЧ. 1934. Т. 5. Отд. II. С. 123). Ср. также усеченный

образ у самого Лермонтова: «Вдруг толпа раздалась в обе стороны — / И выходит Степан Парамонович» (Т. 2. С. 357).

Лит.: ЛЭ 1981: 76–77; Ефремов 1873: 457–458; Буренин 1873: 1; Михайловский 1894: 127–133; Нейман 1927: 99–109; Переверзев 1935: 25–29; Докусов 1938: 191–200; Благой 1941: 379–380; Фохт 1941: 461–468; Коган 1947: 53–71; Докусов 1949: 95–129; Андроников 1952: 5–27; Михайлова 1957: 91–128; Ермакова 1958: 236–260; Слащев 1959: 44–45; Слащев 1962: 35–37; Андреев-Кривич 1964: 14–15; Нейман 1966: 172–175; Пиксанов 1967; Федоров 1967: 195–200; Владимирская 1968: 48–55; Шагалов 1969: 312–329; Уманская 1970: 133–139; Фохт 1975: 132–138; Манн 1976: 306–308; Сацюк 1980a: 66–74; Сацюк 1980b: 52–55; Прокопенко 1981; Зайцева 1983: 25–36; Захаров 1983a: 178–180; Лисенкова 1983: 38–45; Шаблий 1983: 129–147; Шаблий 1986a: 31–36; Шаблий 1986b: 92–96; Сацюк 1987: 14–15; Шаблий 1987: 15–22; Эйхенбаум 1987: 247–254; Александров 1988: 40–49; Александров 1989: 110–111; Александрова 1989: 100–101; Дударенко 1989: 59–60; Виноградов 1990: 182–170; Милевская 1991: 114–116; Серман 1997: 233–234; Уткина 2004: 37–42; Тимакова 2009: 128–134; Тачкова 2010: 96–107; Буянова 2013: 141–149.

490. Княгиня Лиговская

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 5. Л. 1—57 — черновой, под заглавием «Княгиня Лиговская. Роман»; рукой Лермонтова – примерно треть рукописи: Л. 1–11 об. (главы I–III, с начала до слов «...вот как это случилось»), Л. 21–22 (глава IV, фрагмент «Княгиня разными вопросами... ~ ...держа в руке газеты»), Л. 34 об.–35 (глава VI, фрагмент «Помилуйте в ваши лета... ~ ...а он чуть не засмеялся вслух»), Л. 37 об. (глава VI, фрагмент «...рука ее, державшая стакан с водой... ~ ...удалилась в комнату Вареньки»), Л. 46 об.–47 (глава VII, последний фрагмент «...мягкие и волнистые кудри... ~ ...полный смутных надежд и опасений!..»; глава VIII, с начала до слов «...и это была первая моя командировка»), Л. 49–51 (глава VIII, со слов «...и продолжал неуверенным голосом...» до конца главы), Л. 53 об.–54 (глава IX, фрагмент «Тут могли бы вы также встретить... ~ ...прочитав одну его статью»), Л. 56–57 (глава IX, со слов «глаза покрылись какою-то...» до конца главы). Остальной текст написан, по-видимому, под диктовку Лермонтова, С. А. Раевским, за исключением двух фрагментов, записанных рукой А. П. Шан-Гирея – Л. 42–43 (глава VII, с начала главы и до слов «...он бы скорей нашелся, нежели теперь») и Л. 56 (глава IX, фрагмент «Она была одета со вкусом... ~ ...на нежные щеки ее»). На полях автографа имеются рисунки Лермонтова: поясное изображение пожилого мужчины (Л. 3 об.) и скачущая лошадь (Л. 8 об.); после Л. 51 – три чистых ненумерованных страницы. На верхнем левом поле Л. 1 – «№ 983» и запись рукой П. А. Висковатова «В рукописи 57 (пятьдесят семь) листов, частью писанных Лермонтовым, частью рукою Раевского под диктовку Лермонтова». На Л. 57 б. – пояснительная заметка Висковатова об истории публикации романа (см. ниже).

Печатается по автографу.

Датируется 1836 г. (см. ниже).

Впервые: РВ. 1882. № 1. С. 120—181 (с искажениями; заглавие: «Княгиня Лиговская. Неизданное произведение М. Ю. Лермонтова»); одновременно: Лер-

монтов 1882: I, 546–599 (заглавие: «Княгиня Лиговская. Роман»). См. заметку П. А. Висковатова об обстоятельствах подготовки публикации в «Русском вестнике»: «№ 983, выставленный на рукописи, принадлежит редакции Вестника Европы, куда она была принесена, сколько помнили в редакции, покойным А. И. Васильчиковым – секундантом Лермонтова на несчастной дуэли. Редакция долго не печатала, и лишь по смерти Васильчикова вдруг объявилось, что там находится эта рукопись. Не решались печатать, не имея разрешения. Обратились ко мне через третье лицо. Я написал к Ак. Павл. Шан-Гирею, котор<ый> мне передал право на рукопись, с тем чтобы она была напечатана под моим наблюдением и затем отдана в Публичную библиотеку. В январской книжке „Русск<ого> в<естника>“ за нынешний 1882 год роман был напечатан против уговора и без моей статьи, котор<ую> я и не успел написать, ибо все ждал рукописи. После более или менее невеселой переписки с Н. А. Любимовым я написал Каткову, который, извиняясь в недоразумениях, просил моей пояснительной статьи, что я и выполнил. – Пав. Висковатый. – Разодраны листы были в типографии Русск<ого> Вестника, где против моей воли набор делали не по списку, а по самой рукописи» (ОР РНБ. Ф. 429. № 5. Л. 57 об.).

Роман был начат в 1836 г., когда Лермонтов жил в Петербурге вместе с С. А. Раевским, чиновником Департамента государственных имуществ. В письме к С. А. Раевскому от 8 июня 1838 г. Лермонтов писал: «Роман, который мы с тобою начали, затянулся и вряд ли кончится, ибо обстоятельства, которые составляли его основу, переменились, а я, знаешь, не могу в этом случае отступить от истины» (с. 345). В материалах В. Х. Хохрякова, в 1850-х гг. расспрашивавшего С. А. Раевского о совместной с Лермонтовым работе над романом, сохранилась запись: «Св<ятослав> Аф<анасьевич> говорит, что писал только под диктовку Лермонтова» (Лермонтов 1954–1957: IV, 456).

Рукой Лермонтова написана примерно треть рукописи: от начала до слов «вот как это случилось»; глава IV от слов «Княгиня разными вопросами...» — кончая словами «держа в руке газеты»; глава VI от слов «Помилуйте в ваши лета» кончая «а он чуть не засмеялся вслух»; от слов «рука ее, державшая стакан с водой» — кончая словами «удалилась в комнату Вареньки»; глава VIII от начала до слов «и это была первая моя командировка»; от слов «и продолжал неуверенным голосом» до конца главы; от слов «Тут могли бы вы также встретить» — кончая словами «прочитав одну его статью»; от слов «глаза покрылись какою-то...» до конца произведения. Остальной текст написан, очевидно, под диктовку Лермонтова С. А. Раевским и А. П. Шан-Гиреем с правкой рукой Лермонтова. На полях автографа имеются рисунки Лермонтова: скачущая лошадь и голова пожилого мужчины.

В январе 1837 г. работа над романом была прервана в связи с событиями вокруг гибели Пушкина: скандалом из-за «Смерти поэта», судом и последующей высылкой Лермонтова и Раевского.

Автобиографическую основу имеют обе сюжетные линии романа: отношения Печорина с Лизой Негуровой и с княгиней Верой Лиговской. В первой линии отразилось «приключение» с Е. А. Сушковой (см. письмо к А. М. Верещагиной, на-

писанное весной 1835 г. — № 554; Воспоминания 1989: 123–127). Во второй сюжетной линии, по-видимому, нашло отзвук чувство Лермонтова к В. А. Лопухиной, в 1835 г. вышедшей замуж за Н. Ф. Бахметева (см.: Пахомов 1975). Детальное сопоставление взаимоотношений Лермонтова с обеими женщинами и сюжетных перипетий «Княгини Лиговской» см. в: Арзамасцев 1984: 29–39.

В отличие от «Вадима», действие в «Княгине Лиговской» переносится в современную Лермонтову эпоху — 1830-е гг. Переход от философских размышлений, облаченных в форму псевдоисторического романа, к проблемам современного общества в какой-то степени был подготовлен драмой «Маскарад», основная работа над которым непосредственно предшествовала (Vickery 2001: 358).

В «Княгине Лиговской» Лермонтов активно использует достижения новейшей французской литературы, в частности, опыт О. де Бальзака, многие сочинения которого выдержали к тому времени несколько переизданий. Отчетливая ориентацией на творчество Бальзака отразилась и в проблематике романа, в определении его социального фона и в выборе психологического инструментария. События «Княгини Лиговской» разворачиваются преимущественно в «парадном Петербурге»; границы высшего общества, их (не)проницаемость для представителей других общественных страт, — основная проблема романа; психологическая и социальная идентичность героев определяется относительно этих границ.

Образ Печорина может быть связан с фигурой маркиза де Монторана из романа «Шуаны, или Бретань в 1799 году» («Le dernier Chouan, ou ou la Bretagne en 1800», 1829) на нескольких уровнях, начиная с внешнего сходства и заканчивая характером и манерами. И Печорин, и Монторан «небольшого (среднего) роста», у обоих «странно блестящие / сверкающие» глаза, и, наконец, оба представляют для повествователей определенную загадку: «в его странно блестящих глазах есть что-то» (с. 97), — говорится о Печорине и совершенно тождественное «des formes élégantes et ce je ne sais quoi qui annoncent une noblesse native» — о Монторане (Vickery 2001: 363). Как и в «Вадиме», Лермонтов держал в памяти Лафатера и его «Физиогномику» (ссылка на этого автора приводится непосредственно в тексте), а его персонажи реализуют типично бальзаковский прием взаимодействия внешнего облика и внутреннего мира персонажа (Heier 2000: 26–27).

Красинский во многом напоминает амбициозных персонажей французской литературы 1830-х гг. Дж. Мерсеро приводит список параллелей между Красинским и Эженом де Растиньяк из «Отца Горио» («Le père Goriot», 1832) Бальзака: оба внешне привлекательны, оба испытывают тяготы бедности и стремятся попасть в высшее общество и, оказавшись там, сталкиваются с презрением со стороны слуг и отчетливо осознают свою чуждость тому миру (Mersereau 1963: 240). Более того, оба романа, с точки зрения Мерсеро, выступают с обвинениями в адрес высшего света, подчеркивая тщеславие, лживость и беспринципность его обитателей и доходя в своих обличениях до резкой язвительности и неприкрытой злобы.

Ориентация на творчество Бальзака проявляется и в более мелких деталях. Так, например, в романе указывается точное время начала событий — 21 декабря 1833 г., четыре часа дня. Подобная точность, в целом нехарактерная для русской

прозаической традиции, отсылает к творчеству Бальзака, регулярно использовавшего в начале произведений более или менее точные даты, например, в повестях «Вендетта» («Vendetta», 1830); «Супружеское согласие» («La paix du ménage», 1830); «Гобсек» («Gobseck», 1830); «Тридцатилетняя женщина» («La femme de trente ans», 1829–1842) и др.; ср. употребление этого приема у русских подражателей Бальзака — Н. Ф. Павлова («Маскарад», 1839), И. И. Панаева («Спальня одинокой женщины», 1834). Описание дома, в котором живет Красинский, также выполнено по бальзаковским канонам. Так, например, в повести «Полковник Шабер» («Le Colonel Chabert», 1832) и романе «Отец Горио» («Le Père Goriot», 1835) путь к жилищу персонажей лежит через грязные и зловонные дворовые территории, населенные малосимпатичными персонажами.

Не в меньшей степени, чем повести и романы Бальзака, повлиял на поэтику «Княгини Лиговской» роман Стендаля «Красное и черное» («Le Rouge et le Noir», 1830). Л. И. Вольперт считает, что романы объединяет «его <Стендаля> пафос объективного исследования жизни, неприятие общественного климата, стремление проникнуть в глубины человеческой души, с его рефлектирующими (но не „исключительными“) героями, с его неподражаемой иронией и „публицистичностью“» (Вольперт 2008: 135–136).

Иронический стиль Стендаля был в полной мере усвоен Лермонтовым именно в «Княгине Лиговской», что проявляется в особой роли повествователя. Если в «Вадиме» рассказчик риторичен, то во втором романе его экспрессивность реализуется в стендалевской иронии, охватывающей практически все пространство текста: «Для Лермонтова в „Княгине Лиговской“ особенно конструктивна стендалевская „игра“ точками зрения, помогающая саркастически раскрыть социальные стороны жизни» (Вольперт 2008: 159). У обоих авторов разоблачение светского лицемерия достигает местами силы сатирического памфлета (подобные приемы характерны для ранних романов Жорж Санд, 1804–1876). Роль повествователя остается значительной, несмотря на то что лирические отступления в «Княгине Лиговской» гораздо менее объемны, чем в «Вадиме»: «Они играют роль иронического комментария к описаниям светского общества и его представителей» (Перльмуттер 1941: 332).

Протагонист «Красного и черного» Жюльен Сорель легко угадывается в Красинском: этих персонажей сближает страстность, неспособность к рациональному мышлению, необоримое желание выдвинуться и разбогатеть. При этом, и Сорель, и Красинский в равной степени обладают фаталистическим сознанием, их роднит предчувствие скорой гибели и обреченное стремление к ней (Вольперт 2008: 143–144). Однако главный герой Стендаля в «Княгине Лиговской» отчасти «раздваивается» — некоторые черты Сореля можно усмотреть и в Печорине (например, едкая, саркастическая критика «высшего света»). То, что у Стендаля умещалось в одном персонаже, разводится Лермонтовым по противоположным, враждебным полюсам. Эта «полярная» модель будет неоднократно реализована в русской прозе середины XIX в. — в социальной коллизии «дворянин — чиновник/разночинец» (Вольперт 2008: 141).

В обоих романах наблюдаются и другие, более локальные параллели. К их числу относится ситуация конфликта между седоком экипажа и пешеходом, которого сбивает этот экипаж, экипажем: эпизод призван продемонстрировать социальную диспозицию персонажей и черты их характера. Другой параллельный мотив — «обманное» письмо. В «Красном и черном» князь Коразов предоставляет Сорелю образцы любовных писем для того, чтобы тот смог добиться расположения Матильды, а ближе к концу сам Сорель становится жертвой эпистолярной игры, предпринятой г-жой де Реналь. В «Княгине Лиговской» Печорин отправляет Негуровой письмо от имени анонимного доброжелателя, которое Вольперт называет «нервом интриги» (Вольперт 2008: 169; более близкая параллель усматривается в книге: Gautier T. Les Jeunes France. Paris, 1833 — см.: Мильчина 2015).

Помимо Бальзака и Стендаля, среди интертекстуальных связей «Княгини Лиговской» назывались произведения Альфонса Карра (Karr, 1808–1890), в частности, его роман «Под липами» («Sous les tilleuls», 1832), пропитанный резким скептицизмом (Вольперт 2008: 99–110), а также Жюля Жанена (Janin, 1804–1874), чья новелла «Пьедестал» («Piédestal», 1832), вошедшая впоследствии в роман «Окольный путь» («Le chemin de traverse», 1836) послужила поводом для размышлений Печорина о Негуровой (Томашевский 1941: 484–486). Отдельные приемы натуралистического урбанизма сближают лермонтовский роман и с одним из первых произведений «неистовой словесности», интерес к которой заметен уже в поэтике «Вадима», — в этой связи можно отметить ряд описаний в романе Жанена «Мертвый осел и гильотинированная женщина» («L'âne mort et la femme guillotinée», 1829).

При всей важности французской прозы 1820–1830-х гг. для литературной предыстории лермонтовского романа, нельзя недооценивать и русских литературных влияний. Неоднократно отмечались частные переклички «Княгини Лиговской» с «Евгением Онегиным» А. С. Пушкина: сближение фамилий главных героев, образованных от названий северных рек (В. Г. Белинский), мотив брака без любви, общие приемы описаний светского общества (ср., в частности, сатирическую галерею гостей на балу у баронессы Р. и на рауте у Татьяны в 8-й главе «Онегина» — Белкина 1941: 540; Томашевский 1941: 490). Находятся в «Княгине Лиговской» отдельные параллели и с другими произведениями Пушкина — с «Пиковой дамой» и «Станционным смотрителем» (см. Томашевский 1941: 554–556). Более скрытое воздействие оказали на прозу Лермонтова петербургские повести Н. В. Гоголя. Так, в описании посетителей Александринского театра, возможно, сказалось влияние гоголевского «Невского проспекта», появившегося в составе сборника «Арабески» за год до написания «Княгини Лиговской»; исследователи также замечали в лермонтовском романе некоторых стилистические приемы и речевые характеристики персонажей, свойственные «петербургской» прозе Гоголя (Виноградов 1941: 545–550; Goscilo 1982: 144–146).

Несомненно важным литературным фоном для «Княгини Лиговской» являются так называемые «светские повести», проникновение которых в русскую литературу началось еще в 1820-х гг. (Русская повесть 1973: 170–171). Полноценное развитие этого гетерогенного жанра приходится на 1830-е гг., а к 1836 г. он становится если не массовым, то по крайней мере привычным для читателя. В лермонтовском

романе обильно используется материал «светских повестей» (сюжетные ходы, типичные положения, сцены и повествовательные приемы и конкретные сцены).

Возможными ориентирами для Лермонтова могли быть, в частности, «Испытание» (1830) и «Фрегат Надежда» (1833) Бестужева-Марлинского, «Княжна Мими» (1834) В. Ф. Одоевского, «Спальня светской женщины» (1834) И. И. Панаева, а также повести Н. Ф. Павлова (1835). Так, отмечалась сюжетная параллель между романом Лермонтова и «Аукционом» Павлова (Белкина 1941: 547): молодой человек, возлюбленная которого выходит замуж за другого мужчину, решает мстить. Не менее отчетливо сходство между фигурами Негуровой и княжны Мими из одноименной повести Одоевского, а также между размышлениями Лермонтова и Одоевского о том, что поиск мужа — единственная цель светской женщины (об общих стилистических чертах см.: Виноградов 1941: 550–552). Ориентация «Княгини Лиговской» на светскую повесть не однозначна. Представляется слишком категоричным утверждение, что «перед нами не светская повесть, а нечто противоположное ей, ибо всем, что есть в ней существенного, „Княгиня Лиговская“ отрицает светскую повесть, преодолевает ее» (Белкина 1941: 548). Лермонтов, безусловно, расширяет художественный мир светской повести, вводя в повествование детали, диссонирующие со сложившимся каноном. Однако эти новации (непривлекательная внешность героев и отталкивающие детали быта, приметы общественного разврата и лицемерия, болезненная психологическая рефлексия) одновременно с Лермонтовым вводят и другие авторы «светского жанра» (например Н. Ф. Павлов), использовавшие, как и автор «Княгини Лиговской», психологические и социальные открытия французской прозаической школы.

Неоконченный роман Лермонтова нередко связывают с той традицией русской прозы, в рамках которой был разработан литературный тип «бедного чиновника». Этот образ был особенно интересен Гоголю (прежде всего «Записки сумасшедшего», 1835); встречаются подобные персонажи у Ф. В. Булгарина и других писателей 1830-х гг. (см.: Цейтлин 1923: 4–7). Однако Красинский может быть соотнесен с данным литературным типом лишь частично. Занимая невысокое место в социальной иерархии и испытывая определенное социальное давление, Красинский, тем не менее, ведет себя нестандартно: он не остается в позиции безвыходного смирения, но поднимает своего рода бунт против высшего света, желая отстоять свое человеческое достоинство. Именно поэтому этот персонаж воспринимается, не как социально мотивированный тип, а как полноценный и равный антагонист Печорина, обладающий не меньшим эмоциональным потенциалом, в отличие от своих литературных предшественников, часто изображавшихся с иронией или жалостью.

Герои «Княгини Лиговской», в отличие от героев «Вадима», показаны в соотнесении со своей социальной средой. Это касается не только центральных, но и побочных персонажей, таких, например, как Горшенков, плохо говорящий по-русски дипломат, дама в малиновом берете и др. (см.: Goscilo 1982: 150–152): «...они даны в порядке „галерей“ типов, короткими эпиграмматическими характеристиками» (Томашевский 1941: 490). Однако, несмотря на значительную роль бытовых элементов, в романе, по мнению В. Э. Вацуро, «нет в собственном смысле социально обусловленного характера» (Вацуро 2008: 566).

В литературе высказывалась мысль о том, что «Княгиня Лиговская» — это предыстория «Героя нашего времени» (см., например: Вацуро 2008: 579; Вольперт 2008: 135–144). Исходя из этого предположения предпринимались попытки реконструировать сюжет неоконченного романа: он должен был продолжиться ссорой между Печориным и Красинским на любовной почве, которая приводила к дуэли; убив Красинского, Печорин оказывался сосланным на Кавказ (см. Т. 1. С. 27; Вольперт 2008: 141–144). Иной, более обобщенный (и оттого не вполне убедительный) вариант реконструкции был предложен О. Б. Заславским: по мнению исследователя, логика развития сюжета и характеров персонажей ведет к столкновению двух демонических личностей – Печорина и Красинского; события принимают катастрофический оборот; в результате этой катастрофы Красинский терпит моральный крах, а Печорин, отбросив свой демонизм, нравственно перерождается. Неготовность Лермонтова отказаться от демонизма, как литературной позиции, заставила его оставить роман незаконченным (Заславский 1992: 31–44).

С. 95. *Поди! — поди! раздался крик!* — Эпиграф — стих из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 1, строфа XVI; Пушкин 1937–1959: VI, 11; у Пушкина — «Пади, пади!»). Эпиграф, перекликающийся с завязкой романа, изначально задает тон социального превосходства Печорина над Красинским. Как указывает Ю. М. Лотман (1996: 141–142), быстрота езды по людным улицам составляла признак аристократизма и щегольства: «Все, что было аристократия или претендовало на аристократию, ездило в каретах и колясках четвернею, цугом, с форейтором. Для хорошего тона, или, как теперь говорят, для шика, требовалось, чтобы форейтор был, сколько можно, маленький мальчик, притом чтобы обладал одною, насколько можно, высокою нотой голоса <...>. Ноту эту, со звуком и!... обозначающую сокращенно “поди”, он должен был издавать без умолку и тянуть как можно долее, например, от Адмиралтейства до Казанского собора. Между мальчиками-форейторами завязывалось благородное соревнование, кто кого перекричит» (Пржецлавский 2010: 185). О возможных последствиях столкновения экипажа с пешеходом см., например, наблюдения А. Месковского: «У нас в Петербурге если кучер переедет человека, то его выдерут, лошадей возьмут для пользы общественной, а барин должен лечить несчастного. В Париже закон постановляет, что кучер должен три раза крикнуть пади, и если после этого случится несчастие, то кучер избавляется от ответственности. Что ж из этого выходит? То, что русский кучер, несясь во всю прыть, если завидит человека, медленно переходящего улицу, кричит ему десять раз пади, и если тот не слышит или не слушается, то он останавливает или сворачивает в сторону лошадей. Французский же кучер, сказав три раза gare <берегись!>, знать ничего не хочет, и просто едет вперед и давит народ, и выходит из суда гордо, как невинность, раздавив или сделав калекою несчастного, которого вся вина состояла въ глухоте или задумчивости (Письма из Парижа // СО. 1834. Т. XLV. № 42. С. 476). По мнению В. В. Виноградова (2000: 442–444) этимологически правильная форма этого форейторского или кучерского возгласа — «Пади!» от глагола падать (восходит к традиции царских выездов в Московской Руси, когда встречные, увидев царский поезд, должны были падать на колени и кланяться). Впоследствии выражение было переосмыслено, как производное от глагола пойти — «Поди [прочь]!». «Филологи-

ческое наблюдение» обозревателя «Северной пчелы» о том, что «Поди!» кричат в Москве, а в Петербурге — «Берегись!» (СП. 1840. № 275. 4 декабря. С. 1), видимо, не вполне соответствовало действительности. .

С. 95. *...если потомство станет читать романы...* — Ср. в «Княжне Мими» Одоевского: «Пусть эту загадку решат те почтенные дамы, которые будут или не будут читать меня» (Одоевский 1981: II, 231).

...шинель с старым бобровым воротником... — Бобровый воротник Красинского ассоциируется с подразумеваемым продолжением эпиграфа: «Морозной пылью серебрится / Его бобровый воротник» (Пушкин 1937–1959: VI, 11; см.: Серман 1997: 261).

Спустясь с Вознесенского моста и собираясь поворотить направо по канаве... (т. е. по каналу). — Красинский служит в Департаменте государственных имуществ (помещался в здании Главного штаба), а живет у Обуховского моста. Однако маловероятно, что в начале романа Красинский направляется домой, так как в таком случае ему следовало бы повернуть налево.

С. 96. *Между тем белый султан и гнедой рысак пронеслись вдоль по каналу...* — Печорин служит в Конном полку на Конногвардейском бульваре (дома 2 и 4). Ю. В. Раков высказывал предположение, что коляска Печорина двигалась по Вознесенскому проспекту (Раков 1974: 93) и затем повернул налево на Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова), однако в таком случае трудно представить, что экипаж Печорина мог сбить Красинского, который должен был двигаться в том же направлении и поворачивать направо. Более вероятно, что Печорин начал движение по Почтамтскому переулку, пересек Фонарный мост, продолжил движение по Фонарному переулку, пересек Подьяческий мост и повернул налево на канал Грибоедова. На следующем пересечении канала (с Вознесенским проспектом) и произошел инцидент с Красинским. Далее Печорин направляется по каналу Грибоедова на Невский проспект, поворачивает на Караванную улицу, в конце которой поворачивает направо и пересекает мост Белинского (Симеоновский), затем снова поворачивает направо и движется по набережной Фонтанки до «богатого подъезда, с навесом и стеклянными дверьми, с медной блестящею обделкой».

...тут остановились у богатого подъезда, с навесом и стеклянными дверьми, с медной блестящею обделкой. — Дом (наб. р. Фонтанки, д. 32) принадлежал Григорию Григорьевичу Кушелеву, гвардейскому полковнику, участнику русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Комнаты его помещались в бельэтаже, что отмечено, с упоминанием широкой лестницы, и при описании жилища Печорина (см.: РС. 1901. Кн. 3. С. 561). Кабинет Кушелева изображен на акварели Л. О. Премацци, некоторые детали этого изображения совпадают с описанием кабинета Печорина (см.: Столица и усадьба. 1916. № 51. С. 8).

...он был небольшого роста... — Лермонтов приписывает наружности Печорина отчасти собственные черты.

Плеоназм — многословие, излишние слова в речи, не обогащающие ее смысла и содержания.

...было бы любопытно для Лафатера... — Иоганн Каспар Лафатер (Lavater, 1741–1801) — швейцарский писатель и богослов. Автор популярного в то время сочи-

нения в 10 томах «Искусство познавать людей по чертам лица» («Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe», 1775–1778). Фигура Лафатера была для русского читателя знаковой еще в XVIII веке: так, например, Карамзин описывал встречи с ним в «Письмах русского путешественника». Французское издание 1820 г. было в личной библиотеке А. С. Пушкина; «лафатеровские догадки» упоминаются в повести «Дубровский». К 1830-м годам физиогномика Лафатера была адаптирована во множестве пересказов и воспринималась (наряду с френологией Галля), как популярное и увлекательное пособие по «прикладной психологии». Лермонтов испытывал определенный интерес к физиогномическим теориям Лафатера, о чем свидетельствует и приобретение им нового издания его трактата в 1841 г. (см. письмо А. И. Бибикову от февраля 1841 г.; № 585).

С. 97. *...у родителей его было 3 тысячи душ в Саратовской, Воронежской и Калужской губернии...* — Имения с числом крепостных душ, превышавшим тысячу, принадлежали к разряду крупных. Характерно, что 3 тысячами душ владеет и Арбенин, герой лермонтовской драмы «Маскарад» (К а з а р и н: «Имеет тысячи три душ», действие II, сц. 2; Т. 3. С. 287).

С. 99. *...погулявших когда-то за Балканом...* — Переходом русской армии через Балканский хребет закончилась Русско-турецкая война 1828–1829 гг.

...три алебастровые карикатурки... — Лермонтов, очевидно, имеет в виду статуэтки, изображающие разных знаменитых людей в шаржированном виде. Никколо Паганини (1784–1840) — скрипач-виртуоз и композитор; Джоаккино Россини (1792–1868) — итальянский композитор, автор популярных в России опер «Севильский цирюльник» и «Вильгельм Телль»; А. А. Иванов (1806–1858) — художник, к описываемому времени — автор картины «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине» (1834). Возможно, однако, что статуэтка изображала Николая Кузьмича Иванова (1810–1880) — русского певца, ученика М. И. Глинки.

...казалось, вся мысль художника сосредоточилась в глазах и улыбке. — Ср. в «Портрете» Гоголя (опубл. 1835): «Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза» (Гоголь 1937–1952: III, 82).

...он, как партизан Байрона, назвал ее портретом Лары. — Печорин назван «партизаном», т. е. почитателем Байрона. Лара — герой одноименной поэмы Байрона («Lara», 1814).

С. 100. *Как угль, в горниле раскаленный!* — Цитата из «Оды, выбранной из Иова» Ломоносова (1749–1751). У Ломоносова так характеризуются глаза разъяренного морского чудовища Левиафана: «Сверкают очи раздраженны, / Как угль, в горниле раскаленный» (Ломоносов 1950–1983: VIII, 391).

...что я для нее — всё равно!.. — Фраза звучит как галлицизм, поэтому Варенька и отвечает, что она «не монастырка» — т. е. не обучалась в Институте благородных девиц (помещавшемся в здании Смольного женского монастыря), где обучали не столько русскому, сколько французскому языку. Печорин ловит Вареньку на двусмысленности, намекая на ее не монастырские нравы.

С. 101. *Маленький Меркурий...* — В римской мифологии бог Меркурий считался покровителем торговли и странствий, а также вестником и прислужником богов (Плавт: «Амфитрион»).

...стрелой помчался в лавочку... — В 1830 г. Главноначальствующий над почтовым департаментом приказал «учинить для опыта в Санкт-Петербурге городскую почту, прием писем на которую признано удобнейшим производить в мелочных лавках, так как они ежедневно бывают открыты, и поручить его хозяевам или сидельцам тех лавочек». Реально такие «почтовые отделения» открылись в столице с 17 января 1833 г. (ПСЗРИ. Собрание II. Т. 8. Отд. 1. 1833. СПб., 1834. С. 86. № 5960).

Давали Фенеллу... — «Фенелла» — опера Даниэля Обера (1782–1871), поставленная в Париже в 1828 г. под названием «Немая из Портичи» («La muette de Portici»). В России эта опера, написанная на революционный сюжет, была допущена к представлению в несколько измененном виде и под названием «Фенелла». Первое представление состоялось 18 января 1834 г., четвертое (в сезоне 1836–1837 гг.), которое упоминает Лермонтов, — 24 января 1837 г. Лермонтов, музицируя, исполнял увертюру этой оперы (см. письмо А. М. Верещагиной к Лермонтову от 18 августа 1835 г. — с. 366).

За 15 рублей достал он кресло во втором ряду... — Печорин переплатил втрое: место в партере, в первых рядах кресел стоило в это время 5 руб. ассигнациями.

...ходят пить чай к Фениксу. — Трактир «Феникс» существовал с 1832 г. и помещался в Толмазовом переулке (ныне пл. Островского д. 4) «против Александринского театра, почти рядом с подъездом дирекции (на той стороне, где Аничкин дворец, в самом углу). <...> В то время трактир этот процветал, что называется, «во всю»: контингент посетителей его состоял почти исключительно из актеров и театралов. Это было нечто в роде артистического клуба» (см.: Алексеев 1894: 31). В трактире было два отделения – русское, более дешевое, и дорогое французское, где обед стоил от 2 до 4 руб. ассигнациями (полное объявление см.: СПбВед. 1833. 24 марта).

С. 103. *...и куривший собственные пахитосы...* — Пахитосы (от исп. pajitos, мн. ч.) — тонкие папиросы.

С. 104. *...золотые эполеты...* — Золотые эполеты в русской гвардейской кавалерии носили офицеры четырех полков: Конно-Гвардейского, Уланского, Гусарского и Конного. У других полков «прибор» был серебряным. В Петербурге из этих полков дислоцировался лишь лейб-гвардии Конный (Казакова, Файбисович 1988: 57).

С. 105. *...так беден, что хожу в стулья...* — Т. е. на более дешевые места в театре — ряды стульев, стоящих в партере за креслами.

С. 106. *...вызывали Новицкую и Голланда...* — Балерина Мария Дмитриевна Новицкая (1816–1868) дебютировала в роли немой рыбачки Фенеллы и производила в ней фурор. Константин Голланд (1804–1868) был артистом немецкого оперного театра в Петербурге (тенор). Гектор Берлиоз сказал о нем, что он «даровитый актер, с редким мастерством фразирующий». В опере «Фенелла» Голланд исполнял роль рыбака Фиорелло (брата Фенеллы); этим именем в русской переделке оперы заменено имя Мазаньелло — действительного вождя народного восстания в Неаполе в 1647 г.

С. 108. *...идти пешком в Невский монастырь...* — Речь идет об Александро-Невской лавре (резиденции митрополита Санкт- Петербургского и Ладожского),

расположенной, по тем временам, на окраине города. Хор митрополичьих певчих, который возглавлял П. И. Турчанинов (1779–1856), считался едва ли ни лучшим, чем хор придворной капеллы.

С. 108. *...с руками шероховатыми, как вчерашний решетный хлеб...* — Решетный хлеб — хлеб невысокого качества из грубой муки, провеянной через решето, а не через сито (в отличие от ситного хлеба).

...подобна крокодилу... — См. выше примечание к с. 28 (<«Вадим»>).

С. 109. *...ибо натуральная история...* — Т. е. естественная история (фр. Histoire naturelle).

...в Ревель на воды... — Ревель (ныне Таллин, Эстония) — административный центр Эстляндии; с 1813 г. в предместье Екатериненталь (Кадриорг) открылся водный курорт, в 1820–1830-х гг. особо популярный среди петербургских жителей. Подробней о ревельских купаниях в эпоху Лермонтова см.: Reutlinger 1833.

...взяли учителя по билетам... — По этой системе расплаты с домашними учителями им платили по накопившимся талонам, которые учителя получали за каждый урок.

С. 111. *...искал себе пьедестала...* — См. аналогичные слова Лермонтова в письме к А. М. Верещагиной 1835 г. (№ 554). Тема «пьедестала» как старта для карьеры с помощью женщины, была распространена в современной Лермонтову французской литературе. Известна, например, новелла Ж. Жанена «Пьедестал» (Janin J. Le piédestal // Revue de Paris. 1832. T. 45. P. 154–174, 320–338) (см.: Томашевский 1941: 484–485). Дж. Мерсеро высказывал предположение, что данный мотив может быть также связан с романом Бальзака «Отец Горио», в котором любовное поведение Растиньяка мотивировано желанием упрочить положение в высшем свете (Mersereau 1963: 241).

С. 112. *Il est très aimable* — Он очень любезен (фр.).

С. 113. *Милостивая Государыня! Вы меня не знаете, я вас знаю...* — В январе 1835 г. Лермонтов послал Е. А. Сушковой анонимное письмо, которое начиналось почти теми же словами: «M-lle, я человек, знающий вас, но вам неизвестный...» и такого же содержания. Об этом см. письмо его к А. М. Верещагиной весной 1835 г. (№ 554) и записки Сушковой (Воспоминания 1989: 123–126; см. также с. 361).

С. 116. *Княгиня Вера Дмитриевна была <...> блондинка с черными глазами.* — См. в новелле Бальзака «Покинутая женщина»: («La Femme abandonnée»): «Mme la vicomtesse de Beauséant était blonde , blanche comme une blonde; mais elle avait les yeux bruns» (La revue de Paris. 1832. T. VI. P. 146; пер.: «Виконтесса де Босеан была блондинкой, с белой как у блондинки кожей, но с темными глазами»; соответствие отмечено: Марченко 1989: 125).

С. 118. *...здешний Английский клуб ничто перед Московским.* — Московский Английский клуб был значительно влиятельнее и комфортабельнее, чем Петербургский; его членами были знатнейшие и богатейшие отставные вельможи, которые формировали общественное мнение первопрестольной столицы, в то время как Петербургский клуб объединял, в основном, «средний» класс столичного общества. В частности, членами петербургского английского клуба были многие писатели — Н. И. Греч, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, А. А. Шаховской и др.

С. 119. *Он получил такую охоту к перемене мест...* — Ср. в «Евгении Онегине»: «Им овладело беспокойство, / Охота к перемене мест» (гл. VIII, строфа XIII; Пушкин 1937–1959: VI, 170).

...с толпою таких же негодяев... — Слово «негодяй» означает здесь «бездельник», «повеса» (ср.: Словарь языка Пушкина. Т. II. М., 1957. С. 777).

...la bande joyeuse... — «Веселая шайка» (фр.). Прозвище группы друзей автобиографично: см. письмо Лермонтова к С. А. Бахметевой 1832 г., подписанное: «член вашей bande joyeuse M. Lerma» (№ 544).

...ехать в Симонов монастырь ко всенощной молиться, слушать певчих и гулять... — Окрестности Симонова мужского монастыря на юго-востоке Москвы — место действия повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792). С легкой руки Карамзина Сергиев пруд, где утопилась Лиза, и роща вокруг пруда стали местом публичных гуляний и, особенно, прогулок влюбленных. Монастырь славился также своим хором и тихой, вполголоса манерой клиросного пения; произведения «симоновского распева» были широко известны. Упоминаемый ниже отец Виктор (с. 120) — иеромонах Виктор (Василий Высоцкий, 1791–1871), бывший уставщиком и регентом монастырского хора до 1839 г. О Симонове монастыре как об оборонительном сооружении Лермонтов упоминает в очерке «Панорама Москвы» (№ 496).

С. 120. *...души которых подобны выкрашенным гробам притчи. Наружность их — блеск очаровательный, внутри смерть и прах.* — Евангельская метафора: «Горе вамъ, книжницы и фарисее, лицемѣри, яко подобитеся гробомъ повапленымъ, иже внѣуду убо являются красны, внутрьуду же полни суть костей мертвыхъ и всякія нечистоты: тако и вы, внѣуду убо являетеся человѣкомъ праведни, внутрьуду же есте полни лицемѣрія и беззаконія» (Мф. 23, 27–28).

...и последний Новик открыл так поздно имя свое и судьбу свою... — В допетровское время «новиками» назывались юноши из дворян или детей боярских, начинавшие свою службу при дворе без определенной должности. Последний Новик — незаконный сын царевны Софьи, герой одноименного исторического романа, напечатанного И. И. Лажечниковым (1790–1869) в 1831–1833 гг. Лермонтов имеет в виду сцену на площадке трапезной Симонова монастыря, где императрица Екатерина I встречается со схимником Владимиром (Последним Новиком), и они узнают друг друга. Роман оживил романтический интерес московской молодежи к прогулкам в монастырь (см. примеч. к с. 119). Одному из героев книги Лермонтов посвятил стихотворение «Из Паткуля» (Т. 1. № 231).

С. 121. *В комитете дядюшек и тетушек было положено, что его надобно отправить в Петербург и отдать в Юнкерскую школу...* — Лермонтов придает Печорину еще одну свою черту; он сам, не закончив Московского университета, переехал в Петербург и был зачислен в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где провел период с ноября 1832 по ноябрь 1834 г.

В это время открылась Польская кампания... — имеются в виду военные действия русской армии по «усмирению» восстания в Царстве Польском в ноябре 1830 — октябре 1831 гг.

С. 122. *После взятия Варшавы...* — т. е. после 8 сентября 1831 г., когда русские войска заняли Варшаву и подавили польское восстание.

С. 123. *...на действующих лиц этой комнаты, <...> не помышляющих о будущем, еще менее о прошедшем...* — И. З. Серман (1997: 41–42) усматривал здесь цитату из «Философического письма» П. Я. Чаадаева: «Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя» (Чаадаев 1914: II, 111). При этом исследователь, вопреки контексту, придавал этой отсылке большое идеологическое значение и, кроме того, указывал на зависимость датировки романа от времени знакомства автора с публикацией «Философического письма» в «Телескопе» (1836. Т. XXXIV. № 15. С. 275–310; вышел в октябре). Между тем, русский перевод «Телескопа», который мог быть известен Лермонтову, звучал по-иному («Мы живем в наком-то равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте без прошедшего и будущего» — с. 282), а французский оригинал был Лермонтову и вовсе недоступен. Кроме того, ключевая формулировка Чаадаева («...живем одним настоящим <...> без прошедшего и будущего») у Лермонтова никак не связана с судьбами России; ее вариации во множестве встречаются во французской литературе, историографии и публицистике 1810–1830-х гг. — применительно к либертенам XVIII столетия, эпикурейцам, светским людям, пролетариям, дикарям и влюбленным попеременно.

...à la Sévigné... — Маркиза де Севинье (1626–1696) прославилась своими письмами к дочери («Lettres choisies de Mme la marquise de Sévigné à Mme de Grignan, sa fille, qui contiennent beaucoup de particularitez de l'histoire de Louis XIV», 1725). Вместе с популярностью ее имени как автора писем, в XVIII в. явилась мода на прическу, которую она носила: она состояла из обруча, стягивающего волосы на темени, и из буклей, начинающихся очень пышно над ушами и падающих узкими трубочками на плечи.

С. 124. *У мужчин прически à la jeune France, à la russe, à la moyen âge, à la Titus.* — Прическа à la jeune France — длинные волосы без завивки, разделенные на прямой пробор и спускавшиеся до плеч (подробнее о термине «les jeunes France» см. в примеч. к с. 196). Прическа à la russe, т. е. «русская» — волосы, остриженные в кружок; прическа à la moyen âge, т.е. «средневековая» — низкая челка и волосы до плеч; прическа à la Titus (как у Тита, римского императора) — очень короткая стрижка с высокой челкой.

...«какая смесь одежд и лиц!» — цитата из поэмы Пушкина «Братья разбойники» (1821–1822; Пушкин 1937–1959: IV, 145).

...в малиновом токе... — Ток (от *фр.* toque) — маленькая шапочка без полей, может быть украшена лентами и перьями. Возможно, намек на «малиновый берет» Татьяны в 8-й главе «Евгения Онегина» (см.: Чистова 1989: 12–16).

С. 125. *Он увернулся от решительного ответа, как Талейран или Меттерних.* — Талейран-Перигор Шарль-Морис (1754–1839) — французский дипломат и государственный деятель, искусный политик, отличавшийся хитростью и вероломством. Меттерних-Виннебург Клеменс Венцель Лотар (1773–1859) — австрийский государственный деятель и дипломат. Известен как мастер тактики лавирования и выжидания.

С. 126. *Баронесса Штраль...* — Одно из действующих лиц драмы «Маскарад» также носит это имя. Одна из деталей ее гардероба, малиновый берет, принад-

лежит и Татьяне из «Евгения Онегина». Л. И. Вольперт высказывает предположение, что ироническая акцентуация этой детали в «Княгине Лиговской» свидетельствует о скрытой полемике Лермонтова с Пушкиным относительно темы адюльтера (Вольперт 2008: 155–156).

С. 126. *...картина Брюлова: «Последний день Помпеи» едет в Петербург.* — Картина К. П. Брюллова (1799–1852) была написана в 1830–1833 гг. В Риме и Милане она получила высокую оценку, и Брюллов удостоился звания члена Миланской академии (Северная пчела. 1834. № 13. 17 января). В марте 1834 г. картина была выставлена в Париже. Отношение французской прессы к картине было противоречиво (Библиотека для чтения. 1834. Т. 1. Отд. 3. С. 119–138; Т. 3. Отд. 7. С. 49–50; Т. 4. Отд. 7. С. 32–35; Северная пчела. 1834. № 184. 17 августа). Наряду с хвалебными отзывами, в которых отмечались грандиозность замысла и богатство колорита, картина вызвала и грубую критику. Так, например, Ф. Планш бранил художника за неверность освещения, вульгарность и бессилие кисти (Северная пчела. 1834. № 248. 1 ноября). В Петербург картина была привезена в конце июля 1834 г. и выставлена в Эрмитаже в августе.

С. 127. *... что это должна быть копия с Рембранта или Мюрилла.* — Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) — голландский художник. Мурильо Бартоломе Эставан (1617–1682) — испанский художник, глава севильской школы. Лермонтов воспроизводит французское произношение его имени (Murillo).

С. 128. *...подобная пятке Ахиллеса...* — В греческой мифологии героя Троянской войны Ахилла его мать в детстве купала в водах волшебной реки, чтобы сделать его неуязвимым, но пятка, за которую она его держала, осталась уязвимой.

С. 130. *...борода à la St.-Simonienne.* — Речь идет о моде, принятой в 1830-х гг. последователями социалиста-утописта А. Сен-Симона (1760–1825) — они носили белые (летом) и синие (зимой) брюки, красный жилет, фиолетовую блузу, застегнутую на спине, красный баскский берет и бороду в виде узкой полоски, обрамляющей бритые щеки и подбородок (впрочем, сам глава «секты» Б. П. Анфантен носил окладистую «апостольскую» бороду).

...он называл себя Горшенков. — В лице Горшенкова Лермонтов изобразил известного в тогдашнем Петербурге дельца Н. И. Тарасенко-Отрешкова (1805–1873), состоявшего, как говорили, негласным сотрудником III Отделения (см.: Герштейн 1979: 171–177).

С. 131. *...подобное числу 666 в Апокалипсисе.* — В этой части Нового Завета 666 — число антихриста (Откр. 13, 18). В первые века христианства эта цифра отождествлялась с римским императором Нероном, в эпоху наполеоновских войн — с Наполеоном. Число 666 на жестяном билете извозчика видит герой повести В. П. Титова «Уединённый домик на Васильевском» (1829), написанной по рассказу Пушкина.

С. 132. *Печорин претерпел все эти мучения и наконец, вскарабкавшись на 4-й этаж, постучал в дверь.* — Четвертый этаж в Петербурге 1830-х годов считался самым верхним, практически чердачным; обитали на этих «петербургских вершинах» (Я. Бутков) преимущественно мелкие чиновники, писари, студенты из разночинцев. О символической роли четвертого этажа в «Княгине Лиговской» и русской литературе XIX века см.: Гольдфаин 2004: 326–328.

С. 132. *«Легчайший способ быть всегда богатым и счастливым» сочинение Н. П. Москва, в тип. И. Глазунова, цена 25 копеек.* — Заглавие этой книжки является стилизацией популярных поучительных брошюрок с сенсационными заглавиями, которые выпускались типографией Глазунова, таких как, напр., «Искусство быть счастливым. Соч. Дроза» (СПб. 1831). М. Осоргин предполагал, что заглавие лежащей у Красинского книги отсылает к книге П. П. Сумарокова «Истинный способ быть здоровым, долговечным и богатым...» (1809–1810) (Осоргин 1965: 43). Дж. Мерсеро (Mersereau 1963: 254) проводил параллель между этой деталью в «Княгине Лиговской» и описанием жилища полковника Шабера в одноименной повести Бальзака (1832): «На источенном червями столе лежали раскрытые „Бюллетени великой армии“, переизданные Планше» (Бальзак 1960: II, 56).

С. 133. *...остатки разграблены были в последнюю войну...* — То есть при подавлении восстания 1830–1831 гг. Этот намек дополнительно мотивирует противостояние героев, поскольку Печорин участвовал в военных действиях.

С. 134. *... скоро ль тебе выйдет награждение, у нас денег осталось мало.* — Система распределения жалования мелким чиновникам, введенная Н. П. Дубенским, предполагала сокращение оклада в начале службы и его постепенное увеличение по мере улучшения работы служащего. Кроме того, из сэкономленных денег выдавались премии особо отличившимся сотрудникам. Вследствие этого жалование часто не позволяло чиновникам удовлетворять основные бытовые потребности (см., напр.: Инсарский 1873: 515–516).

С. 138. *et savez-vous, ma chère, qu'il est très bien!..* — а знаете, дорогая, он очень приличен (фр.).

...будет великим государственным человеком, если не останется вечно титюлярным советником... — Ср. в «Герое нашего времени»: «Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титюлярными советниками?» (с. 232). Титулярный советник — чин IX класса в табеле о рангах. Следующий чин — коллежского асессора — давал право на потомственное дворянство, поэтому производство в чиновники VIII класса, особенно для лиц недворянского происхождения, было в определенной степени затруднено, в том числе и формально: соискатель должен был иметь либо университетский (лицейский) диплом, либо свидетельство о сдаче аттестационного экзамена. Тем самым многие чиновники навсегда оставались титулярными советниками.

С. 140. *Кто объяснит, кто растолкует / Очей двусмысленный язык...* — источник цитаты не выяснен. Возможно, стихи принадлежат самому Лермонтову.

...на Мильонной в самом центре высшего круга. — Улица проходит параллельно Дворцовой набережной от Зимнего дворца до Летнего сада. Известно, что Лермонтов бывал на приемах у кн. Евдокии Голицыной («Princesse Nocturne», 1780—1850), долгие годы жившей в доме № 30. В ранней редакции «Маскарада» на Мильонной живет баронесса Штраль (Т. 3. С. 440).

С. 141. *...один английский лорд, путешествующий из экономии...* — Ср. в повести О. Бальзака «Брачный контракт» («Le contrat de marriage», 1835): «Мисс Дина Стивенс тратит не больше тридцати тысяч в год и лет семь уже путешествует — из

экономии» (Бальзак 1960: III, 201). Об английских путешественниках в России см.: Алексеев 1982: 574–580; Кросс 2005.

С. 141. *...принадлежавшая к классу blue stockings...* — «Синие чулки» — выражение, которым насмешливо называли женщин, всецело поглощенных книжными, учеными интересами. Происходило от названия неформального литературного кружка, основанного Элизабет Монтегю (1718—1800) в 1750-х гг. Позднее членов «Общества Синего чулка» высмеивал Байрон в своей сатире «The blues» (1820).

С. 142. *...у больного при виде черной микстуры.* — Видимо, имеется в виду сильная слабительная микстура («black draughts»), куда входила сенна, имбирь, английская соль, нашатырный спирт, лакрица и гвоздичное масло.

С. 144. *elle a l' air bourgeois* — у нее вид мещанки (фр.).

Вкус, батюшка, отменная манера. — Цитата из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (д. II, явл. 5 — Грибоедов 1969: 42).

Лит.: ЛЭ 1981: 224–226; Буренин 1882: 2; Висковатый 1882: 333–349; Р. К. 1882: 217–226; Лернер 1913: 731–732; Эйхенбаум 1924: 146–148; Трифонов 1939: 127–129; Слащев 1956: 79–89; Михайлова 1957: 129–202; Пруцков 1960: 129–133; Данько 1961: 90–99; Слащев 1964: 99–107; Осоргин 1965: 42–43; Фридлендер 1965: 33–49; Федоров 1967: 200–206; Уманская 1970: 139–140; Жук 1971: 226–233;Злобина 1973; Раков 1974: 93–96; Грехнев 1975: 36–46; Фохт 1975: 138–152; Кривошапова 1976: 33–41; Шаблий 1977: 95–97; Валагин 1978: 205–208; Герштейн 1979: 171–187; Решетова 1982: 45–47; Мануйлов, Назарова 1984: 98–112; Шаблий 1984: 62–69; Гурвич 1987: 102–107; Иваненко 1987: 16–24; Сацюк 1987: 15–17; Чистова 1989: 12–16; Шутан 1994; Зайцева 1998: 59–70; Юрченко 2003: 51–52; Гольдфаин 2004: 326–328; Алферов 2009: 133–135; Дударева, Ерохин 2010: 13–26; Ямадзи 2013: 118–129.

491. <«Я хочу рассказать вам...»>

Автограф неизвестен.

Печатается по тексту первой публикации со смысловыми конъектурами: «лучшие цветы» вместо «лучшие кусты» и «в ночных наездах» вместо «в ночных поездах».

Датируется предположительно 1836 г. — согласно устоявшейся трактовке этого произведения как «промежуточного замысла» между «Вадимом» и «Княгиней Лиговской» (ЛН 1941: XLIII–XLIV, 444–445), хотя не исключено, что он относится к более поздним годам (1837–1841), как и повесть «Штосс» (№ 495), также напечатанная В. А Соллогубом в сборнике «Вчера и сегодня» (см. ниже).

Впервые: Вчера и сегодня. 1845. Кн. 1. С. 87–91 (под редакторским заглавием «Отрывок II»). Опубликовано вместе с неозаглавленным отрывком «У графа В... был музыкальный вечер» (<«Штосс»>) под общим названием: «Из бумаг покойника. Два отрывка из начатых повестей».

Публикуя неоконченный прозаический отрывок в альманахе «Вчера и сегодня», Соллогуб, очевидно, пользовался автографами Лермонтова, принадлежавшими в тот момент Л. И. Арнольди, большая часть которых теперь входит в состав так называемой тетради Чертковской библиотеки (ОПИ ГИМ. Ф. 445. №

227а; см. об истории этой рукописи – Т. 1. С. 394–395). Именно в ней находятся автографы повести <«Штосс»> и ряда стихотворений, напечатанных в обеих книжках «Вчера и сегодня». Впоследствии, однако, часть автографов оказалась утрачена — в их числе не только отрывка <«Я хочу рассказать вам...»>, но и таких стихотворных текстов, как «Это случилось в последние годы могучего Рима...» (Т. 1. № 326), «Экспромт М. И. Ц.» (Т. 1. № 358), «Вид гор из степей Козлова» (Т. 1. № 359), «Quand je te vois sourire...» (Т. 1. № 360), другая (видимо, ранняя) редакция стихотворения «Есть речи — значенье...» (см. т. 1, примеч. к № 374). Из этой группы рукописей, оторвавшихся от основного массива Чертковской тетради, по-видимому, происходит и автограф «Ашик-Кериба» (№ 492), хранящийся ныне в РО ИРЛИ. Показательно, что все стихотворные тексты, входящие в Чертковскую тетрадь, более или менее уверенно датируются 1834–1839 гг., что дает некоторое основание предполагать такую же датировку и для прозаических сочинений (подробнее см. примеч. к повести <«Штосс»>, № 495).

Замысел Лермонтова рассказать историю светской женщины, которая «сошла со сцены большого света» и в тридцать лет «схоронила себя в деревне», по-видимому, возник не без влияния О. де Бальзака. Необычайно популярные в эти годы бальзаковские романы «Физиология брака» («La Phisiologie du mariage», 1829) и «Тридцатилетняя женщина» («La femme de trente ans», 1831–1834; об этом романе Лермонтов упоминает в «Вадиме» и в «Герое нашего времени») были посвящены положению женщины в светском обществе. Эта тема привлекала Лермонтова ранее в драме «Маскарад» (образ баронессы Штраль) и должна была стать центральной в начатой повести.

Поскольку судьба героини аналогична судьбе баронессы Штраль («Маскарад»), а фамилия героя Арбенин, Лермонтов, возможно, собирался представить обогащенную психологическими подробностями и сюжетно развернутую картину их жизни. Не исключено, что к замыслу повести имеет отношение сюжет, кратко изложенный в «Герое нашего времени»: «...один раз, один только раз я любил женщину с твердой волею, которую никогда не мог победить... Мы расстались врагами, — и то, может быть, если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе...» (с. 215).

В рассказе о детстве Арбенина содержатся автобиографические мотивы (разрыв родителей, жизнь ребенка в «симбирской деревне», описание барского дома «с мезонином», ранняя болезнь, способствовавшая тому, что герой «выучился думать», и др.). Имя Арбенина — Александр — совпадает с именем героя поэмы «Сашка»; описание детства Сашки в Симбирской деревне на берегу Волги близко тем страницам наброска, которые посвящены биографии Арбенина. Сопоставление отрывка «Я хочу рассказать вам...» с воспоминаниями о Лермонтове А. Н. Корсакова и С. А. Раевского (Воспоминания 1989: 69–71; Висковатов 1891: 41) обнаруживает автобиографические мотивы в описании детства Арбенина (см.: Фролов 2004: 165–168).

С. 146. *...другие утверждали, что хотя она вовсе не хороша, но неизъяснимая прелесть выраженья в ее лице заменяет все прочие недостатки.* – Вероятно, в этой

характеристике женской красоты отозвалось известное описание из стихотворения Е. А. Боратынского «Муза» (опубл.: СЦ на 1830 год. СПб., 1830. С. 94): «Красавицей ее не назовут / <...> Но поражен бывает мельком свет / Ее лица необщим выраженьем» (Боратынский 2002: II, 244).

С. 146. *...доставить молодой женщине ту соблазнительную, мимолетную славу, за которой они все так жадно гоняются и за которую некоторые из них так дорого платят.* — Ср. у Бальзака в новелле «Покинутая женщина» («La Femme abandonnée», 1832): «...madame de Beauséant se fût réfugiée en Normandie après un éclat que la plupart des femmes envient et condamnent, surtout lorsque les séductions de la jeunesse et de la beauté justifient presque la faute qui l'a causé. Il existe un prestige inconcevable dans toute espèce de célébrité, à quelque titre qu'elle soit due», etc. (La revue de Paris. 1832. T. VI. P. 141–142; пер.: «...г-жа де Босеан укрылась в Нормандии после шумной огласки, которая вызывает осуждение и зависть большинства женщин, в особенности, когда очарование молодости и красоты почти оправдывает ошибку, вызвавшую такой шум. Есть какая-то непостижимая притягательная сила в любой известности, какова бы та ни была»). Стоит напомнить, что г-же де Босеан — 30 лет, и она, как и героиня лермонтовского отрывка, после непродолжительного и отчасти скандального успеха уединилась в деревне.

С. 147. *...в природе противоположные причины часто производят одинакие действия...* — В своем парадоксе Лермонтов переворачивает широко известную апофегму Аристотеля: «От одинаковых причин получаются одинаковые следствия» (Риторика, I. 4, 1360a).

Весной, во время разлива, река превращалась в море, усеянное лесистыми островами... — Ср. сходный образ в «Родине» (1841; Т. 1. № 403): «Разливы рек ее, подобные морям».

Надо заметить, что качели среди барского двора — признак отечески-доброго правления... ~ в путевых записках одного француза я недавно читал, что у нас против господского дома обыкновенно торчит виселица. — Мотив качелей, которые превращаются в виселицу, есть у самого Лермонтова в «Вадиме»: «поезжай скажи Белбородке, что послезавтра я его жду к себе в гости; — нынешнюю весну Палицын поставил на дворе новые качели... к двум веревкам не долго прибавить третью...» (с. 42). Неизвестно, какие «путевые записки»имел в виду Лермонтов, однако, нельзя исключать, что ссылка на этот источник — мистификация, воспроизводящая, по предположению А. А. Долинина, один из расхожих анекдотов о ничего не понимающих в русской жизни иностранцах (ср. сходный анекдот, упомянутый в предисловии к книге переводчицы Л. Н. Толстого И. Хэпгуд «Прогулки по России» — Hapgood. I. Russian rambles. Boston; New York, 1895. P. X). Качели — часто описываемая в травелогах народная забава, хорошо известная иностранным путешественникам, которые едва ли могли спутать их с виселицами; однако само уподобление качелей виселице или указание на схожесть их конструкций — не редкость. Ср., например, подробное описание качелей как неотъемлемого атрибута крестьянских досугов и сравнение их устройства с виселицей в путевых заметках Ли Ритчи (Ritchie) «Путешествие в Петербург и Москву через Курляндию

и Ливонию» (A journey to St. Petersburg and Moscow through Courland and Livonia. London, 1836), обсуждавшихся в европейской прессе и, вероятно, известных Лермонтову: «At every house we passed there was one unfailing appendage — a swing; and the peasantry might be correctly described as being divided into two classes, those who were swinging, and those who were waiting for a swing <...> This machine is occasionally made of hewn wood, in the form of a gallows...» (P. 12–13).

С. 148. *Между тем природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно.* — Ср. в поэме «Сашка» (1835–1836): «Но, верно, по врожденному влеченью, / Имел большую склонность к разрушенью» (Т. 2. С. 310).

Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. <...>. Воображение стало для него новой игрушкой. — См. в поэме «Сашка»: «И, презрев детства милые дары, / Он начал думать, строить мир воздушный, / И в нем терялся мыслию послушной» (Т. 2. С. 312). Ср. также более раннее автобиографическое признание в стихотворении «1831-го июня 11 дня» (№ 167): «Моя душа, я помню, с детских лет / Чудесного искала...» (Т. 1. С. 151).

Лит.: ЛЭ 1981: 641–642; Галахов 1858: 60–92; Томашевский 1941: 493–495; Белинский 1953–1959: IX, 28–37; Фролов 2004: 165–168; Фролов 2005: 19–21.

492. Ашик-Кериб. Турецкая сказка.

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 53. Л. 1–6 об.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно поздней осенью (конец октября – начало декабря) 1837 г. — по времени пребывания Лермонтова на Кавказской линии и в Тифлисе, где он познакомиться с азербайджанским дастаном об Ашыг-Гарибе (подробнее см. ниже). Нельзя исключать, однако, что сам текст был написан Лермонтовым какое-то время спустя после знакомства с фольклорным источником.
Впервые: Вчера и сегодня. 1846. Кн. 2. С. 159—167.

«Сюжет сказки об Ашик-Керибе, — писал М. К. Азадовский, — является одной их многочисленных вариаций распространенного по всему земному шару сюжета „возвращения мужа“ или иначе „муж на свадьбе жены“ <ATh 974>; муж иногда заменяется женихом, как это имеет место в данном случае. Древнейший вариант этого сюжета — рассказ о возвращении Одиссея; в качестве наиболее известных версий можно назвать новеллу „Декамерона“ о мессере Торелло и Саладине (девятая новелла десятого дня), русские былины о Добрыне и Алеше (напр. у Гильфердинга); средневековые сказания о Мерингере и Генрихе Льве, о Карле Великом, о Горне и мн. др. Известен и ряд русских сказок на ту же тему» (Азадовский 1974: 451).

Сюжетная схема сказки, в изложении М. К. Азадовского, такова: «...муж покидает, по большей части вынужденно, жену (или жених — невесту) и берет обещание ждать определенное количество лет (последний мотив, впрочем, довольно часто отсутствует, напр. в „Одиссее“). Жене (невесте) приносят ложное известие о смерти мужа или жениха (иногда герой сам забывает о сроке возвращения) и принуждают к замужеству. Герой узнает тем или иным способом о предстоящей

свадьбе и быстро спешит домой, чаще всего с помощью волшебной силы. По возвращении домой он переодевается нищим, паломником или музыкантом и проникает в таком виде на свадебный пир, где происходит узнавание. Жена узнает мужа по голосу или благодаря кольцу, которое тот бросает в кубок с вином. Последний момент — расправа с обманщиком. В некоторых вариантах возвратившийся муж (жених) вознаграждает неудачного соперника, предлагая ему в жены дочь или сестру или просто денежный подарок» (Азадовский 1974: 453).

«Ашик-Кериб» (ашик — влюбленный, в переносном смысле — певец, музыкант; кериб — чужеземец, скиталец, бедняк) — лермонтовская запись азербайджанского дастана об Ашыг-Гарибе. Дастан (повествование, чередующееся с песнями) с этим сюжетом пользовался особой популярностью у народов Средней Азии, Закавказья и Ближнего Востока. Известны несколько грузинских вариантов сказания, армянская «Сказка об Ашуге Гарибе», туркменский дастан «Шасенем-Гарып», узбекский — «Ошик Гариб ва Шохсанам», многочисленные турецкие переложения сюжета (существует печатное издание, вышедшее в 1881 г. в Константинополе и имеющее заглавие «Повесть Ашик-Кериба»).

Азербайджанский «Ашыг-Гариб» известен в 9 записях. Первая была сделана в конце XIX в. в селении Тирджан Шемахинского уезда учителем А. Махмудбековым со слов ашуга Оруджа (см.: Сборник 1892: 173–223). Лермонтовская сказка близка к этой версии, хотя существенно короче. В шемахинском варианте повествование включает в свой состав, в соответствии с жанровыми традициями дастана, стихотворные тексты. Не совпадают и имена действующих лиц.

Сказка, записанная Лермонтовым, ближе к тому варианту дастана, который был зафиксирован в 1944 г. в селении Ахмедли Лачинского района азербайджанским фольклористом Ахлиманом Ахундовым со слов Мешеди-Дадаша Ахмед оглы. Запись, сделанная Лермонтовым, во многом совпадает и с грузинским вариантом 1930 г., записанным со слов Аслана Блиадзе в селении Талиси близ Ахалцыхе; однако эта грузинская запись, по-видимому, восходит к азербайджанским источникам, поскольку стихотворная часть сказания передается на азербайджанском языке.

Лермонтов назвал свою сказку турецкой. В этой связи весьма существенно замечание С. Якубовой о том, что в среде народов Закавказья азербайджанский язык назывался турецким (см.: Якубова 1968: 172–181). Передполагается, что сказку об Ашик-Керибе рассказал Лермонтову азербайджанец. По мнению И. Л. Андроникова, это мог быть Мирза Фатали Ахундов (1812–1878), выдающийся азербайджанский поэт; считается, что именно у него Лермонтов брал уроки азербайджанского («татарского») языка, как ранее А. А. Бестужев-Марлинский, а позднее Я. П. Полонский (см.: Андроников 1981: 401–408; Андреев-Кривич 1954: 97–117). В то же время, существует мнение, что рассказчиком мог быть лезгинский ашуг Лезги Ахмед (1762–1840), живший в селе Урва (рядом с Новой Кубой) и певший по-азербайджански (Кардаш 2013).

Между тем несомненно, что сказку об Ашик-Керибе рассказал Лермонтову азербайджанец. И. Л. Андроников доказывал, что это мог быть только Мирза Фатали Ахундов (1812–1878), выдающийся азербайджанский поэт. Скорее всего, именно у него Лермонтов брал уроки азербайджанского («татарского») языка,

как ранее А. А. Бестужев-Марлинский, а позднее Я. П. Полонский. См.: Андроников 1981: 401–408; также: Андреев-Кривич 1954: 97–117).

В тексте сказки присутствуют лексико-фразеологические элементы разных языков — турецкие, арабские, армянские, иранские, но преобладают азербайджанские. Значения азербайджанских слов Лермонтов, как правило, поясняет в скобках: *ага* (господин), *ана* (мать), *оглан* (юноша), *рашид* (храбрый), *сааз* (балалайка), *шинды-гёрурсез* (скоро узнаете). Форма слова *гёрурсез* (точнее *гёрюрсюз*) наблюдается только в диалектах Азербайджана, азербайджанское произношение воспроизводится в словах *Тифлиз* и, что имеет особое значение, в имени главного героя — *Ашик-Кериб*. Запись услышанной Лермонтовым сказки не подверглась окончательной обработке. Отсюда отсутствие единообразия в передаче иноязычных заимствований: *хадерилияз* и *.хадрилиаз*, *Арзерум* и *Арзрум*, *шинды гёрурсез* и *шинди гёрузез*; слово *сааз* употребляется и в мужском, и в женском грамматическом роде.

И. Л. Андроников обращал внимание на ряд сюжетных противоречий, неясностей и «неувязок» повествования: «Не объяснено, на каком основании Ашик-Кериб объявляет себя владельцем золотого блюда, которое выставлено в лавке тифлисского купца. Неподготовленным и немотивированным остается путешествие Ашика на белом коне за спиной чудесного всадника. Ведь в лермонтовском варианте ни слова не говорится о том, что Хадрилиаз — покровитель ашиков, что он наделил Кериба даром песен, что он предназначил ему в жены красавицу Магуль-Мегери. В конце сказки Ашик-Кериб заявляет, что сабля его перерубит камень, но ничем не доказывает этого» (Андроников 1981: 394).

С. 150. *Прибыл он наконец в Халаф...* — Халаф (Халаб, Халпа) — древнее название Халеба (Алеппо) — города на северо-западе Сирии. В 1516 г. был завоеван турками-османами.

С. 152. *Хадерилиаз* (Хадрилиаз) — мусульманский пророк, имя которого зафиксировало мусульманское предание о том, что душа пророка Хидра переселилась в пророка Илью (Илиаз — азербайджанская форма этого имени). «Энциклопедия Ислама» такого отождествления, впрочем, не дает. В ряде приведенных там легенд Хидр (Хадир) и Илья действуют рядом как самостоятельные персонажи (Encyclopédie de l'Islam 1927: II, 499–501). Авторский комментарий к имени Хадерилияз совсем иного рода. Лермонтов разъясняет, что герою помог св. Георгий. Это очевидное влияние на него армянского и грузинского фольклора, в котором смешение Хадерилияза со св. Георгием встречается достаточно часто. Оно наблюдается, например, в ахалцыхском варианте сказки, что было отмечено И. Л. Андрониковым (1977: 387).

С. 153. *В городе Халафе я пил мисирское вино...* — «Миср» — арабское наименование Египта; Миср аль-Кахира (Египет победоносный) — древнее название Каира, захваченного в 1517 г. турками.

...в Арзиньянской долине... — окрестности турецкого города Эрзинджан в восточной Анатолии (до 1916 г. местность, населенная в основном армянами).

Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине... — Намаз — мусульманская

молитва, сопровождаемая установленными жестами и ритуальными омовениями, один из главных обрядов ислама.

Лит.: ЛЭ 1981: 42; Семенов 1939: 81–82; Белинский 1953–1959: IX, 587–588; Андроников 1958: 128–141; Даронян 1974a: 79–92; Даронян 1974b: 259–299; Москвин 2011c: 152–166.

493. Герой нашего времени

Автографы:

1) ОР РНБ. Ф. 429. № 2. Л. 1–59 об. — беловой с правкой, под заглавием «Один из героев <?> нашего века», в сшитой тетрадочке из листов большого формата (состав тетради см. ниже); фрагмент на л. 48–49 (начало главки 16 «Княжны Мери»: «Нынче поутру у колодца... ~ ...и хотел разгорячиться») написан рукой А. П. Шан-Гирея, с отдельными поправками рукой Лермонтова. На л. 1, служащем обложкой, рукой Лермонтова вписано общее заглавие «Один из героев начала века», на л. 2, меньшего формата, вклеенном в тетрадь, — Предисловие к журналу Печорина, без заглавия. Л. 3–9 об. — «Максим Максимыч», текст под заглавием «Из записок офицера», с эпиграфом, зачеркнутым чернилами: «...и они встретились. — Один сочинитель»; между заглавием и текстом стоит цифра II. Л. 10–16 — «Фаталист», над заглавием запись «[Листок] Тетрадь III». Л. 16 об. — пустой. Л. 17–59 об. — «Княжна Мери». Л. 60–61 об. — чистые. Бумага с водяным знаком «Ф Л...34».

2) ОР РНБ. Ф. 429. № 11. Л. 4–6 — черновой автограф Предисловия к роману, карандашом, без заглавия, в альбоме Лермонтова 1840–1841 гг.

Копии:

1) ОР РНБ. Ф. 429. № 3. Л. 1–10 об. — авторизованная копия «Тамани», рукой А. П. Шан-Гирея, с вставкой рукой Лермонтова на л. 5 (фрагмент «Да и в самом деле?.. ~ так к этому привыкли»); на л. 1 — помета П. А. Висковатова: «Писано рукою двоюродного брата Лермонтова Ак. Павл. Шан-Гирея, коему Лерм<онтов> порою диктовал свои произв<едения>». Копия на бумаге с водяным знаком «1837».

2) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 16. Л. 1–2 — авторизованная копия Предисловия к роману, на отдельном двойном листе большого формата, ранее находившемся в тетради 15 (ср., например: Лермонтов 1910–1913: V, 30–31), рукой А. П. Шан-Гирея со вставкой Лермонтова на Л. 1 и правкой карандашом рукой А. А. Краевского. Слово «Предисловие» тщательно зачеркнуто. После слов «...на оскорбление личности» в копии шел абзац, затем вычеркнутый карандашом — вероятно, Краевским (Л. 1 об.): «Мы жалуемся только на недоразумение публики, не на журналы: они, почти все, были более нежели благосклонны к этой книге, все, кроме одного, который упрямо смешивал имя сочинителя с именем героя его повести, вероятно надеясь [на то], что этого никто не заметит. Но хотя ничтожность этого журнала и служит ему достаточной защитой, однако все-таки должно признаться, что, прочитав пустую и непристойную брань, на душе остается неприятное чувство, как после встречи с пьяным на улице».

3) ОР РГБ. Ф. 138. № 307. Л. 59 об.–62 об. — копия с чернового автографа Предисловия к роману в дневнике А. П. Петрова, сделанная в мае–июле 1843 г. с альбома Лермонтова.

4) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 26. Л. 4 об. — копия с чернового автографа предисловия к роману в материалах В. Х. Хохрякова.
Печатается по последнему прижизненному изданию 1841 г. (5) с исправлениями опечаток и других погрешностей по первому изданию (1840), более исправному с точки зрения полиграфического качества и орфографии (восстановление немногочисленных цензурных купюр обозначается квадратными скобками и оговаривается в примечаниях).

Датируется 1837–1839 гг.

Впервые:
1) ОЗ. 1839. № 3. Отд. III. С. 167–212. — «Бэла. (Из записок офицера о Кавказе)».
2) ОЗ. 1839. № 11. Отд. III. С. 146–158 — «Фаталист» (с примеч. ред.: «С особенным удовольствием пользуемся случаем известить, что М. Ю. Лермонтов в непродолжительном времени издаст собрание своих повестей и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый, прекрасный подарок русской литературе»).
3) ОЗ. 1840. № 2. Отд. III. С. 144–154 — «Тамань» (с примеч. ред.: «Еще отрывок из записок Печорина, главного лица в повести „Бэла“, напечатанной в 3-й книжке „Отеч. записок“ 1839 года»).
4) Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Ч. I и II. СПб.: В типографии Ильи Глазунова и К°, 1840 (дата цензурного разрешения: 19 февр. 1840 г., цензор П. А. Корсаков) — «Максим Максимыч»; Предисловие к «Журналу Печорина»; «Княжна Мери».
5) Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Ч. 1–2. 2-е изд. СПб.: В типографии Ильи Глазунова и К°, 1841 (дата цензурного разрешения: Ч. 1 — 19 февр. 1841 г., Ч. 2 — 3 мая 1841 г.; цензор П. А. Корсаков) — Предисловие к роману (помещено перед Ч. 2 с отдельной римской нумерацией страниц без указания в оглавлении).

Творческая история «Героя...» почти не документирована. Установить порядок написания повестей, составляющих роман, в точности невозможно. Б. М. Эйхенбаум, опираясь, в частности, на воспоминания С. О. Жигимонта, высказал предположение, что раньше других повестей, в сентябре 1837 г. была написана «Тамань» (см.: Лермонтов 1954–1957: VI, 656). Есть основания предполагать, что вслед за «Таманью», еще до того, как сложился цельный замысел романа, был написан «Фаталист». Другого мнения придерживалась Э. Г. Герштейн (1997: 9–19), которая, наоборот, относила написание «Тамани» к концу работы над романом, т. е. к ноябрю–декабрю 1839 года.

«Бэла» была создана, скорее всего, раньше «Максима Максимыча»: об этом можно судить по тетради № 2 (РНБ), где «Максим Максимыч» отмечен цифрой II, а эпиграфом к этой повести первоначально были взяты слова: «...и они встретились», связанные с финалом «Бэлы». По-видимому, во время написания «Максима Максимыча» Лермонтов уже задумал «цепь повестей»: «...я для развлечения вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей» (замысел «цепи повестей» окончательно сложился у Лермонтова, вероятно, в 1838 г.). В этой, наиболее ранней редакции романа вслед за «Бэлой» и «Максимом Максимычем» следовала «Княжна Мери».

Первые две повести, имевшие подзаголовок «Из записок офицера», составляли первую «объективно-экспозиционную» часть романа, «Княжна Мери» — вторую, основную его часть, содержащую исповедальное самораскрытие героя. Вероятнее всего, в августе–сентябре 1839 г. Лермонтов переписал все «главы» романа (за исключением «Бэлы», которая к этому времени была опубликована) с черновиков в особую тетрадь, внося при этом некоторые поправки. На этой стадии работы в роман вошла глава «Фаталист» (возможно, написанная ранее как отдельная новелла). В этой редакции роман получил название «Один из героев начала века» и теперь состоял из «Бэлы», «Максима Максимыча», «Фаталиста», «Княжны Мери». О таком расположении говорит тетрадь с автографом «Одного из героев начала века» (РНБ, № 2). Роман по-прежнему делился на две части: первая представляла собой записки офицера-повествователя, вторая — записки героя.

Видимо, к концу 1839 г. оформляется последняя редакция романа, включающая шесть составляющих частей, устанавливается их окончательная композиция: в записках Печорина первой становится «Тамань», «Фаталист» передвигается в конец, для записок героя появляется новое название — «Журнал Печорина», к которому создается специальное предисловие (соответственно, концовка «Максима Максимыча» была вычеркнута). На этом этапе появляется и окончательное название — «Герой нашего времени». В таком виде роман и был опубликован отдельным изданием в двух частях (апрель 1840): Ч. I: Бэла; Максим Максимыч; Предисловие <к «Журналу Печорина»>; Журнал Печорина. I. Тамань. Ч. II: Журнал Печорина. II. Княжна Мери; III. Фаталист.

В связи с подготовкой второго издания Лермонтов написал общее предисловие к роману, которое было помещено с особой пагинацией в начале второго тома, перед «Княжной Мери».

Творчество Лермонтова и его роман «Герой нашего времени» нельзя рассматривать в отрыве от тех процессов, которые происходили в русской и мировой литературе в конце 1830-х — начале 1840-х годов. По мнению П. Мейер, Лермонтов «сознательно» обращается к произведениям западноевропейской литературы, «показывая, как эти модели можно обновить и сделать основой самостоятельной русской традиции» (Мейер 2011: 63).

Среди текстов, актуальных для генеалогии лермонтовского романа, следует прежде всего назвать «Исповедь» («Les Confessions», 1782–1789) Ж.-Ж. Руссо и повесть И. В. Гете «Страдания молодого Вертера» («Die Leiden des jungen Werthers», 1774), ставшую известной читателям до «Исповеди»; важен для становления литературного героя нового типа и повествовательный эпизод, вставленный в сочинение Ф.-Р. Шатобриана «Гений христианства» («Génie du christianisme», 1802) под названием «Рене, или Следствие страстей» («René»). Как и Рене, Печорин анализирует свои поступки и страсти, отчетливо осознает собственную испорченность и сожалеет о зря потраченной молодости, чувствуя отвращение к жизни (Родзевич 1913: 11–14). В 1804 году также на французском языке появляется роман Э. Сенанкура «Оберман» («Oberman»), несомненно, важный для развития типа рефлексирующего социопата (Вольперт 2008: 225–227). Вскоре Бенжамен

Констан заканчивает свой психологический роман в прозе «Адольф» («Adolphe», 1806), который выходит в свет только в 1816 году (рус. перевод П. А. Вяземского с предисловием Пушкина появляется в 1830 году под названием «Адольф и Элеонора»). Этот роман Бенжамена Констана, как давно установлено и убедительно показано А. А. Ахматовой, имел большое значение для автора «Евгения Онегина» (Ахматова 1936: 91–114; ср.: Томашевский 1941: 496–499), не менее важен он и для автора «Героя нашего времени». С «Адольфом» «Героя нашего времени» объединяет форма интимного дневника и обстоятельства, при которых эти записки попали к повествователю. Более того, любовная история между Печориным и княжной Мери (и частично Верой) в некоторой степени напоминает взаимоотношения Адольфа и Элеоноры. Кроме того, некоторые черты личности Печорина напоминают Адольфа (Родзевич 1913: 16–31; Михайлова 1957: 375–376; Эйхенбаум 1961: 225–227; Пумпянский 2000: 385–387). За год до того, как Лермонтов начинает работать над романом, появляется роман А. де Мюссе «Исповедь сына века» («La confession d'un enfant du siècle», 1836), в известной мере предвосхищающий «Княжну Мери»; существует мнение, что творчество Мюссе оказало большее влияние на Лермонтова, чем даже творчество Байрона (Болдаков 1894: 10; см. также: Коровицына 2002: 49–54; Костикова, Буянова 2007: 43–45). Еще один возможный источник художественной системы «Героя нашего времени», отмечаемый исследователями, — роман Жорж Санд «Жак» («Jacques», 1834), главный герой которого некоторыми чертами напоминает Печорина (Трапезникова 1976: 155–156).

Все эти «исповедальные» романы, видимо, стали для Лермонтова тем фоном, который определил основные черты «печоринского типа», «homme fatale» («роковой мужчина»), причем это проявляется на уровне не только повествователя, который вводит в текст ссылки и аллюзии на французские источники, но и самого Печорина, который сознательно использует ментальный опыт своих литературных предшественников (Мейер 2011: 68–71).

Тип Печорина восходит к персонажам не только французской, но и английской литературы, в частности, к героям произведений Дж.-Г. Байрона, таких как «Паломничество Чайльд-Гарольда» («Childe Harold's Pilgrimage», 1812–1818). Связь образа Печорина с байроновскими персонажами (и отчасти самим Байроном) стало общим местом уже в XIX в. (см., например: Дудышкин 1860: VII–XXIV, Григорьев 1915–1916: 3–4, 8; Спасович 1889–1902: II, 396–398; Иванов-Разумник 1911: I, 84–85), хотя были и попытки отрицать серьезность такого влияния (Зарин 1864: 307). Результаты современных исследований показывают, что переклички между байроновскими текстами и «Героем нашего времени» имеют регулярный и множественный характер: например, число конкретных аллюзий на «Паломничество Чайльд-Гарольда» приближается в лермонтовском романе к пятидесяти, а на драму «Манфред» — к двадцати (см.: Кондратенкова 2010: 39–42; Кондратенкова 2011a: 8–13; Кондратенкова 2011b: 173–176; Кондратенкова 2012: 90–94; отмечалось, однако, что в отличие от Чайльд-Гарольда, Печорин наделен большей склонностью к рефлексии и самоанализу — Родзевич 1913: 5–8). Совпадения касаются не только художественных, но и автобиографических текстов Байрона: «построение записей

в дневнике Печорина оказывается аналогичным построению их в дневниках Байрона, со свойственным им переплетением различных жанровых элементов и стилистических тенденций» (Дьяконова 2001: 45). Лермонтов включает в дневник Печорина многочисленные афористические высказывания (которые в предыдущих прозаических опытах чаще принадлежали не персонажу, а повествователю), что также в значительной степени сближает творческий подход Лермонтова и Байрона (Дьяконова 2001: 45–47). Но то, «что в дневниках Байрона было умонастроением, личным чувством, у Лермонтова перерастает в нравственное суждение, воплощенное средствами продуманной стилистической организации материала и настойчиво повторяющихся противопоставлений и параллелей» (Дьяконова 2001: 53).

К 1840 г. образ разочарованного и скучающего молодого человека был уже многократно спародирован в литературе и критике (Пушкиным, Сенковским, Надеждиным и др. – см.: Ямадзи 2009: 15–16), поэтому функционально Печорин отличается от всех своих западноевропейских предшественников, уступая пародийную роль адепта романтической идеологии Грушницкому. Вследствие этого, как отмечает Томашевский, «Герой нашего времени» должен восприниматься как отталкивание от предшествующей европейской традиции, а не подражание ей (Томашевский 1941: 495–496). Однако раздвоение романтического героя на протагониста и его профанированного двойника-антагониста, также не является изобретением Лермонтова: обилие таких героев-двойников мы находим в немецкой романтической традиции. Кроме того, самоиронию Печорина (при демонстративной невосприимчивости к сторонней критике) и некоторые модели его поведения можно возвести к типажам литературного «дендизма», в частности, к роману Э. Бульвер-Литтона (Bulwer-Lytton, 1803–1873) «Пелэм, или Приключения джентльмена» («Pelham, or adventures of a gentleman», 1828). В более отдаленной перспективе некоторые мотивации Печорина восходят к психологическим канонам французского либертинажа XVIII в. (Карбоне 2011; Котельников 2014).

В «Герое...» Лермонтов учел и литературный опыт прозаиков новой французской школы, прежде всего, Стендаля и Бальзака. В «Княгине Лиговской» Лермонтов явно продемонстрировал то, чему научился у французов (см. комментарии к № 490); в новом романе это влияние не так заметно: поверхностные приемы изобразительности отбрасываются, как легко узнаваемые, однако методы психологического анализа, социальной критики и типизации, наоборот, прочно усваиваются. К сожалению, этот пласт литературной генеалогии романа, несмотря на многочисленные констатации, остается в лермонтоведении наименее разработанным.

Русскую генеалогию лермонтовского героя и романа в целом далеко проследить не удается. Некоторый материал для сопоставления исследователи усматривают в «светских» повестях Н. М. Карамзина («Юлия», 1796; «Чувствительный и холодный», 1802; «Моя исповедь», 1803), в которых автор, следуя открытиям Ж.-Ж. Руссо в области психологического анализа, создает типы героев, отдаленно соотносимые с героем Лермонтова. Незаконченная повесть Карамзина «Рыцарь нашего времени» (1799–1803), возможно, дала название роману Лермонтова, однако в целом произведения русской сентименталистской традиции не могут, ви-

димо, рассматриваться как непосредственные и значимые претексты для «Героя нашего времени».

Образы «странных», «лишних» героев, не принятых социальной средой, противоборствующих с ней или становящихся пассивной жертвой «низкой» действительности, конструируются в русской романтических литературе одновременно и параллельно с «героем нашего времени». Устанавливая генезис и типологию лермонтовского романа, исследователи указывали на значительное число произведений, так или иначе перекликающихся с ним. «Странный человек» (1822) В. Ф. Одоевского, «Владимир Паренский» (1827) Д. В. Веневитинова, «Адель» (1830) М. П. Погодина, «Человек не совсем обыкновенный» (1833) А. Г. Теплякова, «Случай, который может повториться» (1834) В. П. Андросова, «Несколько мгновений из жизни графа Z» (1834) Н. В. Станкевича, «Маскарад» (1835) Н. Ф. Павлова, «Вадимов», (1834–1839), «Он был убит» (1835), «Мулла-Нур» (1836) А. А. Бестужева-Марлинского,— это далеко не полный список текстов, фигурирующих в научной литературе в качестве параллелей к «Герою...» (подробнее см.: Базанов 1953; Михайлова 1957: 293–294; Пульхритудова 1960: 126–138; Евзерихина 1961: 51–72; Шевченко 1962: 52–72; Иезуитова 1973: 196–197; Удодов 1973: 510–533; Удодов 1989: 8–24). Однако, вся эта литературная продукция, вторичная по отношению к европейской традиции, может расцениваться лишь как материал для типологических сопоставлений (что не исключает заимствования отдельных мотивов и деталей). Пожалуй, из всех его русских «современников» для лермонтовского героя важное генетическое значение имел только один персонаж — Евгений Онегин, в постоянном полемическом диалоге с которым и развивается печоринский характер.

Обнаруживается глубинная связь «Героя нашего времени» с лирикой и стихотворной эпикой русских и иностранных писателей, а также самого Лермонтова. Н. Г. Федосеенко выделяла три группы мотивов, перешедшие из поэм Лермонтова в «Героя нашего времени»: исповедальные мотивы, мотивы отчуждения и возврата к утерянному «идеальному» состоянию. По ее наблюдению, личность Печорина определяется противоположно направленными принципами: с одной стороны, за счет общности этих мотивов он сближается с героем романтической поэмы, с другой — отдаляется от него в связи с его отказом от однозначной интерпретации своего поведения и происходящих событий (Федосеенко 1989: 60–66). Прослеживая связи романа с жанром западноевропейской «лирической поэмы» (о термине см.: Жирмунский 1978), Пол Дебрецени показывает, что «Герой нашего времени» обладает целым рядом признаков, характерных для этого поэтического жанра (в том числе и в его русских реализациях). Это, прежде всего, фрагментарность, сознательное разрушение сюжетного единства и последовательного биографического нарратива. Повествование становится разомкнутым, загадочным не только для читателя, но и для самих героев (отсюда обилие риторических вопросов в тексте), а поступки героев — в силу их аффектированного состояния — немотивированными (Дебрецени 1992: 69–80; Debreczeny 1973: 93–117; Федосеенко 1989: 63).

В «Герое...» Лермонтов учел и литературные достижения прозаиков новой французской школы, прежде всего Стендаля и Бальзака. В «Княгине Лиговской»

Лермонтов явно продемонстрировал то, чему научился у французов (см. об этом выше), в новом романе это влияние не так заметно: поверхностные приемы изобразительности отбрасываются, как легко узнаваемые, однако методы психологического анализа, социальной критики и типизации, наоборот, прочно усваиваются. К сожалению, этот пласт литературной генеалогии романа, несмотря на многочисленные констатации, остается в лермонтоведении наименее разработанным.

Отдельные публикации повестей, входящих в лермонтовский роман, практически не вызвали откликов в печати. Сразу же после появления повести «Бэла» (ОЗ. 1839. Т. II. № 3. Отд. III. С. 167–212) с краткой рецензией выступил В. Г. Белинский (МН. 1839. Ч. II. № 4. Отд. IV. С. 131). На публикацию «Фаталиста» (ОЗ. 1839. Т. VI. № 11. Отд. III. С. 146–158) и «Тамани» (ОЗ. 1840. Т. VIII. № 2. Отд. III. С. 144–154) рецензенты не отозвались.

Реакция на выход полного издания романа была гораздо более активной. Вскоре после выхода в свет отдельного издания романа в «Отечественных записках» (1840. Т. X. № 5. Отд. VI. С. 1–2) и «Литературной газете» (1840, № 42, 25 мая. Стлб. 978–980) были напечатаны две небольшие рецензии Белинского, который отметил оригинальность «Героя нашего времени» и заявил, что роман представляет собой «совершенно новый мир искусства». Белинский обратил внимание на то, что «Герой нашего времени» представляет собой не собрание разрозненных повестей и рассказов, а единый роман, составные части которого «нельзя читать отдельно или смотреть на них как на отдельные произведения». Белинский рассматривал «Героя нашего времени» как замкнутое художественное целое: «Тут нет ни страницы, ни слова, ни черты, которые были бы наброшены случайно; тут всё выходит из одной главной идеи и всё в нее возвращается». Здесь Белинским впервые было высказано суждение, ставшее впоследствии общепринятым, о постепенном раскрытии от повести к повести характера главного героя. По мнению критика, «роман должен возбудить всеобщее внимание, весь интерес нашей публики», так как «в основной идее романа <...> лежит важный современный вопрос о внутреннем человеке».

Это мнение Белинского получило дальнейшее развитие в его статье о «Герое нашего времени», опубликованной в «Отечественных записках» в 1840 г. (Т. X. № 6. Отд. V. С. 27–54; Т. XI. № 7. Отд. V. С. 1–38). Состояние Печорина Белинский рассматривал как временную болезнь, отражающую «переходное состояние духа». «Искусство поэта должно состоять в том, чтобы развить на деле задачу: как данный природою характер должен образоваться при обстоятельствах, в которые поставит его судьба». Подчеркивая положительные качества Печорина, Белинский мотивировал его поступки обстоятельствами, в которые поставлен герой, переводя ответственность с Печорина на эпоху («„Герой нашего времени“ — это грустная дума о нашем времени...»).

Среди других благожелательных рецензий на первое издание романа был отзыв П. А. Плетнева (1792–1866), сопоставлявшего «Героя нашего времени» с «Рыцарем нашего времени» Н. М. Карамзина: «Каждое из них ознаменовано печатью истинного таланта; каждое приняло на себя живые, яркие краски эпохи их создания;

каждому суждено прослушать в молчании брюзгливые выходки судей, которые, лишены будучи способности мыслить и чувствовать, утешаются неотъемлемым своим правом — побранивать все привлекательное и живое» (Современник. 1840. № 3. Отд. 3. С. 138–139). Н. И. Греч (1787–1867) писал: «Сочинение г. Лермонтова обличает прекрасный талант, который, как мы надеемся, созреет с летами автора и обогатит нашу литературу» (РВ. 1841. Т. 1. С. 233–234). Критик «Русского инвалида» Л. В. Брандт (1813–1884), назвав роман Лермонтова «бесспорно лучшим беллетристическим произведением минувшего года», признался, что решительно не понимает идею этого произведения (РИ. 1841. № 17–18. 22 янв. С. 71–72).

Благожелательной была и краткая рецензия в «Библиотеке для Чтения», принадлежавшая, вероятно, О. И. Сенковскому (БдЧ. 1840. Т. XXXIX. Отд. VI. С. 17): «Г. Лермонтов счастливо выпутался из самого затруднительного положения, в каком только может находиться лирический поэт, поставленный между преувеличениями, без которых нет лиризма, и истиною, без которой нет прозы. Он надел плащ истины на преувеличения, и этот наряд очень к лицу им»; автор «является умным наблюдателем, с положительным взглядом на предметы и с поэтическим воображением... Рассказ его превосходен, язык легок, прост и весьма приятен. Г-н Лермонтов понял великую истину, что для достижения образованной прозы писать надобно таким языком, каким образованные люди говорят, а не каким они пишут». А на критические выпады против романа рецензент возражал: «У кого есть талант, тот лучше знает, когда и что писать ему» (БдЧ. 1840. № 4. Отд. 6. С. 17). Однако отзыв на второе издание романа был более жестким: Сенковский писал, что после смерти Лермонтова можно рассуждать о его творчестве объективно и что «нельзя выдавать „Героя нашего времени“ за что-нибудь выше миленького ученического эскиза» (БдЧ. 1844. Т. 68. № 3. Отд. VI. С. 12).

Особое место занимает восторженная рецензия Ф. В. Булгарина в «Северной пчеле» (1840. № 246. 30 окт. С. 981–983): «Лучшего романа я не читал на русском языке». Среди современников существовало предположение, что Булгарина о положительном отзыве просил издатель романа И. И. Глазунов. Другие утверждали, что бабушка поэта Е. А. Арсеньева послала Булгарину «Героя нашего времени», вложив в книгу 500 рублей. На это намекал и Белинский, писавший о «купленном пристрастии» Булгарина: «<...> явились ложные друзья, которые спекулируют на имя Лермонтова, чтобы мнимым беспристрастием (похожим на *купленное* пристрастие) поправить в глазах толпы свою незавидную репутацию» (Белинский 1953–1959: IV, 373). Булгарин оценил роман как произведение, которое разоблачает безнравственность «Запада», проникающую в русскую жизнь: «К чему ведут блистательное воспитание и все светские преимущества без положительных правил, без веры, надежды и любви? <...> к эгоизму, к пресыщению жизнью в начале жизни, к душевной сухотке, и наконец к гибели» — такова, по мнению Булгарина, основная идея романа.

Первый негативный отклик на роман Лермонтова, принадлежавший С. О. Бурачку (1800–1876), появился в журнале «Маяк» (1840. Ч. IV. С. 210–219; подпись С. Б.). Одобрив только «внешнее построение романа» и его слог, Бурачок резко осудил содержание: «Содержание романтическое по превосходству, т. е. ложное

в основании; гармонии между причинами, средствами, явлениями, следствиями и целью — ни малейшей, т. е. внутреннее построение романа никуда не годится: идея ложная, направление кривое». Автором романа Бурачок неизменно называл Печорина: «От души жалеешь, зачем Печорин, настоящий автор книги, так во зло употребил прекрасные свои дарования» или: «Штабс-капитан, говорит автор, т. е. сам же Печорин, не понял этих тонкостей» и т. д. (Маяк. 1840. Т. IV. С. 210–219). Отождествив автора романа с Печориным, Бурачок писал, что в «Герое нашего времени» «нет ни религиозности, ни народности», что образ Печорина является клеветой на русскую действительность, «на целое поколение людей», что «в натуре этакие бесчувственные, бессовестные люди невозможны»: «В ком силы духовные хоть мало-мальски живы, для тех эта книга отвратительно несносна». Единственным исключением из числа «отвратительных и грязных» героев Бурачок считал Максима Максимыча. Критик «Маяка» рассматривал «Героя нашего времени» как образец новейшей безнравственной «романтической литературы», и противопоставлял роману Лермонтова вышедший одновременно с ним роман А. П. Башуцкого «Мещанин». Уже после смерти Лермонтова Бурачок напечатал свой ответный роман, также озаглавленный «Герой нашего времени» (Маяк. 1845. Т. 19, 20; см.: Андреев 1938: 88–90; Захаров 1977: 94). К оценкам Бурачка присоединился известный романист и драматург М. Н. Загоскин (1789–1852), опубликовавший в Маяке» статью, написанную в форме письма к П. А. Корсакову, цензору лермонтовского романа и соиздателю журнала (1840. Ч. VII. С. 101–102).

В начале июня 1840 г. в «Сыне Отечества» появился резкий отзыв о «Герое нашего времени», принадлежащий предположительно Н. А. Полевому (СО. 1840. Т. II. Кн. IV. Отд. VI. С. 856–857). Вслед за Бурачком Полевой разбирает «Героя...» в сопоставлении с «Мещанином» Башуцкого, характеризуя оба произведения как «больные создания, влекущиеся между жизнью и смертью в малый промежуток их бедного, эфемерного бытия».

Еще одна рецензия принадлежала С. П. Шевыреву (1806–1864), профессору Московского университета, историку литературы и критику журнала «Москвитянин». Признавая художественное мастерство Лермонтова, он критиковал идею романа: «Всё содержание повестей г-на Лермонтова, кроме Печорина, принадлежит существенной жизни; но сам Печорин, за исключением его апатии, которая была только началом его нравственной болезни, принадлежит миру мечтательному, производимому в нас ложным отражением Запада. Этот призрак, только в мире нашей фантазии имеющий существенность»: если признать Печорина героем нашего времени, то «стало быть, век наш тяжко болен». Шевырев также упрекал автора романа в натурализме, причисляя Лермонтова к последователям так называемой «неистовой словесности» (в России рамки «неистовой словесности» понимались значительно шире, чем во Франции). По мнению критика, образ Печорина не только ложен в своей основе, но и художественно неполноценен, поскольку зло, как главный предмет художественного произведения, может быть изображаемо только крупными чертами идеального типа (в виде титана, а не пигмея), а Лермонтов в «Герое нашего времени» якобы вникает «во все подробности гниения

жизни»: Печорин «принадлежит к числу тех пигмеев зла, которыми так обильна теперь повествовательная и драматическая литература Запада». Значительное место в статье Шевырева занимает анализ темы Кавказа в творчестве Лермонтова, в частности, в «Герое нашего времени»: «Здесь сходятся в великой и непримиримой вражде Европа и Азия. Здесь Россия, граждански устроенная, ставит отпор этим, вечно рвущимся потокам горных народов, не знающих, что такое договор общественный... Здесь вечная борьба наша... Здесь поединок двух сил, образованных и диких... Здесь жизнь!.. Как же не рваться сюда воображению поэта?» (Москвитянин. 1841. Ч. I. № 2. С. 515–538). Вскоре после выхода статей Шевырева о «Герое...» и о стихотворениях Лермонтова (Москвитянин. 1841. Ч. II. № 4. С. 525–540) поэт написал стихотворение «Спор» и передал его для напечатания в «Москвитянине» (1841. Ч. III. № 6. С. 291–294) – подробнее см.: Т. 1, примеч. к № 411.

Подробное изложение критических отзывов на «Героя нашего времени» см.: Найдич 1962: 163–197; Шаблий 1974: 62–69. Перечень рецензий: Библиография 1936: 21–27; Библиография 1990: 8–15.

Предисловие

Предисловие к роману «Герой нашего времени» Лермонтов написал в Петербурге весной 1841 г. для второго издания романа; оно было разрешено к печати цензором П. Корсаковым 3 мая 1841 года и опубликовано в составе второй части романа перед «Княжной Мери» (также полностью перепечатано Белинским в рецензии на второе издание романа — ОЗ. 1841. Т. XVIII. Отд. VI. С. 2–4).

В романтическую эпоху посвящения и предисловия для усложнения композиции помещалось не в начале, а в середине произведения (ср., например, «Странник» А. Ф. Вельтмана, 1831–1832; «Княжна Мими» В. Ф. Одоевского, 1834 и др.). Однако Предисловие к «Герою нашего времени» попало при печатании второго издания в начало второй части исключительно по техническим причинам, так как было прислано автором, когда издание первой части уже было завершено. Предисловие напечатано с особой нумерацией страниц. Во всех последующих изданиях, уже после смерти Лермонтова, Предисловие романа помещалось перед первой частью, не нарушая естественной композиции всего произведения в целом. Так оно печатается и в современных изданиях.

С. 155. *Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения.* — Эта фраза в самом начале Предисловия содержит очень важные указания на то, что публика не поняла общественной проблематики и иронии, заложенной в романе. Лермонтов жалуется на «несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов». Это намек на то, что в романе есть второй, не высказанный прямо смысл — трагедия целого поколения, обреченного на бездействие. Именно так понял эти слова Белинский, когда привел полностью всё Предисловие как лучший пример того, что значит «иметь слог», и прибавил: «Какая сжатость, краткость и, вместе с тем, многозначительность! Читая строки, читаешь и между строками; понимая

ясно всё сказанное автором, понимаешь еще и то, чего он не хотел говорить, опасаясь быть многоречивым» (Белинский 1953–1959: V, 455).

Упрек читателям в буквальном восприятии текста (в частности, слова «герой»), так же как и многие другие упреки автору, в полной мере могут быть отнесены и к отзыву о романе Николая I: «За это время я дочитал до конца „Героя" и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде. Это то же самое изображение презренных и невероятных характеров, какие встречаются в нынешних иностранных романах. Такими романами портят нравы и ожесточают характер. И хотя эти кошачьи вздохи читаешь с отвращением, все-таки они производят болезненное действие, потому что в конце концов привыкаешь верить, что весь мир состоит только из подобных личностей, у которых даже хорошие с виду поступки совершаются не иначе как по гнусным и грязным побуждениям. Какой же это может дать результат? Презрение или ненависть к человечеству! Но это ли цель нашего существования на земле? Люди и так слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами, так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать такие наклонности! Итак, я повторяю, по-моему, это жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора. Характер капитана набросан удачно. Приступая к повести, я надеялся и радовался тому, что он-то и будет героем наших дней, потому что в этом разряде людей встречаются куда более настоящие, чем те, которых так неразборчиво награждают этим эпитетом. Несомненно, Кавказский корпус насчитывает их немало, но редко кто умеет их разглядеть. Однако капитан появляется в этом сочинении как надежда, так и неосуществившаяся, и господин Лермонтов не сумел последовать за этим благородным и таким простым характером; он заменяет его презренными, очень мало интересными лицами, которые, чем наводить скуку, лучше бы сделали, если бы так и оставались в неизвестности — чтобы не вызывать отвращения. Счастливый путь, господин Лермонтов, пусть он, если это возможно, прочистит себе голову в среде, где сумеет завершить характер своего капитана, если вообще он способен его постичь и обрисовать» (письмо к Александре Федоровне от 14/26 июня 1840 г. — Воспоминания 1989: 487–488). Высказывалось предположение, что Лермонтову было известно мнение царя и Предисловие — ответ прежде всего ему (см.: Зингер 1991: 189–193).

С. 155. *Иные ужасно обиделись... Ему просто было весело ...* — По мнению С. И. Родзевича (1913: 33), Лермонтов в этом месте берет пример с Байрона, отвечающего на аналогичные упреки в «Дон-Жуане» (песнь 4, строфа V):

Some have accused me of a strange design
Against the creed and morals of the land,
And trace it in this poem every line:
I don't pretend that I quite understand
My own meaning when I would be very fine;
But the fact is that I have nothing plann'd,
Unless it were to be a moment merry,
A novel word in my vocabulary.
(Byron 1828: 601)

Меня винят в нападках постоянно
На нравы и обычаи страны.
Из каждой строчки этого романа
Такие мысли якобы ясны.
Но я не строил никакого плана,
Да мне и планы вовсе не нужны;
Я думал быть веселым — это слово
В моих устах звучит, пожалуй, ново!
(Байрон 1964: 184)

С. 155. *...другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых...* — Ср. у Байрона в предисловии к «Паломничеству Чайльд-Гарольда» (1812): «It has been suggested to me by friends, on whose opinions I set a high value, that in this fictitious character, „Childe Harold“, I may incur the suspicion of having intended some real personage: this I beg leave, once for all, to disclaim — Harold is the child of imagination, for the purpose I have stated» (Byron 1828: 38; *пер.*: «Друзья, мнение которых я высоко ценю, предостерегали меня, считая, что кое-кто может заподозрить, будто в вымышленном характере Чайльд-Гарольда я изобразил реально существующую личность. Такое подозрение я позволю себе отвергнуть раз и навсегда. Гарольд — дитя воображенья, созданное мною только ради упомянутой цели» — Байрон 1987: I, 150; отмечено: Кондратенкова 2011а: 12). В черновой рукописи фразе о портретности героев романа соответствовали два более развернутых предложения: «Мы жалуемся только на недоразумение публики, не на журналы; они почти все были более чем благосклонны к этой книге, все, кроме одного, который как бы нарочно в своей критике смешивал имя сочинителя с героем его повести, вероятно, надеясь на то, что его читать никто не будет; но хотя ничтожность этого журнала и служит ему достаточной защитой, однако все-таки прочитав грубую и неприличную брань — на душе остается неприятное чувство, как после встречи с пьяным на улице» (Лермонтов 1954–1957: VI, 563). Лермонтов имел в виду рецензию на свой роман, появившуюся в журнале «Маяк» и принадлежавшую перу редактора журнала С. О. Бурачка (подробнее см. выше).

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. — Примером такого непонимания может служить отзыв о романе Д. Н. Блудова (1817–1876): «...что до романа, то он в самом деле хорош. Написан верно и занимательно, и даже местами, хотя весьма редко, есть идея. Неудачным нахожу только заглавие. Назови он своего *Печорина* символом века, сыном эпохи, я бы с этим согласился. Человек без нравственных правил, без положительного характера, не знающий, ни кто он есть, ни что он делает, такой человек — не герой 19 века; это некий символ, некое общее место. Герой нашего времени — гений, который подобно Napoleon, Cuvier или Guizot, дополняет мир, который его просвещает; или же, в конце концов, это безвестный великий человек, сокрытый обстоятельствами, но с величием в душе. Право же, получилось заглавие скорее карикатурное. Что до меня, я, верно, назвал бы его „Сыном века“» (письмо к А. Д. Блудовой от 21 мая 1840 г.; см.: Лермонтов 2000–2002: VII, 212; оригинал по-французски).

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека <...> если вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев... — После этого в первоначальном варианте было: «это тип; — вы знаете, что такое тип? я вас поздравляю. — Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен — а я вам скажу, что вы все почти таковы; иные немного лучше, многие гораздо хуже. Если вы верили существованию Мельмота, Вампира и других — отчего же вы не верите в действительность Печорина?» (Лермонтов 1954–1957: VI, 563). Лермонтов отвечает здесь на критику Шевырева,

считавшего, что если писатель отваживается изображать злодеев, то ему не следует изображать «пигмеев зла», каков Печорин, а только «титанов» (см. выше).

С. 155. *...это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения...* — С. И. Родзевич сопоставил эти слова Лермонтова с первыми строками романа Альфреда де Мюссе (1810–1857) «Исповедь сына века»(«La Confession d'un enfant du siècle», 1836), который был хорошо известен Лермонтову: «Ainsi, ayant été atteint, dans la première fleur de la jeunesse, d'une maladie morale abominable, je raconte ce qui m'est arrivé pendant trois ans. Si j'étais seul malade, je n'en dirais rien; mais comme il y en a beaucoup d'autres que moi qui souffrent du même mal, j'écris pour ceux-là...» (Musset 1836: I, 4; *пер.*: «В молодости меня постиг тяжкий нравственный недуг, и вот теперь я описываю то, что перенес в течение трех лет. Если бы только я один страдал этим недугом, то умолчал бы о нем, но так как многие другие страдают тем же недугом, то я пишу для них» — Мюссе 1957: II, 5). Как и Мюссе, Лермонтов в конце Предисловия говорит о «болезни», разумея здесь «пороки поколения», тот недуг, о котором упоминает французский поэт. Оба автора видят в героях своих романов людей, воплотивших типические свойства своего века. Ср., однако, позицию В. В. Набокова: «Едва ли нам стоит принимать всерьез, как это делают многие русские комментаторы, слова Лермонтова, утверждающего в своем „Предисловии“ (которое само по себе есть искусная мистификация), будто портрет Печорина „составлен из пороков всего нашего поколения“. На самом деле этот скучающий чудак — продукт нескольких поколений, в том числе нерусских» (Набоков 1988: 194).

Ему просто было весело рисовать современного человека... — Это место Предисловия можно сопоставить не только с Байроном (см. выше), но и с отрывком из стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840): «И как-то весело и больно / Тревожить язвы старых ран... / Тогда пишу. Диктует совесть, Пером сердитым водит ум...» (Т. 1. № 386). Неожиданное заявление Лермонтова, что «ему просто было весело рисовать портрет современного человека», после сформулированных выше таких значительных задач романа («портрет, составленный из пороков всего нашего поколения» и пр.) — это дань определенной традиции. Демонстрация «легкого» отношения к собственному творчеству знаменовала определенную литературную установку, свойственную, например, Пушкину, который сближает в «Евгении Онегине» строки «Небрежный плод моих забав» и «Ума холодных наблюдений / И сердца горестных замет» (Пушкин 1937–1959: VI, 3; см.: Миллер 2011: 51–57).

Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж Бог знает! — Ж. Санд (1804–1876) в статье о романе Сенанкура «Оберман» так высказывалась о призвании писателя: «Son rôle est d'apprendre et non de juger. Il constate et ne discute pas. Il grossit son trésor d'observations de la découverte des cas extraordinaires. Pour lui, il s'agit de connaître la maladie, plus tard il cherchera le remède» (Revue des deux mondes. 1833. Vol. III. P. 649; *пер.*: «Его роль заключается в том, чтобы познавать, а не судить. Он устанавливает факты, а не спорит о них. Он пополняет свою сокровищницу наблюдений, открывая необычные случаи. Он стремится прежде

всего определить болезнь, а лечить же ее будет потом» (Жорж Санд 1974: VIII, 633). Роман Сенанкура с предисловием Ж. Санд вышел в Париже в 1840 г. (подробнее см.: Кийко 1985: 181–193; ср. также: Эйхенбаум 1959: 8–9).

Бэла

Появление «Бэлы» в «Отечественных записках» (1839. Т. II. № 3. Отд. 3. С. 167–212) с подзаголовком «Из записок офицера о Кавказе» вызвало сочувственный отзыв Белинского: «В III № помещена „Бэла“, рассказ г. Лермонтова, *молодого поэта* с необыкновенным талантом. Здесь в первый еще раз является г. Лермонтов с прозаическим опытом — и этот опыт достоин его высокого поэтического дарования. Простота и безыскусственность этого рассказа — невыразимы, и каждое слово в нем так на своем месте, так богато значением. Вот такие рассказы о Кавказе, о диких горцах и отношениях к ним наших войск мы готовы читать, потому что такие рассказы знакомят с предметом, а не клевещут на него. Чтение прекрасной повести г. Лермонтова многим может быть полезно еще и как противоядие чтению повестей Марлинского» (Белинский 1953–1959: III, 188). Белинский противопоставил новеллу Лермонтова романтическим кавказским повестям А. А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек» (1832) и «Мулла-Нур» (1836), пользовавшимся в тридцатые годы XIX века большим успехом у широких кругов читателей (в том числе у самого Лермонтова). Сопоставление «Бэлы» с повестями Марлинского, причем не в пользу последних, невольно приходило в голову и другим современникам Лермонтова. Так, известный прозаик Н. Ф. Павлов (1803–1864) писал А. А. Краевскому: «Как хорошо рассказана Бела, лучше Марлинского» (см.: Вильчинский 1970: 86).

К концу тридцатых годов XIX века, когда Лермонтов создавал свой роман, тема любви цивилизованного европейца к «дикарке» была уже хорошо разработана. У истоков этой литературной традиции стоял роман Ф.-Р. де Шатобриана «Атала» (1805), в котором «дикарка» освобождает пленника, а также более поздние его романы — «Рене» и «Начезы», представляющие с «Аталой» единый цикл (см.: Дурылин 1940: 135–136; Мейер 2011: 87–89). Наиболее яркое выражение разработка этой темы получила в некоторых восточных поэмах Байрона (напр., «Гяур», «Корсар») и в отдельных эпизодах «Дон-Жуана». Об освещении темы «естественного человека» в русской печати XVIII и первой трети XIX в. см., в частности: Китанина 2009: 231–239.

Виноградов отмечал ориентацию «Бэлы» на романтический сюжет о «кавказском пленнике», реализованный в творчестве как Пушкина и Марлинского, так и самого Лермонтова (Виноградов 1941: 566–569). У Лермонтова традиционный сюжет о любви цивилизованного человека к дикарке оказывается, однако, перевернутым: уже не цивилизованный человек оказывается в плену или в гостях у «благородных дикарей», а, наоборот, благородная дикарка — в плену у «цивилизванных» людей. При этом вольтеровская модель (Гурон в «Простодушном», 1767), призванная прежде всего показать социальные пороки европейской цивилизации, Лермонтовым не востребована — для него важен не столько цивили-

зационный конфликт, сколько психологический (поражение героя перед лицом «дикарской» цельности Бэлы).

«Бэла» является началом дорожных записок странствующего молодого офицера, образ которого отчасти автобиографичен. Путевые записки, которые становятся рамкой для сюжетного повествования или вставной новеллы, — конструкция, в мировом литературном опыте далеко не редкая. Из ближайших русских прецедентов можно назвать, например, «Поездку в Германию» (1831) Н. И. Греча, «Цыганку» (1827) В. И. Даля, некоторые повести Марлинского и др. (см.: Евзерихина 1960а: 53; Виноградов 1956: 20–28; Герштейн 1976: 21–25). Рамочная композиция «Бэлы» (старый служака, неравнодушный свидетель событий, происходящих с молодой парой, рассказывает о них автору путевых записок) сближает ее с новеллой А. де Виньи «Лоретта, или Красная печать» (1833), которая открывала его сборник «Неволя и величие солдата» («Servitude et grandeur militaires», 1835). При этом основные сюжеты новелл не имеют между собой ничего общего. Подробнее см.: Worontzoff 1990: 51–61; Мейер 2011: 78–87.

Описательная часть «Бэлы» связывает ее с «Путешествием в Арзрум» Пушкина, опубликованным в 1836 (см.: Михайлова 1957: 219–220; Эйхенбаум 1962: 149). Сходство проявляется даже в трактовке топонимов: и для Пушкина, и для Лермонтова предельно важна историческая и географическая точность. В описаниях для Лермонтова принципиален отказ от вычурных и эмоционально окрашенных подробностей, которыми наполнены записки «сентиментальных путешественников». Отмечалась также близость некоторых эпизодов «Бэлы» с пушкинским изложением записок Дж. Теннера о пребывании среди индейцев Северной Америки (Современник. 1836. Т. III. С. 205–256; Серман 1997: 290–292).

М. Н. Лонгинов, а за ним и П. А. Висковатов, считали, что в основу рассказа о Бэле положено истинное происшествие, случившееся с родственником Лермонтова Акимом Акимовичем Хастатовым, у которого в Шелкозаводске жила «татарка» под этим именем (РС. 1873. Т. VII. Кн. 3. С. 391; Висковатов 1891: 263). А. В. Попов полагал, что прототипом Бэлы в известной мере послужила жена сослуживца Лермонтова по Нижегородскому драгунскому полку Г. И. Нечволодова — 22-летняя Екатерина Григорьевна, происходившая из племени абадзехов (Попов 1949: 58–61). Увлечение русского офицера девушкой-горянкой в условиях кавказской войны было явлением не редким. О любви приятеля Лермонтова князя А. Н. Долгорукова к черкешенке Гуаше рассказал в своем очерке «Гуаша» убийца поэта Н. С. Мартынов (1904: 111–118). См. также рассказ Ф. Ф. Торнау о том, как он нашел в плену у горцев свою Бэлу, черкешенку Аслан-Коз (Торнау 1864: II, 130–131). См. также: Лейбов 2000: 91–103.

С. 156. *Я ехал на перекладных из Тифлиса.* — Рассказчик-офицер едет из Тифлиса (ныне Тбилиси), столицы Грузии, во Владикавказ по Военно-Грузинской дороге, которая пересекает Кавказский хребет по долинам Терека, текущего с ледников Казбека, и Арагвы, текущей с Казбека на юг. Это был главный и наиболее удобный путь протяжением в 201,75 версты, соединявший Россию с Грузией, Арменией и Азербайджаном, которые вошли в состав Российской империи в первое тридцати-

летие XIX века. Постоянное сообщение по Военно-Грузинской дороге было открыто русским правительством еще в 1799 году, до присоединения Грузии.

В «Бэле» описывается перевал через самую трудную, высокую и опасную часть пути между станциями Пассанаур — Койшаур и Коби.

Перекладные — казенные почтовые лошади, которые перепрягались, сменялись на почтовых станциях. «Пассажир, ехавший на почтовых, должен был иметь „подорожную“, в которой указывались маршрут, должность и фамилия пассажира и обозначалось, по казенной или по своей надобности он едет, каких лошадей следовало запрягать ему на станциях — „почтовых“ или „курьерских“ — и число лошадей. „Прогоны“, т. е. плата за каждую лошадь и версту, взимались в зависимости от тракта. Число лошадей, которое имел право требовать проезжий, обусловливалось его чином и званием. Максим Максимыч, как штабс-капитан (9-й класс), имел право на три лошади» (Дурылин 1940: 178–179).

С. 156. *...я въехал в Койшаурскую долину.* — Койшаурская долина, известная своей красотой и богатейшей растительностью, является верхней частью долины Арагвы, левого притока Куры, которая берет начало в Гудовском ущелье под перевалом Военно-Грузинской дороги. Ср. в «Путешествии в Арзрум» Пушкина: «С высоты Гудгоры открывается Койшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся как серебряная лента, — и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога» (Пушкин 1937–1959: VIII, 441–490).

...полного мглою ущелья... — Это выражение встречается у Лермонтова не раз. См. в «Княжне Мери» в записи от 10 июня: «...ущелья, полные мглою и молчанием...» (с. 236), а также в стихотворении 1840 года «Из Гёте» («Горные вершины...»; Т. 1. С. 326): «Тихие долины / Полны свежей мглой».

...мы остановились возле духана. — Духан — харчевня, трактир, также мелочная лавка.

...я нанял шесть быков... — Шесть быков для подъема тележки в зимнее время на Крестовый перевал не превышали обычного числа быков. Так, В. А. Полторацкий в воспоминаниях утверждает, что в декабре 1846 года один путешественник поднимался «на шести парах волов в Койшаурскую анафемскую гору» (ИВ. 1893. Кн. 1. С. 58). Подъем «тележки» в гору на быках, нанимаемых у осетин, описал в «Путешествии в Арзрум» и Пушкин: «...услышали мы шум, крики и увидели зрелище необыкновенное: 18 пар тощих, малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую венскую коляску приятеля моего О. Граф П... предпочел впрячь целое стадо волов в свою бричку» (Пушкин 1937–1959: VIII, 453). Пушкин просто передает факт, не ставя большое число быков (36) ни в какую связь с плутовством их хозяев. У Лермонтова Максим Максимыч — при подобных же тяжелых условиях подъема на тот же перевал, только с другой, южной стороны — число быков объясняет «плутовством» осетин-погонщиков.

За нею шел хозяин... — Еще Дюшен (Duchesne 1910: 214) высказывал предположение, что образ Максима Максимыча восходит к фигуре капитана из новеллы А. де Виньи «Лоретта, или Красная печать», фабульная рамка которой, как было

сказано выше, действительно имеет сходство с композицией «Бэлы». В обеих новеллах рассказчики встречают соответствующих персонажей на горной дороге; поводом для сближения является также сходство в возрасте (обоим около 50 лет), внешности и костюме. Оба персонажа также с искренней нежностью и заботой относятся к близким им героиням: капитан из рассказа Виньи — к сопровождаемой им вдове, Максим Максимыч — к Бэле. Тем не менее, Шувалов считал эти совпадения формальными, мотивирую близость персонажей их сходным социальным статусом (Шувалов 1914: 334–335). В. И. Кондорская также считала это предположение недоказанным, обращая внимание на то, что роли капитана и Максима Максимыча в повествовании совершенно различны (Кондорская 1970: 85–89). Доводы в защиту гипотезы см.: Worontzoff 1990: 51–61; Мейер 2011: 78–87.

С. 156. *Вы верно едете в Ставрополь?* — Ставрополь основан в 1777 году как одна из десяти крепостей Азовско-Моздокской укрепленной линии, созданной для охраны южных границ России на Северном Кавказе. В 1785 году поселок при крепости был превращен в уездный город Кавказской губернии. В 1822 году при преобразовании Кавказской губернии в область Ставрополь стал ее центром. Через Ставрополь проходил главный почтовый тракт, связывавший Кавказ с Москвой и Петербургом. Здесь находился Штаб войск Кавказской линии и Черномории. По долгу службы обязанный являться в Штаб войск Кавказской линии и Черномории, Лермонтов неоднократно бывал в Ставрополе в 1837, 1840, 1841 годах. Здесь он представлялся командующему войсками генерал-адъютанту П. Х. Граббе (1789–1875), бывал в доме своего родственника, начальника Штаба войск Кавказской линии П. И. Петрова (1790–1871), встречался с сосланными декабристами С. И. Кривцовым, В. М. Голицыным, В. Н. Лихаревым, М. А. Назимовым, М. М. Нарышкиным, А. И. Одоевским и А. И. Черкасовым, а также с их друзьями Н. М. Сатиным и доктором Н. В. Майером.

С. 157. *...служил при Алексее Петровиче ~ Когда он <Ермолов> приехал на Линию...* — Алексей Петрович Ермолов (1772–1861) начал военную службу в артиллерии под начальством Суворова. В 1798 году за письмо к А. М. Каховскому, брату по матери, с резкими отзывами о начальстве Ермолов был заключен в Петропавловскую крепость, а затем сослан в Кострому. С воцарением Александра I, в июне 1801 года, Ермолову было разрешено вернуться на военную службу. В войне 1812 года он был уже начальником штаба сначала первой армии, потом обеих соединенных армий. В боях под Бородином, Бауценом и Кульмом Ермолов проявил личный героизм, а также талант военного организатора. В 1815 году он был назначен главнокомандующим на Кавказ. Здесь в самых трудных условиях удивительные организаторские способности Ермолова проявились особенно ярко. С 1818 года Ермолов приступил к систематическому проведению в жизнь своего плана покорения горских народов Северного и Центрального Кавказа. При Ермолове в Чечне, Дагестане и на Кубани были возведены новые крепости (Грозная, Внезапная, Бурная); значительно улучшена Военно-Грузинская дорога; на военную и гражданскую службу на Кавказе и в Закавказье привлечена даровитая и образованная молодежь (Грибоедов, Кюхельбекер и др.). Резкий и прямой, не желавший

угождать высшему начальству, Ермолов пользовался большой популярностью среди своих подчиненных, в том числе среди молодого поколения, из которого вышли будущие декабристы. Ермолов предупредил Грибоедова о грозящем ему аресте за причастность к декабристскому движению. Близость Ермолова к декабристам и его оппозиционные настроения были хорошо известны Николаю I. После разгрома декабристов участь Ермолова была решена. В Грузию как бы в помощь Ермолову, а на самом деле для надзора за ним был послан генерал-адъютант Паскевич. Наконец в 1827 году Ермолов получил отставку, покинул Кавказ и окончательно удалился от дел. В 1829 году в Калуге его навестил Пушкин, описавший эту встречу в первой главе «Путешествия в Арзрум». «Кавказец» (№ 494) и «Спор» (Т. 1. № 411), где упомянут Ермолов, написаны Лермонтовым вскоре после личной встречи с генералом. Эта встреча могла состояться в Орле или в Москве в конце января — начале февраля 1841 года, когда проездом в Петербург Лермонтов должен был передать Ермолову частное письмо от командующего войсками Кавказской линии и в Черномории генерал-адъютанта П. Х. Граббе (1789–1875), написанное около 14 января. Об этом см.: Андреев-Кривич 1946: 260; Андроников 1968: 480–496. На пути к месту последней дуэли Лермонтов рассказывал М. П. Глебову (1819–1847) о своем замысле написать роман «из Кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове» (Мартьянов 1893–1896: II, 93–94). П. И. Бартенев сообщил отклик А. П. Ермолова на известие о гибели Лермонтова: «Уж я бы не спустил этому Мартынову!.. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать да, вынувши часы, считать, через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься»! (Бартенев 1863: 440–441; см. также: Воспоминания 1989: 511). Упоминание имени опального Ермолова с подчеркнутым сочувствием и уважением на первых же страницах романа Лермонтова воспринималось читателями того времени как смелый выпад оппозиционно настроенного автора.

С. 157. *Линия* — Кавказская линия, Кавказская кордонная линия — цепь укреплений для защиты от набегов горцев (см. также примеч. к «Фаталисту»).

Уж татары по мне лучше... — Татары — одно из общих названий для тюркоязычных народов Кавказа и Закавказья, исповедующих мусульманство (азербайджанцы, кумыки, балкарцы и т. д.). В более широком смысле в кавказоведческой литературе XIX века татары — горцы-мусульмане Северного Кавказа и Дагестана. В произведениях Лермонтова это слово встречается в обоих смыслах — и как название кумыков (в «Герое нашего времени»), и как обозначение горцев-мусульман («Я к вам пишу случайно; право...» и «Свиданье»; № 397, 419). Максим Максимыч в «Бэле» говорит о татарах как непьющем народе: Коран запрещал правоверным мусульманам употреблять спиртное. Впрочем, это требование часто нарушалось. См.: Михайлов 1951: 127–135; Виноградов 1963b: 57; Андроников 1968: 352, 363–367.

С. 158. *Гуд-гора курилась...* — Гуд-гора в главном Кавказском хребте с северной стороны отделяется от Крестовой горы небольшой долиной, известной под име-

нем Чертовой. В середине XIX века гора Гуд входила в территорию Тифлисской губернии, в Горский округ. В те времена Военно-Грузинская дорога пролегала по Гуд-горе. В зимние месяцы это была самая опасная часть дороги от свисавшей над нею снежной массы, иногда в несколько сажен толщиной. Лавина нередко падала через дорогу и уносила за собой в пропасть все, что попадалось ей на пути. «Дорога на Крестовую, Гуд и Кайшаурскую гору идет по краям обрывов, имеющих утесистые покатости сажен в 100 и более, где по бокам нет никакого забора, ни каменного устоя, который мог бы предохранить от неосторожного скачка или шага лошади, могущей через то упасть в бездну, что особенно может случиться во время ненастья, туманов и вьюги, преимущественно бывающих здесь по вечернем закате солнца и в ночное время» (Руководство к познанию Кавказа. СПб., 1847. Кн. 2. С. 59; ср. ниже коммент. к фразе «...были ль обвалы на Крестовой?»).

С. 158. *Едва успел я накинуть бурку...* — См. примеч. к с. 269 («Кавказец»).

...были ль обвалы на Крестовой? — Военно-Грузинская дорога обходит Казбек с востока. Ледники, спускающиеся с вершины Казбека, а также с других вершин (Крестовой, Гуд-горы), бывают причиной обвалов. В этом отношении самый опасный из ледников Казбека — Девдоракский. В первой половине XIX века в этом месте случались обвалы в 1808, 1817 и 1832 годах. Последний обвал был особенно ужасен: 12 августа обрушилась такая масса снега, льда и камней, что засыпало дно ущелья на протяжении двух верст высотою до 50 сажен. Терек на некоторое время остановился, образовав выше обвала большое озеро. Два года загораживал этот обвал дорогу; нагроможденный лед и снег переходили пешком по вырубленным ступеням.

Сакля была прилеплена одним боком к скале. — Сакля — от грузинского сахли — дом. Иногда в самых зажиточных горских семьях сакля делилась на две половины: мужскую, она же кунацкая, и женскую. Но чаще всего в лермонтовские времена у народов Северного Кавказа жилье состояло из одной комнаты, где помещалась вся семья. Женской половины обычно не было, но с женитьбой сыновей молодые брачные пары жили в отдельном доме в том же дворе или в отдельной комнате. Богатый и знатный горец, особенно в Адыгее и в Кабарде, если не было гостей, чаще всего ночевал в кунацкой. Если у него было несколько жен, то у каждой из них было свое, особое помещение. Горская беднота жила в сакле без сеней, без двора, без изгороди. Главная часть осетинской сакли — большая общая комната, служившая одновременно и кухней, и столовой. Целый день в ней происходила стряпня, так как у осетин не было определенного времени для еды и члены семьи ели не все вместе, а сначала — старшие, затем — младшие. Посреди комнаты, как это отметил Лермонтов, обычно находился очаг, над которым на цепи висел медный или чугунный котел. Очаг — центр, около которого проходила вся жизнь семьи. Железная цепь, прикрепленная к потолку у дымового отверстия, — самый священный предмет в доме: приблизившийся к очагу и прикоснувшийся к цепи становился близким семье; оскорбление цепи, унесение ее из дому считалось величайшей обидой для дома, которая требовала кровной мести.

С. 159. *А вы долго были в Чечне?* — Чечня — до 1840 года пространство в границах: на западе — р. Фортанга (ныне считают р. Нетахой) до укрепления Ачхоевского,

затем через Казах-Кичу до станицы Стодеревской; на севере — Терек до впадения в него Сунжи; на востоке — Кочкалыковский хребет, затем от Герзельаула до крепости Внезапной и верховья реки Акташ; на юге — Андийский хребет до реки Шаро-Аргуна и Черных гор, далее до истоков реки Фортанги (по Берже). Сунжа разделяла Большую (возвышенную) и Малую (низменную) Чечню. Горная юго-восточная Чечня называлась Ичкерией. В годы кавказской войны Чечня была житницей Шамиля. В 1840 году Чечня присоединилась к нему, и на ее территории начались серьезные сражения. В этих военных действиях участвовал служивший в Тенгинском пехотном полку Лермонтов. С отрядом генерала А. В. Галафеева он дважды был в походе из крепости Грозной в Чечню и в стихотворном послании «Я к вам пишу случайно; право...» («<Валерик>»; Т. 1. № 397) описал кровопролитное сражение на реке Валерик 11 июля 1840 года. Принимал Лермонтов участие и в сражении на этой реке 30 октября того же года. При чтении романа Лермонтова, а также других его произведений о Кавказе следует учитывать распространенный среди его современников взгляд на Чечню и чеченцев. Так, А. П. Ермолов считал чеченцев «самыми злейшими из разбойников, нападающих на линию. Общество их весьма малолюдно, но чрезвычайно умножилось в последние несколько лет, ибо принимались дружественно злодеи всех прочих народов, оставляющие землю свою по каким-либо преступлениям» (Ермолов 1991: 285). С. М. Броневский писал: «Нравы сего колена <чеченцев> отличают его от всех кавказских народов злобою, хищностию и свирепым бесстрашием в разбоях, составляющих главное ремесло чеченцев. По сей причине соседство их с российскими границами почиталось весьма беспокойным, так что сношений с ними других не бывает, кроме воинских, или временной и притворной их покорности, которая при первом удобном случае опять превращается в необузданную наглость» (Броневский 1823: II, 172–173). Об том подробнее см.: Жогин 1994: 116–124. Лермонтов без предубеждения относился к кавказским горцам, с интересом знакомился с их фольклором и бытом. Старик чеченец, провожая поэта через горы, рассказывал ему старинные предания (см. «Измаил-Бей»). Был у Лермонтова и кунак-чеченец (см. «<Валерик>»; Т. 1. № 397).

С. 159. *...я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода...* — Каменный Брод — укрепление на реке Аксай (по-кумыкски Таш-Кичу), на Кумыкской равнине, на самой границе с Чечней. В настоящее время на его месте расположен аул Аксай (Дагестан). Укрепление было построено в 1825 году русскими солдатами по приказу генерала А. П. Ермолова и служило связующим пунктом между крепостью Внезапной и Амур-Ажди-Юртской переправой. В непосредственной близости от крепости находились чеченские аулы, но земли принадлежали аксайским кумыкским князьям. Вот почему Максим Максимыч не отрицал, что бывал и служил в Чечне, и Печорин спрашивал Бэлу, любит ли она чеченца. *Кумыки* — тюркоязычный народ — коренное население Кумыкской равнины, на которой находилось укрепление Каменный Брод. О Каменном Броде см.: Андроников 1958: 170; Виноградов 1963b: 54–57.

...бывало, на сто шагов отойдешь за вал... — «В Чечне, в Дагестане, в местах частых набегов, офицеры и солдаты, кроме самих себя и неприятеля, никого не видят, не знают прогулки вне крепости, а если нужда велит идти за дровами или

пищею и кормом, то выходят не иначе, как с вооруженными проводниками» (Розен 1984: 333).

С. 159. *...старые кавказцы любят поговорить...* — В своем очерке «Кавказец» Лермонтов рассказывает, что, выйдя в отставку и неспешно пробираясь на родину, кавказец «останавливается всегда на почтовых станциях, чтоб поболтать с проезжающими... Станционный смотритель слушает его с уважением, и только тут отставной герой позволяет себе прихвастнуть...» (с. 270).

С. 160. *Да вот хоть черкесы...* — Черкесы — народ северо-западного Кавказа, родственный кабардинцам, шапсугам, абадзехам, натухайцам, темиргоевцам, бжедухам, беселенеевцам, в настоящее время объединяемым общим понятием *адыге* или *адыгейцы.* Во времена Лермонтова черкесами часто называли вообще горцев.

...этому скоро пять лет. — Повесть «Бэла» охватывает события, отстоящие друг от друга на целое пятилетие. В рассказе Максима Максимыча дан первый эскиз портрета Печорина, еще молодого двадцатипятилетнего офицера, только что приехавшего из Петербурга на Кавказ: «Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький...». Именно таким был Печорин, когда он увидел и полюбил Бэлу. По-видимому, первоначально Лермонтов предполагал, что в крепость у Каменного Брода Печорин приехал из Петербурга. Но затем, в процессе работы над романом, Лермонтов внес существенное изменение в фабульный порядок «Героя нашего времени». Заключительная часть записок Печорина в «Княжне Мери» свидетельствует о том, что в крепость Печорин попал за дуэль с Грушницким, не из Петербурга непосредственно, а с Кавказских Минеральных Вод. Но характеристика молодого, не знающего Кавказа Печорина в тексте «Бэлы» осталась (вероятно, это — след ранней редакции «Бэлы», когда повесть еще не мыслилась как часть романа). Последняя встреча Максима Максимыча и автора путевых заметок во Владикавказе (в следующей повести «Максим Максимыч»), следовательно, происходит через пять лет после дуэли Печорина с Грушницким и истории с похищением Бэлы, когда Печорину было уже около тридцати лет. Развернутая характеристика тридцатилетнего Печорина и его портрет даны уже не Максимом Максимычем, а рассказчиком-офицером. Однако следует учитывать замечание Э. Г. Герштейн: «Календарный подход к развитию художественных образов не всегда приемлем... Перенесение времени действия несколько назад — постоянная и довольно невинная уловка Лермонтова. Это никого не обманывало...» (Герштейн 1997: 24–25).

Его звали <...> Григорьем Александровичем Печориным... — Впервые в творчестве Лермонтова это имя и фамилия встречаются в неоконченном романе «Княгиня Лиговская»(см. № 490), над которым Лермонтов работал в 1836 году. Типичность образа Печорина не исключает вопроса о прототипах. В качестве последних в литературе о Лермонтове рассматривались личности А. П. Шувалова, Ал. Н. Карамзина и многих других. В последнее время прототипами Печорина называли Н. И. Поливанова (Махлевич 1981: 247–278); В. С. Печерина (Корнеев 1987: 81–91); К. Ф. Опочинина (Кистенева 1995: 17–18). Многочисленность этих предположений еще раз подтверждает собирательность этого образа.

...только немножко странен ~ Да-с, с большими был странностями... — Печорин — странный человек. Странным человеком называют его и княжна Мери

(с. 221), и доктор Вернер (с. 250). Отмечает странность в облике Печорина и офицер-повествователь (с. 187). Наконец, сам Печорин не раз признается в своих странностях (с. 256 и др.). Ранее этот эпитет применялся Лермонтовым к Владимиру Арбенину, герою драмы «Странный человек» (1831).

С. 160. *...есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи.* — Эти слова Максима Максимыча получают дальнейшее развитие в заключительной повести «Героя нашего времени» — «Фаталисте». Таким образом, тема предопределения намечается уже в самом начале романа.

С. 161. *...Азамат, не сносить тебе головы...* — Азамат — тюркоязычное имя, имеющее определенное значение: молодец, удалец, юноша (лет двадцати).

...мы были с ним кунаки... — Кунак — (тюркское «конак») — друг, приятель. У кавказских народов куначество — взаимное хлебосольство; обычай, налагавший на обе стороны некоторые взаимные нравственные обязанности: взаимовыручку, верность. Судя по тексту стихотворения «Я к вам пишу случайно; право...» («<Валерик>»; Т. 1. № 397), у Лермонтова был кунак из числа мирных горцев.

Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках... — Легенды о «прекрасных черкешенках» («belles Circassiennes»), гордости восточных гаремов, получили распространение в европейской литературе уже к середине XVIII в. — о красоте черкешенок писали не только в травелогах, но и в романах, пьесах, ориентальных сказках. Пушкин перенес эту моду в Россию; после поэмы «Кавказский пленник» (опубл. 1822) русской молодежи кружила головы мечта о «деве гор». «Кавказец», герой очерка Лермонтова (см. № 494), еще на школьной скамье упивавшийся поэмой Пушкина, попав на Кавказ, «одно время мечтал о пленной черкешенке», а потом должен был махнуть рукою на «эту почти несбыточную мечту» (с. 268). Образ черкешенки появляется еще в отроческом стихотворении Лермонтова «Черкешенка» (Т. 1. № 42). Освоение Кавказа не разрушило идеальной репутации черкешенок: еще в 1830-е годы о них ходило много рассказов — и правдивых, и легендарных. В повести Марлинского «Вечер на Кавказских водах в 1824 году» один из собеседников говорит, что самая красивая кавказская татарка «по рабским привычкам своим достойна только закуривать трубки», «черкешенки вовсе иное дело, да мы осуждены любоваться ими как недоступными вершинами Кавказа и видим их едва ль не реже солнечного затмения». Белинский в 1837 году пишет из Пятигорска Бакунину, подтрунивая над своим любопытством: «Черкесов вижу много, но черкешенки — увы! — еще ни одной не видел... Ох, черкешенки!.. Чтоб видеть их, надо ехать в аул, верст за 30... А все-таки хочется посмотреть чернооких черкешенок!» (Белинский 1953–1959: XI, 138). Ф. Ф. Торнау, имевший возможность хорошо познакомиться с черкесским бытом той эпохи, рассказывает: «...у черкесов не скрывают девушек, они не носят покрывала, бывают в мужском обществе, пляшут с молодыми людьми и ходят свободно по гостям. У черкесов редко выдают девушку против ее воли <...>. Девушки показываются в мужском обществе с открытым лицом» (Торнау 1864: II, 68, 91).

...повели в кунацкую. — Кунацкая — от тюркского «конак», т. е. гость, друг, приятель. Кунацкая могла быть двух видов: отдельная сакля, предназначенная

для приема гостей, и часть общего жилья, мужская половина, где обитал хозяин дома и все мужчины вместе с гостями. В кавказоведческой и художественной литературе прошлого века под кунацкой обычно понималась особая комната, гостиная. Так употребляет это слово и Лермонтов. Кунацкая иногда превращалась в своеобразный клуб молодых мужчин. «Сидят и спят в ней на земле, на камышовых циновках, на коврах, на подушках и тюфяках, составляющих у гостеприимного черкеса самую значительную и самую роскошную часть его домашних принадлежностей. В кунацкой всегда есть, кроме того, медный кувшин с тазом для умыванья <...>. Кушанья подают на низких круглых столиках» (Торнау 1864: I, 80). О куначестве см.: Кокиев 1885: 78–79; Дурылин 1940: 56–58; Косвен 1961: 126–129.

С. 161. *Как же у них празднуют свадьбу?* — Первые фразы рассказа Максима Максимыча о свадьбе старшей сестры Бэлы, как полагает Б. С. Виноградов (1963b: 56–57), описывают кумыкскую свадьбу вообще, а затем идет речь о свадьбе у князя-кунака. Дурылин считал, что Лермонтов допустил ошибку, так как, по его мнению, у горцев свадьба не справляется в доме невесты (Дурылин 1940: 59). Между тем Н. С. Семенов описывает кумыкские свадебные обряды в доме невесты, которые совпадают с рассказом Максима Максимыча (Семенов 1895: 260–305).

...начинается джигитовка... — Джигитовка — упражнения вооруженного всадника на быстро скачущей лошади, требующие смелости и ловкости.

...какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию... — На кумыкской свадьбе было обязательно участие шута — ойуечу.

...вроде нашей балалайки. — Такие инструменты есть у многих горских народов, например, трехструнный щипковый инструмент дечик-пондур, встречающийся в Чечне и Ингушетии и по конструкции близкий к дагестанскому агач-кумузу (Атлас 1963: 110). В. В. Виноградов в исследовании «Стиль прозы Лермонтова» обратил внимание на то, что Максим Максимыч иногда «как бы затрудняется припомнить и выговорить соответствующее кавказское слово и обозначает предмет „по-нашему“, т. е. подыскивает соответствующее русское название». Для речи Максима Максимыча также характерны выражения и образы из круга его военной профессиональной терминологии (см.: Виноградов 1941: 570–572).

Девки и молодые ребята становятся в две шеренги ~ и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. — «Что попало» надо понимать как импровизацию. Максим Максимыч описывает песню-игру, характерную для кумыкской свадьбы. Называется эта песня-игра сарын. Исполняя сарын, девушка и молодой человек обмениваются комплиментами. Нечто вроде комплимента в духе сарын пропела Печорину Бэла. Она как бы втягивала русского офицера в кумыкскую свадебную игру. Ее комплимент не носил любовного характера, но в какой-то степени намекал на чувства девушки. Адаты, правовой кодекс, основанный на обычаях, традициях у адыгейских народов, предписывали дочери хозяина по его указанию приветствовать гостя. Можно было приветствовать и стихами, умение импровизировать очень ценилось в девушках. У кумыков горянка обычно не могла говорить с посторонним мужчиной, но на свадьбе этот запрет не действовал. См.: Головинский 1878: 290–297; Виноградов 1963b: 56–57.

С. 162. *Ее зовут Бэлою...* — Этимология имени Бэла не установлена. В «Справочнике личных имен народов РСФСР» (М., 1979) такого имени у кавказских народов не зарегистрировано. Среди традиционных мусульманских женских имен такого имени тоже нет. В настоящее время это имя на Северном Кавказе встречается довольно часто и, возможно, подсказано романом Лермонтова. Вопрос о национальной принадлежности Бэлы окончательно не разрешен. Печорин и Максим Максимыч говорят о семье Бэлы как о семье черкесской, а Бэлу называют черкешенкой. Но черкесы обитали в западной части Северного Кавказа, на левом берегу Кубани, действие же повести «Бэла» происходит в укреплении Таш-Кичу (Каменный Брод) и в окрестностях этого укрепления на Кумыкской плоскости, на самой границе с Чечней и в непосредственной близости к чеченским аулам. Дурылин обратил внимание на то, что географическое указание в рассказе Максима Максимыча противоречит его же этнографическим указаниям. Противоречие разрешается тем, что под черкесами в обычном словоупотреблении в 1820–1830-х гг. зачастую разумелись все вообще горцы Северного Кавказа, как под татарами подразумевались все вообще кавказцы мусульманского вероисповедания. Поэтому Дурылин предположил, что семья Бэлы чеченская, хотя отметил существенное обстоятельство, подрывающее справедливость такого предположения: Максим Максимыч именует отца Бэлы князем, а сама Бэла с гордостью говорит: «...я княжеская дочь» (Дурылин 1940: 53–54). Между тем известно, что у чеченцев княжеских родов не было, у них было что-то вроде дворянства; чеченцы представляли собой первобытную демократию с остатками родового быта. Б. С. Виноградов полагает, что отец Бэлы был кумыкский князь, а семья Бэлы кумыкская. Кумыки с XVI века были экономически и дипломатически связаны с Россией. Русские цари стояли на страже интересов кумыкских феодалов. В XVI веке кумыкские князья находились под контролем русской военной администрации (Виноградов 1953: 55–56). Существует мнение, что Бэла кабардинка, дочь кабардинского князя. Именно поэтому Максим Максимыч и Печорин называют ее черкешенкой. Кабарда отстояла от Каменного Брода дальше, чем кумыкские аулы, но поездка в Кабарду на свадьбу из Каменного Брода была вполне возможной.

...узнал моего старого знакомца Казбича. — Белинский писал: «Характеры Азамата и Казбича — это такие типы, которые будут равно понятны и англичанину, и немцу, и французу, как понятны они русскому. Вот что называется рисовать фигуры во весь рост, с национальною физиономиею и в национальном костюме!..» (Белинский 1953–1959: IV, 220). Анализ образа Азамата и Казбича см.: Михайлова 1957: 227–234. Поиски прототипа Казбича привели Н. О. Лернера, Л. П. Семенова, А. В. Попова к известному в свое время джигиту, лихому наезднику и предводителю шапсугов Кизилбечу Шертулокову. Однако, по справедливому убеждению Б. С. Виноградова, об историческом Кизбиче, или Кизилбече, речь идет только в заключительных строках повести «Бэла», где на вопрос, что сделалось с Казбичем, Максим Максимыч отвечает: «...не знаю... Слышал, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец... да вряд ли это тот самый!» Таким образом, в тексте Лермонтова образу Казбича, убийцы Бэлы, противопоставляется

какой-то другой Казбич, удалец, реальное историческое лицо. Б. С. Виноградов показал, что Казбич в повести «Бэла» и внешне совсем не походит на Кизилбеча: Казбич «маленький, сухой, широкоплечий»; Кизилбеч, как рисует его портрет адыгейский писатель Ахметуков, «...был громадного роста, с добрыми голубыми глазами, с железной грудью, большой головой, довольно приятный на вид мужчина...» (см.: Виноградов 1963b: 59–62).

С. 162. *...не то, чтоб мирно́й, не то, чтоб не мирно́й.* — Современник Лермонтова Г. И. Филипсон говорит, что мирные, «как известно, были хуже немирных» (РА. 1864. Т. 1. С. 375). Молодой Лев Толстой, приехав на Линию лет через пятнадцать, застал там «мирные, но еще беспокойные аулы» («Казаки», гл. 4). Сколько-нибудь значительной разницы между мирными и немирными горцами не было. Присяга на верность русскому правительству давалась не по доброй воле, и мирные горцы все время поддерживали самую тесную бытовую связь с немирными аулами. Об этом подробнее см.: Ливенцов 1894: 717; Розен 1984: 333.

...никогда не торговался: что запросит, давай — хоть зарежь, не уступит. — Казбич продает баранов, но чуждается торгашества. Он больше воин, чем купец; продает дешево, значит, не гонится за наживой. Историк кавказской войны Н. Ф. Дубровин сообщал: «Чеченцы торговлей занимались мало и считали это занятие постыдным. В краю, где война была не что иное, как разбой, а торговля — воровство, разбойник в мнении общества был гораздо почтеннее купца, потому что добыча первого покупалась удальством, трудами и опасностями, а второго — одною ловкостью в обмане. Если чеченцу и случалось что-нибудь продавать, то он продавал без уступки». Тот же историк писал: «Горец знал, что если он приведет на базар в укрепление животное для продажи, то его оставят на три дня на испытании; не окажется ли оно ворованным. Если в промежуток этого времени действительный хозяин не являлся, тогда деньги, следовавшие продавцу, отдавались ему покупателем, а в противном случае животное возвращалось настоящему его хозяину» (Дубровин 1871–1888: 1/1, 216–217, 382).

...он любит таскаться за Кубань с абреками... — Абреки — абазинское слово, черкесы звали их хаджеретами. Абрек на Северном Кавказе и в Дагестане в период кавказской войны — горец, по каким-либо причинам скрывавшийся от своих и вынужденный заниматься набегами. Абреком именовался также «отчаянный горец, давший срочный обет или зарок не щадить головы своей и драться неистово; также беглец, приставший для грабежа к первой шайке» (Даль 1955: I, 2; ср.: Толстой 1922: 98–99). Адыгейский писатель Ю. Кази-Бек (Ахметуков) объяснял: «Абреком назывался тот джигит, который дал клятву не сидеть дома и делать как можно больше вреда предмету своей мести» (см.: Кази-Бек 1896: I, 185–203; ср.: Дурылин 1940: 61–65). В литературе прошлого абрека часто неверно отождествляли с разбойником. Во время кавказской войны отряды абреков боролись против царских колонизаторов: прорывались через границу, «жгли русские дома, угоняли скот и лошадей, убивали каждого встречного, захватывали детей и женщин. Наши пограничные казаки, одетые и вооруженные совершенно сходно с горцами и не менее их привычные к войне, день и ночь караулили границу и, в свою очередь, столкнув-

шись с абреками, когда сила брала, истребляли их до последнего человека <...> Для десяти или двадцати абреков ничего не значило в долгую осеннюю ночь переправиться тайком через Кубань, проскакать за Ставрополь, напасть там на деревню или на проезжающих и, перед рассветом, вернуться с добычей за реку» (Торнау 1864: II, 6–8). Как раз в интересующее нас время абречество «распространилось за Кубанью, когда бежавшие кабардинцы, озлобленные покорением их земли, дали обет, пока живы, мстить русским. Скоро из разных мест молодые люди стали уходить к неприятелю, провозглашая себя абреками, без другого повода кроме удальства и страсти к похождениям. Гораздо меньшее число делались абреками, имея действительную причину жаловаться на русских. Нельзя не признаться, что и в таких не имелось недостатка» (Там же. С. 9). Ф. Ф. Торнау приводит ряд случаев административного произвола и судебной несправедливости русских властей, доводивших горцев до ухода в абреки. В свои юные годы, еще не зная кавказской жизни, веря романтическому изображению абречества в «Аммалат-беке» Марлинского, Лермонтов изобразил невозможного в бытовом отношении Хаджи Абрека (Т. 2. № 468); недаром эту поэму с исторической стороны осуждал знаток Кавказа А. Л. Зиссерман (РА. 1885. Т. 2. С. 78, 570).

С. 162. *Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы...* — Сопоставление лошади и женщины — традиционный восточный мотив. Его находят у Анакреона, у многих поэтов Ближнего Востока. Распространен он и в творчестве горцев Кавказа, в частности, в фольклоре аксайских кумыков. Не было ничего обидного для красавицы-горянки, если красоту лошади сравнивали с красотой девушки, или наоборот. Позднее в русской литературе сопоставление женщин и лошадей появляется у многих писателей и поэтов, например, у Тургенева в «Конце Чертопханова», у Фета в стихотворном послании 1864 года к И. С. Тургеневу («Тебя искал мой стих по всем концам земли...»): «Взгляни в Степановке на Фатьму-кобылицу... / Едва ль где женщину ей равную найдешь...» (Фет 1937: 416). В «Анне Карениной» Л. Н. Толстой, как известно, назвал лошадь (Фру-Фру) именем героини популярной пьесы Мейлака и Галеви «Frou-frou» (1870) и заставил Вронского испытывать к ней страсть не меньшую, чем Азамат испытал к Карагезу (подробнее см.: Эйхенбаум 1960: 220–225; Виноградов 1963а: 188–191).

Недаром на нем эта кольчуга... — Опытный Максим Максимыч знал, что черкес надевает кольчугу лишь тогда, когда предстоит серьезное столкновение. Один офицер рассказывал Г. И. Филипсону: «В начале двадцатых годов какие они там задавали бои! Выезжало иногда до пяти тысяч всадников, из которых очень много было панцырников» (РА. 1883. Т. 3. С. 169). Такое вооружение стоило дорого и не каждому было доступно. Казбич не был бедняком, судя хотя бы по тому, что надеялся посватать княжескую дочь. Панцири у черкесов носили только наездники высшего сословия. Ср. у Лермонтова в «Дарах Терека»: «Он в кольчуге драгоценной, / В налокотниках стальных...» (Т. 1. С. 309).

...присел я у забора и стал прислушиваться... — Подслушивание разговоров — прием частый в романе, вызванный тем, что повествование всюду ведется от пер-

вого лица. Об этом см.: Эйхенбаум 1924: 153. Лермонтов пользовался «приемом подслушивания» и раньше. В «Княгине Лиговской» Красинский совершенно случайно оказывается в ресторации как раз тогда, когда оскорбивший его Печорин рассказывает приятелям о своем столкновении с ним.

С. 163. *... я слышал за собою крики гяуров.* — Гяур — этим словом (от арабск. kiafir — неверный, язычник) мусульмане презрительно называют немусульман, в том числе и русских.

...сучья карагача били меня по лицу. — Карагач — Ulmus pumila, красный берест, вяз приземистый.

Карагёз — на тюркских языках означает черный глаз, черноглазый.

Валлах (арабск.) — Аллах, Бог; восклицание: «О, Боже»!

С. 164. *...шашка его настоящая гурда...* — Гурда — так назывались на Кавказе самые лучшие старинные сабельные полосы с разнообразными клеймами. «Шашка, настоящая гурда» упоминается Лермонтовым и в очерке «Кавказец» (с. 269). Отличный знаток кавказского оружия, Лермонтов знал имя известного мастера холодного оружия Геурга, который в тридцатых годах XIX века жил в Тифлисе. Возможно, что Лермонтов знал его лично.

Долго, долго молчал Казбич; наконец, вместо ответа, он затянул старинную песню вполголоса: «Много красавиц в аулах у нас...» — Песня Казбича процитирована «странствующим офицером» в стихотворной форме, что особо оговорено в примечании автора: «Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой; но привычка — вторая натура». Этим как бы подчеркивается, что «странствующий офицер» — поэт, писатель, что образ автора-рассказчика в значительной степени автобиографичен. Об этом подробнее см.: Шкловский 1955: 172; Виноградов 1956: 20–28. Песня Казбича близка к черкесской песне в «Измаил-Бее» (Т. 2. С. 66–67). Обе песни у Лермонтова восходят к мотивам, известным в народном творчестве горцев Кавказа. Об этом см.: Семенов 1941: 36 и 79; Андреев-Кривич 1954: 76. Как справедливо утверждает Б. С. Виноградов, «песня Казбича с <...> мотивом восточного противопоставления женщины и лошади введена автором в роман не только для выражения местного колорита. Песня Казбича — важнейший компонент идейно-художественной структуры произведения» (Виноградов 1963а: 198).

С. 166. *Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагёз будет ее калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден. Азамат молчал.* — Азамат, сам вызвавшийся променять Казбичу на коня свою сестру, молчит в ответ на подобное же предложение Печорина. Это объясняется тем, что Казбич — магометанин и единоплеменник, а Печорин — «гуяр», иноверец, чужой. Калым — выкуп, вносимый женихом за невесту ее родным (отцу, брату). Печорин мог знать обычай отдавать в качестве калыма лошадь с седлом.

С. 167. *Урус яман, яман!* — Русский злой, злой!

Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему. — Максим Максимыч надел эполеты и шпагу, чтобы придать своему появлению у Печорина официальный характер. Будучи

начальником гарнизона крепости, Максим Максимыч обеспокоился, как бы похищение Бэлы и сокрытие ее у Печорина не осложнило отношений с мирными горцами, к числу которых принадлежал и князь, отец Бэлы. В условиях кавказской войны конфликт с мирными горцами был нежелателен. Конечно, это понимал не только Максим Максимыч, но и Печорин. Максим Максимыч называет Печорина прапорщиком. «Звание прапорщика носили младшие офицеры пехоты и драгунских полков — в других кавалерийских частях этому званию было эквивалентно звание корнета. Таким образом, Печорин был переведен из гвардии в армейскую пехоту или армейские драгуны. Последнее представляется более вероятным. В гвардии Печорин служил в кавалерийском, хотя и не в драгунском, полку. „Я был сам некогда юнкером“, — замечает он в разговоре с княжной Мери. Юнкерами в то время назывались кандидаты именно в кавалерийские офицеры; в связи с этим характерна обмолвка Печорина, по-кавалерийски назвавшего Грушницкого юнкером, тогда как следовало назвать его подпрапорщиком, поскольку Грушницкий служит в пехоте» (Казакова, Файбисович 1988: 55–73). Чин прапорщика относился к самому низшему, XIV классу, т. е. соответствовал гражданскому чину коллежского регистратора.

С. 168. *Пожалуйте вашу шпагу!.. — Митька, шпагу!..* — Без шпаги офицер не имел права выйти из дому. Если старший по службе отбирал у офицера шпагу, это означало домашний арест. Такая же сцена со шпагой есть в «Капитанской дочке» Пушкина (гл. 4; Пушкин 1937–1959: VIII, 304), впервые опубликованной в журнале «Современник» (1836. Т. 4. С. 42–215). По этой публикации Лермонтов и прочел впервые «Капитанскую дочку». Н. И. Черняев, а за ним Б. В. Нейман обратили внимание на то, что «шпага отбирается у Печорина и возвращается ему обратно так же быстро, как отбираются и возвращаются шпаги Гринева и Швабрина». В обоих случаях очень похожа домашняя обстановка, в которой отбирается шпага. Никакой торжественности, никакой официальности. Все подчеркнуто обыденно, снижено. Василиса Егоровна велит Палашке отнести шпаги Гринева и Швабрина в чулан. Печорин кличет Митьку, чтобы тот принес шпагу, которую у него требует Максим Максимыч. И там, и тут дело происходит в захолустной крепости (см.: Черняев 1901; Нейман 1914: 114). Сходство эпизодов с арестом в «Капитанской дочке» и в «Бэле» внешнее: в каждом случае назначение этого эпизода различное. Пушкин в своем романе подчеркивает патриархальность жизни в Белогорской крепости. Лермонтов показывает невозмутимость и равнодушие Печорина к службе. Насколько несерьезно было наказание Печорина домашним арестом, видно из презрительно-шутливого ответа Печорина Максиму Максимычу: «...оставьте ее <Бэлу> у меня, а у себя мою шпагу» (с. 168).

...ведь вы добрый человек, — а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. — Печорин разделяет широко распространенное среди русских убеждение, что горянка — рабочая сила, а когда она вырастает — товар (см.: Семенов 1895: 81). Печорин понимал, что Бэла, отдавшись ему, обесчестила свой род и отец должен был бы ее убить или отречься от нее.

Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски... — Жена содержателя духана (трактира), по всей вероятности, армянка, поскольку торговля на Кавказе на-

ходилась по преимуществу в руках армян, должна была владеть так называемым татарским, т. е. тюркским или, точнее, азербайджанским языком, распространенным на Кавказе и в Закавказье. Б. С. Виноградов высказал мнение, что речь идет о кумыкском языке. То же относится и к тому языку, который начал изучать Лермонтов. Л. Н. Толстой тоже учил кумыкский язык и называл его татарским. См.: Виноградов 1963b: 54–66.

С. 169. *Послушай, моя пери, — говорил он...* — Пери (по-персидски — крылатый) — по религиозным воззрениям древних персов, — одно из прекрасных и добрых существ, находящихся в непрестанной войне с духами зла — дивами (дэвами). Печорин, как и Лермонтов, не мог, разумеется, не знать поэму В. А. Жуковского «Пери и ангел» (1821) — перевода второй части поэмы английского поэта Томаса Мура (1779–1852) «Лалла Рук» (1817) (эта часть поэмы носит в подлиннике название «Рай и Пери»). Лермонтов и его герой знали и авторское примечание к поэме: «Пери — воображаемые существа, ниже ангелов, но превосходнее людей, не живут на небе, но в цветах радуги и порхают в бальзамических облаках; питаются одними испарениями роз и жасминов и подвержены общей участи смертных. Индийцы и другие восточные народы представляют их себе в виде женщин, коих отличительное свойство составляют красота и благотворительность» (Жуковский 1901: 212). Есть у Жуковского и оригинальное стихотворение «Пери» (1831). Кроме того, в тридцатые годы XIX века были широко известны поэма А. И. Подолинского «Див и пери» (1827) и стихотворение Пушкина «Из Barry Cornwall» («Пью за здравие Мери...»; 1830; опубл. 1831; Пушкин 1937–1959: III, 259), в котором упоминается пери.

На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками... — Кизляр — город на левом берегу реки Старый Терек, в пятидесяти верстах от Каспийского моря, известный еще в начале XVII века, с 1735 года — крепость и довольно значительный торговый пункт, через который шли товары в Баку, Грузию, Персию и даже Индию. В городе было три рынка: русский, армянский и татарский. Город населяли грузины, армяне, кумыки, ногайцы, черкесы, казанские татары, персы, русские. Здесь закупали необходимые товары и чеченцы. Ср. иронический вопрос в книге Н. П. Титова «Неправдоподобные рассказы...»: «Чего нет в Кизляре? Это просто Париж восточной части Линии или как говорят, левого ее фланга» (Титов 1837: 180). Но внешний вид города был неказистым: саманные сакли, турлучные домики с плоскими камышовыми или глиняными крышами. Кизляр окружали многочисленные болота, в которых гнездились тучи малярийных комаров. Лермонтов побывал в Кизляре в 1837 году и мог там встретиться с П. А. Катениным, другом Пушкина и декабристов. Не исключено, что поэт бывал в Кизляре и во время второй ссылки на Кавказ в 1840 году (см.: Шидловский 1843: С. 161; Попов 1949: 28–35; Андроников 1958: 165–197).

С. 170. *...устоит ли азиатская красавица против такой батареи? — «Вы черкешенок не знаете, — отвечал я: — это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки, — совсем не то. У них свои правила: они иначе воспитаны».* — Н. С. Мартынов рассказывает в своем очерке «Гуаша» о любви к черкешенке одного из това-

рищей Лермонтова, князя А. Н. Долгорукого, служившего в 1837 году на Кавказе: «...Долгорукий часто привозил Гуаше незначительные подарки: когда купит для нее материи на бешмет; в другой раз поднесет ей стеклянные бусы <...> Получив от него какую-нибудь вещь, она никогда не рассматривала ее, как это делают почти все азиатцы, и даже многие из европейцев, но молча принимала подарок, благодарила за него искренно, хотя и с достоинством, нисколько, впрочем, не стараясь скрыть своего удовольствия, если вещь ей нравилась. Казалось, все усилия ее клонились только к тому, чтобы доказать, что она более ценит внимание лица, чем его подарок...» (Мартынов 1904: 113–114).

С. 170. *Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней ~ Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею.* — Психологический рисунок этого эпизода Лермонтов нашел задолго до написания «Героя нашего времени». Ср. со сценой в романе <«Вадим»>: «С мрачным лицом он взошел в комнату Ольги <...> она не могла вынести долее, вскочила и рыдая упала к его ногам...» (с. 35). Однако Лермонтов очищает описание психологического аффекта от свойственного <«Вадиму»> аффектированного стиля («райская» минута, «божественный» сон» и т. п.).

...уздени его отстали... — Как объяснял А. А. Бестужев-Марлинский, «уздень — слово татарское, сложенное из двух uz и den, что значит: сам от себя зависящий, независимый» (БдЧ. 1836. Т. 17. Отд. 1. С. 158). А. Л. Зиссерман подтверждает эту этимологию (см.: Зиссерман 1879: II, 435). У кабардинцев уздени составляли своего рода дворянское сословие, которое считалось выше зависимых сословий и ниже только князей. У черкесов в их сложном феодальном строе первое место занимали пши — князья; за ними следовали дворяне — вуорки, или уздени трех степеней: 1) тлехотль — подчинявшиеся князьям, но считавшиеся владетельными наравне с князьями; 2) беслен-вуорк — причисленные к княжеским или к дворянским аулам и 3) вуорк-шаотляхуса. За ними стояли уздени-пшекау, «которых можно назвать княжьими отроками или конвойными князя». Этими узденями-пшекау Лермонтов и окружил старого князя, возвращающегося с поисков дочери (см.: Дубровин 1871–1888: 1/1, 193, 451; ср.: Дурылин 1940: 189–190). У чеченцев не было такого сложного разделения общества. «Все чеченцы <...> составляют общий класс узденей, без всякого подразделения на сословия. — Мы все уздени, — говорят чеченцы, — понимая под этим словом людей, зависящих только от себя (слово „уздень“ на чеченском языке произносится „ёзюдан“ и происходит от слов: ёзю — от и дан — себя)» (Леонтович 1883: II, 258). У кумыков, как и у черкесов, было сословное деление общества, и уздени, или дворяне, находились в вассальных отношениях к князьям (см.: Семенов 1895: 230). Независимо от решения вопроса, был ли отец Бэлы кабардинским или кумыкским князем, в данном случае его уздени означают его свиту, состоящую из приближенных дворян или княжьих отроков, но никоим образом не простых слуг.

С. 171. *...удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми...* — Недоверие к искренности Руссо (см. Предисловие к «Журналу Печорина», с. 191) не мешает рассказчику разделять его идею об облаго-

раживании человека путем сближения с природою и его неприятие «приобретенного» душою, затемняющего ее первозданную сущность. В «Думе» Лермонтов осудил свое поколение, которому суждено состариться в бездействии именно под бременем приобретенного, «под бременем познанья и сомненья» (Т. 1. С. 209). Демон в «Сказке для детей» (Т. 2. № 477) наказан не только вечностью, но и знанием, и Печорин видит свое несчастье в том, что живет не сердцем, а только головою, мыслями, а не чувствами. «Становиться детьми, — замечает М. Н. Розанов, — это большая похвала в устах нашего поэта. С Руссо и Байроном он разделяет необычную любовь к детям» (Розанов 1914: 363–364). Ср. стихотворения «Казачья колыбельная песня» и «Ребенку» (Т. 1. № 367, 395). Эпитет «детский» в применении к взрослым у Лермонтова всегда служит похвалой. О руссоизме Лермонтова см.: Семенов 1914: 48 и след.; Розанов 1914: 383; Григорьян 1964: 179 и след.; Дьяконова 1963: 81.

С. 172. *...поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины.* — Лермонтов, как известно, учился рисованию и живописи с юных лет и был одаренным художником-любителем. В 1837 году, странствуя по Кавказу и Закавказью, он, по собственному признанию, «снял на скорую руку виды всех примечательных мест», которые посещал, и их у него собралась «порядочная коллекция» (письмо к С. А. Раевскому, № 566). Сохранилось несколько видов Кавказа, написанных Лермонтовым масляными красками, например: «Воспоминания о Кавказе», «Эльбрус. Вид с Бермамыта», «Башня в селении Сиони близ Казбека», «Тифлис», «Развалины близ селения Карагач в Кахетии» и др. Об этом подробнее см.: Пахомов 1948: 55–222; Андроников 1968: 413–430; Ковалевская 1980: 176–202.

...и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца. — Максим Максимыч, который «не любит метафизических прений» (последние слова романа) и ограничивается лишь внешней «физиологией» явлений, недаром вспомнил здесь чувство, испытанное им в боях.

...эта музыка даже приятна ~ сердце бьется сильнее. — Ср. у Пушкина в «Пире во время чумы» (1830): «Есть упоение в бою, / И бездны мрачной на краю <...> / Все, все, что гибелью грозит, / Для сердца смертного таит / Неизъяснимы наслажденья <...> / И счастлив тот, кто средь волненья / Их обретать и ведать мог» (Пушкин 1937–1959: VII, 180–181).

...под нами лежала Койшаурская долина... — Повесть «Бэла» начинается описанием Койшаурской долины, в которую только что въехал офицер-повествователь. Теперь эта же долина описывается сверху, так как она видна с Гуд-горы, по склону которой в то время проходила Военно-Грузинская дорога. Ср. с. 156.

...тут бы и остаться жить навеки... — В конце 1837 года, описывая в письме к С. А. Раевскому свои разъезды по Кавказу, Лермонтов восторгался этим самым видом: «...лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства; для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь» (№ 566).

С. 172. *...застанет нас на Крестовой.* — Крестовая Гора в Главном Кавказском хребте, по Военно-Грузинской дороге между Койшауром и Коби (в этом месте теперь дорога идет в обход). Крестовая отделена от Гуд-горы Чертовой долиной. На вершине горы водружен крест, давший имя самой горе (см.: Семенов 1865: II, 785). Сохранилось живописное изображение Крестовой горы, выполненное Лермонтовым в 1837–1838 гг. (см.: Ковалевская 1980: 202–203).

С. 173. *Уносные* — первая пара лошадей при запряжке четверкою (от слова «уносы» — постромки).

...мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали... — Подобная жанровая картинка, изображающая беспечность «нашего русака», есть и у Гоголя в «Мертвых душах» (т. 1, гл. 3). Селифан везет Чичикова к Собакевичу, худо зная дорогу. «Так как русский человек в решительные минуты найдется, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу <...> пустился он вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога <...> Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз; от того случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает» (Гоголь 1937–1952: VI, 43; отмечено: Шенрок 1892–1897: III, 411–412).

...переезд через Крестовую Гору (или, как называет ее ученый Гамба, le Mont St.-Christophe) достоин вашего любопытства. — Гамба (Jacques François Gamba, 1763–1833) — известный путешественник, изучавший возможности доступа Франции к восточным рынкам. Пользуясь покровительством русских властей, Гамба совершил в 1817 году путешествие по южной России, посетил порты Черного моря и западные берега Каспия. Во время второго путешествия в 1819 году он посетил Северный Кавказ, Дагестан, Грузию, Ширван и побывал в Москве и Петербурге. По настоянию Гамба в Тифлисе было учреждено французское консульство, и он был назначен консулом, в звании которого и умер. В 1824 году в Париже вышла в двух томах с атласом книга Гамба «Voyage dans la Russie méridionale et particulièrement dans les provinces situées an-delà du Caucase» («Путешествие в Южную Россию и преимущественно в Кавказские области»; второе издание вышло в 1826 году; выдержки из этой книги печатались в «Северном архиве» в 1827 году). «Нельзя сказать, чтобы сведения, сообщаемые Гамбой, отличались особенною основательностью», — замечает библиограф литературы о Кавказе и Закавказье М. Миансаров (Bibliographia 1874: 1/1, 353). Лермонтов имеет в виду следующее место в книге Гамба. «Наши лошади углублялись в снег и лед, и мы были вынуждены обратиться к помощи волов, отданных в наше распоряжение; они после четырех верст медленного и тяжелого ходу подвезли нас на вершину горы св. Кристофа, до высшей точки нашего путешествия» (с. 34). Ошибку Гамба, переименовавшего Крестовую гору в гору святого Христофора, раньше Лермонтова заметил сотрудник «Московского телеграфа» (МТ. 1833. № 15. С. 362–363; ср.: Дурылин 1940: 194–195). Странствующий офицер, автор путевых записок, прозаическим образом объясняет название «Чертова долина» и иронизирует над читателем, склонным видеть «гнездо злого духа между неприступными утесами». Тем не менее, именно в этих местах в 1837 году Лермонтов слышал горские сказа-

ния, отразившиеся в зрелых редакциях «Демона». П. А. Висковатов писал: «Старая Военно-Грузинская дорога, следы коей видны и поныне, своими красотами и целой вереницей легенд особенно поразила поэта. Легенды эти были ему известны уже с детства, теперь они возобновились в его памяти, вставали в фантазии его, укреплялись в памяти вместе с то могучими, то роскошными картинами кавказской природы. Вот тут-то зародилась в Михаиле Юрьевиче мысль перенести место действия любимой его поэмы „Демон“ на Кавказ. До сей поры оно было в Испании» (Висковатов 1891: 263–264). В другом месте Висковатов говорит: «Окрестности <Военно-Грузинской дороги> полны сказаний о горном или злом духе, полюбившем девушку-грузинку. Так, вблизи находится „Чертова долина“, и в ней груда камней чуждой долине формации, принесенных, быть может, еще в стародавние времена во время какого-либо геологического переворота. Слышанные мною предания об этих камнях сходятся в том, что горный дух полюбил молодую девушку, в свою очередь любившую молодого человека. В минуту ревности дух завалил хижину молодых людей грудой страшных камней. Верстах в 20 или в 25 от Гуд-аула на правом берегу Арагвы, в ложбине между двух покатых камней, находятся развалины монастыря, о коем окрестные жители рассказывают, что дух, рассердившись на инокинь <...> разрушил монастырь громовой стрелой. Может быть, Лермонтов слышал о монастыре более подробные сказания; они весьма разнообразны. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что эту местность имел в виду поэт при описании той обители, куда Гудал (ср. Гудаул) отводит дочь свою: «В прохладе меж двумя холмами / Таился монастырь святой» (Лермонтов 1889–1891: III, 119–120).

С. 173. *...Саратов, Тамбов и прочие милые места...* — Саратов в те времена еще считался классическим образцом далекого захолустья с легкой руки Грибоедова, у которого в «Горе от ума» (д. IV, явл. 14-е) Фамусов грозит дочери отправить ее «к тетке, в глушь, в Саратов». Тамбов же сам Лермонтов осмеял в «Тамбовской казначейше».

...ветер врывался в ущелья, ревел, свистал, как Соловей-Разбойник... — Образ из былины об Илье Муромце и побежденном им страшном Соловье-Разбойнике, от свиста которого «под Ильею конь окарачился»; даже на дворе у князя Владимира, когда привязанный к седельной луке Соловей по приказу Ильи, желавшего потешить князя, засвистел по-своему, по-соловьиному, «князи и бояра испужалися, на карачках по двору наползалися, и все сильны богатыри могучие. И накурил он беды несносные: гостины кони с двора разбежалися, и Владимир князь едва жив стоит со душой княгиней Апраксеевной...» (см.: Кирша Данилов 1938: 242, 246). Лермонтов хорошо знал русское народное творчество. В годы, непосредственно предшествующие работе над «Героем нашего времени», Лермонтов внимательно изучал сборник Кирши Данилова в издании 1818 года, ставший едва ли не самым важным источником «Песни про купца Калашникова» (см.: Азадовский 1941: 227–262; Штокмар 1941: 263–352).

С. 173–174. *...об этом кресте существует странное, но всеобщее предание ~ что он поставлен по приказанию г<енерала> Ермолова, а именно в 1824 году.* —

«Всеобщее предание» о кресте Петра I нашло отражение и в статье в «Московском телеграфе»: «На самой высокой точке переправы через Кавказское ущелье — на вершине Крестовой горы — императором Петром Великим поставлен крест в ознаменование перехода им сими местами с войском своим. Отсюда начало названия горы Крестовой» (МТ. 1833. № 15. С. 363). Название Крестовая дано горе, как было уже указано выше, действительно от каменного креста, но возражение Лермонтова справедливо: крест воздвигнут «по приказанию Ермолова» в 1824 году; Петр I не был ни в Дарьяльском ущелье, ни на Крестовом перевале; в 1722 году он посетил западный берег Каспийского моря и прилегающую к нему часть Дагестана. По всей вероятности, Лермонтову была известна статья Павла Бестужева в «Сыне отечества» (1838. № 1) «Замечания на статью „Путешествие в Грузию“, помещенную в одном из московских журналов» (МТ. 1833. Авг. № 15). Статья П. Бестужева была напечатана незадолго до работы Лермонтова над «Бэлой». В этой статье П. Бестужев писал: «Если г. Гамба перекрестил Крестовую гору в Mont St. Cristophe, то русскому путешественнику стыдно не знать, что Петр I никогда не проходил через Кавказские горы и поэтому не мог поставить креста на Крестовой горе...». О принадлежности очерка не А. Бестужеву-Марлинскому, как это указано в журнале, а его брату Павлу см.: Воспоминания Бестужевых 1951: 700; Виноградов 1965: 21–24. Не исключено, что крест на перевале существовал с древнейших времен и не раз обновлялся. До 1824 года надпись на кресте гласила: «Крест сей воздвигнут в память строения дороги, сделан попечением подполковника Казбека 1809 года». Казбек — это Гарбриэль Казбеги, дед писателя Александра Казбеги, правитель области Хеви. Но о кресте есть упоминание, относящееся и к 1805 году, где его сооружение приписывается П. С. Потемкину, первому наместнику Кавказа, родственнику Г. А. Потемкина (см.: Маркелов 1979: 62–63; Маркелов 2000: 23–25).

С. 174. *Нам должно было спускаться еще верст пять ~ чтоб достигнуть станции Коби.* — Коби — деревня и почтовая станция у подъема на Крестовую гору. Селение Коби расположено на 64-м км Военно-Грузинской дороги. Здесь на стыке четырех ущелий — Хевского, Ухатского, Трусовского и Байдарского в лермонтовские времена находились военный кордон и дом для приезжавших. Через километр в селении Алмасиани (Верхний Коби) Военно-Грузинская дорога отклоняется от вытекающего из Трусовского ущелья Терека и, вступив в десятикилометровое Байдарское ущелье, начинает подниматься на гребень Главного Кавказского хребта к Крестовому перевалу (Шадури 1989: 227).

Байдара — Правый приток Терека в его верхнем течении, протекает по Байдарскому ущелью, начинающемуся у станции Коби, где Военно-Грузинская дорога, покинув долину Терека, поднимается к Гудаурскому перевалу; зимою это один из самых опасных и трудных участков дороги, где снежные обвалы угрожают жизни путников.

...сакли: там всегда-с проезжающие останавливаются в погоду... — Проезжающие по Военно-Грузинской дороге обычно останавливались в сакле Бидаровых у северного подножья Крестового перевала. Возможно, эту саклю и описал Лермонтов. См.: Кусов 1975: 68–73.

С. 175. *...у меня нет семейства...* — Слова Максима Максимыча напоминают лермонтовское «Завещание» (Т. 1. № 396). Кавказские служаки чаще всего бывали до конца своих дней холостяками. Об этом писал Лермонтов в очерке «Кавказец»: «Он женится редко, а если судьба и обременит его супругой, то он старается перейти в гарнизон и кончает дни свои в какой-нибудь крепости, где жена предохраняет его от гибельной для русского человека привычки» (с. 270). На безбрачие рядовых кавказских офицеров обрекали бытовые условия военной кавказской жизни и материальная необеспеченность (см.: Ливенцов 1894: 753). Декабрист Н. И. Лорер рассказал «грустную, но обыкновенную у нас на Руси повесть» о семейном старике офицере, дошедшем до «вопиющей нищеты» (РА. 1874. Кн. 2. С. 662–663). Известный «кавказец» Н. П. Колюбакин писал И. Ф. Хлопову о том, что многосемейному офицеру, чтобы содержать семью, приходилось прибегать к незаконным поборам и взяткам (РА. 1874. Кн. 2. С. 951). Привязанность к Кавказу, трудность и дороговизна сообщений с Россией часто навсегда отрезали холостого кавказца от родного дома (см.: Дурылин 1940: 114–115).

С. 177. *...только что порох на полке вспыхнул...* — В кремневых ружьях и пистолетах *полкой* называлась часть замка, находившаяся с внешней стороны ствола, на которую насыпался порох. При ударе курка, снабженного куском кремня, о стальное огниво, прикрепленное к крышке, прикрывающей полку, появлялась искра, зажигавшая порох на полке. Эта вспышка сквозь отверстие в стволе (затравку) взрывала пороховой заряд, забитый под пулей в ствол ружья или пистолета.

...мне осталось одно средство: путешествовать ~ авось где-нибудь умру на дороге! — Предчувствие Печорина, основанное на глубоком понимании своей натуры, сбывается. Как мы узнаем из Предисловия к «Журналу Печорина», Печорин, возвращаясь из Персии, умер (с. 190). Страсть к путешествиям и особый интерес к жизни и культуре народов Востока — черта автобиографическая. В письме к С. А. Бахметевой в 1832 году Лермонтов писал: «...право, мне необходимо путешествовать; — я цыган» (№ 544). В конце 1837 года с Кавказа Лермонтов писал С. А. Раевскому: «Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским» (№ 566). Определенное влияние на ориентальные устремления Лермонтова, вероятно, оказали слова Наполеона «Великие имена создаются на Востоке» (см. примеч. к № 563). В письме к Е. А. Арсеньевой (апрель 1841) он писал: «Скажите Екиму Шангирею <т. е. А. П. Шан-Гирею>, что я ему не советую ехать в Америку, как он располагал, а уж лучше сюда на Кавказ. Оно и ближе и гораздо веселее» (№ 587). В последний приезд в Петербург, в начале 1841 года, Лермонтов неоднократно говорил с А. А. Краевским о своем интересе к Востоку. «Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским. Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов и для нас еще мало понятны <...> там на Востоке тайник богатых откровений» (Висковатов 1891: 368). Об интересе Лермонтова к Востоку см.: Гроссман 1941: 674–744. В своем ориентализме Лермонтов был не одинок.

Д. В. Веневитинов писал в 1827 году: «Я еду в Персию. Это уже решено. Мне кажется, что я там найду силы для жизни и вдохновения» (Веневитинов 1985: 271). В драме В. К. Кюхельбекера «Ижорский» герой говорит: «Игралище страстей, людей и рока, / Я счастия в странах роскошного Востока / Искал в Аравии, в Иране золотом, / Под небом Индии чудесной...» (см.: Эйхенбаум 1962: 144). К началу 1840-х годов восточные мотивы в русской поэзии становятся общим местом.

С. 178. *А все, чай, французы ввели моду скучать! — Нет, англичане.* — Отвечая так Максиму Максимычу, автор путевых записок имеет в виду сплин (английское слово spleen — в буквальном значении — селезенка, в переносном — хандра, тоскливое настроение, пониженный жизненный тонус, что в старину связывали с заболеванием селезенки). Недуг сплина, охвативший наиболее просвещенную и пресыщенную жизнью аристократическую молодежь Англии в начале XIX века, был одним из проявлений «мировой скорби», в которой нашло свое выражение разочарование в политических и философских идеалах эпохи Просвещения. Тип хандрящего, разочарованного скептика представлен в поэме Дж. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». Однако, «такие черты, как чувство духовного пресыщения, чувство одиночества и презрительное отношение к обществу, преклонение перед природой и стремление к „экзотическому“ — черты общеромантические, а не только байронические» (Родзевич 1913: 6). Эти настроения разочарования, скепсиса, хандры получили широкое распространение и в России 1820–1830-х гг. Сплин — мрачное состояние духа, характерное для Онегина, типичного героя начала 1820-х годов: «Недуг, которого причину / Давно бы отыскать пора, Подобный английскому *сплину. /* Короче: русская *хандра /* Им овладела понемногу...» (Пушкин 1937–1959: VI, 21).

Эти настроения были близки и понятны Лермонтову и наиболее полное выражение нашли в образе «героя времени» Печорина, а затем Лугина в отрывке <«Штосс»> (1841). Состояние одержимого сплином человека хорошо обрисовал приятель Лермонтова В. Ф. Одоевский в повести «Записки гробовщика» (Альманах на 1838 год. СПб., 1838. С. 221–222; ср.: Дурылин 1940: 174).

С. 179. *... кровь лилась из раны ручьями...* — По мнению Л. С. Дубшана, описание смерти Бэлы близко к рассказу Жуковского о последних днях жизни Пушкина (Дубшан 1985: 275), однако это сближение представляется недостаточно обоснованным.

С. 182. *У меня был кусок термаламы, я обил ею гроб...* — Термалама (тармалама) — пестрая шелковая или полушелковая ткань для изготовления халатов (ср. золотистый персидский халат из термаламы у Чичикова).

Месяца три спустя его назначили в е....й полк... — Махлевич предполагает, что это мог быть егерский, или егерный (по количеству пропущенных точек) полк. Он также предполагал, что Лермонтов имел в виду Тифлисский егерный полк, который был размещен в Закавказье, рядом с местом службы самого Лермонтова (Махлевич 1967: 210–212).

...Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец ~ да вряд ли это тот самый!.. — Об этом другом, историческом Казбиче, Кизилбече

Шертулокове, см.: Дубровин 1871: 1/1, 203–204; Потто 1887–1889: II, 626–628, 638 и др.; Ольшевский 1914: 173; Кавказский сборник 1898: 50, 168–170, 172, 174, 183–188, 204, 209, 213; Щербина 1910–1913: II, 255–256, 259–260, 272, 276–278, 281–282 и др.; Лернер 1913: 732; Семенов 1939: 93–94; Гиоргидзе 1958: 111; Попов 1963: 49–53; Виноградов 1963b: 59–62; Виноградов 1997: 7–9. 29 февраля 1840 г. при взятии горцами форта Вельяминовского Кизилбеч Шертулоков был тяжело ранен и вскоре умер (см.: Архив Раевских 1908–1915: III, 422).

Правый фланг Кавказской линии простирался от границ Черноморья до Каменного моста на реке Малке и состоял из трех кордонных линий — Кубанской, Лабинской и Кисловодской; последняя, охранявшая Минеральные Воды, в военном отношении имела второстепенное значение (см.: Филипсон 1883–1884: 367–368).

Шапсуги — вольное черкесское племя, жившее по берегу Черного моря, от Анапы до реки Шахе, и по низовой части Закубанья. До 1863 года шапсуги отчаянно сопротивлялись русским властям. В 1864 году, теснимые правым флангом русских войск, они получили приказ переселиться на Кубанскую равнину или выселиться в Турцию. О шапсугах см.: Люлльe 1857: 234–236.

С. 182. *Бешмет* — недлинная, обтягивающая стан одежда горцев, мужская и женская, полукафтан, носится под верхней одеждой, то же, что и архалук (ахалук).

С. 183. *Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?..* — Слова автора о Максиме Максимыче и его оценка напоминают аттестацию настоящего кавказца в очерке Лермонтова «Кавказец»: «Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия» (с. 268).

Максим Максимыч

Максим Максимыч — образ собирательный, основанный на знакомстве Лермонтова с бытом кавказской армии. Почти для всех героев романа искали и находили живых оригиналов или прототипов, но не для Максима Максимыча, который сразу был воспринят и всеми признан в качестве ясно выраженного, законченного типа, литературное воплощение которого как будто ожидалось современниками. Внеиндивидуальные, типические черты своего героя Лермонтов описал в более позднем очерке «Кавказец» (см. с. 268–270).

Противопоставление Максима Максимыча Печорину сделалось любимым приемом критиков, публицистов и литературоведов, писавших о «Герое нашего времени», причем в этих противопоставлениях выражалось обычно «с наибольшей яркостью общественно-политическое мировоззрение самих противопоставителей» (Дурылин 1940: 117). Так, для С. П. Шевырева Печорин был злым порождением «безбожного запада». Отрицая положительное значение образа «злодея» Печорина, Шевырев трактовал образ Максима Максимыча как явление светлое, как одну из опор русской жизни (Москвитянин. 1841. № 2. Ч. 1. С. 524). Неудивительно, что Николаю I Максим Максимыч импонировал гораздо больше, чем Пе-

чорин (подробнее см. примеч. к с. 155). Белинский высоко оценил душевное здоровье Максима Максимыча, но никогда не противопоставлял «положительного» Максима Максимыча отрицательно понятому Печорину (Белинский 1953–1959: IV, 205, 224–225).

С. 183. *Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владикавказ.* — Казбек — станция на Военно-Грузинской дороге, у подножия горы Казбек, в 42 верстах от Владикавказа; Ларс — станция на Военно-Грузинской дороге, в 25 верстах от Владикавказа. За Ларсом ущелье, по которому течет Терек, суживается, и тут начинается Дарьяльское ущелье, тянущееся верст на двенадцать по тому же Тереку, почти до самого Казбека. Владикавказ — крепость на Тереке, основанная русскими в 1784 году для защиты Военно-Грузинской дороги от нападения горцев. (Шадури 1989: 218–233). А. П. Беляев описал Владикавказ в те годы, когда там бывал Лермонтов: «...крепость Владикавказ составляет ключ к горному проходу в Грузию и за Кавказ. Он имеет обширный форштадт с несколькими правильными и широкими улицами, красивыми домами и садами почти при каждом доме, большую площадь с собором посредине, общественный сад и бульвар по берегу шумного Терека <...> Тут была прекрасная каменная гостиница <...> Площадь обстроена большими домами красивой архитектуры с большими окнами и балконами, откуда открывались во все стороны самые прелестные виды <...> К югу возвышается снеговой хребет, увенчанный <...> Казбеком» (Беляев 1990: 278; см. также: Кусов 1998: 20–27).

Оказия. — Пушкин в первой главе «Путешествия в Арзрум», напечатанного в «Современнике» в 1836 году (Т. 1. С. 17–84), подробно описал движение с «оказией» по этой самой дороге, между Екатериноградом и Владикавказом, по которой ему пришлось ехать в 1829 году по пути в Закавказье: «С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и проезжие к ней присоединяются: это называется *оказией*» (Пушкин 1937–1959: VIII, 447). От Владикавказа до Екатериноградской станицы дорога шла через земли кабардинцев и, так как они часто нападали на проезжающих, в 1830-х и 1840-х годах все еще приходилось из предосторожности составлять обоз из колясок и подвод и сопровождать его военным конвоем: впереди авангард казаков, потом авангард пехотный и, наконец, пушка, а за нею почта и проезжающие (см.: МТ. 1833. № 15. С. 342). Н. И. Лорер вспоминал: «...нельзя никому ни отстать, ни выдвинуться в сторону, и предосторожности строго соблюдаются. Чуть сломалось что-нибудь у кого бы то ни было, весь караван останавливается и не прежде двигается, как когда все приведено в порядок» (Лорер 1984: 245).

Екатериноград — город при впадении Малки в Терек, когда-то бывший значительной крепостью и даже столицей Кавказской губернии, но потом переименованный в станицу, «играл в то время немаловажную роль: здесь был узел дорог по разным направлениям и паромная переправа через р. Малку» (Ливенцов 1894: 712).

С. 184. ...*Казбек в своей белой кардинальской шапке.* — Здесь Лермонтов ошибся: кардиналы (высшие сановники католической церкви, ближайшие сотрудники папы) носят красные головные уборы, а белые — папы.

...*человек с большими усами, в венгерке... ~ нечто вроде русского Фигаро.* — Венгерка – короткая суконная куртка, отделанная нашитыми на груди поперечными кручеными шнурами и в целом напоминающая гусарские доломаны. Судя по литературе, венгерка в первой половине XIX в. — излюбленная одежда отставных военных, деревенских помещиков и провинциальных франтов. Возможно, однако, что Лермонтов имеет здесь в виду другой тип «венгерки», более подходящий слуге в дорожной обстановке — длинный (почти до колен) шерстяной кафтан, застежки которого тоже отделаны шнурами (см.: Кирсанова 1995: 62). Фигаро — герой знаменитой трилогии Бомарше (1732–1799): «Севильский цирюльник» (1775), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1784) и «Преступная мать» (1792). Имя этого ловкого, расторопного слуги, умеющего вертеть своими господами, стало нарицательным.

Экая чудная коляска! ~ Видно, не знает наших горок! — Комфортабельная английская или венская рессорная коляска на Военно-Грузинской дороге была почти бесполезна: ее транспортировка превращалась в самостоятельную проблему, и к тому же такой экипаж не всегда мог выдержать испытания трудного пути. Ср. эпизод в пушкинском «Путешествии в Арзрум» с транспортировкой коляски с помощью 18 пар волов (см. примеч. к с. 156): в результате путешественник решился отправить свою тяжелую петербургскую коляску обратно во Владикавказ и ехать верхом до Тифлиса (Пушкин 1937–1959: VIII, 453).

С. 185. ...*Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н.* — Полковник Н., быть может, лицо не вымышленное. П. А. Висковатов, со слов А. П. Шан-Гирея, утверждал, что здесь имеется в виду Петр Петрович Нестеров (1802–1854), состоявший командиром 6-го линейного батальона и живший постоянно во Владикавказе (Висковатов 1891: 365). У Нестерова можно было достать не только газеты «Русский инвалид» и «Северную пчелу», но и «Revue Britannique» — французский журнал, в котором печатались переводы статей из английских журналов и произведения английской художественной литературы (см.: Воспоминания 1989: 181). А. М. Дондуков-Корсаков говорил о Нестерове, что это была «замечательно симпатичная и образованная личность; веселая натура его, доброта и обходительность привлекали к нему положительно всех» (Дондуков-Корсаков 1902: 202). Чин полковника Нестеров получил, однако, только в 1842 году, когда был назначен комендантом Владикавказской крепости. В годы, когда Лермонтов встречал Нестерова и писал «Героя...», тот был капитаном и майором, позднее дослужился до чина генерал-лейтенанта, командовал левым флангом Кавказской линии (РБС: XI, 254). См. также: Прокопенко 1967: 3; Махлевич 1967: 209–210; Кусов 1975: 63–68.

Я дам тебе восьмигривенный на водку... — Серебряная монета в 4 абаза (двугривенных), то есть равная 80 копейкам, чеканилась специально для Грузии и ходила только в Закавказье и на Кавказе.

С. 186. *Теперь я должен нарисовать вам его портрет.* — В одном из черновых вариантов «Максима Максимыча» Лермонтов писал: «Если верить тому, что каждый человек имеет сходство с каким-нибудь животным, то, конечно, Печорина можно было сравнить только с тигром; сильный и гибкий, ласковый или мрачный, великодушный или жестокий, смотря по внушению минуты, всегда готовый на долгую борьбу, иногда обращенный в бегство, но не способный покориться, не скучающий один в пустыне с самим собою, а в обществе себе подобных требующий беспрекословной покорности: по крайней мере таков, казалось мне, должен был быть его характер физический, то есть тот, который зависит от наших нерв и от более или менее скорого обращения крови: душа — другое дело: душа или покоряется природным склонностям, или борется с ними, или побеждает их: от этого злодеи, толпа и люди высокой добродетели; в этом отношении Печорин принадлежал к толпе, и если он не стал ни злодеем, ни святым — то это, я уверен, от лени» (Лермонтов 1954–1957: VI, С. 568–569).

...привычки порядочного человека... — Вероятно, это галлицизм: подразумевается французское выражение «un homme comme il faut».

...его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке... — Ср. в дневнике Байрона: «Он сказал, что мое знатное происхождение видно сразу, потому что у меня маленькие уши, кудрявые волосы и маленькие белые руки» (Байрон 1963: 215; отмечено: Дьяконова 2001: 47).

...бальзакова тридцатилетняя кокетка... — О. де Бальзак (1799–1850) в «Тридцатилетней женщине» («La Femme de trente ans», 1831–1834) и в ряде других произведений по-новому изобразил европейскую женщину высших классов. Это своего рода аналогия Печорину. По словам Г. Брандеса, «Бальзак изобразил тридцатилетнюю женщину, уже оставившую за собой первую молодость, глубже и богаче чувствующую и мыслящую, уже испытавшую разочарования и тем не менее способную к новой страсти. Прошлое оставило на ее лице резкие следы <...> но героиня Бальзака не утеряла еще всемогущества своего пола» (Брандес 1895: 172–173). Поза, описанная Бальзаком, изобличала в Жюли д'Эглемон, героине «Тридцатилетней женщины», изнеженную женщину, потерявшую интерес к жизни, несчастливую в любви и тяготимую воспоминаниями прошлого, что отчетливо сближало ее с Печориным (Mersereau 1963: 238–239).

С. 187. *...они не смеялись, когда он смеялся...* — Ср. характеристику героя в поэме Байрона «Лара»: «...smile might reach his lip, but pass'd not by, / None e'er could trace its laughter to his eye» (Byron 1828: 180; пер.: «...улыбка может тронуть его губы, но никто не может найти следы смеха в его глазах»; отмечено: Федерс 1914: 78). Такая черта, возможно, автопортретна: один из знакомых Лермонтова вспоминал позднее: «Сколько припомню, глаза его никогда не смеялись, когда он смеялся, как у Печорина, героя его романа. Вообще напрасно Лермонтов говорит, что Печорин не его портрет: в нем много сходства с ним даже внешнего: тот же согбенный стан, та же безжизненность в глазах, изредка светящихся фосфорическим блеском» (Рассказ штабс-капитана 1853: 2). Это согласуется с наблюдением И. С. Тургенева, видевшего Лермонтова в гостиной Мусиной-Пушкиной: «Лермонтов

<…> засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал» своих собеседников (Воспоминания 1989: 297).

С. 190. *Вы молодежь светская, гордая...* — Среди офицеров, служивших на Кавказе, была категория столичных «залетных гастролеров», которым давалась возможность не только понюхать пороху, но и получить вне очереди чины и ордена, нередко за счет тех, кто служил здесь постоянно. «Случалось, — рассказывает Г. И. Филипсон, — и не редко, что предпринималась какая-нибудь экспедиция, стоившая немало крови, в виде угощения какого-нибудь посетителя. Эти походы <…> были вредны коренным деятелям, офицерам постоянных войск, часто несшим на своих плечах бремя этой беспощадной войны и большею частью остававшимся в тени» (Филипсон 1883–1884: 370). В романе Е. Хамар-Дабанова «Проделки на Кавказе» один из таких «гастролеров» утешает другого, опасающегося, как бы им не уменьшили наград, к которым их представило благосклонное начальство: «Как это можно! Уменьшат награды лишь фронтовых офицеров. И в самом деле, на что им так много получать? Для них все хорошо» (Хамар-Дабанов 1844: II, С. 150–151). Старый кавказец, «ломовик», в воспоминаниях М. А. Ливенцова, толкуя о предстоящей экспедиции, жалуется: «...скоро, вот, понаедут к нам целые легионы гвардионцев, человек шестьдесят прискачет, наверно <…> шестьдесят наград отнимутся у наших многотерпцев-строевиков для украшения этих „украсителей“ модных салонов» (Ливенцов 1894: 698).

Я уехал один. — В первоначальной редакции «Максим Максимыча» за этими словами следовал прямой переход к «Журналу Печорина»: «Я пересмотрел записки Печорина и заметил по некоторым местам, что он готовил их к печати, без чего, конечно, я не решился бы употребить во зло доверенность штабс-капитана. — В самом деле, Печорин в некоторых местах обращается к читателям; вы это сами увидите, если то, что вы об нем знаете, не отбило у вас охоту узнать его короче. — На тетрадках не было выставлено чисел: некоторые, вероятно, потеряны, потому что между ними нет большой связи. — А я, несмотря на дурной пример, поданный нам некоторыми журналистами, никак не решился поправлять или доканчивать чужое: я только переменил одно: поставил Печорин вместо его настоящей фамилии, за что, конечно, он сам на меня сердиться не будет» (Лермонтов 1954–1957: VI, 570; под «некоторыми журналистами» Лермонтов, видимо, подразумевал редактора «Библиотеки для чтения» О. И. Сенковского, который нередко вносил в чужие рукописи свои добавления).

Предисловие к «Журналу Печорина»

«Журнал Печорина» (рамочная форма которого отсылает к распространенному композиционному приему «публикация найденной рукописи») представляет собой сквозную фабульную структуру, объединяющую три отдельные повести («Тамань», «Княжну Мери» и «Фаталист»), связанные лишь фигурой повествователя. Собственно дневниковая, рефлективная составляющая «Журнала», по на-

блюдению Н. Я. Дьяконовой, отчетливо перекликается с дневниками Байрона, к этому времени хорошо известными публике. Связь эта отражается не только в отдельных текстуальных и мотивных параллелях (см. ниже), но и на уровне общего замысла: «Для журналов Байрона и Печорина характерны отвлеченная философичность языка, „экспериментально-аналитический стиль“, подчеркивающий алогизм внутренней жизни и доходящий до анатомирования самого механизма мысли, процесса воспоминания. И тут, и там самопроверка, вопросы, обращенные к себе, чередование конкретных фактов с обобщающими, чаще всего циническими сентенциями, афористичность и эпиграмматичность стиля, непрерывные переходы от субъективно-лирического к объективно-ироническому повествованию, и наоборот. И тут, и там соединение личных признаний с размышлениями общего характера, прозаические подробности, вроде влияния пищеварения, еды и питья на нравственное состояние. Все это позволяет считать, что оба журнала внутренне очень близки» (Дьяконова 2001: 43–44). Еще одним отличительным признаком обоих дневников Дьяконова считает стремление к парадоксальности, выражающееся в подчеркнутой резкости афоризмов (Дьяконова 2001: 46), а также регулярные жалобы на скуку и усталость от жизни (примеры см.: Дьяконова 2001: 48). О Предисловии см. также: Крупышев 1989: 63–67.

С. 191. *История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа...* — Этот тезис, отсылающий к идеологии романтического персонализма, возможно, следует прямо соотносить со словами Генриха Гейне в третьей части «Путевых картин» (1826): «Denn jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt, unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte» (Heine 1830: 185). Показательно, что ту же фразу цитирует в «Записках одного молодого человека» (1838) лермонтовский ровесник А. И. Герцен: «Каждый человек, — говорит Гейне, — есть вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает; под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история» (ОЗ. 1841. Т. XIII. № 10. Отд. 3. С. 267).

Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям. — Этот отзыв Лермонтова об «Исповеди» (1765–1770) Ж.-Ж. Руссо, может быть сопоставлен с его юношеским отзывом о «Новой Элоизе» (см. с. 307 и примеч. к № 536).

...мы почти всегда извиняем то, что понимаем. — Н. О. Лернер полагал, что в данном случае Лермонтов использовал фразу из романа мадам де Сталь (1766–1817) «Коринна, или Италия»: «On a tort de craindre la supériorité de l'esprit et de l'âme; elle est très morale cette supériorité, car tout comprendre rend très indulgent, et sentir profondément inspire une grande bonté» (Staël 1807: II, 395; *пер.*: «Однако люди напрасно боятся умственного и душевного превосходства: это превосходство носит высоконравственный характер; ибо все понимать, значит быть крайне снисходительным к другим, а способность глубоко чувствовать развивает в человеке доброту» — Сталь 1969: 340). Позже часть этой фразы, получившая афористическую форму («Tout comprendre c'est tout pardonner» — «Все понять — все простить») безосновательно атрибутировался разным авторам.

Тамань

В воспоминаниях Д. В. Григоровича есть любопытное указание на то, что ему была известна черновая, ныне утерянная рукопись повести: «Возьмите повесть Лермонтова „Тамань“: в ней не найдешь слова, которое можно было бы выбросить или вставить; вся она от начала до конца звучит одним гармоническим аккордом; какой чудный язык, как легко, кажется, написано! Но загляните в первую рукопись: она вся перемарана, полна вставок, отметок на отдельных бумажках, наклеенных облатками в разных местах» (Григорович 1987: 98). О существовании черновой рукописи свидетельствует и Л. Н. Толстой: «Я видел снимок с рукописи: она вся до того исчерчена, что ничего нельзя разобрать. В повести нет ни одного лишнего слова, ничего, ни одной запятой нельзя ни прибавить, ни убавить» (Прометей. М., 1980. Т. 12. С. 216).

В первой публикации повесть появилась с редакционным примечанием: «Еще отрывок из записок Печорина, главного лица в повести „Бэла“, напечатанной в 3-й книжке „Отечественных записок“ 1839 года» (ОЗ. 1840. Т. 8. № 2. Отд. 3. С. 144).

До нас дошло сообщение П. С. Жигмонта о том, что Лермонтов «набросал начерно „Тамань“ из „Героя...“ в Ставрополе, в квартире Семена Осиповича Жигмонта». Это могло быть только осенью 1837 года (об этом подробнее см.: Иофанов 1947: 37–38; Попов 1963: 30–31). Лермонтов приехал в Тамань в сентябре 1837 года; здесь ему пришлось задержаться в ожидании корабля, на котором он должен был отправиться в Геленджик. О пребывании Лермонтова в Тамани в 1837 году см.: Семенов 1939: 86–87; Попов 1954: 98–101; Попов 1963: 30–41; Лермонтовские места 1989: 202–211; Захаров 1983b: 139–151.

В Тамани, как сообщал еще П. А. Висковатов, «поэт испытал странного рода столкновение с казачкою Царицыхой, принявшей его за тайного соглядатая, желавшего накрыть контрабандистов, с которыми она имела сношения. Эпизод этот послужил поэту темою для повести «Тамань». В 1879 году описываемая в этой повести хата еще была цела...» (Висковатов 1891: 252). «В 1838 году, — рассказывает товарищ: Лермонтова, М. И. Цейдлер, — <...> Тамань была небольшим, невзрачным городишком, который состоял из одноэтажных домиков, крытых тростником; несколько улиц обнесены были плетневыми заборами и каменными оградами. Кое-где устроены были палисадники и виднелась зелень. На улицах тихо и никакой жизни. Мне отвели с трудом квартиру, или, лучше сказать, мазанку, на высоком утесистом берегу, выходящем к морю мысом. Мазанка эта состояла из двух половин, в одной из коих я и поместился. Я почти весь день проводил в Тамани на излюбленной завалинке; обедал, читал, пил чай над берегом моря в тени и прохладе. Однажды, возвращаясь домой, я издали заметил какие-то сидящие под окнами моими фигуры: одна из них была женщина с ребенком на руках; другая фигура стояла перед ней и что-то с жаром рассказывала. Подойдя ближе, я поражен был красотой моей неожиданной гостьи. Это была молодая татарка лет 19-ти с грудным татарчонком на руках... Вообще вся она была изящна; прекрасное лицо ее выражало затаенную грусть. Собеседник ее был мальчик в сермяге,

босой, без шапки. Он, казалось, был слеп, судя по бельмам на глазах. Все лицо его выражало сметливость, лукавство и смелость. Несмотря на бельма, ходил он бойко по утесистому берегу. Из расспросов я узнал, что красавица эта — жена старого крымского татарина, серебряных дел мастера, который торгует оружием, и что она живет по соседству, в маленьком сарае, на одном со мной дворе; самого же его здесь нет, но что он часто приезжает. Покуда я расспрашивал слепого мальчика, соседка тихо запела свою заунывную песню... Слепой мальчик сделался моим переводчиком. Всякий раз, когда она приходила посидеть под окном, он, видимо, следил за ней. Муж красавицы, с которым я познакомился впоследствии, купив у него прекрасную шашку и кинжал, имел злое и лукавое лицо, говорил по-русски неохотно, на вопросы отвечал уклончиво; он скорее походил на контрабандиста, чем на серебряных дел мастера. По всей вероятности, доставка пороха, свинца и оружия береговым черкесам была его промыслом. Сходство моего описания с поэтическим рассказом о Тамани в „Герое нашего времени“ М. Ю. Лермонтова заставляет меня сделать оговорку: по всей вероятности, мне суждено было жить в том же домике, где жил и он; тот же слепой мальчик и загадочный татарин послужили сюжетом к его повести. Мне даже помнится, что когда я, возвратясь, рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь» (Воспоминания 1989: 257–258). Рисунок Лермонтова сохранился, воспроизведение и описание см.: Ковалевская 1980: 129 ; Каталог 2014: 240–241. Существует мнение, что набросок Лермонтова сделан не по рассказу Цейдлера (1839), а с натуры — во время пребывания в поэта в Тамани (1837); подробная атрибуция: Захаров 2014: 71–86.

В 1891 году появилось сообщение О. Арканникова о жившем тогда в Темрюке отставном офицере, который хорошо помнил девушку-контрабандистку, выведенную Лермонтовым в его повести; и дом над обрывом все еще существовал (Арканников 1891: 575). Поэт В. А. Шуф, выступавший в печати под псевдонимом Борей, сообщал, что какой-то есаул Ф., родом из Тамани, с которым он познакомился в Персии, рассказал ему о таманском звонаре Яшке, который умер в конце XIX века и действительно был полуслепой. «Он хорошо помнил Лермонтова, которому прислуживал во время пребывания поэта в Тамани, и любил о нем рассказывать. „Слепой мальчик“ превратился в старого звонаря... Звонарь Яшка, рассказывая о Лермонтове, почему-то упорно молчал только о Миньоне поэта. Может быть, в детстве Яшка действительно помогал контрабандистам, и о многом вспоминать ему было неудобно». Итак, в «Тамани» Лермонтова, — заключил решительно В. А. Шуф, «старуха, в доме которой он жил, была казачка Царицыха, слепой мальчик — Яшка, и лишь о главном лице повести, девушке, чуть было не утопившей поэта, мы ничего не знаем» (НВ. 1912. № 13079. 10 авг. С. 3). Современные таманские предания о прототипах героев новеллы см.: Лихоносов 1986.

В истории создания «Тамани» имеют значение не только личные впечатления Лермонтова, полученные им во второй половине 1837 года во время странствий по Кавказу, но и литературный контекст, до сих пор недостаточно проясненный.

В самых общих чертах указывалось, что в «Тамани» Лермонтов продолжил традиции Пушкина-новеллиста (быстрое развитие действия, предельный лаконизм в описаниях, игра на лукавых недомолвках и обманных сюжетных ходах), однако никаких явных параллелей с пушкинскими повестями в лермонтовской новелле не наблюдается.

Безусловно, Лермонтов должен был опираться также и на традицию европейской разбойничьей и фантастической повести (новеллы), однако прямых сюжетных аналогов «Тамани» в этой традиции до сих пор не обнаружено. Л. Ф. Зуров указывал на отдаленное сходство «Тамани» с фантастической новеллой Жорж Санд «Орко» («L'Orco», 1838), где безымянная «маска» (полиция считает ее контрабандисткой и преступницей), любовными обещаниями заманивает к себе в гондолу австрийских офицеров и топит их; своего последнего «избранника» она действительно полюбила, благодаря чему тот спасается, но саму таинственную деву уносит в море мистический корабль «Буцентавр» — символ венецианской свободы (Зуров 1961: 278–281; Мейер 2011: 92–99). Соотношение «криминального» и фантастического у Жорж Занд обратное, нежели у Лермонтова, однако в компаративной перспективе важна сама игра этих двух планов. К началу 1830-х годов сюжеты, где под видом призраков выступают разбойники, а преступники наделяются демоническими свойствами, становятся весьма распространенными. В этом смысле коллизия «Тамани», как заметил А. А. Карпов, обнаруживает определенную близость к написанному Э. Скрибом либретто оперы Фр. Обера «Le serment ou les faux monnayeurs» («Клятва, или фальшивомонетчики», 1832; постановка в России — 1836). В основу сюжета положен анекдот о маршале Тюренне, широко известный, в частности, по книгам для детского чтения, составленным П. Бланшаром в начале XIX в.: герой (Эдмон), остающийся ночевать в башне заброшенного замка, обнаруживает, что собирающиеся там привидения на самом деле фальшивомонетчики, которые страшными слухами маскируют свои сборища. За то, что он раскрыл тайну преступников, его хотят убить, но вожак шайки (влюбленный, как оказывается, в ту же девушку, что и Эдмон) берет с него клятву молчать и отпускает (дальнейшее развитие оперной интриги для лермонтовской новеллы иррелевантно). «Можно заметить, что фабула „Тамани“, в своей основе совпадающая с анекдотической („тюренновской“) линией оперы, включает в себя, пусть в измененном и неявном виде, также и любовное соперничество Печорина и предводителя контрабандистов — Янко. В отличие от рационалистического по своему пафосу анекдота о Тюренне <...> и мировоззренчески близких ему произведений с „развенчанной“ фантастикой лермонтовская „Тамань“ сохраняет свой фантастический колорит на всем протяжении текста, сложное взаимодействие поэтического, сказочно-мифологического и прозаического, авантюрного планов не прекращается до самых последних строк новеллы» (Карпов 2015).

«Тамань» еще при жизни Лермонтова была высоко оценена Белинским: «Повесть эта отличается каким-то особенным колоритом: несмотря на прозаическую действительность ее содержания, все в ней таинственно, лица — какие-то фантастические тени, мелькающие в вечернем сумраке, при свете зари или месяца.

Особенно очаровательна девушка: это какая-то дикая, сверкающая красота... Что касается до героя романа — он и тут является тем же таинственным лицом, как и в первых повестях. Вы видите человека с сильною волею, отважного, не бледнеющего никакой опасности, напрашивающегося на бури и тревоги, чтобы занять себя чем-нибудь и наполнить бездонную пустоту своего духа, хотя бы и деятельностию без всякой цели» (Белинский 1953–1959: IV, 226–227). В 1840 году «Тамань» «чертовски поразила» А. В. Кольцова (см. его письмо к В. Г. Белинскому: Кольцов 1984: 268).

С. 191. *Тамань — самый скверный городишка из всех приморских городов России.* — Тамань — городок, теперь станция, название которого Лермонтов взял для заглавия повести, находится на крайней западной оконечности Кавказа, у восточной Таманской бухты Керченского пролива, отделяющего Кавказ от Крыма. На этом месте была древнегреческая колония Фанагория, а затем столица русского удельного княжества Тьмутаракань (X–XI вв.). Во времена Лермонтова из Тамани шел почтовый тракт (210 верст) на Екатеринодар, оттуда на Ставрополь, центр Северного Кавказа. Тамань входила в черту военной черноморской береговой линии: близ Тамани находилась небольшая крепость Фанагория, построенная в 1792 году А. В. Суворовым, но к тридцатым годам XIX века утратившая всякое военное значение. Здесь находился военный госпиталь и провиантский магазин (склад). В 1820 году через Тамань проезжал Пушкин, в то время там было «жителей не более двухсот» (Гераков 1828: 113), а в конце 1850-х годов около полутора тысяч да около полутораста домов, «большею частью земляных и сложенных из обломков старинных каменных зданий, отрываемых из-под земли; эти приземистые домики покрыты черепицей и землей <...> Общественных заведений, кроме убогой гостиницы и первоначального училища, никаких» (Попка 1858: 62; ср.: Кавказский календарь 1849: 78–79 и Соколов 1914). Тихая жизнь этих мест несколько оживлялась, когда неподалеку на западной части черноморского побережья разгорались бои с шапсугами. Лермонтов посетил и описал Тамань после стихийного бедствия, обрушившегося на городок в 1834 году. Это бедствие и послужило главной причиной запустения Тамани. По словам кавказоведа М. Селезнева, чудовищной силы вихрь налетел в 1834 году «на песчаную лощину и, разворачивая ее постепенно, раскидал песок подобно вулканическому извержению, засыпав зеленую равнину, пахати, сады, дома жителей, развалины (турецкой крепости)» (Селезнев 1847–1850: II, 265). Сейчас в Тамани открыт Дом-музей М. Ю. Лермонтова, установлены памятник поэту работы И. Д. Бродского и обелиск (1964; подробнее см.: Лермонтовские места 1989: 202–211).

С. 193. *В тот день немые возопиют...* — ср. в книге пророка Исайи: «Тогда отверзутся очи слѣпыхъ, и уши глухихъ услышатъ. Тогда скочитъ хромый яко елень, и ясенъ будетъ языкъ гугни́выхъ...» (Ис. 35, 5–6; см. также 29, 18). Интерпретацию этой библейской аллюзии см.: Шарафадина 2008: 115.

Янко не боится бури. — Высказывалось предположение, что прототипом Янко можно считать Якова Бараховича, портрет которого работы Г. Г. Гагарина сохранился. На портрете надпись художника: «Есаул Барахович, выходец из Турции,

теперь служит в Азовском казачьем войске». Подробнее см.: Лермонтовские места 1989: 208–209; Захаров 2014: 86–97.

С. 195. *Черноморский урядник.* — То есть урядник (унтер-офицер) Черноморского казачьего войска.

С. 196. *Магнетическая власть.* — У княжны Мери тоже «магнетические глазки» (с. 211); там же читаем: «...магнетическое влияние сильного организма» (с. 215). В неоконченном рассказе Лермонтова <«Штосс»> Лугин столбенеет под магнетическим влиянием серых глаз своего партнера (с. 279). Ср. также ироническое упоминание о магнетизме в «Тамбовской казначейше» (Т. 2. С. 376). Учение о «животном магнетизме» (magnétisme animal) было основано немецким врачом Ф. А. Месмером (Mesmer 1734–1815), который в 1770-х гг. опубликовал ряд книг о магнитотерапии и о флюиде — таинственной силе, которая наполняет всю материю (включая людей) и передается на расстоянии. Аккумулировать и усиливать флюид может только специально одаренный человек — магнетизер. С середины 1810 гг. интерес к магнетизму, угасший было к концу XVIII в., заново возродился: появились практикующие врачи-магнетизеры, устраивались платные сеансы психотерапии, а в романтической литературе стали массово разрабатываться сюжеты, связанные с действием животного магнетизма и фигурой магнетизера, обладающего сверхъестественной властью над людьми (см., например, новеллу В. Ф. Одоевского «Косморама», 1840; Кюно: 2001, 79–98). Впоследствии многие элементы месмеризма были усвоены учением о гипнотизме. Об истории животного магнетизма в Европе и России см.: Darnton 1968; Громбах 1989: 132–151; Богданов 2005: 178–196).

...порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции. — Сравнение красивой женщины с породистой лошадью — не редкость во французской литературе 1830-х гг. Ср., например, в «Отце Горио» Бальзака (1834, по-русски — 1835): «Figurez-vous de grands yeux noirs, une main magnifique, un pied bien découpé, du feu dans les mouvements, une femme que le marquis de Ronquerolles nommait un cheval de pur sang. Cette finesse de nerfs ne lui ôtait aucun avantage; elle avait les formes pleines et rondes, sans qu'elle pût être accusée de trop d'embonpoint. *Cheval de pur sang, femme de race*, ces locutions commençaient à remplacer les anges du ciel, les figures ossianiques, toute l'ancienne mythologie amoureuse repoussée par le dandysme» (Revue de Paris. 1834. T. 12. P. 102–103; *пер.*: «Вообразите большие черные глаза, великолепные руки, точеные ноги, в движениях огонь, — женщину, которую маркиз де Ронкероль звал „чистокровной лошадью“. Нервная утонченность не портила ничем ее красоты: все формы ее отличались полнотой и округлостью, не вызывая упрека в излишней толщине. „Чистокровная лошадь“, „породистая женщина“ — такие выражения стали вытеснять „небесных ангелов“, „оссиановские лица“ — всю старую любовную мифологию, отвергнутую дендизмом» — Бальзак 1960–1961: II, 301). См. также нижеследующее примечание.

Юная Франция (Jeune France) — Группа литераторов — молодых почитателей В. Гюго, составивших «Малый Сенакль» и объединившихся вокруг П. Бореля,

Ж. де Нерваля и Т. Готье. В 1831 г. Л. Гозлан назвал представителей этой группы «юные французы» — «Les jeunes Frances» (Figaro. 1831. № 242, 30 Août). В России к кругу литературов «Юной Франции» стали причислять и писателей более старшего поколения — Бальзака, Гюго и др. По мнению В. А. Мильчиной, Лермонтов был знаком со сборником рассказов Теофиля Готье (Gautier, 1811–1872) «Les Jeunes France» (Paris, 1833), в котором он насмешливо описывает литературные и бытовые привычки своих ультраромантических товарищей. В разных местах книги встречаются детали, стянутые Лермонтовом в одном фрагменте «Тамани», — и «породистая парижанка» (parisienne de race), и «нос безупречной формы», и прически, которые носили представители «юной Франции» (Мильчина 2015; о прическе à la jeune France в романе «Княгиня Лиговская» см. примеч. к с. 124).

С. 196. *Правильный нос в России реже маленькой ножки.* — Здесь намек на известные строки «Евгения Онегина»: «Люблю их ножки; только вряд / Найдете вы в России целой / Три пары стройных женских ног» (Пушкин 1837 1859: VI, 18). О «правильном носе» см. выше.

С. 197. *Гётева Миньона* — Героиня романа И.-В. Гёте (1749–1832) «Ученические годы Вильгельма Мейстера» (1777–1796). Песня Миньоны «Kennst du das Land» в конце 1830-х годов была известна в России в многочисленных переводах и подражаниях.

С. 197–198. *Она <...> скрылась, как птичка <...> Она, как змея, скользнула между моими руками...* — Ср.: в стихотворении «К портрету» (1840), обращенном А. К. Воронцовой-Дашковой: «Ей нравиться долго нельзя: / Как цепь, ей несносна привычка, / Она ускользнет, как змея, / Порхнет и умчится, как птичка» (Т. 1. С. 313).

С. 197. *...моя ундина; она села против меня тихо и безмолвно...* — Ундина — персонаж германских народных поверий, стихийный дух (или так называемый «заложный покойник»; соответствие русской русалке). Этот мифологический образ использовал немецкий романтик де ла Мотт Фуке (1777–1843) в своей повести «Ундина», которую В. А. Жуковский перевел на русский язык гекзаметрами (вышла в свет в 1837 году; в начале следующего года автор подарил книгу Лермонтову). У героини этой повести, загадочного существа сверхъестественного происхождения, нет души, она ее обретает, полюбив человека.

С. 199. *...я подкрался, подстрекаемый любопытством... ~ выжимала морскую пену из длинных волос своих; мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь* — Мизансцена напоминает картину из пушкинской «Нереиды» (опубл. 1823): «Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть: / Над ясной влагою полубогиня грудь / Младую, белую как лебедь, воздымала / И пену из власов струею выжимала» (Пушкин 1937–1959: II, 156; отмечено: Карпов 2015).

С. 199–200. *Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!* — Те же жалобы звучат в «Княжне Мери», в словах Печорина: «Я был необходимое лицо пятого акта...» (с. 231) — и в записи о дуэли: «И с той поры сколько раз уже я играл роль

топора в руках судьбы!» (с. 247). Ср. замечание Максима Максимыча о Печорине: «Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи» (с. 160).

С. 200. *Честные контрабандисты* — Устаревшее теперь значение этого слова соотносилось с понятием о коллективной чести какого-либо сословия или лицах определенной деятельности. Так, в «Сценах из рыцарских времен» Пушкина один из персонажей говорит: «Всякое состояние имеет свою честь и свою выгоду <...> Почтен дворянин за решеткою своей башни — купец в своей лавке» (Пушкин 1937–1959: VII, 220). В критических статьях Пушкин употреблял выражения «честное звание воинов», «честное звание литератора», а в набросках к «Сценам из рыцарских времен» есть строка: «Мой прадед был честной бочар» (Там же. С. 362). Особенно характерна такая семантика для языка XVIII века. В изданном в 1772 г. «Путешествии Гулливера» Дж. Свифта в переводе Е. Коржавина читаем: «Сей честный корабельщик весьма ласково меня принял». Такие словосочетания еще долго сохранялись в народной речи, а также в литературных произведениях, основанных на фольклорной традиции или воспроизводящих народную речь («честной народ», «честной купец» в «Песне про купца Калашникова» и т. п.). Постепенно смысл слова «честный» сужается, приближаясь к современному. Отнесение этого эпитета к представителям профессии, не всегда отличающимся честностью в прямом значении слова, нередко носит иронический характер. Так, если Пушкин, как в вышеприведенных примерах, так и в предложении «честный аудитор и странствующий купец равны перед законом критики» (Т. XI. С. 80), следует традиционному, то есть современному словоупотреблению, то в выражении «молодой человек из честного сословия слуг» можно уловить некоторый иронический оттенок. Рецензент «Северной пчелы» (Булгарин?), явно не скрывая иронии, рассказывает содержание нового водевиля: «Она открыла <...>, что дядя ее атаман шайки, состоящей из 1500 честных и храбрых людей, т. е. разбойников» (СП. 1838. № 16. 20 января). В повести «Тамань» Лермонтов, не скрывая иронии, употребляет слово «честные» в старинном смысле и подчеркивает парадоксальность словосочетания «честные контрабандисты», специально выделяя эти слова (см.: Миллер 2011: 55–57).

Дагестанский кинжал. — Лучшим кавказским холодным оружием считалось произведенное в Дагестане; особенно были известны оружейники кумыкского аула Уллу-Къазаныш (Большие, или Нижние Казанищи) невдалеке от нынешнего Буйнакска.

Княжна Мери

Судя по сохранившейся рукописи, «Княжна Мери» была вписана в тетрадь (РНБ. № 2) после «Максима Максимыча» и «Фаталиста». Замысел повести, возможно, относится к лету 1837 г., когда Лермонтов жил в Пятигорске (см.: Воспоминания 1989: 250).

Б. М. Эйхенбаум в ряде изданий сочинений Лермонтова, выходивших под его редакцией, восстановил по рукописи даты в повести «Княжна Мери», поскольку в печатный текст, начиная с записи от 22 мая, вкрались явные ошибки. Так, в записи от 21 мая говорится: «завтра бал по подписке в зале ресторации»; следующая запись, рассказывающая о событии на балу и сделанная, очевидно, непосредственно после него, датирована в автографе правильно — 22 мая, а в печати ошибочно — 29 мая. Это вносит явную бессмыслицу, усугубляемую тем, что в следующей записи, датированной в автографе 23 мая, а в печати — 30 мая, Грушницкий благодарит Печорина за то, что Печорин вчера (т. е. 22 мая) защитил Мери. Далее в печатных датировках появляется еще одна бессмыслица — явный результат недосмотра: после даты «6-го июня» следует дата «13 июня» (в автографе в первом случае — «22 мая», во втором — «3 июня»), а затем — «12-го июня». Надо полагать, что основная ошибка, превратившая дату «22 мая» в дату «29 мая», повлекла за собою дальнейшие изменения и ошибки (Лермонтов 1954–1957: VI, 655–656).

«Княжна Мери» — не только основная часть записок Печорина: повесть занимает центральное место и композиции всего романа. В отличие от «Тамани» и «Фаталиста» это «журнал» в точном смысле этого слова — откровенные дневниковые записи раскрывают перед читателем внутренний мир Печорина. И вместе с тем именно в «Княжне Мери» наиболее широко показаны быт и нравы современного Печорину общества. Тотчас же после появления в свет первого издания «Героя нашего времени» Белинский писал о «Княжне Мери»: «Эта повесть разнообразнее и богаче всех других своим содержанием, но зато далеко уступает им в художественности формы. Характеры ее — или очерки, или силуэты, и только разве один — портрет. Но что составляет ее недостаток, то же самое есть и ее достоинство, и наоборот» (Белинский 1953–1959: IV, 227).

«Княжна Мери», как и ранний роман Лермонтова «Княгиня Лиговская», ориентирована на жанр светской повести, однако по сравнению с творчеством Бестужева-Марлинского, Одоевского и Павлова представляет собой другой тип повествования. По мнению Эйхенбаума, в «Княжне Мери», как и во всем романе, поведение персонажей более естественно, чем у предшественников Лермонтова (Эйхенбаум 1924: 154–155). Пропадает эксплицированный в «Княгине Лиговской» иронический взгляд на происходящее (Гинзбург 1940: 164–165). О жанровых особенностях «Княжны Мери» см.: Евзерихина 1961: 51–72; Иезуитова 1973: 196–197.

Другая литературная традиция, влияние которой проявляется в повести, — жанр «курортного романа», который в русской литературе (в отличие от западноевропейских) почти не был развит. Сравнивая «Княжну Мери» с романом В. Скотта «Сент-Ронанские воды» («Saint Ronan's Well», 1823), М. Г. Альтшуллер полагает, что главное сходство произведений лежит не сюжетном плане, а в описаниях той обстановки и атмосферы, которые создаются в относительно замкнутом пространстве курорта. В частности, в обоих романах акцентируется свойственное «водяному обществу» конфликное напряжение: многочисленные сцены дамско-

го соперничества из романа Скотта отражаются у Лермонтова в скрытой, но отчетливо ощущаемой недоброжелательности отдыхающих дам к княжне Мери. Параллелью к образу «драгунского капитана» в «Герое нашего времени» может служить образ капитана Мунго Мак-Терка, сыгравшего такую же роковую роль в жизни героев Скотта, что и лермонтовский бретер. Некоторые черты сближают Печорина с главным отрицательным персонажем романа Скотта — Фрэнсисом Тиррелом: они одинакового «непонятного» (20–30 лет) возраста, оба обладают схожими чертами внешности (Альтшуллер 1992: 150–151). Однако близость романов не стоит переоценивать — многие сходные мотивы относятся к типологическим константам «водной» литературы (см.: Китанина 2009: 239–247).

Кроме того, в качестве возможного фона «Княжны Мери» выделяется пласт западноевропейской литературы, связанный с мотивами французского либертинства (либертинажа), в частности, с творчеством маркиза де Сада (Головко 1991: 11–16; Геллер 1999: 98–110; Котельников 2014). А. Карбоне допускает возможность прямого влияния на «Героя нашего времени» либертинского романа Шодерло де Лакло «Опасные связи» («Les Liaisons dangereuses», 1782). Главную параллель составляют любовные треугольники: Вальмон — Сесиль — мадам де Турвель в «Опасных связях» и Печорин — Мери — Вера в «Герое нашего времени», а также стратегия соблазнения, используемая Печориным и Вальмоном (Карбоне 2011: 42–43, 45–48).

Присцилла Мейер (2011: 104–109) отмечала характерологические и сюжетные параллели «Княжны Мери» и повести Филарета Шаля (Chasles, 1798–1873) «Эглантин» («Eglantine»), опубликованной в петербургском журнале «Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts» (1833. Т. 6. P. 364–384). Любовная конструкция Альберт Сильфорд — Эглантина Уильсен — Фредерик Белл напоминает треугольник Грушницкий — княжна Мери — Печорин: опытный, циничный и мизантропический капитан Белл для развлечения влюбляет в себя молодую и неопытную Эглантину, в которую влюблен наивный юноша Альберт, поначалу думавший, что Белл — его друг. Как только Эглантина, завороженная вполне обдуманной холодностью Белла, признается ему в любви, он высокомерно и насмешливо отвергает ее, объявляя, что хотел лишь отомстить за ее пренебрежение к Альберту. Близость общей сюжетной схемы подкрепляется сходством характеров и поведенческих моделей Белла и Печорина, относящихся к одному типу разочарованного homme fatale. Было бы преувеличением считать, что повесть Шаля послужила прямым образцом для «Княжны Мери», однако следы знакомства с произведением влиятельного литератора в повести Лермонтова определенно присутствуют. Менее очевидна зависимость «Княжны Мери» от романа Шарля де Бернара (Bernard, 1804–1854) «Жерфо» («Gerfaut», 1838, фамилия героя переводится как «кречет», что соответствует его хищному типу). По существу, сходство произведений, отмеченное в свое время Б. В. Томашевским (1941: 502–507; Мейер 2011: 106–109), сводится к перекличке отдельных мотивов, реплик и деталей (см. ниже в постраничных примечаниях). Однако и этот роман важен для реконструкции литературного фона «Героя нашего времени».

С. 201. *Вчера я приехал в Пятигорск...* — Первое русское поселение у подножия Машука относится к 1770 году. Первоначально оно носило главным образом военный характер, но с начала 1820-х годов А. П. Ермолов обратил внимание на лечебное действие минеральных источников и в 1822 году сделал «представление» о «необходимости устройств на Кавказских водах». На это «представление» последовало «высочайшее повеление» составить проект. Поселение называлось тогда Горячеводском; в 1830 году оно переименовано в Пятигорск.

А. Е. Розен, живший в Пятигорске в 1838 году, писал: «город построен на левом берегу Подкумка, на покатости Машука, имеет одну главную улицу с бульваром, который ведет в гору, на коей рассажена виноградная аллея близ Елизаветинского источника, где устроена крытая галерея. В различных местах горы, в недальнем расстоянии, бьют серные ключи различной температуры, от 21° до 37° теплоты <...> При тихой погоде летом, при тумане зимою, по всему городу распространяется сильный серный запах» (Розен 1984: 369).

...нанял квартиру на краю города... — Деталь автобиографическая. Так выбирал Лермонтов в Пятигорске жилье для самого себя. 31 мая 1837 года он писал М. А. Лопухиной: «У меня здесь очень славная квартира; из моего окна я вижу каждое утро всю цепь снеговых гор и Эльбрус. И сейчас, покуда пишу это письмо, я иногда останавливаюсь, чтобы взглянуть на этих великанов, так они прекрасны и величественны» (перевод с французского; № 564).

Последнюю квартиру летом 1841 года Лермонтов снова снял на краю города, у подножия Машука, в доме В. И. Чилаева. В 1912 году в нем был открыт музей «Домик Лермонтова» (Лермонтовская ул., 4). Теперь это центр Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. См.: Лермонтовские места 1989: 290–297.

На запад пятиглавый Бешту... — Бешту — Беш-тау *(тюркск.)* — пять гор. Так называется самая высокая из всех гор Минераловодского района, состоящая из пяти вершин (высшая поднимается на 1400 м над уровнем моря); по ней и вся окружающая местность прозвана Пятигорьем; в семи верстах от Бештау находится город Пятигорск. В стихах Лермонтова Бештау упоминается не раз: («Аул Бастунджи», «Измаил Бей» — Т. 2. С. 223 и 142). Бештау воспет Пушкиным в посвящении к «Кавказскому пленнику» и в «Отрывках из путешествия Онегина» (Пушкин 1937–1959: IV, 91; VI, 198–199).

«...последняя туча рассеянной бури» — строка из «Тучи» А. С. Пушкина (1835) (Пушкин 1937–1959: III, 381). «Туча» впервые была напечатана в «Моск. наблюдателе» (1835. Ч. 2. Кн. 2. Май. С. 175), а затем в 3-м томе посмертного издания сочинений Пушкина в 1838 году.

...на север подымается Машук... — Машук, или Машуха, гора высотою в 993 м, под южным склоном которой расположен город Пятигорск; из одной, похожей на нарост, части Машука, называемой Горячей горою, вытекают лечебные источники. О Машуке Лермонтов упомянул в поэме «Аул Бастунджи» (1831; Т. 2. С. 223); начало поэмы «Измаил-Бей» происходит там, «где за Машуком день встает, / А за крутым Бешту садится» (Т. 2. С. 142).

С. 201. *...шумит разноязычная толпа, — а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее.* — Ср. у Байрона в «Паломничестве Чайльд-Гарольда»: «Dusky and huge, enlarging on the sight, / Nature's volcanic Amphitheatre, / Chimæra's Alps extend from left to right: / Beneath, a living valley seems to stir» (Byron 1828: 53; *пер.:* «Темный, огромный, увеличивающийся на глазах вулканический амфитеатр природы — химерические Альпы — простирается слева направо, а внизу, в долине виднеется шевеленье жизни» (Байрон 1987: I, 199; отмечено: Кондратенкова 2011а: 11). Как ступенчатый горный амфитеатр решена и живописная панорама Пятигорска, написанная Лермонтовым в 1837–1838 гг. (Ковалевская 1980: 176–177).

...цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом. — Самая высокая часть Кавказского хребта между Эльбрусом (5633 м) и Казбеком (5047 м). В этой цепи более 15 пиков выше Монблана, высочайшей вершины Европы. Высота снеговой линии на Кавказском хребте не везде одинакова в зависимости от климатических условий. Наиболее значительные вершины Кавказского хребта, видимые в ясную погоду из Пятигорска: Ужба (4786 м), Дых-тау (5198 м), Каштан-тау (5145 м), Тетнульд (4862 м), Шхара (5184 м) и Адай-хох (4646 м).

Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка... — Отзвук юношеского (1830) обращения Лермонтова к Кавказу: «Синие горы Кавказа, приветствую вас!», где есть строка: «Воздух там чист, как молитва ребенка» (Т. 1. С. 231). Ср. в письме Лермонтова к С. А. Раевскому: «...право я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь» (№ 566).

...солнце ярко, небо синё, — чего бы, кажется, больше? — зачем тут страсти, желания, сожаления? — одно из частых у Лермонтова противопоставлений покоя и безмятежности природы беспокойному, мятежному человеку. Ср. в стихотворении «Я к вам пишу случайно; право...» (1840–1841; Т. 1. С. 333–334):

Елизаветинский источник — углекислый, слегка насыщенный сероводородом источник в конце верхнего бульвара; при Лермонтове там была деревянная галерея, впоследствии замененная каменной, после революции совершенно перестроенная и получившая название Академической. Здесь открывается один из самых широких и красивых видов Пятигорска и его окрестностей на далекое расстояние, а в хорошую погоду и всего Главного Кавказского хребта от Эльбруса до Казбека.

...все водяное общество. — Свидетельства мемуаристов подтверждают точность лермонтовской характеристики «водяного общества». «В то время съезды на кавказские воды были многочисленны, со всех концов России. Кого, бывало, не встретишь на водах?.. Со всех концов России собираются больные к источникам, в надежде, и большею частью справедливой, исцеления. Тут же толпятся и здоровые, приехавшие развлечься — поиграть в картишки. С восходом солнца толпы стоят у целительных источников со своими стаканами. Дамы с грациозным движением опускают на беленьком снурочке свой стакан в колодезь; казак, с

нагайкой через плечо, обыкновенною его принадлежностью, бросает свой стакан в теплую вонючую воду и потом, залпом выпив какую-нибудь десятую порцию, морщится и не может удержаться, чтобы громко не сказать: „черт возьми, какая гадость!“ Легко больные не строго исполняют предписания своих докторов держать диэту, и я слышал, как один из таких звал своего товарища на обед, хвастаясь ему, что получил из колонии двух славных поросят и велел их изжарить к обеду» (Воспоминания 1989: 396).

С. 201. *Спустясь в середину города...* — «Все здешние источники, — писал в июне 1836 года из Пятигорска Н. В. Станкевич, — бьют на горе Машук <...> От центра города до первого источника Елизаветинского не более полуверсты» (Станкевич 1914: 359).

...я пошел бульваром... — «Посредине большой улицы бульвар, весьма приятный пешеходам», — описывает Пятигорск в 1833 году Я. И. Сабуров (Сабуров 1835: III2, 201). Елена Ган в рассказе «Медальон» описала Пятигорский бульвар: «Здесь не найдете вы ни фонтанов, ни статуй; это просто аллея стриженых липок, перерезывающая город во всю длину до самых источников минеральных вод. Зато с одной стороны вместо штукатуренных стен вы увидите дикие утесы с высеченными ступенями, ведущие к выстроенным на высоте ваннам, с другой, — над городом, фантастическую громаду скал, разбросанных в самом живописном беспорядке <...> Бледные, изнуренные, нередко изувеченные физиономии странно бросаются в глаза посреди цветущих лиц и лепета порхающей молодежи» (Зенеида Р-ва [Е. А. Ган]. Медальон // БдЧ. 1839. Т. 34. Май — июнь. С. 23–24).

Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. — Армейские солдаты носили номера своих войсковых частей на пуговицах и фуражках; армейские офицеры — на эполетах. В гвардии на пуговицах был изображен выпуклый двуглавый орел. При Александре I и Николае I на Кавказе легко можно было встретить офицеров, переведенных в виде наказания из гвардии в армейские полки (как Печорин и сам Лермонтов) или разжалованных в солдаты (как некоторые декабристы). Таких офицеров-армейцев и разжалованных в рядовые было так много, что «образованный ум под белой фуражкой» сделался привычным явлением на Кавказе. «Пылкое сердце под нумерованной пуговицей» обличает людей столичной военной среды, поплатившихся за независимость характера и суждений кавказскою ссылкою. Так, например, товарищ Лермонтова по службе на Кавказе, Руфин Дорохов, был три раза разжалован из офицеров в солдаты, по официальному определению, «за шалости», т. е. за независимость своего поведения (см.: Ракович 1900: 247).

...между чающими движения воды. — Имеется в виду евангельская притча об исцелении расслабленного в овчей купели: «...въ тѣхъ слежаше множество болящихъ, слѣпыхъ, хромыхъ, сухихъ, чающихъ движенія воды: ангелъ бо Господень на [всяко] лѣто схождаше въ купѣль и возмущаше воду: [и] иже первѣе влазяше по возмущеніи воды, здравъ бываше, яцѣмъ же недугомъ одержимъ бываше»

(Ин. 5, 3–4). Интерпретацию библейского сюжета применительно к «Герою...» см.: Москвин 2000: 9–17.

С. 202. *Они пьют — однако не воду...* — Этих посетителей Пятигорска описал бывший там в 1833 году Я. Сабуров, называющий их «будто больными», которые здесь «составляют особый класс». Они «лазают по горам, ездят на борзых черкесских лошадях, задают пикники, вечеринки. Воду пьют какую, как и когда угодно, купаются где попросторней. Снабжены обильно рецептами, термометрами, литературными новостями, модными галстуками, вином и картами; платят щедро докторам и пляшут до упаду, будто завтра умирать! Их хотя немного, но почти одних только и видно: встречаются везде, и на всех водах, и на гуляньях, и на горах, и в аулах, почему они, составляя род водяной аристократии, называют себя исключительным обществом» (Сабуров 1835: III2, 203–204).

Эолова Арфа. — Так называется павильон на одном из отрогов Машука, несколько выше Елизаветинской (впоследствии Академической) галереи, над гротом. В павильоне «Эолова арфа» в 1830–1831 годах была поставлена арфа, которая звучала под порывами ветра. Н. В. Станкевич, описывая Пятигорск в мае 1836 года, сообщал: «...на одной из гор беседка, в которой, говорят, будет Эолова арфа, — это было бы чудесно!» (Станкевич 1914: 355). Вскоре Эолова арфа была устроена, но Станкевича не удовлетворила: «...мы ее зовем арба — татарская повозка с двумя намазанными колесами, которые скрипят ужасно» (Там же. С. 359). Впрочем, А. Е. Розен в 1838 году нашел ее лишь «немного расстроенной» (Розен 1984: 372). Э. А. Шан-Гирей, много лет жившая в Пятигорске, вспоминала: «...звуки ее далеко разносились в воздухе, а когда была настроена, то и довольно гармоничные» (Нива. 1885. № 27. С. 643). В 1974 г. «Эолова арфа» была восстановлена. См. также: По лермонтовским местам 1989: 277–281.

На крутой скале <...> торчали любители видов... — Н. В. Станкевич в июне 1836 года писал, восхищаясь этим самым видом: «Пригорок над гротом — любимое место мое. Мне вздумалось подняться выше — какая картина! С одной стороны, вблизи, Машук, который, кажется, уперся в тучи и полуокружием обогнул центр города, в стороне — трехголовый Бештау, подернутый туманом, внизу — куча народа, дамы, черкесы, музыка, все полно жизни и гражданственности» (Станкевич 1914: 356).

Грушницкий — юнкер. — Юнкерами в то время, кроме учившихся в некоторых военных учебных заведениях, назывались вольноопределяющиеся в кавалерийские полки молодые люди дворянского происхождения, которые вступали в военную службу нижними чинами, но на особых правах, выделявших их из общей солдатской массы, и производились в офицеры по получении практической подготовки или за боевые заслуги. Одевались они по-солдатски и по экипировке ничем, кроме тонкого сукна мундира, не отличались от солдат.

По верному определению Дурылина, «юнкер Грушницкий — вторая контрастная фигура, поставленная Лермонтовым подле Печорина: как Максим Максимыч контрастирует с ним в „Бэле“ и „Максиме Максимыче“, так Грушницкий составляет контраст Печорину в „Княжне Мери“. Контрастирование Максима Максимы-

ча основано на противоположности его Печорину по возрасту, характеру, социальному положению, образованию, — и эта контрастность прекрасно осознается и Печориным, и Максимом Максимычем, но не мешает им обоим питать друг к другу чувства уважения и дружественности. Контрастность между Печориным и Грушницким, на первый взгляд, кажется гораздо менее значительной; Грушницкий всего на пять лет моложе Печорина, он живет, по-видимому, в кругу тех же умственных и моральных интересов, в каких живет Печорин, он ощущает себя человеком того же поколения и той же культурной среды, к которой принадлежит сам Печорин. На деле контрастность между Грушницким и Печориным, не будучи столь прямой и определенной, как между ним и Максимом Максимычем, является более резкой: кажущаяся близость их культурных и социальных позиций есть близость мнимая: между ними скоро обнаруживается настоящая — психологическая, культурная, социальная — пропасть <...>. Эта противоположность Печорина и Грушницкого, раскрытая Лермонтовым со всей полнотой психологической и исторической правды, доведена им до такой обобщающей показательности, что дает право в контрасте между Печориным и Грушницким видеть противоположность *личности и личины, индивидуальности и подражательности, свободной мысли и следования трафаретам*» (Дурылин 1940: 119–120; курсив автора).

Ирония «отличает Печорина от Грушницкого — его двойника-антагониста: Грушницкий потому и выглядит „пошлым“, что он воспроизводит внешние формы поведения „байронического героя“, не улавливая их внутреннего психологического содержания. Отсюда стереотипы „романтического“ поведения и речевые шаблоны в монологах Грушницкого <...> Вместе с тем антитеза „Печорин — Грушницкий“ сложнее, нежели прямое противопоставление истинного и ложного, органического и наносного. Грушницкий есть часть социального мира, в котором действует Печорин; один из тех „других людей“, чья судьба в конечном счете определяет меру правоты или виновности главного героя» (Вацуро 1983: 29).

Лермонтов нигде в своей повести не называет имени А. А. Бестужева-Марлинского (1797–1837), но, несомненно, образ Грушницкого связан с традициями творчества Марлинского и в какой-то степени является пародией на его героев (Стрелинского, Правина, героя из «Страшного гадания» и др.; анализ травестируемых мотивов см. в: Вацуро 2008: 44–45). Эту связь Грушницкого с персонажами Марлинского хорошо чувствовали современники Лермонтова, и об этом, характеризуя Грушницкого, писал Белинский: «Грушницкий — идеальный молодой человек, который щеголяет своею идеальностью, как записные франты щеголяют своим модным платьем, а „львы“ — ослиною глупостью <...> производить эффект — его страсть. Он говорит вычурными фразами». По определению Белинского, Грушницкий принадлежит к числу тех молодых людей, которые «страх как любят сочинения Марлинского, и чуть зайдет речь о предметах сколько-нибудь не житейских, стараются говорить фразами из его повестей» (Белинский 1953–1959: IV, 227–228). О «бытовом марлинизме» Грушницкого см.: Кривонос 1987: 56–58. Б. В. Нейман, а вслед за ним и Д. Д. Благой указывали на сходство отношений Печорина и Грушницкого с отношениями Онегина и Ленского, которое вместе с тем

подчеркивает разницу между Пушкиным и Лермонтовым в трактовке сходных положений или тем (Нейман 1914: 115–116; Благой 1941: 402–405).

Делались попытки установить прототип Грушницкого. Однако до сих пор этот вопрос остается открытым. Э. А. Шан-Гирей заявляла: «...известно хорошо, что Лермонтов списал Грушницкого с Колюбакина, прозванного „немирным“» (Нива. 1885. № 27. С. 646). В обнаруженных А. Н. Михайловой воспоминаниях К. А. Бороздина, встречавшегося в начале шестидесятых годов прошлого столетия с Н. П. Колюбакиным на Кавказе, сообщается: «В „Герое нашего времени“ Лермонтов в лице Грушницкого вывел Колюбакина, который это знал и, от души смеясь, простил ему эту злую на себя карикатуру» (Воспоминания 1989: 357). На сближение Николая Петровича Колюбакина (1812–1868) с Грушницким современников натолкнуло, вероятно, некоторое сходство биографических черт. Колюбакин служил в одном из кавказских батальонов, был ранен в ногу, награжден солдатским Георгиевским крестом, произведен в прапорщики. Затем лечился в Пятигорске, где тогда же, в 1837 году, находился Лермонтов. «Они не сошлись по эксцентричности своих натур», — сообщал биограф Колюбакина (Бороздин 1885: 112). Н. П. Колюбакин славился своей вспыльчивостью, неоднократно дрался на дуэлях и, будучи приятелем А. А. Бестужева-Марлинского, вел себя «несколько в духе его героев». О Колюбакине см.: Потто 1894: IV, 59–60; ИВ. 1894. № 11. С. 381–407; Колюбакин 1874: 954; Дельвиг 1912: I, 316–318. Известный кавказовед Е. Г. Вейденбаум, которому также «случалось читать и слышать, будто Грушницкий списан с Н. П. Колюбакина, известного впоследствии кавказского деятеля», решительно отверг эту версию. В молодые годы Н. П. Колюбакина можно было упрекнуть в резкости и заносчивости, которые ему обошлись очень дорого. Но он был всегда человеком выдающимся и благородным. По убеждению Е. Г. Вейденбаума, из Грушницкого, каким его изобразил Лермонтов, никогда не вышел бы такой «государственный деятель», каким выказал себя Н. П. Колюбакин «и как боевой офицер и как администратор» (Вейденбаум 1901: 317). Видимо, Вейденбаум не совсем понимал, чем прототип отличается от оригинала. Ср.: Попов 1963: 57–59.

Неоднократно называлcя другой прототип Грушницкого — Николай Соломонович Мартынов (1815–1875), убийца поэта. См. отзыв о нем в воспоминаниях И. Арсеньева: Мартынов «был человек щепетильно-самолюбивый и обидчивый, не отличаясь большим развитием <...> Мартынов был довольно бесхарактерен и всегда находился под чьим-либо влиянием» (Воспоминания 1989: 507). Белинский подчеркивал, что самолюбие — главная слабость в характере Грушницкого: «Самолюбие уверило его в небывалой любви к княжне и любви княжны к нему; самолюбие заставило его видеть в Печорине своего соперника и врага; самолюбие решило его на заговор против чести Печорина; самолюбие не допустило его послушаться голоса своей совести и увлечься своим добрым началом, чтобы признаться в заговоре; самолюбие заставило его выстрелить в безоружного человека: то же самое самолюбие и сосредоточило всю силу его души в такую решительную минуту и заставило предпочесть верную смерть верному спасению через признание. Этот человек — апотеоз мелочного самолюбия и слабости характера...» (Белинский 1953–1959: IV, 257).

Н. О. Лернер, а затем А. А. Ленорин высказали предположение, что прототипом Грушницкого следует признать известного в конце 1830-х и в 1840-х годах беллетриста Павла Павловича Каменского (1810–1875), подражателя Марлинского, автора романа «Искатель сильных ощущений». Вот что о нем рассказывает в «Литературных воспоминаниях» И. И. Панаев: это был «интересный молодой человек, явившийся с Кавказа с повестями à la Марлинский и с солдатским Георгием в петлице. Кавказский герой одержал две победы в Петербурге: одну над г. Краевским, издававшим „Литературные прибавления“ (к „Русскому инвалиду“), который, пораженный его талантом, заплатил ему 500 рублей (ассигнациями) за его первую повесть; другую над дочерью <графа> Ф. П. Толстого <вице-президента Академии художеств>» (Панаев 1950: 51, 99–100). Каменский вернулся с Кавказа и появился у Ф. П. Толстого весной 1837 года. Тогда же в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» А. А. Краевского была напечатана его повесть «Келиш-бей», а затем «Майко». Как известно, в начале 1838 года, возвратившись из Тифлиса в Петербург, Лермонтов выписал наскоро карандашом для памяти на обороте листа со стихотворением «Спеша на север из далека...» (Т. 1. № 350) имя этой красавицы-грузинки — Майко Орбелиани (о ней см.: Андроников 1968: 306–310). Повести П. П. Каменского, включая «Келиш-бей» и «Майко», вышли отдельным изданием в 1838 году, а в следующем году вышел роман «Искатель сильных ощущений» (1839). Белинский резко отрицательно отозвался о произведениях Каменского. По мнению Белинского, Каменский был напыщенным «марлинистом», который «совершенно доканал славу своего образца, показав, как легко упражняться в этом ложном роде литературы, даже и не имея таланта, и особенно, как смешон этот род» (Белинский 1953–1959: IX, 254).

Доктор Н. П. Раевский, свидетель не особенно точный, оригиналом Грушницкого называл юнкера Бенкендорфа (Нива. 1885. № 7. С. 168).

С. 202. *Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, — иногда тем и другим.* — Превращение возвышенного романтика в помещика-обывателя — «обыкновенный удел», «обыкновенная история» в России середины XIX века. Подобный жизненный путь предсказал Пушкин для Ленского (Пушкин 1937–1959: VI, 133–134).

С. 203. *Это что-то не русская храбрость!..* — Печорин этими словами выражает взгляд многих тогдашних кавказских офицеров, между прочим, несомненно и самого Лермонтова. В те времена на Северном Кавказе часто наблюдалось соперничество между офицерами русского происхождения и офицерами из немцев. Эти офицеры-немцы группировались преимущественно около выдвинувшегося в 1830-х годах генерала Г. Х. Засса, который командовал Кубанской линией, а в 1840 году был назначен начальником всего правого фланга Кавказской линии. Это был талантливый кавалерийский генерал, но карьерист и стяжатель. О «генерале-грабителе» Зассе см. также в воспоминаниях А. И. Дельвига: Дельвиг 1912: I, 301; ср.: Дельвиг 1930: 307–310. Антагонизм в офицерской среде на Кавказе между немцами и русскими держался долго. Его застал Лев Толстой, перенявший антипатию к офицерам-немцам. В рассказе «Набег» Толстой иронизирует

над поручиком из Саксонии Каспаром Лаврентьичем, который неизвестно чего не поделил с кавказскими горцами и «немецкий голос» которого сразу поражает «оскорбительным диссонансом среди тихой и торжественной гармонии». Поручик Розенкранц напоминает Грушницкого, когда в стычке с горцами, не переставая, сам стреляет из винтовки, мечется по всей цепи и хрипло кричит на солдат. Толстой, как известно, списал своего Розенкранца с подлинного немца, некоего Пистолькорса (см.: Зиссерман 1879: II, 327); в «Хаджи-Мурате» Толстой снова показал подобный тип в лице Бутлера, которого списал с гвардейца Кутлера (см.: Лернер 1916: XXV). Мемуарная литература подтверждает критическое отношение Лермонтова и Льва Толстого к «нерусской храбрости». См., например, сообщение о штабс-капитане фон Неймане (Андриевский 1913: I, 36–37), о графе Оскаре Менгдене (Потто 1894; Лермонтов 1954–1957: VI, 17) и др. В то же время, в этих оценках ощущается сильное влияние этностереотипов, продиктованных конкурентными мотивациями.

С. 203. *...он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке...* — Эту ироническую трактовку Грушницкого предвосхитил Пушкин, который задолго до Лермонтова посмеялся над «марлинизированными молодыми людьми». Герой «Барышни-крестьянки», юный Алексей Берестов, пленял уездных барышень тем же манером, имея перед Грушницким то преимущество, что «первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума» (Пушкин 1937–1959: VIII, 111). Но Печорин и Лермонтов относились к подражателю Марлинского без пушкинского добродушия.

...причина, побудившая его вступить в К... полк... — По предположению Я. Л. Махлевича, Лермонтов имеет в виду Кабардинский полк (Махлевич 1967: 212–214.

С. 204. *Вот княгиня Лиговская <...> и с нею дочь ее Мери...* — Н. М. Сатин, сообщая о том, что Лермонтов зорко наблюдал за встречавшимися ему летом 1837 года в Пятигорске различными типами «водяного общества» и уже задумывал своего «героя нашего времени», среди персонажей романа, как бы списанных с натуры, назвал и княжну Мери: «те, которые были в 1837 году в Пятигорске, вероятно, давно узнали и княжну Мери и Грушницкого» (Воспоминания 1989: 250). Эти слова Сатина вызвали немало безрезультатных попыток установить прототип княжны Мери.

Упорно и настойчиво называли в качестве прототипа княжны Мери Наталию Соломоновну Мартынову, сестру убийцы Лермонтова. С семейством Мартыновых Лермонтов познакомился весной 1837 года в Москве, а затем встречался с ними летом того же года в Пятигорске. По словам Д. Д. Оболенского, «вернувшись с Кавказа, Наталия Соломоновна бредила Лермонтовым и рассказывала, что она изображена в „Герое нашего времени“» (Оболенский 1893: 613). В 1841 году известный историк Т. Н. Грановский сообщил сестрам, что Лермонтов «убит на дуэли г. Мартыновым, братом молодой особы, выведенной в его романе под именем княжны Мери» (Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 2. С. 128). Андрей

Елагин, сообщая отцу о гибели Лермонтова, добавлял: «Мартынов, который вызвал его на дуэль, имел на то полное право, ибо княжна Мери сестра его». Мефодий Катков, извещая брата Михаила о гибели Лермонтова, добавлял: «Мартынов, брат мнимой княжны Мери, описанной в „Герое нашего времени“, вызвал его на дуэль» (Герштейн 1939: 66–67; ср.: Герштейн 1986: 277–290). Однако, как доказала Э. Г. Герштейн, утверждение, что Мартынов защищал на дуэли с Лермонтовым честь своей сестры Наталии Соломоновны, исходило из кругов, близких к семье Мартыновых, и возникло только после трагической дуэли, чтобы как-то объяснить эту дуэль и умалить вину Мартынова. Теперь установлено, что Лермонтов встречался, и вполне дружественно, с семейством Мартыновых в мае 1840 года, когда «Герой нашего времени» уже вышел в свет. Такие добрые встречи были бы просто невозможны, если бы Наталия Соломоновна узнала себя в образе княжны Мери и если бы это изображение показалось ей или ее брату оскорбительным.

Не менее настойчиво называли прототипом княжны Мери Эмилию Александровну Клингенберг, впоследствии вышедшую замуж за А. П. Шан-Гирея. Но сама Эмилия Александровна решительно опровергала эту фантастическую версию, сообщая, что она познакомилась с Лермонтовым только летом 1841 года, когда роман был уже издан и широко известен (Шан-Гирей 1889: 315). По той же причине отпадают предположения относительно Надежды Петровны Верзилиной, Екатерины Григорьевны Быховец, Нины Александровны Ребровой и других современниц поэта. П. А. Висковатов в числе возможных прототипов княгини и княжны Лиговских называл помещицу Киньякову из Симбирска, Иванову из Елизаветграда и некую госпожу В., «ходившую в 1881 году по Пятигорскому бульвару и у источников. Эту даму, со следами былой красоты, многие называли „княжной Мери“, и она с видимым удовольствием принимала это название» (Лермонтов 1889–1891: VI, 351–358).

Заслуживает внимания соображение П. А. Висковатова о том, что в образе княжны Мери отразились какие-то черты юной В. А. Лопухиной, которая еще в большей степени напоминает образ Веры, что «характер Вареньки Лопухиной раздвоен и представлен в двух типах» (Там же. С. 288; ср.: Попов 1963: 64–66).

С. 204. *...gris de perles* <...> *couleur puce* — Серо-жемчужное <...> цвет блохи (красновато-бурый цвет) (фр.).

И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?.. — См. выше, с. 201.

...толстая трость — точно у Робинзона Крузое! — Робинзон Крузо — главное и почти единственное действующее лицо романа английского писателя Даниэля Дефо (1659–1731) «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». В английском тексте романа Дефо у Робинзона — зонт; трость — во французских переводах, по которым Лермонтов, видимо, знакомился с этим романом.

...прическа à la moujik. — Прическа «под мужика», «вроде мужика», заимствована штатскими из Франции — это довольно длинные волосы, которые сзади подстригались полукругом, «в скобку», и часто воспринимались как признак некоторого вольномыслия. В царствование Николая I борода и длинные волосы были

одной из форм внешнего выражения оппозиционного образа мыслей и поведения (см.: Лорер 1984: 255).

С. 204. *Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante* — Мой милый, я ненавижу людей для того, чтобы не презирать их, ибо иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом (фр.).

С. 205. *Mon cher, je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule* — Мой милый, я презираю женщин для того, чтобы их не любить, ибо иначе жизнь была бы слишком смехотворной мелодрамой (фр.). В этой фразе Карбоне усматривает аллюзию на слова из «Опасных связей» де Лакло: «Я во что бы то ни стало должен обладать этой женщиной, чтобы не оказаться в смешном положении влюбленного, ибо до чего только не доведет неудовлетворенное желание» (Карбоне 2011: 41).

Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести... — С точки зрения обиходной классовой морали и закона «приличий» великосветской девушке не подобает снисходить до нужд незнакомого армейского юнкера. Еще С. П. Шевырев отмечал здесь художественную зоркость Лермонтова: «Мы любим в ней <Мери> то сердечное человеческое движение, которое заставило поднять ее стакан бедному Грушницкому, когда он, опираясь на свой костыль, тщетно хотел к нему наклониться; мы понимаем и то, что она в это время покраснела; — но нам досадно на нее, когда она оглядывается на галерею, боясь, чтобы мать не заметила ее прекрасного поступка. Мы отдаем всю справедливость наблюдательности <автора>, которая искусно схватила черту предрассудка, не приносящего чести обществу, именующему себя христианским» (Москвитянин. 1841. Ч. 1. №. 2. С. 525–526).

...она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска... — Этот дом сохранился. Он находится на проспекте Кирова, 12. О нем см.: Лермонтовские места 1989: 284–285.

С. 206. *Я лгал. Но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противуречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противуречий сердцу или рассудку.* — «Напрасное обвинение! — замечает по этому поводу Белинский. — Такое чувство противоречия понятно во всяком человеке с глубокою душою. Детская, а тем более фальшивая идеальность оскорбляет чувство до того, что приятно уверить себя на ту минуту, что совсем не имеешь чувства. В самом деле, лучше совсем без чувства, нежели с таким чувством. Напротив, совершенное отсутствие жизни в человеке возбуждает в нас невольное желание увериться в собственных глазах, что мы не похожи на него, что в нас много жизни, и сообщает нам какую-то восторженность. Указываем на эту черту ложного самообвинения в характере Печорина, как на доказательство его противоречия с самим собою вследствие непонимания самого себя...» (Белинский 1953–1959: IV, 229). Эту черту, как отметил Д. Н. Овсянико-Куликовский, Печорину передал Лермонтов от себя. Именно из-за этого свойства Белинский в 1837 году не понял Лермонтова и лишь впоследствии почувствовал в нем «глубокий и могучий дух» (о встрече и

столкновении Лермонтова с Белинским в Пятигорске летом 1837 года см.: Воспоминания 1989: 250–251). Декабрист М. А. Назимов, встречавшийся с Лермонтовым на Кавказе, удивлялся «сбивчивости и неясности» его воззрений: «Над некоторыми распоряжениями правительства, коим мы от души сочувствовали и о коих мы мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился. Статьи журналов, особенно критические, которые являлись будто наследием лучших умов Европы и заживо задевали нас и вызывали восторги, что в России можно так писать, не возбуждали в нем удивления. Он или молчал на прямой вопрос, или отделывался шуткой и сарказмом» (цит. по: Лермонтов 1889–1891: VI, 303–304).

С. 206. *И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну!* — После этих слов в рукописи было: «Но я теперь уверен, что при первом случае она спросит: кто я и почему я здесь на Кавказе. Ей, вероятно, расскажут страшную историю дуэли, и особенно ее причину, которая здесь некоторым известна, и тогда... вот у меня будет удивительное средство бесить Грушницкого» (Лермонтов 1954–1957: VI, 577).

...его имя Вернер, но он русский. — Доктор Вернер — единственный персонаж в повести «Княжна Мери», для которого может быть указан определенный и бесспорный прототип. Многие современники Лермонтова утверждают, что «доктор Вернер списан с Николая Васильевича Майера» (1806–1846), служившего при штабе генерала А. А. Вельяминова. Н. М. Сатин, А. М. Миклашевский, Н. П. Огарев, Ф. Ф. Торнау, А. Е. Розен, Н. И. Лорер единодушно отмечают высокое портретное мастерство, с которым Лермонтов воспроизвел в «Герое нашего времени» черты и характер Н. В. Майера в образе доктора Вернера. Окончив медико-хирургическую академию, Н. В.«Майер поступил на службу врачом в ведение генерала И. Н. Инзова, управляющего колониями в южной России, а оттуда был переведен в Ставрополь в распоряжение начальника Кавказской области генерал-лейтенанта А. А. Вельяминова... Зимой он жил в Ставрополе, а летом на Минеральных водах... Ум и огромная начитанность вместе с каким-то аристократизмом образа мыслей и манеры невольно привлекали к нему. Он прекрасно владел русским, французским и немецким языками и, когда был в духе, говорил остроумно, с живостью и душевною теплотою» (Филипсон 1883–1884: 178–179). Заслуживает внимания сообщение Г. И. Филипсона о том, что в 1837 году Майер рекомендовал ему для чтения «Историю французской революции» Ф.-О. Минье, «Историю английской революции» Ф. Гизо, «Историю контрреволюции в Англии» Н.-А. Карреля и «О демократии в Америке» А.-Ш.-Г.-К. Токвиля (Филипсон 1883–1884: 249). Этот список позволяет предположить, насколько широк был круг политических, социальных и исторических вопросов, которые обсуждались Н. В. Майером при встречах с Лермонтовым и сосланными на Кавказ декабристами. Н. П. Огарев познакомился с Майером через год после Лермонтова и также встречался с ним в Пятигорске. Впоследствии он писал: «Мейер был медиком, помнится, при штабе. Необходимость жить трудом заставила его служить, а склад ума заставил служить на Кавказе, где среди величавой природы со времени Ермолова не исчезал приют русского свободомыслия, где, по воле правительства, собирались изгнанники,

а генералы, по преданию, оставались их друзьями. Жизнь Мейера, естественно, примкнулась к кружку декабристов, сосланных из Сибири на Кавказ в солдаты — кто без выслуги, кто с повышением. Он сделался необходимым членом этого кружка, где все его любили как брата» (Огарев 1956: II, 381). Подробнее о Н. В. Майере см.: Гершензон 1912: 310–320; Бронштейн 1948: 473–493; ЛЭ 1981: 269.

С. 206. *...его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных, — больные взбеленились! — почти все ему отказали.* — Е. Хамар-Дабанов в сатирическом романе «Проделки на Кавказе» отмечает, что «пятигорские медики живут между собою как кошки с собаками» и «все между собою враги» (Хамар-Дабанов 1844: II, 108–114). Сохранилась злая стихотворная сатира, написанная на минераловодских врачей в 1836 году каким-то раздраженным пациентом (Щукинский сборник 1902–1912: IX, 182–183). В программе пушкинского «Романа на Кавказских водах» упоминаются «два лекаря (враги по рем<еслу>) (кто скорей реком<ендуется>)» (Пушкин 1937–1959: VIII, 966). В числе обвинений против Майера, когда возбуждено было в 1834 году дело «О подозрительном поведении прикосновенных к происшествию 14 декабря 1825 года поручика Палицына, врача Майера и других», большое место занимало хранение «пасквильных рисунков». При разборе бумаг поручика Палицына был обнаружен рисунок Майера, «набросанный пером и представляющий женскую фигуру с поднятою секирою в одной руке и отсеченною коронованной головой в другой; поодаль коронованный же череп» (об этом подробнее см.: Бронштейн 1948: 478; ср.: Попов 1963: 55–56).

С. 207. *...женщины влюблялись в таких людей до безумия...* — По словам Г. И. Филипсона, Майер внушал некоторым замечательным женщинам «сильное и глубокое чувство» к себе (Филипсон 1883–1884: 179; ср.: Филипсон 1883–1884: 106–107). Н. М. Сатин был «свидетелем и поверенным любви», которую Майер «своим умом и страстностью возбудил в одной из самых красивейших женщин» (Воспоминания 1989: 252).

Вернер был мал ростом, и худ и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна... — Портрет Вернера, нарисованный в повести «Княжна Мери», близок к характеристике Майера, вышедшей из-под пера Н. П. Огарева: «Его некрасивое лицо было невыразимо привлекательно. Волосы, остриженные под гребенку, голова широкая, так что лоб составлял тупой угол, небольшие глубокие глаза, бледный цвет лица, толстые губы, мундирный сюртук на дурно сложенном теле, одна нога короче другой, что заставляло его носить один сапог на толстой пробке и хромать... кажется, все это очень некрасиво, а между тем нельзя было не любить этого лица. Толстые губы дышали добротой, глубокие карие глаза смотрели живо и умно; но в них скоро можно было отыскать след той внутренней человеческой печали, которая не отталкивает, а привязывает к человеку; широкий лоб склонялся задумчиво; хромая походка придавала всему человеку особенность, с которою глаз не только свыкался, но дружился» (Огарев 1952: I, 403).

Правнук Н. В. Майера, профессор А. Г. Майер предоставил И. Л. Андроникову фотографию с автопортрета его прадеда. По мнению И. Л. Андроникова, «кроме глаз Вернера, которым Лермонтов сообщил черный цвет, в остальных деталях его наружность совершенно совпадает с автопортретом Майера и впечатлениями очевидцев. Но за этими внешними чертами под пером Лермонтова возникает характеристика еще более тонкая и глубокая, чем у Огарева, и уже обобщенная, позволяющая Лермонтову говорить не об одном человеке, но о „людях, подобных Вернеру“» (Андроников 1968: 343).

Отмечая замечательный ум и образованность доктора Майера, Н. М. Сатин досадовал на то, что «тем не менее он тоже не раскусил Лермонтова. Лермонтов снял с него портрет поразительно верный; но умный Майер обиделся, и, когда „Княжна Мери“ была напечатана, он писал ко мне о Лермонтове: „Pauvre sire, pauvre talent“ <„Ничтожный человек, ничтожный талант!“>» (Воспоминания 1989: 250).

Н. В. Майер умер 7 февраля 1846 года в Керчи в возрасте 40 лет, где и погребен на городском кладбище. Среди его бумаг, по преданию, были письма Лермонтова, но архив Майера погиб во время Крымской войны 1853–1854 гг. (см.: Архив Раевских 1908–1915: II, 401–402).

С. 207. *...неровности его черепа... поразили бы френолога странным сплетением противуположных наклонностей.* — Френолог — исследователь, пытающийся распознать склонности и способности человека по строению черепа и расположению и форме бугров. На рубеже XVIII и XIX веков френология имела большой успех, но не выдержала строгой научной проверки, хотя косвенно способствовала установлению некоторых интересных фактов в области анатомии и физиологии мозга. Лермонтов интересовался сочинениями основателя френологии Франца-Йозефа Галля (1758–1828) и физиогномиста Иоганна-Каспара Лафатера (в частности, Лафатер упоминается в «Княгине Лиговской — с. 96). Как известно из письма поэта к А. И. Бибикову, писанному во второй половине февраля 1841 года из Петербурга, среди множества других книг, приобретенных «для общего обихода», были куплены сочинения Лафатера и Галля (см. № 585). Речь идет о книгах «Искусство познавать людей по чертам лица» Лафатера и «Анатомия и физиология нервной системы в целом и мозга в частности» («Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en particulier», 1810–1820) Галля. Подробнее об интересе Лермонтова к физиогномике и френологии см.: Heier 1971: 267–282.

Из двух друзей всегда один раб другого... — Обычно эти слова связывают с замечанием Л. Н. Толстого в «Отрочестве» (гл. 27): «Карр сказал, что во всякой привязанности есть две стороны: одна любит, другая позволяет любить себя; одна целует, другая подставляет щеку. Это совершенно справедливо...». Однако французский эквивалент этой фразы («En amour, il y en a toujours un qui souffre et l'autre qui s'ennuie») приписывался и Бальзаку. Источник французского афоризма, в несколько иной вариации зафиксированного в 1870-х гг., до сих пор не установлен, поэтому связывать с ним лермонтовское наблюдение было бы неосторожно.

...я встретил Вернера в С... среди многочисленного и шумного круга молодежи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление... —

Речь идет о Ставрополе (Махлевич 1967: 209), где в 1837 году Лермонтов познакомился с Н. В. Майером. В «шумном кругу молодежи» были кн. В. М. Голицын, С. В. Кривцов, В. Н. Лихарев, Н. И. Лорер, М. А. Назимов, М. М. Нарышкин, кн. А. И. Одоевский и барон А. Е. Розен.

С. 208. *Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились, довольные своим вечером.* — Цицерон в книге «De divinatione» («Об угадывании», кн. 2, гл. 24) и в «De nature deorum» («О природе богов») ссылается на Катона-старшего: «Очень хорошо известны слова Катона, который говорил, что он удивляется, почему не смеется гаруспик, когда видит другого гаруспика». Катон имел в виду не авгура, гадателя по полету и крику птиц, а гаруспика, гадателя по внутренностям жертвенных животных. Жрецы-гадатели (авгуры, гаруспики и др.) составляли в Древнем Риме влиятельную коллегию, их гаданиям и истолкованиям придавали большое значение, и ни одно из важных государственных дел не решалось без выяснения предзнаменований (ауспиций). Если ауспиции были неблагоприятны, поход, народное собрание и т. д. отменялись. Сами же гадатели в более поздние времена уже не верили в свои предсказания и втайне относились к своему ремеслу иронически, отлично понимая друг друга. Так понимали друг друга и скептически относились к собственным философствованиям Печорин и Вернер.

Любопытно, что это место в повести «Княжна Мери» очень близко к отрывку из «Путешествия Онегина»: «Святая дружба глас натуры / [Взглянув] друг на друга потом / Как Цицероновы Авгуры / Мы засмеялися тишком» (Пушкин 1937–1959: VI, 491). На это совпадение обратил внимание А. О. Гербстман. Лермонтов не мог знать этого отрывка из «Евгения Онегина», так как эти стихи были выброшены Пушкиным из текста путешествия Онегина и были впервые опубликованы уже после смерти Лермонтова. Показательно, что первоначально в рукописи у Лермонтова отсутствовало имя Цицерона; рукописный вариант: «По словам Виргилия» (Лермонтов 1954–1957: VI, 578). Если бы Лермонтов знал пушкинский текст, он не допустил бы такой ошибки. Вложив в уста Печорина широко распространенное сравнение с авгурами, Лермонтов проверил текст и уточнил указание, кому из древних принадлежит это сравнение. Совпадение упоминания об авгурах у Пушкина и у Лермонтова объясняется общностью источника. Возможно, этим источником были мемуары Казановы. Заменив гаруспиков на авгуров и так же забывая, что Катон у Цицерона как раз удивлялся тому, что они не смеются при встрече, Казанова писал, что «понял римского оратора, сказавшего об авгурах, что они не могут смотреть друг на друга без улыбки» (Казанова 1991: 121). Возможно, Лермонтов пользовался французским изданием 1833 г.: *Casanova Jacques.* Mémoires de Jacques Casanova de Seigalt, écrits par lui-même. Édition originale, le seule complète. T. 1–10. Bruxelles, 1833 (такое издание было в библиотеке Пушкина).

С. 209. *Завязка есть! — закричал я в восхищении: — об развязке этой комедии мы похлопочем.* — Печорин пользуется специальными театральными терминами, выстраивая свою «игру». Как было продемонстрировано С. В. Савинковым, про-

странство «Княжны Мери» подчинено принципу театрализованного представления, в котором Печорин отводит себе главную роль (Савинков 2012: 166–169), причем Печорин обладает способностью кардинальным образом переворачивать роли, превращаясь в сцене дуэли из обидчика в защитника девичьей чести. В связи с этим показательно то, что определенные идеи Печорина проецируются на размышления Гамлета, которые также воспринимает окружающий мир как театральные подмостки (см.: Гладышев 2001: 84–88; Грехнев 2004: 132–135).

С. 209. *Кажется, ваша история там наделала много шума! Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания... Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа в новом вкусе... Я не противуречил...* — В первоначальном варианте текста вместо слов «Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях» было: «Княгиня мне стала рассказывать о какой-то дуэли» (Лермонтов 1954–1957: VI, 578). О какой-то петербургской истории, послужившей причиной отъезда Печорина на Кавказ, может быть, о дуэли, Печорин не рассказывает в своих записках, заинтриговывая этим читателя. Для Лермонтова предыстория Печорина не имела сюжетного значения, он сосредоточил все внимание на раскрытии уже сформировавшегося героя. Этот разговор Печорина с Вернером в значительной мере повторяет недавний их разговор о Грушницком. Касательно прошлого Печорина доктор Вернер оставил Лиговских «в приятном заблуждении».

...разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную... — Ирония Лермонтова направлена на избитую сюжетную схему романтической повести (подробнее см.: Томашевский 1941: 505–506).

...вы мне должны описать маменьку с дочкой. — Ответ Вернера на эту просьбу носит явно шутливо-пародийный характер. Вернер подчеркивает свой профессиональный медицинский подход. Любопытно, что этот ответ Вернера вызвал горячее и наивное возражение одного из первых критиков романа — С. П. Шевырева, который увидел в характеристике княгини Лиговской нападки и клевету на Москву и ее нравы (Москвитянин. 1841. Ч. 1. № 2. С. 222–223).

...купаться два раза в неделю в разводной ванне. — Разводная ванна назначалась пожилым людям, чтобы ослабить сильное действие минеральной воды. Она разводилась наполовину или на четверть обыкновенной пресной водой.

С. 210. *— Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остряками.*
— А вы были в Москве, доктор? —

Вопрос этот — очень тонкая шпилька, подпущенная Печориным. Во-первых, Печорин свои вопросом выразил удивление: он не ожидал, что провинциальный врач Вернер мог быть в одной из столиц, во-вторых, он причислил своим вопросом Вернера к «сорокалетним острякам», что в данном контексте для Вернера не совсем лестно. Доктор, вероятно, почувствовал это, но со всем тактом умного и воспитанного человека сделал вид, что ничего не заметил.

...я глупо создан: ничего не забываю... — Как отметил Дурылин, «признание это сближает Печорина со многими героями лермонтовской поэзии. Они все не знают и не хотят знать забвенья; все они наделены неумирающей памятью» (Дуры-

лин 1940: 199). См. стихотворения «Расстались мы; но твой портрет...», «Любовь мертвеца» (Т. 1. № 339, 405). Эта черта точнее всего выражена в формулировке: «Забыть? — забвенья не дал Бог, / Да он и не взял бы забвенья!..» («Демон»; Т. 3. С. 396). Измаил-Бей сожалеет, что «Все в мире есть — забвенья только нет» (Т. 2. С. 179). По мнению В. Д. Спасовича, в Лермонтове «от природы преобладала эмоциональная деятельность над рефлексной. Он обладал такою же страшною „памятью сердца", как Байрон» (Спасович 1889: II, 308). Упоминание о Байроне может быть не случайным: в своих дневниках он неоднократно отмечал те же свойства своей памяти, что и Печорин (см., напр.: Байрон 1963: 289; указано: Дьяконова 1963: 47).

С. 211. *Я... остановил двух знакомых Д... офицеров...* — Вероятно, офицеров Донского казачьего полка. См.: Махлевич 1967: 214–218.

...мои анекдоты были умны до глупости... — Ср. у Пушкина в «Евгении Онегине»: «шутивший <...> тонко и умно, / Что нынче несколько смешно» (Пушкин 1937–1959: VI, 176).

Магазин Челахова был своего рода пятигорским «универсальным магазином», где можно было достать даже столичные журналы (см. письмо Н. В. Станкевича к В. Г. Белинскому 30 мая 1836 г.: Станкевич 1914: 412). С. И. Недумов обнаружил любопытную докладную записку Нахичеванского 3-й гильдии купца Никиты Челахова, поданную им 27 июля 1838 года на имя начальника Кавказской области генерала П. Х. Граббе. Из этой записки явствует, что у Челахова был магазин не только в Пятигорске, но и в Тифлисе, что он торговал «галантерейными и прочими товарами в Кавказской области <...> без малого тринадцать лет» и что он «неоднократно публиковал в газетах, что в магазине <...> в гор. Пятигорске <...> можно купить, нисколько не дороже противу существующих цен в Москве, разные товары российского и иностранного произведения» (Ставропольский госархив. Ф. 79. № 2439. 1838 г.). Описание «Депо разных галантерейных, косметических и азиатских товаров» Н. А. Челахова см.: СП. 1836. № 89. 21 апр. С. 356.

С. 212. *...рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар.* — Сравнением с Архимедовым рычагом Лермонтов собирался воспользоваться раньше в «Княгине Лиговской» (гл. 8), где говорится об Архимеде, который «обещался приподнять земной шар, если ему дадут точку упора» (с. 139).

...господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? — Мери подтверждает впечатление, которое произвел взгляд Печорина на рассказчика («Максим Максимыч», с. 187). Автор придал своему герою свою собственную черту. До нас дошло много воспоминаний о Лермонтове, в которых единогласно отмечается, что взгляд Лермонтова был весьма пронзителен и тяжел и привыкнуть к нему было нелегко. Этот «тяжелый взор» произвел неизгладимое впечатление на И. С. Тургенева: «...в наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижных темных глаз» (Воспоминания 1989: 296).

С. 213. *...она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой...* — В рукописи сначала было «для тебя скомпрометируется» (Лермонтов 1954–1957: VI, 581). Лермонтов сознательно избегал иностранных слов и особое внимание уделял тому, чтобы психологические понятия были выражены русскими словами. Вслед за Пушкиным Лермонтов много сделал для создания русской «метафизической прозы». Ср., например, такие поправки Лермонтова: «Я всегда готов [рисковать] подвергать себя смерти»; «Впрочем, очень натурально, что ей стало тебя жалко» — «очень понятно» (Там же. С. 576, 598).

...под этой толстой, серой шинелью билось сердце страстное и благородное... — См. выше коммент. к с. 201, 209.

С. 213–214. *...прихожу к колодцу <...> подошел к гроту.* — «Колодец» — Елизаветинский источник, близ него, несколько выше — грот. Этот грот находится на внутреннем отроге Машука, напротив Елизаветинского источника. Первоначально это была естественная пещера. В 1828 году пятигорские архитекторы братья Бернардацци отделали пещеру, высекли в скале скамьи, провели к гроту аллею. Прохладная пещера стала излюбленным местом отдыха в знойные летние дни. В 1837 году летом здесь часто отдыхал Лермонтов. Впоследствии это место получило наименование Лермонтовского грота. В 1858 году грот был облицован тесаным камнем и закрыт железной решеткой. В 1870 году тамбовский помещик Алексеев установил здесь мраморную доску с высеченными на ней стихами, посвященными Лермонтову. В 1922 году доска снята (хранится в музее «Домик Лермонтова») (см.: Яковкина 1938: 92–94; Лермонтовские места 1989: 282). Возможный символический подтекст этого мотива анализируется Москвиным (Москвин 2000: 12–16).

С. 214. — *Вера! — вскрикнул я невольно.* — Из всех женщин, выведенных в романе, самой сложной и интересной является Вера, чем и объясняются разноречивые суждения о ней в критике (Белинский 1953–1959: IV, 268; Шевырев С. П. «Герой нашего времени». Соч. М. Лермонтова. Две части. СПб., 1840 // Москвитянин. 1841. Ч. 1. № 2. С. 515–538; Авдеев 1874: 202–204; Иванов 1898: 177; Duchesne 1910: 174–175, 322; Шувалов 1925: 140; и др.).

Вера во многом отразила черты Варвары Александровны Лопухиной-Бахметевой (1815–1851). Лермонтов, по свидетельству А. П. Шан-Гирея, будучи студентом, «был страстно влюблен в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину; это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку; ей было лет 15–16; мы же были дети и сильно дразнили ее; у ней на лбу чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: „у Вареньки родинка, Варенька уродинка“, но она, добрейшее создание, никогда не сердилась. Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения, но оно не могло набросить (и не набросило) мрачной тени на его существование, напротив: в начале своем оно возбудило взаимность, впоследствии, в Петербурге, в гвардейской школе, временно заглушено было новою обстановкою и шумною жизнью юнкеров тогдашней школы, по вступлении в свет

новыми успехами в обществе и литературе; но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины...» (Воспоминания 1989: 37–38).

25 мая 1835 года Варвара Александровна вышла замуж за Николая Федоровича Бахметева (1798–1884), очень богатого человека. Это случилось вскоре после того, как она узнала, что Лермонтов расстроил брак ее брата Алексея с Е. А. Сушковой. Варвара Александровна не сразу поняла, что это было не вероломство по отношению к другу и не измена ей, а искреннее желание спасти Алексея от неудачного выбора. История с Сушковой внесла в ее доверчивую душу смятение, ей показалось, что ее привязанность к Лермонтову, ее вера в него навсегда разрушены. А. П. Шан-Гирей рассказывал о том, как принял Лермонтов известие о замужестве Вареньки: «...я имел случай убедиться, что первая страсть Мишеля не исчезла. Мы играли в шахматы, человек подал письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хотел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: „вот новость — прочти“, и вышел из комнаты» (Воспоминания 1989: 43).

Николай Федорович Бахметев был старше жены на семнадцать лет. Он оказался черствым и мелочным человеком. По его требованию Варваре Александровне пришлось уничтожить письма Лермонтова, адресованные к ней. Чтобы спасти кое-что из его рукописей и рисунков, их взяла к себе родственница Лермонтова, Александра Михайловна Верещагина, одна из самых близких приятельниц поэта.

Лермонтов встретился с Варварой Александровной только в конце 1835 года, когда был в Москве проездом в Тарханы. Последняя встреча Лермонтова с Варварой Александровной состоялась в 1838 году, когда Бахметевы ехали через Петербург за границу. Эту встречу А. П. Шан-Гирей описал так: «Лермонтов был в Царском, я послал к нему нарочного, а сам поскакал к ней. Боже мой, как болезненно сжалось мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и тени не было прежней Вареньки, только ее глаза сохранили свой блеск и были такие же ласковые, как и прежде» (Воспоминания 1989: 46).

Наружность Веры в романе Лермонтова очень напоминает внешность Варвары Александровны. Доктор Вернер говорит о Вере: «...очень хорошенькая, но очень, кажется, больная <...> она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка: ее лицо меня поразило своей выразительностью» (с. 210).

В 1962 году в Германии от профессора М. Винклера в Государственный литературный музей поступил выполненный Лермонтовым акварельный портрет В. А. Лопухиной в образе испанской монахини, долгое время хранившийся у А. М. Верещагиной (см.: Андроников 1968: 198–201, 228–229; Пахомов 1961: 9; Ковалевская 1980: 1832–1833). Известны еще две акварели Лермонтова, которые П. А. Висковатов также признавал за портреты Лопухиной (Описание рукописей 1953: 121, 123; Каталог 2014: 236).

Материалы из архива А. М. Верещагиной-Гюгель, и среди них переписка Верещагиной с матерью и М. А. Лопухиной, сестрой Варвары Александровны, дают

много интересных и значительных подробностей о жизни Варвары Александровны, о том, как она не нашла счастья в браке, всю жизнь оставалась верна своему глубокому чувству к поэту. Об этом см. в публикациях: Андроников 1963: 5–33; Гладыш, Динесман 1963: 34–62.

В. А. Лопухина-Бахметева вдохновила Лермонтова на создание образа Веры Дмитриевны в неоконченном романе «Княгиня Лиговская» и Веры в драме «Два брата». В том и другом произведении в образе мужа Веры угадывается Н. Ф. Бахметев, так же как и в образе Семена Васильевича Г...ва, дальнего родственника княгини и княжны Лиговских в повести «Княжна Мери» (с. 215). Не удивительно, что Н. Ф. Бахметев был крайне раздражен, когда появился в свет роман «Герой нашего времени»; ему казалось, что все знакомые узнают его и его жену в образе Веры и Семена Васильевича. П. А. Висковатов сообщал: «...нам известен случай, когда Бахметев на запрос, был ли он с женою на кавказских водах, пришел в негодование и воскликнул: „Никогда я не был на Кавказе с женою! — это все изобрели глупые мальчишки. Я был с нею, больною, на водах за границей, я никогда не был в Пятигорске или там в дурацком Кисловодске“» (Лермонтов 1889–1891: VI, 288–289).

У Варвары Александровны Лопухиной-Бахметевой была дочь, к которой относится стихотворение Лермонтова «Ребенку» (Т. 1. № 395; см.: Бобров 1909: 91–93).

Бесспорная близость образа Веры с личностью Варвары Александровны Лопухиной-Бахметевой, конечно, не дает никаких оснований отождествлять судьбу Веры, все детали ее биографии с жизнью Варвары Александровны. Отношения Варвары Александровны с Лермонтовым всю жизнь оставались платоническими, и ничего похожего на ночное посещение Веры Печориным не могло быть.

С. 214. *...один из тех разговоров...* — Ср. стихотворение «Есть речи — значенье...» (1839; 1840; Т. 1. № 374).

С. 215. *Да, я уже прошел тот период жизни душевной...* — Подобную перемену испытал и сам Лермонтов. О своем освобождении от юношеского романтизма он писал в стихотворении <«Из альбома С. Н. Карамзиной»> (Т. 1. № 408).

...один только раз я любил женщину с твердой волею... — Товарищ Лермонтова по кавалерийской школе А. Меринский рассказывает, что это «раз случилось с самим поэтом в его ранней юности, как он мне сам о том рассказывал, и о чем, кажется, намекает в одном месте записок Печорина» (Воспоминания 1989: 173).

fièvre lente — Медленная горячка (фр.).

С. 216. *Уж не молодость ли с своими благотворными бурями...* — Возможно, отражение стихов из «Евгения Онегина» «Любви все возрасты покорны; / Но юным, девственным сердцам / Ее порывы благотворны, / Как бури вешние полям...» (Пушкин 1937–1959: VI, 178):

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра... — Страстный любитель верховой езды и отменный наездник, Лермонтов много ездил в окрестностях Пятигорска. Однажды ему пришлось кинжалом отбиваться от трех горцев, преследовавших его около озера между Пятигорском и Георгиевским укреплением.

Конь Лермонтова оказался выносливым, и Лермонтов ушел от преследователей (Лермонтов 1889–1891: VI, 342–343).

П. К. Мартьянов со слов В. И. Чилаева и Н. П. Раевского записал, что летом 1841 года в Пятигорске «иногда по утрам Лермонтов уезжал на своем лихом Черкесе за город, уезжал рано и большей частью вдруг, не предуведомив заблаговременно никого: встанет, велит оседлать лошадь и умчится один. Он любил бешеную скачку и предавался ей на воле с какой-то необузданностью. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, как головоломная джигитовка по необозримой степи, где он, забывая весь мир, носился как ветер, перескакивая с ловкостью горца через встречавшиеся на пути рвы, канавы и плетни. Но при этом им руководила не одна только любительская страсть к езде, он хотел выработать из себя лихого наездника-джигита, в чем неоспоримо и преуспел, так как все товарищи его, кавалеристы, знатоки верховой езды, признавали и высоко ценили в нем столь необходимые, по тогдашнему времени, качества бесстрашного, лихого и неутомимого ездока-джигита» (Мартьянов 1893–1896: II, 45).

В творчестве Лермонтова часто повторяется мотив стремительной скачки, радостного ощущения вольного полета, быстрого, захватывающего дух движения; см., например, стихотворение «Люблю я цепи синих гор» (1832; Т. 1. № 261). Так же скачет Измаил-Бей («Измаил-Бей». Ч. 1. Строфа 16; Т. 2. С. 148); ср. стихотворение «Узник» (1837; Т. 1. № 335) и поэму «Сашка» (строфы 145–146; Т. 2. С. 336–337).

С. 216. *Какая бы горесть ни лежала на сердце...* — С. П. Шевырев в своей статье о романе Лермонтова отказывался допустить, что в Печорине «могла сохраниться любовь к природе, которую приписывает ему автор; мы не верим, чтобы он мог забываться в ее картинах. В этом случае автор портит цельность характера и едва ли своему герою не приписывает собственного чувства». И наивно доверяясь высказываниям Печорина о себе самом, Шевырев спрашивает читателя: «...человек, который любит музыку только для пищеварения, может ли любить природу?» (Москвитянин. 1841. Ч. 1. № 2. С. 529).

С. В. Шувалов объяснил происхождение этих ощущений Печорина: «Отталкиваясь от блестящего, но внутренне пустого и искусственного светского общества, Печорин и подобные ему дворянские интеллигенты устремлялись по контрасту ко всему социально-примитивному, естественному, к простым, непосредственно-стихийным людям и к дикой, девственной природе. Эта идеализация простого, первобытного, эта тяга от культуры к природе (начальная стадия дворянского опрощения) часто связывалась в то время с Кавказом, привлекательным своей экзотичностью, далекостью от русского пейзажа и быта...» Близок к природе и рассказчик первых двух повестей. «Рассказчику, как и Печорину, свойственна характерная для их социальной среды тяга к природе, вера в ее очищающее значение для „испорченного культурой“ человека...» (Шувалов 1929: 53–54, 57, 64).

Об отношении Лермонтова к природе см. также коммент. к с. 248.

С. 216. *...казаки <...> на своих вышках...* — С начала XIX века вся Кавказская линия почти полстолетия, вплоть до распространения электрического телеграфа,

от Черного до Каспийского моря была окаймлена цепью казачьих постов, охранявших границу. На каждом посту была сторожевая вышка, служившая для наблюдения и сигнализации. До нас дошло множество описаний таких постов и вышек. Вот, например, описание поста близ Пятигорска как раз в эпоху «Героя нашего времени»: «Соломенный шалашик, где два-три казака едва могут укрыться от непогоды, и то сгорбившись, или спать вповалку; лошади привязаны к колу или, стреноженные и оседланные, пущены недалеко; род клетки на четырех высоких шестах служит караульней сторожевому казаку, который с этого возвышения обозревает окрестность и бьет тревогу в случае опасности; внизу оставшиеся казаки садятся тотчас на лошадей и скачут с вестью к соседним постам... Таким образом в одно мгновенье вся линия на ногах, и помощь спешит куда нужно» (Сабуров 1835: IV, 36). Товарищ Лермонтова М. И. Цейдлер описывает: «...на высоких столбах сторожки, открытые со всех сторон, с небольшими камышовыми или соломенными крышами в защиту сторожевому казаку от солнца или дождя. Тут же сделан маяк; это высокий шест, обвитый осмоленною соломой <...> С возвышения сторожевому казаку видна вся местность на далекое расстояние, а внизу, у поста, два или три казака держат в поводу коней, и по первому выстрелу зажигается маяк, и сигнал тревоги передается быстро на далекое расстояние. Верховой казак в то же время летит к ближайшему посту, сообщая, в чем дело: замечена ли переправившаяся партия черкесов, или угнан у станичников скот» (Цейдлер М. И. На Кавказе в 30-х годах // РВ. 1888. Кн. 9. С. 131; ср.: Торнау 1864: II, 7). Изображение казачьей вышки см.: ЛН 1961: LXIX1, 237.

С. 216. *...верно, по одежде приняли меня за черкеса.* — А. П. Беляев изображает кавказского денди, передавая свои впечатления 1840 года: «...нет ничего живописнее казака или горца (так как отличить одного от другого незнающему трудно) на своем лихом коне. Костюм его — белая или желтая черкеска из верблюжьего сукна, род широкого, свободного полукафтанья, без воротника, открытый на груди; из-под черкески виднеется щегольский бешмет из канауса или какой-нибудь шелковой материи, по краям обшитый галунами, с низким стоячим воротничком. На груди по обе стороны черкесские сафьянные патроны, также обшитые галунами; кожаный, довольно высокий пояс, всегда с серебряной насечкой, стягивает стан тонкий и эластичный. Нога обута в щегольский сафьянный чувяк, также обшитый галуном. Поверх чувяков на панталоны надеты суконные ноговицы, идущие снизу несколько выше колен, расшитые узорчато галунами. На голове папаха, круглая, обшитая мехом шапка. За спиной винтовка в чехле из войлока. За поясом огромный кинжал, большею частью с серебряной насечкой. В кобуре с правой стороны большой азиатский пистолет, а за поясом другой. Тонкая нагайка надета на кисть правой руки... Мчится он, обыкновенно пригнувшись к шее лошади, на которой сидит так же свободно и покойно, как бы сидел на мягком диване» (Беляев 1990: 267–268). Это описание несколько дополняет и объясняет подробности черкесского костюма Печорина и рисует образец, к которому стремился этот «совершенный денди». Мнение Печорина о кабардинском щегольстве подтверждается показаниями знатоков Кавказа. «Кабардинцы, — говорит, например, А. Л. Зиссерман, — были в некотором роде кавказскими французами; оттуда

распространялась мода на платье, на вооружение, на седловку, на манеру джигитовки» (Зиссерман 1879: II, 382). «Костюм черкесов, — рассказывает, описывая Северный Кавказ в 1830-х годах, Г. И. Филипсон, — был в большой моде у всех русских. Большая часть офицеров, особенно приезжих, носили этот костюм <...> Черкесское оружие носили всегда и все офицеры... Оружие имело условную цену, иногда до нелепости высокую; наружный вид и отделка оружия были своеобразны и очень красивы. Русские переняли от черкесов старательное сбережение оружия» (Филипсон 1883: 164–165). Другой современник Лермонтова Ф. Ф. Торнау считает кабардинцев и черкесов самой лучшей конницей (см.: Торнау 1864: II, 32). «Одежда черкеса, начиная от мохнатой бараньей шапки до ноговиц, равно как и вооружение, приспособлена как нельзя лучше к конной драке». Молодецким видом кабардинцев восхищается и лермонтовский «кавказец» (с. 269). Сам Лермонтов во время военных экспедиций гарцевал «на белом, как снег, коне, на котором, молодецки заломив белую холщовую шапку, бросался на чеченские завалы» (Лермонтов 1889–1891: VI, 344).

С. 216. *...я совершенный денди: ни одного галуна лишнего...* — Денди — от англ. Dandy — франт, щеголь; встречается в романе «Евгений Онегин» Пушкина (гл. I, строфа 4). Печорин подчеркивает, что носит черкесскую одежду — бешмет, черкеску, ноговицы — с такой же аристократической изысканной простотой, как носил в свое время гвардейский мундир. По определению Лермонтова, «...хороший тон царствует только там, где вы не услышите ничего лишнего...» («Княгиня Лиговская»; с. 101).

Черевики — так на Украине называют сапожки, по преимуществу женские. Лермонтов говорил по-украински, но в данном случае допускал неточность: необходимая обувь кабардинца не черевики, а чувяки, плотно облегающие ступню, с самой легкой и мягкой подошвой; черкесские щеголи на чувяки обращали особое внимание. Впрочем, Н. О. Лернер отмечал, что в книге Н. П. Титова армейский офицер в казачьей станице франтит в разноцветных ногавках и в красных черевиках (Титов 1837: II, 184). В части третьей, «Несчастливец», кабардинский князек танцует лезгинку в сафьяновых цветных черевиках (с. 209).

Немецкая колония — Каррас (по имени стоявшего когда-то здесь аула), или Шотландская колония, в просторечии Шотландка, так как ее населяли колонисты-шотландцы (ныне Иноземцево), отстояла от Пятигорска в 7 верстах. Впоследствии из-за частых нападений черкесов многие колонисты покинули Шотландку. На смену шотландцам в еще большем числе приехали немцы (выходцы из Вюртемберга). Во времена Лермонтова колония была немецкой. Она славилась садами и была любимым местом для прогулок пятигорских «курсовых» (т. е. тех, кто приезжал в Пятигорск пройти курс лечения водами), которых особенно привлекала «ресторация».

Н. И. Лорер сообщал: «По дороге от Пятигорска к Железноводску красиво разбросалась и существует давно уже колония шотландцев, отчего называется Шотландкою; чистые на немецкий манер домики имеют садики и огороды, и вся постройка тонет в зелени садов. Зажиточные колонисты часто отдают свои домики под пикники, устраиваемые наезжающими семействами из Пятигорска. Подобных роз-центифолий, какие я рвал в Шотландке, мне не случалось видеть

нигде <...> Жители живут в довольстве и покое, но лет десять тому назад (т. е. до начала 1820-х годов) подвергались набегам горцев» (См.: Лорер 1984: 275; Сабуров 1835: IV, 34–36; Розен 1984: 378–379; Станкевич 1914: 357, 612; Лермонтовские места 1989: 312). Лермонтов обедал в Каррасе, где останавливался по пути из Железноводска к месту своего рокового поединка (см.: Акерблом 1892: 767–768). Дом колониста Рошке, где бывал Лермонтов, сохранился до наших дней (см.: Симанская 1960: 200–211).

С. 216. *Змеиная, Железная, Лысая гора.* — Змеиная — одна из гор в степи, в окрестностях Пятигорска; своей подошвою соединяется с Железною горою. Змеиная гора скалиста, имеет крутые скаты и издали походит на группу змей (в тюркских языках — Жлантау, по-черкесски Блеошги). Железная гора состоит из известкового и глинистого сланца; в середине XIX века была покрыта густым лесом, на склонах этой горы бьют железистые источники; Лысая гора к северо-востоку от Пятигорска, на правом берегу Подкумка, состоит из известняка, лишена растительности (см.: Семенов 1865: I, 224, 293; II, 111).

Из этих вершин Пятигорья, расположенных в нескольких верстах от Пятигорска, первые две упоминаются в «Измаил-Бее» (Т. 2. С. 144).

С. 217. *Амазонка* — женский костюм для верховой езды, в начале XIX в. состоявший из длинного приталенного и расширяющегося книзу платья, и шляпкой, обычно в виде мужского цилиндра (иногда с вуалью).

Смесь черкесского с нижегородским — переделка вошедшего в поговорку выражения Чацкого, который издевается над провинциальным «смешеньем языков французского с нижегородским» («Горе от ума», д. I, явл. 7-е — Грибоедов 1969: 143). Лермонтов здесь, с одной стороны, имеет в виду общий провинциализм пятигорского общества, а с другой, вероятно, намекает на форму Нижегородского драгунского полка, которая заимствовала элементы черкесского национального костюма: мохнатая шапка, бурка и пр. См. также примеч. к с. 216.

Mon Dieu, un Circassien!.. <...> Ne craignez rien, madame, — je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier. — Боже мой, черкес!.. <...> Не бойтесь, сударыня, я не опаснее вашего кавалера (фр.).

Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. — На возвышенностях, окружающих Пятигорск, еще в тридцатых годах XIX века были расставлены пикеты. По ночам часовые перекликались, чтобы проверить друг друга. Вода из горячих источников спускалась ночью к подножию Машука в долину Подкумка и заболачивала местность. Этот водоем, образованный спущенными горячими ключами, изобразил десятилетний Лермонтов на акварельном рисунке, датированном 13 июня (1825 года).

Нагайская арба. — Нагайцы (ногайцы) — народность тюркской ветви, жила в бассейне р. Кумы (во времена Лермонтова в Ставропольской губернии и Терской области).

С. 218. *Самый приятный дом для меня теперь мой...* — Эта фраза Печорина напоминает слова Лермонтова из письма к М. А. Лопухиной от 1832 года: «Назвать вам всех, у кого я бываю? *Я сам* — вот та особа, у которой я бываю с наибольшим удовольствием» (оригинал по-французски; № 546).

С. 219. *...завтра бал по подписке в зале ресторации...* — Я. Сабуров, описывая пятигорскую «ресторацию», сообщал: «В обширной ее зале, довольно бедно убранной, бывают балы, на которых больные могут танцевать до упаду» (Сабуров 1835: III2, 201).

Зала ресторации превратилась в залу Благородного собрания. — В «Московском телеграфе» 1830 года находим следующее описание пятигорской ресторации: «Здешняя ресторация служит очень приятным местом общего сборища. В ней можно хорошо и недорого пообедать; а охотники до виста или бостона всегда найдут там себе партию. Комнаты ресторации убраны очень хорошо, зала ее обширна и очень удобна для танцев, которые в ней иногда и бывают. Словом: больные, выдержавшие карантин на горячих водах в Кисловодске, начинают оживать и опять знакомиться понемногу с удовольствиями света.

Однако ж на бале, который здесь был при мне, как-то все еще плохо клеилось, и в танцы пускались очень немногие. Зато игорные столы все были заняты.

Видно, что господа выздоравливающие не совсем еще освободились от лени, которую нагоняют теплые ванны и серные пары, или может быть иные из них выдумали позаботиться также и о поправлении здоровья кошельков своих, которое от долгого пребывания на Кавказе весьма легко может „расстроиться“» (МТ. 1830. № 10. С. 314–315).

Здание ресторации, или гостиницы Найтаки, на бульваре в центре Пятигорска сохранилось. Оно было построено в 1828 году братьями Бернардацци по проекту архитектора И. И. Шарлеманя. Лермонтов сам часто бывал здесь. См.: Лермонтовские места 1989: 286–287.

Благородное собрание в дореволюционной России существовало в каждом губернском городе. Вход в Благородное собрание разрешался только дворянам.

Описываемый в дневнике Печорина дворянский бал по подписке, то есть в складчину, обходился до двух тысяч рублей. С. Н. Дурылин в своей книге воспроизводит подписной лист на бал в Кисловодске в 1838 году и отчет в израсходованной на бал сумме из альбома князя Н. С. Вяземского, сослуживца Лермонтова по лейб-гвардии Гусарскому полку (см.: Дурылин 1940: 227–228).

...пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи счастливую эпоху мушек из черной тафты... — С. Н. Дурылин отметил иронический и даже сатирический тон записей Печорина о пятигорском «водяном обществе», в то время как зарисовки людей столичного круга сделаны более сдержанно (см.: Дурылин 1940: 229).

Фижмами (искаж. нем. Fischbein) называлась в XVIII веке широкая юбка на обручах из китового уса.

Мушками в ту же эпоху назывались маленькие кусочки черной тафты, которые дамы наклеивали на лицо для украшения, а иногда для замаскирования прыщиков или родимых пятен; ими пользовались также для любовных объяснений (существовал условный «мушиный язык», в котором количество и расположение мушек на том или ином месте лица имело свое значение).

С. 219. *Фермуар* — (от фр. fermoir) так называется собственно застежка или пряжка, замыкающая ожерелье, а чаще само ожерелье.

С. 219. *Драгунский капитан.* — Чины в драгунских полках с XVIII века до 1882 года были такие же, как в пехоте (обычно в кавалерии чину капитана соответствовал ротмистр). «Драгунский капитан бесподобен, хотя и является в тени, как лицо меньшей важности», — писал Белинский (Белинский 1953–1959: IV, 268). Это один из самых ярких типов известной части офицерства тех времен. Б. В. Нейману он напомнил секунданта Ленского Зарецкого, каким тот был в юности: «...некогда буян, / Картежной шайки атаман, / Глава повес, трибун трактирный...» (Пушкин 1937–1959: VI, 118; Нейман 1914: 117). Есть мнение, что Лермонтов «списал» драгунского капитана с какого-то армейского гусара Сланина (Лермонтов 1889–1891: VI, 36). Недавно И. Рожков выдвинул гипотезу, что прототипом был И. В. Сабуров (Рожков 1989: 18–19).

C'est impayable!.. — Это бесподобно!.. (фр.).

С. 220. *Пермете* — (фр. permettez) — позвольте. Это слово дано в русской транскрипции, чтобы дать понятие о произношении господина во фраке.

...ангажировать pour mazure. — Это приглашение до известной степени характеризует краснорожего усача, который пытался пригласить княжну на мазурку. По-французски польское слово *мазурка* так и произносится «mazourka», так писал его и сам Лермонтов, а «mazure» значит дрянной, полуразвалившийся домишко.

С. 222. *Я сделал лучше <...> спас ее от обморока на бале!..* — Мотив спасения возлюбленной восходит к «Лейтенанту Белозору» (1831) Марлинского, а впоследствии к «Джеллаледдине» (1838) Зенеиды Р-вой (Вацуро 2008: 45).

С. 223. *Она запела: ее голос недурен, но поет она плохо... впрочем я не слушал.* — В. Э. Вацуро отмечает, что сюжет романа включает серию эпизодов, обычных для повестей Марлинского, «но каждый эпизод предстает переосмысленным и обоснованным функционально». Таков эпизод пения Мери: «В повести Марлинского и его подражателей пение героини обычно — непосредственный толчок к объяснению в любви. „Плохо петь“ для нее немыслимо, равно как для героя — остаться безучастным к пению». Печорин же нарочито демонстрирует свое равнодушие, в то время как Грушницкий ведет себя по всем канонам «марлинического героя» (см.: Вацуро 2008: 43, 44–45).

С. 224. *...музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово; следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении.* — Возможно, на мысль о том, как оскорбительно должно быть для музыканта отнесение музыки к факторам, способствующим пищеварению, Лермонтова навели строки из статьи А. Леве-Веймара «Жизнь Гофмана». При описании детства писателя автор рассказывает, как его дядя-советник, не понимая страстной любви мальчика к музыке, утверждал, что она хороша для послеобеденного отдыха и что благоразумный человек может найти несколько приятных мгновений, занимаясь ею в то время, когда совершается пищеварение (МН. 1838. Ч. 16. С. 348–349). О чтении Лермонтовым «Московского наблюдателя» см.: Миллер 1986: 181–183.

С. 226. *А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души!* — В самопризнании Печорина главное место занимает признание в «жажде власти» («подчинять» своей «воле все, что <...> окружает»

(с. 226) — первое и главное наслаждение Печорина). О зависимости этой позиции от философии либертинов XVIII в. см.: Котельников 2014: 32–33.

...как цветок, которого лучший аромат... — «Аналогичное сравнение, — говорит С. И. Родзевич, — мы находим в „Исповеди сына века“ Мюссе, и хотя мы не можем утверждать, что Лермонтов заимствовал именно отсюда свое красочное сравнение, но, в виду и других точек соприкосновения между обоими романами, можем это предполагать. Вот как говорит Октав, наблюдая за нарядными женщинами из уголка гостиной: „...ах, что за сад, что за цветы! как приятно было бы сорвать их и понюхать!“ Сравнение Лермонтова оригинально лишь по своему внутреннему смыслу. В то время, как Октав говорит лишь об „удовольствии“, Печорин вносит в это удовольствие элемент не то какого-то демонизма, не то деланного цинизма» (Родзевич 1913: 43–44).

Сравнение прекрасной женщины с цветком настолько распространено, что вряд ли целесообразно искать в данном случае какой-то определенный источник и тем более видеть в этом сравнении следы литературного влияния. Тем не менее Л. П. Семенов, не соглашаясь с С. И. Родзевичем, настаивал на другом источнике. Он указал на роман Чарльза Роберта Мэтьюрина (1782–1824) «Мельмот Скиталец», вышедший в 1820 году. Этим романом в 1820–1830-х годах зачитывалась вся Европа, его высоко оценил в «Евгении Онегине» Пушкин. Лермонтов знал «Мельмота Скитальца» и упомянул его в связи с Печориным в черновике Предисловия к «Герою нашего времени»: «Если вы верили существованию Мельмота, Вампира и других — отчего же вы не верите в действительность Печорина?» (см. примеч. к с. 155). Мельмот говорит: «Мне поручено попирать ногами и топтать всякий цветок в естественном и нравственном мире — гиацинты, сердца и подобные безделки, какие встретятся мне». «Красота, — читаем мы далее о Мельмоте, — была цветком, на который он смотрел лишь для того, чтобы издеваться над ним, и прикасался к нему только с целью его погубить». Отзвуки знакомства Лермонтова с романом «Мельмот Скиталец» прослеживаются в: Алексеев 1978: 36–44.

С. 226. *...первое мое удовольствие — подчинять моей воле всё, что меня окружает.* — В одном из писем Байрона к Джону Мюррею он пишет о своем стремлении к власти над людьми (Byron 1830: 293). См. также прим. к с. 226.

Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности. — Подобное отношение к злу сближает Печорина с персонажами французской либертенской литературы, которые провозглашали независимость личных желаний и страстей от норм веры, морали и разума (Головко 1991: 13; Котельников 2014: 32).

... идеи — создания органические, сказал кто-то: их рождение уже дает им форму, и эта форма есть действие... — Определенного мнения насчет источников этих лермонтовских тезисов до сих пор не имеется. В. Ф. Асмус (1941: 84) считал, что «тезис о первенстве воли и практического разума» был обоснован «в немецком идеализме (особенно у Фихте-старшего)», однако никаких доказательств и примеров в пользу своего предположения исследователь не приводил. Более вероят-

ной представляется гипотеза Э. Э. Найдича: «В „Шагреневой коже“ Рафаэль говорит Феодоре: „...наши идеи — организованные, цельные существа, обитающие в мире невидимом и влияющие на наши судьбы...“. В предисловии к этому роману Бальзак сравнивает идеи с живыми существами: „Появление на свет живых организмов и возникновение идей — две великие тайны“. <...> Вполне вероятно, что афоризм Печорина <...> навеян Бальзаком, который в 1830-х гг. постоянно возвращается к теме „органичности“ идей. <...> Вероятность того, что концепцией „органичности идей“ Лермонтов в определенной мере обязан Бальзаку, увеличивается благодаря еще одному сопоставлению. В лермонтовском „Вадиме“ имеется обширное размышление о материальности человеческой воли, которое также восходит к „Шагреневой коже“: герой Бальзака написал трактат „Теория воли“, а в разговоре с Феодорой развивал сходные мысли о том, что „воля человеческая есть сила материальная, вроде пара, что в мире духовном ничто не устояло бы перед этой силой, если бы человек научился сосредоточивать ее, владеть всею ее совокупностью и беспрестанно направлять на души поток этой текучей массы; что такой человек мог бы в соответствии с задачами человечества как угодно видоизменять все, даже законы природы“» (Найдич 1985: 203–204).

С. 227. *Пришел Грушницкий и бросился мне на шею: он произведен в офицеры. <...> солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь, на водах, не придаст вам ничего интересного <...> сколько надежд придали мне эполеты...* — Сосланный и разжалованный в рядовые, декабрист Н. И. Лорер вспоминал, что, после того как он был снова произведен в офицеры, он сшил себе в Керчи сюртук Тенгинского пехотного полка «и когда посмотрелся в зеркало, то нашел себя очень смешным. Солдатская шинель мне как-то была более к лицу» (Лорер 1984: 257). Грушницкий радовался праву носить офицерский мундир и эполеты (наплечные знаки у офицеров старой русской армии) потому, что они давали ему право появляться в дворянской среде, в частности открывали доступ в Благородное собрание, где устраивались балы и где он мог встретиться с княжной Мери, не будучи даже приглашенным к ней в дом.

...провал <...> на отлогости Машука... — Эта геологическая достопримечательность Пятигорска представляет собою расселину с отвесными стенами высотою около 30 м, на дне которой бассейн глубиною в 13 м, наполненный теплой мутно-голубой водой, пропитанной сероводородом. С угасшим кратером (над пятигорскими учеными Лермонтов явно смеется) провал ничего не имеет общего; о провале есть обширная специальная литература (см.: Баталин 1857: 191–215). В лермонтовские времена провал был доступен лишь сверху (впоследствии к нему пробили штольню в 43 м), и смельчаки спускались вниз, к бассейну, на веревках. Иногда молодежь устраивала над провалом балы; отверстие закрывалось досками, и на этом помосте танцевали (Шан-Гирей 1885: 643; ср.: Дроздов 1887: 364–370).

С. 228. *Да! такова была моя участь с самого детства.* — Значительную часть этой тирады Лермонтов перенес в роман из своей ранней драмы «Два брата», где подобный монолог произносит Александр Радин, один из ближайших предшественников Печорина (см.: Т. 3. С. 363). В свою очередь, в «Двух братьях» эти мотивы могли быть заимствованы из байроновского «Манфреда» (акт II, сц. 2):

«From my youth upwards / My spirit walk'd not with the souls of men, / Nor look'd upon the earth with human eyes; The thirst of their ambition was not mine, / The aim of their existence was not mine; / My joys, my griefs, my passions, and my powers / Made me a stranger» (Byron 1828: 233; *пер.*: «От самых юных лет / Ни в чем с людьми я сердцем не сходился / И не смотрел на землю их очами; / Их цели жизни я не разделял, / Их жажды честолюбия не ведал, / Мои печали, радости и страсти / Им были странны» — Байрон 1987: I, 479; отмечено: Кондратенкова 2010: 41).

Как отмечает В. Э. Вацуро, в «Герое...» монолог Александра функционально переосмыслен. «В „Двух братьях" он — искренняя исповедь, излияние души; в „Герое нашего времени" — исповедь, рассчитанная и на то, чтобы поразить воображение слушательницы» (Вацуро 1983: 29). «От души ли говорил это Печорин или притворялся? — спрашивает Белинский. — Трудно решить определительно: кажется, что тут было и то и другое. Люди, которые вечно находятся в борьбе с внешним миром и с самими собою, всегда недовольны, всегда огорчены и желчны. Огорчение есть постоянная форма их бытия, и что бы ни попалось им на глаза, все служит им содержанием для этой формы...» (Белинский 1953–1959: IV, 240; ср.: Овсянико-Куликовский 1914: 74–76). Об искренности исповеди Печорина высказываются различные мнения (см.: Левин 1964: 272–282; Маркович 1984: 206–213; Баранов 1988: 95–96; Гиршман 1991: 64–65; Мейер 2011: 71–73).

С. 228. *...другие дети веселы и болтливы...* — И. М. Болдаков заметил, что «после „болтливы" несомненно пропущен третий член сложного предложения, составляющий вывод из противоположения двух первых, так что за словом „болтливы" должно бы, собственно, поставить двоеточие, — на это указывают остальные, окружающие это предложение антитезы. Этот пропуск остался невосполненным, вероятно, оттого, что роман печатался не под наблюдением самого автора» (см.: Лермонтов 1891b: I, 436). Пропуск, однако, здесь кажущийся. Перед нами четыре антитезы: «я был скромен...», «я глубоко чувствовал...», «я был угрюм...», «я был готов любить...». Если бы Лермонтов ощущал пропуск, то он мог бы его восстановить при печатании второго издания романа. Так же, почти дословно, читается это место и в рукописи драмы «Два брата» (Т. 3. С. 363)..

...лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил... — Ср. в «Думе» «Тая завистливо от ближних и друзей / Надежды лучшие и голос благородный / Неверием осмеянных страстей...» (Т. 1. С. 299).

Я все это знаю наизусть, — вот что скучно! — Ср. слова Арбенина в драме «Маскарад»: «Романа не начав, я знал уже развязку, / И для других сердец твердил / Слова любви, как няня сказку. / И тяжко стало мне и скучно жить!» (Т. 3. С. 262–263)

С. 229. *...мы будем жить в большом доме близ источника...* — Источник — Нарзан. Старожилы указывали, что Лермонтов имел в виду один из самых больших по тем временам домов Кисловодска — дом Реброва в балке, за которой так и упрочилось имя Ребровой балки; в нем сдавались отдельные квартиры, была и гостиница (Зиссерман 1885: 298). Сохранились зарисовки дома, сделанные А. И. Арнольди (Рус. худож. листок. 1862. № 7) и М. А. Зичи (альбом иллюстраций к «Княжне

Мери», изд. А. А. Гусевой). Дом Реброва не сохранился, он был разобран за ветхостью. Подробнее об этом см. в: Махлевич 1991, гл. «Мезонин у Нарзана».

С. 230. *Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, нашей любви, — разумеется, прикрыв все это вымышленными именами.* — Аналогичный эпизод имеется в неоконченном романе Лермонтова «Княгиня Литовская» (с. 127) и в его драме «Два брата» (Т. 3. С. 360–361).

С. 231. — *Где нам, дуракам, чай пить! — отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным.* — Имеется в виду Петр Павлович Каверин (1794–1855), не только повеса, но и вольнодумец, близкий к кругу декабристов. В 1810–1811 годах Каверин слушал лекции в Геттингенском университете, в 1812 году вступил в ополчение, а с 1816 по 1823 год служил в лейб-гвардии Гусарском полку, где впоследствии в 1834–1837 годах служил Лермонтов. Вероятно, поэт с Кавериным не встречался, но много слышал о нем. Пушкин в 1816–1820 годах дружил с Кавериным и посвятил ему ряд стихотворений, в том числе «К П. П. Каверину» (1817). В первой главе «Евгения Онегина» упоминается Каверин: «К *Talon* помчался: он уверен, / Что там уж ждет его Каверин...» (Пушкин 1937–1959: VI, 11). Остроты и меткие слова Каверина долго повторялись в петербургских гвардейских полках. Биограф П. П. Каверина Ю. Н. Щербачев передает более распространенную редакцию каверинской поговорки: «Где нам, дуракам, чай пить, да еще со сливками!» (Щербачев 1913: 45, 199 и 201).

Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? — В драме В. Гюго «Эрнани» (1830), оказавшей влияние на юношескую драму Лермонтова «Испанцы», главный герой говорит о себе любимой женщине (акт III, явл. 5): «Tu me crois peut-être / Un homme comme sont tous les autres, un être / Intelligent, qui court droit au but qu'il rêva. / Détrompe-toi ! je suis une force qui va! / Agent aveugle et sourd de mystères funèbres! / Une âme de malheur faite avec des ténèbres! Où vais-je? je ne sais. Mais je me sens poussé / D'un souffle impétueux, d'un destin insensé. / <...> / Cependant, à l'entour de ma course farouche, / Tout se brise, tout meurt. Malheur à qui me touche! Oh! fuis! détourne-toi de mon chemin fatal. / Hélas! sans le vouloir, je te ferais du mal!» (Hugo 1836: 114; *пер.*: «...может быть, ты принимаешь меня за такого человека, как все, за разумное существо, стремящееся прямо к намеченной им цели? Разуверься! Я проходящая мимо сила, слепое и глухое орудие мрачных тайн, несчастная душа, созданная из мрака! Куда я иду? Не знаю. Но я чувствую, что меня толкает могучее веяние, бессмысленная судьба... Вокруг моего бешеного бега все разрушается, все умирает. Горе тому, кто соприкасается со мною!»). В драме В. Гюго «Марион Делорм» (1828) Дидье, такой же гордый, желчный мизантроп, как Печорин, называет себя «мрачным и проклятым существом» и жалуется, что «приносит горе всем, кому приходится иметь с ним дело».

Накануне дуэли Печорин возвращается к обычному для него кругу мыслей, «...я причиною несчастия других», — с горечью говорит он о себе и Максиму Максимычу (с. 177). Ср. в «Вадиме»: «...есть люди, заражающие своим дыханием счастье других; все, что их любит и ненавидит, обречено погибели...» (с. 12).

С. 231–232. *Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов, — или в сотрудники поставщику повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?..* — Печорин делает ироническое предположение: не приведет ли его судьба стать литературным ремесленником, автором распространенных в 1830-е годы мещанских драм и романов, в которых изображалась благонамеренная семья, покой которой обычно нарушался вторжением злодея из аристократической среды. Еще более печальна была бы роль безвестного «поставщика повестей». Предприимчивый издатель «Отечественных записок» в первой половине 1830-х годов П. П. Свиньин (1788–1839), редактор «Библиотеки для чтения» О. И. Сенковский (1800–1858), известный под псевдонимом Барон Брамбеус, и другие журналисты-предприниматели широко пользовались помощью бедных начинающих литераторов, платили им гроши и бесцеремонно переделывали на свой лад приобретенные у них рукописи.

С. 232. *Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титюлярными советниками?..* — Александр Македонский (356–323 до н. э.) в древности и лорд Дж. Г. Байрон (1788–1824) в новое время — два образца великих людей — противопоставлены в этой записи Печорина роковому чину титулярного советника — уделу тысяч бедных чиновников, не имевших образования или не выдержавших специального экзамена «на чин» коллежского асессора (не случайно у Гоголя Поприщин и Акакий Акакиевич Башмачкин — титулярные советники). В романе «Княгиня Лиговская» (гл. 8) Печорин, насмехаясь в гостиной княгини над Красинским, замечает, что он «непременно будет великим государственным человеком, если не останется вечно титулярным советником...» и при этом обещает справиться, «есть ли у него университетский аттестат!..» (с. 138). Читатель во времена Лермонтова понимал скрытую в этих словах насмешку, в данном случае, впрочем, несправедливую, потому что у Красинского было университетское образование. Контраст между великими замыслами и малыми свершениями страшил и юного Лермонтова. В письме к С. А. Бахметевой он писал в августе 1832 года: «Тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит» (№ 544).

...он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. — Лермонтов иронически намекает на литературный штамп, характерный для романов Марлинского и близких к нему авторов. Например: «глубокие морщины лба, нарезанные не летами, но страстями» у Аммалат-Бека, лицо «раннего мученика пылких, жгучих страстей» у Аслана в «Кемин-бее» П. Каменского, которого Белинский назвал вторым Марлинским (см.: Вацуро 2008: 35).

С. 233. *Я люблю врагов, хотя не по-христиански.* — Нагорная проповедь: «Азъ же глаголю вамъ: любите враги вашя, благословите кленущыя вы, добро творите ненавидящымъ васъ, и молитеся за творящихъ вамъ напасть и изгонящыя вы» (Мф. 5, 44).

С. 235. *Вот уж три дни, как я в Кисловодске.* — Кисловодск во времена Лермонтова — укрепление и казачья станица. В середине XIX века было принято на-

чинать курс лечения горячими водами в Пятигорске, а затем продолжать его в Кисловодске, где пили нарзан и брали нарзанные ванны.

Судя по замечаниям Печорина, что «слободка за крепостью населилась», а «в ресторации начинают мелькать вечером огни», можно заключить, что он в Кисловодске уже не в первый раз. Лермонтов тоже был частым посетителем Кисловодска. Собирался он туда и в июле 1841 года. Н. С. Мартынов в своих показаниях о дуэли сообщает, что товарищи, пытавшиеся уговорить его взять вызов назад, напоминали ему о прежних отношениях с Лермонтовым и «говорили о веселой жизни, которая с ним ожидает нас в Кисловодске» (Оболенский 1893: 599).

Современник поэт Я. Сабуров так описывает Кисловодск: «...красивые домики, церковь, линия мазанок, осыпавшийся вал крепости, дощатые палатки ванн, внизу кипучий Нарзан... Деревья и растения необыкновенной силы и свежести, трава ярко-изумрудного цвета; воздух, напитанный газом, жив, прохладен, крепителен и удивительно приятен... Надобно стать на базарной площади лицом к крепости: по обеим сторонам Ельшанка и Березовка обтекают мыс и сливаются позади вас в один поток... перед глазами крепость; направо солдатская слобода; налево, внизу, долина и сад Нарзана, где виднеются Реброва домы и зала собрания... Следуя по течению Ельшанки, я вошел в сад: липы, каштаны, белая акация, бузина красиво по холмам разбросаны; во все стороны извилистые дорожки; домы на уступах горы; в горе грот; там площадка с двумя палатками, посредине Нарзан» (Сабуров 1835: IV1, 51–55).

А. Е. Розен восторженно описывает Кисловодск 1838 года и упоминает между прочим и Слободку, которая тянется в одну линию в стороне от ущелья, и ресторацию «на берегу ручья <Ольховки> на холме» (Розен 1984: 380; см. также стихотворение Д. П. Ознобишина «Кавказское утро» — ОЗ. 1840. Т. 9. С. 151–152).

С. 235. *...Нарзан называется богатырским ключом.* — «Нарт-санна» — *нарт* — у всех народов Северного Кавказа — богатырь; *саннэ* — хмельной напиток нартов (по-кабардински).

С. 236. *...ущелья, полные мглою и молчанием...* — Ср. в начале «Бэлы»: «...из черного, полного мглою ущелья...» (с. 156), ср. также стихотворения «Из Гёте» («Тихие долины...»; 1840; Т. 1. № 394) и «Свиданье» (1841; Т. 1. № 419)

...ручьев, которые <...> кидаются в Подкумок... — Это горные речки Ольховка (прежде Элкоша, Ельшанка) и Березовка (Козада), которые протекают через Кисловодск, сливаются у его северной стороны, образуя речку Эль-Куму, и в четырех верстах у станицы Кисловодской впадают общим руслом в Подкумок (правый приток р. Кумы, текущей к Каспийскому морю).

Но смешивать два эти ремесла / Есть тьма охотников — я не из их числа. — Лермонтов не совсем точно приводит слова Чацкого в «Горе от ума» (д. III, явл. 3-е): «Когда в делах — я от веселий прячусь, / Когда дурачиться — дурачусь, / А смешивать два эти ремесла / Есть тьма искусников, я не из их числа» «Грибоедов 1969: 66). Два последних стиха Печорин применяет к смешению вина с минеральной водой. «Охотники, — рассказывает А. Е. Розен, — пили ее с кахетинским или донским вином вместо лимонада» (Розен 1984: 380).

С. 236. *Этот человек любит меня — но я замужем ~ ибо рассудок уж ничего не говорит...* — В романе Ш. де Бернара «Жерфо» (1838) находим похожее описание «женской диалектики»: «...она, наконец, стала думать так: „Раз я уверена, что должна принадлежать только [мужу], Октав вполне может принадлежать мне“, — силлогизм, быть может, и неправоверный („hétérodoxe“), обе посылки которого она примиряла с невообразимым искусством» (Томашевский 1941: 502–503).

С. 237. *Ума холодных наблюдений / И сердца горестных замет...*— Стихи Пушкина (Пушкин 1937–1959: VI, 3) из посвящения П. А. Плетневу, которое появилось сначала в 1828 году при издании IV и V глав «Евгения Онегина», а потом в 1837 году при третьем (втором полном) издании романа.

«Освобожденный Иерусалим» — эпическая поэма Торквато Тассо (1544–1594), переведенное на все европейские языки. На русский язык «Освобожденный Иерусалим» был переведен в 1828 году С. Е. Раичем(1792–1855) и А. Ф. Мерзляковым (1778–1830). Раич и Мерзляков преподавали в Московском университетском пансионе, когда там учился Лермонтов, и не раз читали воспитанникам свои переводы из латинских и итальянских авторов. Герой «Освобожденного Иерусалима» рыцарь Танкред вступает в очарованный лес, описание которого находим в XIII песне (Тассо 1828: 100–101).

Кольцо-гора — Гора расположена не в трех верстах от Кисловодска, а вдвое дальше, и представляет собою одну из невысоких гор Бургустанского отрога Пастбищного хребта; на ней вследствие выветривания образовалось большое кольцеобразное отверстие. Сюда часто ездят из Кисловодска полюбоваться далеким видом на вершины Пятигорья, степи, Джинальские и Бургустанские горы и Эльбрус. В наше время Кольцо-гору в профиль можно видеть из окна железнодорожного вагона по пути в Кисловодск, после переезда через Подкумок.

С. 239. *Есть минуты, когда я понимаю Вампира!..* — Лермонтов (Печорин) имеет в виду героя одноименной анонимной повести, впервые появившейся в 1819 году в журнале «New Monthly Magazine» (№ 4). В основе лежала история, рассказанная Дж. Г. Байроном, но обработанная и изданная его врачом Джоном Полидори (Polidori, 1795–1821). Эта повесть имела громадный успех, и большая часть читателей считала ее произведением Байрона. «Вампир» оказал большое влияние на европейскую романтическую литературу и привил в ней тему «вампиризма», которая поддерживалась также и интересом европейских писателей к славянскому фольклору (например, П. Мериме, Ш. Нодье, А. С. Пушкин, А. К. Толстой). «Вампир» был переведен на многие языки, и в том числе на русский: Вампир. Повесть, рассказанная лордом Байроном... (с английского). П. К<иреевский>. М., 1828. В 1828 году в журнале «Атеней» была помещена заметка «О вампиризме» (Атеней. 1828. Ч. 6. № 24. С. 380–381; за этим журналом Лермонтов регулярно следил). Подробнее см.: Вацуро 2002: 502–505.

Герой повести, *Вампир* — это некий лорд Рутвен, английский аристократ, фигура таинственная и загадочная. Рассказ о нем ведется от имени его секретаря. Во время их совместного путешествия лорд Рутвен был смертельно ранен разбойниками; перед смертью Рутвен взял со своего секретаря клятву в течение года

скрывать известие о его смерти. Через несколько месяцев лорд снова появляется в Лондоне и сватается к сестре рассказчика, почти обезумевшего от ужаса и тревоги и тщетно пытающегося под разными предлогами помешать браку. Срок клятвы кончается наутро после брачной ночи; но в это время молодая жена уже мертва, а супруг исчез. Вампир — это сильный и аморальный герой, для которого зло — условие существования. В этом своем качестве он появляется и у Лермонтова. Сначала в «Вадиме»: Вадим, говоря о подготовляемой им ужасной мести врагу, «дико захохотал и, стараясь умолкнуть, укусил нижнюю губу свою так крепко, что кровь потекла; он похож был в это мгновенье на вампира, глядящего на издыхающую жертву» (с. 25).

В записи 3 июня Печорин признавался: «...я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы» (с. 226). Происходящее с Бэлой также намекает на вампирические свойства Печорина: «<...> ласкал он ее редко, и она заметно начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза потускнели» (с. 177). В черновиках к роману Лермонтов прямо упомянул Вампира в связи с Печориным: «Если вы вери<ли> существованию Мельмота, Вампира и других — отчего же вы не верите в действительность Печорина?» (Лермонтов 1954–1957: VI: 563). См. также: Савинков 1995; 58–68. Лугин в неоконченной повести <«Штосс»> («У графа В. ...») «...часто делал зло именно тем, которых любил <...> дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им...» (наст. том, с. 279).

С. 239. *А еще слыву добрым малым...* — Для Печорина «добрый малый» — одна из его масок. Выражение «добрый малый», по замечанию Н. О. Лернера, осмысливалось тогда как-то свежее, оригинальнее, чем в наше время. В драме Лермонтова «Два брата» (д. I) князь Лиговской рекомендуется: «...я, как говорят военные, в полном смысле добрый малый» (Т. 3. С. 355). Ср. также у Пушкина в «Евгении Онегине»: «Отец ее был добрый малой»; «Чем ныне явится? Мельмотом <...> Иль просто будет добрый малой, / Как вы да я, как целый свет?» (Пушкин 1937–1959: VI, 44, 168).

— Господа! — сказал он, — это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургские слётки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги. — Слова драгунского капитана, сочувственно встреченные остальной компанией, изобличают глубокую неприязнь кавказского офицерства к привилегированным гвардейцам, «попадавшим на Кавказ, чтобы принять участие в экспедиции, отличиться, получить награду и вернуться в столицу» (ср.: Ливенцов 1894: 698, 751–752).

Слёток — молодая птица, вылетевшая из гнезда, в данном случае молодой человек, только что прибывший из столицы.

С. 241. *— Я вам скажу всю истину, — отвечал я княжне...* — На поведение Печорина проливает некоторый свет личное признание самого Лермонтова в письме к М. А. Лопухиной (1834): «Я ухаживаю и вслед за объяснением в любви я говорю дерзости; это еще меня немного забавляет... Вы подумаете, что за это меня по-

просту выпроваживают… ну нет, совсем наоборот… женщины так созданы; я начинаю держать себя с ними самоувереннее; ничто меня не смущает — ни гнев, ни нежность: я всегда настойчив и горяч, а мое сердце довольно холодно; оно бьется только в исключительных случаях…» (№. 553).

С. 241. — *Оставьте меня,— сказала она едва внятно.* — В автографе было более резко: «Вы подлец, — сказала она едва внятно. — Оставьте меня» (Лермонтов 1954–1957: VI, 595).

…son coeur et sa fortune! — Т. е. «свое сердце и судьбу» — формула официального брачного предложения, которое в великосветском кругу должно быть сделано непременно по-французски, над чем мимоходом иронизирует Печорин.

…но свободы моей не продам. — Ср. в письме Евгения Онегина к Татьяне: «Свою постылую свободу / Я потерять не захотел…» (Пушкин 1937–1959: VI, 180).

…одна старуха гадала про меня… — Задолго до работы над «Героем нашего времени» Лермонтов записал автобиографическое признание: «Еще сходство в жизни моей с *лордом Байроном*. Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет *великий человек* и будет два раза *женат;* про меня на Кавказе предсказала то *же самое* старуха моей бабушке. Дай Бог, чтоб и надо мной сбылось; хотя б я был так же несчастлив, как Байрон» (с. 307; см. примеч. к № 535).

Вчера приехал сюда фокусник Апфельбаум ~ Все собираются идти смотреть удивительного фокусника… — Фокусник Апфельбаум — реальная личность. Как установил В. М. Лукин по документам жандармского архива, Андрей (Липман) Иосифович Апфельбаум, австрийский подданный, из евреев города Львова, прибыл в Россию около 1818 г. в труппе фокусников. В 1833 г. находясь в г. Уфе, принял подданство России, записался в тамошние мещане и, по принятии греко-российского исповедания, женился на купеческой дочери Прасковьи Оловянниковой, с которой впоследствии разъехался (Лукин 2015). Умер Апфельбаум после 1859 г.

Сравнивая Апфельбаума с прославленным во всем мире, и особенно в России, где он и умер, иллюзионистом конца XVIII и начала XIX века Жаном-Жозефом Пинетти (1750–1802), газеты отмечали, что последний едва ли не отдал бы своему ученику и сопернику (т. е. Апфельбауму) «преимущества перед собою в проворстве», то есть в ловкости и в мастерстве. А. З. Левин обратил внимание на «уведомление», помещенное в «Санкт-Петербургских ведомостях» 30 декабря 1841 года: «Прибывший сюда известный физик и механик Апфельбаум <…> имеет честь известить почтеннейшую публику, что он в посту будет представлять свои очаровательные штучки на театре…». В это уведомление вставлено описание нескольких фокусов. Вот один из них: «…магик предлагает одному из зрителей задумать карту, а другого зрителя просит взойти на сцену и говорит первому: „Вы задумали трефового короля“. — „Точно так“. Другому: „Трефовый король у вас за пазухой“, — и сам обнаженной рукой вынул у него пятнадцать колод трефового короля из карманов, из галстука, отовсюду, и трефовые короли еще вылетали из платья этого зрителя, когда он сходил со сцены и даже когда выходил по окончании представления из театра». О другом фокусе рассказано: «Потом магик

выпросил у четырех кавалерийских офицеров по темляку, зарядил ими большую пушку, скомандовал „Пли!“ Выстрел раздался, и победоносный магик воскликнул: „Господа офицеры! темляки ваши на своем месте“. Офицеры подняли сабли и увидели на них свои темляки» (СПбВед. 1841. 30 дек. № 293).

Любопытно, что в молодые годы Апфельбаум жил в Москве и принимал приглашения в частные дома. «Дамский журнал» в 1828 году сообщал адрес Апфельбаума: «За Москворецким мостом на Москворецком подворье, в Дворянском коридоре, под № 6». Таким образом, Лермонтов, пансионер и студент Московского университета, мог видеть Апфельбаума еще в конце 1820-х годов в Москве. В первой половине 1830-х годов Апфельбаум совершил большое турне по Европе и Азии, а в 1836 году снова появился в Москве (см.: МВед. 1836. № 16). Как раз летом 1837 года, когда Лермонтов был в Пятигорске и Кисловодске, Апфельбаум гастролировал на курортах Кавказских минеральных вод. Пребывание Апфельбаума на Кавказских водах удостоверяется рекомендательным письмом некоего Ивана Чернова от 29 августа 1837 года (письмо обнаружено Л. И. Прокопенко). Любопытные сведения об Апфельбауме имеются в книге М. И. Пыляева «Замечательные чудаки и оригиналы». Здесь сообщается, что в конце 1840-х годов Апфельбаум был известной и весьма колоритной фигурой на улицах и рынках Петербурга. «Апфельбаум был очень приличен, ходил во фраке с большим жабо. В руках у него всегда была палочка из слоновой кости, которая и помогала при манипуляциях. Он ловко вынимал у извозчиков из носа картофель; ломал у пирожника пироги, в которых находили червонцы, сковывал висячим замком рот какого-нибудь ротозея, выпускал из рукава голубей, морских свинок и т. д. Апфельбаум все это проделывал даром» (Пыляев 1990: 403–404; ср.: Сов. эстрада и цирк. 1966. № 3. С. 29; см. также: Прокопенко 1962: 22–24; ЛЭ 1981: 35; Якунин 1988: 90–93).

С. 243. *Около двух часов пополуночи я отворил окно...* — Одним из важнейших мотивов «Героя нашего времени» оказывается женская измена, входящая в более широкую тему положения женщины в обществе. Уже в «Маскараде» и «Княгине Лиговской» ощущалось присутствие мотивов из ранних романов Жорж Санд и «Физиологии брака» («Physiologie du mariage», 1829) Бальзака: неприятие ханжеской морали и деспотизма в браке. В «Герое нашего времени» происходит переосмысление конфликта между чувством и долгом, результатом которого становится отвержение любых форм подчинения и принуждения, и здесь влияние Стендаля оказывается решающим. Как и госпожа де Реналь, Вера должна вызывать у читателя сочувствие, а не презрение. См. также: Вольперт 2008: 160–172.

Мери сидела на своей постели <...> большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики... — Пунцовые платки (шали) были в конце 1830-х годов в моде. Так, героиня повести Н. Ф. Павлова «Миллион» княжна Софья носит пунцовый платок (Павлов 1839: 257, 279).

...перед нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко... — В черновой рукописи первоначально было (Лермонтов 1954–1957: VI, 596): «...но глаза ее, томные и неподвижные, казалось», затем было написано: «...но взор ее, томный и неподвижный, казалось,

Между печатными строками
Читал [духовными глазами]».

См. стихи из восьмой главы «Евгения Онегина» (Пушкин 1937–1959: VI, 183):

И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки...

Ср. также со строками из стихотворения «Видение»: «Взоры девы / Блуждали по листам открытой книги, / Но буквы все сливалися под ними...» (Т. I. № 205).

С. 243. *...по крайней мере, десятка два хищников остались бы на месте.* — Лермонтов иронически использует выражения, обычные для официальных сообщений о военных действиях периода кавказской войны, в которых горцы обычно именовались хищниками. Эта фразеология характерна и для многих очерков и воспоминаний того времени. Ср. также стихотворение А. С. Грибоедова «Хищники на Чегеме» (1825).

...только и было толков, что об ночном нападении черкесов. — Печорин смеется над перетрусившей кисловодской публикой, но во времена Лермонтова в районе Минеральных Вод еще случались набеги горцев. «Черкесские абреки весьма часто проходили небольшими партиями через кордонную линию или прорывались через нее в большом числе открытою силой, проникая в глубину края, к Ставрополю, к Георгиевску и в окрестности Минеральных Вод» (Торнау 1864: II, 2). «Теперь, — говорил А. Е. Розен, описывая 1838 год, — редко случается в три или четыре года раз, что несколько отважных черкесов делают набег на Пятигорск, на Кисловодск и окрестности их» (Розен 1984: 376). В 1836 году Кисловодск, несмотря на то, что был хорошо охраняем артиллерией и регулярной пехотой, подвергся нападению горцев, причем не обошлось без человеческих жертв из местных жителей и из «курсовых» (см.: Филипсон 1883–1884: 173–175).

Лермонтов, приехавший в следующем году на Минеральные Воды, не мог, разумеется, не знать об этом памятном событии. В рассказе Марлинского «Вечер на Кавказских водах в 1824 г.», где действие происходит в Кисловодске, один из собеседников, выходя ночью из залы гостиницы, «забился в середину толпы, чтобы в случае нападения горцев быть в безопасности», и «дорогою успел насказать о зверстве и дерзости чеченцев тьму ужасов...». В повести Елены Ган (Зенеиды Р-вой) «Медальон» есть жанровая картинка, изображающая тревогу кисловодских больных, среди которых разносится слух, что черкесы готовят нападение (БдЧ. 1839. Т. 34).

С. 246. *...он <Вернер> должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но нимало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире.* — Ви-

димо, Печорин был выслан на Кавказ за дуэль (см. примеч. к с. 206, 209). Участие в новой дуэли грозило ему лишением дворянства и разжалованием в солдаты. Условия дуэли-мистификации, задуманной компанией Грушницкого для того, чтобы «проучить» Печорина, были оставлены и для дуэли в ответ на вызов, сделанный Печориным: на этих условиях настаивал Грушницкий, которому, как вызванному, принадлежало первое слово в вопросе об условиях дуэли. Условия эти очень тяжелы: даже смертельная дуэль Пушкина, как и дуэль Лермонтова с Мартыновым, происходила не на расстоянии шести шагов. При согласии Грушницкого на то, чтобы только его пистолет был заряжен пулей, подобная дуэль превращалась в преднамеренное убийство Печорина.

С. 247. *Что ж? умереть так умереть: потеря для мира небольшая...* — Ср. в отрывках из романа Бестужева-Марлинского «Вадимов»: «Итак, я должен умереть — умереть неизбежно, бесславно... в цвете лет, в расцвете надежд моих!» (Бестужев-Марлинский 1995: 338; отмечено: Вацуро 2008: 40).

...верно, было мне назначенье высокое... — Ср. в отрывках из романа Бестужева-Марлинского «Вадимов»: «И сколько лет, обреченных высокой работе, украл я у самого себя, бросил в бисерный прах света и, владея целым, пышным, новым миром в груди, гонялся за мыльными пузырями этого мира!.. Нося в себе святыню, падал перед глиняными истуканами; я говорил: «Успею завтра», — и вот пришло это завтра, — и это завтра ничтожество по обе стороны гроба! <...> Гомер, Данте, Мильтон, Шекспир, Байрон, Гете, — яркое созвездие, венчающее человечество, великаны, которым не верит свет! Чувствую, что мои думы могли б быть ровесниками вашим» (Бестужев-Марлинский 1995: 339) (отмечено в: Вацуро 2008: 40–41). А. А. Потебня справедливо усматривает в этих словах Печорина позднее сознание своей связи с обществом и сравнивает его с Белинским, который тоже был «человек рефлексии, самонаблюдения и самоосуждения», настоящий герой своего времени, «не менее, если не более чем Печорин», и страстно восклицал в одну из критических минут жизни: «Мне кажется, дай мне свободу действовать для общества хоть на десять лет <...> и я, может быть, в три года возвратил бы (т. е. вознаградил бы) свою потерянную молодость, полюбил бы труд, нашел бы силу воли» (Потебня 1905: 152–153).

Как орудье казни, я упадал на голову обреченных жертв... — Эту мысль Печорин высказывает не раз. «Неужели <...> мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? <...> я разыгрывал жалкую роль палача или предателя» (с. 231) «...если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив», — говорит он Максиму Максимычу (с. 177). После этих слов в черновой рукописи было: «Как нарочно, я всегда являлся к пятому акту их драмы, невидимая сила кидала меня посреди их надежд, намерений и связей, и все разрывалось, и все погибало от моего прикосновения» (Лермонтов 1954–1957: VI, 598).

Печорин склонен обвинять судьбу в том, что он приносит несчастье окружающим. Поэтому для него такое значение имеет вопрос о предопределении. См. примеч. к «Фаталисту».

С. 247. *...я ничем не жертвовал для тех, кого любил...* — Ср. в «Думе»: «И ненавидим мы, и любим мы случайно, / Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви...» (Т. 1. № 368).

...и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. — Ср. сходные мысли в стихотворениях «1830 год июля 15-го» и «1831-го июня 11 дня»(Т. 1. № 114, 167).

С. 248. *...потом сел и открыл роман Валтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские пуритане».* — Шотландский романист, поэт, историк и критик Вальтер Скотт (1771–1832) оказал на развитие европейского романтизма в начале XIX столетия громадное влияние. В 1820-х и 1830-х годах вся Европа была захвачена его историческими романами. Лермонтов, владевший английским языком с 14–15-летнего возраста, читал Вальтера Скотта не только в многочисленных русских переводах, но и в подлиннике, а также во французских переводах. (О том, что Лермонтов читал Вальтера Скотта по-английски, свидетельствовал А. П. Шан-Гирей, см.: Воспоминания 1989: 36).

В юношеской драме Лермонтова «Menschen und Leidenschaften» Любовь Волина читает роман «Вудсток, или Всадник» Вальтера Скотта (Т. 3. С. 139) по петербургскому изданию 1829 года в переводе де Шаплета. «Испанцы» Лермонтова (Т. 3. № 484) во многом напоминают сюжетные схемы «Айвенго». Установлено воздействие Вальтера Скотта на юношеский исторический роман Лермонтова «Вадим» (№ 489), на поэму «Измаил-Бей» (1832; Т. 2. № 465) и на поэму «Беглец» (1839; Т. 2. № 474) (об этом подробнее см.: Спасович 1889: II, 393; Якубович 1935: 243–272; ЛЭ 1981). Восхищение Печорина романом Вальтера Скотта «Шотландские пуритане», по мнению С. В. Шувалова, говорит о том, что сам Лермонтов незадолго до работы над «Княжной Мери» зачитывался этим романом (Шувалов 1914: 314). Как указал Д. П. Якубович, а затем Б. М. Эйхенбаум, в английском подлиннике этот роман называется «Old Mortality»; заглавие первого русского перевода — «Шотландские пуритане» (1824) ведет к французскому «Les puritains d'Écosse» (Эйхенбаум 1962: 137).

Таким образом, возникает вопрос: на каком языке и в каком издании читал Печорин в ночь перед дуэлью роман Вальтера Скотта «Old Mortality». Похоже, что это было французское издание или русский перевод с французского. Давно уже замечено, что Лермонтов первоначально предполагал положить на стол Печорину другой роман В. Скотта — «Приключения Нигеля» (вернее, Найджеля), чрезвычайно популярный в России (рус. пер: Скотт В. Приключения Нигеля сира Вальтера Скотта: Пер. с англ. Ч. 1–4. М., 1829). Д. П. Якубович полагал причиной замены то обстоятельство, что в характеристике Найджеля есть деталь, сходная с портретом Печорина: «...в его голосе звучала грусть, даже когда он рассказывал что-нибудь веселое, в его меланхолической улыбке был отпечаток несчастья» (Якубович 1935: 269). В четвертой части романа (гл. 28) герой романа Найджель говорит о себе: «Я несчастное, весьма несчастное существо! Все, что ко мне приближается, делается жертвою враждующего мне рока. Смерть и злоключения следуют по моим стопам, и несчастье уносит с собою все, что меня окружает».

Эти и подобные им признания Найджеля напоминают высказывания Печорина. Д. П. Якубович и Н. О. Лернер полагали, что Лермонтов заменил «Приключения Нигеля» «Шотландскими пуританами», чтобы не подчеркивать эту близость Печорина и Найджеля.

По воспоминаниям И. И. Панаева, когда «Герой нашего времени» только вышел в свет, в середине апреля 1840 года, Лермонтов при встрече с В. Г. Белинским в Ордонанс-гаузе (находясь под арестом за дуэль с де Барантом) говорил: «Я не люблю Вальтера Скотта, в нем мало поэзии, он сух». Зато о Купере он «говорил с жаром, указывал, что в Купере несравненно более поэзии, чем в В. Скотте» (Воспоминания 1989: 309). Тем не менее, Якубович ставил под сомнение достоверность этого свидетельства, приводя слова самого Белинского, в которых нет упоминания о неприятии Скотта (Белинский 1953–1959: XI, 508–509) и отмечая многочисленные мотивные параллели между романами Скотта и «Героем нашего времени» (Якубович 1935: 267—269). По убеждению Е. Дюшена, Лермонтов «в школе В. Скотта учился искусству рассказывать, развивать действие» (Duchesne 1910: 294).

С. 248. *Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал.* — Я. В. Сабуров, видевший источник нарзана в 1833 году, так описывает его: «...бассейн, аршин трех в диаметре, наполнен холодной водой в 10°, которая бьет и кипит белым ключом, как на огне или как шампанское в круговой чаше. Его пьют с жадностью, ибо он весьма приятного вкуса, и употребляют в ваннах. Немногие с первого раза садятся в природную его температуру» (Сабуров 1835: IV, 55). Современная медицина не допускает купанья в нарзане естественной температуры, но во времена Лермонтова существовал бассейн, в котором купались в неподогретой углекислой воде. А. Е. Розен, бывший в Кисловодске в 1838 году, рассказывает: «...ключ кипит в полном смысле слова, выбивает белую пену, клубится, подымает воду на полсажени глубиною: вода эта живит, подкрепляет <...> Кто пил нарзан несколько недель сряду, тому трудно расстаться с ним» (Розен 1984: 380). В 1839 году Е. П. Ростопчина посвятила нарзану хвалебное стихотворение (Ростопчина 1857–1860: I, 263):

Кавказа честь, он превосходен
Стремленьем бешено-живым,
Огнем, разлитым в хладной влаге,
Целебным свойством, чистым дном
И дикой прихотью отваги,
И вечно зыблемым жерлом...

Архалук (или ахалук). Кавказский полукафтан, то же, что и бешмет (см. выше, примеч. к с. 182). Ср. также упоминания ахалука в очерке «Кавказец» (с. 268). Ахалук был приметой кавказского стиля и за пределами Кавказа, ср. в устном рассказе А. А. Дельвига (2-я пол. 1820-х гг., позднейшая запись П. А. Вяземского): «Судя по первым впечатлениям, по усам его, по архалуку, по чепраку, прибитому к стене, и по сабле, на нем повешенной, вообще по ухваткам его, можно было за-

ключить достоверно, что он отставной кавалерийский офицер, может быть бывший кавказец» (Вяземский 1878–1896: VIII, 443)». Ахалук воспет А. И. Полежаевым в одноименном стихотворении (1833; Полежаев 1987: 137):

Черен ты, как локон длинный
У цыганки кочевой;
Мрачен ты, как дух пустынный
Сторож урны гробовой;
И серебряной тесьмою,
Как волнистою струею
Дагестанского ручья,
Обвились твои края.

С. 248. — *Отчего вы так печальны, доктор? — сказал я ему. — <...> Вообразите, что у меня желчная горячка! я могу выздороветь, могу и умереть...* — Ср. юношеское признание самого Лермонтова: «Умереть с свинцовой пулей в сердце стоит медленной агонии сердца. Итак, если будет война, клянусь вам Богом, буду везде впереди» (письмо к М. А. Лопухиной, 1832; № 548).

Я не помню утра более голубого и свежего! — Ср. в поэме «Измаил-Бей»: «Забыл он все, что испытал, / Друзей, врагов, тоску изгнанья; / И, как невесту в час свиданья. / Душой природу обнимал!» (Т. 2. С. 150).

Немецкий поэт и переводчик Боденштедт писал об исключительном чувстве природы у Лермонтова: «Рисует ли он перед нами исполинские горы многовершинного Кавказа, где наш взор то теряется в снежных облаках, то тонет в безднах; или горный поток, то клубящийся по скале, на которой страшно стоять дикой козе, то светло ниспадающий, „как согнутое стекло“, в пропасть, где, сливаясь с новыми ручьями, снова возникает в мутном потоке; описывает ли он горные аулы и леса Дагестана или испещренные цветами долины Грузии; указывает ли на облака, бегущие по голубому, бесконечному небу; или на коня, несущегося по синей, бесконечной степи; воспевает ли он священную тишину лесов или дикий шум битвы, — он всегда и во всем остается верен природе до мельчайших подробностей. Все эти картины предстают нам в отчетливых красках и в то же время от них веет какой-то таинственной поэтической прелестью, как бы благоуханием и свежестью этих гор, цветов, лугов и лесов...

Два замечательнейших ученых новейшего времени Александр Гумбольдт и Христиан Эрстед, первый в своем «Космосе» (Ч. 2. С. 1–103), второй в своем рассуждении об отношении естествознания к поэзии (в «Духе природы». Ч. 2. С. 1–52) указывают, как на настоятельное требование нашего времени, на более обширное приложение в области изящного современных открытий и исследований природы...

Пусть назовут мне хоть одно из множества толстых географических, исторических или других сочинений о Кавказе, из которого можно было бы живее и вернее познакомиться с характеристическою природою этих гор и их жителей, нежели из какой-нибудь кавказской поэмы Лермонтова» (Воспоминания 1989: 370).

Об отношении Лермонтова к природе см.: Анненский 1978: 242–251; Саводник 1911: 210; Григорьян 1964: 158–210; Тамахин 1965: 45–51.

С. 249. *Друзья, которые завтра меня забудут...* — Ср. высказывание Печорина: «Я к дружбе неспособен» (с. 207). Сомнения в дружбе и упреки неверным друзьям вообще часто слышатся в творчестве Лермонтова.

...я вынес <...> несколько идей — и ни одного чувства. — О противопоставлении идей чувству, головы сердцу, интеллекта инстинкту см. с. 216 и прим. В «Бэле» выражена надежда, что когда-нибудь отпадет от души «все приобретенное», прекратится внутреннее раздвоение человека (с. 171). «...Признание <перед поединком>, — говорит Белинский, — обнаруживает всего Печорина. В нем нет фраз, и каждое слово искренно. Бессознательно, но верно выговорил Печорин всего себя. Этот человек не пылкий юноша, который гоняется за впечатлениями и всего себя отдает первому из них, пока оно не изгладится и душа не запросит нового. Нет, он вполне пережил юношеский возраст, этот период романтического взгляда на жизнь: он уже не мечтает умереть за свою возлюбленную, произнося ее имя и завещая другу локон волос, не принимает слова за дело, порыв чувства, хотя бы самого возвышенного и благородного, за действительное состояние души человека. Он много перечувствовал, много любил и по опыту знает, как непродолжительны все чувства, все привязанности; он много думал о жизни, и по опыту знает, как ненадежны все заключения и выводы для тех, кто прямо и смело смотрит на истину, не тешит и не обманывает себя убеждениями, которым уже сам не верит... Дух его созрел для новых чувств и новых дум, сердце требует новой привязанности: *действительность* — вот сущность и характер всего этого нового. Он готов для него; но судьба еще не дает ему новых опытов, и, презирая старые, он все-таки по ним же судит о жизни. Отсюда это безверие в действительность чувства и мысли, это охлаждение к жизни, в которой ему видится то оптический обман, то бессмысленное мелькание китайских теней. — Это переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет, и в котором человек есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем. Тут-то возникает в нем то, что на простом языке называется и „хандрою“, и „ипохондриею“, и „мнительностию“, и „сомнением“, и другими словами, далеко не выражающими сущности явления, и что на языке философском называется *рефлексиею*» (Белинский 1953–1959: IV, 252–253).

Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его... — Описания внутреннего конфликта, как сосуществования в одном человеке двух разных личностей (например, хорошей и плохой, действующей и наблюдающей) прослеживается в литературе задолго до Печорина. Ср., например, дуалистическое самоописание К. Н. Батюшкова в записных книжках 1817 г., где еще заметны приемы самоанализа, открытые Монтенем и Ларошфуко: «Недавно я имел случай познакомиться с странным человеком, каких много! Вот некоторые черты его характера и жизни. <...> В нем два человека: один — добр, прост, весел, услужлив, богобоязлив, откровенен до излишества, щедр, трезв, мил; другой человек — не думайте, чтобы я увеличивал его дурные качества, право нет, и вы увиди-

те сами почему, — другой человек — злой, коварный, завистливый, жадный, иногда корыстолюбивый, но редко; мрачный, угрюмый, прихотливый, недовольный, мстительный, лукавый, сластолюбивый до излишества, непостоянный в любви и честолюбивый во всех родах честолюбия. Этот человек, то есть черный — прямой урод. Оба человека живут в одном теле. Как это? Не знаю; знаю только, что у нашего чудака профиль дурного человека, а посмотришь в глаза, так найдешь доброго: надобно только смотреть пристально и долго» (Батюшков 1977: 425; отмечено: Благой 1834: 35; Левагина 2002: 5–8). Более близок к Печорину рефлектирующий герой Бенжамена Констана («Адольф», опубл. 1816): «Presque toujours, pour vivre en repos avec nous-mêmes, nous travestissons en calculs et en systèmes nos impuissances ou nos faiblesses: cela satisfait cette portion de nous qui est pour ainsi dire, spectatrice de l'autre» (Constant 1828: 63; пер. П. А. Вяземского, 1829: «Почти всегда, когда хотим быть в ладу с собою, мы обращаем в расчеты и правило свое бессилие и свои недостатки. Такая уловка в нас довольствует ту половину, которая, так сказать, есть зритель другой» — Вяземский 1886: X, 12, 2-й пагинации).

С. 251. *Видите ли на вершине этой отвесной скалы <...> узенькую площадку? оттуда до низу будет сажен тридцать, если не больше; внизу острые камни.* — Тщательные поиски места дуэли Печорина с Грушницким показали, что хотя в ущелье Ольховки есть скала, вполне отвечающая этому описанию, окружающий ее пейзаж имеет совсем другой характер. Об этом подробнее см.: Махлевич 1983: 16–21, 31–35.

— Берегитесь! — закричал я ему: — не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря! — В числе многих легендарных предзнаменований, будто бы остерегавших Гая Юлия Цезаря (100–44 гг. до н. э.) от присутствия на заседании сената, в котором он был убит заговорщиками, называют и то, что Цезарь оступился на пороге в курию Помпея.

С. 252. *Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу, спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами.* — Переводчик и знакомый Лермонтова, Фридрих Боденштедт, писал в своих воспоминаниях: «В конце этого романа описывается дуэль, в которой тот, кому первому предстоит подвергнуться выстрелу противника, должен стать на краю обрыва, чтобы в случае раны немедленно упасть туда на верную смерть: по странному сближению, почти точно таким же образом умер впоследствии сам Лермонтов. Это поразительное сходство положений объясняется тем, что Лермонтов был по убеждению отъявленным врагом дуэли, но однажды доведенный до нее, не мог уже сделать из нее детской шутки или рисковать подвергнуться одному увечью. Поэтому он и принял такие меры, чтобы один из двух неизбежно остался на месте» (Цит. по: Михайлов 1861: 324). Поведение Лермонтова на дуэлях с де Барантом и с Мартыновым было именно таково. Соблюдая все правила и соглашаясь на самые опасные условия, он не нападал на противника и оба раза стрелял в сторону.

Печорин, в отличие от автора романа, убивает своего противника. Сам Печорин так определил свое состояние перед тем, как выстрелил в Грушницкого: «Я до

сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо, раненный в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса» (с. 253).

С. 252. *Бросьте жеребий, доктор, — сказал капитан.* — Дальнейшая сцена с розыгрышем очередности стрельбы, как продемонстрировал Томашевский (1941: 502–503), перекликается с аналогичной сценой из романа Ш. де Бернара «Жерфо» («Gerfaut», 1838).

С. 254. *Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было.* — Схожий исход дуэли — в «Сент-Ронанских водах» Скотта: Моубрей был только оцарапан пулей лорда Этерингтона, тогда как тот был убит наповал (см.: Альтшуллер 1992: 152).

Finita la comedia! — Конец комедии (ит.). Той или иной вариацией этой фразы (напр., «la Commedia è finita») заканчивались многие итальянские комедии (прослеживается по крайней мере с начала XVI в.). В переносном смысле (конец важного события или жизни) до начала XIX в. встречается редко; регулярно — с середины столетия. Однако сама театральная метафора применительно к жизненным событиям используется с античных времен: ср. известные слова римского императора Августа, который, умирая, спросил своих друзей о том, «...не находят ли они, что он хорошо сыграл комедию жизни» (Светоний. 12 цезарей. Биография Октавиана Августа. Гл. XCIX). Подобные же слова легенда приписывает и умирающему Рабле: «Опустите занавес, комедия сыграна» (см.: Бахтин 1990: 473).

С. 255. *...в твоем голосе <...> есть власть непобедимая...* — Вера и раньше говорила Печорину: «...ты можешь все, что захочешь» (с. 223). Максим Максимыч находил, что с ним «непременно должно соглашаться» (с. 168).

С. 256. *Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней?* — Так говорит Вера в своем последнем письме к Печорину. Первоначальная (в рукописи) редакция письма Веры была несколько иная, и самое значительное отличие в ней касалось Мери: «...если что-нибудь доброе проснется в душе твоей, женись на ней; она тебя любит...» Но в конце письма — приписка: «Одно меня пугает: что если ты в самом деле любишь Мери? — О, не правда ли, этого не может быть...». В этом варианте Вера исходила из жалости к девушке: «Мне стало жаль ее... Бедная!.. о, не погуби ее! одной довольно» (Лермонтов 1954–1957: VI, 603–604). В окончательной редакции Вера запрещает Печорину жениться на Мери.

Ессентуки — Казачья станица между Кисловодском и Пятигорском, впоследствии курорт; во времена Лермонтова ессентукскими источниками пользовались мало, и поселение имело, главным образом, военное значение.

С. 257. *Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок...* — В черновой рукописи Печорин «стал припоминать выражения письма Веры, стараясь объяснить себе причины, побудившие ее к этой странной трагической выходке».

«Вот последовательный порядок моих размышлений.

1. Если она меня любит, то зачем она так скоро уехала и не простясь, не полюбопытствовала даже узнать, убит я или нет? — не верю я этим предчувствиям сердца, да и ей бы не должно на них так слепо полагаться.

2. Но ведь нам надобно же было когда-нибудь расстаться — и она хотела своим письмом произвести на меня в последний раз глубокое, неизгладимое впечатление. Эгоизм!

3. Женщины вообще любят драматизировать свои чувства и поступки; сделать сцену почитают они обязанностью.

4. Но тут еще, может быть, скрывается маленькая ревность. Вера думает, что я влюбился в княжну и хочет своим великодушием привязать меня более к себе, или даже, зная мой характер, она думает, что я княжну оставлю и погонюсь за нею, потому что блага, которые мы теряем, получают в глазах наших двойную цену. Если так, то она ошиблась: я слишком ленив.

5. Или она великодушно уступает меня княжне: это от нее пожалуй станется! но в таком случае она меня не любит.

6. И какое же право я имею требовать ее любви? — разве не я первый начал платить за ее ласки холодностью, за ее жертвы равнодушием и насмешкой.

7. Теперь, когда я знаю, что все между нами кончено, мне кажется, что я любил ее истинно. Одно меня печалит: это письмо. Неужели она не могла обойтись без пышных фраз и декламации.

8. Я был дурак, что так мучился несколько часов сряду: вот что значат расстроенные нервы, ночь без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок» (Лермонтов 1954–1957: VI, 604–605).

С. 257. *...это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию.* — На языке военной науки *диверсией* называется отдельная операция, цель которой — отвлечь внимание неприятеля в другую сторону и принудить его к разделению своих сил.

...заснул сном Наполеона после Ватерлоо. — По преданию (едва ли достоверному), Наполеон I после битвы при Ватерлоо, где пала его империя (18 июня 1815 г.), был так подавлен, что проспал более полутора суток.

С. 259–260. *Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце...* — Этот пассаж тематически близок к размышлениям о моряке в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» Байрона (песнь 4, строфа 70; см. Кондратенкова 2011b: 174). В более широком контексте идея неприятия постоянного покоя дебатируется по крайней мере с XVII в.: показательны в этой связи размышления Паскаля (см. примеч. к стихотворению «Парус» (1832) — Т. 1. № 309) и максима Мольера в «Проделках Скапена» (акт III, сц. 1): «La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni nous devient ennuyeux il faut du haut et du bas dans la vie et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs augmentent les plaisirs» (Molière 1825: 421; *пер.*: «Спокойная любовь — самое несносное затишье; безоб-

лачное счастье надоедает; в жизни необходимы перемены; препятствия еще сильнее возбуждают любовь и придают большую цену наслаждениям»).

Бриг — небольшое, быстроходное двухмачтовое судно, ходившее и под парусами, и под веслами, и поэтому весьма употребительное у пиратов, о которых Лермонтов имел достаточное представление по романтическому разбойничьему роману. Лермонтов с детских лет мог слышать и читать и о действительных похождениях морских разбойников, промысел которых в начале XIX века еще не был искоренен в Атлантическом океане и Средиземном море.

Фаталист

В первой публикации (ОЗ. 1839. Т. VI. № 11. Отд. 3. С. 146–158) тексту новеллы были предпосланы следующие строки автора: «Предлагаемый здесь рассказ находится в записках Печорина, переданных мне Максимом Максимычем. Не смею надеяться, чтоб все читатели „От<ечественных> записок“ помнили оба эти незабвенные для меня имени, и потому считаю нужным напомнить, что Максим Максимыч есть тот добрый штабс-капитан, который рассказал мне историю *Бэлы*, напечатанную в 3-й книжке „От<ечественных> записок“, а Печорин тот самый молодой человек, который похитил Бэлу. — Передаю этот отрывок из записок Печорина в том виде, в каком он мне достался» (Лермонтов 1954–1957: VI, 615)..

Как утверждал Висковатов, «Фаталист» «списан с происшествия, бывшего в станице Червленной с <Акимом Акимовичем> Хастатовым», дядей Лермонтова (Лермонтов 1889–1891: VI, 263). «По крайней мере, — прибавляет тут же Висковатов, — эпизод, где Печорин бросается в хату пьяного рассвирепевшего казака, произошел с Хастатовым; все это слышал я от А. П. Шан-Гирея. Хохряков говорит, что слышал от С. А. Раевского, будто „Фаталист“ истинное происшествие, в коем участвовали сам Лермонтов и Монго Столыпин. Едва ли это так. Или же, быть может, оба друга были лишь свидетелями случая с Вуличем, выстрелившим в себя». В другом месте своей книги Висковатов снова утверждает: «...место действия — Червленная станица; Хастатов и есть офицер, бросившийся в окно на убийцу» (с. 366).

И. М. Болдаков, по-видимому, первым обратил внимание на то, что в дневниках Байрона встречается аналогичный случай, касающийся его близкого друга Эдварда Ноэля Лонга: «Он был веселым спутником, но иногда его посещали странные и печальные мысли. Однажды <...> он рассказал мне, что накануне вечером „взял пистолет, не зная, заряжен ли он, и выстрелил себе в голову, предоставив случаю решить, была ли там пуля“» (Байрон 1963: 204). «Не этот ли случай, — спрашивает Болдаков, — встреченный Лермонтовым в „Мемуарах Байрона“, которыми он зачитывался еще в юности, дал ему тему для рассказа, столь характерно заканчивающего его роман?» (Лермонтов 1891b: I, 442–443). С точки зрения Н. Я. Дьяконовой, эта параллель, вопреки мнению В. А. Мануйлова, выглядит достаточно правдоподобной (Дьяконова 2001: 48; Левин 1978: 235–236).

Помимо этого, в байроновских дневниках можно найти еще одну деталь, которая, по всей вероятности, могла быть небезынтересна Лермонтову. В одной из записей Байрон высказывает мысль, весьма актуальную для «Фаталиста»: «Подобно Сулле, я всегда считал, что все зависит от Судьбы и ничто — от нас самих. Я не могу назвать ни одной своей мысли или поступка, принесших пользу мне или другим, которыми я не был бы обязан благостной богине Фортуне!» (Байрон 1963: 268; отмечено: Дьяконова 2001: 48).

Белинский в своей большой статье о «Герое нашего времени» говорит о «Фаталисте»: «...отрывок с превосходно изложенными подробностями, увлекательный по рассказу. Особенно хорошо обрисован характер героя — так и видите его перед собою, тем более, что он очень похож на Печорина. Сам Печорин является тут действующим лицом, и едва ли еще не более на первом плане, чем сам герой рассказа. Свойство его участия в ходе повести, равно как и его отчаянная, фаталическая смелость при взятии взбесившегося казака, если не прибавляют ничего нового к данным о его характере, то все-таки добавляют уже известное нам и тем самым усугубляют единство мрачного и терзающего душу впечатления целого романа, который есть биография одного лица. — Это усиление впечатления особенно заключается в основной идее рассказа, которая есть — фатализм, вера в предопределение, одно из самых мрачных заблуждений человеческого рассудка, которое лишает человека нравственной свободы, из слепого случая делая необходимость. Предрассудок — явно выходящий из положения Печорина, который не знает, чему верить, на чем опереться, и с особенным увлечением хватается за самые мрачные убеждения, лишь бы только давали они поэзию его отчаянию и оправдывали его в собственных глазах» (Белинский 1953–1959: IV, 261).

С. П. Шевырев находил, что «Фаталист» для того и написан, чтобы «развить более характер» Печорина и выставить его «фатализм, согласный со всеми прочими его свойствами» (Москвитянин. 1841. Ч. 2. № 4. С. 527). Проявляется в рассказе и присущая Печорину жестокость, его «вампиризм», который он демонстрирует в отношениях к Бэле, княжне Мери, Максиму Максимычу. Вулич для него тоже лишь орудие эксперимента: своим пари он провоцирует Вулича на возможное самоубийство. Схожий эксперимент Печорин проделывает, стоя перед заряженным пистолетом Грушницкого.

Раздумья о предопределении, игра со случаем, отчаянная храбрость, неразрывная спутница фатализма, — все это было свойственно Лермонтову, особенно в последние месяцы его жизни. «Ему доставляло как будто особенное удовольствие вызывать судьбу; опасность или возможность смерти делали его остроумным, разговорчивым, веселым» (Лермонтов 1889–1891: VI, 346). В сентябре 1840 года в письме к А. А. Лопухину Лермонтов завершал описание Валерикского боя характерным признанием: «Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными» (№ 583). Ср. в стихотворении «Я к вам пишу случайно; право...» (1840/1841; Т. 1. С. 329):

Мой крест несу я без роптанья:
То иль другое наказанье?
Не все ль одно. Я жизнь постиг;
Судьбе, как турок иль татарин,
За все я ровно благодарен;
У бога счастья не прошу
И молча зло переношу.
Быть может, небеса востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили...

Концепции фатализма в эту эпоху связывалась, прежде всего, с ориентализмом: психология, история и культура народов Востока описывались, как тотально фаталистические, вне зависимости от того религиозные и/или климатические факторы послужили причиной этого фатализма. В этом Восток мог противопоставляться Западу, как носителю цивилизации, построенной на принципах «свободы воли», обеспечивающей развитие и прогресс, вместо фаталистического застоя восточных культур (Ж. Мишле). Однако в Европе бытовали влиятельные историософские теории, в центре которых стояла общая проблема «исторической закономерности», «необходимости» или, как тогда выражались, «судьбы», «предвидения»; научным обоснованием этой концепции служили работы французских историков-«фаталистов» О. Тьерри, П. Баранта, Тьера (об этом см.: Реизов 1956; Волк 1958: 136–142; Тойбин 1959: 32–43). В тридцатые годы XIX в. вокруг проблемы фатализма шла оживленная полемика и в русской исторической науке. В этом отношении интересна книга К. Н. Лебедева «История: Первая часть введения: Идея, содержание и форма истории» (М., 1834). «Круг вопросов, затрагиваемых Лебедевым в связи с проблемой фатализма, и, главное, точка зрения, с которой они рассматриваются (нравственная ответственность человека, значение его воли и сознания), настолько перекликаются с аналогичными размышлениями Лермонтова, что невольно напрашивается предположение о знакомстве поэта с названной книгой» (Тойбин 1959: 42). Следует учесть, что Лебедев был соучеником Лермонтова по университету (их общему другу, А. Д. Закревскому, Лермонтов посвятил одно из своих стихотворений — см.: Т. 1. № 209); возможно, вопросы, затронутые Лебедевым, обсуждались еще в студенческом кругу.

Параллельно с философскими и историческими дискуссиями о фатализме, вокруг этого концепта строились и многие психологические теории, имевшие дело уже не с историей стран и народов, а стремившиеся объяснить и, главное, предсказать судьбу индивидуума. Многие такие учения, как, например, физиогномика Лафатера или френология Галля, зиждились на паранаучных основаниях, хотя и учитывали эмпирический опыт современной науки. Здесь, однако, интересны не столько теоретические аспекты этих учений, сколько повседневные практики их применения. Благодаря адаптированным пособиям Лафатера и Галля, психологом, который может расшифровать характер любой конкретной личности и предсказать

ее судьбу, мог стать всякий образованный человек. Навык составления простых психологических рецептов был быстро востребован литературой, прежде всего романом и нравоописательным очерком.

Была и еще одна сфера общественного интереса, в которой фаталистический взгляд на мир составлял, так сказать, теоретическую основу деятельности. Это разного рода эзотерические практики, прежде всего, прогностического толка — нумерология, «системы», обеспечивающие успех в азартных играх, практическая астрология, хиромантия и другие типы гаданий.

Любопытно, что существует очень заметная точка скрещения всех этих линий фатализма — Наполеон Бонапарт. Фаталист по собственному признанию, вывезший свой фатализм из Египетского похода, постоянный объект психологических и эзотерических прогностических операций (ср. отзывы о Наполеоне Лафатера и Галля, знаменитые предсказания гадалки Ленорман, нумерологические расклады Пьера Безухова и т. д.), центральный объект многих исторических и историософских концепций и, что немаловажно, субъект исторического процесса — орудие фатума, «муж судьбы». Неоднократно указывалось, что черты наполеоновского комплекса присутствуют и в личности Печорина, и в личности самого Лермонтова. Как представляется, этот идеологический и психологический фон важен и для понимания «Фаталиста». В этой связи показательны переклички «Фаталиста» и пушкинской «Пиковой дамы», герой которой обладает отчетливыми наполеоновскими приметами (см., напр.: Александрова, Большухин 2010: 41–56).

Главная задача «Фаталиста», однако, — «не философская дискуссия сама по себе, а определение характера Печорина. Только такой подход способен объяснить завершающее место «Фаталиста» в романе. При всяком другом подходе «Фаталист» будет ощущаться — явно или скрыто — «как необязательный привесок к основной сюжетной линии „Героя нашего времени“» (Лотман 1985: 13). Лермонтов, как это убедительно показал Б. М. Эйхенбаум (1962: 158–159), берет проблему фатализма не в теоретическом («метафизическом») плане, а в чисто психологическом, и делает при этом неожиданный вывод: «Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!» (наст. том, с. 267; см.: Эйхенбаум 1962: 190) «Фатализм здесь повернут своей противоположностью: если „предопределение“ (хотя бы в форме исторической закономерности) действительно существует, то сознание этого должно делать поведение человека тем более активным и смелым. Вопрос о „фатализме“ этим не решается, но обнаруживается та сторона этого мировоззрения, которая приводит не к „примирению с действительностью“, а к „решительности характера — к действию“. Таким истинным художественным поворотом философской темы Лермонтов избавил свою заключительную повесть от дурной тенденциозности, а свой роман от дурного или мрачного финала» (Эйхенбаум 1962: 159; см. также: Виноградов 1964: 217–218).

Прямых сюжетных соответствий для лермонтовской новеллы в европейской литературной традиции пока не найдено. Попытки связать новеллу Лермонтова с

романом Д. Дидро «Жак-фаталист» («Jacques le fataliste et son maître», опубл. 1796) не выглядят убедительными (см.: Powelstock 2005: 329–397; Мейер 2011: 109–112), а некоторые английские романы и повести 1820–1830-х гг., в которых действуют герои-фаталисты, остаются неисследованными.

С. 260. *Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты...* — Левый фланг — часть Кавказской линии, то есть цепи казачьих станиц по рекам Кубань, Лаба, Малка, Терек, Сунжа, которая соединяла Черное море с Каспийским и была опорой продвижения Российской империи на Кавказ. В 1830-е годы Кавказская линия не была завершена и делилась на Черноморскую кордонную линию, правый фланг, центр и левый фланг. Левый фланг заключал в себе Терскую и Нижне-Сунженскую линии, Кумыкскую плоскость и Чечню с передовой Чеченской линией. В конце 1830-х гг. ситуацию на левом фланге определял не столько его командующий генерал Роман Федорович Розен (1782–1848), сколько командующий всей Кавказской линией генерал Алексей Александрович Вельяминов (1775/1778–1838) — командир из бывших ермоловцев, разделявший ермоловские принципы войны с горцами: не малоэффективные кровопролитные войсковые экспедиции-набеги, а медленное вытеснение коренных племен в горы: вырубка лесов, оттеснение от источников воды и продовольствия, переселение на освобожденные территории лояльных народностей, административные меры, направленные против объединения воюющих племен, и т. д. Поездка Николая I на Кавказ в 1837 г. с целью покончить с войной как можно скорее обострила противоречия между ермоловской цивилизационной системой и чисто силовой: именно интенсивными войсковыми операциями Николай I надеялся быстрее закончить войну. Командир правого фланга, генерал Григорий Христофорович фон Засс (1797–1883), вполне разделял монаршую концепцию и специализировался на блиц-кригах на территорию горцев, что делало службу на правом фланге привлекательнее для петербургских охотников-добровольцев: участие в одной из таких экспедиций было верным способом отличиться и двинуть карьеру. Кавказовед Е. Г. Вейденбаум в своей книге «Кавказские этюды» (Тифлис, 1901) писал: «Начальствуя кордонной линией, он <Засс> имел всегда возможность <...> предпринимать набеги на неприятельские пределы. Ловко составленные реляции доставляли награды участникам этих экспедиций. Поэтому приезжая молодежь с особенной охотой просила о прикомандировании к штабу начальника правого фланга. Засс ласкал людей со связями и давал им способы к отличию. За то благодарные „фазаны“ с восторгом рассказывали в петербургских салонах о подвигах шайтана... Нельзя отрицать, что Засс был замечательно храбрый офицер, отличный наездник, хорошо знал черкесов... Но предоставленный самому себе, он дал волю своим инстинктам и обратил войну с горцами в особого рода спорт, без цели и связи с общим положением дел» (цит. по Марченко 1989: 194).

Я. Л. Махлевич, расшифровав все сокращения в названиях полков в «Герое нашего времени», доказал, что Грушницкий и Печорин познакомились на правом фланге, в вылазке за Кубанью, когда служили в Кабардинском егерском полку

(легкая пехота) (Махлевич 1991: 33–34; Марченко 1989: 190–192). А Максим Максимыч и его крепость располагались на левом, по границе с Чечней (именно поэтому Максим Максимыч говорит «наши чеченцы»). Печорин, разжалованный за «историю», из Петербурга отправляется, скорей всего, именно на правый фланг, где проще принять участие в одной из вылазок, а неравнодушный к знатным и богатым петербургским офицерам Засс поможет с представлением. После дуэли с Грушницким Печорин спешно перебирается на левый фланг и появляется в крепости у Максима Максимыча. Таким образом, появление Печорина на левом фланге, на котором служат «кавказец» Максим Максимыч и безденежный Вулич, с самого начала задает напряжение, социокультурный конфликт между типичным петербургским «слетком», богатым, высокомерным, оказавшимся в крепости скорее случайно и не собирающимся там задерживаться, — и местными, не столь удачливыми участниками негероической и бесперспективной с точки зрения возможности быстрой выслуги кавказской войны (см. также примеч. к с. 187 и 203).

По всей вероятности, конкретное место действия «Фаталиста» — станица Червленная, одна из старейших гребенских станиц на Тереке. В годы Кавказской войны, как и все линейные станицы, она представляла собой укрепленный пункт, окопанный рвом, обнесенный земляным валом и плетеным тыном. Червленная занимала пространство прямоугольника, в длину около двух верст и в ширину около версты. Жизнь станицы была до крайности сжата и скучена. В ней умещалось все домашнее и полевое хозяйство казака. К ночи люди спешили в станицу. Ворота, а их было пять, наглухо запирались, возле ставили охрану, на сторожевую вышку поднимались казаки, а на Тереке располагались секреты. В 1837 году Лермонтов по пути в Кизляр проехал вдоль Линии; сохранились рассказы, что он останавливался в Червленной, где казак Борискин провел его на ночлег в хату Ефремова, у которого Лермонтов услышал песню молодой казачки над колыбелью сына и под впечатлением этой песни написал свою «Казачью колыбельную песню» (Т. 1. № 367). О станице Червленной см.: Кулебякин 1886: 2; Ткачев 1912: 116; Семенов 1914: 119, 423–424; Семенов 1939: 32–133; Виноградов 1958: 69–75.

С. 260. *Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников...* — «Учение и вера в предопределение (фатализм), в то, что ход и исход жизни каждого человека извечно предопределены свыше и человек не властен ни в чем его изменить, выполняя в своей жизни лишь божественные предначертания, составляет одну из основ магометанского религиозного жизнепонимания. Исторические корни этого учения таковы: для мусульманина, как и для христианина, бог всемогущ и всеведущ; будущее ему также хорошо известно, как прошлое и настоящее; все, что делается в мире, делается по его воле; и в то же время человек может исполнять и не исполнять предписания божий и за их исполнение подлежит ответственности. Учение о боге, таким образом, могло развиваться или в сторону учения о предопределении, или в сторону признания свободной человеческой воли. В Мекке Мухаммед не был ничьим повелителем; призывая людей к покаянию, вере и деятельной любви, он мог взывать только к их доброй воле; есте-

ственно, что в мекксских сурах учение об обязанностях и ответственности человека преобладает над учением о всемогуществе божием. После бегства в Медину Мухаммед сделался правителем сначала этого города и его области, потом — почти всей Аравии; люди должны были беспрекословно исполнять волю бога, передаваемую через его посланника; естественно было убеждать их, что этой волей все заранее обдумано и предрешено, так что сопротивляться ей бесполезно; даже в битвах человеку не угрожает никакая опасность, так как его смертный час заранее определен в книге судеб. Преемники Мухаммеда по тем же причинам имели основание поддерживать учение о предопределении, за которое одинаково стояли „праведные" халифы и омейяды» (Бартольд 1918: 68–69; см. также: Климович 1965; Фаркаш 1962; Бочарова 1965: 225–249). В записанной Лермонтовым сказке «Ашик-Кериб» есть эпизод: богач Куршуд-бек намеривается обманом жениться на невесте бедняка Ашик-Кериба, но в самый разгар свадебного пира появляется Ашик-Кериб, и невеста бросается к нему в объятия. Брат Куршуд-бека кинулся на них с кинжалом, но Куршуд-бек остановил его, сказав: «Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует» (с. 154).

С. 260. *В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал, и медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени.* — В черновике появление этого героя было еще более эффектным: не просто «в углу комнаты», а в «темном углу комнаты» — тем самым Вулич выходит на центр комнаты как на сцену, из темноты.

В автографе рассказа фамилия офицера всюду читается «Вуич», а не «Вулич». Для именования героя Лермонтов использует имя своего знакомого Ивана Васильевича Вуича (1813–1884), поручика лейб-гвардии Конного полка, из рода сербских дворян, поступивших на русскую службу в царствование Екатерины II. Г. И. Филипсон, его товарищ по академии Генерального штаба, рассказывает, что это был человек замечательных способностей, много обещавший, но мало сдержавший, хотя и не по своей вине. «Вуич был идеальный юноша. Красавец строгого греческого или сербского типа, с изящными светскими манерами, умный, скромный, добрый и услужливый, Вуич был такою личностью, которой нельзя было не заметить» (РА. 1883. Т. 3. С. 157; ср.: Филипсон 1885: 85; Андроников 1968: 346–347; ЛЭ 1981: 95). То, что Вулич — серб, разными комментаторами интерпретируется противоположным образом. Ю. М. Лотман полагает, что сербам, жившим в окружении турок, идея фатализма была привычна и что в герои выбран серб как представитель восточной точки зрения: «Ввести в повесть русского офицера-магометанина (хотя в принципе такая ситуация была возможна) означало бы создать нарочито-искусственную ситуацию» (Лотман 1985: 13). И. З. Серман, напротив, считает, что Вулич не доказывает идею предопределения, а спорит с ней, борется, как сербы борются с мусульманами: «Для Вулича его спор с идеей предопределения — это часть вызова общенациональному врагу и его идеологии — фатализму» (Серман 1997: 330–331). Следует, однако, принимать во внимание, что во время событий, происходящих в «Фаталисте», сербы в русской армии давно перестали ассоциироваться с Востоком и Оттоманской империей. Еще в середине

XVIII в. сербов, которые охраняли участок границе в Северном Подунавье и потеряли службу в результате так называемой «войны за австрийское наследство», пригласили на русскую службу, и в 1751 г. Елизавета создала поселение Новая Сербия, разделенное на полки и роты, а в 1753 г. — поселение Славяносербия, которые с 1764 г. вошли в состав Новороссийской губернии с административным центром в Бахмуте. Таким образом, к середине XIX века бахмутские сербы уже более века жили на территории Российской империи, по традиции выбирали себе военную службу (петербургский знакомец Лермонтова Вулич — из бахмутских сербов), и в российской армии воспринимались как обычное явление.

Н. И. Черняев сблизил тип Вулича с пушкинским Сильвио, героем «Выстрела» (Черняев 1901: 2). Б. В. Нейман, цитируя Н. И. Черняева, добавлял: «...в самом деле, имеется некоторое, но не особенно значительное сходство вообще между „Выстрелом“ и лермонтовским очерком. Действие произведений разыгрывается в захолустье; все участвующие — офицеры; герои мрачны, молчаливы, таинственны, вдобавок, иностранцы; центральным моментом рассказов является выстрел» (Нейман 1914: 114–115; см. также: Мейер 2011: 122–123).

С. 260. *Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. ~ ...все это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного...* — О зависимости портретов в «Герое нашего времени» от идей Иоганна Каспара Лафатера см. примеч. к с. 96. Портрет Вулича состоит из нескольких составляющих. Смуглая кожа, черные волосы и черные глаза — с одной стороны, просто маркер южной народности (ср. у К. П. Масальского в повести «Черный ящик», 1833: «Девиер, родом португалец, был мужчина высокого роста и приятной наружности. Хотя проницательные черные глаза, того же цвета волосы и смуглый цвет лица обличали в нем уроженца страны южной» — Масальский 1845: 137).

С другой стороны, когда герой переживает сильное волнение, он, несмотря на смуглость, заметно бледнеет: в сцене пари у Вулича «бледные губы» и «бледное лицо». Бледность героя, по физиологическим представлениям того времени, является следствием отлива крови от головы во время сильного волнения и, с одной стороны, отвечает научным представлениям конца XVIII – начала XIX века о физиологии человека, прежде всего Ф. Галля и Ж. Б. Ламарка, полагавших все внешние проявления так называемых душевных движений (бледность, усиленное сердцебиение, обморок, рыдания и т. д.) следствием физических и химических процессов в организме. А с другой — указание на внезапную бледность героя активизирует другой контекст: это стандартная формула выражения внутренних душевных движений, привычный штамп в описании психологического состояния героя в романе XVIII в., который наследует и романтический психологический роман. Это один из главных принципов описания психологических состояний в «Герое нашего времени»: в ключевых ситуациях, когда необходимо свидетельствовать напряжение, интенсивность переживаний героя, автор использует романное клише, которое одновременно может быть интерпретировано с материалистических физиологических позиций Галля и Ламарка.

Портрет Вулича (в том числе нехарактерные для литературы того времени эпитеты «печальная, холодная», относящиеся к слову «улыбка») должен был сви-

детельствовать загадочность, закрытость, холодность, хладнокровие — в том числе и холодность в любви, что и предваряет появление этой темы в последующей характеристике: «Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, — которых прелесть трудно постигнуть, не видав их, он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали» (с. 261).

С. 261. *Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре.* — Образ Вулича примыкает к галерее страстных игроков, которыми изобилует русская литература первой половины XIX века. Лермонтов хорошо помнил Сильвио из «Выстрела» и Германна из «Пиковой дамы» Пушкина (см., напр.: Александрова, Большухин 2010: 41–56). В творчестве Лермонтова созданию образа Вулича предшествовала работа над «Маскарадом», где большое внимание уделено изображению игроков, и в том числе Арбенина, Казарина и Звездича. Уже когда «Герой нашего времени» вышел в свет, в начале 1841 года, Лермонтов вернулся к изображению игрока Лугина в отрывке из неоконченной повести <«Штосс»> (с. 271). Одновременно с Лермонтовым ряд образов игроков был создан Гоголем («Игроки», Ноздрев в «Мертвых душах»). Этот интерес к карточной игре не случаен. Двадцатые, и в особенности тридцатые годы в России, да и на Западе, характеризуются широко распространенным увлечением игрой в карты. Для некоторых слоев разоряющегося дворянства карты становятся постоянным «промыслом», неверным, но заманчивым способом обогащения. Ю. М. Лотман (1985: 13) связывает тему карточной игры с темой судьбы. «Азартные игры, — пишет он, — фараон, банк, штосс — это игры с упрощенными правилами, и они ставят выигрыш полностью в зависимость от случая. Это позволяло связывать вопросы выигрыша и проигрыша с „фортуной“ — философией успеха и шире — видеть в них как бы модель мира, в котором господствует случай, ср. в „Маскараде“: „Что ни толкуй Вольтер или Декарт — / Мир для меня — колода карт, / Жизнь — банк; рок мечет, я играю. / И правила игры я к людям применяю“» (Т. 3. С. 295, 565–566). См. также: Дурылин 1940: 250–253.

...раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк; ему ужасно везло. — Вулич — банкомет. По правилам игры в банк (штосс, фараон), он делал ставку на определенную сумму (держал банк) и раздавал карты (метал). Другие игроки — «понтёры» «понтировали», играли против него. Каждый из понтёров объявлял свою сумму, которою он «отвечает»; она могла быть меньше суммы, объявленной банкометом, или равна ей. Заявление «Ва банк!» (фр. va banque, буквально «иди, банк!») означает, что понтёр претендует на всю сумму, накопившуюся в банке. Поэтому банкомет Вулич непременно хотел «докинуть талью», то есть довести до конца промет колоды, пока не объявится карта, объявленная его противником-понтёром, в данном случае семерка. Только когда семерка была «дана» и этим определился выигрыш понтёра, проигравший Вулич оторвался от карт и «явился в цепь». В самозабвении игрока Вулич нарушил военную дисциплину. Эта черта была нужна Лермонтову, чтобы показать силу страсти, которая владела Вуличем

(ср.: Дурылин 1940: 253). При этом важно понимать, что Печорин пересказывает уже некую легенду, молву, следующую за героем: «говорили», «рассказывали». Печорин в крепости две недели, и ему рассказывают эту историю, как рассказывают, видимо, каждому новичку: Вулич — местная знаменитость. Важно и то, что страсть Вулича — холодная страсть, средоточием его легенды становится то же хладнокровие, что акцентировано в портрете героя: противопоставление «горячий понтёр — хладнокровный Вулич» очевидно. Возможно, в этом сюжете есть еще один нюанс: Вулич не имел права продолжать игру без свидетелей, и если бы он, с репутацией человека, который все время проигрывает, сорвал банк, когда метал талию в одиночестве, он пожизненно оказался бы под подозрением. В этой ситуации отдать банк понтёру — это не только хладнокровие, но и щепетильность в отношении вопросов чести: стремление избежать щекотливой ситуации и возможных репутационных потерь.

С. 261. *Утверждаю, что нет предопределения, — сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев, всё, что было у меня в кармане. — Держу, — отвечал Вулич глухим голосом. — Майор, вы будете судьею; вот пятнадцать червонцев, остальные пять вы мне должны, и сделайте мне дружбу прибавить их к этим.* — Червонцами в это время называли русские монеты весом около 3,5 г., выпущенные в Российской империи в XVIII в. Однако неофициально червонцами называли иногда и пятирублевые золотые монеты, выпускавшиеся и в эпоху Лермонтова (6,5 г.), и десятирублевые (около 13 г.), выпуск которых прекратился в 1805 г. Называли червонцами и иностранные золотые монеты любого номинала и происхождения (дукаты, цехины, талеры, и т. д.). Чаще всего под червонцами подразумевали голландские дукаты, которые попадали в Россию не только в результате торговых и финансовых операций, но и до середины XIX в. незаконно и в большом количестве чеканились на императорском монетном дворе. Стоимость золотой монеты устанавливалась (в зависимости от веса и пробы) по курсу серебряного рубля. Стоимость голландского червонца в 1840 г. составляла 2,93 руб. серебром или 10,26 руб на ассигнации.

Эффектно высыпать / рассыпать червонцы — распространенный мотив в литературе начала XIX в., если речь идет о карточной игре: «Стол полетел вверх ногами; карты рассыпались; червонцы зазвенели и покатились по полу» (Н. А. Полевой. «Краковский замок», 1829). Возможность Печорина немедленно отвечать на вызов деньгами, и деньгами немалыми, сходу нашедшимися в кармане, делает ситуацию для Вулича необратимой. Сам факт вызова еще не означает, что Вулич готов выстрелить себе в лоб: это может быть обычной бравадой. Но стремительный ответ Печорина и предложенная денежная ставка немедленно обостряют ситуацию: отказаться от пари по причине отсутствия денег для щепетильного Вулича невозможно, и тема противостояния столичного любимца фортуны и сумрачного провинциального неудачника снова выходит на первый план. «Держу» — термин, обозначающий, что пари принято, и Вулич вынужден просить одного из присутствующих вернуть ему долг, потому что необходимого количества денег у него просто нет.

Пари, как мистический вызов судьбе — распространенный мотив романтической литературы, ср. у А. А. Бестужева-Марлинского: «Точно так же, как мы, беззаботно стучали они стаканами, точно так же, как у нас, упал и у них разговор на выходцев с того света. <...> Брат мой подвизался на стороне последних и шумел как во время бури, не забывая заряжать себя мадерою и осыпая картечью клятв логику противников, — маневр, который почитается и между нашей братьи убедительнее сухих доводов. „Во всяком случае, — говорил он, — смешно верить и еще стыднее бояться того, чего нет. Я вызываю на заклад каждого из вас испытать собственное мое мужество!“ — „Держу против пятидесяти фунтов стерлингов!“ — закричал лейтенант корвенты. — „Держу против пятидесяти фунтов!“ — прибавил другой» («Вечер на кавказских водах в 1824 году, 1830» — Бестужев-Марлинский 1995: 145).

С. 262. *...к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов...* — Обмундирование и вооружение офицера в значительной степени было его личным делом. Оружие (огнестрельное и холодное) было предметом особого внимания: его подбирали (покупали или выменивали, дарили и получали в подарок) в зависимости от личных привычек и боевых навыков, и даже коллекционировали; достоинства и недостатки, красота отделки, особенности разных моделей служили постоянным предметом разговора. Многие офицеры заводили у себя целые арсеналы, чтобы в случае необходимости подобрать наиболее подходящее оружие: для ночной вылазки, для открытого боя, для охоты, дуэли и т. д. Оружие подчас было главным и единственным украшением походного жилища офицера, и пистолеты, развешанные по стенам, — один из постоянных мотивов в описании офицерского быта.

...взвел курок и насыпал на полку пороху... — Огнестрельное оружие того времени было снабжено почти исключительно кремневыми затворами. Зарядный порох и свинцовая пуля закладывались с дула и прибивались пыжом. Затем на открытую затворную полку насыпался порох, и полка закрывалась. В таком виде заряженное оружие могло храниться достаточно долго. Чтобы произвести выстрел, требовалось подсыпать пороху на открытую часть полки, взвести курок, прицелиться – и спустить курок: кремень бил о кресало на крышке полки, от искры воспламенялся порох на полке, а от него через затравочное отверстие — порох заряда.

Все замолчали и отошли. — В рукописном тексте за этими словами следует: «Вуич продолжал: если я не должен умереть, то этот пистолет или не заряжен, или осечется, если суждено противное — то ничто не может этому помешать. Итак, господа, все ваши опасения напрасны. Он вышел» и т. д. (Лермонтов 1954–1957: VI, 609). Вероятно, Лермонтов убирает это разъяснение как слишком очевидное для интерпретации результата, отсекающее другие толкования. Заметно также стремление автора создать образ остановившегося времени, отражающего всеобщее оцепенение: эпитет «медленно» формально относится к тому, как Вулич произносит конкретное слово «господа», но окрашивает собой весь эпизод: это характеристика того, как герои и рассказчик переживают время в этой сцене.

Вы нынче умрете... — Ю. М. Лотман заметил, что Печорин через несколько минут после своего отрицания предопределения предсказывает Вуличу близкую

смерть, основываясь на том, что «на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы. Западное „нет предопределения“ и восточное „неизбежная судьба“ почти сталкиваются на его языке» (Лотман 1985: 15). Мотив появления в лице персонажа неких знаков скорой кончины распространен для романов О. де Бальзака и других европейских писателей, находившихся под серьезным влиянием физиогномики Лафатера. Ср. аналогичный сюжет в романе Бальзака «Темное дело»: «Госпожа Мишю скорбно подняла взор к небесам. Это была прекрасная белокурая женщина, сложенная как античная статуя; она была задумчива и сосредоточенна — ее, казалось, томило гнетущее, беспросветное горе. Внешний облик ее мужа мог до известной степени дать основание для тревоги обеих женщин. Законы физиогномики находятся не только в полном соответствии с характером человека, но и с его судьбой. Есть лица как бы пророческие. Если бы мы располагали точными изображениями людей, кончивших жизнь на эшафоте (а такая живая статистика была бы крайне полезна для общества), то наука, созданная Лафатером и Галлем, безошибочно доказала бы, что форма головы у этих людей — даже невинных — отмечена некоторыми странными особенностями. Да, рок клеймит своей печатью лица тех, кому суждено умереть насильственной смертью. Именно такую печать увидел бы зоркий наблюдатель на выразительном лице человека с карабином» (Бальзак 1960: XV, 213). Анекдотов про то, как Лафатер и его ученики предсказывали не только особенности характера, но и скорую смерть по лицу, зафиксировано достаточно много. Ср. также мотив предсказания смерти, рапспространяющегося и на предсказателя в легенде о «пророчестве Казота» — сюжет использованный Лермонтовым в стихотворении «На буйном пиршестве задумчив он сидел...» (1839; Т. 1. № 376).

С. 262. — *Да полно, Вулич! — закричал кто-то, — уж, верно, заряжен, коли в головах висел...* — Держать «в головах» постоянно заряженный пистолет — для кавказского быта очевидная норма. Ср. показания А.Бестужева (Марлинского) в нашумевшей истории о гибели дочери унтер-офицера Ольги Нестерцовой во время его службы в Дербенте в 1833 г.: девушка навещала Бестужева, в одно из посещений была «особенно оживленной, много смеялась, резвилась и, наконец, кинувшись на постель Бестужева, нечаянно сронила подушку, под которой лежал заряженный пистолет. В этот миг грянул выстрел, и несчастная, обливаясь кровью, опрокинулась на кровать». <...> „Зачем вы его имели при себе заряженным?“ — значится в одном из вопросных пунктов следователя. — „Я всегда держу пистолет заряженным, — отвечал Бестужев, — предосторожность, мне кажется, не лишняя, особенно в Дербенте, где разбойничают не только татары-шииты, но и немирные горцы“» (Потто 1897).

С. 263. *Вулич спустил курок... осечка!* — В черновике — менее эффектные версии: «Вуич спустил курок... порох вспыхнул... и пистолет не выстрелил», «Вуич спустил курок... порох вспыхнул... осечка!» (Лермонтов 1954—1957: VI. 609). Конструкция заряжавшихся с дула кремниевых пистолетов была не очень надежной. Кремень мог перекоситься, ветер или дождь могли сдуть (смыть) порох с открытой части полки — все это называлось «осечкой». Если оружие долго оставалось в сна-

ряженном виде, то порох в затравочном канале мог слежаться или отсыреть и не «схватиться» от пороха на полке, и тогда происходила «вспышка».

С. 263. *...но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета.* — В черновом варианте была названа еще одна причина: «...что может быть Вулич придержал пальцем курок». Но Лермонтову, как кажется, важно, чтобы репутация Вулича этого не допускала: отсыревший порох — это случайность, и эффектная шутка со вторым выстрелом простительна. Придержать курок — откровенное мошенничество в корыстных видах. После этого в рукописи следовало: «Как бы то ни было посредничество судьбы в этом деле все-таки оставалось неоспоримо» (Лермонтов 1954—1957: VI. 610). Тут Лермонтов снова убирает однозначную оценку, отсекающую другие интерпретации.

Я возвращался домой <...> звезды спокойно сияли... — Аналогичные мотивы см. в стихотворение «Небо и звезды» (1831): «Тем я несчастлив, / Добрые люди, что звезды и небо — / Звезды и небо! — а я человек!..» (Т. 1. № 216), «Демоне» («В день томительный несчастья / Ты о них лишь вспомяни; / Будь к земному без участья / И беспечна как они!» — Т. 2. С. 401) и в «Сказке для детей»: «И улыбались звезды голубые, / Глядя с высот на гордый прах земли, / Как будто мир достоин их любви, / Как будто им земля небес дороже...» (Т. 2. С. 449).

Красный месяц — традиционный предвестник несчастья в предромантической и романтической литературе, ср. у Г. Р. Державина в балладе, заканчивающейся смертью героя (1796): «Из-за облак месяц красный / Встал и смотрится в реке; / Сквозь туман и мрак ужасный / Путник едет в челноке» (Державин 1957: 239).

...были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. — Речь идет об астрологах, которые в древности и в средние века пытались предсказывать судьбы людей по положению на небе небесных светил в момент рождения того или иного человека. Вера в астрологические предсказания была так сильна, что еще в XVIII веке астрономам регулярно заказывали гороскопы — таблицы, анализирующие положение звезд в час рождения человека и определяющие их влияние на его судьбу. Печорин относился к таким предсказаниям иронически, но завидовал этому проявлению фатализма, потому что люди, верившие во влияние небесных светил на земные дела, были будто бы сильнее современных людей, дрожащих за свою жизнь (см.: Дурылин 1940: 254).

С. 264. *А мы, их жалкие потомки...* — Ср. в «Думе» (1838): «К добру и злу постыдно равнодушны, / В начале поприща мы вянем без борьбы; / Перед опасностью позорно-малодушны, / И перед властию — презренные рабы» (Т. 1. С. 299).

В первой молодости моей я был мечтателем... — Ср. в одном из ранних стихотворений Лермонтова: «В уме своем я создал мир иной / И образов иных существованье; / Я цепью их связал между собой, / Я дал им вид, но не дал им названья...» («Русская мелодия», 1829; Т. 1. С. 46; см. также примеч. к с. 148). Ср. другие признания в стихотворении «1831-го июня 11 дня» (Т. 1. С. 152–153):

Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала <...>

И населял таинственные сны
Я этими мгновеньями <...>
<...> Не раз,
Встревоженный печальною мечтой,
Я плакал; но все образы мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных.
О, нет! все было ад иль небо в них.

С. 264. *...как после ночной битвы с привидением...* — Возможно, ироническая отсылка к ветхозаветному сюжету о ночном поединке Иакова с ангелом (Быт. 32, 24–29).

...я истощил и жар души... — Ср. в «Благодарности» Лермонтова: «За жар души, растраченной в пустыне...» (Т. 1. С. 326). «Жар души» — распространенный поэтический штамп, в данную эпоху связывавшийся с романтическим энтузиазмом и свежестью чувств. Охлаждение души как следствие раннего опыта — тема романа А. де Мюссе «Исповедь сына века» (1836), и с этой точки зрения Лермонтов, как кажется, продолжает традицию французского психологического романа. Но охлаждение души как следствие раннего иллюзорного (не реального, а пережитого в воображении) опыта расставляет акценты совершенно по-другому: не столько трагедия «сына века», сколько трагедия поэта как такового, по определению живущего в мире мечты, — одна из важнейших тем Лермонтова-лирика.

Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы... — Слово «нервы» и сочетание «раздражать нервы» — модный физиологизм, часто появляющийся в «Герое нашего времени» (см. с. 248, 257). Представления того времени о нервах и их раздражении могут быть описаны по двум нашумевшим научным трудам. 14 марта 1808 года Ф. Галль представляет в Парижскую академию трактат «Исследование нервной системы вообще и мозга в частности», который был воспринят как способ объективного описания происхождения душевных движений вследствие внешних раздражителей с точки зрения физиологии человека. В 1809 году выходит знаменитая «Философия зоологии» Ламарка, третья часть которой посвящена доказательству того, что нервная система производит ощущения и что нервы являются тем самым органом, благодаря которым реальность попадает в наш мозг и создает образ. По сути дела, нервы и головной мозг описываются как взаимосвязанные части единого механизма по производству психических реакций. Популярность и влияние теории Ламарка были весьма велики (одним из сигналов, указывающих именно на ламаркистское учение, являются выражения «мозговые нервы» или «головные нервы», весьма частотные в прозе 1830-х гг.). Таким образом, Лермонтов вновь строит описание психологического состояние героя на ироническом соединении романтического штампа («жар души») и его натуралистического физиологического истолкования.

Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое. Наклоняюсь — месяц уж светил прямо на дорогу — и что же? предо мною лежала свинья, разрубленная

пополам шашкой... — Здесь Лермонтов вновь использует прием иронического снижения: от звезд и судьбы — под ноги, от философских идей фатализма и скептицизма — к разрубленной свинье. Важно и то, что свинья разрублена именно шашкой. На Кавказе взаимодействовали три вида вооруженных сил (с тремя традиционными типами вооружения): русская регулярная армия; казаки (Кавказская линия поселенных казаков, сформированная из полков Терского казачьего войска); многочисленные отряды кавказских автохтонов (воевавших на обеих сторонах). Казаки как поселенное войско очень много перенимали у местных народов — и в плане костюма, и в плане вооружения; кое-что со временем входило в их «штатный» мундир. Прежде всего терские казаки переняли у горцев именно шашки — холодное оружие, удобное для стремительного нападения и боя на ограниченном пространстве: шашка — это большой кинжал, она короче сабли и не имеет гарды, которой можно зацепиться; у кавказской шашки нет даже дужки для защиты руки. Точно так же и рукоять кавказского кинжала, перенятого кавказскими (терскими и кубанскими) казаками, не имела ни гарды, ни дужки. То, что свинья разрублена именно шашкой, — это знак бессмысленного погрома, пьяного бесчинства: горец не станет поганить мусульманское оружие о свинью.

С. 265. *«Кого ты, братец, ищешь?» — «Тебя!» — отвечал казак...* — Б. М. Эйхенбауму это место показалось сомнительным: «...ясно, что никто, кроме самого Вулича, не мог рассказать об этом, а Вулич успел сказать только два слова: „он прав“» (Эйхенбаум 1924: 153). Из всего контекста ясно, что краткий диалог Вулича и его убийцы был сообщен Печорину двумя казаками, которые «следили за убийцей» и «подоспели, подняли раненого». Так как Вулич был разрублен «от плеча почти до сердца», то от момента его вопроса и ответа убийцы прошло лишь несколько секунд, и казаки, подоспевшие к еще дышавшему Вуличу, должны были услышать эти слова.

...мой инстинкт не обманул меня... — С точки зрения Ламарка, который и ввел слово «инстинкт» в массовое употребление, инстинкт есть физиологическая реакция низшего порядка, докультурная, животная. Именно Ламарк одним из первых описал этот феномен как один из факторов нервной деятельности животных, помогающих им выжить: «Инстинкт животных — это наклонность, влекущая, вызываемая ощущениями на основе возникших в силу их потребностей и понуждающая к выполнению действий без всякого участия мысли, без всякого участия воли» (Ламарк 1937: 325). Ламарк считал, что инстинкты не врожденны, а упражняются путем длительного воздействия стереотипных обстоятельств на определенные группы мышц — и следовательно, мозга. Именно с прилагательным «животный» слово «инстинкт» часто употреблялось в литературе этого времени (напр., у В. Ф. Одоевского в «Космораме», 1837; в «Записках кавалерист-девицы» Н. А. Дуровой, 1835; и т. п.). Но романтическая литература дает и другой популярный контекст: инстинкт как чутье, сверхчувствительность души, прозревающей что-то, что разуму недоступно.

...второпях пристегивая кинжал... — Рукоять кавказского кинжала, который носили терские и кубанские казаки, как и рукоять шашки, не имела ни гарды, ни

дужки. Но если шашка была боевым оружием, то кинжал для горцев и казаков был и оружием, и инструментом, и столовым прибором, и частью костюма — пояс с ножнами полагался к черкеске, которая в 1831 г. стала форменной казачьей одеждой (особенной у кавказских линейцев).

С. 266. *Побойся Бога, ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин; — ну, уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь!* — Ирония Лермонтова направлена на парадоксальность того факта, что есаул, подчеркивая принадлежность казака православной вере, а не магометанской, именно русскому сознанию приписывает покорность судьбе. Ср. дальше слова Максима Максимыча: «Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано...» (с. 267). Дурылин приводит в связи с этим местом русские народные пословицы: «От судьбы не уйдешь», «От роду не в воду», «Судьба руки вяжет», «Детишки не без судьбишки» и др. (Дурылин 2006: 235–236; ср.: Даль 1955: 622).

С. 267. *Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!..* — В общем плане это свойство Печорина сомневаться во всем восходит, вероятно, к скептицизму Монтеня (см.: Головко 1994: 28–34), однако конкретный пассаж находит близкую аналогию в дневниках Байрона: «Если я глупец, то, по крайней мере, сомневающийся; и я не завидую ни одному человеку, уверенному в своей непогрешимой мудрости» (Байрон 1963: 65). Скептицизм Печорина, однако, парадоксальным образом приводит к тому же результату, что и восточный фатализм: в представлении европейцев мусульмане легко идут на смерть, зная, что она предопределена.

...не люблю я также винтовок черкесских <...> нос обожжет. — Черкесские ружья изготавливались с прикладами особой формы, меньшими по размеру, чем европейские; они не предназначались для строевой залповой стрельбы, тем менее для штыкового боя. Горцы стреляли от груди, именно поэтому приклады были короткие. Кроме того, оружие горцев было ремесленного (а не фабричного) изготовления и чаще давало вспышки и осечки. Когда черкесские винтовки использовались в традиционной залповой стрельбе, и солдаты были вынуждены упирать приклад в плечо, вспышка при коротком прикладе могла обжечь.

Больше я от него ничего не мог добиться... — «Фаталист» кончается юмористически краткой беседой Печорина об азиатских курках в черкесских винтовках с простодушно-лукавым, неподатливым Максимом Максимычем, так умно и тактично избегающим «метафизических прений». Такою же усмешкой оканчивается и «Тамань»: «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности?» (с. 201).

Лев Толстой в «Набеге» так же завершил беседу, которую рассказчик пытается завязать на «метафизическую тему» с капитаном Хлоповым, напоминающим Максима Максимыча. Хлопов прямо, без околичностей отклоняет бесплодный разговор: «...вот у нас есть юнкер, так тот любит пофилософствовать. Вы с ним поговорите. Он и стихи пишет» (Толстой 2002: 9). Как указал В. Э. Вацуро: «Осно-

ва композиции „Фаталиста“ — необъяснимое в целом сцепление случайных событий — излюбленный сюжетный прием фантастических повестей, широко применявшийся, в частности, Гофманом» (Вацуро 2008: 151). Максим Максимыч, в отличие от умных спорщиков, прекрасно допускает обе версии — и случайности событий, и их предопределенности, в то время как Печорин в обеих сомневается.

Лит: ЛЭ 1981: 101–111; Шувалов 1914: 334–337; Эйхенбаум 1924: 147–156; Виноградов 1941: 564–628; Перльмуттер 1941: 340–355; Томашевский 1941: 507–516; Михайлова 1957: 203–381; Найдич 1962: 163–197; Шевченко 1962: 52–72; Эйхенбаум 1962: 125–162; Мануйлов 1963: 25–35; Удодов 1964: 3–109; Фридлендер 1965: 42–49; Маркович 1967: 46–66; Федоров 1967; Кондорская 1970: 85–89; Григорьян 1973: 57–78; Левин 1973: 161–170; Удодов 1973: 449–608; Debreczeny 1973: 93–117; Шаблий 1974: 62–69; Фохт 1975: 149–180; Ходанен 1975: 82–94; Левин 1978: 235–236; Маркович 1981: 291–302; Маркович 1984: 206–213; Дрозда 1985: 5–34; Недзвецкий 1986: 279–319; Михельсон 1987: 82–88; Удодов 1989; Федосеенко 1989: 60–66; Головко 1991: 11–16; Зингер 1991: 189–193; Дебрецени 1992: 69—80; Уразаева 1993: 145–153; Савинков 1995: 58–68; Герштейн 1997; Недзвецкий 1997: 3–20; Reid 1997; Golstein 1998; Бочарова 2000: 38–47; Гладышев 2001: 84–88; Коровицына 2002: 49–54; Грехнев 2004: 132–135; Ермоленко 2007: 41–48; Костикова, Буянова 2007: 43–45; Кривонос 2007: 105–116; Маркова 2007: 23–30; Москвин 2007; Рева 2007: 166–170; Юхнова 2007: 96–100; Гурович 2008: 129–145; Ермакова 2008: 37–49; Лазареску 2008: 200–211; Физиков, Яковлева 2008: 9–15; Алферов 2009: 16–19; Юхнова 2009: 282–287; Кондратенкова 2010: 37–43; Оловянникова 2010a: 146–149; Оловянникова 2010b: 127–132; Карбоне 2011: 39–50; Кондратенкова 2011a: 7–14; Кондратенкова 2011б: 172–180; Миллер 2011: 51–57; Кондратенкова 2012: 88–97; Савинков 2012: 166–177.

Бэла: Евзерихина 1960a: 51–71; Дубшан 1985: 267–277; Вацуро 2008: 35–52.

Журнал Печорина: Крупышев 1989: 63–67; Уразаева 1986: 155–172; Дьяконова 2001: 40–57.

Тамань: Евзерихина 1965: 35–44; Ефремов 1963: 74–88; Копытцева 1977: 22–39; Медриш, Погребная 1982: 115–121; Скибин 1983: 36–44; Жолковский 1994: 276–282; Савинков 1994: 144–147; Моисеева 1997: 75–83; Блохин 2008: 144–162; Шарафадина 2008: 114–120; Sobol 2011: 65–79;

Княжна Мери: Евзерихина 1961: 51–72; Лисенкова 1965: 170—224; Соллертинский 1970: 123–132; Иезуитова 1973: 196–197; Москвин 2000: 7–17.

Фаталист: Тойбин 1959: 19–56; Евзерихина 1960б: 3–16; Виноградов 1964: 217–218; Бочарова 1965: 225–249; Левин 1978: 235–236; Леонов 2000: 48–58; Поволоцкая 2008: 217–224; Тюпа 2009: 34–101; Александрова, Большухин 2011: 102–122.

494. Кавказец

Автограф неизвестен.

Копия: ОР РНБ. Ф. 429. № 57. Л. 2—4 об. — рукой Н. А. Долгорукова, в самодельной прошитой тетрадочке, сложенной из трех листов, на л. 1 пояснительная заметка: «Список с статьи собственноручной покойного М. Лермонтова, пред-

назначенной им для напечатания в „Наших“ и не пропущенной цензурою».
Печатается по копии Долгорукова.
Предположительно датируется временем пребывания Лермонтова в Петербурге в 1841 г. (8 февраля — 13 апреля).
Впервые: Минувшие дни. 1928. Вып. 4. Март. С. 22–24 (публикация Н. О. Лернера по копии Н. А. Долгорукова).

«Кавказец», видимо, был написан Лермонтовым по заказу А. П. Башуцкого (1803–1876) — редактора сборника очерков «Наши, списанные с натуры русскими» (Вып. 1–14. СПб.: Изд. Я. А. Исакова, СПБ, 1841–[1842]; ц. р. 25 февраля и 10 октября 1841). Иллюстрированный сборник русских нравоописательных очерков был задуман в начале 1840 г., как аналог английского издания «Heads of the People, or Portraits of the English» (Vol. 1–2. London: R. Tyas, 1840; в 1838–1839 гг. выходило отдельными выпусками), которое вскоре появилось и во французском переводе: «Les Anglais peints par eux-mêmes» («Англичане, нарисованные ими самими»; V. 1–2. Paris: L. Curmer, 1840). В том же году стала выходить и французская версия — многотомное собрание физиологических очерков «Les français peints par eux mêmes» («Французы в их собственном изображении»; Vol. 1–9. 1840–1843), которое долгое время и считали единственным образцом для проекта Башуцкого.

Однако, ориентируясь на западные образцы, редактор стремился убедить публику в самостоятельности если не самого замысла «Наших…», то хотя бы его воплощения: «Самое название это показывает уже, что вся книга будет состоять из статей оригинальных русских, ибо предметом их будут русские нравы, русские физиономии, русские характеры», — писал Башуцкий в объявлении о подготовке сборника (ОЗ. 1841. Т. XV. № 4. Отд. VI. С. 69). В «Наших…» были напечатаны произведения Г. Ф. Квитко-Основьяненко («Знахарь»), В. И. Даля («Уральский казак»), В. В. Львова («Армейский офицер»), самого Башуцкого («Водовоз», «Гробовой мастер») и два текста под женскими криптонимами (очерки «Барышня» и «Няня»). В последующих выпусках должны были появиться очерки и повести В. Ф. Одоевского, В. А. Соллогуба, Е. П. Гребенки, И. И. Панаева, и др.

Известно, что первые приглашения участвовать в своем издании Башуцкий стал рассылать весной 1840 г. (Охотин 1986: 15), а в апрельском номере «Отечественных записок» за 1841 г. уже было размещено объявление о скором выходе «Наших…», где среди других литераторов было анонсировано и участие Лермонтова (ОЗ. 1841. Т. XV. № 4. Отд. VI. С. 70; ц. р. 28 марта 1841 г.; выход в свет — 29 марта). Таким образом привлечение Лермонтова к сотрудничеству состоялось в течение обозначенного периода — с апреля 1840-го по март 1841 г. Точное время создания очерка определить труднее: текст мог оказаться у Башуцкого как до написания объявления (предположительно, февраль—март 1841), так и после, но вряд ли позднее 13 апреля (утром 14-го Лермонтов уехал из Петербурга в Москву, и далее, на Кавказ). Если учесть, что Лермонтов после длительного отсутствия прибыл в Петербург только 8 февраля, то в два месяца его пребывания в столице должны были уместиться и знакомство с Башуцким (это произошло, скорее всего, на вечерах у Одоевского), и договоренность о сотрудничестве, и создание текста.

Анонсы о скором выходе «Кавказца» «покойного Лермонтова» появлялись на страницах «Наших...» в течение всего 1842 гг.: известно шесть таких объявлений — в общем предисловии (С. [4]) и на обертках 6, 8, 9, 10 и 14 выпусков. Однако, эти планы так и не претворились в жизнь — в начале 1843 г. издание прекратилось (14-м выпуском завершился 1-й том). Причиной приостановки, а затем и прекращения проекта были, как оказалось, не цензурные и не финансовые проблемы, а тяжелая и длительная болезнь редактора (Охотин 1986: 30–33). Выяснить же, почему очерк Лермонтова не был опубликован в «Наших...», пока проект продолжался (т. е. в течение 1842 г.), — не удалось. Сообщение Долгорукова о цензурном запрете не подтверждается никакими документальными материалами: ни в бумагах цензурного ведомства, ни в архиве III Отделения подобный сюжет не отразился. Можно допустить, что Башуцкий получил на этот счет устные рекомендации и рассказал о них своему сослуживцу Долгорукову, когда давал ему для копирования запрещенный текст. Но доказать эту гипотезу пока невозможно. К тому же, соглашаясь с цензурной версией, довольно трудно объяснить, почему редактор продолжал рекламировать отвергнутый цензурой очерк до самого конца издания. Можно, однако, предложить гипотезу, никак не связанную с цензурно-идеологическими мотивами. Сборник, как уже говорилось, выходил отдельными выпусками, каждый из которых содержал от восьми до тридцати шести страниц (число, кратное листу in quarto). Некоторые слишком пространные очерки приходилось разбивать на два, а то и на четыре выпуска. Лермонтовский же текст едва можно было растянуть на три страницы, максимум — с заглавной иллюстрацией («типом») — на пять. То есть отдельным выпуском напечатать его не позволяли полиграфические условия: минимальный объем выпуска in quarto — восемь страниц. Вероятно, редактор откладывал публикацию, дожидаясь другого короткого текста, с которым можно было бы соединить «Кавказца» в рамках одного выпуска. И, наконец, остается еще один гипотетический вариант: портфель «Наших...» был переполнен и Башуцкий просто не успел напечатать «Кавказца» до остановки издания.

Часть литературных и графических материалов, собранных для «Наших...», но не опубликованных в первом томе сборника, Башуцкий использовал позднее в другом своем литературно-издательском предприятии — в журнале «Иллюстрация», совладельцем и редактором которого он стал весной 1847 г. Рисуя перспективы своего журнала в следующем, 1848 году, редакция обещала напечатать в одном из первых номеров «неизданный рассказ» Лермонтова «Кавказец» (Иллюстрация. 1847. Т. V. № 48. С. 386). Но и на сей раз рекламные обязательства не были исполнены — лермонтовский текст в «Иллюстрации» так и не появился, а в марте 1849 г. закрылся и сам журнал.

«Кавказец» — один из ранних, еще не до конца оформившихся образцов русского «физиологического очерка», ставшего в середине 1840-х гг. популярнейшим жанром «натуральной школы». Он довольно сильно выделяется на фоне других очерковых текстов, напечатанных в сборнике Башуцкого. И выделяется не только своим малым объемом: в лермонтовском тексте, с одной стороны, полностью снята морализаторская установка, свойственная большинству очерков из «Наших...»

(и отсылающая к нравоописательной традиции 1810–1820-х гг.), а с другой, — отсутствует та поверхностная детализация, которая легко трансформирует социальную типологию в этнографический протокол (ср., например, «Уральский казак» Даля). Тем не менее, «Кавказец» еще далек от подлинной «физиологичности» — пафос научной отстраненности чужд автору, он соединен со своим героем слишком сильными эмоциональным связями (от симпатии до иронии).

Лермонтов называет своего героя *настоящим* кавказцем. Это типический образ кавказского армейского офицера, каких Лермонтов много раз встречал в Дагестане и Чечне. Одним из реальных его прообразов мог быть, например, П. П. Шан-Гирей (1795–1864) — родственник и собеседник Лермонтова, участник ермоловских походов и кавказской войны, хорошо знавший быт и нравы кавказских горцев (см.: Вырыпаев 1976: 195–209). Описывая «настоящего кавказца», Лермонтов, безусловно, использовал образ Максима Максимыча из «Героя нашего времени». Вместе с тем «настоящий кавказец» не обладает индивидуальностью, это именно социальный и психологический типаж, развивающийся в рамках имперсональной биографической матрицы.

Отчасти следуя установкам литературной «физиологии», Лермонтов включил в свой очерк элементы социальной систематизации: в финале очерка поверхностно обрисованы другие модификации базового социального типа — «грузинский кавказец» и «статский кавказец». Однако они описываются как маргинальные, и служат исключительно для контрастного выделения черт основного типажа — *настоящего* кавказца.

С. 268. *...что такое именно кавказец...* — Термин «кавказец» применительно к офицеру (чиновнику), служащему в российских областях Кавказа, видимо, появляется в 1820-х гг., фиксируется в литературе с 1830-х, прежде всего, как самоназвание. Ср., например: «Вы, горожане, постигнуть не можете, каким неудобствам подвержен военный кавказец» (из письма А. А.Бестужева к К. А. Полевому от 08.11.1835 — Бестужев-Марлинский 1995: 537). Интересно, что это определение, по воспоминанию очевидца, П. И. Магденко, применял к себе и Лермонтов: «Вошедший смотритель на приказание Лермонтова запрягать лошадей отвечал предостережением в опасности ночного пути. Лермонтов ответил, что он старый кавказец, бывал в экспедициях, и его не запугаешь» (Воспоминания 1989: 387).

...вы находите *на Линии...* — См. примеч. к с. 157.

...если вы между ними встретите ~ только между полковых медиков. — Возможно, что Лермонтов имел в виду, в частности, и Ф. П. Герарди (1792–1857) — штаб-лекаря Тифлисского военного госпиталя, которого, очевидно, встречал в доме П. И. Петрова (см.: Андроников 1977: 378–379).

Настоящий кавказец ~ уважения и участия. — Ср. в «Герое нашего времени» («Бэла»): «Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?..» (с. 183).

До 18 лет он воспитывался ~ воспламенился страстью к Кавказу. — Насколько это было типично, свидетельствуют мемуары современников. Так, например,

А. Л. Зиссерман (1876: 52) вспоминал: «Мне было 17 лет, когда, живя в одном из губернских городов, я в первый раз прочитал некоторые сочинения Марлинского <…> чтение это родило во мне мысль бросить все и лететь на Кавказ, в эту обетованную землю, с ее грозною природой, воинственными обитателями, чудными женщинами, поэтическим небом…».

С. 268. *…сшил себе ахалук…* — См. примечание к с. 248 («Княжна Мери»).

С. 269. *Чуждый утонченностей ~ он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного.* — А. Л. Зиссерман писал о себе: «Постоянною наблюдательностью, расспросами, сношениями с туземцами я узнал их нравы, образ жизни, взгляды и наклонности…» (РВ. 1876. Т. 122. С. 81).

…у него завелась шашка, настоящая гурда… — См. примечание к с. 164.

…кинжал — старый базалай… — Так назывались отличавшиеся особой прочностью клинки, *изготовленные* кумыкским мастером Базалаем (см.: Народы Кавказа. М., 1960. Т. 1. С. 426). Ср. у Бестужева-Марлинского: «драгунский капитан сжал ручку черкесского кинжала, по обычаю всех кавказцев носимого на поясе» («Вечер на кавказских водах в 1824 году», 1830; Бестужев-Марлинский 1995: 141).

…лошадь — чистый Шаллох… — Современник Лермонтова указывал: «У горцев западной половины Кавказа были тогда знаменитые конские заводы: Шолок (т. е. Шаллох), Трам, Есени, Лоо, Бечкан. Лошади не имели всей красоты чистых пород, но были чрезвычайно выносливы…» (Филипсон 1885: 103).

…и весь костюм черкесский… — Элементы горского воинского снаряжения (черкески, папахи, бешметы, бурки, холодное оружие) вошли в обиход русской армии с 1800-х гг.. С 1820-х гг. офицеры Кавказского корпуса стали использовать черкесский костюм, как неофициальное обмундирование (вне зоны военных действий). Вслед за армейскими подражать горцам в одежде стали и местные штатские чиновники, обслуживающий персонал, посетители водяных курортов. В свое первое посещение Кавказа Лермонтов путешествовал «одетый по-черкесски, с ружьем за плечами» (см. № 566); в черкесском наряде щеголяет и Печорин («Бэла», «Княжна Мери»). На черкесский манер одевался также А. А. Бестужев-Марлинский и многие другие вольные или невольные русские кавказцы. Описывая кавказские минеральные воды в 1838 г., декабрист А. Е. Розен (1799–1884) отмечал: «Пестрота одежды, форм, моды чрезвычайно разительна в Пятигорске, оттого, что кроме русского и европейского покроя можно видеть и азиатский. <…> Офицеры в черкесском наряде гарцуют на славнейших черкесских конях» (Розен 1984: 372). Младший современник Лермонтова А. Л. Зиссерман (1824–1897) также «начал с того, что нарядился в черкесский костюм <…>, получивший права гражданства на всем Кавказе…» (РВ. 1876. Т. 122. С. 80). Генерал Г. И. Филипсон (1809–1883) вспоминал: «Костюм ногайцев, армян и грузин подходил несколько к костюму черкесов, который был в большой моде у всех русских…» (Филипсон 1885: 92). В форму казачьих полков черкесские элементы были внесены с 1831 г., в 1843 г. «чистый черкесский костюм взят в образец для служебных мундиров линейного казачьего войска и несколько изменен был в Черномории» (Филипсон 1885: 93).

...и между шапсугами народ изрядный... — Шапсуги — см. выше примеч. к с. 182.

С. 269. *...бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова...* — Бурка — род войлочного плаща без рукавов с длинным ворсом или начесом) — стала широко популярной после появления поэмы Пушкина «Кавказский пленник»; см., например, описание одежды черкеса в первой части: «На ветви вешает кругом / Свои доспехи боевые: / Щит, бурку, панцирь и шелом...» (Пушкин 1837–1859: IV, 101), а также повестей А. А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек» (1832) и в особенности «Мулла-Нур» (1836). На портрете работы Дж. Доу (Эрмитаж, 1-я пол. 1820-х гг.), А. П. Ермолов изображен в бурке; в 1824 г. Т. Райт сделал гравюру с этого портрета, разошедшуюся огромным тиражом. Известны также портреты в бурках А. А. Бестужева (гравюра в альманахе «Сто русских литераторов», 1838) и самого Лермонтова (акварельный автопортрет 1837–1838; поэт изобразил себя в андийской бурке исчезнувшего ныне типа «куркул»).

...достать настоящую Андийскую бурку... — Речь идет о бурке, изготовленной в округе Анди на северо-западе Дагестана. Бурка в Анди производились из длинной и грубой шерсти местных овец и красились в черный или белый цвет; на изготовление каждой уходило несколько месяцев. Бурки андийской работы сильно отличались от кабардинских (были уже в плечах и шире в подоле); они пользовались спросом по всему Кавказу. Подробнее см.: Агларов 2002: 106–112; Изудинова 2005.

С. 270. *гибельной <...> привычки.* — Ср. реплику Максима Максимыча: «Оно и точно: другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка — пропадший человек» (с. 160).

Послужив там несколько лет, он обыкновенно возвращается в Россию с чином и красным носом. — Порядок чинопроизводства, установленный в 1803 г. для организации управления в Грузии, предусматривал автоматическое повышение в чине на один класс для всех гражданских чиновников (кроме служащих провиантского ведомства), которые соглашались служить в Грузии. Однако для того, чтобы сохранить право на новый чин, нужно было прослужить в Грузии не менее одного года, а для сохранения чина VIII класса (коллежский асессор), который давал потомственное дворянство, — три года. При этом в основной части империи срок выслуги для производства в чин VIII класса составлял шесть лет для потомственных дворян, а для тех, кто имел только личное дворянство, — двенадцать лет (СЗРИ 1833: III, 111–115 [ст. 478–495]). Согласно императорскому указу от 30 марта 1832 г. производство для грузинских чиновников недворянского происхождения было несколько усложнено: теперь, чтобы закрепить чин VIII класса, такому чиновнику надо было прослужить не три года, а шесть лет (ПСЗРИ. Собрание 2. Т. VII, 180–181. № 5267).

Казусы закавказского чинопроизводства неоднократно отмечались в литературе. Ср., например, у Пушкина в «Путешествии в Арзрум (1829): «Военные, повинуясь долгу, живут в Грузии, потому что так им велено. Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином ассесорским, толико вожделенным. Те и другие смотрят на Грузию как на изгнание» (Пушкин 1837–1859: VIII, 458–459).

Среди литературных героев, приехавших с Кавказа с чином, был и герой гоголевского «Носа» (опубл. в 1836): «Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощию ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. <...> Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он два года только еще состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором» (Гоголь 1937–1952: III, 53).

Лит.: ЛЭ 1981: 213; Дурылин 1940: 114–115; Михайлова 1941: 281, 288–290; Вырыпаев 1964: 57–59; Кулешов 1965: 121–123; Цейтлин 1965: 26–29; Виноградов 1968: 61–72; Удодов 1973: 609–633; Парсиева 1983: 70–77; Качалова 2001: 161–164; Найдич 2001: 141–147; Буров 2002: 25–27; Проскурина 2004: 136–141; Шишхова 2007: 266–267; Кубанова 2011: 43–47; Сычев 2013: 98–107.

495. <Штосс>

Автографы: 1) ОПИ ГИМ. Ф. 445. № 227а. Л. 47–53 — перебеленный с последующей правкой в тетради Чертковской библиотеки (текст обрывается на словах: «...У Лугина болезненно сжималось сердце — отчаянием»); 2) ОР РНБ. Ф. 429. № 11. Л. 6 об. — черновой набросок плана в альбоме М. Ю. Лермонтова 1840–1841 гг. («Сюжет. У дамы: лица желтые. Адрес. Дом: старик с дочерью, предлагает ему метать. Дочь: в отчаянии, когда старик выигрывает. — Шулер: старик проиграл дочь. Чтобы <?> Доктор: окошко»); 3) ОР РНБ. Ф. 429. № 12. Л. 2 (нумерация от задней обложки) — черновой набросок и план окончания повести (?), карандашом, в записной книжке, подаренной Лермонтову В. Ф. Одоевским (см. ниже).

Печатается по автографу. Текст, в рукописи отсутствующий, воспроизводится по первой публикации. Название дается по отзыву Е. П. Ростопчиной.

Датируется, по мнению Б. Т. Удодова, концом февраля — началом марта (Удодов 1973: 635), по мнению В. Э. Вацуро, — серединой марта — началом апреля (Вацуро 2008: 155), по мнению Э. Э. Найдича — 20-ми числами марта 1841 г. (Найдич 1994: 208).

Впервые: Вчера и сегодня. 1845. Кн. 1. С. 71–87 — без самостоятельного заглавия, вместе с отрывком <«Я хочу рассказать вам...»> (№ 491), под общим заголовком «Из бумаг покойника <в оглавлении — «Из бумаг покойного М. Ю. Лермонтова»>. Два отрывка из начатых повестей».

Обстоятельства создания повести неизвестны. Первое чтение для близких знакомых состоялось, видимо, весною 1841 г. Приятельница Лермонтова поэтесса Е. П. Ростопчина вспоминала позднее (1858): «Однажды он <Лермонтов> объявил, что прочитает нам новый роман под заглавием „Штос“, причем он рассчитал, что ему понадобится по крайней мере четыре часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано и чтобы двери были заперты для посторонних. Все его желания были исполнены, и избранники сошлись числом около тридцати; наконец Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой, принесли лампу, двери заперли, и затем начинается чтение; спустя четверть часа оно было

окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне: написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради была белая бумага. Роман на этом остановился и никогда не был окончен» (Воспоминания 1989: 363). Вероятнее всего, чтение проходило в салоне Карамзиных (см.: Висковатов 1891: 371–372), где литературные чтения происходили постоянно. 14 января 1840 г. А. И. Тургенев записал в дневнике, что кн. В. Ф. Одоевский в присутствии Лермонтова, Жуковского и Вяземского читал у Карамзиных «свою мистическую повесть. Хочет представить тайны магнетизма и seconde-vue <ясновидение; *фр.*> в сказке», после чего развернулись прения о «высших началах психологии и религии» (цит. по: Герштейн 1948: 399). Вероятно, обсуждаемой повестью была «Косморама» (Вацуро 2008: 148), что позволяет допустить наличие межтекстовых перекличек (см. ниже). С Одоевским Лермонтова связывали близкие отношения; перед последним отъездом Лермонтова на Кавказ Одоевский подарил ему записную книжку с Евангельскими цитатами, в которую Лермонтов впоследствии внес несколько записей о «Штоссе»: «Да кто же ты, ради Бога? — Что-с? отвечал старичок, примаргивая одним глазом, — Штос! — повторил в ужасе Лугин. Шулер имеет разум в пальцах. — Банк — Скоропостижная» (ОР РНБ. Ф. 429. № 12. Л. 2, нумерация от задней обложки).

Импульсом к созданию повести и основанием для номинации Штосса могло стать реальное происшествие, описанное А. В. Никитенко: «Институтка, приятельница моей жены, умненькая, хорошенькая Е. И. Ш., до сих пор очень бедная и жившая в гувернантках, вдруг сделалась обладательницей полумиллиона. Она выиграла в польскую лотерею 900 000 злотых. Вчера она была у нас; богатство пока не изменило ее: она по-прежнему проста, мила, точно не подозревает, каким могуществом вдруг подарила ее судьба. Между тем, весь город толкует о ней. Императрица пожелала видеть ее» (Никитенко 1955: I, 216; запись от 25 декабря 1839). Инициалы расшифровываются в письме П. А. Вяземского: «...А большой выигрыш в 400 000 рублей здесь взят. Выиграла его какая-то бедная девица Штосс» (цит. по Герштейн 1986: 105; см. также: Прокопенко 1965: 171–173). По мнению Вацуро, у персонажей «Штосса» могли быть реальные прототипы: у гвардейского офицера — сам Лермонтов, у Минской — А. О. Смирнова или Е. П. Ростопчина, у графа В. — М. Ю. Виельгорский (см. также: Александров 1924: 314).

Фантастический характер повести, который отмечался еще первыми рецензентами (Белинский 1953–1959: IX, 29), позволял многим исследователям подымать вопрос о доминантном влиянии традиции немецкого романтизма и, в первую очередь, творчества Э. Т. А. Гофмана, хорошо известного в России (Passage 1963: 248). Это влияние, по мнению А. Б. Ботниковой, могло проявиться в наборе базовых элементов «Штосса»: это рассказ о художнике, описание психических явлений и вторжение сверхъестественных сил (Ботникова 1982: 158), а также ряда конкретных мотивов, таких как «игра с волшебным игроком», «волшебный портрет» и пр.

Так, высказывалось предположение (Штейн 1927: 275; Ingham 1974: 256), что сам мотив игры в карты, когда на кону стоит живой человек, через лермон-

товскую повесть в стихах «Тамбовская казначейша» (Нейман 1967: 19–20) восходит к новелле Гофмана «Счастье игрока» («Spieler-Glück», 1820). В то же время, Ю. М. Лотман отмечал, что мотив проигрыша жены в карты присутствовал с начала XIX века не только в литературе, но и в реальной жизни (Лотман 1992: II, 391; материал 1830-х гг. см.: Вацуро 2008: 167).

Тема портрета у Лермонтова также связана с творчеством Гофмана: портрет, так или иначе сопряженный со сверхчувственной сферой, играет важную роль в таких произведениях немецкого писателя, как «Фрагмент из жизни трех друзей» («Ein Fragment aus dem Leben dreier Freunde», 1818), «Ошибки» («Die Irrungen», 1820), «Артусова зала» («Der Artushof», 1816) и «Эликсиры сатаны» («Die Elixiere des Teufels», 1815–1816) (Ботникова 1982: 160; Passage 1963: 190–191). К «гофмановской» школе фантастики принадлежит «Портрет» Гоголя, влияние первой редакции которого также усматривалось в «Штоссе» (см.: Ingham 1974: 256; Голосовкер 1991: 58–59; Таборисская 2005: 98–99, 101–102); отмеченные переклички с другими текстами Гоголя см.: Котляревский 1915: 225; Нейман 1967: 17–19; Федоров 1967: 225; Найдич 1985: 196—197; Юдакова 2008: 129–133).

Высказывалось мнение, что влияние как Гофмана, так и Гоголя было для Лермонтова не более чем отправной точкой для пародийного переосмысления традиционных романтических мотивов (Mersereau 1962: 283–284). Тема портрета (в том числе, оживающего) могла восходить не только к Гофману но и к Ч. Р. Метьюрину (Семенов 1914: 384–388) и В. Ирвингу (Родзевич 1914: 106; Иванова 1964: 396–399), а также, как отмечал Вацуро, могла быть связана и с другими литературными явлениями, несомненно, известными в лермонтовском окружении, такими как «Письмо из Швеции» Жуковского, в котором предлагалась пародийная интерпретация сюжета о привидениях и который так же неожиданно обрывался, как и «Штосс» (Вацуро 2008: 163–164). Число мотивных параллелей можно легко умножить, поскольку мотив «мистического портрета» был хорошо разработан еще в доромантическую эпоху: в частности, множество прецедентов можно найти в английском готическом романе и его континентальных производных — см., например, об этом: Ziolkowski 1977: 78–148.

Ближайшим литературным фоном «Штосса» является традиция русской фантастической новеллы 1820–1840-х гг. Неоднократно указывались на переклички лермонтовской повести с произведениями Одоевского. При сопоставлении «Штосса» и «Косморамы» отмечалось, что оба произведения посвящены «проблемам „сверхчувственного“ в общемировоззренческом и фантастического — в литературном планах» (Вацуро 2008: 146); в обеих повестях обнаруживается и сходство более конкретных мотивов: зависимость женского персонажа от сверхъестественных сил, связь инфернального персонажа (графа и Штосса, соответственно) с темой карт и др. (Турьян 1996: 194—195). Обозначались параллели и с другой повестью Одоевского — «Сильфидой» (1837; Юдакова 2008: 129–133). Существует некоторая параллель между описанием психологического состояния Лугина и «Письмами к Ростопчиной» Одоевского, печатавшимся в 1839 г. в «Отечественных записках» (Вацуро 2008: 158–159). Однако, по мнению В. Э. Вацуро,

Лермонтов в большей степени ориентировался на жанр устного анекдота, полемизируя с фантастикой Одоевского и обращаясь к опыту Пушкина (Вацуро 2008: 157; Морозов 1983: 189—190). Так, несмотря на многочисленные сходства между Лугиным и персонажем «Сильфиды», тип конфликта и идеологическое содержание повестей существенно различаются (Нейман 1967: 23).

Как и в «Герое нашего времени», элементы пушкинской поэтики используются в «Штоссе» довольно широко. Так, Лермонтов мог держать в памяти отрывок «Гости съезжались на дачу...» (опубл. в 1839 г.), давая женскому персонажу фамилию Минская и воспроизводя пушкинскую модель отношений между персонажами (Вацуро 2008: 156). Устойчивы ассоциации и с «Пиковой дамой». «Фабула повести о Лугине свидетельствует о сильном впечатлении, произведенном на Лермонтова „Пиковой Дамой“: Лугин, как и Германн, ведет азартную игру и все проигрывает; Лугин, как в Германн, имеет дело с мертвецами; Лугин, как и Германн, идет навстречу своей гибели; Лугин, как и Германн, наконец, действует под влиянием поработившей его страсти» (Черняев 1901), «обоих героев азартная игра доводит до сумасшествия» (Семенов 1914: 220). Подробнее см.: Голосовкер 1991: 61–63.

Стремление увидеть в творческом развитии Лермонтова последовательный «путь к реализму» и «натуральной школе» обусловило обилие трактовок повести, как пародийного, антиромантического текста (см. напр.: Лермонтов 1954–1957: VI, 669–670; Герштейн 1986: 100; Жук 1971: 231; Слащев 1958: 139; Mersereau 1962: 280–295; Ingham 1974: 256–260). Однако существует и иная, более взвешенная позиция, согласно которой пародийные элементы хорошо согласуются с принципами романтической иронии: так, по мысли В. Э. Вацуро, иронические смыслы призваны усилить драматическое напряжение текста и придать ему многозначность и многоплановость (Вацуро 2008: 165–166, 169). В то же время, ряд описаний в «Штоссе» отсылает к френетической словесности, наследие которой частично использовала русская «натуральная школа». В целом, лермонтовскую повесть можно оценивать, как претекст того «фантастического реализма», который станет одним из наиболее представительных литературных направлений в 1840-х гг. (Чистова 1978: 122).

Неоднократно обсуждалась проблема завершенности / незавершенности (законченности / незаконченности) повести. Обзор мнений по этому вопросу см.: Кривонос 2010: 108–118; Заславский 2010: 52–59. Гипотетическая реконструкция сюжета была произведена О. Б. Заславским (1993: 109–133).

С. 271. *У графа В... был музыкальный вечер.* — Имеется в виду аристократический салон графа М. Ю. Виельгорского и его жены. Дом Виельгорского находился на Михайловской площади на пересечении с Итальянской улицей (Пл. Искусств, 4/6). В рукописи первоначально указывалась и дата этого музыкального вечера — «17 сентября 1839 года».

...новоприезжая певица... — По-видимому, имеется в виду Сабина Гейнефехтер, гастролировавшая в это время в Петербурге и исполнявшая романсы Шуберта. См. информацию о выступлениях в: Северная пчела. 1840. № 238. 21 октября; № 266. 23 ноября; № 271. 28 ноября.

С. 271. *На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель.* — Вензель здесь — знаки с инициалами императрицы, которые давались фрейлинам. Смирнова до замужества была фрейлиной императрицы Марии Федоровны (1826–1828), а после ее смерти — Александры Федоровны (1828–1832), супруги Николая I.

...вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми. — Ср. в «Письмах к Ростопчиной» Одоевского: «Так, например, одержимому желтухою все предметы кажутся желтыми» (Одоевский 1839: I, 5).

С. 272. *...На них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.* — Лермонтов имеет в виду прежде всего Гете и Байрона. Эти строки близки к следующему отрывку хорошо известной поэту «Исповеди сына века» А. де Мюссе: «...два поэта, два величайших после Наполеона гения нашего века, собрали воедино все элементы тоски и скорби, рассеянные во вселенной». Речь шла о Гете с его «Вертером» и «Фаустом» («самом мрачном из всех человеческих образов») и Байроне, который «ответил ему криком боли» (Мюссе 1957: II, 12).

С. 273. *...балладу Шуберта на слова Гете: «Лесной царь».* — Баллада «Лесной царь» («Erlkönig», 1782) разрабатывает мотив утраты дорогого предмета (ребенка) из-за вмешательства сверхъестественной силы. Этот мотив был использован О. Б. Заславским в целях реконструкции сюжета повести (Заславский 1993: 115–116) и анализа прагматической функции «Штосса» как читаемого текста, частично исчезающего из тетради (Заславский 2010: 54–56). И. С. Юхнова проецирует конфликт точек зрения в балладе (сын — отец) на различия в восприятии необычных явлений Лугиным и Минской (Юхнова 2001: 75). А. Глассе, в свою очередь, анализирует место песни Ф. Шуберта, впервые представленной в 1815 г., в сюжетной канве «Штосса» (Глассэ 2007: 133–138), отмечая, что именно исполнение этой баллады убеждает Лугина посетить Столярный переулок.

С. 274. *Столярный? — сказал мальчик, — а вот идите прямо...* — Топография «Штосса» достаточно запутанна, поскольку в тексте содержатся некоторые несоответствия. Вторая глава начинается с того, что Лугин переходит через Кокушкин мост по направлению к Казанскому острову. На его вопрос о местонахождении Столярного переулка (который в этот момент находится прямо перед ним) извозчик ничего не отвечает, что вызывает у Лугина сомнения в существовании этого переулка. После этого Лугин «сошел с моста» и обратился с вопросом к мальчику. Указания мальчика были бы верны, если бы он и Лугин находились на углу Екатерининского канала (канала Грибоедова) и Казначейской улицы (до 1882 г. Малая Мещанская). Ю. Раков списывал это на неточность Лермонтова (Раков 1974: 99), предполагая, что, «сойдя с моста», Лугин мог немного пройти налево по каналу Грибоедова, и, уже приблизившись к его пересечению с Казначейской улицей, задать вопрос мальчику (см. также: Тихомиров 1996: 235).

Так он добрался почти до конца переулка... — Выйдя обратно к Кокушкину мосту, с которого он за некоторое время до этого спустился, Лугин на противоположной стороне увидел дом, который и привлек его внимание (угловой дом с

воротами, № 69 по каналу Грибоедова / № 18 по Столярному переулку). Этот дом (принадлежавший купцу Зверкову) фигурирует в «Записках сумасшедшего» Гоголя (1835) .

С. 274. *...и увидал над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи.* — Возможно, обыгрывание мотива вывески со стершейся надписью, встречающегося в «Живописце» Одоевского (1839).

С. 276. *... портрет, изображающий человека лет сорока в бухарском халате.* — Принадлежность старика к восточной культуре дает отсылку к творчеству Гоголя, многие персонажи которого также наделялись соответствующими чертами. Так, Петромихали из первой редакции «Портрета» был то ли грек, то ли армянин, то ли молдаванин с яркой южной внешностью и носил азиатское платье. Отчетливая ориентированность Лугина на европейский культурный опыт, по-видимому, была противопоставлена восточному облику старика (Заславский 1993: 128–129).

С. 279. *За дверьми послышался шорох...* — Вацуро отмечал параллелизм этой сцены и отрывка из первого письма Одоевского к Ростопчиной, в котором описывается столкновение с необъяснимым явлением: «Вдруг сзади меня послышался шелест шагов; сначала я подумал, что проходит кто-нибудь из домашних, и не обратил на это внимания; но шелест продолжался; он походил на медленное шарканье больного человека; словом, это были точь-в-точь такие шаги, каких можно ожидать от привидения» (Одоевский 1839: I, 3). Вацуро возводил этот мотив к Пушкину и Гофману (Вацуро 2008: 163, 173).

... серые, мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрели прямо без цели. — Ср. описание старухи в «Вадиме» (с. 44): глаза ее — «два серые кружка, прыгающие в узких щелях, обведенных красными каймами» (отмечено в: Вацуро 2008: 164).

...вся его фигура изменялась ежеминутно... — Таким же изменениям подвергался принц пиявок в «Повелителе блох» Гофмана и призрак в «Саламандре» Одоевского (Вацуро 2008: 164).

Не угодно ли, я вам промечу штосс? — Тема карточной игры в литературе была с конца XVIII века в высшей степени популярна (ср. «Пиковая дама», 1834), в том числе мотив игры с потусторонними силами (ср. «Пропавшая грамота», 1831) (подробнее см.: Лотман 1992: 389–415). Сам Лермонтов также неоднократно обращался к ней («Фаталист», «Тамбовская казначейша», «Маскарад»). Язык персонажа, используемый в этом отрывке (включая ключевой для повести вопрос «что-с?»), характерен для мелкого чиновника (Нейман 1967: 21).

С. 281. *В эту минуту он почувствовал возле себя...*— Ср. пассаж из «Княгини Лиговской»: «...вдруг ему послышался шорох, подобный легким шагам, шуму платья, или движению листа бумаги... хотя он не верил привидениям... но вздрогнул, быстро поднял голову — и увидел перед собою в сумраке что<-то> белое и, казалось, воздушное... с минуту он не знал, на что подумать, так далеко были его мысли... если не от мира, то по крайней мере от этой комнаты» (с. 98). В этом случае «призраком» оказывается сестра Печорина Варенька (отмечено в: Голосовкер 1991: 54).

То было чудное и божественное виденье... — См. в «Как часто, пестрою толпою окружен...» (1840; Т. 1. С. 311): «Люблю мечты моей созданье»; в стихотворении

«Из-под таинственной холодной полумаски…» (1841; Т. 1. С. 336): «И создал я тогда в моем воображенье / По легким признакам красавицу мою…» — см.: Удодов 1973: 649).

С. 282. *Надо было на что-нибудь решиться. Он решился.* — Ср. в «Фаталисте»: «Между тем надо было на что-то решиться» (с. 264).

Лит.: ЛЭ 1981: 627; Прокопенко 1965: 171–173; Уразаева 1978a: 3–12; Уразаева 1978b; Чистова 1978; 116–122; Морозов 1983: 189–196; Мусий 1989: 108–109; Белова 1996: 13–29; Митчина 1997: 8–11; Vickery 2001: 382–386; Щеблыкин 2004: 120–127; Таборисская 2005: 97–106; Золотарев: 185–192; Зотов, Ефимов 2009: 65–77; Кривонос 2010: 108–118; Мещерякова 2010: 142–143; Вайскопф 2010: 585–590.

ПРИЛОЖЕНИЯ

496. Панорама Москвы

Автограф неизвестен.

Копия: ОР РНБ. Ф. 429. № 7. Л. 1–4 об. – авторизованная, после текста, написанного писарским почерком, подпись: «Юнкер Л. Г. Гусарского Полка Лермантов». На Л. 3 карандашом подчеркнуто выражение «прямо против его дверей кипит грязная толпа» и на полях карандашом помета: «дурная картина».

Печатается по авторизованной копии.

Датируется ноябрем 1832 — ноябрем 1834 г. — по времени обучения Лермонтова в Юнкерской школе. Если принять атрибуцию пометы на л. 3 В. Т. Плаксину, то верхнюю дату интервала надо передвинуть на январь 1834 г., когда Плаксин начал преподавать словесность.

Впервые: Лермонтов 1889–1891: V, 435–438.

«Панорама Москвы» — учебное сочинение, выполненное, видимо, по заданию В. Т. Плаксина, преподавателя русской словесности в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В ученической тетради Лермонтова, озаглавленной «Лекции из военного слова», имеется конспект лекций по теории словесности В. Т. Плаксина, где большое внимание обращено на «описательные сочинения» и детально разработаны приемы и планы «прозаических описаний» (это позволяет предположительно атрибутировать оценочную помету на рукописи Плаксину). Выполняя практическое задание, Лермонтов создает небольшой компилятивный очерк, за холодными риторическими оборотами которого, тем не менее, чувствуется эмоциональное отношение юного поэта к недавно покинутому городу (ср. панегирик Москве в поэме «Сашка» — Т. 2. С. 289–290). Слова «Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке… нет! у нее есть своя душа, своя жизнь» звучат как прямой спор с рассуждением надутого петербургского дипломата в романе «Княгиня Лиговская» (1836): «Всякий русский должен любить Петербург <…> Москва только великолепный памятник, пышная и безмолвная гробница минувшего, здесь <в Петербурге> жизнь, здесь наши надежды…» (с. 124). Роман связан с «Панорамой…» и

деталями описания Симонова монастыря — в частности, в очерке упоминается платформа (смотровая площадка), откуда Жорж Печорин и Верочка смотрят на окрестности (с. 120).

Приемы панорамного изображения городского ландшафта с высокой точки к этому времени широко использовались и в литературе, и в визуальных искусствах (в том числе в оптических зрелищах). Однако можно предположить, что общий замысел своей панорамы, данной с колокольни Ивана Великого — наивысшей точки Москвы — Лермонтов заимствовал из недавно прогремевшего романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831), где дана историческая панорама Парижа с высоты башен собора Нотр-Дам (гл. «Париж с птичьего полета»).

В настоящем издании не комментируются исторические и архитектурные реалии (подобные данные доступны в справочных изданиях и на сайтах, посвященных истории Москвы).

497–521. Планы и наброски

Среди рукописей Лермонтова сохранилось около тридцати отрывочных заметок, представляющих собой либо планы задуманных произведений, либо первоначальные их наброски. В некоторых случаях это краткое изложение задуманного сюжета (например, план трагедии «Отец с дочерью...», «При дворе князя Владимира...», «Имя героя Мстислав...»), иногда отрывочные замечания («Племя на Кавказе», «В Америке...» и др.). Не всегда удается однозначно установить жанр задуманного произведения, не всегда ясны и сюжетные перспективы того или иного наброска. Из помещенных в данном томе 25 записей полностью или частично нашли свое воплощение в творчестве писателя только пять.

497. Сюжет трагедии («Отец с дочерью...»)

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 6. Тетр. 6. Л. 11 — беловой с правкой, в тетради 6.
Печатается по автографу.
Датируется летом 1830 г. по положению в тетради 6, озаглавленной «Разные стихотворения (1830 год)»; датированные записи в ней относятся к июлю–августу 1830 г. (подробнее см. в Преамбуле (п. 2.2.3) к комментарию в 1-м томе наст. изд. – Т. 1. С. 388).
Впервые: Лермонтов 1880b: 315.

Наброски сюжета представляют собой еще один пример разработки разбойничьей темы, популярной в творчестве молодого Лермонтова — ср., например, стихотворение «Атаман» (1831; Т. 1. № 202), поэму «Преступник» (1829; Т. 2. № 454), где в разбойничий сюжет так же, как в комментируемом наброске, включен мотив запоздалого родственного узнавания (подельники главного героя-преступника убивают его отца, и мачеху — и герой с ужасом опознает их тела), а также разбойничьи мотивы в <«Вадиме»> (1832–1834; № 489). Интерес Лермон-

това к этой теме мог быть обусловлен как фольклорными, так и литературными источниками — ср. богатую европейскую традицию, начиная с «Разбойников» Ф. Шиллера и заканчивая романами В. Скотта («Роб Рой», «Айвенго»), а также русские вариации разбойничьих сюжетов в балладе Пушкина «Жених» (опубл.: МВ. 1827. Ч. IV. № 13. С. 3–10), романе М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829).

Лит.: Эйхенбаум 1961: 149–150; Германов 1964: 103–104.

498. Сюжет трагедии («В Америке...»).

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 6. Тетр. 6. Л. 12 об. — в тетради 6.
Печатается по автографу.
Датируется летом 1830 г. по положению в тетради 6, озаглавленной «Разные стихотворения (1830 год)»; датированные записи в ней относятся к июлю–августу 1830 г. (подробнее см. в Преамбуле (п. 2.2.3) к комментарию в 1-м томе наст. изд. — Т. 1. С. 388).
Впервые: ОЗ. 1859. Т. 127. № 11. Отд. 1. С. 249 (текст с неточностями).

В 1830 г. в связи с деятельностью Симона Боливара, возглавившего борьбу южноамериканских колоний за независимость, в печати появилось много материалов о восстаниях в испанских владениях в Южной Америке. Вероятно, это навело Лермонтова на мысль создать политическую трагедию на этом материале. Кто-то подсказал Лермонтову как образец повесть Ф. Шатобриана «Атала, или Любовь двух диких в пустыне» (1801), которую Лермонтов, видимо, в то время не читал, поскольку не принял во внимание, что ее действие происходит не в Южной, а в Северной Америке, и никакого осуждения деспотизма в ней нет, а только христианские идеи смирения и самоограничения.

Лит.: Эйхенбаум 1961: 152–154; Германов 1964: 104–106.

499. <«Прежде от матерей и отцов...»>

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 6. Тетр. 6. Л. 14 об. — в тетради 6.
Печатается по автографу.
Датируется летом 1830 г. по положению в тетради 6, озаглавленной «Разные стихотворения (1830 год)»; датированные записи в ней относятся к июлю–августу 1830 г. (подробнее см. в Преамбуле (п. 2.2.3) к комментарию в 1-м томе наст. изд. – Т. 1. С. 388).
Впервые: Лермонтов 1873: II, 499.

500. Сюжет трагедии («Молодой человек в России...»)

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 6. Тетр. 6. Л. 22 об. — в тетради 6.
Печатается по автографу.
Датируется летом 1830 г. по положению в тетради 6, озаглавленной «Разные стихотворения (1830 год)»; датированные записи в ней относятся к июлю–августу 1830 г. (подробнее см. в Преамбуле (п. 2.2.3) к комментарию в 1-м томе наст. изд. — Т. 1. С. 388).
Впервые: ОЗ. 1859. Т. 127. № 11. Отд. 1. С. 249 (текст с неточностями); Лермонтов 1873: II, 497 (полный текст).

После высказывания, в измененном виде вошедшего впоследствии в драму «Испанцы»: «Благородные для того не сближаются с простым народом, что боятся, дабы не увидели, что они еще хуже его» (см.: Т. 3. С. 15), Лермонтов записывает сюжет из современной русской жизни. Героем трагедии Лермонтов задумал сделать интеллигента-разночинца, что для 1830 г. было шагом двольно смелым (хотя возможное развитие сюжета не обязательно было протестным: проблематика «униженных и оскорбленных» тоже постепенно входила в литературный обиход). Слова «вояжировал на казенный счет», трактуются обычно, как эвфемизм ссылки, «учился в университете» — значит не кончил, т. е., вероятно, был исключен. Речь идет, возможно, о студенте-разночинце, у которого возник конфликт с университетским начальством политического или дисциплинарного толка.

Лит.: Эйхенбаум 1961: 155–156, Удодов 1973: 81–82.

501. Эпитафия плодовитого писаки

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 7. Л. 1 — в тетради 7.
Печатается по автографу.
Датируется июлем–августом 1830 г. по положению в тетради 7, содержащей тексты, помеченные июльскими датами 1830 г. (подробнее см. в Преамбуле (п. 2.2.3) к комментарию в 1-м томе наст. изд. — Т. 1. С. 388–389).
Впервые: РМ. 1882. № 2. С. 172.

Запись, вероятно, представляет собой формулу задуманной эпиграммы.

502. <«В следующей сатире всех разругать...»>

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 7. Л. 2 — в тетради 7.
Печатается по автографу.
Датируется июлем–августом 1830 г. по положению в тетради 7, содержащей тексты, помеченные июльскими датами 1830 г. (подробнее см. в Преамбуле (п. 2.2.3) к комментарию в 1-м томе наст. изд. — Т. 1. С. 388–389). Записи предшествует автограф стихотворения «1830 год. Июля 15-го (Москва)» (№ 114; Л. 1 об.–2), однако «дневниковая» дата, вынесенная в его заглавие, не обязательно прямо относится ко времени написания стихотворения, хотя, очевидно, маркирует верхнюю границу датировки (terminus post quem).
Впервые: Лермонтов 1873: II, 497.

Заметка предшествует в тетради стихотворению «Булевар» (Т. 1. № 115). Возможно, это стихотворение и есть осуществление обозначенного в записи замысла. С другой стороны, в рукописи после текста «Булевара» следует надпись: «продолжение впредь».

503. <«Написать записки молодого монаха...»>

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 10. Л. 38 об. — в тетради 10.
Печатается по автографу.
Датируется летом 1831 г. по положению в тетради 10, содержащей автограф драмы «Странный человек» (см.: Т. 3. № 486), на обложке которой (л. 1) — за-

главие и датирующая запись рукой Лермонтова: «Странный человек. Романтическая драма. 1831 года кончена 17 июля. Москва».
Впервые: ОЗ. 1859. Т. 127. № 11. Отд. 1. С. 258.

Монастырская тема, связанная с судьбой человека, гонимого обществом, нашла многократное воплощение в творчестве Лермонтова («Боярин Орша» — Т. 2. № 469; «Мцыри» — Т. 2. № 476; «Оставленная пустынь предо мной...» — 1830; Т. 1. № 93).

504. <«Написать шутливую поэму...»>

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 11. Л. 4 — в тетради 11.
Печатается по автографу.
Датируется началом августа 1831 г. по положению автографа в тетради 11 (на л. 3 — датирующая помета «7 августа»). Подробнее об истории заполнения тетради 11 см.: Т. 1. С. 389–390 (Преамбула, п. 2.2.4).
Впервые: ОЗ. 1859. Т. 127. № 11. Отд. 1. С. 258.

Жанр шутливой богатырской поэмы был популярен в конце XVIII и самом начале XIX вв. В некоторой зависимости от этой традиции находилась и поэма Пушкина «Руслан и Людмила», на которую Лермонтов мог ориентироваться в своем замысле.

505. <«Memor: перевесть в прозе: The Dream of Lord Byron...»>

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 11. Л. 4 — в тетради 11.
Печатается по автографу.
Датируется началом августа 1831 г. по положению автографа в тетради 11 (на л. 3 — датирующая помета «7 августа»). Подробнее об истории заполнения тетради 11 см.: Т. 1. С. 389–390 (Преамбула, п. 2.2.4).
Впервые: ОЗ. 1859. Т. 127. № 11. Отд. 1. С. 258.

См. комментарий к драме «Странный человек» (Т3. С. 554, 557). Мотивы этого поизведения Байрона отразились в некоторых лирических стихотворениях Лермонтова (см.: Т. 1. № 70, 153).

С. 290. ...*miss Alexandrine* — Александра Михайловна Верещагина (см. примеч. к № 543, 549).

506. <«Memor: написать трагедию: Марий, из Плутарха...»>

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 11. Л. 7 — в тетради 11.
Печатается по автографу.
Датируется августом 1831 г. по положению автографа в тетради 11 (на л. 3 — датирующая помета «7 августа»). Подробнее об истории заполнения тетради 11 см.: Т. 1. С. 389–390 (Преамбула, п. 2.2.4).
Впервые: ОЗ. 1859. Т. 127. № 11. Отд. 1. С. 258.

Из всех жизнеописаний Плутарха (ок. 46–120 гг. н. э.) судьба Гая (Кая) Мария, римского государственного деятеля и военачальника (II до н. э.), привлекла Лермонтова своей психологической сложностью. Сначала мудрость полководца и успешные боевые действия заслуживают ему признание и любовь народа. Но после

того как он был пять раз избран консулом, опьяненный тщеславием, Марий начал бороться за власть жестокими и неблаговидными мерами, потерял популярность и поддержку римлян и должен был бежать и скрываться. Источником замысла, по-видимому, послужило издание: Плутарховы сравнительные жизнеописания славных мужей / Пер. с греч. С. Дестунис. СПб., 1818. Ч. 6. С. 110–238 (Лермонтову, впрочем, мог читать Плутарх и на одном из трех европейских языков).

Явление тени умершего отца сыну Мария, вероятно, было подсказано Лермонтову сценой из «Гамлета». «Вступаясь за честь Шекспира» в письме М. А. Шан-Гирей, Лермонтов особенно выделяет сцену, где тень короля является, видимая одному Гамлету. «Как глубоко!» — восклицает Лермонтов (см. № 541). У Плутарха такого эпизода нет. Лермонтов собирался использовать этот мотив из «Гамлета» для заключительной сцены.

Отмечалось, что в глазах современников Лермонтова в судьбе Мария, плебея по происхождению, поднявшегося до высших ступеней власти и славы и все потерявшего в конце жизни, виделось некоторое сходство с судьбой Наполеона.

С. 291. *Силла* — римский диктатор Луциний Корнелий Феликс Сулла (138–78 гг. до н. э.). Написание имени его как *Силла* Лермонтов мог встретить в русских переводах.

Цинна — Люций Корнелий Цинна (ум. в 84 г. до н. э.), консул.

Антоний — ритор, дед триумвира Марка Антония, упомянут Плутархом.

507. <«Memor: прибавить к „Странному человеку“...»>

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 11. Л. 7 — беловой с правкой, в тетради 11; текст затем весь перечеркнут.
Печатается по автографу.
Датируется августом 1831 г. по положению автографа в тетради 11. Подробнее об истории заполнения тетради 11 см.: Т. 1. С. 389–390 (Преамбула, п. 2.2.4).
Впервые: Лермонтов 1863: I, 664.

См. комментарий к драме «Странный человек» (Т. 3. С. 550).

508. <«При дворе князя Владимира...»>

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 11. Л. 7 об.–9 — в тетради 11. Текст зачеркнут.
Печатается по автографу.
Датируется августом — началом сентября 1831 г. по положению автографа в тетради 11. Подробнее об истории заполнения тетради 11 см.: Т. 1. С. 389–390 (Преамбула, п. 2.2.4).
Впервые: Лермонтов 1891а: IV, 292–294.

Указание на двор князя Владимира, по-видимому, относит замысел к традиции волшебной богатырской сказки-поэмы, возможно, к ее поздним модификациям (ср., например, «Руслан и Людмила» Пушкина), в которых заметно влияние западноевропейских балладных сюжетов и романтических настроений.

509. <«Написать поэму „Ангел смерти“...»>

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 11. Л. 9 — в тетради 11.
Печатается по автографу.
Датируется августом — началом сентября 1831 г. по положению автографа в тетради 11. Подробнее об истории заполнения тетради 11 см.: Т. 1. С. 389–390 (Преамбула, п. 2.2.4).
Впервые: ОЗ. 1859. Т. 127. № 11. Отд. 1. С. 258.

Запись непосредственно предшествует последовательной разработке этого сюжета — первоначальный автограф поэмы «Ангел смерти» (Т. 2. № 462) располагается в той же тетради на Л. 10 об.–19. Беловая рукопись поэмы, подаренная Лермонтовым А. М. Верещагиной, датирована на обложке: «1831 года Сентября 4-го дня».

510. <«Memor: написать длинную сатирическую поэму...»>

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 11. Л. 18 об. — в тетради 11.
Печатается по автографу.
Датируется сентябрем 1831 г. по положению автографа в тетради 11; на предыдущих листах — черновой автограф поэмы «Ангел смерти», оконченной, согласно дате в беловой рукописи, 4 сентября 1831 г. Подробнее об истории заполнения тетради 11 см.: Т. 1. С. 389–390 (Преамбула, п. 2.2.4).
Впервые: Лермонтов 1873: II, 508.

Возможно, в какой-то мере этот замысел должен был реализоваться в поэме «Сказка для детей» (Т. 2. № 477).

511. <«(Ecrire une tragédie...)»>

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 11. Л. 26 об. — в тетради 11.
Печатается по автографу.
Датируется октябрем–ноябрем 1831 г. по расположению автографа в тетради 11. Подробнее об истории заполнения тетради 11 см.: Т. 1. С. 389–390 (Преамбула, п. 2.2.4).
Впервые: Лермонтов 1873: II, 500.

Пер.: Написать трагедию Нерон (*фр.*). Римский император Нерона (37–68 гг.) был известен своей жестокостью, сумасбродством, преступлениями и вынужденным самоубийством. Какой именно сюжет собирался избрать Лермонтов — неизвестно.

Лит.: Германов 1964: 106–107.

512. <«Имя героя Мстислав...»>

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. Тетр. 11. Л. 31 — в тетради 11.
Печатается по автографу.
Датируется декабрем 1831 г. по расположению автографа в тетради 11 (на л. 30 об. — запись Лермонтова: «2-го декабря: Св. Варвары...», см. № 537).
Впервые: РМ. 1881. Кн. 12. С. 19–20.

Обращаясь к русской истории, Лермонтов избирает сюжет, связанный с борьбой народа за независимость. Мстислав — имя одного из русских князей; он вместе со своим братом Всеволодом до последней возможности оборонял Владимир в 1238 г. В черновом варианте против первой строки надпись: «Всеволод». Возможно, Лермонтов колебался, выбирая имя своему герою. Замысел этого сюжета, видимо, возник под влиянием чтения «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Но герой Лермонтова задуман независимо от исторических событий, ему присущи черты героико-романтического персонажа.

Строки Карамзина в «Истории»: «...знаменитые Россияне простились с миром, с жизнью, но, стоя на праге смерти, еще молили Небо о спасении России, да не погибнет навеки ее любезное имя и слава» (Изд. 2-е. СПб., 1818. Т. 3. С. 283) — нашли отражение не только в наброске сюжета (ср. в наброске: «Мстислав три ночи молится на кургане, чтоб не погибло любезное имя Россия»), но и послужили основой создания стихотворения «Отрывок» («Три ночи я провел без сна — в тоске...»; Т. 1. № 239; первоначальное название «Монолог»). Написанное от лица Мстислава, оно должно было, по-видимому, войти в поэму о нем. По мысли Б. М. Эйхенбаума, это «должна была получиться гражданская (в декабристском смысле) трагедия, направленная против современного „холопства", против стремления к ничтожеству» (Эйхенбаум 1961: 193).

Сюжет стихотворения «Баллада» («В избушке позднею порою...»; Т. 1. № 240) намечен в приписке к плану «Имя героя Мстислав...»: «Каким образом умирает Мстислав. Он израненный лежит в хижине, хозяйка-крестьянка баюкает ребенка песнью: *Что за пыль пылит...* Входит муж ее израненный». Возможно, сюда же примыкает и «Песнь барда», в которой речь идет о том, что «...князь земли родной / Приказу ханскому внимал...» (Т. 1. С. 114).

Набросок связан с записью № 513, в которой та же тема представлена в подробном плане задуманной, но не осуществленной Лермонтовым исторической драмы. Действие драмы могло относиться к 1238 г. — времени взятия татарами города Владимира.

Высказывалось также предположение, что Лермонтов имел в виду битву на реке Калке. Вероятнее всего, замысел Лермонтова не был связан с конкретными событиями и историческими лицами. Катенин посвятил битве при Калке стихотворную повесть «Мстислав Мстиславич» (1819). Катенин и Лермонтов, по-видимому, пользовались одним и тем же источником. Описывая в «Истории Государства Российского» битву при Калке, Карамзин в числе предводителей русского войска, кроме князя Мстислава Галицкого (герой поэмы Катенина), упоминает еще нескольких Мстиславов — Киевского, Черниговского и др. В примечаниях к третьему тому истории Карамзин приводит сообщение Татищева о том, «что Михаил, сын Всеволода Чермного, уехал в Новгород, а оттуда в Владимир к Георгию...» Из контаминации многочисленных Мстиславов с Михаилом, сыном Всеволода Чермного, вероятно, и возник лермонтовский Мстислав Черный. По черновику видно, что Лермонтов колебался — не назвать ли своего героя Всеволодом.

В поэме Катенина израненного князя Мстислава приближенные везут в ладье, и по дороге он оплакивает унижение родины. Вовсе не обязательно, чтобы

Лермонтов подражал Катенину. Возможно, что он в 1831 году даже не знал поэму «Мстислав Мстиславич», напечатанную в 1820 году в «Сыне отечества» и только в 1832 году появившуюся в сборнике стихотворений Катенина.

С. 294. *Что за пыль пылит...* — сокращенная первая строка народной песни, по-видимому, записанной и обработанной самим Лермонтовым (см.: Т. 1. С. 527).

Юный князь Василий утонул в крови во время битвы — ср.: «Юный князь Василий пропал без вести: говорили, что он утонул в крови» (Карамзин Н. М. История государства Российского. Изд. 2-е. СПб., 1818. Т. 3. С. 288).

Лит.: Гинзбург 1940: 54–55; Эйхенбаум 1961: 192–193; Вацуро 2008: 109–110, 359; Москвин 2008: 143–147.

513. Сюжет («Молодежь, разговаривают...»)

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 4. Л. 13 об.—14 — в тетради 4.
Печатается по автографу.
Датируется концом 1831 г. по расположению автографа в тетради 4; на л. 14 об.–17 находятся автографы <«Новогодних мадригалов и эпиграмм»>, сочиненных для маскарада в Благородном собрании накануне нового 1832 г. Подробнее об истории заполнения тетради 4 см.: Т. 1. С. 390 (Преамбула, п. 2.2.4).
Впервые: ОЗ. 1859. Т. 125. № 7. Отд. 1. С. 51–53.

Текст представляет собой дальнейшую разработку сюжета «Имя героя Мстислав...» (№ 512). По-видимому, предполагалось написать драму из пяти актов и 10 сцен. Некоторые мотивы «Сюжета» обнаруживаются в романе <«Вадим»> (№ 489), где также возникает конфликт между братом и сестрой (в том и другом случае ее зовут Ольгой), которая любит врага своего брата и уходит к нему. См. также: Москвин 2008: 143–147.

514. Программа

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 4. Л. 14 об. — в тетради 4.
Печатается по автографу.
Датируется концом 1831 г. по расположению автографа в тетради 4; на следующих л. 14 об.–17 находятся автографы <«Новогодних мадригалов и эпиграмм»>, сочиненных для маскарада в Благородном собрании накануне нового 1832 г. Подробнее об истории заполнения тетради 4 см.: Т. 1. С. 390 (Преамбула, п. 2.2.4).
Впервые: РМ. 1881. Кн. 12. С. 24.

Вероятно, программа романтической поэмы с характерной «вершинной» композицией и типичным для юного Лермонтова сюжетом о безответной любви и вынужденном изгнанничестве. План, видимо, отражает последовательность опорных тем и образов будущей поэмы.

515. Племя на Кавказе

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 4. Л. 19 — в тетради 4, текст зачеркнут.
Печатается по автографу.

Датируется началом 1832 г. по расположению в тетради 4; на предыдущих л. 14 об.–17 находятся автографы <«Новогодних мадригалов и эпиграмм»>, сочиненных для маскарада в Благородном собрании накануне нового 1832 г. Подробнее об истории заполнения тетради 11 см.: Т. 1. С. 390 (Преамбула, п. 2.2.4).
Впервые: ОЗ. 1859. Т. 125. № 7. Отд. 1. С. 53 (под заглавием «Программа поэмы на Кавказе»).

516. <«Монах впоследствии сидит у окна...»>

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 4. Л. 19 — в тетради 4, текст зачеркнут.
Печатается по автографу.
Датируется началом 1832 г. по расположению в тетради 4; на предыдущих л. 14 об.–17 находятся автографы <«Новогодних мадригалов и эпиграмм»>, сочиненных для маскарада в Благородном собрании накануне нового 1832 г. Подробнее об истории заполнения тетради 4 см.: Т. 1. С. 390 (Преамбула, п. 2.2.4).
Впервые: РМ. 1881. № 12. С. 24.

517. «Он угрожает ей гибелью отца...»

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 4. Л. 22 об. — в тетради 4.
Печатается по автографу.
Датируется началом 1832 г. по расположению в тетради 4; на предыдущих л. 14 об.–17 находятся автографы <«Новогодних мадригалов и эпиграмм»>, сочиненных для маскарада в Благородном собрании накануне нового 1832 г. Подробнее об истории заполнения тетради 4 см.: Т. 1. С. 390 (Преамбула, п. 2.2.4).
Впервые: Лермонтов 1880: 316.

Сюжет о дочери, жертвующей честью ради спасения отца, мог быть подсказан драмой Ф. Шиллера «Коварство и любовь».

518. Демон. Сюжет

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 21а. Л. 9 об. — в Казанской тетради.
Печатается по автографу.
Датируется июнем–серединой августа 1832 г. по положению в Казанской тетради. Авторизованная копия поэмы «Литвинка», расположенная непосредственно перед записью плана, датируется предположительно весной–летом (не позднее начала июля) 1832 г., так как, судя по всему, примыкала к корпусу текстов, отданных Лермонтовым в переписку перед отъездом из Москвы в Петербург в начале июля 1832 г. На том же развороте тетради на л. 10 находится автограф стихотворения «Тростник» (Т. 1. № 302), датируемого не позднее середины августа 1832 г. Подробнее о хронологии заполнения Казанской тетради см.: Т. 1. С. 392–393 (Преамбула, п. 2.2.5).
Впервые: Лермонтов 1891а: IV, 292.

С. 297. *Он в первый раз видит ее спящую. — Он* в данном случае — Демон.

И проч<ее> как прежде. — Лермонтов имеет в виду «Песнь монахини» из третьей редакции поэмы (Т. 3. С. 485).

519. <«Алекс<андр>: у него любовница...»>

Автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445. № 227а. Л. 59 об. — в тетради из Чертковской библиотеки, на обороте листа с автографом стихотворения «Опять народные витии...» (№ 323).
Печатается по автографу.
Предположительно датируется 1834–1836 гг. в соответствии с датировкой стихотворения «Опять народные витии...»..
Впервые: Лермонтов 1873: I, 381 (первая фраза наброска); Лермонтов 1891а: IV, 294—295.

Запись представляет собой подробный план повести или прозаической драмы, в которой Лермонтов предполагал показать социальный по своему характеру конфликт между незнатным и небогатым героем и аристократическим обществом. Та же тема присутствует в заметке «Молодой человек в России...» (№ 500) и в романе «Княгиня Лиговская» (№ 490).

520. <«Я в Тифлисе у Петр. Г. ...»>

Автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445. № 227а. Л. 46 — в тетради из Чертковской библиотеки, на обороте листа — автограф стихотворения «Слышу ли голос твой...» (№ 349).
Печатается по автографу.
Датируется предположительно ноябрем–декабрем 1837 г. по времени реального пребывания Лермонтова в Тифлисе (см. Летопись 2003: 276–277).
Впервые опубликовано: Лермонтов 1873: I, 381 (начало первой фразы); Лермонтов 1891а: IV, 289—290.

План неосуществленного прозаического произведения, по некоторым сюжетным линиям напоминающего «Тамань» (старуха с дочерью; неожиданное нападение, предотвращенное рассказчиком). По убедительному предположению И. Л. Андроникова, под именем «Петр» подразумевается житель Тифлиса, дежурный штаб-офицер Штаба отдельного кавказского корпуса Павел Ефимович Петров-4-й; под инициалом «Г.» — штаб-лекарь тифлисского военного госпиталя Франц Петрович Герарди; «Али» — азербайджанский поэт и ученый Мирза Фатали (Фет-Али) Ахундов; Геург или Ягор Элиаров (Елизаров) — тифлисский оружейный мастер (см.: Андроников 1977: 374–392).

521. <«У России нет прошедшего...»>

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 12. Л. 7 об. (нумерация от задней обложки) — карандашом, затем обведенным чернилами, в Записной книжке, подаренной Лермонтову Одоевским.
Печатается по автографу.
Датируется не ранее 20-х чисел апреля — не позднее начала мая 1841 г. по положению чернового автографа в Записной книжке, подаренной Лермонтову Одоевским (обоснование датировки автографов в Записной книжке см. в преамбуле к комментарию к 1-му тому наст. изд. (Т. 1. С. 385–386) и в примеч. к стихотворению «L'Attente» — Т. 1. № 420).
Впервые: ОЗ. 1844. Т. 32. № 2. Отд. 1. С. 201 (с неточностями).

Вероятно, набросок полемического назначения. Сравнение России (или народа) со спящим богатырем иногда встречается в историософских полемиках 1830–1840-х гг. Герой книжной волшебной сказки Еруслан (Уруслан) Лазаревич, побеждавший всех встречных королей и богатырей, контаминируется у Лермонтова, видимо, с Ильей Муромцем, сидевшим на печи до 33-х лет.

522–526. Прозаические переводы стихотворных текстов

522. Мрак. Тьма

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 8. Л. 3–4 об. — беловой с поправками, в тетради 8.

Печатается по автографу.

Датируется серединой–концом августа 1830 г. по положению автографа в тетради 8, содержащей стихотворения с авторскими датами «1830 года ночью. Августа 28» (Л. 1; «Ночь», № 120) и «1830 года», «26 августа» (Л. 12; «Стансы», № 125). Судя по расположению автографов и цвету чернил, тетрадь была заведена для прозаических переводов, а стихотворения вписывались уже позднее на остававшихся свободными листах, чем и определяется предложенная датировка (подробнее см.: Т. 1. С. 389, Преамбула, п. 2.2.3).

Впервые: Лермонтов 1910–1913: II, 422–423.

Перевод стихотворения Байрона «Тьма» («Darkness», 1816), мотивы которого повторяются в лирике Лермонтова 1830 года (см. стих. «Ночь. I», «Ночь. II» — Т. 1. № 70, 72).

Лит.: ЛЭ 1981: 370–371.

523. The Giaour

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 8. Л. 5–8 — беловой с поправками, в тетради 8.

Печатается по автографу.

Датируется серединой–концом августа 1830 г. по расположению автографа в тетради 8 (обоснование датировки см. в примеч. к № 522).

Впервые: Лермонтов 1910–1913: II, 423–425.

Перевод стихов 1–67, 103–167 и 200–223 поэмы Байрона «Гяур» («The Giaur: A Fragment of a Turkish Tale», 1813), воспроизводящий не сюжетные эпизоды, а описания (зарисовки жизни Востока). Некоторые стихи из «Гяура» Лермонтов впоследствии взял в качестве эпиграфов — к первой части поэмы «Измаил-Бей» и к главам 2 и 3 «Боярина Орши» — см.: Т. 2. С. 139, 265, 276).

Лит.: ЛЭ 1981: 370–371.

524. Napoleon’s Farewell

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 8. Л. 8-9 об.— беловой с поправками, в тетради 8.

Печатается по автографу.

Датируется серединой–концом августа 1830 г. по расположению автографа в тетради 8 (обоснование датировки см. в примеч. к № 522).
Впервые: Лермонтов 1910–1913: II, 425.

Перевод стихотворения Байрона «Прощание Наполеона» («Napoleon's Farewell», 1816); примыкает к стихотвореннииям «наполеоновского цикла» (см. примеч. к стих. «Наполеон», 1829 — Т. 2. № 38). Отдельные мотивы ср. в стих. «С<в>. Елена» (1831; Т. 2. № 199) и «Последнее новоселье» (1841; Т. 2. № 407).

Лит.: ЛЭ 1981: 370–371.

525. Beppo

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 8. Л. 9 об. — беловой, с отдельными поправками, в тетради 8. Над текстом цифра «1», под текстом «2».
Датируется серединой–концом августа 1830 г. по расположению автографа в тетради 8 (обоснование датировки см. в примеч. к № 522).
Впервые: Лермонтов 1910–1913: II, 425.

Перевод первой строфы поэмы Байрона «Беппо». («Beppo: A Venetian story», 1817).

Лит.: ЛЭ 1981: 370–371.

526. (С немецкого) («Я проводил тебя со слезами...»)

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 11. Л. 4 об. — беловой с поправками, в тетради 11; на том же листе, на левом поле переписан и немецкий оригинал.
Печатается по автографу.
Датируется началом августа 1831 г. по положению автографа в тетради 11 (на л. 3 — датирующая помета «7 августа»). Подробнее об истории заполнения тетради 11 см.: Т. 1. С. 389–390 (Преамбула, п. 2.2.4).
Впервые: Лермонтов 1889–1891: I, 183–184.

Перевод первых строф стихотворения И. Т. Гермеса (Hermes Johann Timotheus, 1738–1821) «Я проводил тебя со слезами» («Dir folgen meine Thränen») из его повести «История мисс Фанни Уилкс, почти перевод с английского» («Geschichte der Miss Fanny Wilkes, so good als aus dem Englischen übersetzt“, 1766). Стихотворение Гермеса получило широкое распространение в качестве песни (нередко печаталось в сильно переделанном виде).

Лит.: ЛЭ 1981: 370–371; Фидлер 1893: 142–43.

527–537. Автобиографические заметки.

Здесь печатаются записи Лермонтова, имеющие осознанно автобиографический характер. Бытовые записи, содержащие информацию о текущих делах, встречах и адресах, в данном издании не воспроизводятся.

Большая часть записей 1830 г. связана с чтением книги «Letters and Journals of Lord Byron with Notices of his Life by Th. Moore». Vol. 1. Paris, 1830 («Письма и дневники лорда Байрона с заметками о его жизни Т. Мура». Т. 1. Париж, 1830), которую

Лермонтов читал в этом году внимательно и увлеченно, отмечая сходства в судьбе английского поэта со своей собственной (подробнее см.: Глассе 1979: 92–96).

527. 1830. Замечание

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 5. Л. 13 — беловой, в тетради 5.
Печатается по автографу.
Датируется весной 1830 г. по дате заголовка и положению автографа в тетради 5 — после поэмы «Джюлио» (л. 1–13), вступление к которой датировано Лермонтовым «(1830 года) (великим постом и после)».
Впервые: ОЗ. 1859. Т. 125. № 7. Отд. 1. С. 5.

После *в 1828 году* стояло *в пансионе*. Стихи Лермонтов начал писать еще до поступления в Университетский благородный пансион. Тетрадь с этими ранними стихами Лермонтова хранится в РО ИРЛИ (Ф. 524. Оп. 1. № 2. Тетр. 2). К 1830 г., когда Лермонтов записал свое «Замечание», были заполнены еще две тетради (Ф. 524. Оп. 1. № 3. Тетр. 3 и 4). Байрон в 1807 г. писал в письме Вильяму Банке: «У меня есть большой рукописный том, который может частично впоследствии появиться в печати. В настоящий момент у меня нет ни времени, ни склонности готовить его к изданию» (Byron 1830: 111).

528. <«Музыка моего сердца...»>

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 5. Л. 13 об. — беловой, в тетради 5.
Печатается по автографу.
Датируется весной 1830 г. по положению автографа в тетради 5 — после поэмы «Джюлио» (л. 1–13), вступление к которой датировано Лермонтовым «(1830 года) (великим постом и после)».
Впервые: Лермонтов 1873: II, 497.

Лермонтов не только играл на скрипке и фортепиано, что подтверждается Висковатовым (1891: 40), но и пел арии из опер. В 1833 г. А. М. Верещагина в письме к Лермонтову упоминает о его музыкальных импровизациях (с. 610), а в 1835 г. спрашивает: «А ваша музыка? Играете ли вы по-прежнему увертюру „Немой из Портичи“, поете ли вы дуэт из „Семирамиды“, столь памятный, поете ли вы его как раньше во все горло и до потери дыхания» (с. 611).

В Университетском благородном пансионе на испытаниях в искусствах Лермонтов играл на скрипке Аллегро из концерта Л. Маурера (МВ. 1830. № 5, 15 янв. С. 212). Как глубоко Лермонтов чувствовал музыку и как глубоко музыкальные впечатления вошли в его жизнь можно судить по замечанию в письме М. А. Лопухиной, что «следовало бы в письмах ставить ноты над словами» (№ 553). См. также запись «Когда я был трех лет...» (№ 530) и приписку к «Записке 1830 года...» (№ 529).

529. Записка 1830 года, 8 июля. Ночь

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 6. Л. 30 об.–31 — беловой, в тетради 6.
Печатается по автографу.

Датируется в соответствии с авторской датой, соответствующей хронологии заполнения тетради 6 (подробнее см.: Т. 1. С. 388; Преамбула, п. 2.2.3).
Впервые: ОЗ. 1859. Т. 125. № 7. Отд. 1. С. 16–17.

«Пятигорские старожилы рассказывают, что <...> Евгения Акимовна Шан-Гирей, долго жившая в Пятигорске, считала, что это была ее мать — Эмилия Александровна, до замужества Клингенберг <...> в детстве ее водили в дом Хастатовых, где она играла с девочками, а мальчик вбегал в комнату, конфузился и убегал. Девочки называли его „Мишель“» (Попов 1954: 13). См. также: Чеченец 1904: 37–38.

Лермонтова не могла не поразить близость описания Байроном его детской любви не только по содержанию, но даже по фразеологии: «Как странно, чтобы я так преданно нежно относился к этой девочке в возрасте, когда я не только не мог испытать страсть, но и не знал значения этого слова... Какого черта все это случилось так рано. У меня еще годы действительно не было сексуальных мыслей, и однако мое страдание, моя любовь к этой девочке были так сильны, что я иногда сомневаюсь, любил ли я действительно когда-нибудь с тех пор» (Byron 1830: 23–24). Размышляя над этим, Лермонтов сделал примечание: «Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. — Я думаю, что в такой душе много музыки». Поэт имеет в виду приведенное Муром замечание: «Альфиери, который сам рано испытал любовь, полагает, что такая ранняя чувствительность — признак души, созданной для изящных искусств» (Byron 1830: 23). Последнюю строчку о музыке Лермонтов прибавил от себя. Это сходство с Байроном нашло отражение и в поэзии Лермонтова: «Как он, в ребячестве пылал уж я душой...» (1830; Т. 1. № 108).

530. 1830 («Когда я был трех лет...»)

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 6. Л. 32 об. — беловой, в тетради 6.
Печатается по автографу.
Датируется летом 1830 г. по положению в тетради 6, озаглавленной «Разные стихотворения (1830 год)»; датированные записи в ней относятся к июлю–августу 1830 г. (подробнее см. в Преамбуле (п. 2.2.3) к комментарию в 1-м томе наст. изд. – Т. 1. С. 388).
Впервые: Лермонтов 1873: II, 498.

Когда умерла мать поэта М. М. Лермонтова (24 февр. 1817 г.), ему еще не было трех лет. Воспоминание о ее песне отразилось в тексте драмы «Странный человек» (сц. 3; Т. 3. С. 192), а также в стихотворении «Кавказ»: «В младенческих летах я мать потерял / Но мнилось, что в розовый вечера час / Та степь повторяла мне памятный глас» (Т. 1. С. 74). С памятью о матери и ее песне связывают и стихотворение «Ангел» (Т. 1. № 225). См. также запись «Музыка моего сердца...» (№ 528).

531. 1830 («Я помню один сон...»)

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 6. Л. 32 об.–33 — беловой, в тетради 6.
Печатается по автографу.

Датируется летом 1830 г. по положению в тетради 6, озаглавленной «Разные стихотворения (1830 год)»; датированные записи в ней относятся к июлю–августу 1830 г. (подробнее см. в Преамбуле (п. 2.2.3) к комментарию в 1-м томе наст. изд. — Т. 1. С. 388).
Впервые: Лермонтов 1873: II, 498.

В некоторых изданиях печатается вместе со следующей заметкой из тетради 6, текст которой вошел в драму «Испанцы» (Т. 3. С. 532)

532. 1830 (мне 15 лет)

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 6. Л. 33 об. — беловой, в тетради 6.
Печатается по автографу.
Датируется летом 1830 г. по положению в тетради 6, озаглавленной «Разные стихотворения (1830 год)»; датированные записи в ней относятся к июлю–августу 1830 г. (подробнее см. в Преамбуле (п. 2.2.3) к комментарию в 1-м томе наст. изд. — Т. 1. С. 388).
Впервые: Лермонтов 1873: II, 498.

Имя девушки, о которой вспоминает Лермонтов, не установлено, но высказывалось предположение, что это то же лицо, которому посвящены драмы «Испанцы» и «Menschen und Leidenschaften» (см. коммент. к этим драмам: Т. 3. С. 537, 542), а также запись «Мое завещание» (№ 534). Здесь Лермонтов, несомненно, уловил «еще одно сходство» с жизнью Байрона, который описывает, как в 12 лет был влюблен в свою двоюродную сестру Маргарет Паркер, бывшую немного старше его. По всей вероятности, Лермонтов вспомнил о своей влюбленности в двоюродную сестру, прочитав этот эпизод в книге Т. Мура (Byron 1830: 17–18). Байрон, так же как и Лермонтов, кончает рассказ об этом словами: «Но я был глуп тогда», но, в отличие от Лермонтова, прибавляет: «...но не намного умнее и теперь». В стихотворении «К***» («Не думай, чтоб я был достоин сожаленья...») Лермонтов писал: «Как он, в ребячестве пылал уж я душой» (Т. 1. С. 107).

533. (1830) («Наша литература так бедна...»)

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 6. Л. 34 — беловой, в тетради 6.
Печатается по автографу.
Датируется летом 1830 г. по положению в тетради 6, озаглавленной «Разные стихотворения (1830 год)»; датированные записи в ней относятся к июлю–августу 1830 г. (подробнее см. в Преамбуле (п. 2.2.3) к комментарию в 1-м томе наст. изд. — Т. 1. С. 388).
Впервые: ОЗ. 1859. Т. 127. № 11. Отд. 1. С. 248.

В записи Лермонтова сказалось знакомство с примечанием Пушкина к первой главе «Евгения Онегина» о балетах Дидло: «Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе» (Пушкин 1937–1959: VI, 191; отмечено: Вацуро 2008: 107).

С. 307. *У меня была мамушкой немка.* — Христина Осиповна Ремер. О ней см.: Висковатов 1891: 17–18.

534. Мое завещание

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 6. Л. 35 — беловой, с поправками, в тетради 6; первоначальное название «Моя эпитафия» зачеркнуто.
Печатается по автографу.
Датируется летом 1830 г. по положению в тетради 6, озаглавленной «Разные стихотворения (1830 год)»; датированные записи в ней относятся к июлю–августу 1830 г. (подробнее см. в Преамбуле (п. 2.2.3) к комментарию в 1-м томе наст. изд. — Т. 1. С. 388).
Впервые: ОЗ. 1859. Т. 127. № 11. Отд. 1. С. 249.

Заметка к стихотворению «Дереву» (Т. 1. № 110). Восходит к стихотворению Байрона «A Fragment», которое Мур приводит в своей книге (Byron 1830: 52): «My epitaph shall be my name alone...» («Одно мое имя будет моей эпитафией...»). Кто такая *А. С.,* не установлено (см. об этом в примеч. к № 532).

535. 1830 («Еще сходство в жизни моей...»)

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 7. Л. 1 — беловой с поправками, в тетради 7.
Печатается по автографу.
Датируется июлем–августом 1830 г. по положению в тетради 7, содержащей тексты, помеченные июльскими датами 1830 г. (подробнее см. в Преамбуле (п. 2.2.3) к комментарию в 1-м томе наст. изд. — Т. 1. С. 388–389).
Впервые: ОЗ. 1859. Т. 127. № 11. Отд. 1. С. 246.

В этой записи Лермонтов соединяет два эпизода из книги Т. Мура. То, что Байрон будет великим человеком, было предсказано не шотландской прорицательницей. Мать Байрона, несмотря на то, что шанс ее сына получить титул лорда был туманным (в 1794 г. был жив внук пятого лорда, и титул должен был перейти ему), тем не менее, с самого рождения сына была уверена, что он не только будет лордом, но и великим человеком. Эту уверенность она основывала, как ни странно, на его хромоте. Когда она посоветовалась об этом с деревенским предсказателем, он подтвердил основательность ее предположений (Byron 1830: 25). В Шотландии же известная предсказательница, во-первых, высказала предостережение, что до совершеннолетия Байрону следует опасаться яда, а также, что он будет два раза женат, причем второй раз на иностранке (Byron 1830: 49). Что было сказано предсказательницей Е. А. Арсеньевой, не известно. Лермонтова занимало только сходство с судьбой Байрона («О, если б одинаков был удел...» — «К***»; Т. 1. С. 107).

536. <«Я читаю Новую Элоизу...»>

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 10. Л. 37 — беловой, в тетради 10.
Печатается по автографу.
Датируется июлем–августом 1831 г. в соответствии с записью Лермонтова на л. 1 тетради 10, открывающейся автографом драмы «Странный человек»: «Странный человек. Романтическая драма. 1831 года кончена 17 июля. Москва».
Впервые: ОЗ. 1859. Т. 127. № 11. Отд. 1. С. 248.

Лермонтов сравнивает «*Новую Элоизу*» — роман Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) «Новая Элоиза, или Письма двух любовников, жителей одного небольшого города у подошвы Альпийских гор» (1761) с «*Вертером*» — романом И.-В. Гете «Страдания молодого Вертера» (1774). Вероятно, сопоставляя эти вершинные произведения европейского сентиментализма, Лермонтов следует за Н. М. Карамзиным, который, проводя аналогичное сравнение в своих «Письмах русского путешественника» (1791–1792), отмечает, что в Вертере «более натуры» (отмечено: Вацуро 2008: 280). См. также негативный отзыв об «Исповеди» Руссо (с. 191) и примеч. к с. 171.

537. 2-го декабря: св. Варвары. Вечером, возвратясь

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 11. Л. 30 об. — беловой, в тетради 11.
Печатается по автографу.
Датируется первыми числами декабря 1831 г. по положению в тетради 11 и дате заголовка (о вероятной неточности в ней см. ниже). Подробнее об истории заполнения тетради 7 см.: Т. 1. С. 389–390 (Преамбула, п. 2.2.4).
Впервые: Лермонтов 1873: II, 50.

По всей вероятности, запись относится к Варваре Александровне Лопухиной (1815–1851), с которой Лермонтов как раз недавно познакомился. Именины Варвары отмечаются не 2-го, а 4-го декабря. Или Лермонтов ошибся в своей записи, или празднование было перенесено на 2-е (заметим, что случай перенесения празднования именин находим в одной из бытовых записей Лермонтова: однажды Лермонтов был зван на именины Александры Григорьевны Лаваль 18 марта 1841 г., при том, что день ее именин приходился на 20 марта — см.: Лермонтов 1954–1957: VI, 388, 682).

538–590. Письма Лермонтова

В настоящее время известны 53 письма Лермонтова и всего 10 писем, адресованных ему. Можно с уверенностью сказать, что это только небольшая часть лермонтовского эпистолярия. О судьбе не дошедшего до нас эпистолярного наследия поэта см. статью В. А. Мануйлова «Утраченные письма Лермонтова» (Мануйлов 1948; перепечатано: Лермонтов 2000–2002: VII, 470–496). Еще больше утрат среди писем, адресованных Лермонтову. Только в описи бумаг в «Деле о непозволительных стихах» упомянуты многие письма, так и затерявшиеся в жандармской канцелярии (см.: Лермонтов 1954–1957: VI, 472–473).

Однако при всей скудости эпистолярного материала, оказавшегося в руках у современных исследователей, мы были вынуждены отвергнуть некоторые тексты, которые ранее претендовали на статус лермонтовских писем. Это четыре французских отрывка, которые были введены в научный оборот в 1913 г. и затем нередко включались в научные издания писем Лермонтова (иногда с пометой «dubia»), — см., например: Мануйлов 1948: 49–52; Лермонтов 1979 –1981: IV, 430–432; Лермонтов 2000–2001: VII, 273–276). При ближайшем рассмотрении

два отрывка из этой группы оказались цитатами из текстов иностранных авторов (из франц. перевода писем Байрона и мемуаров гр. Сегюра) и были исключены из корпуса писем автоматически. Два других, как имевшие то же происхождение и тот же текстологический статус, оказались под подозрением и редакция сочла необходимым отказаться и от их публикации (подробнее см.: Охотин 2015).

538. М. А. Шан-Гирей

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 27. Л. 1–1 об.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно осенью (после 1-го сентября) 1828 г. Как отметил Н. Л. Бродский, программа занятий, о которой пишет Лермонтов, соответствует программе 4-го класса Московского университетского пансиона (Бродский 1945: 101), куда Лермонтов был принят полупансионером в сентябре 1828 г. (см.: Летопись 2003: 59–60). Более того, слова «время, которое вы столь ожидаете», скорее, могут относиться к учению в пансионе, чем к подготовке к поступлению осенью 1827 г., которая — согласно другому предположению — могла иметься в виду в этом письме (см., например: Лермонтов 1954–1957: VI, 694).
Впервые: РС. 1872. № 2. С. 293.

Письмо адресовано двоюродной тетке поэта, Марии Акимовне Шан-Гирей (урожд. Хастатовой, 1799–1845), любимой племяннице Е. А. Арсеньевой. Ее альбом, до сих пор упоминающийся в литературе как альбом М. М. Лермонтовой, с 15 рисунками поэта хранится в ОР РНБ (Ф. 429. № 41; атрибуцию альбома М. А. Шан-Гирей см.: Сандомирская 1979: 122—138).

С. 311. *Заставьте, пожалуста, Екима рисовать контуры...* — Еким — Аким Павлович Шан-Гирей (1819–1883), сын М. А. Шан-Гирей, друг детства Лермонтова, автор воспоминаний о нем.

...мой учитель говорит... — Александр Степанович Солоницкий (? — после 1852), приглашенный в дом учитель рисования, к которому Лермонтов сохранил теплые чувства и которому впоследствии подарил тетрадь со списками своих стихотворений.

Катюше в знак благодарности... — Катюша — Екатерина Павловна, дочь М. А. Шан-Гирей (1823–1880-е гг.), в замужестве Веселовская.

...где я видел оперу «Невидимку»... — Скорее всего, имеется в виду опера «Князь-Невидимка» (композитор К. А. Кавос (1776–1840), либретто Е. Лифанова по пьесе Ж.-Б.-О. Апде (Hapdé) «Князь-невидимка, или Арлекин-Протей» («Le Prince invisible ou Arlequin-Prothée»)). Опера поставлена впервые в Москве 7 июля 1819 г. (премьера в Петербурге — 5 мая 1805 г.), часто исполнялась в сезон 1819–1820 гг., входила в репертуар 1821–1823 гг. и была возобновлена 30 августа 1827 г. В 1827–1828 гг. опера ставилась несколько раз: в сентябре–октябре 1827 г. выдержала 7 постановок, во второй половине 1828 г. шла дважды — 6 июля и 7 октября (см.: ИРДТ: II, 483; III, 265).

..ту самую, что я видел в Москве 8 лет назад... — Это единственное свидетельство о приезде Лермонтова в Москву в 1819 году.

С. 311. *...мы сами делаем Театр ~ будут восковые фигуры играть...* — А. П. Шан-Гирей вспоминал, что в детские годы Лермонтов «лепил из крашеного воска целые картины; охоту за зайцем с борзыми, которую раз нам пришлось видеть, вылепил очень удачно, также переход через Граник и сражение при Арбеллах, со слонами, колесницами, украшенными стеклярусом и косами из фольги» (Воспоминания 1989: 35). Приятель Лермонтова тех лет, в будущем художник Моисей Егорович Меликов (1818 — после 1896) писал: «...маленький Лермонтов составил театр из марионеток, в котором принимал участие и я с Мещериновыми <Владимиром, Афанасием и Петром>; пиесы для этих представлений сочинял сам Лермонтов» (Воспоминания 1989: 73). Пьесы эти не сохранились. В 1839 г. Лермонтов репетировал главные роли в спектаклях, которые ставились Карамзиными (см.: Карамзина 1979: 350; Мительман 1991: 24–25).

...я бы приписал к братцам здесь, но я им напишу особливо... — Лермонтов имеет в виду Акима Павловича Шан-Гирея и его младшего брата Алексея (р. 1821). Письмо к ним Лермонтова не известно.

539. М. А. Шан-Гирей

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 28. Л. 1–2; к письму приложена копия «Ведомости о поведении и успехах университетского благородного пансиона воспитанника 4-го класса М. Ю. Лермонтова».

Печатается по автографу.

Датируется около 21 декабря 1828 г. по содержанию: из приложенной к письму ведомости следует, что письмо относится ко времени перевода из 4-го класса пансиона в 5-й, т. е. на рубеж 1828–1829 гг. Примерная дата устанавливается исходя из слов: «Вакация началась до 8 января, следственно она будет продолжаться 3 недели», а также упоминания 20 декабря как уже прошедшей даты.

Впервые: РС. 1872. № 2. С. 293–295.

Лермонтов поступил в Университетский благородный пансион 1 сентября 1828 г. и был определен сразу в четвертый класс на основании отлично выдержанных им экзаменов. В декабре 1828 г., после окончания переводных испытаний, которые, как видно из приложенной к письму копии ведомости, Лермонтов также выдержал отлично, он был переведен в пятый класс.

С. 312. *Г-н Дубенский* — Дмитрий Никитич Дубенский (?—1863) — магистр Московского университета, преподаватель русского, латинского языков и риторики.

Папенька сюда приехал... — Юрий Петрович Лермонтов (1787–1831), живший в своей деревне Кропотово Тульской губернии Ефремовского уезда, приезжал в Москву навестить сына.

...2 картины извлечены из моего portefeuille... — Как следует из письма Лермонтова к М. А. Шан-Гирей 1827 г., Солоницкий давал ему рисовать только контуры, чем Лермонтов был, видимо, недоволен, поручал А. П. Шан-Гирею рисовать для него эти контуры, но не мог удержаться, чтобы не нарисовать картину. Поэтому Лермонтов так рад перспективе рисовать бюсты и пейзажи.

С. 312. *...а Геркулеса и Прометея взял инспектор, который хочет издавать журнал, «Каллиопу» (подражая мне! (?))* — «Геркулес» и «Прометей» — ранние несохранившиеся произведения Лермонтова. Инспектор пансиона — Михаил Григорьевич Павлов (1793–1840). «Каллиопа» — литературный сборник воспитанников Университетского благородного пансиона, выходил в 1815–1817, 1820 гг. В 1828 г. он не издавался, а в начале 1829 вышел альманах «Цефей», но произведений, подписанных фамилией «Лермонтов», в нем нет. В пансионские годы Лермонтов издавал рукописный журнал «Утренняя заря» со стихами и прозой. Перед отъездом в Петербург несколько вышедших номеров журнала были сожжены.

Вот стихи: Поэт. — См. примеч. к стихотворению «Поэт» (Т. 1. № 4).

С. 313. *Не зная, что дяденька в Апалихе...* — Дяденька — Павел Петрович Шан-Гирей, муж Марии Акимовны. Апалиха — их имение в 3-х верстах от Тархан.

540. М. А. Шан-Гирей

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 29. Л. 1–2 об.
Печатается по автографу.
Датируется весной 1829 г. по содержанию.
Впервые: РС. 1886. № 5. С. 442.

С. 313. *...дома я заниматься буду еще более...* — А. П. Шан-Гирей вспоминал: «Он <Лермонтов> учился прилежно» (Воспоминания 1989: 35).

С. 314. *Как жалко, что вы не видали здесь «Игрока», трагедию «Разбойники».* — «Игрок» — мелодрама В. Дюканжа (1783–1833) «Тридцать лет, или Жизнь игрока» в переводе Ф. Ф. Кокошкина с музыкой А. Н. Верстовского впервые поставлена в Москве 26 января 1828 г. П. А. Каратыгин вспоминал, что эта мелодрама в русском обществе «произвела необыкновенный фурор <...> вкус публики к классицизму с того времени начал заметно ослабевать» (Каратыгин 1880: 163–164). «Разбойники» Ф. Шиллера шли в переделке Н. Н. Сандунова (1769–1832) с 1814 г. Роль Карла Моора исполнял П. С. Мочалов (1800–1848). О его игре в этой роли говорят студенты в драме «Странный человек» (см.: Т. 3. С. 197).

...Мочалов в многих местах превосходит Каратыгина. — Сравнение П. С. Мочалова с В. А. Каратыгиным — постоянная тема спора театралов этих лет. О ней писали В. Г. Белинский и А. И. Герцен, а А. А. Стахович вспоминал: «...была часть публики, особливо аристократическая, которая ставила Каратыгина наравне и даже выше Мочалова. В театре начались стычки каратыгинистов и мочаловцев» (Стахович 1904: 6). Подробнее об этой полемике см. в коммент. к драме «Странный человек» (Т. 3. С. 557).

...m-r G. Gendroz был болен, однако теперь почти совсем поправился. — Жан Пьер Келлет Жандро, гувернер Лермонтова, который так и не оправился от болезни и 8 августа 1830 г. умер в доме Е. А. Арсеньевой.

Прошу вас дяденьке засвидетельствовать мое почтение и у тетеньки Анны Акимовны целую ручки. Также прошу поцеловать за меня: Алешу, двух Катюш и Машу. — Анна Акимовна Петрова, урожд. Хастатова (1802–1836), сестра Марии Акимовны. Алеша — Алексей Павлович Шан-Гирей (р. 1821). Две Катюши — дочь

Шан-Гиреев — Екатерина Павловна, в замужестве Веселовская (р. 1823), и дочь Анны Акимовны — Екатерина Павловна Петрова (р. 1820), в замужестве Жигмонт. Маша — Мария Павловна Петрова (р. 1822), дочь Анны Акимовны.

541. М. А. Шан-Гирей

Автограф: ОР РГБ. Ф. 500. Карт. 1. № 5. Л. 1–2.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно второй половиной февраля 1830 г. по содержанию — по упоминанию близящегося великого поста (в 1830 г. он начался 2 марта); балы, на которых Лермонтов проводит «почти каждый вечер», очевидно, происходили на масляной неделе. Год устанавливается на основании слов об успехах в университете, в который Лермонтов поступил осенью 1830 г. и занятия в котором возобновились в начале января 1831 г. (см.: Летопись 2003: 88) после спада эпидемии холеры в Москве. Об интенсивной светской жизни в конце января–феврале 1831 г. см., например: Летопись Пушкина 1999: III, 302–313; вопреки утверждению Б. М. Эйхенбаума о невозможности многочисленных балов из-за холеры (см. Эйхенбаум 1961: 138, где на этом основании письмо передатировано 1829 г.). Датировка 1832 г. менее вероятна, так как в это время Лермонтов в значительной степени охладел к учебе в Московском университете и вскоре подал прошение об увольнении.
Впервые: РС. 1889. №. 1. С. 165–166.

Письмо Лермонтова — ответ на несохранившееся письмо М. А. Шан-Гирей о «Гамлете». «Гамлет» сравнительно с другими пьесами Шекспира проник на русскую сцену довольно поздно. Запрещенный во второй половине XVIII в., «Гамлет» был поставлен только 28 ноября 1810 г. в Петербурге, в бенефис А. С. Яковлева, а в 1811 г. и в Москве. Текст представлял собой переделку С. И. Висковатова, которая, в свою очередь, была сделана с французской перелицовки шекспировской пьесы, выполненной членом Французской академии Дюсисом (1733–1816). Первое издание 1811 г. озаглавлено: «Гамлет, трагедия в пяти действиях, в стихах. Подражание Шекспиру». В переводе Н. А. Полевого «Гамлет» впервые был поставлен 22 января 1837 г. в дебют П. С. Мочалова. Лермонтову, очевидно, был знаком подлинный текст «Гамлета», поэтому он пишет о сценах, пропущенных в дюсисовской переделке, но и сам допускает некоторые неточности, т. к. приводит сцены по памяти, например, смешивает Гильденстерна с Полонием, заставляет последнего уподоблять облако пиле (вместо ласки / weasel), приписывает Гамлету высказывание: «...как хотите из меня, существа, одаренного сильной волею, исторгнуть тайные мысли», которое отсутствует в шекспировском тексте. Разбор письма см.: Эйхенбаум 1961: 138–144.

542. Н. И. Поливанову

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 36. Л. 2 — приписка Лермонтова к письму В. А. Шеншина (на л. 1–2), датированному «Москва 7-го июня — 1831». На Л. 2 об. адресующая запись рукой Шеншина: «Николаю Ивановичу Поливанову».
Печатается по автографу.

Датируется 7 июня 1831 г. согласно дате письма В. А. Шеншина.
Впервые: РС. 1875. № 9. С. 59.

В. А. Шеншин писал Н. И. Поливанову: «Любезный друг. Первый мой тебе реприманд: зачем ты по-французски письмо написал, разве ты хотел придать более меланхолии <твоему письму, то> это было совсем некстати. Мне здесь очень душно, и только один Лермонтов, с которым я уже 5 дней не видался (он был в вашем соседстве у Ивановых), меня утешает своею беседою. Николай в деревне. Закревский избаловался. Других <*два слова вымараны*> я не вижу, — не полагая довольного удовольствия с ними быть в компании. Пиши к нам со всякой оказией, ты ничего не делаешь, да притом, верно, нам не откажешь в малом удовольствии нас повеселить твоими письмами, следуя параллельной системе, да, пожалоста, пиши поострее, кажется, у тебя мысли просвежились от деревенского воздуха. Твое нынешнее письмо доказывает, что ты силишься придать меланхолический оборот твоему характеру, но ты знаешь, что я откровенен, и потому прими мой совет, следуй *Шпигельбергу*, а не Лермонтову, которого ты безжалостно изувечил, подражая ему на французском языке. Adieu, guten Tag, vale, Fare thee well. Прощай. Верный твой друг, хотя тебя и уверяет твой папенька, что мы пострелы, негодяи — но, пожалоста, не верь, впрочем, сам знаешь, — действуй по сердцу. В. Шеншин. Москва. 7-го июня 1831».

Николай Иванович Поливанов (1814–1874), адресат Шеншина и Лермонтова, приятель поэта, соученик его по Университету и Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где был известен под прозвищем Лафа. К нему обращено стихотворение «Послушай, вспомни обо мне...» (Т. 1. С. 193). В Москве Поливановы жили рядом с Е. А. Арсеньевой и Лермонтовым.

Упоминаемые в письме Шеншина *Ивановы* — семейство покойного драматурга Ф. Ф. Иванова (1777–1816). *Николай* — видимо, Николай Семенович Шеншин (1813–1835); *Закревский* — Андрей Дмитриевич Закревский (р. 1813), товарищ Лермонтова по Московскому университету.

Шпигельберг — один из персонажей трагедии Ф. Шиллера «Разбойники».

С. 316. *Завтра свадьба твоей кузины Лужиной...* — Лужины были в родстве с Поливановыми и Шеншиными.

...болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры. — Тяжелое состояние духа, на которое жалуется Лермонтов, связано с его увлечением Натальей Федоровной Ивановой (1813–1875), дочерью драматурга Ф. Ф. Иванова. Ей Лермонтов посвятил большой цикл стихов (скрыв ее имя под буквами «Н. Ф. И.»; см.: Т. 1. № 69 и примеч.). Слова Лермонтова о проклятье всем свадебным пирам, болезни и слезах вызваны тем, что Н. Ф. Иванова не ответила на его чувства. Позже она вышла замуж за Н. М. Обрескова (1802–1866). О Н. Ф. Ивановой см.: Андроников 1977: 124–152.

543. С. А. Бахметевой

Автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445. № 227а. Л. 68 — в тетради из Чертковской библиотеки.

Печатается по автографу.

Датируется началом — серединой июля 1832 г. по времени отъезда Лермонтова из Москвы в Петербург (время отъезда из Москвы устанавливается по письму М. А. Лопухиной от 2 сентября 1832 г. (№ 547), в котором Лермонтов замечает что «вот уж несколько недель мы в разлуке...»; см. также: Летопись 1964: 43). Письмо было отослано из Твери во второй половине июля 1832 г.

Впервые: Лермонтов 1873: I, 382 (с пропусками имен и фамилий); Лермонтов 1880: I, 507 (полностью).

Адресат — Софья Александровна Бахметева (род. в 1800), приятельница Лермонтова, воспитывавшаяся в доме Е. А. Арсеньевой, летом 1830 г. жила в Середникове. По свидетельству А. П. Шан-Гирея, она была «веселая, увлекающаяся сама», она увлекла и Лермонтова, но не надолго. Поэт называл ее «легкой, как пух». Взяв пушинку в присутствии Софьи Александровны, Лермонтов дул на нее, говоря: «Это вы — ваше Атмосфераторство!» (Лермонтов 1889–1891: VI, 270).

С. 316. *Приехала ли Александра, Михайлова дочь...* — Александра Михайловна Верещагина, в замужестве баронесса Хюгель (1810–1873), двоюродная сестра М. А. Лопухиной, близкий друг Лермонтова.

...раб ваш M. Lerma. — такая подпись в письмах к друзьям — дань легенде о том, что предками Лермонтовых были испанцы по фамилии Лерма.

...нижайшее поч<тение> тетеньке... — Это Екатерина Аркадьевна Столыпина (1791–1853), вдова брата Е. А. Арсеньевой Дмитрия Алексеевича (1785–1826), хозяйка Середникова.

544. С. А. Бахметевой

Автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445. № 227а. Л. 66–67 — в тетради из Чертковской библиотеки.

Печатается по автографу.

Датируется началом–серединой августа 1832 г. по биографическим обстоятельствам (см. ниже).

Впервые: Современник. 1854. Т. 43. № 1. С. 5–6 (отрывки, с неточностями; письмо соединено с фрагментами следующего письма к Бахметьевой, № 545); РА. 1864. № 10. Стб. 1089–1090 (полностью).

Письмо написано вскоре после приезда Лермонтова в Петербург (30 июля) и до поступления в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, вероятно, в начале августа.

С. 317. *...ездил туда-сюда, к Вере Николаевне на дачу...* — Вера Николаевна Столыпина (1790–1834), вдова брата Е. А. Арсеньевой, Аркадия Алексеевича. В. Н. жила на даче Мордвиновых, на правой стороне Петергофской дороги (теперь пр. Стачек).

Вашей комиссии я еще не исполнил... — Судя по следующему письму к С. А. Бахметевой, Лермонтов взялся передать письмо Демидовой.

...мы только вчера перебрались на квартеру. — А. П. Шан-Гирей считает, что это дом Ланского на Мойке (Воспоминания 1989: 40); Висковатов указывает другой адрес: «на берегу Мойки у Синего моста, который позднее принадлежал журналисту Гречу» (Лермонтов 1889–1891: VI, 135). А. Яцевич считает наиболее достоверным свидетельство А. П. Шан-Гирея (см.: Яцевич 1935: 366).

...как свадьба? — Лермонтов спрашивает о намечавшейся свадьбе М. А. Лопухиной, которая впоследствии расстроилась.

...всё ли вы в Средникове... — Средниково или Середниково — подмосковное имение Екатерины Аркадьевны Столыпиной. Лермонтов жил в Середникове летом 1820, 1830 и 1831 гг. (возможно, недолго летом 1832 г.: см.: Иванова 1959; Летопись 2003: 83, 94).

...чай, Александра Михайловна да Елизавета Александровна покою не знают... — Александра Михайловна — А. М. Верещагина. О ней см. примеч. к № 543, 549. Елизавета Александровна — Е. А. Лопухина (р. 1809), сестра М. А. Лопухиной.

Я жить хочу! хочу печали... — См.: Т. 1. № 291 и примеч.

И пришла буря, и прошла буря; и океан замерз, но замерз с поднятыми волнами; храня театральный вид движения и беспокойства... — Образ замерзшего моря (водопада), восходящий к Овидию, в близкой форме см., например, у Е. А. Боратынского в «Надписи» (опубл. 1825): «Так ярый ток, оледенев, / Над бездною висит, / Утратив прежний грозный рев, / Храня движенья вид» (Боратынский 2002: II, 125); ср. также у Н. М. Карамзина в «Письмах русского путешественника» уподобление горных ледников «бурному морю, которого валы от внезапного мороза в один миг превратились в лед» (Карамзин 1984: 135). Подробнее: Вацуро 2004: 705–714.

Я короче сошелся с Павлом Евреиновым... — Павел Александрович Евреинов (1808–1857), двоюродный дядя Лермонтова, сын Александры Алексеевны, сестры бабушки поэта. В 1824 г. был зачислен подпрапорщиком в Астраханский Гренадерский полк, в 1827 г. — прапорщиком лейб-гвардии Измайловского полка, в 1831 г. был прикомандирован к лейб-гвардии Литовскому полку и принимал участие в подавлении восстания в Варшаве и «за оказанную отличную храбрость и мужество <...> награжден орденом св. Анны 4-й степени с надписью „за храбрость!“». В дальнейшем отношение Лермонтова к Евреинову изменилось. См. № 547, 548 (Кольян 2013: 165–180).

С. 318. *...bande joyeuse...* — озорная компания. Так Бахметева называла Лермонтова и его друзей — Н. И. Поливанова, В. А. и Н. С. Шеншиных, А. Д. Закревского и А. А. Лопухина. См. также коммент. к «Княгине Лиговской» (примеч. к с. 119).

У тетушек моих целую ручки... — Тетушки — Екатерина Аркадьевна Столыпина и Елизавета Аркадьевна Верещагина.

...Achille apan... — слуга в доме Лопухиных. Его акварельный портрет Лермонтов нарисовал в альбоме А. М. Верещагиной, упоминается также в поэме «Сашка» (Т. 2. С. 627).

545. С. А. Бахметевой

Автограф. РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 24. Л. 1–2.
Печатается по автографу.
Датируется началом–серединой августа 1832 г. по биографическим обстоятельствам (см. ниже).
Впервые: Современник. 1854. Т. 43. № 1. Отд. 1. С. 7 (отрывки, с неточностями, письмо соединено с фрагментами предыдущего письма к Бахметьевой, № 544); РС. 1873. № 3. С. 402–403.

Письмо это, наполненное петербургскими впечатлениями, написано, вероятно, вскоре после двух предыдущих и было послано С. А. Бахметевой через П. А. Евреинова, вместе с не дошедшим до нас письмом к М. А. Лопухиной, о котором известно из упоминания в письме Лермонтова к ней от 2 сентября 1832 г. (№ 547). Датируется на основании вопроса Лермонтова в том же письме к М. А. Лопухиной: «...передал ли вам мой кузен, господин Евреинов, мои письма...».

С. 318. *Примите дивное посланье...* — см.: Т. 1. № 305 и примеч.

С. 319. *По произволу дивной власти ~ Погиб — и дан ему покой!* — Стихотворение представляет собой раннюю редакцию стихотворения «Челнок» (Т. 1. № 91)).

У Демидовой был... — К какой Демидовой Бахметева поручала Лермонтову передать письмо, не установлено.

546. М. А. Лопухиной

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 17. Л. 1–2 об.
Печатается по автографу.
Датируется 28 августа 1832 г.; год устанавливается по содержанию и связи с предыдущими письмами, относящимися ко времени переезда Лермонтова в Петербург летом 1832 г.
Впервые: РА. 1863. № 3. Стлб. 265–267 (с пропусками); Лермонтов 1880: I, 511–514 (полностью).

Перевод:

С.-Петерб<ург> 28 августа.

Пишу вам сильно встревоженный тем, что бабушка очень больна и уже два дня как в постели; отвожу душу ответом на второе ваше письмо: назвать вам всех, у кого я бываю? *Я сам* — вот та особа, у которой я бываю с наибольшим удовольствием; правда, по приезде я выезжал довольно часто к родным, с которыми должен был познакомиться, но в конце концов нашел, что лучший мой родственник — это я сам; видел я образчики здешнего общества: любезнейших дам, учтивейших молодых людей — все вместе они производят на меня впечатление французского сада, очень тесного и простого, но в котором с первого раза можно заблудиться, потому что хозяйские ножницы уничтожили всякое различие между деревьями!

Пишу мало, читаю не больше; мой роман становится произведением, полным отчаяния; я рылся в своей душе, чтобы извлечь из нее всё, что способно обратиться в ненависть, — и в беспорядке излил всё это на бумагу: читая его, вы бы пожа-

лели меня! Кстати, о вашем замужестве, милый друг: вы угадали мой восторг при вести, что оно расстроилось *(не французский оборот);* я уже писал кузине, что этот господин был способен только на то, чтобы держать нос по ветру и вынюхивать жаворонков в небе — это выражение мне самому очень понравилось. Слава Богу, что это кончилось так, а не иначе. Впрочем, не будем больше говорить об этом — и без того уж много говорили.

У меня есть свойство, которого нет у вас: когда мне говорят, что меня любят, я больше не сомневаюсь или (что хуже) не показываю вида, что сомневаюсь; у вас же этот недостаток есть, и я вас прошу от него избавиться, по крайней мере, в ваших милых письмах.

Вчера, в 10 часов вечера, было небольшое наводнение, и даже трижды было сделано по два пушечных выстрела, по мере того, как вода убывала и прибывала. Ночь была лунная, я сидел у своего окна, которое выходит на канал; вот что я написал!

Для чего я не родился…

Вот другое; эти два стихотворения выразят вам мое душевное состояние лучше, чем я бы мог это сделать в прозе:

Конец! как звучно это слово…

Прощайте… не могу больше писать вам, голова кружится от глупостей; думаю, что по той же причине и земля вертится вот уже 7000 лет, если Моисей не солгал.

Кланяйтесь всем.

Ваш искреннейший друг

М. Лерма.

Адресат письма — Мария Александровна Лопухина (1802–1877), сестра Варвары и Алексея. Со всей семьей Лермонтов был дружен еще с пансионских лет. Она знала о чувствах поэта и Вареньки. По предположению С. А. Бойко, Мария Александровна ревновала поэта к Вареньке (см.: Бойко 2012: 47–54; см. также Письма к Лермонтову, № 1 и примеч.).

С. 320. *…видел я образчики здешнего общества…* — Описание петербургского общества в этом письме продолжает тему стихотворения «Примите дивное посланье…» (Т. 1. № 305). В дальнейшем эта тема заняла значительное место в творчестве Лермонтова («Княгиня Лиговская», «Маскарад»).

…мой роман становится произведением, полным отчаяния… — В школе юнкеров Лермонтов писал роман <«Вадим»> (№ 489), но Б. М. Эйхенбаум считает, что здесь речь идет не о «Вадиме». В словах Лермонтова «нет ничего, что обязывало бы связывать их с „Вадимом“. Наоборот: вряд ли применимы к этому большому и стоившему, конечно, напряженного и длительного труда сочинению слова о „беспорядке“, и непонятно, почему, читая его, Лопухина должна была бы жалеть автора. Скорее всего, Лермонтов говорит здесь о каком-нибудь автобиографическом романе, где он „в беспорядке излил“ все пережитое им в Москве (разрыв с

Н. Ф. Ивановой)» (Эйхенбаум 1961: 57). Лопухина, явно, уже и раньше знала об этом романе. Возможно, он в Москве говорил ей о своем замысле.

Вчера, в 10 часов вечера, было небольшое наводнение... — Это было действительно небольшое наводнение. Каналы не переполнились. Поскольку Лермонтов жил на набережной Мойки (см. коммент. к письму С. А. Бахметевой, № 544), он мог видеть, как поднималась вода.

Для чего я не родился... — См.: Т. 1. № 308 и примеч.

С. 321. *Конец! как звучно это слово...* — По-видимому, первоначальная редакция стихотворения «Что толку жить!.. Без приключений» (см.: Т. 1. № 307 и примеч.).

547. М. А. Лопухиной

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 18. Л. 1–2 об.
Печатается по автографу.
Датируется 2 сентября 1832 г.; год устанавливается по содержанию и связи с предыдущими письмами, относящимися ко времени переезда Лермонтова в Петербург летом 1832 г.
Впервые: РА. 1863. №. 5–6. Стлб. 421–423 (с пропусками имен); Лермонтов 1889–1891: VI, 387–388 (полностью).

Перевод:

2 сентября.

Сейчас я начал рисовать кое-что для вас и, может быть, пошлю вам рисунок с этим же письмом. Знаете ли, милый друг, как я стану писать вам? Урывками — одно письмо иногда будет длиться несколько дней; придет мне в голову мысль, я запишу ее; если что примечательное займет мой ум, поделюсь с вами. Довольны ли вы этим?

Вот уже несколько недель, как мы расстались и, может быть, надолго, потому что впереди я не вижу ничего особенно утешительного; однако я всё тот же, вопреки лукавым предположениям некоторых лиц, которых не стану называть. Можете себе представить мой восторг, когда я увидел Наталью Алексеевну, она ведь приехала из наших мест, ибо Москва моя родина и всегда ею останется. Там я *родился*, там много *страдал* и там же был *слишком счастлив!* — лучше бы этих трех вещей не было, но что делать!

Мадмуазель Аннет сообщила мне, что знаменитую голову со стены не стерли! — Жалкое честолюбие! это меня обрадовало, да еще как! Что за глупая страсть оставлять везде следы своего пребывания! Стоит ли человеческая мысль, как бы значительна она ни была, вещественного закрепления только ради того, чтобы стать понятной нескольким душам; надо полагать, что люди вовсе не созданы мыслить, потому что мысль сильная и свободная — такая для них редкость!

Я поставил себе целью засыпать вас своими письмами и стихами; это не очень по-дружески и даже не человеколюбиво, но каждый должен следовать своему предназначению.

Вот еще стихи, которые я сочинил на берегу моря:

Белеет парус одинокой...

Прощайте же, прощайте, — я не совсем хорошо себя чувствую; счастливый сон, божественный сон испортил мне весь день... не могу ни говорить, ни читать, ни писать. Странная вещь эти сны! оборотная сторона жизни, часто более приятная, нежели реальность... ибо я отнюдь не разделяю мнения тех, кто говорит, будто жизнь всего только сон; я вполне осязательно чувствую ее реальность, ее манящую пустоту! Я никогда не смогу отрешиться от нее настолько, чтобы от всего сердца презирать ее, ибо жизнь моя — я сам, тот, кто обращается к вам, — и кто через мгновение может превратиться в ничто, в одно имя, то есть опять-таки в ничто. Бог знает, будет ли существовать это «я» после жизни! Страшно подумать, что наступит день, когда не сможешь сказать: Я! Если так, вселенная есть всего лишь комок грязи.

Прощайте, не забудьте напомнить обо мне своему брату и сестрам, кузина же, я полагаю, еще не возвратилась.

Скажите, милая мисс Мери, передал ли вам мой кузен, господин Евреинов, мои письма и как он вам понравился? потому что в этом случае я вас выбираю своим термометром.

Прощайте.

Преданный вам Лерма.

P. S. Мне бы очень хотелось задать вам один небольшой вопрос, но перо отказывается его написать. Если угадаете — хорошо, я буду рад; если нет — значит, задай я этот вопрос, вы всё равно не сумели бы на него ответить.

Это такого рода вопрос, какой, быть может, вам и в голову не приходит!

С. 322. *Сейчас я начал рисовать кое-что для вас...* — О каком рисунке пишет Лермонтов, неизвестно, но, возможно, это портрет Ахилла (см. коммент. к № 544).

Вот уже несколько недель, как мы расстались... — На основании этих слов определяется примерное время отъезда Лермонтова из Москвы в Петербург.

...я увидел Наталью Алексеевну... — Н. А. Столыпина (1786–1851), сестра Е. А. Арсеньевой, бывшая замужем за дальним родственником и однофамильцем Григорием Столыпиным (умер в 1831 г.), пензенским предводителем дворянства.

...Москва моя родина и всегда ею останется. — О своей любви к Москве Лермонтов писал неоднократно.

M-lle Аннет... — Анна Григорьевна Столыпина (1815–1892), дочь Н. А. и Г. Д. Столыпиных, с 1834 г. замужем за А. И. Философовым (о ней см.: Михайлова 1948: 661–690; ЛЭ 1981).

...еще не стерли со стены знаменитую голову! — Рисунок Лермонтова углем на оштукатуренной стене в доме Лопухиных в Москве, где поэт часто гостил. Однажды до поздней ночи он старался решить какую-то математическую задачу и, утомившись, заснул над ней. Во сне ему приснился его легендарный предок, который помог решить эту задачу. Лермонтов записал решение и нарисовал на стене приснившегося ему человека. Этот рисунок, как видно из письма Лопухиной, в сентябре 1832 г. был еще цел, но затем Лопухин хотел покрыть его стеклом и сделать раму, при этом штукатурка осыпалась. Лопухин был в отчаянии, но Лер-

монтов успокоил его: «Ничего, мне эта рожа так в голову врезалась, что я тебе намалюю ее на полотне». По свидетельству Лопухина, сходство изображенного на картине и первоначальном рисунке было поразительным. Сын Лопухина в 1881 подарил картину Лермонтовскому музею при Николаевском кавалерийском училище. В настоящее время она экспонируется в Литературном музее Пушкинского Дома (см.: Воспоминания 1989: 187–188).

С. 323. *Белеет парус одинокой...* — см.: Т. 1. № 309 и примеч.

С. 324. *...не забудьте напомнить обо мне своему брату и сестрам...* — Т. е. Алексею Александровичу, Варваре Александровне и Елизавете Александровне.

...кузина же, я полагаю, еще не возвратилась. — Кузина — А. М. Верещагина.

...передал ли вам мой кузен, господин Евреинов, мои письма и как он вам понравился? — Лермонтов хотел бы знать мнение Марии Александровны об Евреинове. Поначалу поэт отозвался о нем сочувственно (см. № 544), здесь он уже колеблется, а впоследствии даст Евреинову самую негативную характеристику (см. № 548).

Мне бы очень хотелось задать вам один небольшой вопрос, но перо отказывается его написать. — Лермонтов намекает на то, что хотел бы получить какие-либо известия о В. А. Лопухиной.

548. М. А. Лопухиной

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 19. Л. 1–2 об. На л. 1 рукописи перед текстом рукой Лермонтова: «2».

Печатается по автографу.

Датируется первой половиной октября 1832 г. по содержанию. Лермонтов пишет о поступлении в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров как о деле уже решенном и известном Марии Александровне. Об этом решении он сообщал ей в не дошедшем до нас письме от 3 октября 1832 г., о содержании которого известно из ответного письма Лопухиной от 12 октября (см. раздел «Письма к Лермонтову», № 1). Отправленное из Москвы, письмо Лопухиной должно было дойти в Петербург 15–17 октября; однако из текста этого письма следует, что ответа Лопухиной Лермонтов еще получить не успел. На этом основании комментируемое письмо можно датировать 4–17 октября.

Впервые: РА. 1863. № 4. Стлб. 292—293 (с пропусками); Лермонтов 1880: I, 517–520 (полный текст, с пропусками имен).

Перевод:

Мне крайне досадно, что мое письмо к кузине затерялось так же, как и ваше письмо к бабушке. Кузина, может быть, думает, что я поленился или лгу, уверяя, что писал; но и то и другое предположение было бы несправедливо с ее стороны, так как я слишком люблю ее, чтобы прибегать ко лжи, а вы можете засвидетельствовать, что я не ленюсь писать; возможно, я оправдаюсь с этой же почтой; в противном случае прошу вас сделать это за меня; послезавтра я держу экзамен и погряз в математике. Попросите ее писать ко мне иногда; ее письма так милы.

Не могу еще представить себе, как вы примете мою важную новость: до сих пор я предназначал себя для литературного поприща, принеся столько жертв своему неблагодарному кумиру, и вдруг становлюсь воином. Быть может, такова

особая воля провидения! Быть может, это кратчайший путь, и если он не приведет меня к моей первоначальной цели, то, возможно, приведет к конечной цели всего существующего. Умереть с свинцовой пулей в груди стоит медленной агонии старца; поэтому, если начнется война, клянусь вам Богом, что везде буду впереди. Скажите, пожалуйста, Алексису, что я пришлю ему подарок, какого он не ожидает; ему давно хотелось чего-нибудь в таком роде, и я посылаю ему то самое, только в десять раз лучше. Не пишу к нему теперь, ибо нет времени; через несколько дней экзамен. Как только определюсь, закидаю вас письмами, на которые заклинаю вас всех отвечать мне. Мадмуазель Софи обещалась писать тотчас по приезде, — уж не воронежский ли *святой* посоветовал ей забыть меня? Скажите ей, что я желал бы получить от нее весточку. Долго ли написать письмо? полчаса! И она не поступает в гвардейскую школу. Право, в моем распоряжении только ночь; вы — другое дело. Мне кажется, что если я не сообщу вам что-нибудь важное, происшедшее со мною, то я утрачу половину моей решимости. Верьте, не верьте, а это действительно так; не знаю почему, но, получив ваше письмо, я не могу удержаться, чтобы не отвечать тотчас же, как будто я с вами беседую. Прощайте же, милый друг, не говорю до свиданья, потому что не надеюсь увидеть вас здесь; между мной и милой Москвой стоят непреодолимые преграды, и, кажется, судьба с каждым днем увеличивает их. Прощайте, постарайтесь и впредь лениться не больше, чем до сих пор, и я буду вами доволен. Теперь ваши письма мне нужнее, чем когда-либо; в моем будущем заточении они доставят мне величайшее наслаждение; они одни могут связать мое прошлое и мое будущее, которые расходятся в разные стороны, оставляя между собой преграду из двух тягостных и печальных лет; возьмите на себя это скучное, но милосердное дело — и вы помешаете погибнуть человеческой жизни. Вам одной я могу сказать всё, что думаю, и хорошее, и дурное; я уже доказал это моей исповедью, и вы не должны остаться в стороне, не должны, потому что я прошу от вас не любезности, а благодеяния. Несколько дней тому назад я был в тревоге, но теперь это прошло: я успокоился; всё кончено; я жил, я слишком рано созрел, и грядущие дни не принесут мне новых впечатлений...

Он был рожден для счастья, для надежд...

Прощайте, мои poclony всем, прощайте, не забывайте меня.

М. Лермантов.

P. S. Я никогда ничего не писал о вас Евреинову, вы видите, всё, что я говорил о его характере, — правда; я был только неправ, называя его лицемером: для этого у него не хватает способностей, он просто лгун.

С. 324. *...мое письмо к кузине затерялось...* — Кузина — А. М. Верещагина.

...послезавтра я держу экзамен и погряз в математике. — Речь идет о вступительном экзамене в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

...если начнется война, клянусь вам Богом, что везде буду впереди. — Лермонтов сдержал слово; участвуя в военных действиях в Чечне, он действительно был везде впереди.

С. 324. *Алексис* — Алексей Лопухин, брат Марии Александровны.

M-lle Софи... — Софья Александровна Бахметева.

С. 325. *...не воронежский ли святой посоветовал ей забыть меня?* — 6 августа в Воронеже были открыты мощи святого Митрофания. Около этого времени Бахметева уехала в Воронеж. Лермонтов подчеркнул слово «saint», усиливая ироничность своего вопроса.

...преграду из двух тягостных и печальных лет... — Лермонтов предвидит, что два года в Школе гвардейских юнкеров, где учащиеся были оторваны от близких, скованы строгим режимом, где даже чтение художественной литературы было под запретом, пережить ему будет нелегко.

Он был рожден для счастья, для надежд... — См.: Т. 1. № 311 и примеч.

С. 326. *Я никогда ничего не писал о вас Евреинову ~ он просто лгун.* — Лермонтов резко изменил свое отношение к П. А. Евреинову. Самую негативную характеристику Евреинов получил в письмах М. А. Лопухиной к А. М. Верещагиной-Хюгель. 22 декабря 1838 г. она писала: «Он несносен. Передо мной угодничает и, уже не знаю отчего, но когда мы вместе, он берет себе за правило заниматься только мною, надоедая своими глупыми разговорами. Он решительно невыносим». В феврале 1842 г. она предполагала, что он «будет разъезжать из города в город в поисках игры». «Он почти не появляется в семействе, — писала она в одном из писем, — он пустился во все тяжкие и не желает ни с кем церемониться. Он превратился в старого негодника. Какое пошлое и ничтожное существо!» (Цит. по: Кольян 2013: 177–178).

549. А. М. Верещагиной

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 15. Л. 1–2. На л. 1 — карандашные пометы: «10», «К А. Верещагиной 1832 ноябрь, п. ч. это письмо — ответ на письмо Верещ<агиной> от 13 окт. 1832» (рукой П. А. Висковатова ?) и на л. 2 об.: «Autographe de Michel Lermantoff».

Печатается по автографу.

Датируется второй половиной октября—началом ноября 1832 г., так как это письмо является ответом на письмо Верещагиной от 12 октября (см. раздел «Письма к Лермонтову», № 1); нижняя граница датировки определяется словами о скором поступлении в Юнкерскую школу («через нелею <...> стану военным») — экзамены состоялись 4 ноября, а официальные приказы о зачислении о зачислении Лермонтова в школу и Гусарский полк были подписаны 8–13 ноября 1832 г. (см.: Летопись 2003: 111–113).

Впервые: РМ. 1883. Кн. 4. С. 72–73, 83 (отрывки; перевод и франц. оригинал); Лермонтов 1889–1891: V, 389–391 (полностью).

Перевод:

Несправедливая и легковерная женщина! (заметьте, что я имею полное право так называть вас, милая кузина). Вы поверили словам и письму молодой девушки, не разобравшись в них. Аннет говорит, что она никогда не писала, будто у меня была неприятность, а только, что мне не зачли, как многим другим, годы пребывания в Москве, ибо во всех университетах проведена реформа, и я опасаюсь, как

бы от этого не пострадал и Алексис, потому что к трем невыносимым годам прибавляют еще один.

Вы, конечно, уже знаете, милостивая государыня, что я поступаю в Школу гвардейских подпрапорщиков; это лишит меня, к сожалению, удовольствия вас скоро увидеть. Если бы вы могли угадать, сколько огорчения мне это причиняет, вы бы меня пожалели; не браните же меня больше, а утешьте, если у вас есть сердце.

Не понимаю, что вы хотите сказать выражением *взвешивать слова*, я не помню, чтобы я писал вам что-нибудь подобное. Впрочем, благодарю вас за то, что вы меня выбранили, это мне урок на будущее, и, если вы приедете в Петербург, я надеюсь вполне отомстить за себя, да и вдобавок сабельными ударами и без пощады, — слышите ли! но пусть это вас не пугает; все-таки приезжайте и привезите с собой многочисленную свиту и мадмуазель Софи, которой я не пишу, потому что сердит на нее; она мне обещала написать по возвращении из Воронежа *длинное письмо*, но я замечаю только длительность времени, заменяющую письмо.

И вы, милая кузина, обвиняете меня в том же, а ведь я написал вам два письма после Павла Евреинова. Но так как они были адресованы на дом Столыпина в Москву, то я уверен, что их поглотила Лета или жена какого-нибудь лакея обернула свечи моими нежными посланиями. Итак, я ожидаю вас этой зимой; никаких уклончивых ответов; вы должны приехать; доброе намерение не следует оставлять невыполненным, цветок не должен увянуть на стебле и т. д.

Пока говорю вам прощайте, потому что интересного ничего более сообщить вам не могу; готовлюсь к экзамену и через неделю с Божьей помощью стану военным; кроме того, вы придаете слишком много значения невской воде; она является хорошим слабительным, но других качеств я за ней не знаю; очевидно, вы забыли мои прежние ухаживания и живете лишь настоящим и *будущим*, которое не замедлит представиться вам при первом случае; прощайте же, милый друг, и приложите все усилия, чтобы найти для меня *мою будущую*; надо, чтобы она была похожа на Дашеньку, но только пусть живот будет поменьше, иначе не будет соразмерности со мной, как вам известно; а, может, и не известно, потому что я стал худ как спичка.

Целую ваши руки

М. Лерма.

P. S. Мое почтение тетенькам.

Александра Михайловна Верещагина (1810–1873) — была племянницей Екатерины Аркадьевны Столыпиной, невестки Е. А. Арсеньевой, поэтому Лермонтов называл ее кузиной. Аким Павлович Шан-Гирей вспоминал: «Miss Alexandrine <...> принимала в нем <Лермонтове> большое участие, она отлично умела пользоваться немного саркастическим направлением ума своего и иронией, чтоб овладеть этой беспокойной натурой и направить ее, шутя и смеясь, к прекрасному и благородному» (Воспоминания 1989: 39). В 1837 г. А. М. уехала за границу и вышла замуж за барона Карла Хюгеля, министра иностранных дел Вюртембергского королевства и в Россию больше не возвращалась. В письмах к ней ее матери, Е. А. Верещагиной, содержатся некоторые ценные сведения о Лермонтове. В альбомах А. М. Верещагиной находятся автографы и рисунки Лермонтова (в на-

стоящее время хранятся в Колумбийском университете). См. об этом: Голованова 1979: 7–23; Ковалевская 1979: 24–79.

С. 326. *Аннет* — А. Г. Столыпина.

...как бы от этого не пострадал и Алексис, потому что к трем невыносимым годам прибавляют еще один. — Алексей Александрович Лопухин в это время учился в Московском университете.

...m-lle Софи... — С. А. Бахметева.

...адресованы на дом Столыпина в Москву... — Этот дом на Поварской улице принадлежал Екатерине Аркадьевне Столыпиной. А. М. Верещагина со своей матерью, сестрой Екатерины Аркадьевны, жила в этом доме.

С. 327. *...готовлюсь к экзамену и через неделю с Божьей помощью стану военным...* — Приказ о зачислении Лермонтова кандидатом в л.-гв. Гусарский полк был отдан 14 ноября 1832 г.

Во французском подлиннике игра слов: «le futur» означает не только «будущее», но и «жених», а «la future» значит «невеста» или «суженая».

550. М. А. Лопухиной

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 20. Л. 1–2 об.
Печатается по автографу.
Датируется 19 июня 1833 г. Год устанавливается по содержанию письма — по упоминанию о небольшом сроке пребывания в Юнкерской школе («я, пробыв в школе всего два месяца, выдержал экзамен в первый класс и теперь один из первых...») и датировке письма: 19 июня приходилось на понедельник в 1833 г.; день недели определяется исходя из слов: «Вчера последнее воскресенье <...> завтра (во вторник)».
Впервые: РА. 1863. № 5–6. Стлб. 417–418 (с пропусками); Лермонтов 1880: I, 521–523 (полностью).

Перевод:

19 июня, Петербург.

Вчера я получил два ваших письма, милый друг, и — проглотил их: так давно не было от вас известий. Вчера последнее воскресенье провел я в городе, потому что завтра (во вторник) мы отправляемся на два месяца в лагерь; я вам пишу сидя на школьной скамье, среди шумных приготовлений и т. д. Вам будет, я думаю, приятно узнать, что я, пробыв в школе всего два месяца, выдержал экзамен в первый класс и теперь один из первых... это вселяет надежду на скорое освобождение!

Надо, однако, непременно рассказать вам довольно странный случай: в субботу, перед тем как проснуться, я вижу во сне, будто я в вашем доме: вы сидите на большом диване в гостиной; я подхожу к вам и спрашиваю, желаете ли вы решительно, чтобы я поссорился с вами, — а вы вместо ответа протянули мне руку. Вечером нас распустили, приезжаю домой — и нахожу ваши письма. Это меня поразило! Мне хотелось бы знать, что вы делали в этот день?

Теперь надо вам объяснить, почему я адресую это письмо в Москву, а не в деревню; я оставил ваше письмо дома вместе с адресом, и так как никто не знает, где я храню ваши письма, то и не могу вытребовать его сюда.

Вы спрашиваете, что значит фраза по поводу женитьбы князя: удавится или женится! — честное слово, не помню, чтоб я писал что-нибудь подобное. Я слишком хорошего мнения о князе и уверен, что он не из тех, которые выбирают невест по описи приданого.

Скажите, пожалуйста, кузине, что будущей зимою у нее будет любезный и красивый кавалер: Иван Ватковский — гвардейский офицер, потому лишь, что его полковник женится на ее сестре, — и говорите после этого, что не бывает случайности в этом дольнем мире.

Скажите откровенно, сердились ли вы на меня некоторое время? Ну, раз с этим покончено, то не будем об этом говорить. Прощайте, меня зовут, потому что приехал генерал. Прощайте.

М. Лерма.

Кланяюсь всем.

Уже поздно; я улучил свободную минуту, чтобы продолжать письмо. С тех пор как я писал вам, со мной случилось столько странного, что я сам не знаю, каким путем пойду — путем порока или глупости. Правда, оба пути часто приводят к одной и той же цели. Знаю, что вы станете увещевать меня, постараетесь утешить — это было бы излишним! Я счастливее, чем когда-либо, веселее любого пьяницы, распевающего на улице! Вас коробит от этих выражений! но увы! *скажи, с кем ты водишься — и я скажу, кто ты!* Я вам верю, что м-ль С. лгунья, ибо я знаю, что вы никогда не скажете неправды, тем более, если это что-нибудь дурное! Бог с ней! Что же касается других предметов, о которых я мог бы вам написать, то я храню молчание, полагая, что один поступок важнее тысячи слов, а так как вам известно, милый друг, что я от природы ленив, то и почию на лаврах, положив разом трагический конец и поступкам и словам

прощайте.

С. 328. *...по поводу женитьбы князя...* — Лермонтов пишет о князе Николае Николаевиче Трубецком (1804–1879), который посватался к сестре Марии Александровны, Елизавете. Об этой женитьбе Н. О. Пушкина писала дочери, Ольге Сергеевне Павлищевой: «Эол Трубецкой женится на девице Лопухиной, молодой, красивой, любезной, за которой дают пятьсот крестьян» (Мир Пушкина 1993: I, 146).

Скажите, пожалуйста, кузине... — Кузиной Лермонтов называет А. М. Верещагину.

Иван Ватковский — Вероятно имеется в виду Иван Яковлевич (умер 17 сент. 1865 г.), сын генерала-майора Я. Е. Вадковского и Е. П. Вадковской, урожденной Елагиной. Вадковские жили в Москве в Каретном ряду и, по воспоминаниям А. З. Зиновьева, часто бывали в 1827–1830 годах у Е. А. Арсеньевой (Литературный архив. Вып. 1. 1938. С. 427). И. Я. Вадковский учился одновременно с Лермонтовым в Московском университете.

...полковник женится на ее сестре... — Двоюродная сестра Верещагиной — Прасковья Александровна Воейкова, дочь Екатерины Аркадьевны Столыпиной. Лермонтов встречался с ней в Середникове в 1829–1830 гг. Она вышла замуж за Алексея Дмитриевича Игнатьева (р. 1803), саратовского губернатора.

С. 328. *...m-lle С.* — Это Е. А. Сушкова (в замужестве Хвостова, 1812–1868). В своих записках она описала свои встречи с Лермонтовым в 1830 году в Москве и в Середникове, когда она снисходительно относилась к юному поэту, однако сберегала его стихи, обращенные к ней. Затем, уже в Петербурге, Лермонтов посмеялся над ее чувствами. И М. А. Лопухина, и А. М. Верещагина недоброжелательно относились к Сушковой. В не дошедшем до нас письме М. А. Лопухина, видимо, писала о Сушковой в этом тоне.

551. М. А. Лопухиной

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 21. Л. 1–2 об.
Печатается по автографу.
Датируется 4 августа 1833 г.; год устанавливается по содержанию: упоминанию о том, что до получения офицерского чина остается еще год учения
Впервые: РА. 1863. № 5–6. Стлб. 419–420 (с пропусками); Лермонтов 1880: I, 524–526 (полностью).

Перевод:

С.-Петербург, 4 августа.

Я не подавал о себе вестей с тех пор, как мы отправились в лагерь, да и, право, мне бы это не удалось при всем моем желании. Представьте себе палатку по 3 аршина в длину и ширину и 2½ в вышину, в которой живет три человека со всей поклажей и доспехами, как-то: сабли, карабины, кивера и проч., и проч. Погода была отвратительная из-за нескончаемого дождя, зачастую по два дня сряду мы не могли просушить платье; тем не менее эта жизнь мне отчасти нравилась; вы знаете, милый друг, что у меня всегда было пристрастие к дождю и грязи, и теперь, по милости Божьей, я насладился этим вдоволь.

Мы возвратились в город, и скоро снова начинаются наши занятия; одно лишь меня ободряет — мысль, что через год я офицер! И тогда, тогда... Боже мой! если бы вы знали, какую жизнь я намерен вести!.. О, это будет чудесно: во-первых, причуды, шалости всякого рода и поэзия, купающаяся в шампанском; я знаю, вы будете возражать; но, увы, пора моих грез миновала, прошло время, когда я *верил*; мне нужны чувственные наслаждения, ощутимое счастье, счастье, которое покупают за деньги, счастье, которое носят в кармане как табакерку, счастье, которое обманывает только мои чувства, оставляя душу в покое и бездействии!.. Вот что мне теперь необходимо, и вы видите, милый друг, что с тех пор, как мы расстались, я несколько изменился; как скоро я заметил, что мои прекрасные мечты разлетаются, я сказал себе, что не стоит создавать новые; гораздо лучше, подумал я, научиться жить без них. Я попробовал; я походил на пьяницу, который мало-помалу старается отвыкнуть от вина; мои усилия были не напрасны, и вскоре прошлое представилось мне лишь перечнем незначительных и весьма обыденных похождений. Но поговорим о другом. Вы говорите, что князь Т. и ваша сестра, его супруга, очень довольны друг другом; я не вполне этому верю, потому что, кажется, знаю характер обоих: и ваша сестра не очень-то склонна к покорности, да, по-видимому, и князь тоже не агнец! Я очень хочу, чтобы это

искусственное затишье продолжилось как можно долее, но не могу предсказать ничего хорошего. Не то чтоб я находил в вас недостаточно проницательности; скорее, мне сдается, вы не хотели сказать мне всего, что думаете; и это вполне естественно, потому что теперь, если мои предположения верны, вам не придется даже сказать: да. Что вы делаете в деревне? Много ли у вас соседей, любезны ли они, забавны ли? Вот вопросы, в которых, кажется, нельзя увидеть никакого серьезного умысла.

Через год, может быть, я навещу вас, и какие перемены я найду? Узнаете ли вы меня и захотите ли узнать? И какую роль буду играть я? Будет эта встреча минутой радости для вас, или она смутит нас обоих? Ибо, предупреждаю вас, я уже не тот, каким был прежде: и чувствую и говорю иначе, и Бог весть что из меня выйдет через год; моя жизнь до сих пор была лишь рядом разочарований, теперь они смешны мне, я смеюсь над собой и над другими; я только слегка коснулся удовольствий жизни, и не насладившись ими, пресытился.

Но это очень грустный предмет, и я постараюсь в другой раз к нему не возвращаться. Когда вы будете в Москве, дайте мне знать, милый друг... я надеюсь на ваше постоянство; прощайте.

М. Лер...

P. S. Мой поклон кузине, если будете писать ей, ведь я слишком ленив, чтобы самому сделать это.

С. 328. *Я не подавал о себе вестей с тех пор, как мы отправились в лагерь...* — Сводный отряд военно-учебных заведений выступил из Петербурга в 12 часов 28 июля 1833 г.

С. 329. *Мы возвратились в город...* — Ввиду плохой погоды загородные учения были сокращены. Церковный парад Военно-учебных заведений, который обычно проводился в Петергофе, в 1833 г. было решено провести на Елагином острове, «потому что по причине бывшей в последних числах прошлого месяца ненастной погоды государь император, из отеческой заботливости о здоровье кадетов, благоволил отпустить их в город и по достаточном отдохновении назначить местом для сего парада Елагин остров» (СПбВед. 1833. 4 авг. С. 709).

...князь Т. и ваша сестра, его супруга, очень довольны друг другом... — О женитьбе князя Н. Н. Трубецкого на Е. А. Лопухиной см. коммент. к письму М. А. Лопухиной (№ 550).

...я уже не тот, каким был прежде: и чувствую и говорю иначе... — Произошедшую с Лермонтовым перемену заметил и А. П. Шан-Гирей. В своих воспоминаниях он писал: «Нравственно Мишель в школе переменился не менее, как и физически, следы домашнего воспитания и женского общества исчезли; в то время в школе царствовал дух какого-то разгула, кутежа...» (Воспоминания 1989: 43).

...я только слегка коснулся удовольствий жизни, и не насладившись ими, пресытился. — Ср. схожую русскую формулу у А. А.Бестужева: «у нас есть критика и нет литературы; мы пресытились, не вкушая, мы в ребячестве стали брюзгливыми стариками!» (Взгляд на Русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов // ПЗ на 1825 год. СПб., 1825. С. 1).

552. М. Л. Симанской

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 31. Л. 1.
Печатается по автографу.
Датируется 20 февраля 1834 г. по содержанию (см. ниже).
Впервые: Известия Лермонтовского и Исторического музеев Николаевского кавалерийского училища. 1916. № 1. С. 72—73 (факсимиле и публикация французского текста).

Перевод:

Милая кузина! Я *с восторгом* принимаю ваше любезное приглашение и, конечно, не премину явиться с поздравлением к дяде, но после обеда, ибо, к великому моему огорчению, мой кузен Столыпин умер позавчера, и, я уверен, вы не сочтете дурным, что я лишу себя удовольствия видеть вас на несколько часов раньше, чтобы пойти исполнить столь же печальную, сколь и необходимую обязанность; — преданный вам на весь вечер и на всю жизнь.

М. Л.

Письмо адресовано Марии Львовне Симанской (ум. 30 декабря 1878 г.) — дочери псковского помещика, действительного статского советника Льва Александровича Симанского. М. Л. Симанская приходилась Лермонтову дальней родственницей, почему он и называет ее кузиной. Письмо вызвано следующими обстоятельствами: 17 февраля 1834 г. умер двоюродный брат Лермонтова, Михаил Григорьевич Столыпин; его похороны 20 февраля совпали с днем именин Л. А. Симанского.

553. М. А. Лопухиной

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 22. Л. 1–2 об.
Печатается по автографу.
Датируется 23 декабря 1834 г.; год устанавливается по содержанию — упоминанию встречи с А. А. Лопухиным после двух лет разлуки (последний раз Лермонтов виделся с Лопухиным, очевидно, еще до своего отъезда из Москвы в 1832 г.).
Впервые: РА. 1863. Кн. 5. Стлб. 424—426 (с пропусками); Лермонтов 1887: I, 456–460 (полностью).

Перевод:

С-Петербург, 23 декабря.

Милый друг! Что бы ни случилось, я никогда не назову вас иначе; это значило бы порвать последние нити, еще связывающие меня с прошлым, а этого я не хотел бы ни за что на свете, так как моя будущность, блистательная на первый взгляд, в сущности пуста и заурядна. Должен вам признаться, с каждым днем я всё больше убеждаюсь, что из меня вовек не получится ничего путного со всеми моими прекрасными мечтаниями и ложными шагами на жизненном пути... ибо недостает то удачи, то смелости!.. Мне говорят, что случай когда-нибудь представится, а смелость приобретается временем и опытностью!.. А кто знает, когда всё это будет, сберегу ли я в себе хоть частицу молодой и пламенной души, которой столь не-

кстати одарил меня Бог? не иссякнет ли моя воля от долготерпения?.. и, наконец, не разочаруюсь ли я окончательно во всем том, что движет вперед нашу жизнь?

Итак, я начинаю письмо *исповедью*, право, без умысла! Пусть же она послужит мне оправданием: вы увидите, по крайней мере, что если мой характер несколько изменился, сердце осталось то же. Один вид последнего письма вашего явился мне упреком, конечно вполне заслуженным. Но о чем я мог вам писать? Говорить вам о себе? Право, я так надоел сам себе, что, когда я ловлю себя на том, что восхищаюсь собственными мыслями, я стараюсь припомнить, где я их вычитал!.. и вследствие этого я дошел до того, что перестал читать, чтобы не мыслить! Я теперь бываю в свете... для того, чтобы меня узнали и чтобы доказать, что я способен находить удовольствие в хорошем *обществе*; ах!!! я ухаживаю и вслед за объяснением в любви говорю дерзости; это еще забавляет меня немного, и хотя это не совсем ново, но, по крайней мере, встречается не часто!.. Вы подумаете, что за это меня гонят прочь... о нет, совсем напротив... женщины уж так созданы, у меня появляется самоуверенность в отношениях с ними; ничто меня не волнует — ни гнев, ни нежность; я всегда настойчив и горяч, но сердце мое довольно холодно и способно забиться только в исключительных случаях: не правда ли, я далеко пошел!.. И не думайте, что это бахвальство: я теперь скромнейший человек и притом хорошо знаю, что этим ничего не выиграю в ваших глазах; я говорю так, потому что только с вами решаюсь быть искренним; вы одна меня сумеете пожалеть, не унижая, ведь я сам себя унижаю; если бы я не знал вашего великодушия и вашего здравого смысла, то не сказал бы того, что сказал; и, может быть, оттого что вы когда-то облегчили мне сильное горе, возможно и теперь вы пожелаете разогнать ласковыми словами холодную иронию, которая неудержимо прокрадывается мне в душу, как вода просачивается в разбитое судно! О! как я хотел бы вас снова увидеть, говорить с вами: самый звук вашей речи был для меня благотворен; право, следовало бы в письмах ставить ноты над словами; ведь теперь читать письмо то же, что глядеть на портрет: ни жизни, ни движения; выражение застывшей мысли, что-то отзывающееся смертью!..

Я был в *Царском Селе*, когда приехал Алексис; узнав о том, я едва не сошел с ума от радости: я поймал себя на том, что разговаривал сам с собою, смеялся, потирал руки; вмиг возвратился я к прошедшим радостям, двух ужасных лет как не бывало, наконец...

На мой взгляд, ваш брат очень переменился, он толст, как я когда-то был, румян, но всегда серьезен и солиден; и всё же мы хохотали как сумасшедшие в вечер нашей встречи — и Бог знает над чем?

Послушайте, мне показалось, будто он питает нежные чувства к м-ль Катрин Сушковой... известно ли вам это? Дядюшки этой девицы хотели бы их повенчать!.. Сохрани Боже!.. Эта женщина — летучая мышь, крылья которой цепляются за всё встречное! Было время, когда она мне нравилась; теперь она почти принуждает меня ухаживать за ней... но, не знаю, есть что-то в ее манерах, в ее голосе жесткое, отрывистое, резкое, что отталкивает; стараясь ей нравиться, находишь удовольствие компрометировать ее, видеть ее запутавшейся в собственных сетях.

Пишите мне, ради Бога, милый друг, теперь, когда все наши недоразумения улажены и у вас больше нет повода жаловаться на меня; полагаю, что в этом письме я был достаточно искренен и предан вам, и вы забудете мой проступок против нашей дружбы.

Мне очень хотелось бы увидеть вас опять; в основе этого желания, прошу простить меня, покоится эгоистическая мысль, что возле вас я вновь мог бы обрести самого себя таким, каким я был когда-то, — доверчивым, полным любви и преданности, одаренным всеми благами, которых люди не в силах отнять и которые отнял у меня Бог! Прощайте, прощайте, — хотел бы продолжать письмо, но не могу.

М. Лерма.

P. S. Поклоны всем, кому сочтете уместным передать их от меня... еще раз прощайте.

С. 331. *Я был в Царском Селе...* — В Царском Селе стоял лейб-гвардии Гусарский полк, в котором служил Лермонтов, и он частью жил там, частью в Петербурге.

...двух ужасных лет как не бывало... — Лермонтов имеет в виду годы обучения в юнкерской школе.

...мне показалось, будто он питает нежные чувства к м-ль Катрин Сушковой... — Чтобы воспрепятствовать этому браку, Лермонтов повел игру с Сушковой, о чем подробно пишет в письме А. М. Верещагиной (№ 554).

...все наши недоразумения улажены... — Какие недоразумения возникли между Лермонтовым и М. А. Лопухиной, не известно.

554. А. М. Верещагиной

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 15. Л. 3–6 об.; на л. 5 помета — № 2 на втором двойном листе письма.

Печатается по автографу.

Датируется январем–апрелем 1835 г. по биографическим обстоятельствам – из письма следует, что А. А. Лопухин находится в Москве (он уехал из Петербурга 5 января — см.: Летопись 2003: 198), а упомянутая в письме предстоящая свадьба В. А. Лопухиной состоялась 25 мая 1835 г. (Там же. С. 203).

Впервые: РВ. 1882. Т. 158. № 3. С. 337, 339–342 (отрывки, в переводе с франц.); Лермонтов 1889–1891: V, 405–408 (полностью).

Перевод:

Милая кузина!

Я решил уплатить вам долг, который вы не соблаговолили с меня требовать, и надеюсь, что мое великодушие тронет ваше сердце, с некоторых пор ставшее таким жестким ко мне. Я не прошу другого вознаграждения, кроме нескольких капель чернил и двух или трех штрихов пера, которые известили бы меня, что я еще не совершенно изгнан из вашей памяти; иначе мне придется искать утешения у других (ибо и здесь у меня есть кузины), а как бы мало женщина ни любила (это известно), она не очень-то любит, чтобы искали утешения вдали от нее. Затем, если вы будете еще упорствовать в своем молчании, я могу вскоре прибыть в Москву — и тогда мое

мщение не будет иметь границ. На войне (вы знаете) щадят сдавшийся гарнизон, но город, взятый приступом, без сожаления предают ярости победителей.

После этой гусарской бравады я падаю к вашим ногам, чтобы вымолить себе прощение, в ожидании, что вы мне его даруете.

После этого вступления я начинаю рассказ о том, что со мною случилось за это время, как это делают при свидании после долгой разлуки.

Алексис мог рассказать вам кое-что о моем образе жизни, но ничего интересного, разве что о начале моих приключений с м-ль Сушковой, конец которых несравненно интереснее и забавнее. Если я начал ухаживать за нею, то это не было отблеском прошлого — вначале это было для меня просто развлечение, а затем, когда мы поняли друг друга, стало расчетом: и вот каким образом. Вступая в свет, я увидел, что у каждого был какой-нибудь пьедестал: богатство, имя, титул, покровительство... я увидел, что если мне удастся занять собою одно лицо, другие незаметно тоже займутся мною, сначала из любопытства, потом из соперничества.

Я понял, что м-ль С., желая *изловить меня* (техническое выражение), легко скомпрометирует себя ради меня; потому я ее и скомпрометировал, насколько было возможно, не скомпрометировав самого себя: я обращался с нею в обществе так, как если бы она была мне близка, давая ей чувствовать, что только таким образом она может покорить меня... Когда я заметил, что мне это удалось, но что еще один шаг меня погубит, я прибегнул к маневру. Прежде всего в свете я стал более холоден с ней, а наедине более нежным, чтобы показать, что я ее более не люблю, а что она меня обожает (в сущности, это неправда); когда она стала замечать это и пыталась сбросить ярмо, я в обществе первый покинул ее, я стал жесток и дерзок, насмешлив и холоден с ней на людях, я ухаживал за другими и рассказывал им (по секрету) выгодную для меня сторону этой истории. *Она* так была поражена неожиданностью моего поведения, что сначала не знала, что делать, и смирилась, а это подало повод к разговорам и придало мне вид человека, одержавшего полную победу; затем она очнулась и стала везде бранить меня, но я ее предупредил, и ненависть ее показалась ее друзьям (или врагам) уязвленною любовью. Затем она попыталась вновь вернуть меня напускною печалью, рассказывала всем близким моим знакомым, что любит меня, — я не вернулся к ней, а искусно всем этим воспользовался. Не могу сказать вам, как всё это пригодилось мне, — это было бы слишком долго и касается людей, которых вы не знаете. Но вот забавная сторона истории: когда я увидал, что в глазах света надо порвать с нею, а наедине все-таки еще казаться ей верным, я живо нашел чудесный способ — я написал анонимное письмо: *«М-ль, я человек, знающий вас, но вам неизвестный и т. д... предупреждаю вас, берегитесь этого молодого человека: М. Л. Он вас соблазнит и т. д... вот доказательства (разный вздор) и т. д...»* Письмо на четырех страницах! Я искусно направил это письмо так, что оно попало в руки тетки; в доме гром и молния. На другой день еду туда рано утром, чтобы, во всяком случае, не быть принятым. Вечером на балу я с удивлением рассказываю ей это; она сообщает мне ужасную и непонятную новость, и мы делаем разные предположения — я всё отношу на счет

тайных врагов, которых нет; наконец, она говорит мне, что ее родные запрещают ей разговаривать и танцевать со мною, — я в отчаянии, но остерегаюсь нарушить запрещение дядюшек и тетки. Так шло это трогательное приключение, которое, конечно, даст вам обо мне весьма лестное мнение. Впрочем, женщина всегда прощает зло, которое мы причиняем другой женщине *(афоризмы Ларошфуко)*. Теперь я не пишу романов — я их делаю.

Итак, вы видите, я хорошо отомстил за слезы, которые меня заставило пролить 5 лет тому назад кокетство м-ль С. О! мы еще не расквитались: она заставляла страдать сердце ребенка, а я всего только подверг пытке самолюбие старой кокетки, которая, может быть, еще более... но, во всяком случае, я в выигрыше, она мне сослужила службу! О, я ведь очень изменился; я не знаю, как это происходит, но только каждый день дает новый оттенок моему характеру и взглядам! — это и должно было случиться, я это всегда знал... но не ожидал, что произойдет так скоро. О милая кузина, надо вам признаться: причиной того, что я не писал вам и м-ль Мари, был страх, что вы по письмам моим заметите, что я почти не достоин более вашей дружбы... ибо от вас обеих я не могу скрывать истину, от вас, наперсниц юношеских моих мечтаний, таких прекрасных, особенно в воспоминании.

И все-таки, если посмотреть на меня, то покажется, что я помолодел года на три, такой у меня счастливый и беспечный вид человека, довольного собою и всем миром; не кажется ли вам странным этот контраст между душой и наружностью?

Не могу выразить, как огорчает меня отъезд бабушки, — перспектива остаться в полном одиночестве в первый раз в жизни меня пугает; во всем этом большом городе не останется ни единого существа, которое бы действительно мною интересовалось...

Но довольно говорить о моей скучной особе, — побеседуем о вас и о Москве. Мне передавали, что вы очень похорошели, и сказала это госпожа Углицкая, и только в этом случае уверен я, что она не солгала: она слишком женщина для этого; она говорит также, что жена ее брата прелестна... в этом я ей не вполне верю, ибо она заинтересована в этой лжи... Что поистине смешно, так это ее желание во что бы то ни стало выказать себя несчастною, чтобы вызвать общее сочувствие, а между тем, я уверен, нет в мире женщины, которая была бы менее ее достойна сожаления. В 32 года иметь такой детский характер и воображать, что можешь возбуждать страсти!.. и после этого жаловаться? Она мне также сообщила, что м-ль Варвара выходит замуж за г. Бахметева; не знаю, верить ли ей, но, во всяком случае, я желаю м-ль Варваре жить в супружеском согласии до празднования ее *серебряной* свадьбы — и даже долее, если до тех пор она не пресытится!..

Теперь вот вам мои новости. Наталья Алексеевна с чады и домочадцы едет в чужие края!!! Ну, и хорошее же она даст там представление о наших русских дамах!

Скажите Алексису, что его пассия, м-ль Ладыженская, с каждым днем становится всё внушительнее!.. Я ему советую тоже еще больше пополнеть, чтобы контраст не был столь разителен. Не знаю, лучшее ли средство добиться прощения, надоедая вам; восьмая страница подходит к концу, и я остерегусь начать де-

сятую... Итак, милая и жестокая кузина, прощайте, и если точно вы возвратили мне свое расположение, то известите меня об этом письмом от вашего лакея, ибо я не смею рассчитывать на собственноручную вашу записку.

Итак, прощайте, имею честь быть тем, что ставится в конце письма...

ваш покорнейший М. Лермантов.

P. S. Засвидетельствуйте, пожалуйста, мое почтение тетенькам, кузинам, кузенам и знакомым...

С. 332. *Алексис мог рассказать вам ~ о начале моих приключений с м-ль Сушковой...* — Алексей Лопухин был в курсе «амурных приключений» Лермонтова с Сушковой, которая в своих записках изображает Лопухина влюбленным женихом.

...конец которых несравненно интереснее и забавнее. — Изложенные в письме «приключения» описаны также в романе «Княгиня Лиговская» и в записках Е. А. Сушковой (Воспоминания 1989: 101–130).

Вступая в свет, я увидел, что у каждого был какой-нибудь пьедестал: богатство, имя, титул, покровительство... — Ср. в повести Ж. Жанена «Le Piédestal» (Revue de Paris. 1832. Сент.): «Il voyait à chacun son piédestal: à celui-là son diplôme, à celui-là sa patente, à celui-là sa boutique, à celui-là son livre, à celui-là son journal, à celui-là son infamie, à celui-là sa gloire, à chacun quelque chose» («У каждого он видел свой пьедестал: у того диплом, у того патент, у того лавочка, у того книга, у того газета, у того бесчестие, у того слава, у каждого что-нибудь»). В романе «Княгиня Лиговская» слово «пьедестал» употребляется в том же значении (см. с. 111).

С. 333. *афоризмы Ларошфуко...* — Герцог Ларошфуко (1613–1680) — автор книги «Размышления, или Моральные изречения и максимы» («Maximes et rèflexions morales», 1665).

Теперь я не пишу романов — я их делаю. — Ср. со словами, обращенными к Е. А. Сушковой: «...я на деле заготовляю материалы для многих сочинений» (Воспоминания 1989: 116).

С. 334. *...м-ль Мари...* — Мария Александровна Лопухина.

...госпожа Углицкая... — Мария Александровна Углицкая, сестра П. А. Евреинова, племянница Е. А. Арсеньевой. М. А. Лопухина относилась к Углицкой недоброжелательно, что заметно из ее писем к А. М. Верещагиной (Российский архив. Т. XI. М., 2001. С. 198–311). Ее дочь Александру (1822–1862) Лермонтов называл в письме к Е. А. Арсеньевой «Сашенькой», ей посвятил шутливое стихотворение «Ma chére Alexandrine...» (об Углицкой см.: Кольян 2013: 172–180; Модзалевский 1922: 111–125).

...жена ее брата прелестна... — В начале 1835 г. П. А. Евреинов женился на Софье Александровне Оболенской.

...м-ль Варвара выходит замуж за г. Бахметева... — О предстоящем замужестве В. А. Лопухиной Лермонтов пишет как бы между прочим. Не исключено, что он действительно не поверил сообщению М. А. Углицкой. А. П. Шан-Гирей присутствовал весной 1835 г. при получении Лермонтовым известия о том, что Лопухина выходит замуж за Н. Ф. Бахметева: «Мы играли в шахматы, человек подал письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался

и хотел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: „вот новость — прочти“, и вышел из комнаты» (Воспоминания 1989: 43).

Наталья Алексеевна с чады и домочадцы едет в чужие края!!! — Речь идет, скорее всего, о сестре Е. А. Арсеньевой. О ее приезде в Петербург Лермонтов писал осенью 1832 г. (см. № 547). За границу она поехала весной 1836 г. вместе с Е. А. и А. М. Верещагиными.

Скажите Алексису, что его пассия, м-ль Ладыженская... — Вероятно, имеется в виду одна из родственниц Евграфа Семеновича Ладыженского, в 1834 г. женившегося на сестре Е. А. Сушковой, Елизавете.

555. А. М. Гедеонову

Автограф неизвестен.
Копия: РГИА. Ф. 497. Оп. 1. № 6866. Л. 98 — авторизованная, текст писарской рукой, рукой Лермонтова только часть подписи: «...покорнейший слуга М. Лермонтов». Вверху листа помета «31 декабря», сделанная, очевидно, в Дирекции театров по получении письма.
Печатается по авторизованной копии.
Датируется декабрем (до 17) 1835 г., т. к. Лермонтов уехал из Петербурга до 17 декабря (см.: Летопись 2003: 207–208)
Впервые: ЛГ. 1940. № 27. 15 мая; ЛН 1948: 23 (публ. Л. Б. Модзалевского).

Адресат — Александр Михайлович Гедеонов (1790–1867), директор императорских петербургских театров (1834–1858), по свидетельствам современников, был человеком невежественным в вопросах искусства. Уезжая в отпуск, Лермонтов поручил С. А. Раевскому передать Гедеонову письмо и текст драмы. Это была уже вторая попытка получить разрешение цензуры на постановку «Маскарада» (см.: Т. 3. С. 562–563). В «Описи письмам и бумагам л.-гв. Гусарского полка корнета Лермантова» упоминается «Письмо известного Раевского к Лермантову, в котором первый поздравляет его с счастливым успехом написанной пиесы и приглашает его к Кирееву, который предполагал представить Лермантова к г. Гедеонову» (Лермонтов 1954–1957: VI, 473). Это письмо не сохранилось. Состоялась ли встреча Лермонтова с Гедеоновым, не известно. Киреев, двоюродный брат Раевского, служил управляющим в Дирекции императорских театров в Петербурге. Под «успехом пиесы», возможно, надо понимать успех ее во время предварительного чтения в узком кругу избранных лиц.

556. С. А. Раевскому

Автограф неизвестен.
Копия: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 2. № 133. Л. 1–1 об. — на двойном листе, вместе с копией письма Раевскому (№ 563). Под вторым письмом помета: «Копии дословно верны с подлинниками. — И. Е. Цветков» (Л. 2).
Печатается по копии.
Датируется 16 января 1836 г.
Впервые: РС. 1884. № 5. С. 389–390 (с пропусками).

Святослав Афанасьевич Раевский (1808–1876), ближайший друг Лермонтова, был крестником Е. А. Арсеньевой, в детские годы подолгу жил в Тарханах.

Он учился в Московском университете, причем слушал лекции на Нравственно-политическом, Словесном и Физико-математическом отделениях. В 1831 г. он приехал в Петербург и поступил на службу в Министерство финансов. Раевский был другом Андрея Александровича Краевского (1810–1889) и познакомил с ним Лермонтова. Краевский был редактором «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» и журнала «Отечественные записки» — изданий, где главным образом печатались произведения Лермонтова. Раевский по делу «о непозволительных стихах» («Смерть поэта»; см. примеч. к № 560, а также: Т. 1. С. 594), был осужден и сослан в Олонецкую губернию и до конца жизни не мог в полной мере применить своих широких познаний и выдающихся способностей.

С. 335. *Я опасаюсь, что моего «Арбенина» снова не пропустили...* — Опасения Лермонтова подтвердились. Несмотря на добавление 4-го акта, цензура драму не одобрила (см. коммент. к «Маскараду» — Т. 3. С. 562–563).

С. 336. *...летом бабушка переезжает жить в Петербург ~ Я ее уговорил...* — Е. А. Арсеньева писала 17 января П. А. Крюковой: «Мишинька упросил меня ехать в Питербург с ним жить, и так убедительно просил, что не могла ему отказать». Е. А. Арсеньева с 25 июля 1835 г. до конца апреля 1836 г. жила в Тарханах.

...денег же теперь много... — Доходы с тарханского имения зависели от урожая и цен на хлеб, а 1835 год был урожайным.

557. Е. А. Арсеньевой

Автограф: РГАЛИ. Ф. 276. Оп. 2. № 13. Л. 1–2.
Печатается по автографу.
Датируется концом марта — первой половиной апреля 1836 г. по упоминанию скорого отъезда Е. А. Арсеньевой из Тархан — отъезд был намечен на конец апреля 1836 г. (см. № 559). Эта датировка подтверждается и фразой: «...в мае сдает свой дом».
Впервые: Огонек. 1949. № 42. С. 15–16 (публ. И. Л. Андроникова).

Елизавета Алексеевна Арсеньева (1773–1845) — дочь богатого помещика Алексея Емельяновича Столыпина, упрочившего свое состояние винными откупами. В 1794 г. Елизавета Алексеевна вышла замуж за гвардии поручика Михаила Васильевича Арсеньева (1768–1810). В ноябре того же года Арсеньевы купили у И. А. Нарышкина село Тарханы (ныне Лермонтово) в Пензенской губернии, в 14 верстах от Чембара, и поселились там. В 1795 г. у Арсеньевых родилась дочь Мария. Потеряв в 1810 г. мужа, а в 1817 г. дочь, Е. А. Арсеньева всю любовь перенесла на внука, М. Ю. Лермонтова, и много сделала для того, чтобы дать ему отличное воспитание и образование. Елизавета Алексеевна впервые рассталась с внуком весной 1835 г., когда хозяйственные заботы потребовали ее присутствия в Тарханах. Лермонтов, приехав под новый, 1836-й, год в отпуск к Е. А. Арсеньевой, уговорил ее возвратиться в Петербург и в связи с этим тотчас по приезде в столицу начал подыскивать подходящую квартиру.

С. 337. *Прасковья Николавна Ахвердова в маие сдает свой дом...* — П. Н. Ахвердова, урожд. Арсеньева (1786–1851), троюродная тетка Лермонтова, вдова кавказского генерала Ф. И. Ахвердова. С 1815 по 1830 гг. жила в Тифлисе. Была знакома

с В. К. Кюхельбекером, А. С. Грибоедовым, А. С. Пушкиным и кн. А. Г. Чавчавадзе, воспитывала его дочь Нину, ставшую впоследствии женой А. С. Грибоедова. В 1830 г. переехала в Петербург (подробнее о ней см.: Андроников 1951: 161–170). Своего дома у Ахвердовой в Петербурге не было. Она нанимала квартиру в доме Ильина на углу Кирочной и Таврической улиц.

...башкирки, так сносны, что чудо... — Башкирки — лошади башкирской породы.

Лошадь у генерала я еще не купил... — О покупке лошади см. следующее письмо (№ 558).

Посылаю вам в оригинале письмо Григорья Васильевича... — Григорий Васильевич Арсеньев (1777–1850), брат деда Лермонтова, Михаила Васильевича, женат на Наталье Алексеевне Викулиной. В 1830-е годы жил в своем имении, изредка наезжая в Москву. Письма Г. В. Арсеньева не сохранились. Он занимался разделом Кропотова после смерти Юрия Петровича между Лермонтовым и его тетками. Об этом, видимо, и шла речь в письме, на которое Лермонтов не решался отвечать без совета Е. А. Арсеньевой. Еще 22 января 1836 г. он передал в Чембарский уездный суд доверенность на имя Г. В. Арсеньева на раздел Кропотова (Летопись 2003: 211–212).

558. Е. А. Арсеньевой

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 32. Л. 1–2, угол Л. 2 обрезан или оборван.
Печатается по автографу.
Датируется второй половиной апреля 1836 г. по содержанию (ср. упоминание об удешевлении найма квартиры «в начале мая») и соотношению с предыдущим и следующим письмами (№ 557, 559).
Впервые: Лермонтов 1882: I, 540.

С. 337. *На днях Марья Акимовна уехала...* — М. А. Шан-Гирей находилась в Петербурге с конца 1835 — начала 1836 гг. и уехала в апреле 1836 г.

Насчет квартиры я еще не решился... — К приезду Е. А. Арсеньевой Лермонтов ищет в Петербурге квартиру (см. № 557 и 559).

Лизавета Аркадьевна едет нынче весной с Натальей Алексеевной в чужие краи... — см. коммент. к № 554.

...я посылаю письмо Григорья Васильевича... — Г. В. Арсеньев был доверенным лицом Лермонтова в деле раздела Кропотова (см. коммент. к № 557).

559. Е. А. Арсеньевой

Автограф: РГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. № 78. Л. 1–2.
Печатается по автографу.
Датируется концом апреля — началом мая 1836 г. по содержанию и на основании слов «последнее мое письмо от 25 апреля» (текст письма неизвестен).
Впервые: ЛН 1935: 511 (публ. В. А. Мануйлова и А. Н. Михайловой).

С. 337. *Андрей получил письмо от жены...* — Андрей Иванович Соколов (1795–1875), камердинер Лермонтова, был женат на тарханской ключнице Дарье Григорьевне Куртиной.

...я писал вам о письмах ко мне Григорья Васильевича... — О Г. В. Арсеньеве см. коммент. к № 557, 558.

Квартиру я нанял на Садовой улице в доме князя Шаховского... — В этой квартире Лермонтов жил в 1836–1837 гг. Здесь им написано стихотворение «Смерть поэта». Современный адрес — Садовая, д. 61.

560. М. Л. Симанской

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 31. Л. 2 — записка, написанная кровью.
Печатается по автографу.
Датируется 11 мая 1836 г. ? (датировка, предложенная Л. Б. Модзалевским, проблематична, однако надежных оснований для ее уточнения не имеется).
Впервые: Известия Лермонтовского и Исторического музеев Николаевского кавалерийского училища. 1916. № 1. С. 73 (факсимиле).

Лермонтов, видимо, пародирует эквиметрическую строчку из стихотворения Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный» (1829) в опубликованной редакции 1836 г.: «А. М. Д. своею кровью / Написал он на щите» (Пушкин 1937–1959: III, 161). В рукописи под текстом рисунок: якорь и пылающее сердце, пронзенное стрелой (эти эмблемы, обозначающие надежду и любовь, говорили о том, что автор записки надеется на благосклонность дамы).

561. С. А. Раевскому

Автограф неизвестен.
Печатается по первой публикации
Датируется последними числами февраля 1837 г. по биографическим обстоятельствам – упоминанию о том, что его отпустили из-под ареста «чтоб проститься» с бабушкой (см. Летопись 2003: 234). В письме А. Г. Философовой мужу от 27 февраля 1837 г. говорится о том, что в этот день Е. А. Арсеньевой «позволили повидаться с Мишелем», о котором сообщается, что он «под арестом уже 9 дней в штабе» (Там же: 233); соответственно, отпустить Лермонтова могли не раньше 28 февраля.
Впервые: Лермонтов 1889—1891: V, 413.

Широкое распространение в списках стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» вызвало строгое расследование. 20 февраля 1837 г. у Лермонтова и С. А. Раевского был произведен обыск. В описи бумаг, обнаруженных у Раевского, под первым номером значится: «Записка журналиста Краевского, от 17-го сего февраля, следующего содержания: „Скажи мне, что сталось с Л-р-вым? правда ли, что он жил или живет еще теперь не дома? Неужели еще жертва, заклаемая в память усопшему? Господи, когда всё это кончится!..“» (Лермонтов 1889–1891: VI, Приложение, 14). Таким образом, уже 17 февраля ходили слухи об аресте Лермонтова, и вполне вероятно, что он действительно в это время находился «не дома». 21 февраля 1837 г. по распоряжению гр. П. А. Клейнмихеля (см. ниже) С. А. Раевский был арестован по делу «О непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского полка Лермантовым, и о распространении оных губернским секретарем Раевским». Он был допрошен в этот же день. Черновик своего объ-

яснения С. А. Раевский через одного из сторожей переслал камердинеру Лермонтова А. И. Соколову со следующей запиской: «Против 3 Адмиралтейской части в доме кн. Шаховского — Андрею Иванову. Андрей Иванович! Передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал эту записку министру. Надобно, чтобы он <Лермонтов> отвечал согласно с нею, и тогда дело кончится ничем. А если он станет говорить иначе, то может быть хуже. Если сам не можешь завтра же поутру передать, то через Афанасия Алексеевича <Столыпина>. И потом непременно сжечь ее» (Лермонтов 1954–1957: VI, 773). Пакет был перехвачен, а эта записка только увеличила вину Раевского. На другой день был допрошен Лермонтов. При сличении показаний Лермонтова и Раевского были обнаружены разногласия, из которых наиболее существенными явились различные объяснения по поводу распространения стихов. Лермонтов, не зная содержания показаний Раевского, в своих объяснениях писал: «Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина (что, к несчастию, я сделал слишком скоро), то один мой хороший приятель, Раевский, слышавший, как и я, многие неправильные обвинения и, по необдуманности, не видя в стихах моих противного законам, просил у меня их списать; вероятно, он показал их, как новость, другому, — и таким образом они разошлись...» (Щеголев 1929: 266–267). Раевский же в своих показаниях отметил широкую популярность стихов, о которой Лермонтов знал, и стремление поэта к их распространению. Пытаясь защитить своего друга, Раевский объяснил поведение Лермонтова желанием «через сие приобресть себе славу» (Лермонтов 1954–1957: VI, 773).

25 февраля 1837 г. последовало «высочайшее повеление», присланное шефу жандармов Бенкендорфу: «Л.-гв. Гусарского полка корнета Лермантова, за сочинение известных вашему сиятельству стихов, перевесть тем же чином в Нижегородский драгунский полк; а губернского секретаря Раевского, за распространение сих стихов, и в особенности за намерение тайно доставить сведение корнету Лермантову о сделанном им показании, выдержать под арестом в течение одного месяца, — а потом отправить в Олонецкую губернию, для употребления на службу, — по усмотрению тамошнего гражданского губернатора» (Там же. С. 773–774). Раевский понес более строгое и более продолжительное наказание, чем Лермонтов: приказ о возвращении Лермонтова последовал 11 октября 1837 г., а Раевский был прощен только 7 декабря 1838 г.

С. 338. *...я виной твоего несчастия...* — В 1860 г. в письме А. П. Шан-Гирею Раевский писал: «Я всегда был убежден, что Мишель напрасно исключительно себе приписывает маленькую мою катастрофу в Петербурге в 1837 году» (РО. 1890. №. 8. С. 742). А. Г. Философова 27 февраля 1837 года писала мужу: «Что еще сильно огорчает тетушку, — так это судьба этого молодого Rajevski, который жил у нее; так как ему нечем жить, и он страдает ревматисмом; он посажен под арест на один месяц, а потом будет выслан в Олонецкую губернию, под надзор полиции; тетушка боится, что мысль о том, что он <Лермонтов> сделал его несчастным, будет преследовать Мишеля, и в то же время именно ее эта мысль и преследует». (Летопись 2003: 233–234).

Дубельт — см. примеч. к № 562.

Клейнмихель — Петр Андреевич Клейнмихель (1793–1869), граф, дежурный генерал Главного штаба, был также начальником Раевского, которому не мог простить независимости убеждений.

562. С. А. Раевскому

Автограф неизвестен.
Печатается по первой публикации.
Датируется первыми числами марта 1837 г. по содержанию: в последних числах февраля Лермонтов был отпущен из Главного штаба, где он находился под арестом, и готовился к отъезду на Кавказ в Нижегородский драгунский полк, состоявшемуся 19 марта 1837 г. (см.: Летопись 2003: 237).
Впервые: Лермонтов 1889–1891: V, 414.

С. 338. *Я видел нынче Краевского...* — О Краевском см. примеч. к № 556.

...вторично приступлю к коменданту. — Лермонтов, очевидно, уже подавал коменданту прошение о прощальном свидании с Раевским, но не получил разрешения.

563. С. А. Раевскому

Автограф неизвестен.
Копия: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 2. № 133. Л. 2. — на двойном листе, вместе с копией письма Раевскому от 16 января 1836 г. (№ 556). Под письмом помета: «Копии дословно верны с подлинниками. — И. Е. Цветков».
Печатается по копии.
Датируется мартом (до 19) 1837 г. — по времени отъезда Лермонтова из Петербурга, последовавшего 19 марта 1837 г. (Летопись 2003: 237).
Впервые: РС. 1884. № 5. С. 390.

С. 339. *У меня было на совести твое несчастье, меня мучила мысль, что ты за меня страдаешь.* — Письмо Лермонтова является ответом на не дошедшее до нас письмо С. А. Раевского, в котором он, судя по его письму к А. П. Шан-Гирею, писал Лермонтову о том, что не считает того виновником своей ссылки (см. также примеч. к № 561).

Бабушка хлопочет у Дубельта... — Леонтий Васильевич Дубельт (1792–1862), начальник штаба жандармского корпуса, был в свойстве со Столыпиными и Мордвиновыми. Видимо, отзываясь на родственные просьбы, он склонил к снисходительности своего начальника гр. А. Х. Бенкендорфа, который, в свою очередь, ходатайствовал за Лермонтова перед императором. В июне или первой половине июля 1837 г. Дубельт посетил Е. А. Арсеньеву и передал ей слова Николая I, сказанные Бенкендорфу: «Его Величество не имеет ничего против Лермонтова и не забудет его» (Летопись 2003: 248–249). В середине сентября, во время крымского путешествия императора, вопрос о прощении поэта и переводе его обратно в гвардию был решен положительно — по ходатайству Бенкендорфа и при посредничестве приближенного к царю ген.-адъютанта гр. А. Ф. Орлова (Летопись 2003: 259).

...Афанасий Алексеевич... — А. А. Столыпин (1788–1866), брат Е. А. Арсеньевой, участник войны 1812 года. Именно его рассказы о Бородинском сражении

мог слышать Лермонтов. М. Н. Лонгинов называл его «храбрым артиллеристом» и характеризовал так: «Он был потом саратовский губернский предводитель дворянства, памятный Москве, где проживал очень долго, — своим хлебосольством, радушием и веселым, хотя и солидным умом <...> Лермонтов особенно любил Афанасия Алексеевича» (РС. 1873. Т. 7. С. 381).

...я заказал обмундировку и скоро еду. — Заказывая форму прапорщика Нижегородского драгунского полка, Лермонтов не предполагал, что он попадет в свою часть только в ноябре 1837 г. (Тифлис), когда уже выйдет приказ о его переводе в л.-гв. Гродненский гусарский полк (11 октября 1837 г.; выключен из списков Нижегородского полка 25 ноября 1837 г.). О своих странствованиях Лермонтов подробно писал Раевскому в конце года перед возвращением в Петербург (см. № 566).

...пока не явлюсь к Клейнмихелю, ибо он теперь и мой начальник... — К П. А. Клейнмихелю, как дежурному генералу Главного штаба, перешла дисциплинарная ответственность за переведенного в армию офицера: ранее, пока Лермонтов был гвардейским офицером, его делом занимались командующий Отдельным гвардейским корпусом в. кн. Михаил Павлович, его заместитель ген.-адъютант Карл Иванович Бистром (1770–1838) и начальник штаба корпуса ген.-адъютант Петр Федорович Веймарн (1795–1846). В другой своей должности Клейнмихель был и начальником Раевского (см. выше, примеч. к № 561).

...les grands noms se font à l'Orient — Пер.: «Великие имена создаются на Востоке». Лермонтов слегка перифразирует слова Наполеона, сказанные в связи с замыслами Египетского похода (1798) и в разных вариантах цитировавшиеся в исторической литературе: «Les grands noms [grandes réputations] ne se font qu'en Orient» («Великие имена [великие репутации] создаются только на Востоке»). Лермонтову эта фраза могла быть известна, в частности, по знаменитой «Истории французской революции» Адольфа Тьера (1797–1877), десять томов которой впервые вышли в 1823–1827 гг., а к 1837 году выдержали уже четыре издания (цитату см.: Thiers 1835: X, 68).

564. М. А. Лопухиной

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 23. Л. 1–2.
Печатается по автографу.
Датируется 31 мая 1837 г. Год устанавливается по содержанию: в тексте упоминается о пребывании автора на водах (см.: Летопись 2003: 244–246) и предстоящий приезд на Кавказ государя, состоявшийся осенью 1837 г.
Впервые: РА. 1863. № 5—6. Стлб. 428—429 (с пропусками); Лермонтов 1887: I, 465—467 (полностью).

Перевод:

31-го мая.

В точности держу слово и посылаю вам, милый и добрый друг, а также сестре вашей туфельки черкесские, которые обещал вам; их шесть пар, так что поделить их вы легко можете без ссоры; купил их, как только удалось отыскать; я теперь на водах, пью и принимаю ванны, словом, веду жизнь настоящей утки. Дай Бог, чтобы

мое письмо еще застало вас в Москве, а то, если ему придется путешествовать вслед за вами по Европе, может быть, вы получите его в Лондоне, в Париже, в Неаполе, как знать, — во всяком случае, в таком месте, где оно вовсе не будет для вас интересно, а от этого сохрани Боже и его и меня. У меня здесь очень славная квартира; каждое утро из окна я смотрю на цепь снежных гор и Эльбрус; вот и теперь, сидя за письмом к вам, я то и дело останавливаюсь, чтобы взглянуть на этих великанов, так они прекрасны и величественны. Надеюсь порядком поскучать всё время, покуда останусь на водах, и хотя очень легко завести знакомства, я стараюсь избегать их. Ежедневно брожу по горам, и одно это укрепило мне ноги; поэтому я только и делаю, что хожу: ни жара, ни дождь меня не останавливают... Вот примерно мой образ жизни, милый друг; не так уж это хорошо, но... как только я выздоровлю, то отправлюсь в осеннюю экспедицию против черкесов, когда государь будет здесь.

Прощайте, дорогая, желаю вам веселиться в Париже и в Берлине. Получил ли Алексис отпуск? — обнимите его за меня — прощайте.

Весь ваш М. Лермонтов.

P. S. Ради Бога, пишите мне и сообщите, понравились ли вам туфельки.

С. 339. *...я теперь на водах, пью и принимаю ванны...* — В Ставрополе Лермонтов заболел и был направлен сначала в Ставропольский госпиталь, а затем в Пятигорск на воды.

У меня здесь очень славная квартира... — Лермонтов жил в доме полковницы Тарановской.

С. 340. *...отправлюсь в осеннюю экспедицию против черкесов...* — Осенняя экспедиция была отменена Николаем I, приехавшим на Кавказ.

Получил ли Алексис отпуск? — А. А. Лопухин (1813–1872) служил в Московской синодальной конторе.

565. Е. А. Арсеньевой

Автограф: РГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. № 79. Л. 1–2 об.
Печатается по автографу.
Датируется 18 июля 1837 г., год устанавливается на основании упоминания о поездке на железные воды (май — начало августа 1837 г.: Летопись 2003: 244–246) и грядущей «встрече государя» (Николай I предпринял поездку по Кавказу осенью 1837 г.).
Впервые: Лермонтов 1882: I, 540—541.

С. 340. *Эскадрон нашего полка...* — Лермонтов был направлен в Нижегородский драгунский полк.

...барон Розен... — Григорий Владимирович Розен (1782–1841) был командиром Отдельного кавказского корпуса и главноуправляющим гражданской частью с 1831 по 1837 гг.

...тут же, где отряд Вельяминова... — Алексей Александрович Вельяминов (1785–1838), генерал-лейтенант, командующий войсками на Кавказской линии и Черномории. По просьбе А. И. Философова, В. Д. Вольховский содействовал направлению Лермонтова в отряд Вельяминова с тем, чтобы участие в боевых дей-

ствиях способствовало прощению Лермонтова. Поэтому Лермонтов пишет, что не поедет в Грузию, где стоит Нижегородский драгунский полк. Но, когда осенняя экспедиция была отменена, Лермонтову все-таки пришлось ехать в Грузию.

...продолжайте адресовать письма на имя Павла Ивановича Петрова. — П. И. Петров (1790–1871), начальник Штаба войск по Кавказской линии и в Черномории. Его жена Анна Акимовна Хастатова — племянница Е. А. Арсеньевой. См. примеч. к № 567.

От Алексея Аркадича я получил известия... — А. А. Столыпин (1816–1858), по прозвищу Монго, двоюродный дядя Лермонтова (см.: Т. 2. С. 628–629). А. А. Столыпин был офицером л.-гв. Гусарского полка и поехал на Кавказ «охотником» (так назывались солдаты и офицеры, добровольно вызвавшиеся на какое-либо дело, требующее отваги и риска). Если эти «известия» были письмом Лермонтову, то оно не сохранилось.

...вы мне пишете об Гвоздеве... — П. А. Гвоздев (1815–1851), юнкер Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, поэт. За одно из своих сатирических стихотворений был разжалован в солдаты и отправлен на Кавказ. В 1837 г. он написал ответ на стихотворение «Смерть поэта» (см.: Модзалевский 1909: II, 512–513; III, 676).

566. С. А. Раевскому

Автограф неизвестен.

Печатается по тексту первой публикации.

Датируется второй половиной ноября — началом декабря 1837 г. по содержанию. Упоминание о переводе «обратно в гвардию» позволяет установить верхнюю границу датировки: приказ о переводе Лермонтова в Гродненский гусарский полк, подписанный 11 октября 1837 г. (Летопись 2003: 269), мог дойти до Карагача, где стоял Нижегородский драгунский полк, не ранее середины ноября (приказ о переводе Лермонтова был опубликован в «Русском инвалиде» 1 ноября 1837 г. — Там же: 273; из списков Нижегородского полка Лермонтов был выключен 25 ноября — Там же: 276). Из слов: «...я бы охотно остался здесь» — следует, что письмо написано в еще Грузии, откуда Лермонтов выехал в начале декабря (Там же: 278). Письмо написано, вероятно, незадолго до отъезда.

Впервые: РО. 1890. № 8. С. 741–742.

С. 341. *...вряд ли Поселение веселее Грузии...* — Л.-гв. Гродненский полк, в который был переведен Лермонтов, стоял в Селищенских казармах близ Новгорода, неподалеку находились военные поселения гр. А. А. Аракчеева. Но в Гродненском гусарском полку Лермонтов пробыл недолго; уже 9 апреля 1838 г. был опубликован приказ о его переводе обратно в л.-гв. Гусарский полк, стоявший в Царском Селе. О пребывании Лермонтова в Гродненском гусарском полку см.: Елец 1890: 205–207; Арнольди 1989: 259–269.

...в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани... — Кавказская линия, образуемая цепью укрепленных казачьих станиц, степных крепостей и казачьих постов, проходила от Каспийского моря по Тереку и затем по Кубани до Черного моря.

...был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии... — Поездка Лермонтова, возможно, связана с кубинским восстанием, поднятым сторонниками Шамиля в сентябре 1837 г. Для ликвидации восстания из Кахетии (из местечка Караагач) были отправлены в Кубу два эскадрона Нижегородского драгунского полка. До Кубы «нижегородцы» не дошли — восстание было уже подавлено — и остановились в Шемахе, где, очевидно, и догнал их Лермонтов, следовавший в полк из Тифлиса. Здесь, вероятно, и произошла та стычка с лезгинами, о которой он пишет. Пребывание Лермонтова в Шуше долгое время вызывало сомнение у биографов. Ясность была внесена статьей В. А. Захарова «М. Ю. Лермонтов в Шуше в 1837 году, или Кавказский итинерарий поэта» (Захаров 2011: 154–171). Но многие моменты поездок Лермонтова по Кавказу в 1837 г. еще требуют уточнения (см.: Андроников 1951: 117–119; Андроников 1977: 247–248; Попов 1954: 20–21).

...одетый по-черкесски... — Принято считать, что черкеска с газырями на груди и бурка, которые составляют наряд Лермонтова на автопортрете 1837 г. (ГЛМ), входили в походную форму Нижегородского драгунского полка. Однако эти элементы горской одежды до 1845 г. не являлись частью официального обмундирования — скорее, это была дань общепринятой экзотической моде, не лишенной к тому же практических удобств.

...я приехал в отряд слишком поздно... — Лермонтов приехал в укрепление Ольгинское 29 сентября, когда первая экспедиция была уже закончена, а вторую император отменил, поскольку запасы продовольствия и фуража были уничтожены пожаром.

Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные... — В Грузии Лермонтов встречался с начальником Штаба Отдельного кавказского корпуса В. Д. Вольховским (1798–1841), лицейским приятелем Пушкина, который был удален на Кавказ за связи с декабристами. Здесь его другом стал А. И. Одоевский, поэт-декабрист, переведенный на Кавказ из Сибири (см. Т. 1. № 375 и примеч.). Возможно знакомство Лермонтова с грузинским поэтом А. Г. Чавчавадзе, его дочерью Н. А. Грибоедовой, с кругом их друзей и знакомых и с азербайджанским поэтом, драматургом и философом Мирзой Ахундовым (Андроников 1977: 364–369).

Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию... — О кавказских рисунках и картинах Лермонтова см.: Пахомов 1948: XLV–XLVI, 55–222.

Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе... — Сравнение татарского (т. е. азербайджанского) языка с французским часто встречается в литературе 1820–1830-х годов.

С. 341–342. *...теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским. ~ ...я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку.* — Лермонтов впервые здесь высказывает мысль об отставке или попытке добиться разрешения участвовать в хивинских походах под начальством командира Отдельного оренбургского корпуса генерал-адъютанта гр. В. А. Перовского (1794–1857). Эти походы состоялись в 1839–1840 гг. и окончились полной неудачей.

567. П. И. Петрову

Автограф: ОРФ ГЛМ. Ф. 118. Оп. 1. № 1. Л. 1–2; на л. 2–2 об.
Печатается по автографу.
Датируется 1 февраля 1838 г. по дате в приписке Е. А. Арсеньевой.
Впервые: Литературный сборник. Вып. 1. Письма М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, В. А. Жуковского, А. А. Потехина, А. Н. Островского, Н. Я. Соловьева, В. Г. Короленко и Л. Толстого. Кострома, 1928. С. 1 (Труды Костромского научного общества по изучению местного края. Вып. XLII).

Павел Иванович Петров (1790–1871) был женат на племяннице Е. А. Арсеньевой, и очень расположенный к нему Лермонтов называет его дядюшкой. В 1837 г., когда Лермонтов приехал в Ставрополь, Петров был начальником Штаба войск по Кавказской линии и Черномории и принял деятельное участие в судьбе опального поэта. В частности, он инициировал присоединение Лермонтова к отряду Вельяминова в надежде дать ему возможность заслужить прощение участием в военных действиях. У Петрова было четверо детей: Екатерина (род. в 1820 г.) и Мария (род. в 1822 г.), которых Лермонтов называет в письме «милыми кузинами», сын Аркадий (1825–1895) и младшая Варвара. В детский альбом Аркадия Лермонтов в 1837 г. написал стихотворение «Ну что скажу тебе я спросту?..» (см.: Т. 1. № 348 и примеч.). Сохранились следы и более поздних взаимоотношений Лермонтова с семьей П. И. Петрова. В 1840 г. Лермонтов прислал Павлу Ивановичу автограф «Последнего новоселья» (Т. 1. № 407). В записной книжке, подаренной Лермонтову В. Ф. Одоевским в 1841 г., рукою Лермонтова записано: «Семен Осипович Жигимонд» — имя мужа Екатерины Павловны, дочери П. И. Петрова (см.: Лермонтов 1954–1957: VI, 388, 683).

В конце письма следуют приписки Е. А. Арсеньевой и М. А. Шан-Гирей: «Не нахожу слов, любезнейший Павел Иванович, благодарить вас за любовь вашу к Мишыньке, и чувства благодарности навсегда останутся в душе моей. Приезд его подкрепил слабые мои силы. Леты и горести совершенно изнурили меня, а Гроденской полк не успокоит. Не вздумаете ли в Питербурге побывать, чего бы очень желала. Милых детей целую и остаюсь готовая к услугам Елизавета Арсеньева. 1838 года 1 февраля.

Je viens chez ma tante et la trouve occupée à vous écrire, mon cher frère, je suis bien sûre qu'un petit mot de mon écriture ne vous sera pas de trop. Je me conduits bien mal à Pétersbourg, car je suis constamment malade, c'est le second jour que je sors. J'apprends, qu'on vous attend ici, et je serai très fachée, si cela ne sera pas durant mon séjour ici. Au nom de Dieu, ne place pas les enfants à Moscou, je te le demande en grâce. Les miens sont bien grandis, surtout Alexis. Je reprends Catiche, qui est une bien bonne fille, et j'espère, qu'avec la grâce de Dieu elle sera ma joie et mon amie. J'embrasse les entants. Prie le bon Dieu de vous contenir dans sa garde et suis votre affectionnée amie. Marie Schanguirey».

Пер.: «Прихожу к тетушке и застаю ее за письмом к вам, дорогой брат. Уверена, что несколько слов от меня не будут для вас слишком. В Петербурге я *веду себя* плохо, так как постоянно больна. Сегодня второй день как я выхожу. Знаю, что

вас ждут сюда, и мне будет очень досадно, если это не случится до моего отъезда. Ради Бога, не оставляй детей в Москве, молю тебя об этом. Мои очень выросли, особенно Алексей. Я опять беру к себе Катишь, она очень славная девочка, и я надеюсь, что с Божьей помощью она будет моей радостью и моим другом. Целую детей. Молю Бога не оставить вас попечением и остаюсь вашим преданным другом. Мари Шангирей».

С. 342. *...мне скоро грозит приятное путешествие в великий Новгород, ужасный Новгород.* — В середине февраля Лермонтов выехал в Новгородскую губернию, где был расквартирован л.-гв. Гродненский гусарский полк. Лермонтов ехал к месту нового назначения неохотно.

Ваше письмо я отдал в руки дядюшке Афанасью Алексеевичу... — Афанасий Алексеевич Столыпин, младший брат Е. А. Арсеньевой (о нем см. примеч. к № 563).

...1050 руб., которые вы мне одолжили. — Лермонтова обокрали, и он приехал в Ставрополь без вещей.

568. М. А. Лопухиной

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 34. Л. 1–2 об.
Печатается по автографу.
Датируется 15 февраля 1838 г. Год устанавливается по содержанию — упоминанию отъезда в Новгород, то есть в Гродненский гусарский полк, где поэт находился с конца февраля до второй половины апреля 1838 г. — Летопись 2003: 282–287), предстоящей женитьбе А. А. Лопухина и публикации «Тамбовской казначейши», которая была напечатана в 3-м номере «Современника» за 1838 г.
Впервые: РА. 1863. № 5–6. Стлб. 430–432 (с пропуском собственных имен); Лермонтов 1880: I, 553–554 (с пропуском имен Лопухиных); Лермонтов 1887: I, 468–471 (полностью).

Перевод:

15 февраля.

Пишу вам, милый друг, накануне отъезда в Новгород; я всё поджидал, не случится ли со мною что-нибудь приятное, чтобы сообщить вам, но ничего такого не случилось, и я решаюсь писать вам, что мне смертельно скучно. Первые дни после приезда прошли в непрерывной беготне: представления, парадные визиты — вы знаете; да еще каждый день ездил в театр: он, правда, очень хорош, но мне уже надоел; вдобавок меня преследуют все эти милые родственники! — не хотят, чтобы я бросил службу, хотя я уже мог бы это сделать: ведь те господа, которые вместе со мною поступили в гвардию, теперь уже там не служат. Наконец, я порядком пал духом и хочу даже как можно скорее бросить Петербург и отправиться куда бы то ни было, в полк ли или хоть к черту; тогда по крайней мере у меня будет предлог жаловаться, а это утешение не хуже всякого другого.

С вашей стороны нехорошо, что вы всегда ожидаете моего письма, чтобы писать мне; можно подумать, что вы возгордились; что касается Алексиса, то это не удивительно, потому что на днях он женится, как здесь уверяют, на какой-то богатой купчихе, и понятно, что у меня нет надежды занимать в его сердце такое

же место, какое он отводит толстой оптовой купчихе. Он обещался написать мне через два дня после моего отъезда из Москвы; но, может быть, забыл мой адрес, так вот ему два:

1) В С.-Петерб<ург>: у Пантелеймоновского моста на Фонтанке, против Летнего сада, в доме Венецкой.

2) В Новгородскую губернию, в первый округ военных поселений в штаб *Лейб-гвардии* Гродненского гусарского полка.

Если и после этого он мне не напишет, прокляну его и его толстую оптовую купчиху: я уже занят составлением этого проклятия. Боже! вот беда иметь друзей, которые собираются жениться.

Приехав сюда, я нашел дома целый ворох сплетен; я навел порядок, поскольку это возможно, когда имеешь дело с тремя или четырьмя женщинами, которым ничего не втолкуешь; простите, что я так говорю о вашей сестре или о вашем прекрасном поле, но увы! раз я вам это говорю, это как раз доказывает, что вас я считаю исключением. Когда я возвращаюсь домой, я только и слышу, что истории, истории — жалобы, упреки, подозрения, заключения, — это просто несносно, особенно для меня: я отвык от этого на Кавказе, где общество дам — редкость или же они малоразговорчивы (в особенности грузинки: они не говорят по-русски, а я по-грузински).

Прошу вас, милая Мари, пишите мне немножко, пожертвуйте собой — пишите мне всегда, не будьте церемонны — вы должны быть выше этого! Ведь если иногда я и медлю с ответом, это, право, значит, что либо мне нечего сказать, либо у меня слишком много дела — обе причины уважительные.

Я был у Жуковского и отнес ему, по его просьбе, «Тамбовскую казначейшу»; он повез ее Вяземскому, чтобы прочесть вместе; сие им очень понравилось — и сие будет напечатано в ближайшем номере «Современника».

Бабушка надеется, что меня скоро переведут в царскосельские гусары, но дело в том, что ей внушили эту надежду Бог знает с какой целью, а она на этом основании не соглашается, чтобы я вышел в отставку; что касается меня, то я ровно ни на что не надеюсь.

В заключение этого письма посылаю вам стихотворение, которое я случайно нашел в моих дорожных бумагах и которое мне даже понравилось именно потому, что я забыл его — впрочем, это ровно ничего не доказывает.

МОЛИТВА СТРАННИКА

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...

Прощайте, милый друг, обнимите Алексиса и скажите, что стыдно ему; скажите то же и м-ль Мари Лопухиной.

Лерма.

С. 343. *...меня преследуют все эти милые родственники! — не хотят, чтобы я бросил службу...* — Лермонтов уже пришел к решению бросить военную службу и посвятить себя литературной деятельности. Ср. в письме С. А. Раевскому (№ 566).

...что касается Алексиса, то... на днях он женится, как здесь уверяют, на какой-то богатой купчихе... — А. А. Лопухин в 1838 г. женился не на богатой купчихе, а на В. А. Оболенской.

С. 344. *Я был у Жуковского ~ сие будет напечатано в ближайшем номере «Современника».* — После возвращения из ссылки Лермонтов был принят в кругу пушкинских друзей. Это были, прежде всего, Карамзины, Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) и Петр Андреевич Вяземский (1792–1878). «Тамбовская казначейша» (Т. 2. № 473) была напечатана в «Современнике» (1838. № 3. С. 149–178) под заглавием «Казначейша» и с цензурной правкой, что вызвало недовольство Лермонтова (см.: Воспоминания 1989: 308).

Молитва странника — См.: «Молитва»; Т. I. № 338 и примеч.

569. С. А. Раевскому

Автограф неизвестен.

Печатается по первой публикации.

Датируется 8 июня 1838 г. по содержанию — из письма следует, что Раевский еще находится в ссылке и просил о получении отпуска, который был ему дан 29 мая 1838 г.

Впервые: РВ. 1882. № 3. С. 346 (отрывок); Лермонтов 1889–1891: V, 420–421 (полностью).

С. 345. *...отзыв непокорен к начальству повредит тебе ~ без этого ты, может быть,* остался *бы здесь.* — Раевский был сослан в Олонецкую губернию за распространение стихотворения «Смерть поэта», но сыграли роль и его неприязненные отношения с начальством (возможно, с Клейнмихелем), о чем сам Раевский позднее писал А. П. Шан-Гирею (см. также примеч. к № 561).

Я слышал здесь, что ты просился к водам... — 29 мая 1838 г. Раевский получил «отпуск в Петербург и к водам морским в Эстландии».

...ученье и маневры производят только усталость. — На Кавказе войска не несли строевой службы, и Лермонтов за время первой ссылки отвык от нее.

Писать не пишу, печатать хлопотно, да и пробовал, но неудачно. — «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (Т. 2. № 347) была напечатана только после ходатайства В. А. Жуковского перед министром народного просвещения С. С. Уваровым; при этом вместо фамилии «Лермонтов» было обозначено только «-въ». Кроме этой поэмы и «Тамбовской казначейши» в этом году ничего напечатано не было.

Роман, который мы с тобою начали, затянулся и вряд ли кончится... — По-видимому, подразумевается роман «Княгиня Лиговская», некоторые страницы которого записаны рукою С. А. Раевского, вероятно, под диктовку Лермонтова (см. примеч. к № 490). Раевский мог также рассказывать Лермонтову некоторые подробности из жизни чиновников, использованные в романе. После возвращения из ссылки Лермонтов уже не возобновлял работы над романом.

...обстоятельства, которые составляли его основу, переменились... — Под изменившимися обстоятельствами, вероятно, надо понимать иное отношение Лермонтова к браку В. А. Лопухиной, после встречи с ней в Москве.

...ты вернешься поэтом, а не экономо-политическим мечтателем... — Лермонтов иронизирует над увлечением Раевского идеями утопического социализма. См.: Бродский 1948: 301–322.

О Юрьеве скажу тебе... — Юрьев Николай Дмитриевич (род. 1814) дальний родственник Лермонтова, соученик по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

...живет у Балабина... — Возможно, это Петр Иванович Балабин (1776–1856), генерал-лейтенант со славным боевым прошлым, выполнявший ответственные дипломатические поручения. По словам княжны В. Н. Репниной, «Балабин был оригинального характера, честный и прямой человек. По настоянию Николая I он надел жандармский мундир, но, кажется, не долго вынес его. Я помню, что на вопрос Н. К. Загряжской генеральше Мердер <...> почему Балабин подал в отставку, она ответила: „Parce que cet uniform lui pesait <потому, что этот мундир ему тягостен — фр.>“» (РА. 1890. № 10. С. 228). По свидетельству А. О. Смирновой, Балабин заботился о лицах, попавших в беду (Смирнова-Россет 1989: 199).

570. А. И. Философову

Автограф: РГИА. Ф. 1075. Оп. 1. № 1181. Л. 1. Наверху Л. 1 помета «1838»; на л. 1 об. рукой Лермонтова адресующая надпись: «Его превосходительству милостивому государю Алексею Илларионовичу Философову».
Печатается по автографу.
Датируется концом сентября — началом октября 1838 г. по содержанию: «дело», о котором Лермонтов просит ходатайствовать, по всей видимости, арест за появление на параде со слишком короткой саблей, состоявшийся 22 сентября 1838 г. (см.: Летопись 2003: 292).
Впервые: ЛН 1948: 30–31.

Перевод:

Дорогой дядя, осмеливаюсь умолять вас ходатайствовать о моем деле, которое только вы можете уладить, и я уверен, что вы не откажете мне в вашем покровительстве. Бабушка опасно больна, настолько, что не могла даже написать мне об этом; слуга пришел за мною, думая, что я уже освобожден. Я просил у коменданта всего несколько часов, чтобы проведать ее, писал генералу, но так как это зависит от великого князя, то они ничего не могли сделать.

Пожалейте, если не меня, то бабушку, и добейтесь для меня одного дня, ибо время не терпит...

Мне нет необходимости говорить вам о моей признательности и моем горе, так как ваше сердце вполне поймет меня.

Преданный вам всецело
М. Лермонтов.

Письмо адресовано Алексею Илларионовичу Философову (1800–1874) — адъютанту вел. кн. Михаила Павловича, с 1838 г. генералу, воспитателю сыновей Николая I. А. И. Философов был женат на племяннице Е. А. Арсеньевой, Анне Григорьевне Столыпиной, почему Лермонтов и называет его «дорогим дядей». Принимая участие в судьбе поэта, Философов высоко ценил Лермонтова и неоднократно хлопотал за него, используя свои связи с двором.

С. 345. *...осмеливаюсь умолять вас ходатайствовать о моем деле...* — 22 сентября 1838 г. за очередную гусарскую шалость (появление на параде со слишком

короткой саблей) Лермонтова посадили под арест на Царскосельскую гауптвахту на 21 день.

С. 345–346. *Бабушка опасно больна, настолько, что не могла даже написать мне об этом...* — Узнав об аресте внука, Е. А. Арсеньева заболела, а Лермонтов просил освободить его на один день для свидания с ней, опасаясь рокового исхода. Философов сообщил это вел. кн. Михаилу Павловичу, и свидание состоялось (см.: Гладыш, Динесман 1963: 45).

571. А. М. Верещагиной-Хюгель

Автограф: ОР РГБ. Ф. 456. Карт. 1. № 13. Л. 27 об. — приписка Лермонтова к письму Е. А. Верещагиной к дочери, А. М. Верещагиной-Хюгель, из Петербурга в Штутгарт от 16/28 ноября 1838 г.
Печатается по автографу.
Датируется 16 ноября 1838 г. по письму Е. А. Верещагиной.
Впервые: Андроников 1963: 26–27.

Перевод:

С.-Петербург, ноябрь 16/28. Среда

Милая кузина,
Преклоняю
Колена
на этом месте!
как сладостно
быть милостивой!

____

Простите
мою лень, и т. п., и т. п.

— Право, я не нашел ничего другого, чтобы напомнить о себе и вымолить прощение; будьте счастливы и не сердитесь на меня; завтра я приступаю к длиннейшему письму к вам... Тетушка вырывает у меня перо... ах!..
М. Лермонтов.

Стихотворение сопровождалось рисунком Лермонтова, изображающим коленопреклоненную фигуру.

572. М. А. Лопухиной

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 24. Л. 1–2 об.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно концом 1838 г. по помете Лопухиной («ни числа, ни месяца не помню. Конец 1838 г.») и по содержанию (см. ниже).
Впервые: РА. 1863. № 5–6. Стлб. 433–435.

Перевод:

Давно уж я не писал вам, милый и добрый друг, а вы ничего не сообщали мне ни о вашей дорогой особе, ни о ваших; поэтому надеюсь, что ответа на это письмо долго ждать не придется: это звучит самоуверенно, скажете вы, но ошибетесь.

Я знаю, вы убеждены, что ваши письма доставляют мне большое удовольствие, раз вы пользуетесь молчанием как способом наказания; я не заслуживаю этого наказания, потому что постоянно думал о вас; вот доказательство: просил отпуска на полгода — отказали, на 28 дней — отказали, на 14 дней — великий князь и тут отказал; всё это время я надеялся увидеть вас; сделаю еще одну попытку — дай Бог, чтоб она удалась. Надо вам сказать, что я самый несчастный человек, и вы поверите мне, когда узнаете, что я каждый день езжу на балы: я пустился в *большой* свет; в течение месяца на меня была мода, меня буквально разрывали. Это, по крайней мере, откровенно. Весь этот свет, который я оскорблял в своих стихах, старается осыпать меня лестью; самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихи и хвастаются ими, как величайшей победой. Тем не менее я скучаю. Просился на Кавказ — отказали. Не хотят даже, чтобы меня убили. Может быть, эти жалобы покажутся вам, милый друг, неискренними; может быть, вам покажется странным, что я гонюсь за удовольствиями, чтобы скучать, слоняюсь по гостиным, когда я там не нахожу ничего интересного? Ну, так я открою вам свои побуждения: вы знаете, что мой самый большой недостаток — это тщеславие и самолюбие; было время, когда я в качестве новичка искал доступа в это общество; это мне не удалось: двери аристократических салонов были для меня закрыты; а теперь в это же самое общество я вхожу уже не как проситель, а как человек, добившийся своих прав; я возбуждаю любопытство, предо мною заискивают, меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого; женщины, желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы я бывал у них, потому что я ведь к тому же *лев,* да, я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы. Согласитесь, что всё это может вскружить голову. К счастью, моя природная лень берет верх, и мало-помалу я начинаю находить всё это более чем несносным; но этот новый опыт принес мне пользу, потому что дал мне в руки оружие против этого общества, и если оно когда-нибудь станет преследовать меня клеветой (а это непременно случится), то у меня по крайней мере найдется средство отомстить; нигде ведь нет столько низкого и смешного, как там. Я уверен, что вы никому не расскажете, как я хвастаюсь, а то меня сочтут еще смешнее других; с вами же я говорю как со своей совестью, а потом так приятно исподтишка посмеяться над тем, чего так добиваются и чему так завидуют глупцы, — с человеком, который заведомо всегда готов разделить ваши чувства; я имею в виду вас, милый друг, и повторяю это, ибо это место моего письма несколько неясно.

Но вы мне напишете, не правда ли? Я уверен, что вы не писали мне по какой-нибудь важной причине. Не больны ли вы? Не болен ли кто в семье? Боюсь, что так. Мне говорили что-то в этом роде. На следующей неделе жду вашего ответа и надеюсь, что он будет не короче моего письма и уж, наверно, лучше написан. Боюсь, что не разберете моего маранья.

Прощайте, милый друг; может быть, если Богу угодно будет вознаградить меня, я добьюсь отпуска и тогда, во всяком случае, получу какой бы то ни было ответ.

Поклонитесь от меня всем, кто меня не забыл.

Весь ваш

М. Лермонтов.

С. 347. *...просил отпуска на полгода — отказали, на 28 дней — отказали, на 14 дней — великий князь и тут отказал...* — О попытках получить отпуск Лермонтов писал также брату Марии Александровны — А. А. Лопухину (см. № 574).

Весь этот свет, который я оскорблял в своих стихах... — Подразумевается, в частности, заключительная строфа стихотворения «Смерть поэта».

573. А. П. Шувалову

Автограф: РГАЛИ. Ф. 2514. Оп. 1. № 80. Л. 1; на л. 2 об. адресующая помета рукой Лермонтова: «Monsieur le comte André Chouvalof».
Печатается по автографу.
Датируется весной 1838 г. — мартом 1840 г., т. е. временем между возвращением А. П. Шувалова из ссылки с Кавказа (весна 1838 г.) и арестом Лермонтова за дуэль с Барантом.
Впервые: ЛН 1952: 485 (факсимиле); Лермонтов 1953: IV, 480 (с ошибками во французском тексте).

Перевод:

Дорогой граф!

Окажите любезность, одолжив мне вашего пса Монго, чтобы продлить породу, которая у меня уже повелась от него, вы меня чрезвычайно обяжете.

Преданный вам Лермонтов.

С графом Андреем Павловичем Шуваловым (1816–1876) Лермонтов служил в л.-гв. Гусарском полку.

С. 348. *...одолжив мне вашего пса Монго...* — По воспоминаниям М. Н. Лонгинова, пес Монго принадлежал А. А. Лопухину и от его клички получил свое прозвище А. А. Столыпин. Поэтому Лермонтов пишет, что этот пес уже «одолжил» его родственником по прозвищу *Монго*.

574. А. А. Лопухину

Автограф — в частном собрании (выставлялся на аукционе Сотбис в 2002 г.); ранее (до 1913 г.) находился в собрании барона Д. Г. Гинцбурга (см.: Лермонтов 1910–1913: V, 39; Лермонтов 1935—1937: V, 552;), затем в коллекции С. М. Лифаря (см. Измайлов 1965; Зильберштейн 1970). Конец письма оторван.
Печатается по: Лермонтов 1910–1913: IV, 335, где было напечатано по автографу.
Датируется второй половиной февраля — первой половиной марта 1839 г. по биографическим основаниям: сын А. А. Лопухина Александр родился 13 февраля 1839 г.
Впервые: Лермонтов 1889–1891: V, 424–425.

С. 348. *...радуюсь твоему счастию и поздравляю тебя и милую твою жену.* — С Алексеем Александровичем Лопухиным Лермонтов познакомился еще в детстве, как только приехал в Москву для подготовки в Московский университетский благородный пансион. А. А. Лопухин был одним из ближайших друзей поэта. Они одновременно учились в Московском университете и расстались только в 1832 г., когда Лермонтов уехал в Петербург. В 1838 г. А. А. Лопухин женился на княжне Варваре Александровне Оболенской и 13 февраля 1839 г. у них родился сын Александр.

Ребенка милого рожденье... — См.: Т. 1. № 370 и примеч.

С. 349. *Вышел бы в отставку, да бабушка не хочет...* — Об отставке Лермонтов начал думать после возвращения из ссылки, но Е. А. Арсеньева была против (см. также примеч. к № 566, 568, 584). 16 октября 1839 г. М. А. Лопухина писала А. М. Верещагиной-Хюгель, что Лермонтов старается уговорить бабушку разрешить ему оставить службу и «эту малость она ему обещает, если он не поленится стать адъютантом, ибо это теперь ее навязчивая идея» (Лермонтов 2002: VII, 175). См. об этом: Герштейн 1986: 52.

575. А. И. Тургеневу

Автограф: РГАЛИ. Ф. 501. Оп. 1. № 140. Л. 1, на л. 2 рукой Лермонтова: «Его превосходительству милостивому государю Александру Ивановичу Тургеневу».
Печатается по автографу.
Датируется серединой ноября (18-го?) по содержанию письма и материалам дневника Тургенева (ЛН. 1948: 28).
Впервые: Огонек. 1939. № 25–26. С. 7; ЛН 1948: 26 (публ. Н. П. Пахомова).

Адресат письма — Александр Иванович Тургенев (1784–1845) — брат декабриста Н. И. Тургенева, друг Пушкина, Жуковского, Вяземского. С Лермонтовым А. И. Тургенев познакомился впервые как с автором стихотворения «Смерть поэта» (Т. I. № 334). 2 февраля 1837 г. он записал в своем дневнике: «Стихи Лермонтова прекрасные» (Щеголев 1929: 256). После возвращения Лермонтова из ссылки Тургенев познакомился с ним лично и часто встречался у общих знакомых, в особенности, у Карамзиных.

Причина написания этого письма изложена А. И. Тургеневым в письме П. А. Вяземскому от 8 апреля 1840 г.: «Дело вот как было: барон Д'Андре, помнится, на вечеринке у Гогенлоге, спрашивает меня, правда ли, что Лермонтов в известной строфе своей бранит французов вообще или только одного убийцу Пушкина, что Барант желал бы знать от меня правду <...> На другой же день встретил я Лермонтова и на третий получил от него копию со строфы; через день или два, кажется, на вечеринке или на бале уже у самого Баранта, я хотел показать эту строфу Андре; но он прежде сам подошел ко мне и сказал, что дело уже сделано, что Барант позвал на бал Лермонтова, убедившись, что он не думал поносить французскую нацию» (Остафьевский архив 1899: IV, 112–113; ЛН 1948: XLV–XLVI, 410). Упомянутый бал во французском посольстве состоялся 1 января 1840 г. (см.: Летопись 2003: 330).

576. К. Ф. Опочинину

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 26. Л. 1–1 об. (без архивной пагинации). На л. 2 помета: «à monsieur monsieur Opotchinine».
Печатается по автографу.
Датируется предположительно первыми числами марта (до 11) 1840 г. — исходя из датирующей пометы, сделанной неизвестной рукой (может быть, рукой Опочинина): «1840 г. апреля 3-го». Однако эта помета, очевидно, содержит ошибку, так как с 11 марта и до 19–20 апреля 1840 г. Лермонтов находился под арестом за дуэль с Барантом. Таким образом, если записка относится к 1840 г.,

то ее следует датировать временем до 11 марта. Однако нельзя исключать, что эта датирующая помета позднейшего происхождения, сделана по догадке и т. д. Вероятно, более корректно датировать эту записку широко: серединой мая 1838 — началом марта 1840 г. по времени службы Лермонтова в Лейб-гвардии гусарском полку, расквартированном в Софии под Царским Селом (см.: Летопись 2003: 288), когда Лермонтов мог общаться со штабс-ротмистром л.-гв. Конного полка К. Ф. Опочининым в Петербурге.

Впервые: Лермонтов 1887: I, 475.

Перевод:

О! милый и любезный Опочинин! *И* вчера вечером, когда я вернулся от вас, мне сообщили со всеми возможными предосторожностями роковую весть. *И* сейчас, в то время, когда вы будете читать эту записку, меня уже не будет. . . . .

. . . . (переверните)

в Петербурге. Ибо я несу караул. *И посему* (стиль библейский и наивный) верьте моему искреннему сожалению, что не мог вас навестить.

И весь ваш

Лермонтов.

Записка адресована штабс-ротмистру л.-гв. Конного полка, флигель-адъютанту Константину Федоровичу Опочинину (1808–1848). О знакомстве Лермонтова с Опочининым см.: Кистенева 1995: 17–18; Кистенева 2000: 21–25; Миниатюра 1981: 83 (портрет и краткие сведения об Опочинине). Лермонтов бывал у Опочинина и играл с ним в шахматы. По-видимому, неожиданный приказ помешал одному из таких визитов. Лермонтов решил пошутить. Первая часть записки кончается как бы угрозой: «...je ne serai plus...» («меня уже не будет...»), которая, если перевернуть лист, объясняется просто: «à Pétersbourg» («в Петербурге»).

С. 350. *И посему (стиль библейский и наивный)*... — Лермонтов подчеркивает союз *И* в начале предложений — такая анафорическая конструкция характерна для библейских текстов.

577. Н. Ф. Плаутину

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 28. Л. 1–1об.

Печатается по автографу.

Датируется 10–11 марта 1840 г. — по времени, когда до командира лейб-гвардии Гусарского полка Н. Ф. Плаутина дошли дошли известия о дуэли Лермонтова с Барантом, состоявшейся 18 февраля. Как сообщал Н. Ф. Плаутин Комиссии Военного суда по делу Лермонтова в официальном письме от 19 марта 1840 г., «о дуэли его с французским подданным Бароном Де-Барантом узнал <...> по городским слухам прибыв по делам службы в С. Петербург в прошлое воскресенье 10 марта» (Щеголев 1929: II, 33; Летопись 2003: 336). Можно предполагать, что в этот день Плаутиным и были затребованы соответствующие объяснения, соответственно, письмо Лермонтова написано в тот же день или на следующий. 11 марта 1840 г. был отдан приказ об аресте Лермонтова и предании его военному суду «за произведенную им, по собственному его сознанию, дуэль, и за недонесение о том тотчас своему начальству» (см.: Там же: 31).

Впервые: Век. 1862. № 3. 18 января. С. 57–58 (с неточностями); Лермонтов 1889–1891: V, 426–427 (полностью).

Письмо адресовано командиру л.-гв. Гусарского полка Николаю Федоровичу Плаутину (1794–1866), непосредственному начальнику Лермонтова по службе. М. Н. Лонгинов писал про него и М. Г. Хомутова: «...ближайшие начальники Лермонтова в лейб-гусарском полку были не только отличные служаки, в лучшем смысле слова, но и благороднейшие люди, умевшие и вести прекрасно свое дело, и ценить в подчиненных качества ума и души, независимо от служебных достоинств» (РС. 1873. Т. 7. № 3. С. 388). Но тем не менее, за дуэль с Барантом Плаутин предлагал разжаловать Лермонтова в рядовые до выслуги, тогда как командир Гвардейского резервного кавалерийского корпуса генерал-адъютант В. К. Кноринг предлагал более мягкое наказание: выписать в армию с тем же чином и с 6-месячным содержанием под арестом в крепости.

С. 251. *...господин Барант стал требовать у меня объяснения насчет будто мною сказанного...* — В своих официальных показаниях Лермонтов так передал их диалог:

«Барант: Правда ли, что в разговоре с известной особой вы говорили на мой счет невыгодные вещи?

Лермонтов: Я никому не говорил о вас ничего предосудительного.

Барант: Все-таки если переданные мне сплетни верны, то вы поступили весьма дурно.

Лермонтов: Выговоров и советов не принимаю и нахожу ваше поведение весьма смешным и дерзким.

Барант: Если бы я был в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело.

Лермонтов: В России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и мы меньше других позволяем оскорблять себя безнаказанно» (Герштейн 1986: 6).

Какие именно слова Лермонтова имел в виду Барант, неясно. По одной версии, причиной дуэли послужило соперничество за расположение княгини М. А. Щербатовой (см. также: Т. 1. № 390 и примеч.) Е. П. Ростопчина считала, что столкновение было вызвано «спором о смерти Пушкина» (Воспоминания 1989: 362). Какую-то роль городские сплетни приписывали жене русского консула в Гамбурге Терезе фон Бахерахт, возможно, как распространительнице рассказа о дуэли в светских кругах (см.: ЛН 1948: XLV–XLVI, 28–29; Герштейн 1986: 14–18). Сама Щербатова ожесточенно отрицала свою причастность к дуэли. В письме А. Д. Блудовой она писала: «Никогда его родные не захотят понять, что я была ни при чем в этой дуэли, и что только благодаря великолепному воспитанию, которое ему дали, вся эта история имела место» (Летопись 2003: 351).

С. 351. *Его секундантом был француз, которого имени я не помню...* — Секундантом Баранта был Рауль д'Англес. Вероятно, Лермонтов не хотел назвать ни его, ни своего секунданта, А. А. Столыпина, т. к. по закону секундантам грозило судебное преследование. 12 марта А. А. Столыпин сам заявил о своем участии в дуэли и был арестован, а де Барант поспешно уехал в Париж.

578. С. А. Соболевскому

Автограф: РГАЛИ. Ф. 450. Оп. 1. № 7. Л. 173.
Печатается по автографу.
Датируется мартом 1840 г. по содержанию: Лермонтов, очевидно, намекает на свой арест. Во время ареста Лермонтова в 1837 г. Соболевский был за границей, соответственно, письмо следует отнести к 1840 г., когда Лермонтов был арестован за дуэль с Барантом (см. также след. письмо, № 579). Поскольку Соболевский прислал Лермонтову приглашение, он, видимо, еще не знал об аресте Лермонтова, значит, письмо, вероятно, написано вскоре после 10 марта.
Впервые: Лермонтов М. Герой нашего времени / Вступ. ст. А. К. Виноградова. М., 1932. С. 19 (в переводе; публикация А. К. Виноградова); Лермонтов 1935–1937: V, 402.

Перевод:

Я очень огорчен, дорогой Соболевский, что не могу сегодня воспользоваться вашим приглашением, обществом и ростбифом; надеюсь, что вы простите мне мою измену в связи с моим теперешним положением, которое от меня никак не зависит.

Весь ваш
Лермонтов.

Сергей Александрович Соболевский (1803–1870), известный библиофил и библиограф, был одним из ближайших друзей Пушкина.

С. 352. *...простите мне мою измену в связи с моим теперешним положением, которое от меня никак не зависит.* — В середине марта 1840 г. Лермонтов был арестован за дуэль с де Барантом, именно это он и имеет в виду, говоря о своем «теперешнем положении».

579. С. А. Соболевскому

Автограф: РГАЛИ. Ф. 450. Оп. 1. № 7. Л. 172
Печатается по автографу.
Датируется концом марта — серединой апреля 1840 г. по времени ареста Лермонтова за дуэль с Барантом (см. ниже).
Впервые: Виноградов 1928: 72.

Записка Лермонтова С. А. Соболевскому с просьбой прислать ему двухтомный роман французского писателя Альфонса Карра (1808–1890) «Sous les tilleuls» («Под липами») написана им в конце марта — первой половине апреля 1840 г.

Арестованный 10 марта 1840 г. по делу о поединке с де Барантом, Лермонтов был заключен в Петербургском Ордонанс-гаузе. 17 марта его перевели на Арсенальную гауптвахту. В конце месяца он снова был препровожден в Ордонанс-гауз, но помещен уже не в комнате караульного офицера, где находился прежде, а в особой комнате, устроенной для подсудимых офицеров.

580. Великому князю Михаилу Павловичу

Автографы: 1) ОР РНБ. Ф. 429. № 25. Л. 1–2 об. — беловой, с поправкой; первоначальный вариант письма, который, по-видимому, был отвергнут и адресату не отослан; 2) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 35. Л. 1–2 об. — беловой, оконча-

тельная редакция, посланная адресату; на Л. 1 дата, проставленная рукой Л. В. Дубельта: «29 апреля 1840», ниже его же помета «Государь изволил читать», на левом поле листа в центре — карандашная запись: «К делу»
Копии: 1) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 26. Л. 12–12 об. – копия с автографа РНБ в тетради копий и выписок В. Х. Хохрякова; 2) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 85. Л. 38–40 об. — копия с автографа РНБ в «Материалах для биографии М. Ю. Лермонтова» В. Х. Хохрякова.
Печатается по автографу ИРЛИ.
Датируется между 19–20 апреля (освобождение Лермонтова из-под ареста; см. Летопись 2003: 366) и 29 апреля 1840 г., которым помечено высочайшее чтение.
Впервые: РС. 1872. № 2. С. 295–296 (первоначальный вариант письма); Лермонтов 1889–1891: V, 427–428 (окончательная редакция письма).

Великий князь Михаил Павлович (1798–1849) был главным начальником военно-учебных заведений. Получив настоящее письмо, Михаил Павлович направил его на рассмотрение Николая I, о чем на автографе имеются пометки, сделанные начальником штаба жандармского корпуса генералом Дубельтом: «Государь изволил читать», «К делу, 29 апреля 1840». После чтения письма Николаем I Бенкендорф перестал требовать от Лермонтова признать ложным показание о выстреле в сторону. Из Петербурга на Кавказ Лермонтов выехал между 3 и 5 мая.

С. 352. *Бенкендорф* Александр Христофорович (1783–1844), шеф корпуса жандармов, главный начальник III Отделения собственной его величества канцелярии.

...будучи уже не раз облагодетельствован Вами. — Михаил Павлович содействовал смягчению приговора Лермонтову за дуэль с Барантом.

581. А. А. Вадковской

Автограф неизвестен. По сообщению Д. И. Абрамовича, впервые опубликовавшего записку к Вадковской, автограф — «на листке почтовой бумаги», со штемпелем «M. L.» и дворянской короной, — находился «в архиве светлейшего князя Меншикова» (Лермонтов 1910–1913: V, 40). В личных фондах А. С. Меншикова в РГА ВМФ (Ф. 19. Оп. 2. № 255–260 (письма разных лиц к А. А. Вадковской)) и РО ИРЛИ (Ф. 397) автографа не обнаружено.
Печатается по тексту первой публикации.
Датируется предположительно 1838–1840 гг.
Впервые: Лермонтов 1910–1913: V, 40.

Перевод:

Очень признателен вам за адрес того дома, который вечно будет мне дорог, и умоляю милую кузину не забыть меня и оставить за мной мазурку.

Ваш преданный
Лермонтов.

Александра Александровна Вадковская, ур. Меншикова (1817–1884), жена Ивана Яковлевича Вадковского (см. о нем. примеч. к № 550), в 1838–1840 гг. гостила у отца в Петербурге, где кн. Александр Сергеевич Меншиков управлял Морским министерством (с 1836 г.). Записка была обнаружена в архиве А. С. Меншикова. Меншиковы были в дальнем родстве с Арсеньевыми.

582. А. А. Лопухину

Автограф — в частном собрании (выставлялся на аукционе Сотбис в 2002 г.); ранее (до 1913 г.) находился в собрании барона Д. Г. Гинцбурга (см.: Лермонтов 1910–1913: V, 39; Лермонтов 1935–1937: V, 559), затем в коллекции С. М. Лифаря (Измайлов 1965; Зильберштейн 1970). Фотокопия окончания письма (от слов «…Так-то мой милый Алеша…») представлена в электронном каталоге аукциона Сотбис.

Печатается по фотокопии письма (окончание) и публикации: Лермонтов 1910–1913: IV, 338, где оно было последний раз напечатано по автографу.

Датируется 17 июня 1840 г. по помете Лермонтова и по содержанию.

Впервые: Лермонтов 1889–1891: V, 428–429.

С. 353. *Завтра я еду в действующий отряд, на левый фланг, в Чечню…* — Лермонтов был прикомандирован к отряду генерала А. В. Галафеева на левом фланге Кавказской линии.

…брать пророка Шамиля… — Имам Шамиль (около 1798–1871), предводитель кавказских горцев в Кавказской войне.

С. 354. *…живу вместе с графом Ламбертом…* — Ламберт Карл Карлович (1815–1865) участвовал в экспедиции А. В. Галафеева и в сражении при Валерике.

…вздыхает по графине Зубовой… — Екатерина Александровна Зубова, урожденная Оболенская (1811–1943), сестра жены А. А. Лопухина. Ее муж, В. Н. Зубов, был внуком А. В. Суворова и двоюродным братом Д. Г. Розена, приятеля Лермонтова.

Дорогой я заезжал в Черкаск к генералу Хомутову… — Михаил Григорьевич Хомутов (1795–1864), генерал, командир л.-гв. Гусарского полка во время службы в нем Лермонтова, а с 1839 г. начальник штаба Войска Донского. Жил в Черкесске (Новочеркасске).

Варвара Александровна — жена А. А. Лопухина. См. примеч. к № 574.

583. А. А. Лопухину

Автограф — в частном собрании (выставлялся на аукционе Сотбис в 2002 г.); ранее (до 1913 г.) находился в собрании барона Д. Г. Гинцбурга (см.: Лермонтов 1910—1913: V, 39; Лермонтов 1935—1937: V, 561), затем в коллекции С. М. Лифаря (Измайлов 1965; Зильберштейн 1970). Фотокопия первой страницы письма (до слов «…в отряд в Чечню») представлена в электронном каталоге аукциона Сотбис. Согласно описанию Висковатова, на последнем листе адресующая надпись: «Его высокоблагородию милостивому государю Алексею Александровичу Лопухину. В Москве на Молчановке, в собственном доме, в приходе Николы Явленного». Почтовый штемпель: «Пятигорск. Сентября [12] 1840» (Лермонтов 1889–1891: V, 431; ср. Лермонтов 1910–1913: IV, 408).

Печатается по фотокопии автографа (начало письма) и публикации: Лермонтов 1910–1913: IV, 339–340, где оно было последний раз напечатано по автографу.

Датируется началом 10-х чисел сентября 1840 по почтовому штемпелю.

Впервые: РС. 1884. № 1. С. 90 (отрывок); Лермонтов 1889–1891: V, 430–431.

С. 354. *У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду.* — Лермонтов имеет в виду сражение при реке Валерик и в

своем рассказе имитирует стиль официальных сообщений о военных действиях. Видимо, только так и можно было писать. В следующем письме Лопухину Лермонтов замечает: «описывать экспедиции не велят».

С. 355. *...потом не знаю, куда отправлюсь...* — после экспедиции была передышка в Грозной, а конец года Лермонтов провел в Ставрополе.

584. А. А. Лопухину

Автограф — в частном собрании (продан на аукционе Кристис в 2007 г.); ранее (до 1913 г.) находился в собрании барона Д. Г. Гинцбурга (см.: Лермонтов 1910–1913: V, 39; Лермонтов 1935–1937: V, 561), затем в коллекции С. М. Лифаря (Измайлов 1965; Зильберштейн 1970). Фотокопия первой страницы письма (до слов «...я махнул рукой...») представлена в электронном каталоге аукциона Кристис.

Согласно описанию Д. И. Абрамовича, на последнем листе адресующая надпись: «В Москве на Молчановке, в собственном доме, в приходе Николы Явленного. Его высокоблагородию милостивому государю Алексею Александровичу Лопухину». Почтовый штемпель: «Кавказ. 1840 г. Ноября 4 дня» (Лермонтов 1910—1913: IV, 408; ср. Лермонтов 1889–1891: V, 431, дата на штемпеле указана как «Ноября 3 дня», но это, видимо, опечатка, т. к. в начале письма стоит дата: «4 ноября 1840»).

Печатается по фотокопии автографа (начало письма) и публикации: Лермонтов 1910–1913: IV, 340–341, где оно было последний раз напечатано по автографу. Датируется предположительно 16–26 октября 1840 г., т. к. отряд Галафеева вернулся из экспедиции 15 или 16 октября, а выступил в новую экспедицию 27 октября (Летопись 2003: 480, 487). Во время этой передышки Лермонтов и мог написать письмо. Почтовый штемпель: «Кавказ. 1840 г. Ноября 4 дня» был поставлен в Ставрополе, куда письмо, видимо, привезли с оказией, и на датировку письма не влияет.

Впервые: РС. 1884. № 1. С. 86 (отрывок); Лермонтов 1889–1891: V, 431–432 (с пропуском).

С. 355. *Пишу тебе из крепости Грозной...* — Теперь — город Грозный. Крепость была заложена в 1818 г. А. П. Ермоловым.

...возвратился после 20-дневной экспедиции в Чечне. — Об участии Лермонтова в этой экспедиции см.: Ракович 1900: 247–250, прилож.: 33; Виноградов 1950: 101–172; Попов 1951: 167–179.

...я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников... — Руфин Иванович Дорохов (1801–1852) командовал особым отрядом «охотников» (т. е. добровольцев), выполнявшим самые опасные задания. После его ранения 10 октября 1840 г. командование отрядом было передано Лермонтову. Участник чеченского похода артиллерист К. Х. Мамацев вспоминал: «Даже в этом походе он <Лермонтов> никогда не подчинялся никакому режиму, и его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, появлялась там, где ей вздумается, и в бою она искала самых опасных мест...» (Воспоминания 1989: 336).

...если мне случится с ним удачно действовать, то, авось, что-нибудь дадут... — Лермонтов рассчитывал в случае получения награды получить прощение и подать

в отставку. За участие в чеченской экспедиции Лермонтов был представлен к награждению золотой саблей с надписью «за храбрость». Но в Петербурге он был вычеркнут из наградных списков.

585. <Д. С.> Бибикову

Автограф: Научная библиотека Тартуского университета. Отдел рукописей. Коллекция Л. А. Шардиуса, № 1697 (Tartu Ülikooli Raamatukogu. Käsikirjakogu. Friedrich Ludwig Schardiuse autograafide kollektsioon. Sch 1697). Л. 1–1 об.; на Л. 2 об. позднейшая приписка неустановленным почерком: «Похлопотать, чтоб выслали мне в Петерб<ург> мой атестат на жалованье как можно скорей — а ровно и все бумаги мои»
Печатается по автографу.
Датируется второй половиной февраля 1841 г., когда Лермонтов находился в отпуске в Петербурге.
Впервые: Лермонтов 1889–1891: V, 432–433.

Адресатом письма является, видимо, Дмитрий Сергеевич Бибиков (1812–1861) выпускник Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров 1832 г. В марте 1840 г. Бибиков был направлен на Кавказ. В октябре–ноябре 1840 г. участвовал в боевых действиях против горцев. Зимой 1840 г. одновременно с Лермонтовым находился в Ставрополе. Гипотеза о том, что письмо адресовано Александру Ивановичу Бибикову, не согласуется с содержанием письма: А. И. Бибиков в феврале 1841 г. находился в Петербурге.

С. 356. *...объясняю тайну моего отпуска...* — Согласно Своду военных постановлений (Ч. II. Кн. I, раздел IV) офицеры, выписанные за проступки из гвардии, могли получить отпуск не иначе как с «Высочайшего соизволения». Так что для Лермонтова сделали исключение.

...приехав сюда в Петербург на <второй> половине масленицы, я на другой же день отправился на бал к г<рафине> Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. — Бал у гр. А. К. Воронцовой-Дашковой, как установила Э. Г. Герштейн, состоялся 9 февраля, т. е. в последний день масленицы. На бал приехал император и, конечно, был недоволен, увидев на балу Лермонтова. После этого Лермонтову было передано через дежурного генерала Главного штаба графа П. А. Клейнмихеля, что «он уволен в отпуск для свидания с бабушкой, а что в его положении неприлично разъезжать по праздникам, особенно когда на них бывает двор, и что поэтому он должен воздержаться от посещений таких собраний» (Лермонтов 1889–1891: VI, 374; Летопись 2003: 521).

...из Валерикского представления меня здесь вычеркнули... — Лермонтова, отличившегося в сражении при Валерике 11 июля, А. В. Галафеев представил к ордену св. Владимира 4-й степени с бантом, но затем награда была снижена до ордена св. Станислава 3-й степени. Впоследствии генерал-адъютант П. Х. Граббе в рапорте от 3 февраля 1841 г. представил Лермонтова к золотой полусабле. Во всех этих наградах Лермонтову было отказано.

Мещеринов, верно, прежде меня приедет в Ставрополь... — Поручик л.-гв. Гусарского полка Дмитрий Васильевич Мещеринов выехал из Петербурга в Став-

рополь 22 февраля 1841 г., в Москву приехал 7 марта и выехал в Калугу 9 марта. Лермонтов прибыл в Ставрополь 9 мая.

...не продавай удивительного лова... — Лов — порода черкесских лошадей.

Покупаю для общего нашего обихода Лафатера и Галя... — Здесь Лермонтов имеет в виду труды знаменитых френологов — «Искусство познавать людей по чертам лица» (L'Art de connaître les hommes par la physionomie. Paris, 1820) Жана-Каспара Лафатера и «Анатомию и физиологию нервной системы вообще и мозга в частности» (Anatomie et physiologie du système nerveux on général et du cerveux en particulier. Vol. 1–4. Paris, 1810–1820) Франса-Жозефа Галля.

586. А. А. Краевскому

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 16. Л. 1.
На Л. 1 сверху рукой Краевского помета чернилами: «Лермонтов», на Л. 2 об. адрес: «Его Высокоблагородию Андрею Александровичу Краевскому. У Измайловского моста. — Спросить чей дом у Аничькова моста на Фонтанке, в доме к. Долгорукова, на квартире к. Одоевского».
Печатается по автографу.
Датируется 13–14 апреля 1841 г.
Впервые: Лермонтов 1891 (издание Введенского): IV, 280 (с неточностями).

О Краевском см. примеч. к № 556.

У Владимира Федоровича Одоевского (1803–1869) — писателя, литературного и музыкального критика, который принимал близкое участие в издании журнала «Отечественные записки», издаваемого Краевским, Лермонтов был 13 апреля 1841 г., накануне отъезда. В это последнее свидание Одоевский подарил Лермонтову записную книжку-альбом (см. примеч. к № 589). Лермонтов вписал в подаренную ему записную книжку ряд своих лучших последних стихотворений.

С. 355. *...отдай подателю сего письма для меня два билета на «О<течественные> Записки».* — Две подписки на журнал, вероятно, предназначались для Е. А. Арсеньевой и самого поэта.

587. Е. А. Арсеньевой

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 33. Л. 1–1 об.
Копия: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 26. Л. 13–13 об. – в тетради материалов В. Х. Хохрякова.
Печатается по автографу.
Датируется 19 апреля 1841 г. по содержанию — упоминанию о том, что Лермонтов уже два дня находится в Москве, куда он приехал 17 апреля (см. Летопись 2003: 541).
Впервые: Лермонтов 1889–1891: V, 433–434.

С. 357. *...остановился у Розена...* — Дмитрий Григорьевич Розен (1815 — после 1885), в 1838–1840 гг. однополчанин Лермонтова. Его адрес: Староконюшенный переулок (современный адрес № 3а/19), угол Гагаринского.

...Алексей Аркадич здесь еще; и едет послезавтра. — А. А. Столыпин уехал из Москвы 22 апреля, а Лермонтов 23 апреля и нагнал его в Туле. Дальше они ехали вместе.

...был вчера у Николая Николаевича Анненкова... — Николай Николаевич Анненков (1793–1865) — дальний родственник Лермонтова, генерал-майор свиты его величества (с 1835 г.) и командир л.-гв. Измайловского полка. Его жене Вере Ивановне, урожденной Бухариной, Лермонтов в 1831 г. посвятил стихи (см.: Т. 1. № 245).

...Екиму Шангирею... — Аким Павлович Шан-Гирей.

Вероятно, Сашенькина свадьба уж была... — Александра Углицкая — дочь Александра Васильевича Углицкого и Марии Александровны, урожденной Евреиновой, была троюродной сестрой Лермонтова. 18 апреля 1841 г. А. А. Углицкая венчалась с К. Н. Альбрехтом. Ей посвящено стихотворение Лермонтова «<А. А. Углицкой>» («Ma chere Alexadrine...»). См.: Т. 1. № 404.

...а Леокадии скажите от меня... — Леокадия — сестра Александры Александровны. Всем родственникам был известен ее очень непростой нрав. Мария Лопухина писала А. М. Верещагиной-Хюгель в январе 1845 г.: «Лишь бы она <свадьба Леокадии> не расстроилась, так как у девицы не очень хорошая репутация. Кроме дурного характера, она и поведения непримерного. Это не клевета, ведь ты знаешь, что тетенька <Е. А. Столыпина> всегда готова взять сторону родни, однако она сама мне сказала: „К сожалению, что тебе ни скажут про Леокадию дурного, все будет правда“. Госпожа Углицкая говорила, что поспешила увезти дочь, чтоб у жениха не было времени узнать ее получше» (Кольян 2013: 175).

588. Е. А. Арсеньевой

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 13. Л. 1–1 об.
Печатается по автографу.
Датируется 9–10 мая 1841 г. по содержанию: Лермонтов на основании слов: «... сейчас приехал только в Ставрополь». Лермонтов приехал в Ставрополь 9 мая. См. также дату на письме С. Н. Карамзиной.
Впервые: Отчет Публичной библиотеки за 1875 год. СПб., 1876. С. 107–108.

С. 588. *...отправляюсь в крепость Шуру.* — Лермонтов должен был ехать в Темир-Хан-Шуру (ныне г. Буйнакск), но по пути вместе с А. А. Столыпиным свернул в Пятигорск.

Я всё надеюсь ~ что мне все-таки выйдет прощенье, и я могу выйти в отставку. — Лермонтов с самого возвращения из первой ссылки не перестает выражать желание об отставке (см. примеч. к № 566, 568, 574, 584).

589. С. Н. Карамзиной

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 37. Л. 1–2 — на л. 2 помета: «в Тингинском <так!> <полку>».
Печатается по автографу.
Датируется 10 мая 1841 г.; год устанавливается по содержанию.
Впервые: Вестник АН СССР. 1934. № 10. С. 15 (отрывок в русском переводе); ЛН 1935: 514 (полный текст).

Перевод

10 мая.

Я только что приехал в Ставрополь, дорогая м-ль Софи, и отправляюсь в тот же день в экспедицию с Столыпиным Монго. Пожелайте мне: счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать. Надеюсь, что это письмо застанет вас еще в С.-Петербурге и что в тот момент, когда вы будете его читать, я буду штурмовать Черкей. Так как вы обладаете глубокими познаниями в географии, то я не предлагаю вам смотреть на карту, чтоб узнать, где это; но, чтобы помочь вашей памяти, скажу вам, что это находится между Каспийским и Черным морем, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта, а главное довольно близко от Астрахани, которую вы так хорошо знаете.

Я не знаю, будет ли это продолжаться; но во время моего путешествия мной овладел демон поэзии, или — стихов. Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Одоевский, что, вероятно, принесло мне счастье. Я дошел до того, что стал сочинять французские стихи, — о падение! Если позволите, я напишу вам их здесь; они очень красивы для первых стихов и в жанре Парни, если вы его знаете.

ОЖИДАНИЕ

Я жду ее в сумрачной равнине...

Вы можете видеть из этого, какое благотворное влияние оказала на меня весна, чарующая пора, когда по уши тонешь в грязи, а цветов почти не сыщешь. Итак, я уезжаю вечером; признаюсь вам, что я порядком устал от всех этих путешествий, которым, кажется, суждено вечно длиться. Я хотел написать еще кое-кому в Петербург, в том числе и г-же Смирновой, но не знаю, будет ли ей приятен этот дерзкий поступок, и поэтому воздерживаюсь. Если надумаете ответить мне, пишите по адресу: в Ставрополь, в штаб генерала Грабе, — я распорядился, чтобы мне пересылали письма. Прощайте; передайте, пожалуйста, всем вашим мое почтение; еще раз прощайте — будьте здоровы, счастливы и не забывайте меня.

Весь ваш Лермонтов.

Письмо адресовано Софье Николаевне Карамзиной (1802–1865), дочери писателя и историографа Н. М. Карамзина, хозяйке известного литературного салона, где Лермонтов бывал в 1837–1841 гг.

С. 358. *Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Одоевский...* — Перед отъездом Лермонтова на Кавказ В. Ф. Одоевский подарил ему записную книгу с надписью: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам и всю исписанную. К<н> В. Одоевский. 1841. Апреля 13-е С. Пбург». Книга была возвращена Одоевскому в 1843 г. А. А. Хастатовым и в 1857 г. передана в Публичную библиотеку.

С. 359. *Ожидание («Я жду ее в сумрачной равнине...»)* — см.: Т. 1. № 420.

Я хотел написать еще кое-кому в Петербург, в том числе и г-же Смирновой... — А. О. Смирнова-Россет (1809–1882) входила в дружеский кружок салона Карамзиных. Ей Лермонтов посвятил в 1840 г. стихотворение («А. О. Смирновой» — см.: Т. I. № 369).

...пишите по адресу: в Ставрополь, в штаб генерала Грабе... — Павел Христофорович Граббе (1789–1875), генерал, командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории.

590. Е. А. Арсеньевой

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 14. Л. 1–2 об.
Копия: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 26. Л. 13 — в тетради материалов В. Х. Хохрякова.
Печатается по автографу.
Датируется 28 июня 1841 г., год устанавливается по содержанию, так как в июне 1840 г. (к которому долгое время относили это письмо) Лермонтов был не в Пятигорске, а в Ставрополе и затем в экспедиции в Чечне (см. его письмо к А. А. Лопухину от 17 июня 1840 г., № 582). В пользу 1841 г. говорит и упоминание о «книге графини Росточиной» — сборнике 1841 г. с дарственной надписью Лермонтову (см. ниже).
Впервые: Лермонтов 1889–1891: V, 429–430.

С. 360. *Я получил ваших три письма <...> и бумагу от Степана...* — Письма к Лермонтову адресовались в Ставрополь, в штаб генерала П. Х. Граббе. Потом эти письма были ему посланы в Пятигорск, чем и объясняются слова Лермонтова о получении им сразу трех писем Е. А. Арсеньевой и деловой бумаги от Степана Ивановича Рыбакова, управляющего из Тархан.

Напрасно вы мне не послали книгу графини Ростопчиной... — Евдокия Петровна Ростопчина (урожд. Сушкова, 1811–1858; см. о ней: Т. 1. № 409 и примеч.) послала в подарок Лермонтову книгу «Стихотворения графини Евдокии Петровны Ростопчиной» (СПб., 1841) с надписью: «Михаилу Юрьевичу Лермонтову в знак удивления к его таланту и дружбы искренной к нему самому. Петербург, 20 апреля 1841».

...купите мне полное собрание сочинений Жуковского последнего издания... — В письме имеются в виду «Стихотворения В. Жуковского (в семи томах). Издание четвертое, исправленное и умноженное, СПб., 1835». В 1839 г. издание было дополнено еще двумя томами.

Письма Лермонтова. Dubia

591. Е. А. Сушковой.

Автограф неизвестен.
Печатается по первой публикации.
Предположительно датируется 5 января 1835 г. (согласно мемуарам Е. А. Сушковой).
Впервые: РС. 1869. № 8, в составе «Записок» Е. А. Сушковой.

Текст письма обладает неопределенным статусом. В своих воспоминаниях Е. А. Сушкова (Хвостова) приводит это письмо Лермонтова, написанное от лица анонимного доброжелателя (Сушкова 1928). Сам Лермонтов описывал проведенную им интригу, приведшую к разрыву с Сушковой, в письме к А. М. Верещаги-

ной, написанном весной 1835 г. (см. № 554) и в романе «Княгиня Лиговская» (см. с. 113). В переписке и мемуарах лермонтовских современников встречаются разные версии сюжета с письмом: есть свидетельства, что оно было написано от лица женщины, некоторые мемуаристы утверждают, что Сушкова сразу узнала истинного автора (подробнее см.: Глассе 1979: 80–121; Лермонтов 2000–2002: VII, 315–318). Но само существование такого письма оспаривать, видимо, не приходится. В то же время аутентичность именно данного текста вызывает сильные сомнения.

Письма к Лермонтову

До нашего времени дошла очень незначительная часть писем, адресованных Лермонтову. В автографах сохранились только одно письмо от Е. А. Арсеньевой (№ 9 — в ОР РНБ) и записка от В. Ф. Одоевского на последнем листе рукописи «Мцыри» (№ 10 — в РО ИРЛИ). Письма от М. А. Лопухиной (1) и от А. М. Верещагиной (8) известны по публикации А. П. Шан-Гирея, напечатавшего их текст с пропусками (РО. 1890. № 8. С. 731–732, 734–736) и без точного указания имени автора письма (1) («письмо к Лермонтову старшей сестры Верещагиной»). Это письмо было атрибутировано старшей двоюродной сестре Верещагиной — М. А. Лопухиной существенно позже (см.: Николева 1940: 44–47). Автографы обоих писем впоследствии не были разысканы, их местонахождение в настоящее время неизвестно.

Письма 2–7 сохранились только в выписках одного из первых собирателей материалов о Лермонтове В. Х. Хохрякова, в его тетрадях, ныне хранящихся в ИРЛИ (Ф. 524. Оп. 4. № 26), куда он копировал не известные в печати творческие и эпистолярные тексты Лермонтова и записывал рассказы и воспоминания о нем. Часть выписок из этих тетрадей Хохряков использовал в своей обобщающей работе «Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова» (1857), рукопись которой также хранится в ИРЛИ (Ф. 524. Оп. 4. № 85; о В. Х. Хохрякове см.: Андроников 1977: 563–581). Письма, из которых были сделаны выписки, находились у С. А. Раевского (Там же. С. 577), чьими пояснениями пользовался Хохряков.

В настоящем издании письма и фрагменты из писем к Лермонтову печатаются как вспомогательный биографический материал.

1. От М. А. Лопухиной

Автограф неизвестен.
Печатается по первой публикации
Датируется 12 октября 1832 г.; год устанавливается по содержанию письма — по упоминанию вступления в военную службу, т. е. поступления в Юнкерскую школу.
Впервые: РО. 1890. № 8. С. 734–736.

Перевод:

12 октября. Москва.

Ваше письмо, помеченное третьим этого месяца, только что до меня дошло. Я не знала, что это день вашего рождения. Я вас поздравляю, дорогой мой, хотя

немного поздно. Я не могу вам выразить огорчение, которое причинила мне дурная новость, сообщенная вами. Как, после стольких усилий и трудов увидеть себя совершенно лишенным надежды воспользоваться их плодами и быть вынужденным начать совершенно новый образ жизни? Это поистине неприятно. Я не знаю, но думаю всё же, что вы действовали с излишней стремительностью, и, если я не ошибаюсь, это решение должно было быть вам внушено Алексеем Столыпиным, не правда ли?

Я вполне понимаю, насколько вы должны чувствовать себя выбитым из колеи этой переменой, так как вы никогда не были приучены к военной службе, но и теперь, как всегда, человек предполагает, а Бог располагает, и будьте совершенно уверены в том, что всё, что Он предполагает в своей бесконечной премудрости, служит несомненно для нашего блага. На военной службе вы так же будете иметь все возможности, чтобы отличиться; с умом и способностями возможно всюду стать счастливым. К тому же сколько раз вы говорили мне, что если бы вспыхнула война, вы бы не захотели оставаться безучастным. Ну вот, вы, так сказать, брошены судьбой на путь, который дает вам возможность отличиться и сделаться когда-нибудь знаменитым воином. Это не может помешать вам заниматься поэзией; почему же? одно другому не мешает, напротив, вы только станете еще более любезным военным.

Ну вот, мой дорогой, теперь для вас приходит самый критический момент, ради Бога, помните, насколько возможно, обещание, данное мне вами перед отъездом. Остерегайтесь слишком быстрого сближения с вашими товарищами, сначала узнайте их хорошо. У вас добрый характер, и с вашим любящим сердцем вы можете быть быстро покоренным; особенно избегайте ту молодежь, которая бравирует всякими выходками и ставит себе в заслугу глупое фанфаронство. Умный человек должен быть выше всех этих мелочей; это не заслуга, а наоборот, это хорошо только для мелких умов, предоставьте им это и следуйте своим путем.

Простите, мой дорогой друг, что я решаюсь давать вам эти советы; но они мне продиктованы самой чистой дружбой, а привязанность, которую я к вам питаю, заставляет меня желать вам всего лучшего; я надеюсь, что вы не рассердитесь на проповедницу морали, а наоборот, будете за это благодарны, я вас слишком хорошо знаю, чтобы в этом сомневаться.

Вы хорошо сделаете, если пришлете, как вы говорите, всё, что вы до сих пор написали; вы можете быть уверены, что я честно сохраню присланное; и вы же будете в восторге, найдя это когда-нибудь. Если вы будете продолжать писать, не делайте этого никогда в школе и не показывайте ничего вашим товарищам, потому что иногда самая невинная вещь доставляет нам гибель. Я не понимаю, почему вы так редко получаете мои письма? Я вас уверяю, что я не ленюсь и пишу вам часто и пространно. Ваша служба не помешает мне вам писать обыкновенно, и я всегда буду посылать мои письма по старому адресу; скажите мне, не лучше ли их отправлять на имя бабушки?

Я надеюсь, что ваше пребывание в школе не будет для вас препятствием писать мне; если у вас не будет времени делать это каждую неделю, ну тогда хотя бы раз в две недели; но прошу вас, не лишайте меня этого утешения.

Мужайтесь, мой дорогой, мужайтесь! не позволяйте разочарованию сломить вас, не отчаивайтесь, верьте мне, что всё будет хорошо, это не фразы утешения я вам предлагаю, вовсе нет; я сама не знаю, но что-то мне говорит, что всё будет хорошо. Правда, что теперь мы не увидимся раньше, чем через два года; это действительно горе для меня, но... не для вас, для вас это может быть лучше. В два года можно выздороветь и стать совершенно благоразумным.

Поверьте мне, что я не потеряла способности угадывать ваши мысли, но что вы хотите, чтоб я вам сказала? Она здорова, по-видимому, довольно весела, вообще ее жизнь такая однообразная, что даже нечего о ней сказать, сегодня как вчера. Я думаю, что вы не очень огорчитесь, узнав, что она ведет такой образ жизни, потому что он охраняет ее от всяких испытаний; но с своей стороны я бы желала для нее немного разнообразия, потому что, что это за жизнь для молодой особы, слоняющейся из одной комнаты в другую, к чему приведет ее такая жизнь? — сделается ничтожным созданием, вот и всё. Ну что же? Угадала ли я вас? То ли это удовольствие, которого вы от меня ожидали?

Мне остается ровно столько места, чтоб попрощаться с моим милым гусаром. Как бы я хотела видеть вас в вашей форме и с усами. Прощайте, мои сестры и брат вам кланяются. Мое почтение бабушке.

Подлинность публикации Шан-Гирея подтверждается упоминанием этого письма в «Описи письмам и бумагам л.-гв. гусарского полка корнета Лермантова». Оно, очевидно, находилось среди бумаг Лермонтова во время обыска по делу о «непозволительных стихах» на смерть Пушкина и было отмечено из числа писем «родных и двоюродных сестер Лермантова, равно как некоторых знакомых ему девиц»: «в письме <...> от одной девицы из Москвы» «ясно говорится, что переход Лермантова в военную службу есть следствие неприятности, которую он имел в университете, причем обвиняется некто Алексей Сталыпин» (см.: Лермонтов 1954–1957: VI, 472).

Мария Александровна Лопухина была на 12 лет старше Лермонтова. В 1832 г. ей было уже 30 лет, и ее отношение к поэту можно сравнить с отношением любящей старшей сестры. С конца 1831 г. Лермонтов был влюблен в ее младшую сестру Варвару Александровну.

С. 362. *Ваше письмо, помеченное третьим этого месяца...* — Это письмо Лермонтова неизвестно.

...начать совершенно новый образ жизни? — Лопухина имеет в виду намерение Лермонтова получить военное образование. 15 октября Лермонтов писал Лопухиной: «Не могу еще представить себе, как вы примете мою важную новость: до сих пор я предназначал себя для литературного поприща, принеся столько жертв своему неблагодарному кумиру, и вдруг становлюсь воином» (см. № 548). Значит, Лермонтов еще не получил письма Лопухиной от 12 октября.

...это решение должно было быть вам внушено Алексеем Столыпиным... — По предположению Лопухиной, совет перейти в военную службу дал Лермонтову Алексей Григорьевич Столыпин (ок. 1805–1847), двоюродный дядя поэта, штаб-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка (1836–1839), с 1839 — адъютант герцо-

га Лейхтенберского. Одно время он жил в Царском Селе вместе с Лермонтовым и А. А. Столыпиным-Монго.

С. 363. *Она здорова, по-видимому, довольно весела ~ сделается ничтожным созданием, вот и всё.* — Лермонтов неоднократно намекал в своих письмах к М. А. Лопухиной, что он хотел бы что-нибудь узнать о ее сестре Вареньке. Но Лопухина медлила с ответом на эти вопросы и впоследствии тщательно уничтожила всё, что свидетельствовало об отношениях Лермонтова и ее сестры. «Нет сомнения, что целый ряд этих любопытных писем утрачен, — свидетельствовал Висковатов. — Все наши поиски остались безуспешными, и нам пришлось убедиться, что Мария Александровна действительно сожгла их, — слух, которому сначала мы отказывались верить» (Лермонтов 1889–1891: VI, 213). И далее: «Мария Александровна уничтожала все, где в письмах к ней Лермонтов говорил о сестре ее Вареньке или ее муже. Даже в дошедших до нас немногих листах, касающихся Вареньки и любви к ней Лермонтова, строки вырваны» (Лермонтов 1889–1891: VI, 279).

...мои сестры и брат вам кланяются. — Елизавета, Варвара и Алексей Лопухины.

2. От А. М. Верещагиной (отрывок).

Автограф неизвестен.

Копия: 1) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 26. Л. 29 об.–30 — в тетради копий и выписок В. Х. Хохрякова, с пометой «Алекс. Верещагина к Лерм<онтов>у»; 2) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. Л. 11–11 об. — в «Материалах для биографии М. Ю. Лермонтова» В. Х. Хохрякова.

Печатается по копии Хохрякова (1).

Датируется 13 октября 1832 г.; год устанавливается по содержанию — в письме речь идет о неприятностях, будто бы постигших Лермонтова при попытках перевестись в Петербургский университет; на самом деле, как следует из ответного письма Лермонтова от второй половины октября — начала ноября (см. № 549), от этой идеи Лермонтов отказался, когда узнал о невозможности зачесть годы, проведенные в Московском университе (см. также ниже).

Впервые: Лермонтов 1860: II, XIV (с инициалами вместо имен).

Перевод:

13 октября.

Аннет Столыпина пишет Пашеньке, что у вас неприятность в университете и что моя тетя от этого больна, умоляю, напишите мне в чем дело? У нас все делают из мухи слона, успокойте меня, умоляю — к несчастью, я вас знаю слишком хорошо, чтобы быть спокойной, я знаю, что вы способны резаться с первым встречным из-за первой глупости — фи! это стыд; вы никогда не будете счастливы с таким отвратительным характером.

С. 364. *Аннет Столыпина* — Анна Григорьевна Столыпина (1815–1892), с 1834 г. замужем за А. И. Философовым.

Пашенька — П. Д. Столыпина, дочь Д. А. и Е. А. Столыпиных, владельцев Середникова.

...у вас неприятность в университете... — Из-за столкновений с профессорами на репетициях экзаменов и дерзкие выходки Лермонтову было «посоветова-

но уйти» (consilium abeundi), а в выданном ему в Московском университете свидетельстве удостоверялось только, что он «полного курса учения не окончил». Поэтому в Петербурге Лермонтову было предложено начать обучение с первого курса, на что он согласиться не мог. До Верещагиной же дошел слух, что Лермонтов позволил себе какую-то дерзость в Петербургском университете и из-за этого должен был его покинуть.

...моя тетя... — Елизавета Алексеевна Арсеньева. Верещагина называет ее тетей, поскольку ее мать, Елизавета Аркадьевна, была сестрой Екатерины Аркадьевны, жены брата бабушки Лермонтова.

3. От А. А. Лопухина, отрывки

Автограф неизвестен.
Копии: 1) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 26. Л. 29–29 об. — в тетради копий и выписок В. Х. Хохрякова, с пометой «Лоп<ухин> к Лер<монтов>у»; 2) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 85. Л. 50–50 об. — в «Материалах для биографии М. Ю. Лермонтова» В. Х. Хохрякова.
Печатается по копии Хохрякова (1).
Датируется предположительно ноябрем–декабрем 1832 г. по времени поступления Лермонтова в Юнкерскую школу.
Впервые: Лермонтов 1935–1937: V, 518.

Письмо находилось в бумагах Лермонтова в 1837 г. и было особо упомянуто среди писем «некоего Лопухина» в жандармской «Описи письмам и бумагам л.-гв. гусарского полка корнета Лермантова», составленной при аресте поэта по делу «О непозволительных стихах» на смерть Пушкина: «№ 1. В нем Лопухин говорит, что основываясь на живом характере Лермантова, он не очень огорчен переходом его в военную службу; — на счет же стихотворного таланта говорит Лопухин — „тебе нечего беспокоиться, потому что кто что любит, на то всегда найдет время“, и в доказательство приводит <Д. В.> Давыдова» (Лермонтов 1954–1957: VI, 473).

С. 364. *Насчет твоего таланта, ты понапрасну так беспокоишься...* — Письмо Лермонтова, на которое отвечает Лопухин, неизвестно.

4. От Ф. Ф. Винсона (?), отрывок

Автограф неизвестен.
Копия: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп 4. № 26. Л. 29 об. — в тетради копий и выписок В. Х. Хохрякова, с пометой «Winson к Лерм<онтов>у».
Печатается по копии Хохрякова.
Датируется 1832 г. на основании даты, поставленной Хохряковым при выписке из этого письма или записки.
Впервые: Лермонтов 1954–1957: VI, 466, 765.

Перевод:

Любимовка, 1832 г.

Разве вы пренебрегаете г<осподином> Дегай?

По всей вероятности, это отрывок из письма Федора Федоровича Винсона (ум. в 1857 г.), английского гувернера Лермонтова (о Винсоне подробнее см.:

Бойко 2010: 84–85). По воспоминаниям А. П. Шан-Гирея Винсон был приглашен Е. А. Арсеньевой в 1829 году. Под его руководством Лермонтов начал читать в оригинале Байрона, Мура, Кольриджа и др. английских авторов. Впоследствии Винсон жил в доме министра просвещения гр. С. С. Уварова (ЛА. 1938. Вып. 1. С. 428). Очевидно, Лермонтов встречался со своим бывшим гувернером в 1832 г.

На полях тетради Хохряков сделал помету: «M<onsieur> Дегай — товарищ Лермонтова». Дегай Александр Павлович (1818–1886) в 1837 году выпущен из Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в л.-гв. Гренадерский полк. Судя по одной из автобиографических заметок, в 1841 г. Лермонтов был приглашен на обед к Дегаю («Суб<б>оту обе<д> у Дегая» — см. Лермонтов 1954–1957: VI, 766; Летопись 2003: 532).

5. От А. А. Лопухина, отрывки

Автограф неизвестен.
Копии: 1) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 26. Л. 28 об.–29 — в тетради копий и выписок В. Х. Хохрякова, с пометой перед выпиской «Лопухина к Лермонтову» и сноской на нижнем поле к фамилии Лопухин: «кто он, не знаю еще»; 2) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 85. Л. 12–12 об. — в «Материалах для биографии М. Ю. Лермонтова» В. Х. Хохрякова.
Печатается по копии Хохрякова (1).
Датируется 7 января 1833 г. на основании даты, поставленной Хохряковым при выписке из письма.
Впервые: РМ. 1883. № 4. С. 73 (с отдельными неточностями).

В тетради Хохрякова выписка сопровождается следующим примечанием со слов С. А. Раевского: «Ногу Лерм<онтов> переломил (кажется) на ученье, вылечил Арендт (кажется)» (РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 26. Л. 29; Лермонтов 1954–1957: VI, 767). Арендт Николай Федорович (1785–1859) — доктор-хирург, лейб-медик Николая I.

По-видимому, это письмо Лопухина было отмечено, так же, как и письмо № 3, в жандармской «Описи письмам и бумагам л.-гв. гусарского полка корнета Лермантова», где об одном из писем Лопухина сказано: «№ 2. Лопухин извещает Лермантова, что его бранят в Москве за переход в военную службу» (Лермонтов 1954–1957: VI, 473).

С. 364. *У тебя нога болит, любезный Мишель!* — Вскоре после поступления в Юнкерскую школу Лермонтов получил серьезное ранение в ногу. А. М. Меринский так описывает это происшествие: «После езды в манеже, будучи еще, по школьному выражению, *новичком,* подстрекаемый старыми юнкерами», Лермонтов, «чтоб показать свое знание в езде, силу и смелость, сел на молодую лошадь, еще не выезженную, которая начала беситься и вертеться около других лошадей, находившихся в манеже. Одна из них ударила Лермонтова в ногу и расшибла ему ее до кости. Его без чувств вынесли из манежа. Он проболел более двух месяцев, находясь в доме у своей бабушки Е. А. Арсеньевой» (Воспоминания 1989: 170).

...решил какой-то Кикин... — Александр Андреевич Кикин (1772–?), московский знакомый Лермонтова, крайне недоброжелательно относившийся к поэту.

Недавно высказывалось мнение, что на миниатюре Лермонтова, считавшейся портретом А. А. Кикина, изображен не он, а его брат П. А. Кикин. С этой гипотезой трудно согласиться, т. к. акварель выполнена в 1837 г., а П. А. Кикин умер в 1834 (см.: Алексеев 2007: 125–132).

С. 365. *...бедная Елизавета Алек<сеевна> — всё твердят.* — В. Х. Хохряков со слов С. А. Раевского сделал следующее примечание под текстом письма: «Бабушка желала, чтоб Лерм<онтов> вышел в гвардейские офицеры, о которых она имела высокое мнение, — вследствие своих еще екатерининских понятий» (РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 26. Л. 29). Это свидетельство Раевского заставляет усомниться в основательности мнений и толков московских родственников Арсеньевых-Столыпиных об огорчении, будто бы причиненном Елизавете Алексеевне решением Лермонтова вступить в военную службу.

6. От А. А. Лопухина, отрывок

Автограф неизвестен.

Копии: 1) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 26. Л. 29 — в тетради копий и выписок В. Х. Хохрякова, с пометой «Лопух<ин> к Лерм<онтову>»; 2) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 85. Л. 12 об. — в «Материалах для биографии М. Ю. Лермонтова» В. Х. Хохрякова.

Печатается по копии Хохрякова (1).

Датируется 25 февраля 1833 г. на основании даты, поставленной Хохряковым при выписке из письма.

Впервые: РМ. 1884. № 7. С. 52, 65 (два отрывка из текста, списанного Хохряковым).

С. 365. *...позволит ли тебе нога продолжать службу военную.* — См. примеч. к предыдущему письму.

Очень и очень тебе благодарен за твою голову... — Лопухин имеет в виду картину Лермонтова «Предок Лерма». Историю картины см. ниже в примеч. к письму № 8 (Письма к Лермонтову).

7. От А. М. Верещагиной, отрывок

Автограф неизвестен.

Копия: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 26. Л. 29 об. — в тетради копий и выписок В. Х. Хохрякова.

Печатается по копии Хохрякова.

Датируется 1833 г. на основании даты, поставленной Хохряковым при выписке из письма.

Впервые: Лермонтов 1954–1957: VI, 467, 768.

Перевод:

1833 г.

Если нет, то вы можете сочинить ее в духе ваших импровизаций «Кто смотрит так гордо» — речитативом и Арсеньев — в темпе аллегро.

В данном отрывке говорится о музыкальных импровизациях поэта и о проекте какого-то музыкального произведения. О музыкальных способностях Лер-

монтова сохранилось много свидетельств. Известно, что он пел, играл на рояле и на скрипке. О пении Лермонтова известен отзыв его товарища по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров А. Тирана, который пишет, что поэт «очень хорошо пел романсы, т. е. не пел, а говорил их почти речитативом» (Звезда. 1936. № 5. С. 186). О каком музыкальном представлении пишет Верещагина, не ясно, поскольку в 1833 г. Лермонтов учится в Юнкерской школе и в Москву не сможет приехать еще два года.

Арсеньев — предположительно — Емельян Никитич Арсеньев (1810–1877), племянник Е. А. Арсеньевой по мужу, двоюродный дядя поэта.

8. От А. М. Верещагиной

Автограф неизвестен.

Печатается по первой публикации.

Датируется предположительно 18 августа 1835 г.; однако определение года вызывает затруднения, так как августовская дата, сообщенная в публикации А. П. Шан-Гирея, плохо согласуется с поздравлениями с, очевидно, недавно полученным офицерским званием, так как Лермонтов был произведен в корнеты высочайшим приказом от 22 ноября 1834 г. (см.: Летопись 2003: 190–191). Впрочем, патент на офицерское звание был получен Лермонтовым только 1 августа 1835 г. (Там же. С. 204–205) — вероятно, сообщение о его получении могло вызвать такую реакцию Верещагиной.

Впервые: РО. 1890. № 8. С. 731–732.

Перевод:

Федорово, 18 августа.

Мой дорогой кузен.

Только прочитав в третий раз ваше письмо и твердо убедясь в том, что я не нахожусь под влиянием какого-то сновидения, я берусь за перо и пишу вам. Не то чтоб я не могла считать вас способным на великое и прекрасное деяние, но писать три раза, не получив по меньшей мере трех ответов, вы знаете, что это чудо великодушия, черта возвышенная, черта, которая заставит побледнеть от волнения. Мой дорогой Мишель, я больше не беспокоюсь о вашей будущности, когда-нибудь вы станете великим человеком.

Я хотела вооружиться всеми моими силами, чувствами и волей, чтобы серьезно рассердиться на вас. Я не хотела вам больше писать, чтоб доказать этим, что мои письма могут обойтись без рамки со стеклом, только бы находили удовольствие их получать. — Но довольно, вы раскаялись — я слагаю оружие и соглашаюсь всё забыть.

Вы офицер, примите мои поздравления. Это для меня большая радость, тем более что она была неожиданна. Потому что (я это говорю вам одному) я скорее ожидала встретить вас солдатом. Вы сами согласитесь, что у меня были основания бояться, и даже если б вы были вдвое благоразумнее, чем прежде, вы всё же еще не вышли из разряда сорванцов. Но, во всяком случае, это уже шаг вперед, и я надеюсь, что вы больше не будете пятиться назад.

Я представляю себе радость бабушки; лишнее говорить, что я разделяю ее всем моим сердцем. Я не сравниваю мою дружбу с *бездонным колодцем*, вы этому не поверите. Я не *сильна* в сравнениях и не люблю обращать священные вещи в посмешище, — я предоставляю это другим!

Когда приедете вы в Москву? ....

Что касается количества моих поклонников, догадайтесь сами, и так как ваши предположения бывают всегда дерзкими, я слышу, как вы говорите, что у меня их вовсе нет..
....

Кстати о вашем идеале. Вы мне ничего не говорите о ваших сочинениях. Я надеюсь, что вы пишете, и думаю, что вы пишете хорошо; прежде вы делились ими со мной. Конечно, у вас есть друзья, которые их читают и умеют лучше судить, но я вас уверяю, что находятся и такие, которые прочтут их с большим удовольствием. Я ожидаю, что после такого серьезного вступления вы напишете мне четверостишие к новому году.

Что касается вашего рисования, говорят, что вы делаете удивительные успехи, и я этому охотно верю; умоляю, Мишель, не забрасывайте этот дар, картина, которую вы прислали Алексею, очаровательна. А ваша музыка? Играете ли вы по-прежнему увертюру «Немой из Портичи», поете ли вы дуэт из «Семирамиды», столь памятный, поете ли вы его как раньше во всё горло и до потери дыхания?
....

................Мы переезжаем к 15-му сентября, адресуйте ваши письма на дом Гедеонова, около Кремлевского сада. — Умоляю, пишите мне скорее, теперь у вас больше времени, если вы не расходуете его на то, чтобы глядеться в зеркало; не делайте этого, потому что кончится тем, что ваш офицерский мундир вам надоест, как всё то, что вы видите слишком часто, — это у вас в характере ....

.............Если б меня не клонило ко сну, я бы с вами обо всем этом поговорила — но невозможно. Передайте, пожалуйста, бабушке мое почтение.

Целую вас от всего сердца.

Александра В.

С. 366. *...картина, которую вы прислали Алексею, очаровательна.* — Верещагина имеет в виду картину «Предок Лерма», которую Лермонтов прислал А. А. Лопухину (см. упоминание в письме А. А. Лопухина от 25 февраля 1833 г. — Письма к Лермонтову, № 6). По семейной легенде Лопухиных, «в 1830 или 31 году Лермонтов в доме Лопухиных, на углу Поварской и Молчановки, начертил на стене углем голову (поясной портрет), вероятно, воображаемого предка. Он был изображен в средневековом испанском костюме, с испанскою бородкой, широким кружевным воротником и с цепью ордена Золотого Руна вокруг шеи. В глазах и, пожалуй, во всей верхней части лица не трудно заметить фамильное сходство с самим нашим поэтом. Голова эта, нарисованная al fresco, была затерта при поправлении штукатурки, и приятель поэта, Алексей Александрович Лопухин, был этим очень опечален, потому что с рисунком связывалось много воспоминаний о дружеских беседах и мечтаниях. Тогда Лермонтов нарисовал такую же голову на холсте и вы-

слал ее Лопухину из Петербурга» (Висковатов 1891: 56–57). Лермонтов безосновательно полагал, что фамилия Лермонтовых происходила от испанских герцогов Лерма. (подробнее см.: Описание рукописей 1953: 110–111; Ковалевская 1980: 31, 234). О Лермонтове-художнике см.: Пахомов 1948: 55–222.

«Немая из Портичи» — опера Д. Ф. Обера (1782–1871). В Александринском театре она шла под названием «Фенелла». См. примеч. к с. 101 («Княгиня Лиговская»).

«Семирамида» — опера Дж. Россини (1792–1868).

...на дом Гедеонова, около Кремлевского сада. — В этом доме жила Екатерина Аркадьевна Столыпина, тетка Верещагиной — этот адрес «тетеньки Екатерины Аркадьевны» «против Кремлевского сада в доме Гедеонова» сообщала своему мужу А. И. Философову А. Г. Философова (урожд. Столыпина) в письме от 18 октября 1834 г. (РГИА. Ф. 1075. Оп. 1. № 845. Л. 82 об.).

9. От Е. А. Арсеньевой

Автограф: ОР РНБ. Ф. 429. № 68. Л. 1–2 об.

Копии: 1) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 2. № 107. Л. 1–2 об. — неустановленным почерком, из собрания Лермонтовского музея, с отдельными неточностями; 2) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 85. Л. 48–49 об. — в «Материалах для биографии М. Ю. Лермонтова» В. Х. Хохрякова, с пропусками.

Печатается по автографу.

Датируется 18 октября 1835 г. согласно дате автографа.

Впервые: РМ. 1884. № 11. С. 256 (с пропусками); Щеголев 1929: I, 223—225 (полностью, текст по копии ИРЛИ 1).

Это единственное сохранившееся письмо Е. А. Арсеньевой к поэту. Оно, по-видимому, находилось среди бумаг Лермонтова во время его ареста в 1837 г.; вероятно, именно оно значится в «Описи переномерованным бумагам корнета Лермантова» под № 15: «письмо <...> с приложением 2 т. руб. и письма деда его Сталыпина с наставлением заниматься поэзиею, и не мечтать, что всех умнее» (Лермонтов 1954–1957: VI, 474).

С. 367. *...я с десятого сентября всякой час тебя ждала...* — Отпуск Лермонтову дали только 20 декабря.

...12 октября получила письмо твое... — Это письмо Лермонтова не известно.

...да писала к брату Афанасию... — Афанасий Алексеевич Столыпин (1788–1866) — родной брат Е. А. Арсеньевой.

...невестка Марья Александровна была у меня... — Мария Александровна, жена Афанасия Алексеевича Столыпина, урожд. Устинова.

...до смерти мне грустно, что ты нуждаешься в деньгах... — Жалованье Лермонтова составляло 276 рублей в год, и еще были «рационные» деньги — 84 рубля в год.

Можно до Москвы в седейки его отправить... — Седейки — легкие одноконные крытые экипажи, ходившие с 1883 года между Петербургом и Москвой.

...Катерина Аркадьевна переезжает в Москву... — Екатерина Аркадьевна Столыпина, вдова брата Е. А. Арсеньевой, Дмитрия Алексеевича Столыпина, владелица Середникова (1791–1853).

...да к Марье Акимовне и к Павлу Петровичу хоть бы в моем письме приписал... — О М. А. и П. П. Шан-Гиреях см. выше, примеч. к № 538.

Стихи твои, мой друг, я читала бесподобные... — Возможно, Е. А. Арсеньева пишет о поэме «Хаджи Абрек» (БдЧ. 1835. Т. 11. Отд. 1. С. 81–94).

...какую ты пиесу сочинил, комедия или трагедия... — По всей вероятности, речь идет о «Маскараде», ранняя редакция которого закончена в начале 1835 г., а в начале октября Лермонтов представил в драматическую цензуру новую редакцию, трехактную.

...скажи Андрею, что он так давно к жене не писал... — Андрей Иванович Соколов (1795–1875) был приставлен к Лермонтову, когда тому было два года, затем находился при нем в качестве камердинера и пользовался полным доверием поэта.

С. 368. *...achète quelque chose pour Daria, elle me sert avec beaucoup d'attachement* — ...купи что-нибудь Дарье, она служит мне с большой привязанностью (фр.). Дарья Григорьевна (урожд. Куртина, 1796–?), жена А. И. Соколова, ключница в тарханском имении. Послужила прототипом Дарьи в драме «Menschen und Leidenschaften».

...очень благодарна Катерине Александровне... — Вероятно, это Е. А. Столыпина, урожд. Потулова, жена старшего брата Е. А. Арсеньевой, Александра Алексеевича.

...я в твоем письме прикладывала письмо к Катерине Лукьяновне и к Емельяну Никитичу... — Емельян Никитич Арсеньев (1810–1877), племянник Е. А. Арсеньевой по мужу, капитан л.-гв. Литовского полка.

Прасковья Александровна Крюкова — урожд. Черкасская, родственница Лермонтова по линии Арсеньевых.

...часто ли ты бываешь у Лонгиновой... — Мария Александровна Лонгинова (1798–1888), дочь П. А. Крюковой. С ее сыном Михаилом Николаевичем (1823–1875) Лермонтов был в дружеских отношениях. М. Н. Лонгинов — автор воспоминаний о поэте.

Авдотья Емельяновна — Арсеньева, урожд. Чоглокова (1785–1856), жена Никиты Васильевича Арсеньева.

10. От В. Ф. Одоевского, записка

Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 1. № 13. Л. 14 об.
Печатается по автографу.
Датируется не ранее 5 августа 1839 года, т. к. написано на обороте последнего листа тетради с автографом поэмы «Мцыри». На первой странице тетради дата: «1839 года. Августа 5».
Впервые: Лермонтов 1910–1913: V, 30.

С. 368. *...читай Его.* — Вероятно, среди привезенных Лермонтову книг было Евангелие.

Жена была со мною и кланяется тебе... — Жена В. Ф. Одоевского, Ольга Степановна, урожд. Ланская (1797–1872).

Корректурные дополнения

592. Le champ de Borodino

Автограф неизвестен.
Копии: 1) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 26. Л. 2–2об. — в тетради копий и выписок В. Х. Хохрякова; под текстом воспроизведена французская подпись «M. Lermantoff»; 2) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 85. Л. 21–23 — в «Материалах для биографии М. Ю. Лермонтова» В. Х. Хохрякова.
Печатается по копии из тетради Хохрякова (1) как более раннему и близкому к утраченному автографу источнику (см. об этом ниже).
Датируется предположительно 1829–1830 гг. по соотношению со стихотворением «Поле Бородина» и вероятным обстоятельствам создания (см. об этом ниже).
Публикуется впервые.

Перевод В. А. Мильчиной:

Бородинское поле

Вечер накануне великого дня, решившего участь разом и Москвы, и Наполеона, был теплый, но сумрачный. Плотная туча, похожая на огромного ворона, нависла над равниной, где две многочисленные армии готовились к бою, который, кажется, должен был сделаться последним для одной из них, для другой же был лишь первым сигналом к кровавой и безнадежной борьбе за отечество.

В освещенных множеством ярких огней французских палатках было шумно и весело, как накануне праздника; молодые офицеры пили, смеялись, пели, и ни воспоминания, ни предчувствия не омрачали их душу. Солдаты, уверенные в талантах их великого полководца и в собственной численности, наслаждались покоем, который нарушали лишь смутные звуки, доносившиеся порой из палаток их командиров.

Наша армия, печальная и молчаливая, имела вид совершенно иной: здесь слышались только отрывистые возгласы часовых, глухой стук копыт коня, на котором мчался во весь опор казак с донесениями, или приглушенный голос старого солдата, который молился, точа на лафете свой почерневший от пороха штык...

Так прошла ночь. На рассвете обе армии начали разворачиваться на равнине, и в туманном и холодном воздухе раздались первые пушечные залпы.

Какому множеству великих и драгоценных надежд предстояло умереть и возродиться в течение этого кровавого дня... Скольким французских оторванным конечностям предстояло усыпать эту обширную равнину ради того, чтобы удовлетворить самолюбие одного человека или поддержать честь целого народа!..

Возле оврага на пригорке посредине русских позиций стоял редут — жалкий, но возвышавшийся над окружающей местностью. За ним по другую сторону оврага сосредоточилась почти вся наша артиллерия, чьи медные жерла были готовы изрыгать огонь и металл на каждого, кто попытался бы овладеть возвышением.

На этот устрашающий, хотя и маленький редут, ставший могилой для множества храбрецов, противник бросил основные свои силы.

Французы бились ради славы, русские — ради отечества; одни падали с именем своего полководца на устах и гневом в глазах; другие умирали молча, с силой сжимая в руках оружие, еще горячее от крови, и обращая сумрачный взгляд на землю, где они родились. — То было ужасное зрелище! зрелище великое и прекрасное!..

Шесть раз редут переходил из рук в руки. Бонапарт был в ярости, он постоянно бросал в эту важную точку новые силы. Но стоило французам ступить на эту заколдованную землю, как новый, ужасный залп сметал их; пушкам помогали штыки, и французам приходилось отступать между двумя рядами противников, которые рубили их без пощады.

Бой длился до вечера; в конце дня подле невысокого вала, окружавшего редут, вырос новый вал, плотный и непроницаемый, — стена трупов, скрепленная черной густой кровью; ядра вонзались в нее и в ней увязали.

Наполеон был недоволен, он отступил, все еще надеясь, что гордый и отважный народ покорится ему и вручит ключи от Москвы.

Русские провели ночь на горах трупов.

До сих пор ни одна сторона не желает признать себя побежденной; через неделю после этого достопамятного дня французы вошли в русскую столицу, но два месяца спустя русские вырыли им могилу в ледяных водах Березины.

Текст «Le champ de Borodino» сохранился в копиях одного из первых биографов Лермонтова В. Х. Хохрякова (о нем см.: Андроников 1977: 563–581), который в середине 1850-х гг. получил от С. А. Раевского и П. П. Шан-Гирея ряд рукописей Лермонтова. «Le champ de Borodino» Хохряков включил в свои «Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова» (1857; РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. № 85), поместив его вслед за копией стихотворения «Поле Бородина» (1830–1831?; см.: Т. 1. № 163) как иную обработку того же сюжета.

Как следует из сопроводительного письма Хохрякова в Публичную библиотеку, при котором он уже в 1870-е гг. пересылал сохранившиеся у него автографы Лермонтова и копии с них, «Le champ de Borodino» было свое время переписано им с автографа, принадлежавшего С. А. Раевскому (см.: Андроников 1977: 577). Характерно также, что среди рукописей, попавших к Хохрякову, была авторизованная копия еще одного ученического произведения Лермонтова — «Панорама Москвы» (№ 496), которая давно входит в лермонтовский корпус в отличие от «Le champ de Borodino».

Франкоязычная «записка о Бородинском сражении» — по-видимому, самый ранний замысел Лермонтова, связанный с темой Бородинского боя. Структура текста, построенного на параллельной подаче «французской» и «русской» точек зрения, но, безусловно, написанного с «русской позиции», его компактность, несложный язык позволяют предположить, вслед за И. Л. Андрониковым (1977: 566), что «Le champ de Borodino» представляет собой одно из ученических сочинений Лермонтова, хотя нельзя исключать, что этот текст был прямо скопирован с какого-либо пока не выявленного франкоязычного источника (учебная хрестоматия, антология и т. д.) или же переведен с неустановленного оригинала.

По композиции и стилистике «Le champ de Borodino» более всего походит на практиковавшиеся в Московском благородном пансионе исторические сочинения-рассуждения, часто предполагавшие сопоставительные характеристики исторических лиц или событий (см. многочисленные издания 1820-х гг., содержащие пансионские программы для старших классов, торжественные выпускные речи воспитанников, сборники «образцовых» сочинений пансионеров и т. п.). Из опубликованных П. Р. Заборовым конспектов «Лекций исторических» из общей тетради Лермонтова 1829 г. (см.: Заборов 1979: 316–321) следует, что пансионский исторический курс как раз вплотную казался эпохи наполеоновских войн — и хотя конспект обрывается на начале войны 1812 года, не приходится сомневаться, что этот исторический эпизод подробно толковался в пансионском курсе, и, вероятно, не одном. Исходя из такой трактовки «Le champ de Borodino» предположительно датируется последними годами обучения Лермонтова в пансионе (1829–1830 гг.).

«Le champ de Borodino» аккумулирует целый конгломерат топосов в описании Бородинского сражения, которые к началу 1830-х гг. уже успели сложиться как в русской, так и в европейской исторической и мемуарной литературе о 1812 годе. Это и описание ночи перед сражением во французском и русском лагерях, и рассказ о героической обороне батареи Раевского, неоднократно переходившей из рук в руки, и противопоставление тщеславия Наполеона патриотическому мужеству русских солдат. Существенно при этом подчеркнуть плотность текстуальных и мотивных совпадений между французским прозаическим сочинением и обоими стихотворениями Лермонтова на бородинскую тему – «Полем Бородина» (1830–1831?; Т. 1. № 163) и «Бородином» (1837; Т. 1. № 342), заставляющих рассматривать «Le champ de Borodino» как их ближайший источник-посредник (см. ниже, в построчном комментарии). Хотя почти для каждого мотива и микросюжета в отдельности находится ряд параллелей в русских или европейских исторических сочинениях, подобной концентрации сходных мотивов и сюжетных связок нигде более обнаружить не удалось

С. 369. *Un nuage épais, semblable à un corbeau immense planait au-dessus de la vallée...* — Сравнение облака с вороном, вероятно, восходит к сцене из «Гамлета» (акт III, сц. 2) во французском переводе П. Летурнера, заменившего сравнение облака с лаской (weasel) на сопоставление с вороном: «*Hamlet.* Voyez-vous là-bas ce nuage qui a presque la figure d'un chameau? *Polonius (souriant).* En vérité, oui, à sa grosseur; et il en a la forme aussi, vraiement. *Hamlet.* Il me paroit ressembler à un corbeau. *Polonius.* Oui, en effet, il est noir comme un corbeau» (Letourneur 1779: 162). Эту сцену из шекспировской трагедии Лермонтов специально вспоминал в письме к М. А. Шан-Гирей от второй половиной февраля 1830 г. (см.: Т. 4. № 541). Ср. описание внезапной ночной темноты накрывшей поле сражения в «Бородине»: «И вот на поле грозной сечи / Ночная пала тень».

Tout était bruyant et gai dans les tentes françaises illuminées, comme la veille d'une fête, par mille feux de joie... — Ср. в «Бородине»: «И слышно было до рассвета, / Как ликовал француз».

С. 369. *Notre armée, triste et silencieuse, présentait un aspect bien différent: on n'entendait rien que les cris entrecoupés des sentinelles, <…> ou quelquefois encore la prière d'un vieux soldat, faite à voix basse, tandis qu'il aiguisait sa baïonnette noircie par la poudre, sur l'affût d'un canon....* – Ср. описание ночи в русском лагере в «Поле Бородина» («Всю ночь у пушек пролежали / Мы без палаток, без огней, / Штыки вострили да шептали / Молитву родины своей. / Шумела буря до рассвета») и «Бородине» («Но тих был наш бивак открытый: / Кто кивер чистил весь избитый, / Кто штык точил, ворча сердито, / Кусая длинный ус»). В «Поле Бородина» перешло описание вечернего мрака (см. выше), превратившегося в бурю и непогоду («Брат, слушай песню непогоды: / Она дика, как песнь свободы»), тема молитвы перед боем, которая сопровождает заточку штыков. В «Бородине» последний мотив отсутствует, но зато — как и во французском тексте — введено противопоставление обстановки во французском и русском лагерях.

Au lever de l'aurore les deux armées commencèrent à se déployer dans la plaine et les premières détonations du canon retentirent dans une atmosphère brumeuse et froide... — Ср. то же маркирование момента начала боя — на заре, огласившейся пушечными залпами, — в обоих стихотворениях: «И только небо засветилось, / Всё шумно вдруг зашевелилось...» («Бородино»), «Пробили зорю барабаны / Восток туманный побелел, / И от врагов удар нежданный / На батарею прилетел» («Поле Бородина»).

Près d'un ravin dans le centre de la ligne russe il y avait une misérable redoute, mais élevée sur un terrain qui dominait tous les environ... — «Жалкий», но героический редут, прообразом которого, очевидно, послужила батарея Раевского, крупным планом затем обрисован в «Бородине»: «Французы двинулись как тучи / И всё на наш редут».

С. 370. *Six fois la redoute passa de main en main.* — Ср. в «Поле Бородина»: «Шесть раз мы уступали поле / Врагу и брали у него».

...la baïonnette aidait le canon... — Во французском тексте намечен яркий образ, сохраненный в обоих «бородинских» стихотворениях — смешение пушек, ружей и штыков: «На пушки конница летала, / Рука бойцов колоть устала...» («Поле Бородина»), «Звучал булат, картечь визжала, / Рука бойцов колоть устала...» («Бородино»).

...autour du faible rempart de la redoute il s'en éleva un nouveau, un rempart de cadavres, épais, impénétrable; cimenté par un sang épais et noir; les boulets s'y enfonçaient sans pouvoir le traverser. — Образ стены из мертвых тел, находящий параллель, например, в «Рассказе о кампании в России в 1812 году» английского художника Р. Кер-Портера (ср. «tout le long de la ligne de Bagration s éleva un rempart de morts et de mourans» – Ker-Porter 1817: 151), был затем использован Лермонтовым в «Бородине»: «И ядрам пролетать мешала / Гора кровавых тел».

Les Russes dormirent sur les cadavres. — Ср. тот же мотив сна обессиленных бойцов на трупах в «Поле Бородина»: «На труп застывший, как на ложе, / Я голову склонил».

Ni l'un ni l'autre des deux partis ne veut encore jusqu'à présent se reconnaître vaincu pendant cette mémorable journée... — Неоднозначный статус великой битвы при Бо-

родине неоднократно отмечали современники и историки; ср., например, в «Русской истории» С. Н. Глинки: «Русские не могли сею грозною битвою ни защитить, ни спасти Москвы; но на полях Бородинских как призрак туманный рассеялась непобедимость нового завоевателя» (Глинка 1824: 120).

593. Пограничные известия. Перепония

Автограф неизвестен.

Копии: 1) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 2. № 82. Л. 3 об. – 5 об. — в копии 4-й книжки рукописного юнкерского журнала «Школьная заря» 1834 г. из собрания М. И. Семевского; на обложке тетради Семевского его запись: «Это выписка из подлинного журнала „*Школьная заря*“, рукопись каковогo находится вместе с рисунками-карикатурами, исполненными Лермонтовым — пером, у его школьного товарища Князя Николая Сергеевича *Вяземского* в СПб. То, что здесь выписано, принадлежит М. Ю. Лермонтову»; под текстом подпись «Степанов (Лермонтов)»; 2) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 2. № 83. Л. 14–17 — в тетради копий Н. Н. Буковского «Стихотворения и проза М. Ю. Лермонтова», датированной 1884 г.; 3) РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 2. № 144. Л. 3 об. – 5 об. — в рукописной копии 4-й книжки журнала «Школьная заря» 1834 г., сделанной с копии Семевского (1).

Печатается по копии из собрания Семевского (1) как наиболее ранней и послужившей источником для других известных списков.

Датируется 1834 г. по году издания юнкерского рукописного журнала.

Впервые: Бодрова 2014: 74–75 (начальный отрывок). Полностью публикуется впервые (с выпуском матерных слов).

«Пограничные известия» — единственное прозаическое сочинение из группы текстов, помещенных в 4-й книжке юнкерского журнала «Школьная заря», которые, согласно указаниям Н. С. Вяземского, принадлежали перу Лермонтова. Как пояснял М. И. Семевскому тот же Вяземский, «Пограничные известия» представляли собой пародию, «в которой выведен Лермонтовым его товарищ князь Шаховской» (см.: РС. 1882. № 8. С. 391).

Иосиф Николаевич Шаховской (1812 — не ранее 1854), соученик Лермонтова по юнкерской школе, был частым персонажем непритязательных товарищеских шуток (см. о нем в примечаниях к экспромту «Ах, как мила моя княгиня!..» (Т. 1. № 430) и к поэме «Уланша» (Т. 2. № 481)), высмеивавших его выдающийся во всех смыслах нос в карикатурах и прозвищах «Князь Нос» и «Курок» (лермонтовскую карикатуру на Шаховского см.: ЛН. 1948: XLV–XLVI. С. 161). Как вспоминал еще один товарищ Лермонтова по юнкерской школе, А. М. Меринский, «Ш<аховской> <...> имел слабость сердиться, когда товарищи трунили над ним. Он имел пребольшой нос, который шалуны юнкера находили похожим на ружейный курок. Шаховской этот получил прозвище курка и князя носа» (Меринский А. М. М. Ю. Лермонтов в юнкерской школе // Воспоминания 1989: 166–167). Согласно мемуару другого выпускника Юнкерской школы Н. Н. Манвелова, среди юнкеров ходила также рукописная «„История носа Шаховского, иллюстрированная картами и политипажами“, сочиненная товарищами и в числе

их и самим Лермонтовым» (эта «История...» была запечатлена на одном из дружеских шаржей на Шаховского; см.: Манвелов Н. Н. Воспоминания, относящиеся к рисункам тетради М. Ю. Лермонтова // Воспоминания 1989: 185). «Пограничные известия», очевидно, представляют собой произведение сходного рода: как сообщал Семевскому Вяземский, именно имея в виду Шаховского, Лермонтов и «сочинил путешествия в страны: Курконоздрию, Перепонию и Безмозглию» (см. приписку Семевского в его копии: РО ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 2. № 82. Л. 5 об.).

По структуре «Пограничные известия» пародируют привычный в юнкерском быту военный журнал, описывая путешествие барона фон-дер-Бздеха «в глубину, доселе малоизвестной Безмозглии». Этот травестированный мир построен на «опрокидывании» казарменных порядков и представлений о «юнкерском благе» (ср. «положительный идеал» в «Юнкерской молитве», 1833–1834? — Т. 1. № 316) — военные наказания (фухтели и битье шпицрутенами) подаются как высшая награда, нужник описан как роскошное пристанище. Основным выразительным средством при этом становятся намеренно сгущенные скатологические образы и описания (специфика которых хорошо видна при сопоставлении со «скатологической» по локусу, но не по основному сюжету «Одой к нужнику» — Т. 1. № 317) и соответствующая лексика. В отличие от юнкерских поэм («Уланша», «Гошпиталь», «Петергофский праздник») и стихотворений («Ода к нужнику», «К Т***»), опирающихся на развитую традицию поэтической обсценной эротики и порнографического бурлеска в духе Баркова, фекальная эстетика «Пограничных известий», тесно связанная с закрытой жизнью юнкерской школы, соответствует не столько «литературному», сколько «бытовому», контекстуально-обусловленному жанру, не рассчитанному на «внешнего» читателя (не случайно «Пограничные известия», в отличие от юнкерских поэм, не распространялись в списках за пределами школы).

Обсценно-скатологический характер текста долгое время не позволял публиковать ни «Пограничные известия» целиком, ни даже отрывки из них, хотя о том, что они находятся среди атрибутированных Лермонтову текстов «Школьной зари», Семевский сообщил еще в 1882 г. — в заметке, посвященной этой группе юнкерских сочинений (РС. 1882. № 8. С. 391). По тем же причинам сомнения вызывало и авторство Лермонтова (ср. предположение чешской исследовательницы Д. Кшицовой, что сочинение этого «примитивного текста» было приписано Лермонтову его недругами из мести за колкие шутки: Kšicová 1974: 76; Kšicová 1983: 31).

На настоящий момент вопрос об атрибуции не поддается однозначному и окончательному решению, исходя из того, что основным аргументом в пользу принадлежности этого текста Лермонтову остается сообщение Н. С. Вяземского, который, учитывая давность лет и псевдонимность публикаций в «Школьной заре», мог быть не во всем точен. Однако остальные атрибуции Вяземского в отношении стихотворных произведений из того же выпуска юнкерского журнала никогда не оспаривались, а, наоборот, подтверждались показаниями других мемуаристов или иными источниками текста. Кроме того, косвенным свидетельством в пользу авторства (или со-авторства) Лермонтова представляется воспо-

минание Манвелова об участии поэта в коллективной прозаической пародии того же рода — «История носа Шаховского» (см. выше). Таким образом, авторство Лермонтова в отношении «Пограничных известий» представляется весьма вероятным, хотя и не окончательно установленным.

С. 371. *...застава Сен-Сикелея упала ему прямо на макушку.* — Очевидно, имеется в виду шлагбаум, которым, согласно закону 1817 г. об устройстве городов и селений, должны быть оборудованы въезды в город (см.: ПСЗРИ-1. Т. 34. 1817. СПб., 1830. С. 913; № 27180) — ср. у Пушкина в «Дорожных жалобах»: «Иль мне в лоб шлагбаум влепит / Непроворный инвалид» (опубл.: СЦ на 1832. СПб., 1831. Отд. Поэзия. С. 47–48).

...В 13-м часу вечера синее небо уподобилось подбитому глазу... — Ср. описание сборов юнкеров на ночной постой в «Уланше» (Т. 2. № 481): «Уж поздно; — темной синевою / Покрылось небо... день угас... / <...> слава богу, / Пора раскланяться с конем» (С. 564).

...жидкая дристня пудами полетела на землю... ~ Вся свита Профессора <...> с смирением ожидали ежеминутной погибели, но боги умилостивились, гроза стала утихать... — Эти капрологические гиперболы, тем не менее, легко соотносятся с описанием реальных тягот походной жизни, в том числе связанных с исключительно скверной погодой во время летних лагерей 1833 г., в письме Лермонтова М. А. Лопухиной от 4 августа 1833 г.: «Я не подавал о себе вестей с тех пор, как мы отправились в лагерь, да и, право, мне бы это не удалось при всем моем желании. Представьте себе палатку по 3 аршина в длину и ширину и 2½ в вышину, в которой живет три человека со всей поклажей и доспехами, как-то: сабли, карабины, кивера и проч., и проч. Погода была отвратительная из-за нескончаемого дождя, зачастую по два дня сряду мы не могли просушить платье; тем не менее эта жизнь мне отчасти нравилась; вы знаете, милый друг, что у меня всегда было пристрастие к дождю и грязи, и теперь, по милости Божьей, я насладился этим вдоволь» (Т. 4. № 551; оригинал по-франц.).

ЛИТЕРАТУРА

Аболина 2013. — *Аболина Т. М.* «Княгиня Лиговская» в контексте лопухинского цикла // Изв. Уральского федерального ун-та. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2013. № 3 (117). С. 170–186.

Авдеев 1874 — *Авдеев М. В.* Наше общество (1820–1870) в героях и героинях литературы. СПб., 1874.

Агларов 2002 — *Агларов М. А.* Андийцы: историко-этнографическое исследование. Махачкала, 2002.

Азадовский 1941 — *Азадовский М. К.* Фольклоризм Лермонтова // ЛН. 1941: XLIII–XLIV. С. 227–262.

Азадовский 1974 — *Азадовский М. К.* Комментарий к «Ашик-Керибу» // Лермонтов и литература народов СССР. Ереван, 1974. С. 448–454.

Акерблом 1938 — *Акерблом В.* М. Ю. Лермонтов в июле 1841 г. // РС. 1892. Т. 73. Март. С. 765–769.

Александров 1924 — *Александров Н.* А. О. Смирнова. Об ее жизни и характере // Историко-литературный сб., посвящ. В. И. Срезневскому. Л., 1924. С. 297–334.

Александров 1988 — *Александров А. В.* Конфликт в романе М. Лермонтова «Вадим» // Вопр. лит. народов СССР. Киев; Одесса, 1988. Вып. 14. С. 40–49.

Александров 1989 — *Александров А. В.* Изображение эпохи в романе М. Ю. Лермонтова «Вадим» // Актуальные вопр. совр. лермонтоведения: Литературоведение. Киев, 1989. С. 110–111.

Александрова 1989 — *Александрова Л. П.* «Вадим» М. Ю. Лермонтова и развитие русского исторического романа // Актуальные вопр. совр. лермонтоведения: Литературоведение. Киев, 1989. С. 100–101.

Александрова 1998 — *Александрова Н. В.* Повесть «Штосс» в контексте творчества М. Ю. Лермонтова // Романтизм и его исторические судьбы. Тверь, 1998. Ч. I. С. 164–168.

Александрова, Большухин 2010 — Александрова М. А., Большухин Л. Ю. Пиковая дама» в рецепции Лермонтова («Фаталист») // Новый филологический вестник. 2010. № 4 (15). С. 41–56.

Александрова, Большухин 2011 — Александрова М. А., Большухин Л. Ю. Повесть «Фаталист» в контексте «Журнала Печорина»: событие и его интерпретации // Критика и семиотика. 2011. Вып. 15, С. 102–122.

Алексеев 1894 — *Алексеев А. А.* Воспоминания артиста императорских театров. М., 1894.

Алексеев 1978 — *Алексеев М. П.* Чарльз Роберт Метьюрин и русская литература // От романтизма к реализму. М., 1978. С. 36–44.

Алексеев 1982 — *Алексеев М. П.* Русско-английские литературные связи (XVIII век — первая половина XIX века). М., 1982.
Алферов 2009a — *Алферов А. М.* Гендерные стереотипы в романах М. Ю. Лермонтова // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2009. № 107. С. 133–139.
Алферов 2009b — *Алферов А. М.* Концепт «власть» в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Худож. текст: варианты интерпретации. Бийск, 2009. С. 16–19.
Альтшуллер 1992 — *Альтшуллер М.* «Княжна Мери» Лермонтова и «Сент-Ронанские воды» Вальтера Скотта // Михаил Лермонтов. 1814–1989: Норвичский симпозиум. Нортфилд, 1992. С. 147–154.
Андреев 1938 — *Андреев С. А.* Лермонтов и реакция // 30 дней. 1938. № 7. С. 88–90.
Андреев-Кривич 1946 — *Андреев-Кривич С. А.* Кабардино-черкесский фольклор в творчестве Лермонтова // Учен. зап. Кабард. научн.-исслед. ин-та. Нальчик, 1946. Т. 1.
Андреев-Кривич 1954 — *Андреев-Кривич С. А.* Лермонтов: Вопр. творчества и биогр. М., 1954.
Андреев-Кривич 1964 — *Андреев-Кривич С. А.* Когда рядом история // Огонек. 1964. № 42. С. 14–15.
Андреев-Кривич 1981 — *Андреев-Кривич С. А.* Тарханская пора. Саратов, 1981.
Андриевский 1913 — *Андриевский Э. С.* Записки. Одесса, 1913.
Андроников 1948 — *Андроников И. Л.* Лермонтов в работе над романом о Пугачевском восстании // ЛН 1948: XLV—XLVI. М. Ю. Лермонтов. II. С. 289–299.
Андроников 1951 — *Андроников И. Л.* Исторические источники «Вадима» // Лермонтов. М., 1951. С. 60–79.
Андроников 1952. — *Андроников И. Л.* Лермонтов: Исследования, статьи, рассказы. М., 1952.
Андроников 1958 — *Андроников И. Л.* Лермонтов в Грузии в 1837 году. Тбилиси, 1958.
Андроников 1963 — *Андроников И. Л.* Рукописи из Фельдафинга // ЗОР ГБЛ. М., 1963. Вып. 26. С. 5–33.
Андроников 1968 — *Андроников И. Л.* Лермонтов: Исследования и находки. 3-е изд. М., 1968.
Анненский 1978 — *Анненский И.* Книги отражений. М., 1978.
Апостолов 1928 — *Апостолов И. Н.* Лев Толстой и его спутники. М., 1928.
Арзамасцев 1984 — *Арзамасцев В. П.* «Звук высоких ощущений...»: (Новое о М. Ю. Лермонтове). Саратов, 1984.
Арканников 1891 — *Арканников О.* О пребывании М. Ю. Лермонтова в Тамани // РА. 1891. Кн. 3. С. 575.
Архив Раевских 1908–1915 — Архив Раевских: В 5 т. СПб., 1908–1915.
Асмус 1941 — *Асмус В. Ф.* Круг идей Лермонтова // ЛН. 1941. XLIII–XLIV. С. 83–128.
Атлас 1963 — Атлас музыкальных инструментов народов СССР. М., 1963.
Афанасьева 2008. — *Афанасьева Э. М.* «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова: к проблеме творческой рефлексии // М. Ю. Лермонтов: Художественная картина мира. Сб. статей. Томск: ТГПУ, 2008. С. 150—158.
Ахматова 1936 — *Ахматова А. А.* «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина // Пушкин: Временник пушкинской комиссии. Т. I. М.; Л., 1936. С. 91–114.

Базанов 1953 — *Базанов В. Г.* Очерки декабристской литературы. М., 1953.
Байрон 1963 — *Байрон Д. Г.* Дневники. Письма. М., 1963.
Байрон 1964 — *Байрон Дж.* Дон-Жуан. М.; Л., 1964.
Байрон 1987. — *Байрон Д. Г.* Избранные сочинения в двух томах. М., 1987.

Бальзак 1960 — *Бальзак О.* Собр. соч.: В 24 т. М., 1960.
Баранов 1988 — *Баранов С. Ю.* Специфика искусства и анализ литературного произведения. Вологда, 1988.
Бартенев 1863 — *Бартенев П. И.* Разговор с А. П. Ермоловым // РА. 1863. Вып. 5 и 6. С. 436–441.
Бартольд 1918 — *Бартольд В. В.* Ислам. Пг., 1918.
Баталин 1857 — *Баталин Ф. А.* Большой провал в Пятигорске // ОЗ. 1857. Т. 113. № 7. С. 191–215.
Батюшков 1977 — *Батюшков К. Н.* Опыты в стихах и прозе. М., 1977.
Бахтин 1990 — *Бахтин М. М.* Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990.
Белинский 1953–1959 — *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959.
Белкина 1941 — *Белкина М. А.* «Светская повесть» 30-х годов и «Княгиня Лиговская» Лермонтова // Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. М., 1941. Сб. 1. С. 516–551.
Белова 1996 — *Белова Л. А.* Лермонтов и Восток // Лермонтовский вып. № 5. Пенза, 1996. С. 13–29.
Беляев 1990 — *Беляев А. П.* Воспоминания декабриста. Красноярск, 1990.
Бестужев-Марлинский 1995 — *Бестужев-Марлинский А. А.* Кавказские повести. СПб., 1995.
Библиография 1936 — Библиография текстов Лермонтова: Публикации, отдельные издания и собрания сочинений. М.; Л., 1936.
Библиография 1980 — Библиография литературы о М. Ю. Лермонтове: 1917–1977 / Сост. О. В. Миллер; Ред. В. Н. Баскаков. Л.: Наука, 1980.
Библиография 1990 — Литература о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова: Библиогр. указ. 1825–1916. Л., 1990.
Благой 1934 — *Благой Д. Д.* Судьба Батюшкова // Батюшков К. Н. Сочинения. М.; Л., 1934. С. 7–39.
Благой 1941 — *Благой Д. Д.* Лермонтов и Пушкин: (проблема историко-литературной преемственности) // Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Сб. 1: Исслед. и мат-лы. М., 1941. С. 356–421.
Блохин 2008 — *Блохин Н.* Где написана «Тамань»? // Лит. Ставрополье. 2008. № 1. С. 144–162.
Бобров 1909 — *Бобров Е. А.* Из истории русской литературы XVIII и XIX столетий // Изв. ОРЯС. 1909. Т. 14. Кн. 1. С. 91–93.
Богданов 2005 — *Богданов К. А.* Врачи, пациенты, читатели: Патографические тексты русской культуры XVIII–XIX веков. М., 2005.
Болдаков 1894 — *Болдаков И. М.* М. Ю. Лермонтов: (По поводу 50-летия со дня его кончины). СПб., 1894.
Боратынский 2002 — *Боратынский Е. А.* Полн. собр. соч. Т. 2. Ч. 1. М., 2002.
Бороздин 1885 — *Бороздин К. А.* Закавказские воспоминания. СПб., 1885.
Ботникова 1982 — *Ботникова А. Б.* Страница русской гофманианы: Э. Т. А. Гофман и М. Ю. Лермонтов // Худож. мир Гофмана. М., 1982. С. 154–172.
Бочарова 1965 — *Бочарова А. Я.* Фатализм Печорина // Творчество М. Ю. Лермонтова: Сб. ст., посвящ. 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Пенза, 1965. С. 225–249. (Учен. зап. Пенз. пед. ин-та. Серия филол. Вып. 14).
Бочарова 2000 — *Бочарова А. К.* Диалогическая система повествования в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Тархан. вест. Пенза, 2000. Вып. 12. С. 38–47.
Брандес 1895 — *Брандес Г.* Литература XIX века в ее главных течениях. Французская литература. Романтическая школа. СПб., 1895.

Бродский 1964 — *Бродский Н. Л.* «Евгений Онегин»: роман А. С. Пушкина: Пособие для учителя. 5-е изд. М., 1964.
Броневский 1823 — *Броневский С. М.* Новейшие географические и исторические известия о Кавказе: В 2 ч. М., 1823.
Бронштейн 1948 — *Бронштейн Н. И.* Доктор Майер // ЛН: XLV–XLVI. М. Ю. Лермонтов. II. С. 473–493.
Бунин 1960 — *Бунин И. А.* Чехов // А. П. Чехов в воспом. современников. М., 1960. С. 512–529.
Буренин 1873 — *Буренин В. П.* Неизданная юношеская повесть Лермонтова [«Вадим»] // СПбВед. 1873. 13(25) окт. № 282. С. 1.
Буренин 1882 — *Буренин В. П.* Отрывок новооткрытого романа Лермонтова [«Княгиня Лиговская»] // Новое время. 1882. 5(17) февр. № 2134. С. 2.
Буров 2002 — *Буров А.* Социально-ментальные признаки русского «кавказца» в одноименном очерке М. Ю. Лермонтова // Лермонт. текст в пространстве времени. Пятигорск, 2002. С. 25–27.
Буянова 2013 — *Буянова Г. Б.* Поэтика и символика цвета в романе М. Ю. Лермонтова «Вадим» // Лермонтовские чтения — 2012: Сб. статей. СПб., 2013. С. 141–149.

Вайскопф 2012 — *Вайскопф М.* Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского романтизма. М., 2012.
Валагин 1978 — *Валагин А. П.* Читал ли Достоевский «Княгиню Лиговскую»? // Достоевский: Мат-лы и исслед. Вып. 3. Л., 1978. С. 205–208.
Ваняшова 1968. — *Ваняшова М. Г.* Лермонтов и Рембрандт // Проблемы русской литературы. Ярославль, 1963. Вып. 2. С. 269–287.
Вацуро 1983 — *Вацуро В. Э.* Художественная проблематика Лермонтова // Лермонтов М. Ю. Избранные сочинения. М., 1983.
Вацуро 2002 — *Вацуро В. Э.* Готический роман в России. М., 2002.
Вацуро 2004 — *Вацуро В. Э.* Избранные труды. М., 2004.
Вацуро 2008 — *Вацуро В. Э.* О Лермонтове: Работы разных лет. М., 2008.
Веневитинов 1985 — *Веневитинов Д. В.* Стихотворения. Проза. Письма. Воронеж, 1985.
Вильчинский 1970 — *Вильчинский В. П.* Николай Филиппович Павлов: Жизнь и творчество. Л., 1970.
Виноградов 1941 — *Виноградов В. В.* Стиль прозы Лермонтова // ЛН 1941: XLIII–XLIV. М. Ю. Лермонтов. I. С. 517–628.
Виноградов 1956 — *Виноградов Б. С.* Образ повествователя в романе Лермонтова «Герой нашего времени» // Литература в школе. 1956. № 1. С. 20–28.
Виноградов 1958 — *Виноградов Б. С.* Русские писатели в Чечено-Ингушетии. Грозный, 1958.
Виноградов 1963a — *Виноградов Б. С.* Бэла и песня Казбича // ФН. 1963. № 2. С. 187–198.
Виноградов 1963b — *Виноградов Б. С.* Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени» // М. Ю. Лермонтов: Вопросы жизни и творчества. Орджоникидзе, 1963. С. 54–66.
Виноградов 1964 — *Виноградов И. И.* Философский роман Лермонтова // Новый мир. 1964. № 10. С. 210–231.
Виноградов 1965 — *Виноградов Б. С.* О «Герое нашего времени» // М. Ю. Лермонтов: Мат-лы и сообщения VI Всесоюз. Лермонтовской конф. Ставрополь, 1965. С. 21–24.

Виноградов 1968 — *Виноградов Б. С.* «Кавказец» М. Ю. Лермонтова // Вопросы чечено-ингушской литературы. Литературоведение. Грозный, 1968. Т. V. Вып. 3. С. 61–72.
Виноградов 1990 — *Виноградов В. В.* Стиль прозы Лермонтова // Язык и стиль русских писателей. От Карамзина до Гоголя. М., 1990. С. 182–270.
Виноградов 1997 — *Виноградов А. В.* Лермонтовская Кубань. Армавир, 1997.
Виноградов 2000 — *Виноградов В. В.* История слов. М., 2000.
Виролайнен 1985 — *Виролайнен М. Н.* Гоголь и Лермонтов: (Проблема стилистического соотношения) // Лермонтовский сб. Л., 1985. С. 104–130.
Висковатый 1882 — *Висковатый П. А.* По поводу «Княгини Лиговской», впервые изданного произведения Лермонтова // РВ. 1882. № 3. С. 333–349.
Висковатый 1891 — *Висковатый П. А.* М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891.
Владимирская 1968 — *Владимирская Н. М.* Пугачевское восстание в художественной прозе Пушкина и Лермонтова // Пушкинский сб. Псков, 1968. С. 48–55.
Владимирская 1989. – *Владимирская Н. М.* Элементы романтического сюжета в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Лирическое начало и его функции в художественном произведении: Межвуз. сб. научн. тр. Владимир, 1989. С. 61–68.
Волк 1958 — *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958.
Вольперт 2000 — *Вольперт Л. И.* Памяти Вадима Эразмовича Вацуро // НЛО. 2000. № 2(42). С. 53–57.
Вольперт 2008 — *Вольперт Л. И.* Лермонтов и литература Франции. Изд. 2-е. СПб., 2008.
Воробьев 2003 — *Воробьев В. П.* Несколько наблюдений над байроновским влиянием в романе М. Ю. Лермонтова <«Вадим»> // Scripta manent X: Сб. научн. работ студентов и аспирантов-филологов. Смоленск, 2003. С. 38–43.
Воспоминания 1989 — М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1989.
Воспоминания Бестужевых 1951 — Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951.
Вырыпаев 1964 — *Вырыпаев П. А.* Один из возможных прототипов «Кавказца» // РЛ. 1964. № 3. С. 57–59.
Вырыпаев 1976 — *Вырыпаев П. А.* Лермонтов. Новые мат-лы к биографии. Саратов, 1976.
Вяземский 1878–1896 — *Вяземский П. А.* Полное собр. соч: *В* 12 т. СПб., 1878–1896.

Галахов 1858 – Галахов А. Д. Лермонтов // РВ. 1858. № 13. Кн. 1. С. 60–92.
Галкин 1991 — *Галкин А. Б.* Об одном символе в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // ВЛ. 1991. № 7. С. 114–120.
Геллер 1999 — *Геллер Л.* Печоринское либертинство // Логос. Философско-лит. журнал. М., 1999. Вып. 2. С. 98–110.
Гераков 1828 — *Гераков Г. В.* Путевые записки по многим Российским губерниям. 1820. СПб., 1828.
Гершензон 1912 — *Гершензон М. О.* Образы прошлого. М., 1912.
Герштейн 1939 — *Герштейн Э. Г.* Отклики современников на смерть Лермонтова // М. Ю. Лермонтов: Ст. и мат-лы. М., 1939. С. 66–67.
Герштейн 1948 — *Герштейн Э. Г.* Дуэль Лермонтова с Барантом // ЛН 1948: XL—XLVI. М. Ю. Лермонтов. II. С. 389—432.
Герштейн 1976 — *Герштейн Э. Г.* «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. М., 1976.
Герштейн 1979 — *Герштейн Э. Г.* Лермонтов и петербургский «свет» // М. Ю. Лермонтов: Исследования и материалы. Л., 1979. С. 171–187.
Герштейн 1985 — *Герштейн Э. Г.* Скрытая цитата в «Думе» // Лермонтовский сб. Л., 1985. С. 255–259.

Герштейн 1986 — *Герштейн Э. Г.* Судьба Лермонтова. 2-е изд. М., 1986.
Герштейн 1997 — *Герштейн Э. Г.* Роман «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. М., 1997.
Гинзбург 1940 — *Гинзбург Л. Я.* Творческий путь Лермонтова. Л., 1940.
Гиоргидзе 1958 — *Гиоргидзе Г.* Конец Казбича // Лит. Грузия. 1958. № 6. С. 111.
Гиршман 1991 — *Гиршман М. М.* Литературное произведение: Теория и практика анализа. М., 1991.
Гладыш, Динесман 1963 — *Гладыш И. А., Динесман Т. Г.* Архив А. М. Верещагиной // ЗОР ГБЛ. М., 1963. Вып. 26. С. 34–62.
Гладышев 2001 — *Гладышев Е. В.* Лермонтовская рецепция «Гамлета» в «Герое нашего времени» // Грехневские чт: Сб. научн. тр. Н. Новгород, 2001. С. 84–88.
Глассе 1979 — *Глассе А.* Лермонтов и Е. А. Сушкова // М. Ю. Лермонтов: Исслед. и мат-лы. Л., 1979. С. 80–121.
Глассе 2007 — *Глассе А.* Баллада Гете-Шуберта «Лесной царь» в контексте повести М. Ю. Лермонтова <Штосс> // ТВ. 2007. Вып. 20. С. 133–138.
Глинка 1824 — Русская история, сочиненная Сергеем Глинкою. Ч. 12. 3-е изд., доп. М.: В Университетской типографии, 1824.
Гоголь 1937–1952 — *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л., 1937–1952.
Головинский 1878 — *Головинский П. А.* Кумыки: Их игры, песни и обычаи // Сб. сведений о Терской обл. Вып. 1. Владикавказ, 1878. С. 290–297.
Головко 1991 — *Головко В. М.* Полемика с нравственно-философскими идеями европейского просвещения в романах М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и Д.-А.-Ф. де Сада «Жюстина, или Несчастья добродетели» // Проблемы изуч. и преподавания творчества М. Ю. Лермонтова. Ставрополь, 1991. С. 11–16.
Головко 1994 — *Головко В. М.* «Опыты» Монтеня как один из источников романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: (О традициях философского скептицизма в «Фаталисте») // М. Ю. Лермонтов: Проблемы изуч. и преподавания. Межвуз. сб. научн. тр. Ставрополь, 1994. С. 28—34.
Голосовкер 1991 — *Голосовкер Я.* Секрет автора: «Штосс» М. Ю. Лермонтова // РЛ. 1991. № 4. С. 45–71.
Гольдфаин 2004 — *Гольдфаин И.* Совпадения случайные и неслучайные // ВЛ. 2004. № 6. С. 325–329.
Горбачева 1989 — *Горбачева Н. Б.* Мотивы французской революции в системе символов неоконченного романа Лермонтова «Вадим» // Вест. МГУ. Филология. 1989. № 5. С. 52–54.
Грехнев 1975 — *Грехнев В. А.* О психологических принципах «Княгини Лиговской» М. Ю. Лермонтова // РЛ. 1975. № 1. С. 36–46.
Грехнев 2004 — *Грехнев В. А.* Русский «гамлетизм» и философия действия в «Герое нашего времени» Лермонтова // Лермонтовский вып. № 7. Мат-лы междунар. научн. конф. «Изучение творчества М. Ю. Лермонтова на современном этапе». Пенза, 2004. С. 132–135.
Грибоедов 1969 — *Грибоедов А. С.* Горе от ума / Изд. подгот. Н. К. Пиксанов при участии А. Л. Гришунина. М., 1969.
Григорович 1987 — *Григорович Д. В.* Литературные воспоминания. М., 1987.
Григорьев 1859 — *Григорьев А. А.* И. С. Тургенев и его деятельность: По поводу романа «Дворянское гнездо» // РСл. 1859. Кн. 4. Отд. 2. С. 1–34.
Григорьев 1915–1916 — *Григорьев А. А.* Собр. соч.: В 14 т. М., 1915–1916.
Григорьян 1963 — *Григорьян К. Н.* Роман Лермонтова «Герой нашего времени» — вершина русской романтической прозы // М. Ю. Лермонтов: Вопросы жизни и творчества. Орджоникидзе, 1963. С. 36–53.

Григорьян 1964 — *Григорьян К. Н.* Лермонтов и романтизм. М.; Л., 1964.
Григорьян 1973 — *Григорьян К. Н.* О современных тенденциях в изучении романа Лермонтова «Герой нашего времени»: К проблеме романтизма // РЛ. 1973. № 1. С. 57–78.
Григорьян 1975 — *Григорьян К. Н.* Лермонтов и его роман «Герой нашего времени». Л., 1975.
Громбах 1989 — *Громбах С. М.* Пушкин и медицина его времени. М., 1989.
Гроссман 1941 — *Гроссман Л. П.* Лермонтов и культура Востока // ЛН 1941: XLIII–XLIV. С. 674–744.
Гурвич 1987 — *Гурвич И. А.* О развитии художественного мышления в русской литературе (конец XVIII — первая половина XIX в.). Ташкент, 1987.
Гурович 2008 — *Гурович Н. М.* Система портретов в «Герое нашего времени» М. Лермонтова // Вестн. Рос. гуманит. ун-та. 2008. № 9. С. 129–145.

Давидович 1927 — *Давидович М. Г.* Женский портрет у русских романтиков первой половины XIX века // Русский романтизм: Сб. ст. Л., 1927. С. 88–114.
Даль 1955 — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1955.
Данько 1961 — *Данько В. Т.* О некоторых особенностях индивидуального слога М. Ю. Лермонтова. На мат-ле общенар. лексики «Княгини Лиговской» // Студентські наук. праці Київ. держ. ун-ту. 1961. Сб. 27. С. 90–99.
Даронян 1974a — *Даронян С. К.* «Ашик-Кериб» Лермонтова и армянские записи сказания // Вестник обществ. наук. 1974. № 4. С. 79–92.
Даронян 1974b — *Даронян С. К.* Лермонтов и армянская действительность (20–60-е гг. XIX в.) // Лермонтов и литература народов Советского Союза. Ереван, 1974. С. 259–299.
Дебрецени 1992 — *Дебрецени П.* «Герой нашего времени» и жанр лирической поэмы // Михаил Лермонтов. 1814–1989: Норвичский симпозиум. Нортфилд, 1992. С. 69—80.
Дельвиг 1912 — *Дельвиг А. И.* Мои воспоминания: В 2 т. М., 1912.
Дельвиг 1930 — *Дельвиг А. И.* Полвека русской жизни: Воспоминания. 1820–1870. М.; Л., 1930.
Державин 1957: 239 — Державин Г.Р.. Стихотворения. Л., 1957
Добролюбов 1961–1964 — *Добролюбов Н. А.* Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1961–1964.
Докусов 1938 — *Докусов А. М.* «Вадим» // Звезда. 1938. № 9. С. 191–200.
Докусов 1947 — *Докусов А. М.* Роман «Вадим» Лермонтова // Уч. зап. Ленинград. пед. ин-та им. А. И. Герцена. 1947. Т. 43. С. 33–100.
Докусов 1949 — *Докусов А. М.* «Вадим» Лермонтова. Проблематика, образы, стиль // Уч. зап. Ленинград. пед. ин-та им. А. И. Герцена. 1949. Т. 81. С. 95–129.
Докусов 1976 — *Докусов А. М.* М. Ю. Лермонтов и В. Гюго // Пути русской прозы XIX века. Л., 1976. С. 3–15.
Дрозда 1985 — *Дрозда М.* Повествовательная структура «Героя нашего времени» // Wiener slawist. Alm. Wien. 1985. Bd. 15. S. 5–34.
Дроздов 1887 — *Дроздов И. И.* Князь В. С. Голицын // РА. 1887. Т. 2. С. 364–370.
Дубровин 1871–1888 — *Дубровин Н. Ф.* История войны и владычества русских на Кавказе: В 6 т. СПб., 1871–1888.
Дубшан 1985 — *Дубшан Л. С.* О художественном решении и литературном источнике одного из эпизодов повести «Бэла» // Лермонтовский сб. Л., 1985. С. 267–277.
Дударева, Ерохин 2010 — *Дударева А. А.*, *Ерохин В. Н.* Автор и герой в романе М. Ю. Лермонтова «Княгиня Лиговская» // Вестн. Тверск. ун-та. Серия: Филология. 2010. № 1. С. 13–26.

Дударенко 1989 — *Дударенко И. С.* Использование классификаторов для обозначения оценки человека в романе «Вадим» // Актуальные вопр. современного лермонтоведения: Языкознание. Киев, 1989. С. 59–60.

Дудышкин 1860 — *Дудышкин С. С.* Вместо предисловия // Лермонтов М. Ю. Соч. СПб., 1860. Т. 1. С. VII–XXIV.

Дурылин 1940 — Дурылин С. Н. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. М., 1940.

Дурылин 1948a — *Дурылин С. Н.* На путях к реализму // Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова: Исслед. и мат-лы: Сб. первый. М., 1941. С. 163–250.

Дурылин 1948b — *Дурылин С. И.* Врубель и Лермонтов // ЛН 1948: XLV–XLVI. С. 541–622.

Дурылин 2006 — *Дурылин С. Н.* «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. М., 1940.

Дьяконова 1962 — *Дьяконова Н. Я.* Байрон и Руссо // Тезисы конф., посвящ. 250-летию со дня рождения Жан-Жака Руссо. Одесса, 1962.

Дьяконова 2001 — *Дьяконова Н. Я.* Из истории английской литературы: Статьи разных лет. СПб., 2001.

Евзерихина 1959 — *Евзерихина В. А.* «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова: Лекция в помощь студентам-заочникам. Новосибирск, 1959.

Евзерихина 1960a — *Евзерихина В. А.* «Бэла» и путевые записки 30-х гг. XIX в. // Вопросы истории рус. и зарубеж. лит. Работы молодых литературоведов Сибири и Дальнего Востока. Красноярск, 1960. С. 51–71.

Евзерихина 1960b — *Евзерихина В. А.* К вопросу об истоках и проблематике «Фаталиста» М. Ю. Лермонтова // Вопросы творчества и языка русских писателей. XVIII–XIX вв. Новосибирск, 1960. Вып. 1. С. 3–16.

Евзерихина 1961 — *Евзерихина В. А.* «Княжна Мери» М. Ю. Лермонтова и «светская повесть» 1830-х годов // Учен. зап. Ленинград. пед. ин-та им. А. И. Герцена. 1961. Т. 219. С. 51–72.

Евзерихина 1965 — *Евзерихина В. А.* Мастерство Лермонтова в «Герое нашего времени»: («Тамань») // М. Ю. Лермонтов: Мат-лы и сообщения VI Всесоюз. Лермонтовской конф. Ставрополь, 1965. С. 35–44.

Ермакова 1958 — *Ермакова М. Я.* «Вадим» Лермонтова и некоторые вопросы русского исторического романа 30-х годов XIX в. // Учен. зап. Горьк. пед. ин-та. 1958. Т. 23. С. 236–260.

Ермакова 2008 — *Ермакова Н. А.* «Текст в тексте» как структурная модель «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова // Кафедра: проблемы, поиски, перспективы: сб. ст., посвящ. 10-летию Кафедры филологии НГТУ. Новосибирск, 2008. С. 37–49.

Ермоленко 2007 — *Ермоленко С. И.* Зачем Печорин ездил в Персию? // Филологический класс. 2007. № 17. С. 41–48.

Ермолов 1991 — *Ермолов А. П.* Записки. 1798–1826. М., 1991.

Ефремов 1873 — *Ефремов П. А.* Предисловие к: Юношеская повесть М. Ю. Лермонтова [«Вадим»] // ВЕ. 1873. Т. 43. № 10. С. 457–458.

Ефремов 1963 — *Ефремов А. Ф.* Язык новеллы М. Ю. Лермонтова «Тамань» // Язык и стиль русских писателей и публицистов (XIX—XX вв.). Тр. V–VI научн. конф. кафедр рус. яз. пед. ин-тов Сред. и Нижнего Поволжья. Куйбышев, 1963. С. 74–88.

Жирмунский 1978 — *Жирмунский В. М.* Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. М., 1978.

Жогин 1994 — *Жогин Б. Г.* «Злые» чеченцы и «робкие» грузины: Источники некоторых представлений Лермонтова о народах Кавказа // М. Ю. Лермонтов: Проблемы изуч. и преподавания. Ставрополь, 1994. С. 116–124.

Жолковский 1994 — *Жолковский А. К.* Семиотика «Тамани» // Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. С. 276–282.
Жорж Санд 1974 — *Жорж Санд.* Собр. соч.: В 9 т. Л., 1974.
Жук 1971 — *Жук А. А.* Лермонтов и «натуральная школа» // Проблемы теории и истории литературы. Сб. ст., посвящ. памяти проф. А. Н. Соколова. М., 1971. С. 226–233.
Жуковский 1901 — *Жуковский В. А.* Соч. в стихах и прозе. 10-е изд., испр. и доп. СПб., 1901.

Заборов 1979 — Из «Общей тетради» Лермонтова (1829): Конспект «Лекций исторических» / Публ. П. Р. Заборова // М. Ю. Лермонтов: Исследования и материалы. Л., 1979. С. 309–322.
Зайцева 1983 — *Зайцева И. А.* Взаимодействие поэтических и прозаических жанров в раннем творчестве Лермонтова: (К проблеме формирования лермонтов. психологизма) // Жанр романа в классич. и совр. лит.: Межвуз. научн.-темат. сб. Махачкала, 1983. С. 25–36.
Зайцева 1998 — *Зайцева И. А.* Воплощение внутреннего мира человека в романе М. Ю. Лермонтова «Княгиня Лиговская» // К 60-летию профессора Анны Ивановны Журавлевой. М., 1998. С. 59–70.
Замотин 1914 — *Замотин И. И.* Мотивы идеального строительства жизни. Варшава, 1914.
Зарин 1864 — *Зарин Е. Ф.* Байрон в своем «Чайльд-Гарольде» и «Чайльд-Гарольд» Байрона в русском переводе // ОЗ. 1864. № 9. Отд. 1. С. 300–326.
Заславский 1992 — *Заславский О. Б.* Сюжет «Княгини Лиговской» и проблема демонизма в творчестве Лермонтова // Wiener Slawistischer Almanach. 1992. Bd. 29. S. 31–44.
Заславский 1993 — *Заславский О. Б.* О художественной структуре неоконченной повести Лермонтова // Russian Literature. 1993. Vol. 34. Issue 1. P. 109–133.
Заславский 2001. — *Заславский О. Б.* Роль темы отца в замысле Вадима // Russian Literature. 2001. Vol. 49. Issue 3. P. 337–346.
Заславский 2010 — *Заславский О. Б.* Закончен ли «Штосс»? // ИСЛЯ. Сер. литературы и языка. 2012. Т. 71. № 4. С. 52–59.
Захаров 1977 — *Захаров В. А.* Анти-Лермонтов // В мире книг. 1977. № 5.
Захаров 1983 — *Захаров В. А.* Две поездки М. Ю. Лермонтова на Кубань // РЛ. 1983. № 4. С. 139–151.
Захаров 1983 — *Захаров В. А.* Пугачевский полковник Иван Иванов: [К истории создания «Вадима»] // Волга. 1979. № 9. С. 178–180.
Захаров 2014 — *Захаров В. А.* Статьи о М. Ю. Лермонтове. М., 2014.
Зингер 1991 — *Зингер Л.* Загадки второго издания «Героя нашего времени» // Москва. 1991. № 7. С. 189–193.
Зиссерман 1876 — *Зиссерман А. Л.* Отрывки из моих воспоминаний // РВ. 1876. Т. 122. № 3.
Зиссерман 1879 — *Зиссерман А. Л.* Двадцать пять лет на Кавказе: В 2 ч. СПб., 1879.
Зиссерман 1885 — *Зиссерман А. Л.* Двадцать пять лет на Кавказе. Воспоминания // РА. 1885. Т. 1. С. 273–298.
Злобина 1973 — *Злобина Л.* Неоконченный роман «Княгиня Лиговская» // Сельская новь. Белинский. 1973. 30 июня.
Золотарев 2009 — *Золотарев И. Л.* Традиции фантастической повести 30-х годов XIX века в «Пиковой даме» А. С. Пушкина, «Штоссе» М. Ю. Лермонтова // Изв. Рос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2009. № 119. С. 185–192.

Зотов, Ефимов 2009 — *Зотов С. Н., Ефимов А. А.* Игровое начало и особенности самоопределения героя в повести М. Ю. Лермонтова <Штосс> // Лермонтовские чт. на Кавминводах-2008: Мат-лы междунар. научн. конф. «М. Ю. Лермонтов в русской и мировой культуре». Пятигорск, 2009. С. 65–77.
Зуров 1961 Зуров Л. Ф. «Тамань» Лермонтова и «L'Orco» Ж. Занд // Новый журнал. 1961. № 66. С. 278–281.

Иваненко 1987 — *Иваненко О. П.* Лирические источники и контекст романа М. Ю. Лермонтова «Княгиня Лиговская» // Творческая индивидуальность писателя и литературный процесс: Межвуз. сб. научн. тр. С. 16–24.
Иванов 1898 — *Иванов И. К.* Писемский. СПб., 1898.
Иванова 1964 — *Иванова Т. А.* Творческая встреча: Лермонтов и Вашингтон Ирвинг // ИСЛЯ. Серия литературы и языка. 1964. Т. 23. Вып. 5. С. 393–401.
Иванов-Разумник 1911 — *Иванов-Разумник Р. В.* История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в рус. лит. и жизни XIX в.: В 2 т. СПб., 1911.
Иезуитова 1973 — *Иезуитова Р. В.* Светская повесть // Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра. Л., 1973. С. 169–199.
Изудинова 2005 — *Изудинова Р. С.* Андийская бурка. Махачкала, 2005.
Инсарский 1873 — *Инсарский В. А.* Из записок // РА. 1873. № 4. Стб. 513–592.
Иофанов 1947 — *Иофанов Д. М.* М. Ю. Лермонтов: Новые материалы о жизни и творчестве. Киев, 1947.
Искусство и художник 1991 — Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века. Л., 1991.

Кавказский календарь 1849 — Кавказский календарь на 1850 год. Тифлис, 1849.
Кавказский сборник 1898 — Кавказский сборник. 1898. Вып. 19.
Казакова, Файбисович 1988 — *Казакова И. А, Файбисович В. М.* Мундир и судьба: Военные реалии в «Княгине Лиговской» и «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова // Персонаж и предметный мир в худож. произведении. Сыктывкар, 1988. С. 55–73.
Казанова 1991 — *Казанова Дж.* Мемуары. М., 1991.
Кази-Бек 1896 — *Кази-Бек Ю. (Ахметуков)*. Черкесские рассказы. М., 1896.
Карамзин 1984 — *Карамзин. Н. М.* Письма русского путешественника. Л., 1984.
Карбоне 2011 — *Карбоне А.* М. Ю. Лермонтов и Шодерло де Лакло: либертинские мотивы в «Герое нашего времени» («Княжна Мери») // Лермонтовские чт.-2010: Сб. ст. СПб., 2011. С. 39–50.
Карбоне 2013 — *Карбоне А.* «Либертинское» письмо М. Ю. Лермонтова А. М. Верещагиной весной 1835 года. Анализ литературной стилизации // М. Ю. Лермонтов в русской и зарубежной науке и культуре. Мат-лы Всеросс. науч. конф. (2012). Пятигорск, 2013. С. 112–121.
Кардаш 2013 — *Кардаш А.* Лермонтов на лезгинской линии // Лит. Россия. 2013. 26 июля. № 30.
Карпов 2015 — Карпов А. А. Из наблюдений над контекстом «Героя нашего времени» // М. Ю. Лермонтов и мировая культура. СПб., 2015 (в печати).
Качалова 2001 — *Качалова М.* Тема любви и войны в очерке М. Ю. Лермонтова «Кавказец» // Женщина в жизни общества: Мат-лы междунар. конф. СПб., 2001. С. 161–164.
Кезина 2006 — *Кезина С. В.* Мир гармонии и мир страстей «в цвете»: по роману М. Ю. Лермонтова «Вадим» // ТВ. 2006. Вып. 19. С. 137–141.
Кийко 1985 — *Кийко Е. И.* «Герой нашего времени» Лермонтова и психологическая традиция во французской литературе // Лермонтовский сб. Л., 1985. С. 181–193.

Кирсанова 1995 — *Кирсанова Р. М.* Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половине 20 вв.: Опыт энциклопедии. М., 1995.
Кирша Данилов 1938 — Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М., 1938.
Кистенева 1995 — *Кистенева С.* К портрету «героя ушедшего времени» // РМ. 1995. 30 марта — 5 апр. № 4071. С. 17–18.
Китанина 2009 – Китанина Т. А. Две заметки о Пушкине и «кавказском тексте» // Пушкин и его современники: Сб. науч. статей. Вып. 5 (44). СПб., 2009. С. 231–247.
Климович 1965 — *Климович Л.* Ислам и современность // Наука и религия. 1965. № 7. С. 21–24; № 8. С. 51–57; № 9. С. 16–21; № 10. С. 15–20; № 11. С. 29–32.
Ковалевская 1980 — Лермонтов: Картины. Акварели. Рисунки. М., 1980.
Коган 1947 — *Коган А. Н.* Об отражении исторической действительности в романе М. Ю. Лермонтова «Вадим» // Уч. зап. Пед. и учит. ин-та им. В. В. Куйбышева. 1947. Вып. 8. С. 53–71.
Кокиев 1885 — *Кокиев С.* Записки о быте осетин // Сб. мат-лов по этнографии, издаваемый при Дашковском этнограф. музее. М., 1885. Вып. 1. С. 78–79.
Кольцов 1984 — *Кольцов А. В.* Стихотворения. Письма к В. Г. Белинскому. Воронеж, 1984.
Колюбакин 1874 — Н. П. Колюбакин // РА. 1874. Вып. 11. С. 949–957.
Кондорская 1970 — *Кондорская В. И.* М. Ю. Лермонтов и А. де Виньи // Учен. зап. Ярославск. пед. ин-та и Костромск. пед. ин-та. 1970. Вып. 20. С. 71–89.
Кондратенкова 2010 — *Кондратенкова Е. А.* Место драмы Байрона «Манфред» в художественном мире романа Лермонтова «Герой нашего времени» // Изв. Смоленск. гос. ун-та. 2010. № 3 (11). С. 37–43.
Кондратенкова 2011a — *Кондратенкова Е. А.* Интертекстуальные связи «Паломничества Чайльд-Гарольда» Байрона и «Героя нашего времени» Лермонтова // Изв. Смоленск. гос. ун-та. 2011. № 1 (13). С. 7–14.
Кондратенкова 2011b — *Кондратенкова Е. А.* От «Паломничества Чайльд-Гарольда» к «Герою нашего времени» // Изв. Смоленск. гос. ун-та. 2011. № 4. С. 172–180.
Кондратенкова 2012 — *Кондратенкова Е. А.* След писем и дневников Байрона в «Герое нашего времени» // Наук. зап. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. 2012. Вип. 3 (71). С. 88–97.
Кондратенкова 2013 — *Кондратенкова Е. А.* Байронический след в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Смоленск, 2013.
Копытцева 1977 — *Копытцева Н. М.* «Тамань» в структуре «Героя нашего времени» // Вопр. поэтики лит. жанров. Сб. научн. тр. Л., 1977. Вып. 2. С. 22–39.
Корнеев 1987 — *Корнеев А.* Печорин и Печерин // Альманах библиофила. М., 1987. Вып. 22. С. 81–91.
Коровицына 2002 — *Коровицына Е. А.* Идея личности в России и Франции начала XIX в. // Рус. лит. и философия: постижение человека: Мат-лы Всерос. научн. конф. Липецк, 2002. С. 49–54.
Корсаков 1902. — *Корсаков А. М.* Мои воспоминания. 1840–1844 // Старина и новизна. Кн. 5. СПб., 1902. С. 157–223.
Косвен 1961 — *Косвен М. О.* Этнография и история Кавказа. М., 1961.
Костикова, Буянова 2007 — *Костикова А. О., Буянова Г. Б.* Герои «Исповеди сына века» А. де Мюссе и «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова: характеры и судьбы // XII Державинские чт.: мат-лы научн. конф. препод. и аспирантов. Тамбов, 2007. С. 43–45.

Котельников 2014 — *Котельников В. А.* Сюжет с княжной Мери и традиция литературного либертинизма // РЛ. 2014. № 3. С. 28–40.
Котляревский 1915 – *Котляревский Н. А.* М. Ю. Лермонтов. Личность поэта и его произведения. Пг., 1915.
Кривонос 1987 — *Кривонос В. Ш.* И. С. Тургенев и бытовой марлинизм: (К проблеме метода писателя на рубеже 1860–70-х гг.) // Эстетика и метод: Рус. лит. 1870–1890 гг.: Сб. научн. тр. Свердловск, 1987. С. 52–64.
Кривонос 2007 — *Кривонос В. Ш.* Смерть героя в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Лермонтовские чт. - 2007: Сб. ст. СПб., 2008. С. 105–116.
Кривонос 2010 — *Кривонос В. Ш.* «Штосс» М. Ю. Лермонтова: обрыв текста или обрыв сюжета? // Лермонтовские чт.-2010: Сб. ст. СПб., 2011. С. 108–118.
Кривошапова 1976 — *Кривошапова С. А.* Демократический герой в прозе М. Ю. Лермонтова и Н. А. Некрасова // ВРЛ. Вып. 1 (27). Львов, 1976. С. 33–41.
Кросс 2005 — *Кросс Э. Г.* Британцы в Петербурге: XVIII век. СПб., 2005.
Крупышев 1975. — *Крупышев А. М.* О предисловиях в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Научные доклады высшей школы. Филологические Науки. 1989. № 6. С. 63–67.
Кубанова 2011 — *Кубанова А. З.* Русский кавказец: очерк Ю. М. Лермонтова «Кавказец» и XXI век // Универ. чт.-2011. Мат-лы научн.-метод. чт. ПГЛУ. Ч. VIII. Пятигорск, 2011. С. 43–47.
Кулебякин 1886 — *Кулебякин П.* Из местных воспоминаний о М. Ю. Лермонтове // Терские ведомости. 1886. № 14. С. 2.
Кулешов *1965* — Кулешов *В. И.* Натуральная школа в рус. лит-ре XIX в. М., 1965.
Кусов 1975 — *Кусов Г. И.* Поиски краеведа. Орджоникидзе, 1975.
Кусов 1998 — *Кусов Г. И.* Встречи со старым Владикавказом. Владикавказ, 1998.
Кюно 2001 — *Кюно Я.* В поисках тайны души человека: о повести В.Ф. Одоевского «Косморама» // Acta Slavica Iaponica. 2001. Vol.18. P. 79–98.

Лазареску 2008 — *Лазареску О.* Часть текста: Функция предисловий в романе «Герой нашего времени» // ВЛ. М., 2008. Вып. 4. С. 200–211.
Ламарк 1937 — *Ламарк Ж. Б.* Философия зоологии. Т. 2. М.; Л., 1937.
Левагина 2002 — *Левагина С. Н.* Тенденция духовной энтропии : путь от Константина Батюшкова к «странным» героям Лермонтова // Россия Лермонтова. Мат-лы 2-х Лермонтовских чт. Ярославль, 2002. С. 5–12.
Левин 1964 — *Левин В.* Об истинном смысле монолога Печорина // Творчество М. Ю. Лермонтова: 150 лет со дня рождения. 1814–1964. М., 1964. С. 272–282.
Левин 1973 — *Левин В. И.* «Фаталист». Эпилог или приложение? // Искусство слова. Сб. ст. К 80-летию Д. Благого. М., 1973. С. 161–170.
Левин 1975 — *Левин Ю. Д.* Из реминисценций английской литературы у Лермонтова // РЛ. 1975. № 2. С. 204–206.
Левин 1978 — *Левин В.* Эдуард Ноэль Лонг — предшественник Вулича // Лит. учеба. 1978. № 1. С. 235–236.
Лейбов 2000 — *Лейбов Р. Г.* К генеалогии «кавказских пленников» // Пушкинские чтения в Тарту – 2. Мат-лы междунар. науч. конф. Тарту, 2000. С. 91–103.
Леонов 2000 — *Леонов С. А.* «Фаталист» в художественной структуре романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: опыт прочтения // ТВ. Пенза, 2000. Вып. 12. С. 48–58.
Леонтович 1883 — *Леонтович Ф. И.* Адаты Кавказских горцев: В 2 вып. Одесса, 1883.
Лермонтов 1840 — *Лермонтов М. Ю.* Герой нашего времени: В 2 ч. СПб., 1840.
Лермонтов 1841 — *Лермонтов М. Ю.* Герой нашего времени: В 2 ч. СПб., 1841.

Лермонтов 1880 — Юношеские драмы М. Ю. Лермонтова / Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1880.
Лермонтов 1889–1891 — Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. / Под ред. П. А. Висковатова. М., 1989.
Лермонтов 1891a — *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. соч. / Под ред. А. И. Введенского. СПб., 1891.
Лермонтов 1891b — Сочинения М. Ю. Лермонтова, проверенные по рукописи, под редакцией и с примечаниями И. М. Болдакова, М., 1891.
Лермонтов 1910–1913 — *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. соч. / Под ред. и с примеч. Д. И. Абрамовича. СПб., 1910–1913.
Лермонтов 1953 — Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч.: В 4 т. / Под ред. И. Л. Андроникова. М.: Правда, 1953.
Лермонтов 1954–1957 — *Лермонтов М. Ю.* Соч.: В 6 т. / Ред. Н. Ф. Бельчиков, Б. П. Городецкий, Б. В. Томашевский. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954–1957.
Лермонтов 2000–2002 — *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М.: Воскресенье, 2000–2002.
Лермонтовские места 1989 — По лермонтовским местам. М., 1989.
Лернер 1913 — *Лернер Н. О.* Оригинал одного из героев Лермонтова // Нива. 1913. № 37. С. 731–732.
Лернер 1916 — *Лернер Н. О.* Предисловие // Толстой Л. Н. Хаджи-Мурат. Пг., 1916. С. I–XXXI.
Ливенцов 1894 — *Ливенцов М.* Воспоминания о службе на Кавказе в начале 1840-х годов // Русское обозрение. 1894. № 4. С. 616–635.
Липич 1991. — *Липич В. В.* Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» в историко-литературном контексте западноевропейского романа первой половины XIX века // Изучение творчества М. Ю. Лермонтова в вузе и школе. Пенза, 1991. С. 100–107.
Лисенкова 1965 — *Лисенкова Н. А.* Мотивационная сфера романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (Повесть «Княжна Мери») // Творчество М. Ю. Лермонтова. Пенза, 1965. С. 170—224.
Лисенкова 1983 — *Лисенкова Н. А.* Влияние романтической мотивировки на формирование жанровой структуры исторического романа Лермонтова «Вадим» // М. Ю. Лермонтов: Вопр. традиций и новаторства. Рязань, 1983. С. 38–45.
Лихоносов 1986 — *Лихоносов В. И.* Осень в Тамани. Тайна хаты Царицыхи. Краснодар, 1986.
Ломоносов 1950–1983 — *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч.: В 11 т. М.; Л., 1950–1983.
Лорер 1984 — *Лорер Н. И.* Записки декабриста. Иркутск, 1984.
Лотман 1985 — *Лотман Ю. М.* Проблема Востока и Запада в творчестве позднего Лермонтова // Лермонтовский сб. Л., 1985. С. 5–22.
Лотман 1992 — *Лотман Ю. М.* «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века // Лотман Ю. М. Избран. ст: В 3 т. Т. 2: Ст. по истории рус. лит. XVIII — первой половины XIX века. Таллинн, 1992. С. 389–415.
Лотман 1995 — *Лотман Ю. М.* Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995.
ЛЭ 1981 — Лермонтовская энциклопедия. М., 1981.
Люллье 1857 — *Люллье Л.* О натуханцах, шапсугах и абадзехах // Зап. Кавказ. отд. Рус. Географич. общ. Тифлис. 1857. Кн. 4. С. 234–236.

Манн 1976 — *Манн Ю. В.* Динамика русского романтизма. М., 1976.
Мануйлов 1963 — *Мануйлов В. А.* «Герой нашего времени» Лермонтова как реалистический роман: (Тезисы доклада) // М. Ю. Лермонтов: Вопросы жизни и творчества. Орджоникидзе, 1963. С. 25–35.
Мануйлов 1964. — *Мануйлов В. А.* Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); Отв. ред. Б. П. Городецкий. М.; Л.: Наука, 1964.
Мануйлов, Назарова 1984 — *Мануйлов В. А., Назарова Л. Н.* Лермонтов в Петербурге. Л., 1984.
Маркелов 1979 — *Маркелов Н. В.* «Старый памятник, обновленный Ермоловым...» // Ставрополье. 1979. № 3. С. 62–63.
Маркелов 2000 — *Маркелов Н. В.* Крест над Кавказом // Московский журнал. 2000. № 3. С. 23–25.
Маркова 2007 — *Маркова В. В.* Поэтика безмолвия в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова // Вестн. Тюменск. гос. ун-та. 2007. № 4. С. 23–30.
Маркович 1967 — *Маркович В. М.* «Герой нашего времени» и становление реализма в русском романе // РЛ. 1967. № 4. С. 46–66.
Маркович 1981 — *Маркович В. М.* О лирико-символическом начале в романе Лермонтова «Герой нашего времени» // ИСЛЯ. Сер. лит. и яз. 1981. № 4. С. 291–302.
Маркович 1984 — *Маркович Я.* «Исповедь» Печорина и ее читатели // Лит. учеба. 1984. № 5. С. 206–213.
Мартьянов 1893–1896 — *Мартьянов П. К.* Дела и люди века: Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки: В 3 т. СПб., 1893–1896.
Мартынов 1904 — *Мартынов Н. С.* // Изв. Тамб. учен. архивной комис. Вып. 17. Мат-лы для истории Тамб., Пенз. и Сарат. дворянства. Т. 1. Ч. 2. Тамбов, 1904. С. 111–118
Марченко 1989 — *Марченко А. М.* Род литературного дагерротипа... // Лит. учеба. 1989. № 2. С. 123–133.
Масальский 1845 — *Масальский К. П.* Сочинения. Ч. IV. СПб., 1845.
Махлевич 1967 — *Махлевич Я. Л.* Расшифровка некоторых сокращений в «Герое нашего времени» // ВЛ. 1976. № 4. С. 209–218.
Махлевич 1981 — *Махлевич Я. Л.* Кавказский вид // Панорама искусств. М., 1981. Вып. 4. С. 247–278.
Махлевич 1983 — *Махлевич Я. Л.* Мезонин у Нарзана. Ставрополь, 1983.
Махлевич 1991 — *Махлевич Я. Л.* «И Эльборус на юге...». М., 1991.
Медриш, Погребная 1982 — *Медриш Д. Н., Погребная Л. В.* Лермонтовская «Тамань» в фольклорном отражении // Вопр. функционального изучения лит. Волгоград, 1982. С. 115–121.
Мейер 2011 — *Мейер П.* Русские читают французов. Лермонтов, Достоевский, Толстой и французская литература. М., 2011.
Мельникова 2006 — *Мельникова Т. М.* Обложка рукописи романа..: [«Вадим»] // ТВ. 2006. Вып. 19. С. 29–45.
Мещерякова 2010 — *Мещерякова Л. А.* Тема одержимости карточной игрой в «Счастье игрока» Гофмана и произведениях Лермонтова // ТВ. Пенза, 2010. Вып. 23. С. 136–145.
Милевская 1991 — *Милевская Н. И.* Фольклор в романе М. Ю. Лермонтова «Вадим» // Рус. фольклор: Проблемы изуч. и преподавания: Мат-лы межрегион. научн.-практ. конф. Тамбов, 1991. Ч. 1. С. 114–116.
Миллер 1986 — *Миллер О. В.* К вопросу о литературных реминисценциях в балладе Лермонтова «Три пальмы» // РЛ. 1986. № 3. С. 181–183.

Миллер 2011 — *Миллер О. В.* Новое в комментарии к роману «Герой нашего времени» // Лермонтовские чт.-2010. СПб., 2011. С. 51–57.
Митчина 1997 — *Митчина Р. Б.* Концепция художественного пространства и его композиционные функции в повести М. Ю. Лермонтова «Штосс» // Культура и текст. СПб., 1997. Вып. 1. Ч. 2. С. 8–11.
Михайлов 1861 — *Михайлов В. Л.* Заметка о Лермонтове: По поводу нового издания его сочинений // С. 1861. № 2. С. 317–336.
Михайлов 1951 — *Михайлов М. С.* К вопросу о занятиях Лермонтова «татарским» языком // Тюркологический сб. М.; Л., 1951. Т. 1. С. 127–135.
Михайлова *1941* — Михайлова А. Н. Рукописи М. Ю. Лермонтова. Л., 1941.
Михайлова 1957 — *Михайлова Е. Н.* Проза Лермонтова. М., 1957.
Михайловский 1894 — *Михайловский Н. К.* Герой безвременья // Михайловский Н. К. Критические опыты. СПб., 1894. С. 113–164.
Михельсон 1987 — *Михельсон В. А.* «Герой нашего времени» на фоне мировой литературы эпохи // Кавказ и Россия в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. Грозный, 1987. С. 82–88.
Моисеева 1997 — *Моисеева М. В.* Влияние балладной поэтики на повесть «Тамань» // Карамзинский сб. Ульяновск, 1997. Ч. 1. С. 75–83.
Морозов 1983 — *Морозов А. А.* Загадка лермонтовского «Штосса» // РЛ. 1983. № 1. С. 189–196.
Москвин 2000 — *Москвин Г. В.* Библейские реминисценции в повести «Княжна Мери» // Вестн. МГУ. Серия 9. Филология. 2000. № 3. С. 7–17.
Москвин 2002 — *Москвин Г. В.* К вопросу об элементе живописи в прозе М. Ю. Лермонтова: (на примере романа «Вадим») // Язык, сознание, коммуникация: Сб. ст. М., 2002. Вып. 21. С. 148–158.
Москвин 2004 — *Москвин Г. В.* Начало прозы Лермонтова. К вопросу о датировке «Вадима» // ТВ. Вып. 17. Тарханы, 2004. С. 82–92.
Москвин 2007 — *Москвин Г. В.* Смысл романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». М., 2007.
Москвин 2011 — *Москвин Г. В.* Ранние кавказские поэмы М. Ю. Лермонтова и роман «Вадим» // Лермонтовские чт.-2010: Сб. ст. СПб., 2011. С. 90–97.
Москвин 2012 — *Москвин Г. В.* Ранние драмы М. Ю. Лермонтова и юношеский роман «Вадим» // Лермонтовские чт.-2011: Сб. ст. Лермонтов и театр. СПб., 2012. С. 147–159.
Мусий 1989 — *Мусий В. Б.* Об особенностях поэтики повести М. Ю. Лермонтова «Штосс» // Актуальные вопр. совр. лермонтоведения: Литературоведение. Киев, 1989. С. 108–109.
Мюссе 1957 — *Мюссе А. де.* Избранные произведения: В 2 т. М., 1957.

Набоков 1988 — *Набоков В. В.* Предисловие к «Герою нашего времени» // Новый мир. 1988. № 4. С. 89–197.
Найдич 1962 — *Найдич Э. Э.* «Герой нашего времени» в русской критике // Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. М., 1962. С. 163–197.
Найдич 1985 — *Найдич Э. Э.* Еще раз о «Штоссе» // Лермонтовский сб. Л., 1985. С. 194–212.
Найдич 1994 – *Найдич Э. Э.* Этюды о Лермонтове. СПб., 1994.
Найдич 2001 — *Найдич Э. Э.* Очерк Лермонтова «Кавказец» в свете полемики вокруг «Героя нашего времени» // РЛ. 2001. № 4. С. 141–147.
Недзвецкий 1986 — *Недзвецкий В.* Образ современности в «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова // Studia russica. Budapest, 1986. № 10. S. 279–319.

Недзвецкий 1997 — *Недзвецкий В. А.* «Герой нашего времени»: становление жанра и смысла // ИСЛЯ. Серия литературы и языка. 1997. Т. 56. № 4. С. 3–20.
Нейман 1914 — *Нейман Б. В.* Влияние Пушкина в творчестве Лермонтова. Киев, 1914.
Нейман 1927 — *Нейман Б. В.* Эволюция стиля и сюжетов Лермонтова // Родной язык в школе. 1927. № 5. С. 99–109.
Нейман 1966 — *Нейман Б. В.* Источники лермонтовского «Вадима» // ВЛ. 1966. № 6. С. 172–175.
Нейман 1967 — *Нейман Б. В.* Фантастическая повесть Лермонтова // ФН. 1967. № 2 (38). С. 14–24.
Некрасов 1981–1985 — *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1981–1985.
Никитенко 1955 — *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. М., 1955.
Нольман 1941 — *Нольман М.* Лермонтов и Байрон // Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова: Исслед. и мат-лы. Сб. первый. М., 1941. С. 466–515.

Оболенский 1893 — *Оболенский Д. Д.* Из бумаг Н. С. Мартьянова // РА. 1893. Кн. 8. С. 585–613.
Овсянико-Куликовский 1914 — *Овсянико-Куликовский Д. И.* Лермонтов. СПб., 1914.
Огарев 1952 — *Огарев Н. П.* Избранные социально-политические и философские произведения: В 2 т. М., 1952.
Огарев 1956 — *Огарев Н. П.* Избранные произведения: В 2 т. М., 1956.
Одоевский 1839 — *Одоевский В. Ф.* Письма к графине Е. П. Р<остопчино>й о привидениях, суеверных страхах, обманах чувств, кабалистике, алхимии и других таинственных науках // ОЗ. 1839. Т. 1. Отд. 8. С. 1–16; Т. 2. Отд. 8. С. 1–17; Т. 5. Отд. 8. С. 12–26.
Одоевский 1981 — *Одоевский В. Ф.* Сочинения: В 2 т. М., 1981.
Оловянникова 2010a — *Оловянникова М. В.* «Ты знаешь Фауста?», или Добрейший Максим Максимыч // Уч зап. Электронный научн. журнал Курск. гос. ун-та. 2010. № 2. С. 146–149.
Оловянникова 2010b — *Оловянникова М. В.* Фауст и Печорин: линии сопряжения // Уч. зап. Электронный научн. журнал Курск. гос. ун-та. 2010. № 3/1. С. 127–132.
Ольшевский 1914 — *Ольшевский М. Я.* Записки. Кавказ с 1841 по 1866 гг. // РС. 1895. Кн. 6. С. 171–184.
Описание рукописей 1953 — Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского Дома. Вып. 2. М. Ю. Лермонтов. М.; Л., 1953.
Осоргин 1965 — *Осоргин М.* Записки старого книгоеда // В мире книг. 1965. № 11. С. 42–43.
Охотин 1986 — *Охотин Н. Г.* А. П. Башуцкий и его книга // Наши, списанные с натуры русскими: Прил. к факсим. изд. М., 1986. С. 5–46 (примеч.: 61–118).
Охотин 2015 — *Охотин Н. Г.* «Нет, я не Байрон...» (о ложных письмах Лермонтова) // М. Ю. Лермонтов и мировая культура. СПб., 2015 (в печати).

Павлов 1839 — *Павлов Н. Ф.* Новые повести. СПб., 1839.
Панаев 1950 — *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1950.
Парсиева 1983 — *Парсиева В. А.* Черты «физиологии» в прозе М. Ю. Лермонтова // М. Ю. Лермонтов: Вопр. традиций и новаторства. Рязань, 1983. С. 70–77.
Пахомов 1948 — *Пахомов Н. П.* Живописное наследство Лермонтова // ЛН 1948: XLV–XLVI. С. 55–222.
Пахомов 1961 — *Пахомов Н. П.* «Подруга юных дней...»: По поводу портрета В. Лопухиной, рисованного Лермонтовым // Огонек. 1961. № 31. С. 9.
Пахомов 1975 — *Пахомов Н. П.* Подруга юных дней: Варенька Лопухина. М., 1975.

Переверзев 1935 — *Переверзев В. Ф.* Борьба за исторический роман в 30-е годы // Лит. учеба. 1935. № 5. С. 4–29.
Перльмуттер 1941 — *Перльмуттер Л. Б.* Язык прозы М. Ю. Лермонтова // Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова: Исслед. и мат-лы. Сб. первый. М., 1941. С. 310–355.
Петров 1984 — *Петров С. М.* Русский исторический роман XIX века. М., 1984.
Пиксанов 1933 — *Пиксанов Н. К.* О классиках. М., 1933.
Пиксанов 1947 — *Пиксанов Н. К.* Крестьянское восстание в «Вадиме» Лермонтова // Ист.-лит. сб. М., 1947. С. 173–230.
Пиксанов 1967 — *Пиксанов Н. К.* Крестьянское восстание в «Вадиме» Лермонтова. Саратов, 1967.
Поволоцкая 2008 — *Поволоцкая О.* «Фаталист» М. Ю. Лермонтова: авторская позиция и метод ее извлечения // Звезда. 2008. № 8. С. 217–224.
Полежаев 1987 — *Полежаев А. И.* Стихотворения и поэмы. Л., 1987.
Попка 1858 — *Попка И.* Черноморские казаки в их гражданском и военном быту. СПб., 1858.
Попов 1949 — *Попов А. В.* М. Ю. Лермонтов в первой ссылке. Ставрополь, 1949.
Попов 1954 — *Попов А. В.* Лермонтов на Кавказе. Ставрополь, 1954.
Попов 1963 — *Попов А. В.* «Герой нашего времени»: Мат-лы к изучению романа М. Ю. Лермонтова // Лит.-метод. сб. Ставрополь, 1963. С. 49–53.
Потебня 1905 — *Потебня А. А.* Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.
Потто 1887–1889 — *Потто В. А* Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях: В 5 т. СПб., 1887–1889.
Потто 1894 — *Потто В. А.* История 44 драгунского полка: В 10 т. СПб., 1894.
Потто 1894 — *Потто В. А.* А. А. Марлинский (Бестужев) // Кавказ. 1897. №344.
Пржецлавский 2010 — *Пржецлавский О. А.* Воспоминания // Поляки в Петербурге в первой половине XIX века. М., 2010. С. 29–475)
Прокопенко 1962 — *Прокопенко Л. И.* Поиски лермонтовского фокусника // Советский цирк. 1962. № 7. С. 22–24.
Прокопенко 1965 — *Прокопенко Л. И.* Кременчугский почтмейстер // Радуга. 1965. № 12. С. 171–173.
Прокопенко 1967 — *Прокопенко Л. И.* Владикавказский полковник Н... // Соц. Осетия. 1967. 11 июня. С. 3.
Прокопенко 1981 — *Прокопенко Л. И.* Лист, полный загадок // Сов. Россия. 1981. 8 сент.
Проскурина 2004 — *Проскурина Ю. М.* У истоков физического очерка натуральной школы («Кавказец» М. Ю. Лермонтова) // Лермонтовские чт.-2: мат-лы Всерос. научн. конф. «Дергачевские чтения-2004». Екатеринбург, 2004. С. 136–141.
Пруцков 1960 — *Пруцков Н. И.* Вопросы литературно-критического анализа. М.; Л., 1960.
Пульхритудова 1960 — *Пульхритудова Е. М.* «Лермонтовский элемент» в романе Кюхельбекера «Последний Колонна» // ФН. 1960. № 2. С. 126–138.
Пумпянский 2000 — *Пумпянский Л. В.* Классическая традиция. Собр. трудов по истории рус. лит. М., 2000.
Пушкин 1937–1959 — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1937–1959.
Пушкин 1956–1958 — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1956–1958.
Пыляев 1990 — *Пыляев М. И.* Замечательные чудаки и оригиналы. М., 1990.

Р. К. 1882 — *Р. К.* «Княгиня Лиговская»: Роман М. Ю. Лермонтова // Мир. 1882. № 3. С. 217–226 (2-я паг.).
Раков 1974 — *Раков Ю.* По следам литературных героев. М., 1974.
Ракович 1900 — *Ракович Д. В.* Тенгинский полк на Кавказе 1819–1896 гг. Тифлис, 1900.

Рассказ штабс-капитана 1853 — Рассказ штабс-капитана N о Лермонтове // Кавказ. 1853, 27 июня. С. 2.
РБС — Русский биографический словарь: В 25 т. СПб., 1896–1918.
Рева 2007 — *Рева Е. К.* «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова и немецкий романтизм: (Диалог худож. форм в области романтич. новеллы) // ТВ. Тарханы, 2007. Вып. 20. С. 166–170.
Реизов 1955 — *Реизов Б. Г.* Французская романтическая историография. Л., 1955.
Решетова 1982 — *Решетова Л. И.* Особенности словесного изображения в русском романе 30-х годов XIX в.: («Княгиня Лиговская» М. Ю. Лермонтова) // Проблемы лит. жанров: Мат-лы 4-й научн. конф. Томск, 1983. С. 45–47.
Родзевич 1913 — *Родзевич С. И.* Предшественники Печорина во французской литературе. Киев, 1913.
Родзевич 1914 — *Родзевич С. И.* Лермонтов как романист. Киев, 1914.
Рожков 1989 — *Рожков И.* Последний московский адрес Лермонтова // Лит. Россия. 1989. № 27. С. 18–19.
Розанов 1914 — *Розанов М. Н.* Байронические мотивы в творчестве Лермонтова // Венок Лермонтову. М., 1914. С. 343–384.
Розен 1984 — Розен А. Е. Записки декабриста / Под ред. Г. А. Невелева. Иркутск, 1984.
Ростопчина 1857–1860 — *Ростопчина Е. П.* Соч.: В 4 т. 2-е изд. СПб., 1857–1860.
Русская повесть 1973 — Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра. Л., 1973.

Сабуров 1835 — *Сабуров Я.* Кавказ // МН. 1835. Ч. 1–4.
Савинков 1994 — *Савинков С. В.* Еще раз о лермонтовской «Тамани»: загадка слепого мальчика // ФЗ. 1994. Вып. 2. С. 144–147.
Савинков 1995 — *Савинков С. В.* «Вампирический» текст в «Герое нашего времени» // ФЗ. 1996. Вып. 4. С. 58–68.
Савинков 2012 — *Савинков С. В.* Театральный дискурс в «Княжне Мери» // Лермонтовские чт.-2011. Лермонтов и театр: Сб. ст. СПб., 2012. С. 166–177.
Саводник 1911 — *Саводник В. Ф.* Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова и Тютчева. М., 1911.
Самарин 1911 — *Самарин Ю. Ф.* Сочинения. Т. 12. М., 1911.
Сандомирская 1979 — *Сандомирская В. Б.* Альбом с рисунками Лермонтова: (Лермонтов и М. А. Шан-Гирей) // М. Ю. Лермонтов: исслед. и мат-лы. Л., 1979.
Сацюк 1980а — *Сацюк И. Г.* К вопросу о функциях описаний в романе М. Ю. Лермонтова «Вадим» // Творческий процесс и эстетич. принципы писателя: Сб. научн. тр. Иркутск, 1980. С. 66–74.
Сацюк 1980b — *Сацюк И. Г.* Эволюция позиции повествователя в прозе М. Ю. Лермонтова // Творческий процесс и эстет. принципы писателя: Сб. научн. тр. Иркутск, 1980. С. 50–65.
Сацюк 1987 — *Сацюк И. Г.* Система мотивировок в прозе М. Ю. Лермонтова («Вадим», «Княгиня Лиговская», «Герой нашего времени») // ФН. 1987. № 3 (159). С. 13–19.
Селезнев 1847–1850 — *Селезнев М. А.* Руководство к познанию Кавказа: В 3 кн. СПб., 1847–1850.
Семенов 1865 — *Семенов П. П.* Географическо-статистический словарь Российской империи: В 4 т. СПб., 1865.
Семенов 1895 — *Семенов Н. С.* Туземцы Северо-Восточного Кавказа. СПб., 1895.
Семенов 1914 — *Семенов Л. П.* Лермонтов и Лев Толстой. М., 1914.
Семенов 1915 — *Семенов Л. П.* М. Ю. Лермонтов: Статьи и заметки. М., 1915.

Семенов 1939 — *Семенов Л. П.* Лермонтов на Кавказе. Пятигорск, 1939.
Семенов 1941 — *Семенов Л. П.* Лермонтов и фольклор Кавказа. Пятигорск, 1941.
Симанская 1960 — *Симанская В. Я.* Шотландка — селение Каррас: Лермонтовские места в Пятигорске // Михаил Юрьевич Лермонтов: Сб. ст. и мат-лов. Ставрополь, 1960. С. 200–211.
Скибин 1983 — *Скибин С. М.* Внутренняя мотивация иронического подтекста в «Журналах Печорина» («Тамань») М. Ю. Лермонтова // Проблемы поэтики рус. лит. XIX века: Межвуз. сб. научн. тр. М., 1983. С. 36–44.
Слащев 1956 — *Слащев Е. Е.* К истории создания романа Лермонтова «Княгиня Лиговская» // Учен. зап. филол. фак-та Киргиз. ун-та. 1956. Вып. 2. С. 79–89.
Слащев 1958 — *Слащев Е. Е.* О поздней прозе М. Ю. Лермонтова // Учен. зап. филол. фак-та Киргиз. ун-та. 1958. Вып. 5: Славян. сб. С. 133–141.
Слащев 1959 — *Слащев Е. Е.* О датировке ранней прозы М. Ю. Лермонтова. Тезисы // Тезисы докладов VIII научн. конф. Фрунзе, 1959. С. 44–45.
Слащев 1962 — *Слащев Е. Е.* О двух главных тенденциях в стиле романа Лермонтова «Вадим» // Тезисы докладов и сообщений XI научн. конф. профес.-препод. состава Кирг. ун-та. Фрунзе, 1962. С. 35–37.
Слащев 1964 — *Слащев Е. Е.* Портрет и пейзаж в романе Лермонтова «Княгиня Лиговская» // Учен. зап. филол. ф-та Кирг. ун-та, 1964. Вып. 10. Славян. сб. 2. С. 99–107.
Соколов 1914 — *Соколов В.* Тамань в прошлом и настоящем. Керчь, 1914.
Соколов 1957. — *Соколов А. Н.* От романтизма к реализму. М., 1957.
Соллертинский 1970 — *Соллертинский Е. Е.* О некоторых формах повествования в «Герое нашего времени». На мат-ле «Княжны Мери // Проблемы рус. и зарубеж. лит. Вып. 4. Метод. Стиль. Мастерство. Мат-лы межвуз. конф. Ярославль, 1970. С. 123–132.
Спасович 1889–1902 – *Спасович В. Д.* Соч.: В 10 т. СПб., 1889–1902.
Сталь 1969 – *Жермена де Сталь.* Коринна, или Италия / Изд. подгот. М. Н. Черневич. М., 1969.
Станкевич 1914 — *Станкевич Н. В.* Переписка. М., 1914.
Стороженко 1902 — *Стороженко Н. И.* Из области литературы. М., 1902.
Сушкова 1928 — *Сушкова Е. А.* Записки. — Л.: Academia, 1928.
Сычев 2013 — *Сычев В. С.* «Кавказец» М. Ю. Лермонтова и русский физиологический очерк // Пушкин и его современники: версия молодых: альм. Саранск, 2013. Вып. 3. С. 98–107.

Таборисская 2005 — *Таборисская Е. М.* Оживающий портрет как сюжет «петербургского текста» // Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские чт.-2004). СПб., 2005. С. 97–106.
Тамахин 1965 — *Тамахин В. М.* Эстетическая функция пейзажа в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // М. Ю. Лермонтов: Мат-лы и сообщения VI Всесоюзн. Лермонтовской конф. Ставрополь, 1965. С. 45–51.
Тассо 1828 — *Тассо Т.* Освобожденный Иерусалим. Ч. 2. М., 1828.
Тачкова 2010 — Тачкова Т. А. Ранняя проза Лермонтова: эволюция повествовательной структуры // Лермонтовские чтения — 2009. Сб. статей. СПб., 2010. С. 96–107.
Тимакова 2009 — *Тимакова А. А.* Об истоках «народного романа» в русской прозе первой половины XIX в. (роман М. Ю. Лермолнтова «Вадим») // Лермонтовские чтения — 2008. Сб. статей. СПб., 2009. С. 128–134.
Титов 1837 — *Титов Н. П.* Неправдоподобные рассказы чичероне дель К...о: В 3 т. СПб., 1837.

Тихомиров 1996 — *Тихомиров Б. Н.* Из наблюдений над романом «Преступление и наказание» // Достоевский: Мат-лы и исслед. Т. 13. СПб., 1996. С. 232–246.
Ткачев 1912 — *Ткачев Г. А.* Станица Червленная. Владикавказ, 1912.
Тойбин 1959 — *Тойбин И. М.* К проблематике новеллы Лермонтова «Фаталист» // Учен. зап. Курск. пед. ин-та. Гуманит. цикл. 1959. Вып. 9. С. 19–56.
Толстой 1922 — *Толстой Н. Н.* Охота на Кавказе. М., 1922.
Толстой 2002 — *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 100 т. Т. 2. М., 2002.
Томашевский 1941 — *Томашевский Б. В.* Проза Лермонтова и западноевропейская литературная традиция // ЛН. 1941: XLIII–XLIV. С. 469–516.
Торнау 1864 — *Торнау Ф. Ф.* Воспоминания кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов. М., 1864. Ч. 1–2.
Трапезникова 1976 — *Трапезникова Н. С.* Романтизм Ж. Санд: Пробл. взаимосвязи романтизма и реализма во фр. лит. XIX в. Казань, 1976.
Трифонов 1939 — *Трифонов Н. А.* Повести Н. Ф. Павлова // Учен. зап. каф. рус. лит. Моск. пед. ин-та. 1939. Вып. 2. С. 69–135.
Турьян 1996 — *Турьян М. А.* Владимир Одоевский и Лермонтов: К истокам религиозных споров // Новые безделки: Сб. ст. к 60-летию В. Э. Вацуро. М., 1995–1996. С. 182–197.
Тюпа 2009 — *Тюпа В. И.* Технология семиоэстетического анализа («Фаталист» М. Ю. Лермонтова) // Тюпа В. И. Анализ худож. текста. М., 2009. С. 34–101.

Удодов 1964 — *Удодов Б. Т.* «Герой нашего времени» как явление историко-литературного процесса // М. Ю. Лермонтов: Исслед. и мат-лы. Воронеж, 1964. С. 3–109.
Удодов 1973 — *Удодов Б. Т.* М. Ю. Лермонтов: Художественная индивидуальность и творческие процессы. Воронеж, 1973.
Удодов 1989 — *Удодов Б. Т.* Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: Кн. для учителя. М., 1989.
Уманская 1970 — *Уманская М. М.* Психологический анализ М. Ю. Лермонтова-прозаика // Проблемы рус. и зарубеж. лит. Вып. 4. Метод. Стиль. Мастерство. Мат-лы межвуз. конф. Ярославль, 1970. С. 133–147.
Уманская 1971. — *Уманская М. М.* Лермонтов и романтизм его времени. Ярославль, 1971.
Уразаева 1978a — *Уразаева Т. Т.* К проблеме жанрового своеобразия новеллы М. Ю. Лермонтова «Штосс» // Проблемы метода и жанра. Томск, 1978. С. 3–12.
Уразаева 1978b — *Уразаева Т. Т.* «Штосс» и тип новеллического повествования в зрелой прозе Лермонтова: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1978.
Уразаева 1986 — *Уразаева Т. Т.* «Журнал Печорина»: К проблеме «исповедального» повествования в структуре романа // Проблемы метода и жанра. Томск, 1986. Вып. 13. С. 155–172.
Уразаева 1993 — *Уразаева Т. Т.* «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова и исповедально-мемуарные опыты Стендаля // От Карамзина до Чехова. Томск, 1993. С. 145–153.
Уткина 2004 — *Уткина Д. И.* Роман М. Ю. Лермонтова «Вадим» в сравнении с «вальтерскоттовским» романом // «Страницы прошлого читая»: Мат-лы 4 лермонтовских чт. Ярославль, 2004. С. 37–42.
Фаркаш 1962 — *Фаркаш Э.* Свобода личности и проблема морали. М., 1962.
Федерс 1914 — *Федерс Г. Э.* Эволюция типа «странного человека» у Лермонтова. Нежин, 1914.
Федоров 1967 — *Федоров А. В.* Лермонтов и литература его времени. Л., 1967.

Федосеенко 1989 — *Федосеенко Н. Г.* Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и традиции романтической поэмы // Вестн. Ленинград. гос. ун-та. 1989. Вып. 4. С. 60–66.
Фет 1937 — *Фет А. А.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1937.
Фидлер 1893 — *Фидлер Ф. Ф.* Заметка о Лермонтове // СВ. 1893. № 5. С. 142–143.
Физиков, Яковлева 2008 — *Физиков В. М., Яковлева Е. С.* К проблеме организации повествования в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: странствующий литератор // Гуманит. знание: Серия «Преемственность»: Ежегодник. Омск, 2008. Вып. 11. С. 9–15.
Филипсон 1883–1884 — *Филипсон Г. И.* Воспоминания // РА. 1883. № 5. С. 73–200; № 6. С. 241–356; 1884. Т. 1. С. 331–390.
Филипсон 1885 — *Филипсон Г. И.* Воспоминания. М., 1885.
Фишер 1914 — *Фишер В. М.* Поэтика Лермонтова // Венок Лермонтову. М., 1914. С. 196–236.
Фохт 1941 — *Фохт У. Р.* Проза Пушкина в развитии русской литературы // Пушкин — родоначальник новой рус. лит. М.; Л., 1941. С. 436–470.
Фохт 1975 — *Фохт У. Р.* Лермонтов: Логика творчества. М., 1975.
Фридлендер 1965 — *Фридлендер Г. М.* Лермонтов и русская повествовательная проза // РЛ. 1965. № 1. С. 33–49.
Фролов 2004 — *Фролов П. А.* Рассказ чембарского капитана о детстве М.Ю. Лермонтова // ТВ. 2005. Вып. 18. С. 19–21.
Фролов 2005 — *Фролов П.А.* К вопросу об автобиографичности повести Лермонтова «Я хочу рассказать вам...» // Лермонтовское наследие в самосознании XXI столетия. Пенза, 2004. С. 165–168.

Хамар-Дабанов 1844 — *Хамар-Дабанов Е.* Проделки на Кавказе: В 2 ч. СПб., 1844.
Ходанен 1975 — *Ходанен Л. А.* Время в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». («Журнал Печорина») // Вопросы худож. метода, жанра и характера в рус. лит. XVIII–XIX вв. Сб. тр. М., 1975. С. 82–94.
Хомяков 1904 — *Хомяков А. С.* Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1904.

Цейдлер 1888 — *Цейдлер М. И.* На Кавказе в 30-х годах // РВ. 1888. Кн. 9.
Цейтлин 1923 — *Цейтлин А. Г.* Повести о бедном чиновнике Достоевского: (к истории одного сюжета). М., 1923.
Цейтлин 1965 — *Цейтлин А. Г.* Становление реализма в русской литературе: (Русский физиологический очерк). М., 1965.

Черняев 1901 — *Черняев Н. И.* Заметки о Лермонтове // Южный край. 1901. № 6925. 6 февр. С. 2.
Чехов 1974–1983 — *Чехов А. П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. М., 1974–1983.
Чехов 1984 — Переписка А. П. Чехова: В 2 т. М., 1984.
Чеченец 1904 — *Чеченец А. Д.* На память о Кавказских Минеральных Водах: Воспоминания о Лермонтове: Сб. ст. и заметок из разных источников. СПб., 1904.
Чистова 1978 — *Чистова И. С.* Прозаический отрывок М. Ю. Лермонтова «Штосс» и «натуральная» повесть 1840-х годов // РЛ. 1978. № 1. С. 116–122.
Чистова 1985. — *Чистова И. С.* Дневник гвардейского офицера // Лермонтовский сборник. Л.: Наука, 1985. С. 152–180.
Чистова 1989 — *Чистова И. С.* «Кто там в малиновом берете?» // РР. 1989. № 5. С. 12–16.

Шаблий 1974 — *Шаблий М. И.* Журнальная полемика вокруг романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // ВРЛ. Львов, 1974. Вып. 1 (23). С. 62–69.
Шаблий 1977 — *Шаблий М. И.* О жанровом анализе ранней прозы М. Ю. Лермонтова // Целостность худож. произведения и проблемы его анализа в школьном и вуз. изучении лит. Тезисы докл. респ. научн. конф. Донецк, 1977. С. 95–97.
Шаблий 1983 — *Шаблий М. И.* О жанровых особенностях «Вадима» М. Ю. Лермонтова // Проблемы метода и жанра: Сб. ст. Томск, 1983. Вып. 9. С. 129–147.
Шаблий 1984 — *Шаблий М. И.* Проблема читателя в прозе М. Ю. Лермонтова // ВРЛ. Львов, 1984. Сб. 1 (43). С. 62–69.
Шаблий 1986a — *Шаблий М. И.* «Вадим» М. Ю. Лермонтова в литературном движении 30-х годов XIX века // ВРЛ. Львов, 1986. Вып. 2. С. 31–36.
Шаблий 1986b — *Шаблий М. И.* Формы закрепления читательской позиции в романе Лермонтова «Вадим» // Читатель в творческом сознании рус. писателей: Межвуз. темат. сб. научн. тр. Калинин, 1986. С. 92–96.
Шаблий 1987 — *Шаблий М. И.* Лермонтов и типология русской художественно-исторической прозы 30-х годов XIX в. // ФН. 1987. № 2. С. 15–22.
Шагалов 1969 — *Шагалов А. Ш.* К вопросу о проблематике романа М. Ю. Лермонтова «Вадим» // Вопросы рус. лит. М., 1969. С. 312–329.
Шадури 1989 — *Шадури В. С.* По лермонтовским местам. М., 1989.
Шан-Гирей 1885 — *Шан-Гирей Э. А.* Еще по поводу воспоминаний Раевского о Лермонтове // Нива. 1885. № 27. С. 643.
Шан-Гирей 1889 — *Шан-Гирей Э. А.* Воспоминании о Лермонтове и о предсмертном его поединке // РА. 1889. Т. 2. № 6. С. 315–320.
Шарафадина 2008 — *Шарафадина К. И.* Свернутый сюжет Преображения в контексте повести Лермонтова «Тамань» // Печать и слово Санкт-Петербурга: Петербургские чт.-2007. СПб., 2008. С. 114–120.
Шевченко 1962 — *Шевченко Г. Г.* На путях становления русского социально-психологического романа: (Постановка проблемы «героя века» в лит. 20–30-х годов XIX века) // Учен. зап. Харьковск. ун-та им. А. М. Горького. 1962. Т. 114. Труды филол. факультета. Т. 10. С. 52–72.
Шенрок 1892–1897 — *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя: В 4 т. М., 1892–1897.
Шидловский 1843 — *Шидловский Ю.* Записки о Кизляре // Журнал Министерства внутренних дел. 1843. Ноябрь. Ч. 4.
Шишхова 2007 — *Шишхова Н. М.* Очерк М. Ю. Лермонтова «Кавказец» в свете оппозиции «Россия – Восток» // Лит. в диалоге культур: Мат-лы междунар. научн. конф. Ростов н/Д., 2007. С. 266–267.
Шкловский 1955 — *Шкловский В. Б.* Заметки о прозе русских классиков. М., 1955.
Штейн 1927 — *Штейн С.* Пушкин и Гофман. Сравнительное историко-литературное исследование. Дерпт, 1927.
Штокмар 1941 — *Штокмар М. П.* Народно-поэтические традиции в творчестве Лермонтова // ЛН 1941: XLIII–XLIV. С. 263–352.
Шувалов 1914 — *Шувалов С. В.* Влияние на творчество Лермонтова русской и европейской поэзии // Венок Лермонтову. М., 1914. С. 290–342.
Шувалов 1914 — *Шувалов С. В.* Влияния на творчество Лермонтова русской и европейской поэзии // Венок М. Ю. Лермонтову: Юб. сб. М.; Пг., 1914. С. 290–342.
Шувалов 1925 — *Шувалов С. В.* Лермонтов: Жизнь и творчество. М., 1925.
Шувалов 1929 — *Шувалов С. В.* «Герой нашего времени» в школьной проработке // Рус. язык в сов. школе. 1929. № 4. С. 48–64.

Шутан 1994 — *Шутан М. И.* Роман М. Ю. Лермонтова «Княгиня Лиговская» в контексте русской повествовательной прозы 30-х — середины 40-х годов 19-го века. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Н. Новгород, 1994.

Щеблыкин 1974. — *Щеблыкин И. П.* Об историческом колорите в романе М. Ю. Лермонтова «Вадим» // А. Н. Радищев, В. Г. Белинский, М. Ю. Лермонтов. Жанр и стиль худож. произведения. Рязань, 1974. С. 101–110.

Щеблыкин 2004 — *Щеблыкин И. П.* К трактовке аллегорий символико- философской повести Лермонтова «Штосс» // РЛ. 2004. № 3. С. 120–127.

Щербачев 1913 — *Щербачев Ю. Н.* Приятели Пушкина М. А. Щербинин и П. П. Каверин. М., 1913.

Щербина 1910–1913 — *Щербина А. Ф.* История Кубанского казачьего войска. В 2 т. Екатеринодар, 1910–1913.

Щукин 1960 — *Щукин С.* Из воспоминаний об А. П. Чехове // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 453–467.

Щукинский сборник 1902–1912 — Щукинский сборник: Вып. 1–10. М., 1910.

Эйхенбайм 1924 — *Эйхенбаум Б. М.* Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки. Л., 1924.

Эйхенбаум 1959 — *Эйхенбаум Б. М.* О смысловой основе «Героя нашего времени» // РЛ. 1959. № 3. С. 8–27.

Эйхенбаум 1960 —*Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой: Семидесятые годы. Л., 1960.

Эйхенбаум 1961 — *Эйхенбаум Б. М.* Статьи о Лермонтове. М.; Л., 1961.

Эйхенбаум 1962 — *Эйхенбаум Б. М.* Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. М., 1962. С. 125–162.

Эйхенбаум 1987 — *Эйхенбаум Б. М.* «Вадим» // Эйхенбаум Б. М. О литературе. Работы разных лет. М., 1987. С. 247–254.

Юдакова 2008 — *Юдакова Ю. В.* Женский инфернальный персонаж в повести М. Ю. Лермонтова «Штосс» // М. Ю. Лермонтов. Худож. картина мира: Сб. ст. Томск, 2008. С. 129–137.

Юрченко 2003 — *Юрченко Т. Н.* Мифологема бала в русской литературе 20–40-х гг. 19 в. // Вестн. Барнаульск. гос. пед. ун-та. 2003. Вып. 3. С. 47–54.

Юхнова 2001 — *Юхнова И. С.* Баллада «Лесной царь» Гете в контексте повести Лермонтова «Штосс» // Грехневские чт: Сб. научн. тр. Н. Новгород, 2001. С. 72–77.

Юхнова 2007 — *Юхнова И. С.* Античный контекст в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова: Худож. смысл одного упоминания // Проблемы утраты и возрождения традиционной и классич. культуры. [Сб.]. Н. Новгород, 2007. С. 96–100.

Юхнова 2009 — *Юхнова И. С.* Образ странствующего офицера в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Вестн. Нижегородск. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2009. № 1. С. 282–287.

Яковкина 1938 — *Яковкина Е. И.* По лермонтовским местам. Пятигорск, 1938.

Яковлев 1949 — *Яковлев М. А.* Восстание Пугачева в романе «Вадим» М. Ю. Лермонтова // Земля родная. Пенза, 1949. Кн. 4. С. 243–253.

Якубова 1968 — *Якубова С.* Азербайджанское народное сказание «Ашыг-Гариб». Баку, 1968.

Якубович 1935 — *Якубович Д. П.* Лермонтов и Вальтер Скотт // ИСЛЯ. Отд. обществ. наук. 1935. № 3.

Якунин 1988 — *Якунин О.* Фокусник из романа «Герой нашего времени» // Ставрополье. 1988. № 5. С. 90–93.

Ямадзи 2009 — *Ямадзи А.* Образ Байрона в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Japanese Slavic and East European studies. Kyoto, 2009. Vol. 29/2008. С. 1–25.
Ямадзи 2013 — *Ямадзи А.* Живописные образы и приемы в произведениях М. Ю. Лермонтова // Лермонтовские чтения – 2012. Сб. статей. СПб., 2013. С. 118–129.

Barberi 1791 — *[Barberi G.].* Vie de Joseph Balsamo, connu sous le nom de comte Cagliostro. Paris, 1791.
Bibliographia 1874 — Bibliographia Caucasica et Transcaucasica. Опыт справочного систематического каталога печатным сочинениям о Кавказе, Закавказье и племенах, эти края населяющих: В 2 т. СПб., 1874.
Byron 1828 — The Works of Lord Byron, including The Suppressed Poems. Complete in one volume. Paris, 1828.
Byron 1830 — Letters and journals of Lord Byron: With notices of his life by Thomas Moore. Paris, 1830.

Constant 1828 — *Constant B.* Adolphe: anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu. 4-ème ed. Paris, 1828.

Darnton 1968 — *Darnton R.* Mesmerism and the End of the Enlightenment in Frace. Cambrige (Mass.); London, 1968
Debreczeny 1973 — *Debreczeny P.* Elements of the Lyrical Verse Tale in Lermontov's «A Hero of Our Time» // American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists. The Hague, 1973. P. 93–117.
Duchesne 1910 — *Duchesne E.* M. J. Lermontov. Sa vie et ses oevres. Paris, 1910.

Golstein 1998 — *Golstein V.* Lermontov's Narratives of Heroism. Evanston, Ill., Northwestern University Press, 1998.
Goscilo 1982 — *Goscilo H.* The First Pečorin en Route to A Hero. Lermontov's Princess Ligovskaja // Russian literature. 1982. Vol. 11. Iss. 2. P. 129–161.

Heier 1971 — *Heier E.* Lavater' s system of physiognomy as a mode of characterization in Lermontov's prose // Arcadia. 1971. Bd. 6. h. 3. P. 267–282.
Heier 2000 — *Heier E.* Comparative Literary Studies: Lermontov, Turgenev, Goncharov, Tolstoj, Blok — Lavater, Lessing, Schiller, Grillparzer. München, 2000.
Heine 1830 — *Heine H.* Reisebilder. Bd. 3. Hamburg, 1830.
Hugo 1836 — *Hugo V.* Œuvres complètes. Drame. III. Hernani. Paris, 1836.

Ingham 1974 — *Ingham Norman W.* E. T. A. Hoffmann's Reception in Russia. Würzburg, 1974.

Jolly 1824 — Jolly *T. F.* Mémorial sur la révolution Française: ses causes, ses promesses et ses résultats. Paris, 1824.

Ker-Porter 1817 – *Ker-Porter R.* Histoire de la campagne de Russie pendant l'année 1812, contenant des détails puisés dans des sources officiels… Traduit de l'anglais… Paris, 1817.
Kšicová 1974 – *Kšicová D.* Lermontovovy burleskní poémy // Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1974. Vol. 23. №21. P. 75–81
Kšicová 1983 – *Kšicová D.* Poéma za romantismu a novoromantismu. Česko-ruské paralely. Brno, 1983.

Letourneur 1779 – Shakespeare, traduit de l'anglois, par M. Le Tourneur. Dédié au Roi. T. 5. Paris, 1779.

Mersereau 1962 —*Mersereau J.* Jr. Lermontov's «Shtoss»: Hoax or literary credo? // Slavic review. 1962. Vol. 21. Number 2. P. 280–295.

Mersereau 1963 — *Mersereau J.* Jr. Lermontov and Balzac // American contribution to the Fifth International Congress of Slavists. Sofia, 1963. P. 233–258.

Molière 1825: 421 — Molière J. B. Œuvres complètes / Éd. revue sur la textes originaux. Paris, 1825.

Musset 1836 — *Musset A. de.* La Confession d'un enfant du siècle. Vol. I—II. Paris, 1836.

Passage 1963 — *Passage Charles E.* The Russian Hoffmannists. The Hague, 1963.

Powelstock 2005 — *Powelstock D.* Becoming Mikhail Lermontov: the ironies of romantic individualism in Nicholas I's Russia. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2005.

Reid 1997 — *Reid R.* Lermontov's A Hero of Our Time. London: Bristol Classical Press, 1997.

Reutlinger 1833 — [*Reutlinger R. H.*]. Manuel-Guide de Reval et des environs: Orné de vues. Reval: Librairie de C. Krich; St. Petersbourg, 1833.

Sobol 2011 — *Sobol V*. The uncanny frontier of Russian identity: Travel, ethnography, and Empire in Lermontov's «Taman» // Russian review. 2011. Vol. 70. № 1. P. 65–79.

Staël 1807 — Corinne ou L'Italie. Par Madame de Staël Holstein. T. I–II. Paris, 1807.

Thiers 1834 — *Thiers A*. Histoire de la Révolution Française. T. X. Paris, 1834.

Vickery 2001 — *Vickery W. N.* M. Iu. Lermontov. His Life and Work. München, 2001.

Woronzoff 1990 — *Woronzoff A*. The Pattern of Discovery in Lermontov's «Hero of Our Time» and Vigny's «Servitude et Grandeur militaire» // Transactions of the Association of Russian-American Scholars in the USA. N.-Y., 1990. № 23. P. 51–61.

Ziolkowski 1977 — *Ziolkowski Th.* Disenchanted Images: A literary Iconology. Princeton (N.-Jersey), 1977.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Архивохранилища и библиотеки

ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея (Москва).
ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).
РГИА — Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург).
РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской Академии наук (Санкт-Петербург).

Печатные источники

БдЧ — Библиотека для чтения (журнал).
БЗ — Библиографические записки (журнал).
ВЕ — Вестник Европы (журнал).
ВЛ — Вопросы литературы (журнал).
ВРЛ — Вопросы русской литературы (периодический сборник, Львов).
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.
ЗОР — Записки отдела рукописей ГБЛ / РГБ (сборник).
ИВ — Исторический вестник (журнал)
ИСЛЯ — Известия АН СССР / РАН. Отделение / Серия литературы и языка.
ЛГ — Литературная газета
ЛН — Литературное наследство (документальный сборник).
МВед — Московские ведомости (газета).
МН — Московский наблюдатель (журнал).

МТ — Московский телеграф (журнал).
НВ — Новое время (газета).
НЛО — Новое литературное обозрение (журнал).
ОЗ — Отечественные записки (журнал).
ПЗ — Полярная звезда (непериодический сборник).
ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской Империи.
РА — Русский архив (журнал).
РБ — Русский библиофил (журнал).
РБС — Русский биографический словарь.
РВ — Русский вестник (журнал).
РИ — Русский инвалид (журнал).
РЛ — Русская литература (журнал).
РМ — Русская мысль (журнал).
РО — Русское обозрение (журнал).
РР — Русская речь (журнал).
РС — Русская старина (журнал).
РСл — Русское слово (журнал).
СВ — Северный вестник (журнал).
СЗРИ — Свод законов Российской Империи.
СО — Сын отечества (журнал).
СП — Северная пчела (газета).
СПбВед — Санкт-Петербургские ведомости (газета).
СЦ — Северные цветы (альманах).
ТВ — Тарханский вестник (непериодический сборник).
ФЗ — Филологические записки (журнал).
ФН — Научные доклады высшей школы. Филологические науки (журнал).

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

ПРИЛОЖЕНИЯ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

собрание сочинений
в четырех томах

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПРОЗА
ПИСЬМА

1827–1841

16+

Редактор *А. Е. Барзах*
Художник *Ю. С. Александров*
Верстка *Н. Ю. Травкин*
Корректор *О. И. Абрамович*

Издательство Пушкинского Дома.
199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.
Тел.: (812) 328-19-01. Факс: (812) 328-11-40

Подписано в печать 10.12.2014. Формат 70×100 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. п. л. 44. Уч. изд. п. л. 36. Тираж 300 экз. Заказ № 153.

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „Бионт“»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр. ВО, 86.
Тел. (812) 322-68-43

